

КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

# ИСТОРИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

II

ЕВРОПА ОТ ФЕОДАЛИЗМА  
ДО РЕНЕССАНСА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
ФИЛИППА АРЬЕСА  
И ЖОРЖА ДЮБИ

ИСТОРИЯ  
ЧАСТНОЙ  
ЖИЗНИ

II



# КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ



Новое  
Литературное  
Обозрение

# HISTOIRE DE LA VIE PRIVÉE

SOUS LA DIRECTION  
DE PHILIPPE ARIÈS GEORGES DUBY

**2**

**DE L'EUROPE FÉODALE  
À LA RENAISSANCE**

DOMINIQUE BARTHELÉMY, PHILIPPE BRAUNSTEIN,  
PHILIPPE CONTAMINE GEORGES DUBY,  
CHARLES DE LA RONSIÈRE,  
DANIELLE RÉGNIER-BOHLER

EDITIONS  
DU SEUIL  
PARIS

1999

# ИСТОРИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
ФИЛИППА АРЬЕСА И ЖОРЖА ДЮБИ

**2**

**ЕВРОПА ОТ ФЕОДАЛИЗМА  
ДО РЕНЕССАНСА**

ДОМИНИК БАРТЕЛЕМИ, ФИЛИПП БРАУНШТАЙН,  
ФИЛИПП КОНТАМИН, ЖОРЖ ДЮБИ,  
ШАРЛЬ ДЕ ЛА РОНСЬЕР,  
ДАНИЭЛЬ РЕНЬЕ-БОЛЕР

НОВОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ  
МОСКВА

2015

УДК 394(4)“15/16”

ББК 63.3(4)512-7

И90

*Programme*  
*Paris*

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'aide à la publication Pouchkine, a bénéficié du soutien de l'Institut français  
Издание осуществлено в рамках программы содействия издательскому делу «Пушкин» при поддержке Французского института

Редактор серии Л. Оборин

В оформлении обложки использована иллюстрация «Трапеза крестьянина у огня» из *Календаря пастухов*, изданного Ги Маршаном (Paris, 1493, Bibliothèques d'Angers)

**И90 История частной жизни:** под общей ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 2: Европа от феодализма до Ренессанса; под ред. Ж. Доби / Доминик Бартелеми, Филипп Браунштайн, Филипп Контамин, Жорж Дюби, Шарль де Ла Ронсьер, Даниэль Рень-Болер; пер. с франц. Е. Решетниковой и П. Каштанова. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 784 с.: ил. (Серия «Культура повседневности»)

ISBN 978-5-4448-0293-9 (т.2)

ISBN 978-5-4448-0149-9

Пятитомная «История частной жизни» — всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы группой французских, британских и американских ученых под руководством прославленных историков из Школы «Анналов» — Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби. Пятитомник охватывает всю историю Запада с Античности до конца XX века. Во втором томе — частная жизнь Европы времен Высокого Средневековья. Авторы книги рассказывают, как изменились семейный быт и общественный уклад по сравнению с Античностью и началом Средних веков, как сложные юридические установления соотносились с повседневностью, как родился на свет европейский индивид и как жизнь частного человека отобразилась в литературе.

УДК 394(4)“15/16”

ББК 63.3(4)512-7

© Editions du Seuil, 1985 et 1999

© Переводчики, 2015

© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2015

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

На 386-й странице\* «Монтайю» Эммануэль Ле Руа Ладюри завершает свой рассказ о женщинах, описывая — и подтверждая документально — их болтливость, а главное, любопытство, которое заставляет подсматривать в дверные щели, наблюдая за тем, что происходит внутри, а затем выбалтывать все соседкам. Заканчивает он такой фразой: «Только в нашу эпоху, с приходом более буржуазной цивилизации, отличающейся особой приверженностью к частной жизни, женская разведка сбавляет обороты или, по крайней мере, в некоторой степени сдерживается». В связи с этим замечанием встает вопрос, на который эта книга не претендует дать ответ, но все-таки стремится к нему подвести: правомерно ли — я подчеркиваю, именно правомерно, а не просто уместно или неуместно — говорить о частной жизни в Средневековье, проектировать на столь отдаленное прошлое понятие *privacy*, которое, как мы знаем, выработалось в течение XIX века в англосаксонском обществе, передовом с точки зрения формирования «буржуазной» культуры? Тщательно все взвесив, я полагаю, что

---

\* Французского издания. См. русский перевод Ле Руа Ладюри Э.: Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург, 2001. С. 309. Книга представляет собой уникальное всестороннее исследование повседневной жизни крестьян, их представлений о вере, Боге и мироздании, основанное на записях инквизиторских допросов в конце XIII — начале XIV века в пиренейской деревушке Монтайю. — Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев и пометок о значении иностранных слов, постраничные примечания принадлежат переводчикам и редактору.

можно ответить утвердительно. Ведь на самом деле применение к феодальной эпохе такого понятия, как, например, классовая борьба, едва ли более правомерно. Подобный перенос оказался бесспорно полезным, ибо позволил не только осознать, насколько было важно отточить это понятие, но и прежде всего выявить властные отношения в рамках весьма отдаленного от нас общества, в частности отношения, не имевшие ничего общего с противостоянием социальных классов. Итак, что мы без колебаний решили воспользоваться, мягко говоря, анахроничным понятием частной жизни и выявить в обществе Средневековья границу между тем, что считалось частным, а что нет, вычленив ту зону социальности, которая соответствует нашему сегодняшнему представлению о частной жизни.

Настоящее исследовательское начинание — и я особо хочу это подчеркнуть — лишь первые шаги, весьма робкие и неуверенные. Читателю не стоит рассчитывать на то, что он найдет здесь завершенное полотно. То, что ему предстоит прочитать, всего лишь незаконченный набросок, усеянный множеством вопросительных знаков. Представив в данной книге результаты первых наработок, мы намеревались прежде всего задать направление поисков и тем самым вдохновить других продолжить нашу инициативу. Подобно археологам, которые приступают к раскопкам какой-нибудь деревни, заброшенной после Черной смерти XIV века, мы основываемся на некоторых предварительных находках и рассчитываем, с одной стороны, найти пищу для дальнейших размышлений, а с другой — сохранить некоторое чувство голода. Ибо плоды нашего рискованного предприятия полностью зависят от плотности и качества материала, от того, что нам способны рассказать источники, все, какие есть — в первую очередь, конечно же, тексты, письменные документы, но также предметы и, наконец, скульптурные и живописные изображения, отражающие те или иные условия человеческого существования. Читателя, возможно, удивит, каким образом располагается

материал в этой книге: объясняется это тем, что наши сведения обрывочны и неравномерно распределены в пространстве и времени между пятью столетиями, которые мы выбрали для рассмотрения.

Исходной точкой для нас стал 1000 год: приблизительно в это время мы наблюдаем резкое изменение в состоянии источников, число которых отныне будет только возрастать. Но на нашем пути встретится еще одна явно выраженная пограничная эпоха — между 1300 и 1350 годами. Начиная со второй половины XIV столетия все предстает в несколько ином свете. Перемена эта отчасти является следствием непредвиденных потрясений (самым драматичным из которых стала великая эпидемия чумы в 1348–1350 годах), за несколько десятилетий значительно изменивших образ жизни всего западного мира. Но она также связана с передислокацией центров развития в средневековой Европе: если прежде они концентрировались на севере Франции, то теперь сместились к югу и востоку, расположившись в первую очередь в Италии, а также отчасти в Испании и на севере Германии. Однако куда весомее те изменения, что, отражаясь в источниках, позволяют историку более отчетливо увидеть реальность, которую мы называем частной жизнью. В покрове, прежде скрывавшем ее от нас, в первой половине XIV века образуется большая прореха. В чем же причина?

Прежде всего, глубинные перемены заставили людей более внимательно и трезво относиться к природе материальных вещей: установка, господствовавшая в среде высокообразованных европейцев в период Раннего Средневековья — *contemptus mundi*, как говорили интеллектуалы, или презрение к миру, теряла свою значимость, внешняя сторона вещей, ее обманчивость и склонность к злу постепенно перестали вызывать резкое осуждение. По этой причине искусство — искусство изображать окружающий мир объемным или мазками кисти, искусство скульпторов и художников — на рубеже 1300 года

повернулось в сторону того, что мы называем реализмом. Глаза как будто раскрылись; отныне художник старается передать то, что видит, прибегая к всевозможным приемам иллюзии. Живопись, более приспособленная к таковым, становится в это время во главе всех прочих искусств; появляются первые живописные изображения сцен частной жизни. Взгляд историка, присоединившись к взгляду художника, после 1350 года смог проникнуть внутрь домов, то есть в частное пространство, точно так же, как несколькими десятилетиями раньше в него проникали любопытные взгляды сплетниц из Монтайю. Историк, подглядывая за тем, что происходит в этом закрытом, охраняемом от постороннего любопытства мира, в который, к примеру, ван дер Вейден поместил Деву Марию и архангела Гавриила в сцене Благовещения, впервые получает возможность занять позицию зрителя.

Но это еще не все. Изучая историю частной жизни со второй половины XIV века, исследователь может, также не без пользы, поразмышлять на тему сохранившихся артефактов: по сравнению с предшествующей эпохой они попадают не так уж и редко. Большинство находок предметов повседневной жизни относятся к двум последним столетиям Средневековья: археологические раскопки почти всегда велись в местах заброшенных поселений, а таковые множатся именно после нашествия черного моря. С другой стороны (и это, несомненно, результат повышения общего качества жизни, который сам по себе является следствием сокращения численности населения, то есть пандемии), среди памятников гражданской архитектуры, сохранившихся до наших дней, — замков, городских жилищ, сельских домов — самые древние, за небольшим исключением, датируются XIV веком. Точно так же обстоит дело и с предметами обстановки, и с украшениями. Взгляните на музейные коллекции, к примеру на коллекцию музея Кюони: количество артефактов, датируемых до и после 1300 года, чудовищно несоизмеримо, а если учитывать только

экспонаты, касающиеся частной жизни, диспропорция станет еще более очевидной.

Наконец, тексты и письменные документы начинают приоткрывать завесу над той сферой, о которой ранее до нас доходили только обрывки: ведь реализм завоевывает также и литературу. Фруассар рассказывает о повседневной жизни больше, чем Виллардуэн, роман постепенно освобождается от пелены грез, а архивы ближе к концу Средневековья все активнее снабжают нас документами — более «разговорчивыми», более пытливыми, позволяющими, как и новая живопись, увидеть то, что происходит за стенами домов, проникнуть за ширму, попасть внутрь и подсмотреть. Прежде всего это государственные документы, ведь уже в XIV–XV веках государство, более сильное и лучше вооруженное, стремится все подчинить своему контролю, а значит, добраться и до того, что у человека за душой, чтобы легче было вымогать и подавлять; государственная власть проводит расследования, требует признаний, разоблачает тайное. Пример тому — реестр инквизитора и будущего папы Жака Фурнье: именно из этого реестра Эммануэль Ле Руа Ладюри почерпнул все известные ему сведения о частной жизни крестьянства начала XIV века, и это лишь малая толика той массы расследований, которые велись после этой даты, кроха, волею случая не сметенная ходом времени. Конечно, в эпоху Монтайю борьба между властью, опирающейся на контроль и эксплуатацию, и частными лицами ужесточается, поэтому последние оказывают сопротивление и, дабы себя обезопасить, выстраивают «стену» частной жизни, неприкосновенность которой мы до сих пор так ревностно защищаем. Но за этой стеной начиная с XIV века количество информации также неуклонно растет, потому что частная жизнь все больше фиксируется письменно — ведь для решения частных вопросов люди все чаще обращаются к нотариусу. Растет поток красноречивых для историка описей имущества умерших, брачных договоров и завещаний.

И наконец, несколько позже в архивах появляются еще более информативные личные записи, письма, мемуары, памятные книги.

Настоящее откровение. Едва мы преодолели рубеж между XIII и XIV веками, как перед нами открылся пейзаж, до этого почти полностью погруженный в сумрак. Средневековье, которое кажется нам таким знакомым, которое выступает в качестве декораций исторических романов, имеющих сегодня оглушительный и даже пугающий успех, Средневековье наших мечтаний, Средневековье, которое грезилось еще Виктору Гюго и Мишле, со своей особой манерой чувствовать, любить, держаться за стол, со своими приличиями, внутренней жизнью, набожностью, — это Средневековье не похоже на Средневековье 1000 года или эпохи Филиппа Августа, это Средневековье Жанны д'Арк и Карла Смелого. В общем-то, можно снять кино об эпохе Людовика XI, не опасаясь избытка анахронизмов, но если действие происходит во времена Людовика Святого, лучше за фильм не браться. Так что структуру данной книги в значительной степени задает этот ярко выраженный рубеж — первая половина XIV века. То, что нам известно о более раннем времени, гораздо менее достоверно и фрагментарно.

Тем не менее начиная с 1000 года и до конца XIV века мгла, препятствовавшая историческому познанию, постепенно рассеивается под влиянием присущего каждой цивилизации прогресса — материального и духовного, в неразрывном единстве. Уже только поэтому трехвековое восходящее развитие представляется фундаментальным процессом. И именно так к нему следует относиться, что обязывает при анализе обращать особое внимание на его обуславливающее присутствие, поскольку оно самым непосредственным образом сказалось на формах частной жизни. Например, постепенное введение в оборот денег не могло не повлиять на восприятие личного имущества, на представление о том, что принадлежит лично тебе и не касается других. А так как прогресс подтолкнул

к постепенной переориентации от коллективного к индивидуальному, то сопутствующая этому тенденция к интериоризации и самонаблюдению мало-помалу привела к обособлению в рамках домашнего пространства зоны более интимной, границей которой стало тело каждого отдельно взятого мужчины или отдельно взятой женщины. С другой стороны, эта эпоха, в целом довольно беззаботная, отмеченная сплошной чередой ренессансов, была также временем постепенного и непрерывного познания отдаленных или забытых культур — ислама, Византии, Древнего Рима, иными словами — временем открытия в чуждых способах поведения таких моделей, в которых взаимоотношения частного и публичного непохожи на то, что привычно, и которые заставляют в какой-то степени под себя подстраиваться. Наконец, неуклонное повышение уровня жизни, неравное распределение продуктов производства в рамках сеньориального хозяйства, дифференциация социальных ролей усугубляли контраст между городом и деревней, между богатыми и бедными домами, между мужчинами и женщинами. В то же время неизменно ускорявшиеся темп жизни людей, оборот идей и тенденций, наоборот, стирали региональные различия и способствовали распространению единообразных моделей поведения во всем западном мире.

В будущих исследованиях, направление которым могла бы дать эта книга, необходимо точно датировать все наблюдения, постараться выстраивать как можно более подробную хронологию. Однако на том начальном уровне, на котором мы находимся сейчас, материала слишком мало, чтобы распределить его по хронологической оси. Нам показалась более подходящей и продуктивной другая организация исследования: не желая скрывать пробелов в наших знаниях, мы решили распределить материал по двум большим разделам. В первом — две зарисовки. Одна представляет собой описание частной жизни в XI–XIII веках, при этом основное внимание сконцентрировано на периоде между 1150 и 1220 годами (так как в эту эпоху

прогресс, по всей видимости, ускоряется, разрыв между поколениями становится больше, чем когда бы то ни было вплоть до Нового времени, а источники начинают сообщать сведения, касающиеся образа жизни не только церковных лиц), а также на Северной Франции (территории, оставившей более других свидетельств реалий Средневековья) и аристократическом обществе (лишь над ним в этот период рассеивается завеса тумана). Другая зарисовка, также статичная, касается частной жизни тосканской знати в XIV–XV веках — именно об этом периоде, этом регионе и этой социальной среде до нас дошли особенно богатые сведения. Второй раздел представляет собой более авантюрный проект: мы рискнули осмыслить в долгосрочной перспективе два аспекта общей эволюции: с одной стороны, это трансформация домашнего пространства, с другой — расцвет индивидуальности, особенно в сферах религиозного поведения и художественного выражения. Наконец, между этими двумя разделами вклинивается третий; он затрагивает область воображаемого, и здесь мы имеем дело с литературными произведениями, созданными на севере Франции в XII–XV веках. Художественная литература, требующая деликатного анализа, дает незаменимые свидетельства о том, как на самом деле проживалась частная жизнь.

Эта книга — коллективный труд, и, садясь за ее написание, мы даже мечтали столь тесно сплотиться, чтобы впоследствии нельзя было различить, кто написал ту или иную главу. Но очень быстро стало понятно, что затея эта слишком амбициозна и что, работая в тесном сотрудничестве (в частности, на конференциях в аббатстве Сенанк, в ходе которых наши гости сделали немало ценных замечаний, подсказанных их собственными исследованиями), дополняя и поправляя друг друга, мы пойдем наименее искусственным и, главное, наиболее справедливым путем, если не будем стремиться создать однородную прозу из того, что принесет каждый из нас, а, смирившись с неустрашимыми расхождениями и где-то,

может быть, даже повторами и перекрестами, закрепим за каждым преимущественную ответственность за тот или иной конкретный фрагмент текста. Все под этим открыто подписались. Даниэль Ренье-Болер взяла на себя задачу ввести в общий труд все, что можно почерпнуть по данной теме из старофранцузской литературы. Доминик Бартелеми, который, кроме всего прочего, следил за общей согласованностью работы, взялся за написание глав об отношениях родства и истории жилища в феодальную эпоху. Филипп Браунштайн, Филипп Контамин и Шарль де Ла Ронсьер сосредоточились, соответственно, на исследовании личности и жилища в Тоскане конца Средневековья. Что касается более раннего периода, то здесь я сам высказался по некоторым вопросам.

*Жорж Дюби*

## ПРОЛОГ. ВЛАСТЬ ЧАСТНАЯ, ВЛАСТЬ ПУБЛИЧНАЯ

### *Начнем со слов*

Что такое частная жизнь в феодальную эпоху? Чтобы конструктивно выстроить проблематику — а именно об этом, повторюсь, у нас идет речь, — лучше всего, как мне кажется, начать со слов, прощупать их семантическое поле, то есть ту нишу, в которой гнездится концепт. Выбрав этот путь, я, однако, ощущаю свою приверженность духу тех ученых, которые, изучая рассматриваемую эпоху, проделывали сходную операцию; они были прежде всего грамматиками и, чтобы приблизиться к непознанному, начинали с изучения слов, двигаясь от известного к неизвестному.

В словарях французского языка, составленных в XIX веке, то есть тогда, когда понятие частной жизни уже прочно укоренилось, я, приступив к поискам, обнаружил один глагол — глагол *priver*, означающий приручать, одомашнивать; пример, который приводит «Литтре»\*, «un oiseau privé» — «прирученная птица», раскрывает его смысл: изъять из дикости и перенести в знакомое пространство дома. Затем я увидел, что

---

\* «Литтре» — общепринятое название знаменитого словаря французского языка, составленного во второй половине XIX века Эмилем Литтре, французским философом и филологом.

прилагательное *privé*<sup>\*</sup>, взятое в самом общем смысле, также тяготеет к идее чего-то близкого и знакомого, сближается с понятиями, имеющими отношение к семье, дому, внутреннему пространству. Среди примеров, подобранных «Литтре», есть выражение, навеянное духом времени: «Частная жизнь должна быть ограждена стеной» (*La vie privée doit être murée*), которое он сопровождает весьма красноречивым комментарием: «Нельзя разузнавать и разглашать то, что происходит в доме частного лица (*particulier*)». Как бы то ни было, частное противопоставлено публичному, на что четко указывает термин *particulier* в его исходном значении, наиболее прямом, наиболее общем. Так, находим в «Литтре» две цитаты, одну из Вовенарга: «Тот, кто правит, совершает больше ошибок, чем частные люди (*hommes privés*)», а другую из Массийона: «В жизни великих нет место приватному (*rien n'est privé*), она является общественным (*public*) достоянием».

Тут я натываюсь на слово *public* — публичный, общественный. Вот определение «Литтре»: «То, что принадлежит всему народу, то, что касается всего народа, то, что исходит из народа». Иными словами, власть и институты, которые ее поддерживают, государство. Это основное значение выводит нас на побочное: публичным называют нечто общее, предоставленное во всеобщее пользование, то, что, не находясь в частном владении, открыто и доступно всем; образованное от этого слова существительное *le public* — публика означает совокупность тех, кто пользуется тем, что находится в таком открытом доступе. Естественно, значения продолжают наслаиваться: публичным называют то, что не скрывается, то, что демонстрируется. Так, публичное начинает противопоставляться, с одной стороны, *личному* (тому, что принадлежит кому-либо), а с другой стороны, *скрытому, тайному, закрытому* (тому, что недоступно).

\* Частный, личный, приватный (франц.).

Стоит ли удивляться, что в классической латыни мы обнаруживаем сходным образом организованное сцепление значений вокруг двух противопоставленных слов — *publicus* и *privatus*? В языке Цицерона, к примеру, действовать *privatim* (наречие, противопоставленное *publice*) значит действовать не как *magistratus*, облеченный властью, исходящей от народа, а как частное лицо, в совершенно иной юридической плоскости, но это также означает и делать что-то не на улице, не на глазах у всех, не на форуме, а у себя дома, в уединении, обособленно. Что же касается существительного *privatum*, то под ним понимаются личные средства (снова идея собственности), личное пользование и опять-таки словосочетание «у себя дома» (*in privato, ex privato* — дома и вне дома, снаружи). *Privus* означает одновременно особенный и личный. Таким образом, во французском языке XIX века и в классической латыни смыслы структурированы одинаковым образом; в корне — понятие общности населения, от него берут начало две ветви, одна устремляется к тому, что изъято, исключено из общего пользования, другая — к тому, что связано с домашним пространством, с индивидом, хотя и окруженным близкими. Иными словами, к тому, что юридически неподконтрольно, с одной стороны, той власти, сущность которой выражена словом *publicus*, власти народа, а с другой стороны, толпе. *Res publica* охватывает всю сферу, принадлежащую обществу, сферу, которая в этой связи по праву считается *extra commercium* и не должна быть предметом торговых сделок. В то время как *res privata*, напротив, находится *in commercio* и *in patrimonio* (в частной и наследуемой собственности), то есть подчиняется иной власти, а именно власти *pater familias*, осуществляемой главным образом на закрытой, замкнутой территории *domus*'а, дома. И это снова возвращает нас в Монтайю XIV века с ее закрытыми домашними ячейками, впрочем, закрытыми не столь плотно, чтобы чужие, будь то местные сплетницы, инквизитор или историк, не могли за ними подсмотреть.

Перейдя к разговору о том, как люди выражали свои мысли в Средневековье, и обратившись к словарям Дюканжа, Нирмейера и Годфруа, я обнаруживаю — без всякого удивления, поскольку в начале и в конце хронологического ряда семантическая структура остается неизменной, — что в промежутке между Римом классического периода и XIX веком все обстояло точно так же. В латинских средневековых хрониках и хартиях словом *publicus* обозначается то, что имеет отношение к суверенной, королевской власти, то, что находится в ведении магистратов, обязанных поддерживать мир и правосудие среди населения (например, в таких выражениях, как *via publica*, *function publica*, *villa publica*, или в таком выражении времен эпохи Меровингов, как введенное Маркульфом *publica judiciaria potestas*). Словом *publicus* называют агента суверенной власти, а словосочетанием *persona publica* — человека, на которого возложена миссия от имени народа защищать права сообщества. Что же касается глагола *publicare*, то он означает налагать арест, конфисковывать, изымать из частного пользования, из личного владения. Например, в тексте посмертного легата\* читаем: *Si absque herede obirent* («Если донаторы после смерти не оставят наследников»), *ad monasterium publicatur praedia vel quid haberent hereditario jure* («все, что последним причитается по праву наследования, будет изъято в пользу монастыря»); или в «Истории» Ордерика Виталия: *Si facultates inimicorum publicarentur paupertas egenorum temperaretur* («Если бы у врагов отнимали все их имущество, бедные испытывали бы меньшую нужду»).

В противоположность этим терминам разнообразные значения *privatus* и производных от него слов затрагивают семейную сферу, а также обозначают то, что не носит праздничного характера (например, в уставе святого Бенедикта *privates*

---

\* Имеется в виду оговоренный в завещании дар, вычитающийся из общей наследственной массы и предназначенный конкретному лицу.

*diebus* — в будни). Тут надо упомянуть весьма важное для наших исследований понятие праздника, церемониала, зрелища со всеми сопутствующими жестами, речами, позами, которые следует принимать в присутствии других, дабы преподнести себя. Напротив, слова, выражающие понятие частного, предназначаются для обозначения поведения в тесном кругу, в частности внутри братства; так, в одном из документов из архивов аббатства Сен-Галлен донатор уточняет: *Filius meus privatatem habeat inter illis fratribus* («Мой сын получит эту *privitas* наряду с другими братьями»), то есть он будет пользоваться всеми привилегиями, которые коллективно принадлежат тем, кто входит в эту закрытую группу, отделенную от публичного пространства монастырской оградой. Слово *privatus* используется для обозначения того, что находится в стороне от публичности: в генеалогии, составленной Ламбертом из Сент-Омера в начале XII века, под словом *privata* понимается образ жизни, который ведет Роберт I Фризский, граф Фландрский, находясь в монастыре Сен-Бертен. Это и есть «частная» жизнь, так как во время Великого поста граф, наделенный властью управлять народом как *persona publica*, временно отходит в сторону; решив пожить в монастыре просто как частное лицо, сложив оружие, символ своей власти, он оказывается в иной области юридического пространства, в другом *ordo*, *ordo* покаяния. Завершает эту словообразовательную цепочку слово *privatae*, которое в монашеских латинских текстах обозначает отхожее место.

Обратившись к народным языкам, я замечаю, что в романских диалектах интересующее нас слово означает приблизительно то же самое. Так, в текстах, использующих язык придворного общества, к «частному», к *privance* или *priveté*, относятся люди и вещи, принадлежащие семейному кругу (свои, а не чужие: *estayns o privats* — это противопоставление встречается в песне Гильома Аквитанского), а также все, что находится в пределах домашнего пространства и на что

распространяется власть хозяина дома («de ses hommes mena douze de ses privés», «из своих людей привел двенадцать домочадцев», пишет Вас), причем эта связь не обрывается, даже если домашние вынуждены выходить во внешний мир («où que je sois, je suis votre privé», «где бы я ни был, я принадлежу вашему дому», читаем в «Песне об Аспремонте»). Другое значение опять-таки лежит в области сокровенного, тайного. В «Поисках святого Грааля» рассказывается о «великих секретах и таинствах Господа нашего» («grands secrets et privetés Notre Seigneur»), а когда Вас в «Романе о Роллоне», перелагая Дудо Сен-Кантенского, описывает тайное совещание нормандской знати, сообща пытавшейся найти способ уйти от поборов, которыми франки обложили страну, он говорит, что они собрались *privement* — иными словами, это не такое собрание, где представители народа не таясь, среди бела дня высказывают свои соображения и совместно рассматривают общие дела; хотя речь идет о коллективных интересах, обсуждаются они втайне, за закрытыми дверями. И мы отчетливо видим, как происходит переход от приватности, окруженной атмосферой сообщничества, к чему-то подпольному, а значит, подозрительному. Подозрительным это выглядит в глазах внешней, подавляющей силы, и, стало быть, регулирующая функция публичной власти состоит в том, чтобы все подпольное разоблачить и разогнать. В установившихся таким образом конфликтных отношениях частная жизнь оказывается замкнутой в охраняемом пространстве, в заповедной зоне, и ее можно сравнить с осажденной крепостью.

Вот что дает нам вводный разбор лексики. Отметим в первую очередь устойчивость значений. Понятие, закрепленное в стабильной языковой структуре, переживает века. Совершенно очевидно, что в феодальную эпоху существует весьма четкое представление, выраженное в словах, организованных вокруг *privatus*, о том, что бывают такие действия, предметы, люди, которые по закону неподконтрольны общественной

власти и которые по этой причине помещены в некую область, очерченную четкими границами, чья роль состоит в том, чтобы препятствовать любой попытке вторжения извне. Таким образом, раз уж речь идет не о том, чтобы определить, что такое частная жизнь во всех ее проявлениях, но о том, чтобы понять, чем она является, будучи противопоставленной жизни публичной, то представляется, что данная оппозиция базируется прежде всего на различении пространств. Территория частной жизни — это домашнее пространство, обнесенное оградой. К такому пространству относится, в частности, монастырь, например тот, где уединился Роберт Фландрский, решивший посвятить себя размышлениям о душе, и где вся его жизнь вошла в совсем иное русло, едва он переступил порог. Важно заметить, что существуют различные степени ограничений, что переход от самого внешнего к самому внутреннему происходит постепенно, от площади, дороги, *strada*<sup>\*</sup>, подмостков до крайних проявлений самоизоляции, где прячут самое ценное из своих сокровищ и мыслей, где запираются для действий, которые традиции запрещают демонстрировать. Следует поэтому допустить, что оппозиция частной жизни и жизни публичной связана не столько с пространством, сколько с властью.

Однако мы говорим не о противопоставлении власти не-власти, а о двух различных природах власти. Представим себе два владения, в которых согласно тем или иным правилам поддерживаются мир и порядок, но как в одном, так и в другом индивида держат в подчинении и под надзором, исправляют и карают его, при том что исправительные и карательные функции в каждом случае исходят от различных властей. С одной стороны, речь идет о том, чтобы управлять *res publica, populus*, группой мужчин (я неспроста говорю «мужчин»: на женщин эта власть не распространяется), которые все вместе образуют государство, являются совладельцами

---

\* Дорога, улица (итал.).

общего имущества и разделяют между собой ответственность за всеобщее благо. Это сфера коллективного, следовательно, она, как говорили в Древнем Риме, *extra commercium*, неотчуждаема; *res populi* — это *res nullius* (принадлежащее народу не принадлежит никому), и состоит оно в введении магистратов, *rex'a* и *lex'a*, повелителя и закона, который является гласом народа. От *res publica* принципиальным юридическим барьером отделено то, что в текстах XII века прямо называется *res familiaris*. В одном из картуляриев\* аббатства Ключи хранится документ, озаглавленный «Dispositio rei familiaris» («Уложение о семейной собственности»); это проект ведения хозяйства, разработанный в 1148 году по приказу отца-настоятеля ключийского братства Петра Достопочтенного, озабоченного укреплением домашнего хозяйства, что, собственно, и входило в его обязанности и властные полномочия как *pater familias*. *Res familiaris*, как мы видим, служит опорой семьи, иными словами — коллективной общности, отличной от общности народа, а естественной средой ее сосредоточения, если не сказать заточения, является дом. Это частное сообщество подчиняется не закону, а «обычаю», обычному праву. Некоторые члены данного коллективного тела также составляют народ и потому подпадают под действие закона, но только на то время, пока, отъединившись от этого тела, находятся в публичном пространстве.

Стало быть, частная жизнь — это жизнь в семье, не индивидуальная, но совместная и основанная на взаимодоверии. Вокруг слов, которые в ту эпоху выражают идею *privacy*, группируется еще целый ряд терминов, обогащающих это понятие. Остановимся на одном из них — *commendatio*, слове на самом деле ключевом, так как оно определяет этап вступления в отношения, на которых строится взаимопонимание

---

\* Картулярии — в средневековой Европе сборники копий грамот, подтверждающих земельные дарения, преимущественно в пользу церкви.

внутри частной группы. Как его перевести? Посредством *commendatio* индивид доверяется, вверяет себя главе группы, связывает себя с ним, а через него и со всеми, кто к этой группе принадлежит, сильной эмоциональной связью, называемой на ученом и на народном языках *amitié* — дружбой. Такого рода отношения цементируют все внутренние распорядки и служат строительным материалом для социальной единицы, защитным барьером от «закона», который стремится просочиться, проникнуть внутрь, но если внешней власти это все-таки удастся, она выражает свое могущество через символику проникновения: говоря о Позднем Средневековье, приведу в пример торжественные въезды короля в город, со всей их зрелищностью, вручением ключей — а ведь ключ, висящий на поясе у дамы, то есть хозяйки дома, символизирует иную власть. Власть частную, внутреннюю, которая, впрочем, не менее требовательна и так же, как власть публичная, не готова мириться с непокорным индивидуализмом.

### *Правовой аспект частной жизни на рубеже Раннего и Высокого Средневековья*

Итак, приступив к изучению места частной жизни в так называемом феодальном обществе, мы столкнулись с необходимостью разобраться, где же проходила линия фронта между двумя конкурирующими властями, одна из которых считалась публичной. Каркас этого общества внезапно обнажается, когда около 1000 года скрывавший его фасад государственных структур, уже порядком обветшавший, вдруг рушится всего за три-четыре десятилетия. Создается впечатление, что частная сфера захватила все вокруг. На самом деле всплывшие в этот момент на поверхность властные отношения сложились не вчера, а уже довольно давно. Но до сих пор тексты практически ничего о них не сообщали, а если что-то и проскальзывало,

то по чистой случайности; и вот сведения полились рекой. В этом, собственно, и состоит перемена, называемая «феодалной революцией». Однако если эти отношения до сих пор не упоминались в официальных документах, то потому, что они развивались, постепенно набирали силу в стороне от того, что происходит на виду, в той области, которую обычно не принято демонстрировать: отношения, оказавшиеся теперь на переднем плане, заслонив собой все прочие, носили домашний характер, являлись отношениями частного порядка. В этом историки согласны: феодализация означает приватизацию власти. Во французском издании «Средневековой Франции» Ж.-Ф. Лемаринье на странице 119 читаем: «Публичная власть в конечном итоге закрепляет за своими правами наследственный характер, и кутюмы\*, понимаемые как такие права публичной власти, становятся предметом сделок». Наследство, сделки — именно это в классическом праве отличало *res privatea*, находящихся *in commercio, in patrimonio*, от *res publicae*. Можно даже сказать, что в феодализируемом обществе территория публичного сужается, сжимается и что в финале этого процесса все становится частным, частная жизнь проникает повсюду.

Тем не менее феодализацию также — и я даже думаю, прежде всего — следует рассматривать как дробление публичной власти; именно на этом настаивает Лемаринье в вышеупомянутом труде: «Происходит дробление, а иногда даже крошение государственной власти». Процесс этот приводит к рассеиванию прав публичной власти по отдельным домам, каждый знатный дом превращается в маленькое суверенное государство, где царит власть, которая, даже существуя в столь узких рамках, даже закрепившись внутри дома, сохраняет, несмотря ни на что, свой исконный, то есть публичный,

---

\* Кутюмы — местные правовые обычаи средневековой Франции, сложившиеся на основе старых правд и грамот.

характер. Так что в конечном итоге в феодализованном обществе все становится публичным. В действительности в первой фазе, которая длится до начала XII века, мы наблюдаем постепенное сокращение того, что во властных отношениях мыслилось как публичное, затем на следующей стадии, в период восстановления государств, публичная сфера вновь расширяется. Однако никогда, даже в период наибольшего спада, на рубеже 1100 года, не исчезало представление о специфическом публичном способе властвовать, о том, что существуют особые права, природа которых публична, как, например, регалии (*regalia*)\*, на которые претендовал император в Италии XII века, основываясь на заново открытом римском праве, в период возрождения, возвращения к классическим юридическим формулам, сметенным разрушительной волной феодализации. В том, что касается политической сферы, изучение лексики привело нас к очевидному выводу: противопоставление частного и публичного сохраняется. Наша задача состоит в том, чтобы понять, как в потоке перемен эта структура переместилась в социальную сферу.

Логично будет начать с рассмотрения того, с чем же столкнулась публичная власть. В основе — то, что на латыни именуется *populus*: сообщество взрослых мужчин, наделенных особым статусом, а именно обладающих свободой. В конце X века, в то время, когда начинается феодальная революция, быть свободным означает иметь права и обязанности, которые определяются законом. Это право и обязанность совместными усилиями поддерживать *res publica* (понятие, конечно, было ясно только людям высокой культуры, но оно также было знакомо тем просвещенным умам, для которых распространение мира и справедливости среди людей представлялось проецированием идеального порядка, царящего на небесах

---

\* Регалия — в средневековой Европе привилегия верховного правителя на получение судебных штрафов, тех или иных пошлин и других видов дохода.

и соответствующего божественным замыслам); право и обязанность совместно защищать население и ту землю, на которой оно проживает, то есть *patria* (тоже понятие, не потерявшее своей актуальности, как о том свидетельствуют многочисленные намеки в хрониках XII века: идея государственной деятельности весьма тесно связана с чувством, которое следует обозначить как патриотизм), от внешней агрессии, участвуя в походах, которые каталанские тексты начала XI века справедливо называют публичными; гасить внутренние распри, охранять от того, что зовется «разломом мира», осуществляя совместную месть за тяжкие «публичные» преступления, оскверняющие весь народ, и стараясь примирить, объединить в рамках собраний, называемых публичными, тех свободных людей, которые, к несчастью, оказались втянутыми в конфликт.

Этой деятельностью руководят магистраты, обладающие полномочиями действовать принудительно: созывать армию, вести и возглавлять судебные заседания и исполнять вынесенный приговор. В качестве вознаграждения они получают долю от штрафов, наложенных на свободных людей, нарушивших мир. Их власть не всегда имеет одинаковую силу. Наивысшей точки она достигает в рамках войска, созванного для иноземного похода, за пределы «отчизны». Но и на своей территории в определенное время эта власть может приобретать большой вес и размах. Это так называемое «время опасности» (слово «опасность», *danger*, происходит от латинского *dominiura*, выражающего необходимость усилить власть, ужесточить порядок). Например, ночь: принятые в 1114 году в Валансьене установления о поддержании порядка упоминают колокол, звон которого объявляет о комендантском часе, призывая погасить огонь в каждом доме и приказывая всем разойтись по своим жилищам; пришло время покинуть публичное пространство: на улицах не должно остаться ни души, если только это не нарушители спокойствия, которые тем самым сами себя изобличают и которых тем легче будет нейтрализовать.

С другой стороны, существуют особые зоны, подчиняемые публичной власти. В «Обычаях Барселоны» (вторая половина XII века) под ними понимаются «общественные пути и дороги, источники и фонтаны, луга, пастбища, леса и гарриги»\*. Речь идет, как мы видим, во-первых, о местах посещаемых, в том числе и теми, кого считают бродягами, то есть людьми чужими в данном сообществе, а значит, подозрительными, требующими надзора и естественным образом подпадающими под режим «опасности», либо это люди пришлые и здесь их не знают — чужеземцы (*aubains*), либо люди, исключенные из сообщества из-за своих верований и обрядов — например, еврейские общины. Во-вторых, о диких территориях, *saltus*, невозделанных землях, где пасется скот, где охотятся и занимаются собирательством, — о территориях, находящихся в коллективном владении народа; в Маконнэ в 1000 году они называются «землей франков», это значит, что они принадлежит не кому-то конкретно, но всему сообществу в целом.

Определенное время, определенные места, поведение и социальные категории подчиняются, таким образом, публичному праву; по контрасту с этой сферой вырисовывается другая — неподвластная магистратам, заявляющая о своей независимости весьма демонстративно. Действительно, эта культура, редко прибегающая к письму, множит символы. Так как частная сфера является объектом личного присвоения, знаки, через которые она себя обозначает, выражают прежде всего право владения. Взять хотя бы те самые колья, о которых идет речь в так называемом варварском законе, составленном во франкской Галлии. Колья вбивали в землю, маркируя границы участков, относящихся к тому или иному имени, когда на лугах начинала пробиваться трава, а в полях всходили зерновые, то есть когда в определенный сезон

---

\* Гаррига — в странах Средиземноморья заросли низкорослых вечнозеленых кустарников в нижней части сухих каменистых склонов гор.

эти земли переставали использоваться в качестве общинных выгонов. Я бы сравнил эти колья со знаменами, которые воинские отряды водружали на завоеванных объектах, обозначая тем самым, что они не подлежат коллективному дележу; так, хронист Гальберт из Брюгге, описывая волнения, последовавшие за убийством графа Фландрии Карла Доброго в 1127 году, упоминает знамена, которые различные группы атакующих спешили водрузить на башне убитого графа и на башне прево коллегиальной церкви, которого считали главарем убийц; по сути, их имущество предоставлялось любому, кто хотел его захватить, — вследствие совершенного преступления оно попадало в сферу общественного возмездия; это была добыча, отданная народу на расхищение, но те, кому удалось завладеть ею первыми, изъяли ее из коллективного владения, присоединив к своему имуществу, наложив на нее запрет и закрыв к ней доступ, точно это луг или поле, на котором появились всходы.

Однако главным знаком владения, знаком *privacy*, было не знамя, а забор, ограда, изгородь; этот знак имел огромное юридическое значение и потому часто упоминался в постановлениях, регулирующих социальную жизнь. Сошлемся на одну из глав Салической правды, 34, I «О тех, кто ломает изгороди (*saepes*)», или на Бургундскую правду, 55, 2 и 5, где говорится: «Если межевой столб украдет или сломает свободный человек, то ему отрежут кисть руки, а если раб, то его убьют». Суровая мера, ведь по разные стороны этой границы и порядок различен: во внешнем пространстве — порядок публичный, во внутреннем — частный. Когда в текстах франкского периода говорится о *clausum* (огород), то есть огороженном участке, засаженном виноградом, или о *haia* (живая изгородь и огороженная ею территория, но также лес), о *foresta* (парк), то есть о неводеланной заповедной зоне, то следует учитывать, что отграниченные таким образом пространства подчиняются разному праву. Впрочем, это различие проводят особенно строго, если речь идет о «дворе».

Французское слово *cour*, «двор», происходит от латинского *curtis*, которое в своем исходном значении является синонимом *saepes* и обозначает ограду (например, в Баварской правде, 10, 15), однако ограду особую — установленную вокруг дома. Связь между двором и домом принципиальна, вместе они образуют «жилище». Это ясно видно из документа аббатства Сен-Галлен, датированного 771 годом: *casa curte circumclosa cum domibus edificiis...*, «жилище [помещение частноправового характера, в котором размещается та или иная семья], вокруг которого располагается двор с домами, постройками», или из капитулярия *De villis* времен Карла Великого, предписывающего правила управления королевскими доменами: *ut edificia intra curtes nostras vel saepes in circuitu bene sint custodire*, «да будут бдительно оберегаться строения, возведенные внутри наших дворов и наших границ». Ограда окружает жилище, под кровом которого люди спят, хранят все самое дорогое и где они должны укрыться после объявления комендантского часа. Наиболее наглядную аналогию можно позаимствовать из биологии, из строения клетки: ядро — дом, мембрана — ограда, вместе они составляют целое, в текстах каролингской эпохи называемое *mansus* — место, в котором проживают.

Бывает так, что вокруг дома нет ограды. В указе о мире XII века, касающемся Алемании, прокламируется следующее: «Да царит мир в их домах и дворах, а также в тех дозволенных законом местах [то есть признанных публичным правом, только что столкнувшимся с этими анклавами], которые на народном языке зовутся *Hofstatten*, будь они окружены оградой или нет». На самом деле отсутствие ограды либо случайно, либо, что чаще, закономерно — обычно общей, единой оградой обносили компактно расположенную группу домов. Неогороженных домов, как правило, не было. При постройке новых деревень, обустройстве участков, на которых обоснуются поселенцы, обычно не забывают уточнить, что будущие наделы — это «дворы» и что прежде всего их следует обнести изгородью

(*Liber traditionum*, составленная во Фрайзинге в 813 году). Такая ограда сдерживает насилие, отводит его от тех мест, где люди наименее всего защищены, и закон, публичный, общественный закон, гарантирует этой окружающей дом территории, этому преддверию (*atrium*), «которое в простонародном языке, как уточняется в хронике Хариульфа, зовется двором», защиту, грозя весьма серьезным наказанием тем, кто осмелится нарушить этот запрет и перейти границу, особенно ночью. Кража, пожар, убийство внутри огороженного пространства, совершенные или устроенные посторонними, караются двойным наказанием, так как вина в данном случае — двойная: само преступление и взлом. Напротив, если виновен один из тех, кто законно проживает за оградой, магистрат не имеет права вмешиваться и заходить во двор, если только глава дома не позовет его. Дворы в эпоху Раннего Средневековья были своеобразными убежищами, независимыми разбросанными в пространстве островками, где осуществлялась воля и коллективные права «народа». Тем, кто хотел выйти за пределы такого островка, требовалась другая видимая оболочка или, скорее, другой защитный символ. Для свободных мужчин таковым служило оружие, знак их свободы. Что же касается женщин, то они, оказавшись за оградой, должны были покрывать голову.

Внутри обнесенной оградой территории держались и хранились под запором все *res privatae*, *res familiares*, то есть все личное, движимое имущество, вся собственность, запасы еды и нарядов, скот, а также люди, не являющиеся частью народа: несовершеннолетние мужского пола, до тех пор пока они не станут взрослыми, не получают разрешения носить оружие, участвовать в военных походах или заседать в собраниях, где вершится правосудие, женщины в течение всей своей жизни и, наконец, несвободные обоих полов и всех возрастов. Эти категории подчиняются напрямую не закону, а домашней власти, то есть власти хозяина дома, *domus*, власти *dominus*, как его называют латинские тексты. Они «в его

руке» или в его *tundeburnium*<sup>\*</sup>, если употребить германское латинизированное выражение, которым пользуются скрибы (писари); это объекты его собственности, наподобие скотины, содержащейся в хлеву; это его домашние, его *familia*, его семья, его *mesnage, maisnie, masnade*<sup>\*\*</sup>. Власть над этими людьми переходит в другие руки, в руки публичного правосудия, только в трех случаях. Во-первых, если они выходят за пределы ограды в общественное пространство и оказываются в публичном месте или на дороге без сопровождения главы дома, которому подчиняются, или свободных мужчин из семьи; тогда они становятся кем-то вроде чужестранцев, а значит, магистрат обязан обеспечивать их «сопровождение», бдиль за ними, заменяя отеческую власть. Во-вторых, если глава дома умер, а в доме нет ни одного взрослого свободного мужчины, способного защитить младших членов «семьи»: так, исконная функция короля, делегированная им своим уполномоченным, состояла том, что он брал под свою защиту вдов и сирот. Наконец, в-третьих, если в магистрат поступала особая жалоба, так называемый «крик» (*clamor*), в результате чего злоумышление или враждебное деяние получало публичную огласку, а виновник попадал «под юрисдикцию» общественной власти.

По правде говоря, разделительная граница, на которую официальные тексты все еще ссылаются в X веке, уже давно начала стираться под давлением частной сферы, и это не было следствием проникновения германской культуры в романский мир, варварства — в цивилизацию: этот процесс отмечался уже в классической Античности. Можно увязать его с урбанизацией: город, этакая огромная площадка, предназначенная

---

\* От *tund* (рот) и *beran* (поддерживать). Власть и защита сильного по отношению к слабым, инструмент как частной, так и публичной власти, выражающейся в опеке детей и жены со стороны отца и мужа, но также в покровительстве короля или сеньора.

\*\* Коллектив домохозяев, включая родню, слуг, вассалов, проживающий в одном доме под властью хозяина, отца семейства.

для того, чтобы преподнести публичную власть во всем ее блеске, постепенно был вытеснен деревней, параллельно власть магистрата дробилась и присваивалась сельскими домами. На смену городу в качестве основной модели организованной социальной жизни незаметно пришел «двор». Конечно, представление о том, что королевская функция состоит в поддержании мира и справедливости в обществе свободных мужчин, что на короле лежит обязанность обеспечивать «мир во всей его полноте», как писал в начале IX века Иона Орлеанский, укреплять «единодушие народа», — это представление никуда не исчезло, по крайней мере, оно продолжало жить в головах образованных людей. Однако вследствие в первую очередь христианизации королевской власти король как представитель Бога, а точнее Бога Отца, стал постепенно сам представлять в качестве отца, наделенного властью, аналогичной власти отцов, правящих в своих домах. С другой стороны, властные полномочия, которыми он был наделен, приобретали все более и более отчетливый характер личной, потомственной, переходящей по наследству собственности: привычка к присвоению общественного блага зарождается на вершущке политической иерархии. Это отмечал еще Фюстель де Куланж: словом *publicus* в Древнем Риме обозначали интересы народа, во франкской Галлии — интересы короля; королевская власть стала семейным имуществом, передаваемым, через акт сокупления и рождения, по крови и подлежащим либо разделу между единокровными наследниками в каждом поколении, либо же нераздельному владению братьями — как будто это дом. Мало-помалу *palatium* (дворец, где суверен вершит правосудие) стал восприниматься как жилище: это можно заметить, анализируя смысловые сдвиги, которые претерпели некоторые слова, например латинское слово *curia*.

Изначально это слово обозначало курию римского народа, затем сенат, то есть саму суть городского самоуправления; в сохранившихся текстах *curia* начиная с VIII века часто

смешивается с *curtis*, обозначает то самое огороженное место, откуда публичная власть вытеснена по закону, в то время как сcribes, причем самые образованные, наоборот, используют слово *curtis*, говоря о королевском дворце: *in curte nostra* — так под их пером изъясняется Карл Великий в самых торжественных грамотах. Яркое свидетельство такого взаимопроникновения являет собой и устройство императорского дворца в Эксе, который стал прототипом всех средневековых княжеских резиденций. Некоторые элементы этого здания, сооруженного из внушительных каменных блоков, подобно публичным зданиям Древнего Рима, восходят к величественному стилю урбанистической, гражданской архитектуры: монументальные ворота, галерея, с каждого конца венчающаяся зданием — с северной стороны базиликой, где суверен оглашает закон или приказывает его применить, с южной — ораторием, которому предшествует атриум, где собирается народ, желающий увидеть и услышать суверена, произносящего речи с балкона. Однако трон здесь был обращен к внутреннему пространству, как бы замыкая его на самом себе, что придавало храму характер некоего закрытого места, где у ног хозяина собираются все домашние, — этакий земной образ Отца небесного. Что касается фасада, то разве не являет он собой *curtis*, ограждение пространства, где король живет со своими приближенными, принимает ванны, спит в деревянном доме, кормит своих людей? Дворец в Эксе, как и другие каролингские дворцы, которые позднее возведут феодальные князья — как, например, дворец Ричарда Бесстрашного, герцога Нормандского в Фекане, где недавно производились раскопки, — на самом деле имеют все черты *villa rustica*, включающей в себя обширный штат прислуги, чьи обязанности сосредотачивались прежде всего вокруг часовни и внутренних покоев\*, коварно занявших

\* *Chambre* (франц.). Речь идет о помещении, совмещающем в себе функции спальни и хранилища ценных вещей или казны. Ценное имущество часто хранили в отдельной запирающейся комнате при спальне.

здания публичного назначения. В часовне церковные служители из числа членов «семьи» окружали хозяина во время публичных молитв, но чаще всего они прислуживали ему, когда он уединялся, чтобы помолиться в «приватные» дни. В покоех хранилось то, что уже не являлось (или являлось только на словах) государственной казной, *arca publica*, а, напротив, составляло самую ценную часть *res familiaris*. В доме Людовика Благочестивого, короля династии Каролингов, по свидетельству его биографа, в *res familiaris* входили «королевские украшения [символы власти, которые теперь приравнивались к личным вещам], оружие, чаши, книги и священнические одеяния»; для монаха из аббатства Святого Галла внутренние покои — это комната для одежды, куда убрана одежда для всех случаев жизни, а из грамоты Карла Лысого, датированной 867 годом, мы знаем, что в покоях наряду с подарками, ежегодно подносимыми суверену высшей знатью Империи, хранились льняные и шерстяные ткани, сотканые зависими крестьянами. Все, что в королевском доме появлялось благодаря такой вынужденной и вместе с тем неофициальной щедрости, а также поборам, взимаемым с рабов, — все, за исключением напитков и корма для лошадей, складировалось и оказывалось, согласно указам, регулирующим внутренний распорядок в каролингском дворце, под надзором супруги короля, женщины, которая уже по самой своей принадлежности к слабому полу не являлась частью народа, а была «приписана» к внутреннему пространству дома, что, как мне кажется, весьма красноречиво свидетельствует о неизбежном смещении публичной власти в частную сферу.

Другой очевидный знак — характер отношений, которыми король был связан с людьми из своего окружения. Эта группа (кочевая, отправляющаяся каждую весну в военный поход, а в промежутке выезжающая на охоту на невозделанные земли) собиралась во дворце или вo временном лагере прежде всего для коллективных трапез: для совместного

принятия пищи в обществе хозяина, который воспринимался как кормилец, для зачисления в круг «сотрапезников короля», как говорится в Салической правде. Трапезы играют важную — центральную — роль в ритуалах власти. Все эти люди получали покровительство суверена в обмен на добровольную службу, на свою преданность, выражаемую словом *obsequium* — почтение. Связь устанавливалась через жесты: господин брал в свои руки сложенные ладони того, кто, вручая себя таким образом, занимал позицию ребенка по отношению к отцу. В течение VIII–X веков вследствие того, что жестам распределения пищи и установления псевдосыновнего доверия придавалось все большее значение, неизбежно развилось отождествление *functio*, то есть публичной, государственной службы, с одной стороны, и дружбы, признательности кормящегося и подчинения получателя благ, с другой. Собрание, каждую весну объединявшее вокруг каролингского короля важных лиц государства, воспринималось как семейное, сопровождающееся обменом подарками и застольем, что, заметим, приводило к неизбежному выставлению напоказ частной жизни королевского дома. Ведь частное и публичное состояли в отношениях взаимопроникновения и взаимовлияния: если дворец уподоблялся дому частного лица, то дом любого человека, обладавшего хотя бы крупицей суверенной власти, должен был походить на дворец, то есть быть открытым, выставлять напоказ то, что находится внутри, в частности через застольный церемониал под руководством хозяина. Именно этот процесс можно наблюдать в среде высшей аристократии, в графских домах, начиная с IX века. Граф занимал место отсутствующего короля в каждом из дворцов, возведенных в городах: он должен был, подобно суверену, играть роль публичного лица и одновременно роль отца-кормильца, демонстрируя для этого *privance*, частную сторону своей жизни. Процесс феодализации начался именно с копирования модели, предложенной королевским домом.

### *Феодализм и частная власть*

За несколько десятилетий до наступления 1000 года этот процесс ускорился и, так как цепочка власти отнюдь не была непрерывной, обособились отдельные властные центры. Прежде всего речь идет об автономности большинства местных дворцов, в которых некогда останавливались короли, постоянно объезжавшие свои территории, а между делом там жили графы; во Франции рубежа тысячелетий последние уже привыкли считать, что публичная власть, делегированная королем их предкам, отныне составляет часть их родового достояния; их династии произрастали из некрополей, а линияж как способ организации родства копировался с королевской модели. Заявляя права на обладание символами и атрибутами королевской власти, графы все реже показывались на глаза суверену, и тот факт, что они, как и епископы, отстранились от двора, заставлял забывать, что королевский двор — это еще и публичное пространство. После 1050–1060 годов короля династии Капетингов окружали только самые близкие родственники, немногочисленные соратники, они же компаньоны по охоте, и, наконец, управляющие домашними службами; власть вершить мир и правосудие окончательно перешла в руки местных суверенов, которые время от времени, сойдясь на нейтральной территории пограничных земель, заключали между собой мир, и каждый выступал при этом как патрон, держащий в своей власти часть королевства в качестве придатка к собственному дому.

Прорыв представлений и обычаев, взращенных в лоне частной жизни, в жизнь публичную был столь мощным, что государство очень скоро стало мыслиться как некое семейное предприятие. Рассмотрим два примера.

Замечательный историк Ландольф Старый дал описание Миланского княжества-архиепископства начала второго тысячелетия, спустя полвека после описываемой эпохи; он пишет о Милане, о городе и его сельском окружении, как

о домохозяйстве святого Амвросия, так как суверенная власть принадлежит ныне архиепископу, преемнику святого. В этом гигантском домохозяйстве царит порядок, все хозяйственные функции распределены между десятью службами, десятью «порядками» (именно это слово употребляет Ландольф), связанными между собой иерархическими отношениями; каждым «порядком» управляет «распорядитель», его глава. Самыми многочисленными и самыми престижными являлись, конечно, службы, на которые было возложено управление культом; внизу иерархической лестницы находились две службы, отвечавшие за мирские дела: одна из них объединяла слуг внутри дома, другая, под управлением виконта, преемника бывших магистратов, ныне считающегося лицом, состоящим на частной службе, объединяла народ Милана, сообщество свободных мужчин, участвующих в судебных или военных делах вне *domus*'а (Ландольф называет их «гражданами», но при этом отмечает среди них многочисленных домашних слуг князя). Предполагается, что все они служат суверену в обмен на его покровительство, ожидая, что святой Амвросий будет защищать их как отец, а при необходимости и содержать их; и действительно, мы видим, что во время голода архиепископ Ариберт раздавал монеты и одежду, приказывал распорядителю пекарни каждый день замешивать тесто на восемь тысяч хлебов, а распорядителю кухни — варить восемь щедрых мер бобов, чтобы насытить голодных; накормленный народ символически приобщался таким образом к княжескому дому, включался в его частную жизнь.

Другой пример, тоже относящийся к Италии, но более позднего периода, взят из сочинения, прославляющего победоносный поход пизанцев на Майорку в 1113 году, — эпоса, искажающего реальность, но от того лишь ярче обнажающего символические структуры. Лагерь пизанской армии, то есть сообщества граждан, мобилизованных для военного предприятия, опять-таки представлен как дом или скорее как

огромный зал, где хозяин должен устраивать пиры для своих сотрапезников: шатер архиепископа, занимающего место Христа, находится в центре, вокруг него располагаются шатры двенадцати «вельмож»; занимая, в свою очередь, места апостолов, они руководят бойцами; вожди связаны с прелатом узами родства, вассальным долгом, то есть частными отношениями, через полученные от него фьефы, при этом каждый из них сам является патроном «компании» (и вот снова слово *panis* — хлеб — возвращает нас к идее общей, разделенной пищи) — народа, палатки которого широким кругом окаймляют небольшой кружок знати. «Матрешечная» система патронажа\* — именно так представляли себе свою власть суверены того времени: дом суверена укрывает своим крылом несколько подчиненных домов, каждым из которых управляет «вельможа», чья власть, аналогичная власти вышестоящего, распространяется на чернь.

Такими домами-спутниками в XI веке были замки, сооружения, объединявшие в себе два символа — символ публичной власти и символ власти частной: с одной стороны, выделяющаяся на общем фоне, возвышающаяся башня, эмблема принудительной власти, а с другой — стена, «рубашка», как она называлась в старофранцузском, эмблема домашнего своевластия. Замки пользовались значительной независимостью; однако они всегда считались как бы включенными в дом патрона, а его дом был, в свою очередь, связан с домом короля. Фактически обычаи обязывали глав нижестоящих семейств на время включаться в семью, которой они подчинялись. Когда глава последней, как некогда каролингский король, созывал друзей на большие празднества к своему двору (*curia* или

\* В оригинале Ж. Дюби не прибегает к метафоре матрешки, а употребляет слово «*emboîtement*», которое на русский язык можно передать только описательно, оно подразумевает систему, в которой один предмет вложен в другой. «Матрешка», пусть и чуждый автору образ, наиболее точно и емко передает его мысль, поэтому мы позволили себе эту вольность.

*curtis* — писцы употребляют оба слова), они проводили с ним несколько дней, подчеркнуто играя роль слуг. Вот что Титмар Мерзебургский рассказывает о дворе короля Германии начала XI века: королю прислуживали четыре герцога (он использует глагол *ministrare*: в данной постановке каждый из вельмож, играя роль министра, управлял домашней службой), один руководил застольем и потому находился на вершине иерархической лестницы, другой заведовал покоями, третий — кладовой, четвертый — конюшней. Вместе с тем отношения общезжития, квазиродства носили гораздо более продолжительный характер для сыновей патронов второго порядка, проводивших обычно свое отрочество при «дворе» вышестоящего, где все это время они ели вместе с хозяином, спали, охотились в его компании, воспитывались им, соперничали между собой за его одобрение, надеясь получить от него наряды и развлечения, и, наконец, принимали от него оружие, иногда подругу, меч, жену, иными словами, все то, с чем они в свою очередь встанут во главе собственного дома, независимого, но при этом теснейшим образом связанного с домом-кормильцем теми отношениями, которые были заложены еще в юношеские годы за общим столом. Существенная черта: публичная власть, «раздробленная» феодализацией, отлилась именно в формы частной жизни. Частная жизнь лежала в основе дружбы, обязательства оказывать взаимные услуги, то есть в основе передачи и разделения права властвовать, которое теперь имело свои законные основания только в системе двусторонней преданности между покровителем и протее. Мы наблюдаем, таким образом, четырехступенчатую иерархию: королевский дом господствует над домами суверенов рангом пониже, которые в свою очередь главенствуют над замками, а те распространяют свою власть на народ, живущий вокруг них.

Однако на заре того, что мы называем феодализмом, народ делился на две категории. Лишь немногие взрослые мужчины, вооруженные лучше остальных, исполняли свой главный

гражданский долг — несли воинскую службу — во всей его полноте. Латинские тексты называют их словом *miles* — воин, но сквозь него пробивается латинизированный разговорный термин *caballarius* — всадник, рыцарь. Естественным местом для отправления возложенных на них обязанностей являлась крепость; сюда они периодически прибывали для несения гарнизонной службы; сюда их созывал так называемый «клич замка», когда общественному порядку грозила опасность. Они подчинялись хозяину замка, который называл их «своими» рыцарями, и его власть над ними, подобная власти местного князя над ним самим, имела четко выраженный семейный характер. Когда такой «воин замка» достигал возраста взрослого мужчины, он вверял себя хозяину замка, что сопровождалось определенными обрядовыми жестами: сложенные руки, которые хозяин принимал в свои, выражали вручение себя его власти, поцелуй, знак мира, скреплял взаимную верность. С помощью этих ритуальных действий заключался своего рода договор, связывающий двух участников узами, весьма напоминающими узы родства. Об этом свидетельствуют выбор слова «сеньор», то есть старший в семье, обозначающего того, чьей власти вверялись; затем тот факт, что в подписях под официальными документами рыцари и родственники сеньора смешиваются в одну однородную группу; наконец, то, что патрон считал себя обязанным содержать «верных» ему рыцарей, сытно кормить их за своим столом или же, хотя и не в каждом случае, предоставлять им в качестве средства существования фьеф. Дарование фьефа сопровождалось передачей из рук в руки соломинки, символизирующей акт инвеституры, который, по всей видимости, зародился где-то на заре Раннего Средневековья и восходит к обряду усыновления.

Вверяя себя патрону, рыцари входили в «семью» хозяина замка, попадали в сферу его частной жизни. Именно поэтому в постановлениях Лиможского собора 1031 года при перечислении мужчин из высшего слоя светского общества, «высших

владык», «суверенов второго порядка» и упомянутых после них «рыцарей» к слову *milites* добавлено наиболее подходящее определение — *privati* (частные). Таким образом, часть народа, выключившись из публичной сферы, распределяется по псевдородственным группам. Любые споры, возникавшие между своими, улаживались частным порядком, в «сражении», в судебном поединке или в третейском суде, возглавляемом патроном, которому они служили так, как племянник должен служить своему дяде по материнской линии, помогая ему и давая советы, — и все они при этом имели отношение к управлению общим имуществом, к праву «бана», связанному с замком. Одна из обязанностей, возложенных на них в обмен за кормление или за фьеф, состояла в удержании остального народа в узде путем регулярных, запугивающих объездов территории, прилегающей к замку; эти объезды назывались «кавалькадами»\*, так как роль их состояла в том, чтобы продемонстрировать превосходство агента принудительной власти — человека на коне.

Другая часть населения являлась объектом эксплуатации, которая также имела тенденцию смещаться в сторону частных отношений. Открытое, но чаще скрытое, пассивное сопротивление народа заметно на протяжении всего Средневековья. Оно было достаточно эффективным в некоторых сельских областях с особыми условиями существования, например в горах или тех немногих городах, которые не утратили жизнеспособность в XI веке, в период упадка менового хозяйства: я имею в виду города на юге христианского мира. Здесь всадники были не единственными, кто сохранял важнейшие атрибуты свободы, кто объединялся, чтобы вершить суд или воевать. Наряду с ними в текстах упоминаются и другие фигуры: *boni homines* — «достойные» люди — или же, если речь идет о городах, *cives* — граждане (имеются в виду те, кто в лагере

---

\* От франц. *cavalcade* — группа лиц, едущих вместе верхом.

пизанской армии хоть и не находится в шатре среди привилегированной знати, однако вооружен и готов атаковать Майорку и кого суверен-архиепископ воодушевляет речами как на форуме). Однако таких, чьи позиции и сознание проникнуты гражданственностью, ничтожно мало по сравнению с коллективами *maisnies*, *masnades* — домашних рыцарей. Народ в своей массе также был «одомашнен», но совершенно в другом смысле. К рыцарям «общественный судья» (именно так в постановлениях Ансского собора еще в 994 году именовался представитель верховной власти) относился как к сыновьям, племянникам или зятям, тогда как все остальное население территории, находящейся под его юрисдикцией, он считал членами своей *familia* — возьмем этот термин в его исходном значении, — то есть своей подневольной прислугой. Моделью частных отношений в данном случае являлось не родство, а зависимость. Сознание современников захватил сохранившийся со времен Раннего Средневековья образ большого домена с его сельским укладом: замок представлялся домениальным двором (*curtis dominicalis*) за крепостной стеной, которой в каролингскую эпоху обносили жизненный центр обширного эксплуатационного хозяйства — жилище хозяина вместе со всеми пристройками, а крестьянские рабские лачуги, в которые каролингская знать поселила своих низших подчиненных, располагались в маленьких огороженных «двориках» (*curtiles*).

И действительно, аристократия разместила своих подневольных «каторжан» на клочках земли, поселив их парами, чтобы те рожали и растили детей; это было лучшим способом контролировать человеческий капитал, поголовье *mancipia*<sup>\*</sup>, поддерживать и обеспечивать его воспроизведение. Единственное неудобство состояло в том, что, позволив этим одушевленным предметам, коими, собственно, и являлись рабы,

\* Рабов, невольников (лат.).

иметь свою семью и хозяйство, аристократия была вынуждена смириться с тем, что у них будет своя частная жизнь. Правда, доля этой частной жизни отмеривалась скупой: мужчины должны были каждые два-три дня приходить во двор хозяина, оставаться там в течение целого дня, выполнять все работы, которые было приказано исполнить, питаться в рефектории, что возвращало их в лоно домашней прислуги, в качестве которой они проводили почти полжизни. Женщинам, в свою очередь, приходилось заниматься коллективной работой в гинекее, в женской текстильной мастерской; кроме того, хозяин по своему усмотрению привлекал к работам их детей, рассматривая каждую такую семью как своего рода рыбный садок, черпая из которого он получал слуг на полный рабочий день; наконец, и в доме своих рабов он мог предъявить права на все что угодно: на дочерей, которых он выдавал замуж по своей воле (а если отец хотел сохранить это право за собой, то должен был его выкупить), на часть наследства — на скот по смерти отца, на одежду по смерти матери. В отличие от дворов свободных крестьян, зависимые дворы закон не защищал от вторжения лихоимствующей власти: они были не более чем приложением к дому хозяина, который владел всем их содержанием — мужчинами, женщинами, детьми, имуществом, скотиной, как если бы оно напрямую происходило из его собственной печи, стойла, гумна.

В начале XI века, когда феодальная организация общества становится очевидной, представители публичной по своему происхождению власти стремятся приравнять подвластную им территорию к большому домену и выкачать из всех ее жителей, а также из всех заезжих, которые не являются рыцарями, то, что они привычно выкачивают из лично зависимого населения. И мы можем наблюдать, как инструменты публичной власти, применяемые к невооруженной части населения, приобретают домениальный характер. Это касается как верховного публичного суда, возглавляемого князем или графом,

который трансформировался в семейное заседание, состоящее из родственников, вассалов и частных рыцарей, так и превратившихся в домашние суды деревенских собраний, где судили свободных простолюдинов; хозяева замков делегировали одному из своих слуг функции председателя, и простолюдинов, вне зависимости от их статуса, наказывали так же, как в свое время рабов, принадлежащих доменам. В Маконнэ эта трансформация завершилась к 1030 году, в других областях позднее. В итоге различия в среде «бедняков» (я употребляю слово той эпохи, которое применялось в отношении всех мужчин, не обладавших властью и подчинявшихся бану замка) между теми, кто некогда считался свободным, и всеми остальными постепенно стерлись. Результат совершенно естественный, так как именно в деревенских собраниях, где один мужчина имел право заседать, а другой был этого права лишен по той причине, что с рождения принадлежал кому-то, или где некая женщина могла (я цитирую акт конца XI века, занесенный в картулярий Клюнийского аббатства) «законным образом доказать», что не является частной собственностью того, кто заявил на нее права, — повторю, именно в деревенских собраниях сохранялось понятие свободы. Когда такие некогда публичные собрания смешиваются с домашним судопроизводством, карающим за провинности несвободных, понятие это, естественно, исчезает. На это, впрочем, уйдет какое-то время: сменится три поколения, прежде чем составители указов в маконских деревнях перестанут противопоставлять *servi* и *liberi homines*. А вот выражение *terra francorum* — «земля, принадлежащая франкам», то есть свободным мужчинам, которые пользуются ей на коллективных началах, — вышло из употребления пятьюдесятью годами ранее, потому что все крестьяне, не только франки, теперь пользовались общинными землями, подконтрольными баналитетному сеньору. И уже в 1062 году некий скриб, составлявший дарственную, называл совокупно всех мужчин, которые являлись объектом передачи,

рабами (*servi*); при этом ему показалось необходимым уточнить: «рабы, будь то свободные или рабы», ведь из памяти еще не стерлось их теоретическое различие, хотя по факту частный собственник, владеющий ими, передавал их всех скопом, как стадо скота.

Еще одно следствие перехода права властвовать над «бедняками» в сферу частных отношений состоит в следующем: представители принудительной власти пытались заставить всех, кто, находясь на подконтрольной им территории, не являлся их собственностью, «ввериться» им, точно так же, как это делали рыцари, предоставлявшие себя в их распоряжение. В одной клюнийской грамоте рассказывается о случае, который произошел около 1030 года: в деревне на берегу Соны поселился некий «свободный человек»; сначала он жил «свободно», но через какое-то время ему пришлось «коммендовать» себя местным сеньорам. Это обозначается тем же словом *commendatio*, что и акт посвящения воина сеньору, и ритуальные жесты, возможно, тоже не слишком отличались, однако их последствия были совершенно иными: такое «препоручение» означало включение не в родственную группу, а в *familia*, группу низших подневольных, обязанных служить, но не благородно, по-сыновнему, как рыцари, а рабски, не принадлежа самому себе, будучи присвоенным как вещь. В XI веке богачи Маконнэ дарили и продавали своих «франков» точно так же, как дарили и продавали рабов. Их все еще называют свободными, но их прикрепление к сеньору уже носит наследственный характер; их патрон может прийти к ним в дом и взять все, что ему заблагорассудится, из их наследного имущества; они не имеют права вступать в брак без его согласия. Когда век спустя после этих радикальных перемен язык официальных документов наконец к ним адаптировался, появилось два весьма показательных выражения для обозначения всех зависимых, полностью утративших те статусы, по которым они некогда различались перед законом. Теперь хозяин говорил:

это мой «личный» человек, то есть он мне принадлежит, он из моего частного дома, или же: это мой «человек тела», то есть его тело принадлежит мне.

Тем не менее очевидно, что баналитетным сеньорам не удавалось, за малыми исключениями, поработить всех «бедняков», живших на территории, подконтрольной их замку. Избегали этого те, кто состоял слугами при домах рыцарей: они тоже были личными людьми, однако принадлежали другому хозяину; как сказано в постановлениях, изданных в 1282 году в городе Оранже, они были *de mainada hospicii* — из семьи частного дома, достаточно крупного и самостоятельного, чтобы сохранять свою независимость по отношению к замку. Не касалось это и тех, кого в документе называют «резидентами» (*manentes*). В их отношении сеньориальная власть была менее репрессивной и отчасти сохраняла свой публичный характер. Так, в постановлении города Тенд, изданном после 1042 года, приводятся два вида обязанностей, выполнения которых требовал граф: с одной стороны, те, что не имеют четкого содержания, как это обычно бывает в случае рабов, — они вменялись *homines de sua masnada*, а с другой стороны, платные работы, к которым принуждались *homines habitatores*. Последние были защищены лучше, их отцы в свое время отказались проходить через обряд подчинения и присоединяться к той или иной семье, захватывающей все новых и новых членов, однако и в отношении них требования и повинности, навязываемые в обмен на покровительство человеком, который называл себя *dominus* и стремился над ними властвовать, также принимали выраженный семейный оттенок. Ведь в определенный день им следовало приходиться в дом хозяина с так называемыми «подарками», они должны были отрабатывать барщину, заменяющую военную службу, от которой они были теперь освобождены, находиться какое-то время при «дворе» господина, выказывая к нему расположение и покорность. Похожую роль играл еще один вид вымогательства — так называемое

право на «кров», на «постой», на «проживание». Его публичное происхождение неоспоримо: в Поздней Античности граждане оказывали гостеприимство магистратам во время их поездок. В XI–XII веках такого рода вмененное гостеприимство периодически разрушало границы частной жизни виллана: домочадцы сеньора вставали лагерем в его дворе, кормились за его счет, и он должен был сам либо в крайнем случае один из его всадников провести с ними день и ночь, как в семейном кругу. А когда настойчивое сопротивление таким назойливым вторжениям возымело свой результат и право постоя было ограничено, возникла обязанность предоставлять гостям некий эквивалент: крестьяне, которые считались «свободными», должны были снабдить сеньора, ночующего со своей свитой в деревне, вином из своего погреба, хлебом из амбара, деньгами из сундука, не забыв также принести одеяла, — приобретение этой «привилегии» стало настоящей народной победой; хорошо уже, что виллану и его жене было позволено оставить одно одеяло для себя. Броня частной жизни подчиненного народа, который писатели, наиболее уверенно оперирующие словами, называли теперь *plebs*, а не *populus*, значительно истончилась и прохудилась: на любом уровне социальной иерархии все то, что раньше являлось частным делом, процессом феодализации, точно волной, прорвавшей плотину, вымыло в сферу властных отношений. Парадоксальным образом, в то время как общество феодализировалось, пространство частной жизни неизменно сокращалось, так как власть приобретала все более частный характер.

Религиозная сфера также не избежала этого переворота. Христиане феодальной эпохи, по крайней мере те, чьи поведенческие привычки нам известны, замирают перед божественной властью в ритуальных позах, целиком и полностью веря ей: подобно рыцарям, посвящающим себя хозяину замка, они стоят на коленях, смиренно сложив ладони, ожидая воздаяния, надеясь обрести в загробном мире отеческое

попечение, стремясь попасть в частное пространство Бога, в его *familia*, заняв положенное им по рангу место, то есть место на самой нижней ступени подчинения. Они стараются обосноваться в одном из частных подчиненных пространств, выстроенных в строгую иерархию внутри божественной частной сферы. Они знают, что Бог — судия, что в Судный день Христос, созвав приближенных на частный совет, образованный из своих домочадцев, вынесет приговоры; он станет опрашивать их, как это делают сеньоры на феодальном суде, поочередно предоставляя слово своим баронам, и каждый из них будет отстаивать своих собственных верующих, тех, кто им предан, кто служит им верой. Святые, чье земное могущество происходит из их привилегии заседать на небесах с Владыкой и высказывать свои суждения, выполняют роль ассессоров. Святые бывают жестоки, они мстят, устраивают личные гонения (вспомним святую Фе, известную своей вспыльчивостью) на тех, кто осмелился посягнуть на их скот или вино либо на скот и вино тех, кто им служит, — монахов, штат домашней прислуги, обслуживающий храмы, где покоятся их мощи. Посему христианин старается быть им верным подданным, становясь таким образом кем-то вроде вассала вассала Господа. Самый надежный способ заручиться их благосклонностью — тоже стать их слугой, дав монашеский обет. Сколько рыцарей в XI веке решились на смертном одре облачиться в монашеское платье святого Бенедикта и, сделав щедрое пожертвование ближайшему монастырю, обеспечить себе таким образом право войти *in extremis* в число служителей сверхъестественного патрона? Сколько было желающих, уплатив вступительный взнос, попасть в одну из религиозных общин хотя бы на правах конфрера\*? Сколько было тех, кто посвящал себя — через обряды не вассалитета, но сервильной

\* Конфрер (букв. «собрат») — мирянин, который в обмен на свои пожертвования получает от монастыря право на погребение в нем и молитвы монахов.

зависимости, — подчинялся, становился собственностью святого, сколько было таких (особенно в Германии и Лотарингии) лично зависимых мужчин и женщин, этих «людей церкви»\*, зачастую принадлежавших к высшей аристократии, которые отныне как в этом мире, так и в загробном получили защиту своего владельца, во всяком случае встали под его хоругвь, каковая, как мы видели, является знаком присвоения?

Народ-богомolec, таким образом, неизбежно уподобляется гигантской группе домочадцев, расселившихся по многочисленным домам, каждый из которых находится под покровительством святого или Девы Марии, домам зазывающим, связанным между собой в большую расширяющуюся сеть и привлекающим все новых и новых жителей. В XI веке даже грезилось, что все человечество примкнет к штату небесной прислуги, разместившись по отдельным отсекам общего жилища. Эта мечта подогревала начинание поборников Божьего мира. Они хотели сдержать напор власти, исходивший из замков, воздвигнуть на ее пути новые преграды, уберечь от нее определенные места и моменты времени, установив пределы еще одного частного пространства — пространства, принадлежащего Богу. Нарушать *privacy* этого пространства, разворовывать храмы, мародерствовать на окружающей их территории, отмеченной крестом, на «кладбищах», в «спасенных» местах, не оставляя это занятие даже в дни, посвященные Богу, — значит не считаться с Его всемогуществом, навлекать на себя Его — личную — месть. Поднять руку на мужчину или на женщину, которые по своему положению считались принадлежащими Его дому — на клирика или монаха, одинокую женщину или нищего, — значит не считаться с Ним. Стремиться захватить тех, кому Он оказал свое безмерное гостеприимство в одном из своих убежищ, открытых для безоружных,

---

\* Речь идет о *sainteurs* — мирянах, связанных с той или иной церковью личной зависимостью, переходящей по наследству.

беглецов, Его гостей, находящихся под Его *mundium*<sup>\*</sup>, под Его рукой, — значит не считаться с Ним.

Одно из следствий образования сакрализованной частной сферы путем установления Божьего мира и перемирия — создание условий для собирания общины, то есть благоприятной ситуации для организации публичного пространства. Церкви, где людей крестили, где мертвым отпускали грехи, стали местом формирования маленьких закрытых сообществ, состоящих из местных прихожан, многие из которых в XI–XII веках обосновались под сенью церкви, на неприкосновенной территории, защищенной от насилия предписаниями о мире. Собирая и сплывая «бедных» по принципу соседства, такие деревенские «спайки» способствовали объединению крестьянских дворов, дающему отпор всякому вторжению извне, и те, кто состоял в нем, обладая наравне с другими совместным правом пользования частью невозделанных земель, лучше справлялись с сеньориальными требованиями. В некоторых таких сообществах, чаще всего в небольших поселениях, оживленных подъемом торговли, сплоченность и «дружба» институционализировались, будучи закреплены сохранившимися с незапамятных времен практиками сотрапезничества, которые периодически собирали вместе членов таких союзов взаимной обороны за общим столом — не столько за едой, сколько, и главным образом, за выпивкой. Институционализация выражалась также через ритуал коллективных клятв, который движение за мир вменило воинам, чтобы обезвредить зачинщиков беспорядков, связав их узами пацифистских обязательств, и который, будучи перенесен в среду простолюдинов, сплывал глав домохозяйств того или иного поселения. Внутри таких союзов было принято сохранять «единодушие» — душевное согласие — без всякого вмешательства власти, через дружеские связи, через поддержку «соседской руки», как говорится в кутюмах бурга

\* Опека, защита (латинизированная форма немецкого слова *mund*).

Клюни, записанных в 1166 году. Соответственно, и в частную жизнь, и в «семью» так называемая публичная власть вторгалась только в случаях *fractus villae*, когда все сообщество потрясало какое-нибудь серьезное преступление из разряда «общественно» опасных — прелюбодеяние или кража: в этих случаях граф оставлял за собой право преследования, вплоть до вторжения на территорию собора, даже если виновники находились в личной зависимости от епископа и каноников.

Тем не менее, поскольку вражда в этих объединениях была под запретом — ведь, например, согласно законам о мире, принятым в Лане в 1128 году, не только запрещалось насилие на территориях, находящихся под защитой, но и человеку, «питавшему к другому смертельную вражду», не разрешалось «преследовать его, если тот покидал город, или устраивать на него засаду, когда тот возвращался», так что малейшее проявление агрессии изгонялось из сообщества и направлялось вовне на того, кто стремился ущемить коллективные интересы, — естественным образом сформировалась внутренняя надзирающая власть, группа нотаблей\*, на которых была возложена миссия по улаживанию конфликтов. Таким образом, отдельно и независимо от опекунской власти, которая ограничивалась ведением так называемых «публичных» дел и отправлением правосудия, получившего в XII веке определение «высшее», внутри коллективной частной жизни и вокруг понятия об общем благе вновь складывается сфера публичной активности, отделенная от личных частных инициатив. На самом деле «дружба», «мир» (как часто именовали себя такие союзы), точно так же как и категория «народ» в Раннее Средневековье, объединяли отнюдь не всех местных жителей. Солидарность распространялась только на взрослых мужчин, не находившихся в «домашней» зависимости. Текст

---

\* Нотабли — во Франции XIV–XVI веков почетные лица из дворян, духовенства и буржуазии, приглашавшиеся королем для обсуждения различных государственных вопросов; именитые люди.

соглашения, заключенного в 1114 году в Валансьене, на этот счет совершенно прозрачен: членами активного сообщества становятся мужчины (*viri*) по достижении пятнадцати лет, прошедшие обряд инициации; стало быть, из него исключены — хотя на них и распространяется защита, «мир города», — несовершеннолетние мальчики, все женщины «вне зависимости от статуса и положения», наконец, монахи, монахини и клирики, так как они рабы Господа. Также уточняется, что «внутри поселения всякий хозяин (*dominus*) может бичевать, бить своего подневольного (*cliens*) или раба (*servus*) без боязни нарушить мир; а если рабы, живущие вместе в одном доме и под властью одного хозяина (*dominium*), дерутся между собой, то подавать жалобы и накладывать штрафы следует на их хозяина, то есть на хозяина дома (*dominus hospicii*), а присяжные миротворцы не должны ни в коем случае вмешиваться, если только не последует смерть». «Раб, который ест хлеб своего хозяина, не может свидетельствовать заодно со своим хозяином против кого бы то ни было, нарушившего мир». Таким образом, в пространстве восстановленного порядка, подчиненном общему, то есть общественному, закону, отдельные островки, дома, неприкосновенность которых защищена законом, этому самому закону как раз и не подчиняются. «Атака», посягательство на дом карается по высшему разряду, как «общественное» преступление. В кутюмах общин Пикардии (Атиса, Уази, Валенкура), записанных в начале XIII века, признается право самозащиты: того, кто убил нападавшего в собственном доме, не наказывают; с того, кто пришел в дом и побил проживающего в нем человека, взыскивается весьма крупный штраф — 40 су; если атакующий пытался проникнуть с применением силы, он должен уплатить 100 су, а если ему это все-таки удалось — 200. Неопровержимое доказательство символического значения частного огороженного пространства: если один из членов общины нарушил договор дружбы, община мстит тем, что разрушает его дом. С мезью, на этот раз публичной,

мы сталкиваемся в Валансьене, где она становится орудием магистратов, «присяжных миротворцев»: они дают сигнал к действию (в Аме сам мэр коммуны первым наносит тройной удар), а мужчины забивают виновника во имя общего блага, никак себя при этом не компрометируя: «От сего не может зародиться ни война [то есть месть одного дома другому, осуществляемая группой родственников и друзей и направленная против другой подобной группы], ни вражда, ни злые козни, так как сие есть дело правосудия и суверена».

Итак, на всех уровнях социальной структуры — неизменное разделение между тем, что является публичным, и тем, что им не является, и одновременно — подвижность, смещаемость границы между двумя этими сферами; в силу такого взаимопроникновения понятие частной жизни в феодальную эпоху остается весьма относительным. Чтобы продемонстрировать это нагляднее, я проанализирую один эпизод из истории Генуи, рассказанный нотариусом коммуны. На самом деле эта коммуна представляла собой «компанию» — частнопрововую ассоциацию с ограниченным сроком действия, подобную торговому обществу, объединяющему глав знатных домов, чьи башни, символы власти, возносились одна над другой, бросая друг другу вызов. Власть члены союза, однако, делегировали магистратам, консулам — этот титул, позаимствованный из лексикона Древнего Рима, напрямую отсылал к понятию *res publica*, а консульская должность состояла в действительности в том, чтобы сдерживать агрессивные настроения. В 1169 году в Генуе шла «война», начало которой положила драка на пляже, затеянная пять лет тому назад молодежью из двух соперничающих домов. Предложенный порядок разрешения конфликта заслуживает отдельного внимания. Прежде всего от всех граждан потребовали принести — публично — клятву мира, которая обязывала их преследовать того, кто нарушит порядок. Дома глав враждующих кланов не были разрушены, но в них разместили по крайней мере по одному общественному гарнизону.

Затем в публичном месте — во дворе дворца архиепископа, главного патрона, наделенного регалиями, были организованы публичные бои: «шесть сражений или поединков между лучшими гражданами в огороженном пространстве». Однако в пику этим мерам были предприняты частные инициативы: «кровные родственники и свойственники от каждой стороны» пришли упрашивать магистрата поступить по-иному — созвать примирительное собрание. Обстановка, таким образом, меняется: это уже не гражданский мир; весь город уподобляется спасенному месту, пространству Божьего мира; перед каждой дверью был помещен крест, и в назначенный день весь клир, возглавляемый архиепископом, явился в праздничном облачении, неся реликварии. Обоих «предводителей войны» пригласили поклясться на Евангелии в сохранении мира. Один из них воспротивился. Сидя на земле и отказываясь сдвинуться с места, несмотря на мольбы родственников, он, «завывая», перечислял всех членов линьяжа, умерших «во имя войны»; в конце концов его приволокли к Библии и заставили положить конец мести. Месть в данном случае была, вне всякого сомнения, частным делом. Но вот обязательство сохранять мир — частный это вопрос или все-таки общественный, до конца остается неясным.

И вновь обращаясь к Италии, где рано возникшее нотариальное делопроизводство (в русле которого, помимо всего прочего, зарождались передовые размышления о логике правосудия) позволяет нам лучше разглядеть происходящее, я скажу в заключение еще пару слов о том, каким образом публичные порядки преломлялись, попадая в частную сферу. Речь идет о поддержании мира внутри семейной группы, разрастание которой привело в XIII веке к ее разделу на множество отдельных домохозяйств. Я говорю о *consorteria*, организации родства по модели общины и с той же целью — «для расширения и поддержания дома в добром порядке». Руководствуясь соглашением о *consorteria*, мужчины старше шестнадцати лет, и только они,

давали клятву соблюдать мир, принимали кодекс, учреждали «палату» для хранения общих денежных средств, назначали магистрата, именуемого также консулом; роль последнего состояла в поддержании мира, и с этой целью он периодически заставлял своих братьев и племянников читать наизусть текст соглашения, а когда срок его полномочий подходил к концу, он собирал их вместе, чтобы выбрать себе преемника. Таким образом, внутри самой системы «ячеек», «жилищ», формировавших коммунальное объединение, существовала власть — власть семейная, частная, но при этом странным образом мало чем отличавшаяся от власти публичной, которая управляла всеобщим домом, то есть коммуной. Внутри каждой родительской молекулы от группы взрослых мужчин исходила власть, которая обволакивала все клетки (их можно назвать частными в более строгом смысле), согласуя их между собой. При этом очевидно, что эта власть не пыталась проникнуть в дома силой, так как последние этому настойчиво сопротивлялись.

Сопротивление, выстраивание барьера: складывается ощущение, что в самом центре такой «матрешечной» системы мы наталкиваемся в конечном итоге на некое твердое ядро, базовую родственную группу, «семью», состоящую из мужчины, его жены, их неженатых и незамужних детей и слуг. То есть на дом. Такие дома — публично — обменивались женщинами, привлекая к себе внимание шумными шествиями, проходящими через общественные места, которые устраивались лишь для того, чтобы совершить переход, в котором такой обязательный самопоказ служил интермедией между двумя закрытыми церемониями: помолвкой, которая проводилась в доме девушки, и свадьбой, которая праздновалась в доме юноши. Впрочем, и здесь, в доме жениха, не являлся ли пиршественный зал менее частным, менее приватным пространством, чем комната, кровать, где в конце праздничного вечера исполнялся супружеский долг? Девушка, прежде чем отец, брат или дядя выдавали ее замуж, должна была ясно

выразить свое согласие. Как мы знаем, некоторые упрямылись и отказывали — получается, что власть главы семьи встречала противодействие, натыкалась на препятствия, охраняющие островки индивидуальной независимости. Кажется, что мы вот-вот постигнем самые сокровенные стороны частной жизни, но они от нас ускользают. Наше расследование, перейдя за видимые границы частной жизни, должно продвинуться еще дальше, добраться до самого человека, до его тела, его души, его внутренней жизни.

*Жорж Дюби*

ГЛАВА 1  
ЗАРИСОВКИ

*Жорж Дюби*  
*Доминик Бартелеми*  
*Шарль де Ла Ронсьер*

## ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ ДОМОВ ФЕОДАЛЬНОЙ ФРАНЦИИ

Как мы видели, частную жизнь в феодальную эпоху, то есть в XI–XII веках, нелегко отделить от того, что ее окружает, пытается в нее проникнуть и ей противостоит. Для этого необходимо хорошо знать присущий этой эпохе культурно-социальный уклад во всей его целостности и взаимосвязях. Было бы неосторожно при нынешнем состоянии наших знаний рассуждать о Западной Европе вообще — ведь она являет собой мозаику народов, каждый со своими обычаями, или об обществе в целом — ведь в источниках достаточно подробно освещена жизнь только его высших слоев. Поэтому этюд, предлагаемый вашему вниманию, ограничивается северными территориями французского королевства и касается исключительно аристократических семейств. Находясь под властью главы семьи, домочадцы были включены в двойную сеть отношений: в отношения со-жительства и в отношения родства. Мы решили изучить их по отдельности. Доминик Бартеlemi рассмотрел вопросы, касающиеся льняжа и брака, — о чем я сам немало написал в других работах, которые не стоит пересказывать. Здесь же я сосредоточился на вопросах домохозяйства.

Ж. Д.

## Совместное проживание

### Воображаемое

Чтобы попытаться обрисовать властные отношения, обычаи и ритуалы совместной частной жизни в больших феодальных домах, не лучше ли прежде всего обратиться к воображаемому, к представлениям об идеальном жилище, и начать с рая, с условий проживания избранных в загробном мире? Из текстов, в которых он описывается, я в первую очередь привлекаю те, которые Жак Ле Гофф цитирует в своем «Чистилище» и которые датируются началом Средневековья. Согласно видению Сунниульфа, рассказанному Григорием Турским, «те, кто выдерживает испытание, попадают в большой белый дом». Другому визионеру два века спустя привиделось нечто похожее: «По другую сторону реки — высокие сияющие стены»; однако упоминавший это видение святой Бонифаций поясняет: «То был Иерусалим Небесный». То есть не дом, а город: это политическая, городская метафора; она отсылает нас к городу, который продолжает поражать воображение своими величественными строениями, даже превращаясь в руины, заставляющие вспомнить о Риме; это образ убежища, но убежища публичного, способного принять весь народ божий. Впрочем, и аркады, в которые вписаны фигуры евангелистов на каролингских миниатюрах, отсылают не к архитектуре двора, а к портикам форума. Образ дома наслоится на этот исходный образ позже: романская церковь все еще желает видеть себя городом-крепостью. Тем не менее она прежде всего является жилищем: на тимпане церкви в Конке, где по правую руку от Христа-судии, с правильной стороны, царит спокойная упорядоченность, противопоставленная хаосу левой стороны, где нечестивцы попадают в пасть адову, выделяется один архитектурный символ: ниши, распахнутые в огороженное пространство всеобщего мира и согласия, но при этом покрытые оберегающей их кровлей,

как единое общежитие. В ту же эпоху Бернард Клервоский взывает к раю в сходных выражениях: «О чудный дом, что милее родных шатров», надежный оплот, где *homo viator*\* может обосноваться и обрести покой после многих лет изменчивой скитальческой жизни; вне всякого сомнения, рай — это жилище.

Оставив в стороне грезы священников и перейдя к вообразаемому рыцарей, обратимся к тексту, написанному в конце XIII века для мирского развлечения. Религиозная тема, взятая за основу, трактуется в куртуазном духе, приобретая едва ли не кощунственную окраску: текст озаглавлен «La court de paradis» («Райский двор»). *Court* с *t* на конце значит *curtis*. Но также и *curia*: Бог Отец «хочет собрать свой двор» в полном составе ко Дню всех святых. Он извещает об этом сеньоров и дам из своего дома; глашатаи обходят «дортуары, комнаты и рефектории». Жилище просторно, в нем, как в самых современных замках того времени, много разных помещений, каждое предназначено для особой категории жильцов; есть комната для ангелов, есть комната для дев... Очевидно, что речь идет о совместном проживании домочадцев; перед взором Иисуса Христа — его *maisnie*, домашние, «готовые веселиться». Ключевое слово здесь — праздник, в данном случае бал. На почетном месте находится дама, Богоматерь. Играет музыка, все танцуют и поют. Рай в этом наивном описании предстает как дом всеобщей радости, со всеми домочадцами, активно общающимися, распеваящими церковные песни, танцующими в круг, взявшись за руки и хороводами, объединенными хозяином, *senior*'ом, обязанным «развлекать двор». Здесь переплетаются, с одной стороны, сакральное — непередаваемая радость, ангельский хор, единыящее милосердие, а с другой — мирские, куртуазные ценности: утонченная любовь, которая, по примеру

---

\* Путник, паломник (лат.).

милосердия, упорядочивает и объединяет всех сотрапезников суверена в одно целое.

Эта поэма побуждает нас расширить исследование, включив в него дошедшие до нас образцы литературы эскапизма, начало расцвета которой приходится на конец XII века. Ее авторам тоже грезятся дома, но уже не небесные. Наиболее значимые тексты, которые были проанализированы Мишель Перре во время одной из наших встреч в аббатстве Сенанке, позволяют сделать три основных вывода. Во-первых, об обязательности ограды; кроме того, мы обнаруживаем, что на рубеже XIII века пространства, огороженные стенами, пу-стеют, становятся декорацией для индивидуальной авантюры. Во-вторых, в произведениях, предназначенных для «молодых», то есть для холостых мужчин, образ идеального домашнего пространства невероятно эротизируется: это заповедник женщин, которые находятся под замком и под присмотром, отчего становятся только соблазнительнее, — девичья башня с запертыми в ней девственницами. Здесь выходит на поверхность подавляемый, но навязчиво возвращающийся фантазм о свободных половых отношениях, нашедший, в частности, воплощение в этиологическом мифе, рассказанном Дудо Сен-Кантенским в начале XI столетия, а три века спустя упомянутый в речи кюре Клерга из Монтайю. Кроме того, защитники ортодоксального христианства проецировали его на тайные ночные, будоражащие воображение собрания еретических сект с целью их очернить. Как бы то ни было, когда в куртуазном романе дело доходит до любовной игры, авторы помещают ее в специфическое пространство: если, проникнув за ограду, герой овладевает одной из недоступных женщин, то это часто происходит в подземелье: любовью не занимаются при свете, а если любовь незаконна, то и место ее, собственно говоря, под землей. Причем — и это третий вывод — идеальное жилище в воображении мирян наполнено воздухом и светом: это дом с тысячью окон и множеством светильников, разгоняющих

тзму. Достраивают всю эту картину воспоминания о садах на Оронте\* — восточный колорит, бегущие ручьи, все мыслимые красоты. Рай представляется густонаселенным домом, ликующим от счастья, а идеальный дом — лучезарным раем, готовым предаться всем радостям жизни.

### ***Монастырь: образцовая частная жизнь***

Однако копии райского жилища можно увидеть своими глазами на земле. Таковы бенедиктинские монастыри, претендующие на то, чтобы быть проекцией райского дома в поднебесной, являться одновременно его преддверием и прообразом. Соответственно, они представляли собой «город», со всех сторон огороженный крытой галерей — клуатром (*claustrum*), доступ в монастырь строжайшим образом контролировался; единственные ворота, так же как и городские ворота, открывались и закрывались в определенные часы, а сообщение с внешним миром регулировалось жизненно важной «гостиничной» службой. И все-таки монастыри — это прежде всего дома, в каждом из которых проживает «семья», причем дома самые совершенные, самые обустроенные: с одной стороны, начиная с IX века в монастыри стекались наиболее значительные ресурсы, что выдвинуло их в авангард культурного прогресса; с другой стороны, все в них было организовано в соответствии с ясным, четким, тщательно выверенным планом достижения совершенства, предусмотренным уставом святого Бенедикта. А так как именно о бенедиктинских монастырях, чьи внутренние распорядки ясно изложены во многих документах, сохранилась наиболее подробная информация, то, анализируя их, мы сможем подойти к изучению совместного проживания в богатых домах.

---

\* Река на Ближнем Востоке, на берегах которой с древних времен находился город Антиохия.

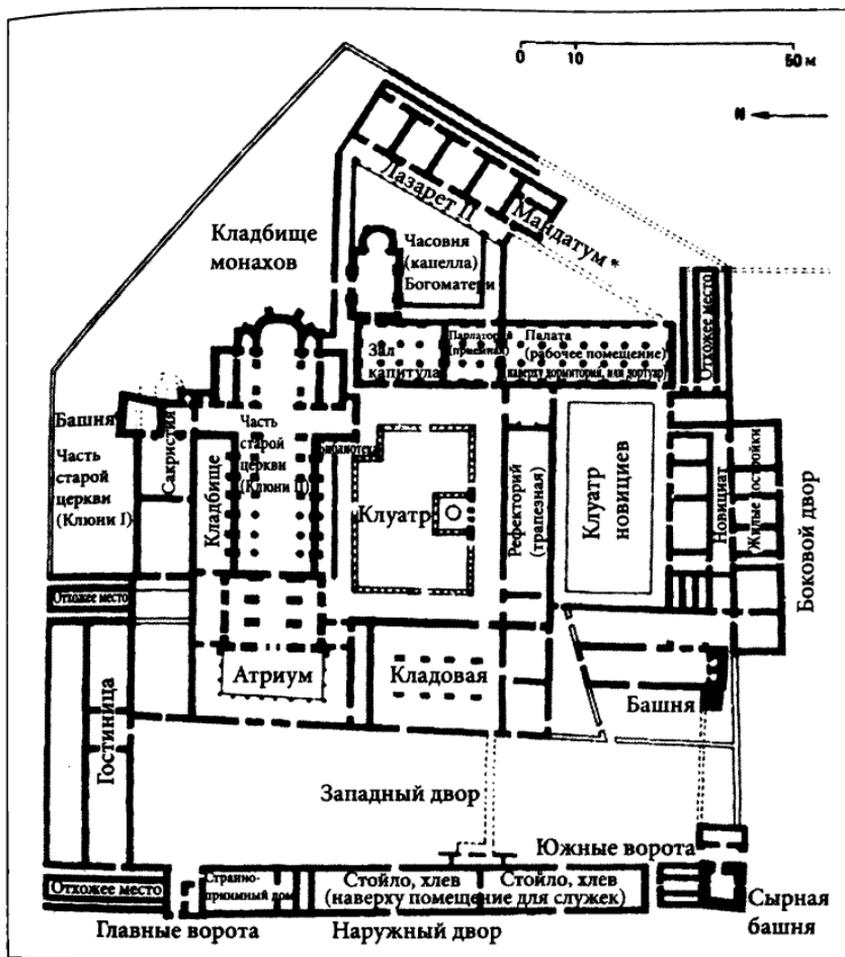


Рис. 1. План аббатства Клюни в середине XI века  
(составлен К.Дж. Конантом)

\* Мандатум (mandatum) — обряд омовения ног, практиковался в монашеских общинах и вошел в богослужебную практику многих христианских церквей. Совершался в Великий четверг на мессе воспоминания Тайной вечери, перед которой Иисус омыл ноги своим ученикам. Здесь — одно из помещений, примыкающих к лазарету, предназначенное для очистительных омовений.

В период расцвета каролингского возрождения, между 816 и 830 годами, когда император Людовик Благочестивый завершал монастырскую реформу, планомерно вводя бенедиктинскую модель, был разработан один теоретический проект — идеальная планировка монастырского пространства: я говорю о знаменитом плане монастыря Святого Галла (аббатство Сен-Галлен), чертеже, снабженном экспликацией и выполненном в масштабе 1:192 на пяти сшитых пергаменах. Он был отправлен, по всей видимости, епископом Базеля настоятелю Гозберту, который занимался перестройкой аббатства. В данном проекте, теоретическом, вследствие стремления максимально полно соответствовать вселенской гармонии композиция ориентирована по сторонам света в прекрасном арифметическом равновесии, в основе чертежа лежит базовый модуль для сорока колонн, образующих неф церкви — точку отсчета для всей планировки. Сердцем этого организма является церковь, связующее звено между землей и небесами: здесь, когда община собирается для исполнения своей главной обязанности — пения хвалы Господу в унисон с ангельским хором, — происходит соединение с раем.

К югу от богослужебного пространства находятся жилые помещения монашеской братии. Планировка обители напоминает античную виллу: к церкви примыкает внутренний двор с кладовой, хранилищем для продуктов, кухней и хлебопекарней по одну сторону и рефекторием по другую; над рефекторием предусмотрено помещение для хранения одежды; наконец, с третьей стороны — зал, по бокам от которого располагаются отхожие места и купальни, а над ним, на втором этаже, — dormitorio, сообщающийся с церковью. К этому комплексу примыкают многочисленные сельскохозяйственные и ремесленные пристройки, сады, риги, конюшни, стойла, хлев, мастерские, жилища для слуг. С северной стороны, за церковью и тоже соединяясь с ней, находится обитель отца-настоятеля — отдельный дом с кухней, кладовой

и купальной. Здание в северо-восточной части предназначено для временно исключенных из братской общины, для больных и новичиев, оно тоже автономно, но разделено пополам, с отдельным помещением для очищений и кровопусканий в самом дальнем углу. Наконец, рядом с воротами, на северо-западе, находятся два здания, также полностью оборудованные, — для гостей, допущенных на территорию монастыря; в здании, стоящем ближе к дому настоятеля, принимают почетных гостей и школяров «со стороны», которые не являются частью семьи; другое здание, то, что ближе к братьям, отведено для бедных и паломников.

Мы видим, что такая организация стремится отразить строгую иерархию небесного двора. В центре находится Бог, храм; справа от него, в продолжение северного трансепта, стоит изолированный дом настоятеля — главы семьи: только он поселен по высшему разряду; по левую сторону от Всмогущего на третьей ступени иерархии находятся равные между собой члены семьи, сыновья, братья, монахи, занимающие место ангелов и образующие, подобно им, воинство; кормит этот «гарнизон» домашняя служба при трапезной, ведь автаркия, самодостаточность является здесь идеалом; дальше всего от ворот — этого разлома, ведущего в испорченный внешний мир, — размещают молодых новобранцев в период обучения, немощных, детей, стариков, а также мертвых (здесь же находится кладбище); это самая беззащитная часть общины, которую по причине этой ее слабости следует приютить, поместив вдали от остальных, хотя и под защитой десницы Божьей. С правой стороны находятся сооружения, связанные с духовной деятельностью, — школа и скрипторий (мастерская писцов), в то время как все материальное, все, что питает тело, отнесено по левую руку Господа. Также можно заметить, что могилы ориентированы на восток, на рассвет, символ воскресения, а гостям отведена западная часть — сторона заходящего солнца и порочного мира.

Этот проект нашел воплощение в монастырях IX века. Некоторые из них были огромны и перенаселены: так, в Корби в 852 году проживало 150 монахов, постоянно кормилось 150 вдов и ежедневно останавливалось 300 гостей; многочисленные службы были выведены за пределы монастырской ограды, образовав обширный посад, как вокруг аббатства Сен-Рикье, где на каждой улице проживали работники, специализирующиеся на том или ином виде деятельности. В феодальную эпоху монастырское пространство всякий раз пытались приспособить к плану Святого Галла, однако тенденция к постепенному уплотнению затрудняла его воплощение. Это можно заметить на примере Ключни при аббате Одилоне в середине XI века (до возведения роскошных строений его преемником святым Гуго, который, воплощая имперскую мечту, обратился к другой модели — городской, восходящей к Античности и уделяющей больше внимания публичности). Та же ориентация в пространстве; то же расположение ворот; в центре — церковь, немного смещенная в сторону; та же планировка жилища для братской общины; большие и кладбище на востоке; на западе просторный двор для приема гостей и сама гостиница, тоже разделенная на две части. Однако исчез отдельный дом для настоятеля, который теперь жил среди своих сынов, а внутри монастырских стен больше нет ни риг, ни мастерских. Ведь согласно ключнийской интерпретации устава святого Бенедикта, физический труд, предписанный монахам, стал сугубо символическим; идеал самообеспечения сохранился, однако снабжение продовольствием стало возлагаться на хозяйства-спутники — деканаты, рассеянные по округе, структура которых воспроизводила в самом скромном виде, как ясно видно на примере деканата Берзе, устройство «материнского» дома. Здесь из всех вспомогательных построек сохранились только конюшни; в эпоху «цивилизации всадников» пристрастие к лошадям проникло и в монастырскую жизнь: настоятель Ключни выходил во внешний мир только

в сопровождении эскадрона всадников. Монастырская община стала более широко пользоваться деньгами, поэтому в раскинувшемся у ворот монастыря «бурге», снабжавшем его *vestitus*, одеждой, и другими предметами *exteriora*, то есть тем, что покупалось снаружи, охотно селились торговцы, ремесленники, наемные слуги. Так монастырь внутри своей огады стал более однородным. Стал единым домом. Мы довольно подробно представляем себе внутренний распорядок частной жизни монастыря благодаря сборникам кутюмов и уставам, где все обычаи подробно фиксировались.

Вообще в рамках клюнийской культуры совместное проживание понимается как непрерывное и тщательно ритуализированное богослужение. Оно организовано вокруг настоятеля, отныне плотно интегрированного в руководимую им общину, которую он не покидает ни для принятия пищи, ни для сна; если он болен, то находится в лазарете вместе с другими больными; как и все прочие монахи, в порядке очереди выполняет свои обязанности по кухне. В этом состоит первая особенность — усилившееся желание обрести чувство локтя, страх изоляции: частная жизнь стала настолько коллективной, что глава семьи не имел больше места для уединения. Вместе с тем знаки почтения по отношению к нему приобрели более выраженный характер. При его появлении, как и при его уходе, все встают; кланяются, когда он проходит мимо; в рефектории перед ним стоят две свечи, а когда он направляется в церковь, в зал капитула для ежедневного собрания или идет по монастырю в ночное время, один из сынов освещает ему дорогу. Когда он возвращается после отъезда, вся община, празднично одетая, выходит его встретить, при входе в церковь он по очереди целует монахов (ритуал отеческого поцелуя), а в рефектории в этот день подают дополнительное блюдо (ритуал праздничного пира); впрочем, и за столом он отличается от остальных: ему приносят более изысканные кушанья и лучшее вино. Свет, поцелуй, вино, шествие, все торжественные

признаки «радостного въезда», как позднее будут говорить о королях. Настоятель — это хозяин.

Он правит суверенно, он держит в своей монопольной власти все домашнее общество. Тем не менее он управляет не один. Ему помогает команда, с которой он должен совещаться, посредническое звено, состоящее из тех, кого в сборниках кутюмов называют *seniores*, словом, проливающим свет на главную черту внутренней социальной жизни — обязательную подчиненность младших старшим. С другой стороны, настоятель опирается на тех, кто возглавляет различные службы, на должностных лиц. Приор, «первый», — своего рода вице-настоятель, заместитель аббата. Ниже него стоят ответственные за четыре подразделения. За церковь отвечает ризничий, он открывает и закрывает ее в положенные часы, распоряжается богослужебными принадлежностями, всей религиозной утварью, которой пользуется община, отправляя свои специфические обязанности. Камерарий ведает тем, что хранится в самом сердце жилища, в казенной «палате»: он отвечает за финансы и за все, что попадает в монастырь в качестве дара, оброка или приобретает за деньги и что в течение XI–XII веков только увеличивается в объемах: будь то ткани, вино, ценные металлы или деньги — все концентрируется в его руках, а он обеспечивает их разумное перераспределение. Именно камерарий каждую весну обновляет гардероб монахов, а каждую осень, накануне Дня всех святых, — их тюфяки и другие спальные принадлежности; он приобретает подковы для лошадей и бритвы, а также везде, кроме церкви, следит за освещением. Всем, что касается *victus*, съестных припасов, обычно пополняемых за счет монастырской земли, ведает келарь; распорядитель кладовой, в которой ночует один из монахов и где постоянно горит свет, ежедневно распределяет пайки, ему помогают виночерпий, лабазник, ответственный за зерно (но также и за воду, а значит, за стирку), и коннетабль, отвечающий за то, что представляет элемент светской роскоши в Ключи, — за кавалерию.

Контакты с внешним миром, на которые падает подозрение в нечистоте и которые стоят ниже монашеского достоинства, обеспечивает четвертая служба, ею совместно заведуют гостинник и раздатчик милостыни. Последний распределяет излишки среди нищих, навещает в посаде за монастырскими стенами прикованных к постели больных (кроме женщин — этим занимаются светские слуги под его начальством), в самом монастыре отвечает за содержание восемнадцати бедных пребендариев, то есть пансионеров (присутствие нуждающихся в благотворительности считалось обязательным для любого зажиточного дома), а также за приют странствующих нищих: давать им пристанище — значит оказывать милосердие. Знатных же гостей, выходцев из той же среды, что и монахи, — которых легко опознать по тому признаку, что они путешествуют не пешком, а верхом, — принимают принципиально по-иному: их встречают как друзей и размещают в помещениях, которыми заведует гостинник. В конце XI века в ходе строительной кампании под руководством святого Гуго странноприимный дом превращается во внушительное строение, 135 на 30 футов, поделенное на две части (и тут внезапно проливается свет на то, что нас особенно интересует, — на домашние распорядки в среде светской аристократии): одна часть на сорок тюфяков и сорок индивидуальных отхожих мест — для мужчин, другая — на тридцать спальных и тридцать отхожих мест — для женщин, «графинь и других благородных дам»; между ними располагался рефекторий, где мужчины и женщины встречались за столом: роскошный зал с кубками и скатертями, обслуживаемый многочисленной прислугой, дворецким, поваром, привратником, подручным, который мыл гамаша и приносил воду, погонщиком ослов, который снабжал дровами. Все они были наемными работниками, которыми руководил гостинник — посредник в отношениях с внешним миром, вступающий в контакт с тем, что оскверняет, почему, собственно, на его службе, помимо

всего прочего, лежала обязанность заниматься уборкой всех отхожих мест в монастыре.

Посторонние, таким образом, попадали в частное пространство и делили его какое-то время с теми, кто жил там постоянно: такое совместное проживание было, как правило, общедоступно, а гостеприимство, оказываемое согласно статусу, в случае приема самых знатных гостей подчинялось строгому этикету: в Ключни суверенов встречали торжественным шествием. Однако тот, кто, покидая публичное пространство, входил в монастырь, в эту особую форму *privacy*, должен был, едва переступив порог, измениться, вжиться в роль кающегося грешника: так, находясь на территории монастыря, жены не делили ложе со своими мужьями. Одиноким женщинам, в частности вдовам, решившим провести остаток жизни при монашеской общине, разрешалось присутствовать при самых важных богослужениях, но жили они за монастырской стеной в собственных домах — вспомним, к примеру, Иду, графиню Булонскую, со свитой приживалок и служанок, или мать Гвиберта Ножанского, живущую при монастыре Сен-Жерме-де-Фли. Если в определенные часы посторонние и допускались в пространство, предназначенное для такого торжественного и полупубличного праздника, каким стремилось стать ключнийское богослужение, на такие церемонии, которые могли бы считаться эквивалентом ритуала коронавания в королевском дворце, то их всегда строго ограждали (точно так же, как небольшую группу домашней прислуги, питавшуюся черным хлебом бедняков) от того бастиона частного пространства, где жили хозяева, ядро «семьи», братство, стоящее за отцом-настоятелем.

Братство, согласно зафиксированным ключнийским предписаниям, состояло из четырех групп, распределенных по четырем различным зонам: новициат, лазарет, кладбище и клуатр.

Жилище новициев, отделенное от жилища монахов церковью, являлось переходным пространством, чем-то вроде

места для созревания: здесь своим неспешным ходом совершалось духовное воспроизводство общины; детей, которых линьяжи отдавали сюда в весьма юном возрасте, кормили и обучали под руководством наставника; когда период обучения заканчивался, когда новии усваивали далеко не простой образ поведения, выучивались петь, делать то, что требуется, изъясняться знаками в моменты соблюдения тишины, их торжественно переводили в ряды взрослых. Это был обряд усыновления, включения в общину. Начиналось все с акта принятия на себя личных обязательств, с обета, который излагался письменно, подписывался, зачитывался, а потом помещался в алтарь перед собравшейся общиной; затем следовали жесты, символизировавшие, как в обряде посвящения в рыцари, принятие в соответствующую группу: бывший новий завершал свое облачение, надевая недостающий элемент монашеского костюма — рясу, после чего шли жесты приветствия: поцелуй мира, который новоиспеченный монах получал от аббата, а после него от каждого из братьев; завершалась церемония трехдневным уединением, погружением в себя, во внутреннее и сокровенное, в самое что ни на есть личное. Все эти действия, жесты и обряды, подобно подготовительным ритуалам бдения и омовения, которые проходил посвящаемый в рыцари, символизировали смерть и последующее воскрешение; здесь, однако, особо примечателен трехдневный период одиночества. Это испытание. Чтобы стать монахом, нужно уединиться, покрыв голову капюшоном, а тело рясой, и оставаться так день и ночь в полной тишине: это как оболочка, маленький дом внутри большого, кокон, в котором происходит перерождение, внутренний монастырь — для ухода в себя, уединения, напоминающего о Христе в гробнице, и для возрождения в новом виде.

Лазарет — это тоже изоляция, место ожидания: часть общины остается здесь в течение какого-то времени вследствие своей нечистоты. Ведь болезнь понимается как знак греха; больной должен быть изолирован до момента своего

очищения. В лазарете Клунийского монастыря было два помещения для очистительных омовений, омовений ног и посуды, в каждой из четырех других комнат располагалось по две кровати, и только настоятель имел привилегию один занимать такую комнату; здесь же была отдельная кухня, так как больные монахи, менее чистые из-за своей болезни, придерживались особого питания: им уже не запрещалось есть мясо, которое, как считалось, возбуждает кровь, придает огня их немощным телам; однако тот факт, что они на время становились мясоедами, еще больше отдалял их от общины, в частности не давал им права причащаться; после соборования мясо исключалось из рациона, так как отныне умирающие причащались каждый день и главной заботой было приблизить их к ангельскому состоянию, постепенно отдалив от всего плотского. Пансионеров лазарета можно было узнать по посоху, знаку немощности, и покрытой голове, знаку покаяния. Ведь болезнь настигала их из-за греха, поэтому они должны были стремиться к очищению, совершая покаянные ритуалы; когда они выздоравливали, то прежде чем присоединиться к остальным, им следовало совершить последнее очищение, пройти ритуал омовения.

Для большинства пребывание в лазарете предшествовало переходу в мир иной, переходу, который тоже представлял собой коллективную ритуальную церемонию. Никто не умирал в одиночестве: смерть была одним из самых публичных актов. Как в светском обществе праздновали свадьбу, так и вокруг умирающего организовывали нечто вроде праздника, в ходе которого взаимодействие достигало максимальной полноты. Когда состояние больного ухудшалось, два брата выносили его из лазарета и доставляли в зал собраний, то есть зал капитула, к ожидавшим там монахам для последней исповеди, которая должна была быть публичной; затем умирающего возвращали в лазарет, чтобы он прошел причащение, соборование и попрощался с общиной: поцеловав крест, он затем обменивался

поцелуем мира со всеми братьями, начиная с аббата, точно так же, как в конце своего новициата. Когда начиналась агония, над ним бдели не отходя ни на шаг; перед ним помещали кресты и свечи, а все монахи, оповещенные стуком в дверь клуатра, собирались и читали вместо своего брата *Credo* и другие молитвы. Когда тот отдавал душу Богу, монахи, равные ему по статусу в иерархии возрастов и обязанностей, омывали его тело, приносили в церковь и после отпевания хоронили на кладбище. Кладбище входило в самую приватную зону монастыря, отведенную именно для братства, собственно, и составлявшего монашескую общину, и занимало три четверти семейного пространства. Покойные вовсе не были отделены от здравствующих братьев. В годовщину их смерти в рефектории подавали более обильные и вкусные блюда; считалось, что покойники кормят общину, едят вместе с ней (и только с ней, так как посторонние не допускались к этой трапезе, а ее остатки доставались бедным членам семьи) и снова приобщаются к ее плотской жизни, как того требует главный ритуал совместного проживания.

Наконец, последняя зона — жилище. Подразумевалось, что жилище, занимавшее в Ключни место в центре *curtis*'а, является иллюстрацией, образцом идеальной частной жизни на земле, и потому его устройство и распорядки старались приблизить к небесным. Упорядочить четыре стихии видимого мира — воздух, огонь, воду, землю — во внутреннем пространстве, внутреннем дворе с крытыми галереями, который мы называем клуатром, в этакой интровертированной форме публичной площади, замкнутой в рамках приватности; упорядочить время, строго регламентированное согласно сезонам, дневным и ночным часам; упорядочить виды деятельности, гармонично распределенные по различным помещениям. Тщательнее всего прибирали и украшали церковь — помещение, предназначенное для *opus Dei*, дела Божьего, для службы монахов, для молитв, которые пелись всеми вместе в полный

голос. Рядом с ней, ориентированный в том же направлении, располагался зал (*aula*) для обсуждений и судебных собраний, аналогичный античной базилике, но изолированный, все слова, произнесенные в этом месте, были тайными и приватными; ежедневно после утренней молитвы «действующие» братья, которые не были наказаны, собирались здесь все вместе, для того чтобы в первую очередь поддержать чувство сплоченности, зачитывая главу из устава и список покойников, название которых по именам фактически заявляло об их присутствии, а также для того, чтобы совместно, как на совете феодального суверена, рассмотреть текущие дела и затем всей семьей приступить к взаимным наказаниям: зал был местом для нескончаемой самокритики, где регулярные доносы на нарушение дисциплины, исходящие либо от самого провинившегося, либо от других монахов, имели целью поддержание внутренней дисциплины. Виноватых стегали розгами — наказание, характерное для частного домашнего правосудия, применяемое отцом семейства в отношении жены, детей, прислуги и рабов; затем на время очищения их изолировали от общины, они получали пищу отдельно от остальных, ходили только с покрытой головой, не пересекали порог церкви, держась в стороне и будучи в одиночестве; и здесь важно отметить, что одиночество опять-таки понимается как изгнание. Как испытание и наказание.

Когда вина была таким образом искуплена, заблудшая овца вновь присоединялась к стаду. Ежедневная совместная трапеза в рефектории и постный ужин являли собой церемонию, которая также скрепляла братскую общность. Пищу принимали, сидя в определенном порядке, скатерти на столах меняли каждые две недели: настоящий княжеский пир, где для каждого сотрапезника, занимавшего предназначенное ему место, уже были приготовлены хлеб и нож; из кухни приносили миски, а из погреба — вино, которое разливали по чашам «надлежащей» меры: по одной на двух монахов;

порядок предписывал пить бесшумно, контролируя свои жесты и поддерживая безупречную дисциплину. Когда настоятель, сидевший в центре, в полной тишине подавал сигнал, все причащались, а чтение вслух одним из братьев занимало умы, отвращая от вождения пищи.

На закате наступало опасное время, когда дьявольские искушения становились особенно навязчивыми. Тогда следовало плотнее сомкнуть ряды, следить друг за другом еще внимательнее: в dormitorio на верхнем этаже, на недостижимой для ползучих гадов высоте, в самом укромном уголке жилища, одиночество было под запретом, и сам настоятель пребывал среди своей паствы. Свет горел всю ночь, за порядком следили дежурные — ночной дозор. Каждый спал на своей постели, формально устав запрещал делить ее с другими: общинные предписания в этом вопросе подчинялись исключительно страху — непроговариваемому, но навязчивому — гомосексуального искушения. Ведь, в конечном счете, основополагающей чертой монашеского общежития была тесно сплоченная «стадность», где любая интимность, любой секрет неизбежно становились известны всем, а одиночество считалось одновременно опасностью и наказанием.

### *Топография аристократического дома*

Для того чтобы отважиться на анализ — гораздо менее репрезентативный, так как сведений у нас несравненно меньше, — устройства частного пространства в знатных светских домах, беглый обзор монастырских строений необходим. Необходим и закономерен, так как такие дома были очень похожи на монастыри клюнийского братства. В каждом доме проживала весьма зажиточная семья, убежденная в своем превосходстве над массой народа и имеющая явную склонность к роскоши и тратам. Различия же можно свести практически к двум пунктам.

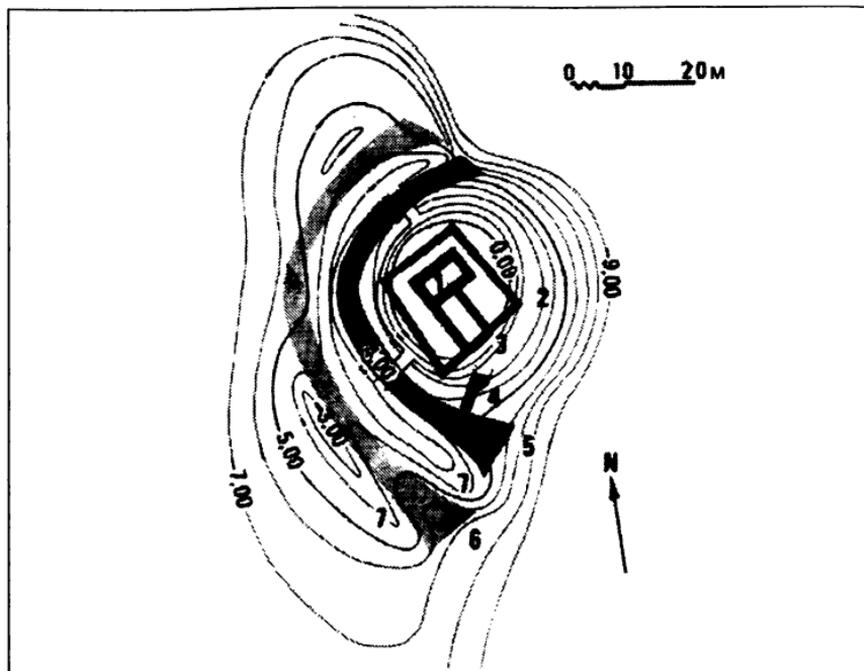


Рис. 2. Сен-Мартен-де-ла-Браск (Воклюз). Замок: общий план, включая реконструкции (расстояние между изогипсами — 1 м, рельеф до раскопок). 1. Башня. — 2. Ограда. — 3. Дом. — 4. Вход. — 5. Внутренний ров. — 6. Внешний ров. — 7. Крепостная стена или вал

Во-первых, правящая верхушка светской аристократии вносила свой вклад в общее благо иным способом: она не бежала от мира, ее призвание состояло в том, чтобы сражаться со злом оружием, а не молитвой; это определяло тот факт, что частная жизнь аристократов в гораздо большей степени была выставлена напоказ и вписана в пространственные рамки, уже много поколений тому назад приспособленные к отправлению публичной деятельности, военной и гражданской: аристократический дом обязательно включал в себя крепость и дворец.

Во-вторых, если в монашеской «вычищенной» семье отсутствовали все слабые звенья, такие как женский пол или

дети (ключийские новии рассматривались как маленькие взрослые), то главы знатных семейств были обязаны совокупляться и размножаться, состоя в законном браке. Супружеская плодовитость составляла в их случае основу порядка. Дом без супружества был невыносим, как невыносимо и супружество без дома. Всякий дом был организован вокруг одной и только одной размножающейся пары; дети, как только они обзаводились собственными семьями, из него исключались, старики тоже, вдов выселяли под монастырские стены, а престарелых отцов отправляли либо в монастырь, либо в паломничество в Иерусалим, подготавливающее к смерти.

Данное исследование, как и предваряющий его анализ, объектом которого стали монастыри, мы начнем с обзора частного пространства, отметив по крайней мере то, что удастся разглядеть, так как качество сохранившегося материала здесь гораздо ниже, чем в случае монастырских поселений. Впрочем, во Франции этот материал с некоторого времени стал объектом пристального изучения со стороны археологов, внимательных к деталям повседневной жизни. Их исследования показывают, что численность аристократических домов существенно возросла между 1000 годом и концом XIII века и что волна их распространения дважды набирала обороты. Первый этап пришелся на начало XI века, когда происходило дробление суверенных территорий, сопровождавшееся распылением атрибутов верховной власти: всюду воздвигались строения военного назначения и башни, дабы оправдать эксплуатацию крестьянского населения — поборы, которые выдавались за цену мира. Второй этап начался в конце XII века и длился сто пятьдесят лет; для этого периода характерны более скромные сооружения, «укрепленные дома»: в Бургундии, в районах Бона и Ньюи, в 240 населенных пунктах, включая хутора, были обнаружены следы 75 сооружений такого рода, подчас по несколько в одной и той же местности, причем многие из них занимали в ту пору суды высшего правосудия,

карающие за общественные преступления. Такую раздробленность провоцировали четыре основных фактора: обогащение господствующего класса благодаря подъему сельского хозяйства и щедростям восстановленного государства; разложение крупных домохозяйств по причине предоставления бывшим домашним рыцарям, которые обзавелись семьей, собственных жилищ; менее строгий контроль глав семейств за количеством браков сыновей, более терпимое отношение к женитьбе младших сыновей и необходимость обустроить жилище для каждой новой пары; наконец, распад кастелянств, что привело к еще большей дезинтеграции властных полномочий, которые отныне в рамках приходов перешли к высшим представителям государственной власти. Приступая к исследованию, мы сразу же сталкиваемся со следующим фактом: в период XI–XII веков в Северной Франции ячейки аристократического общежития становились все более многочисленными, и их приумножение привело к постепенному распространению поведенческих моделей, выработанных в домах-«родоначальниках» суверенов разного ранга.

Здесь необходимо было сочетать публичное с личным, демонстративность с уединенностью, что и сказывалось на их структуре. В одном тексте, а именно в отрывке из биографии епископа Иоанна Теруанского, датируемой первой третью XII века, она описывается следующим образом: «У самых богатых и знатных людей этой местности есть такой порядок: они набрасывают столько земли, чтобы получился холм, как можно более высокий, а вокруг выкапывают ров, как можно более широкий и очень глубокий, укрепляют этот холм крепким частоколом, если позволяют условия, пристраивают к ограде башни, а внутри в центре огороженного участка строят дом типа крепости, который возвышается над всем остальным, а войти в него можно только через мост». Земляная насыпь, ограда, окружающая место проживания, единственный вход — особенности обустройства, аналогичные тем, что встречаются

в монастыре. Здесь, однако, акцент поставлен на обороноспособности сооружения — так делалось всегда, даже в периоды относительно мирные. Например, дом-крепость в Бургундии XIII века можно идентифицировать по рву, земляному валу, то есть по насыпям, окружающим двор, и, главное, по башне, которая зачастую является пусть и единственным, но непременно укрепленным сооружением: это был символ могущества, *dominium* — от этого слова происходит не только слово «danger» (опасность), но и «donjon» (донжон) — символ власти, которая защищает и эксплуатирует. Символ, функциональный знак, как хоругвь или колокольня для монастырской церкви, башня обычно не была жилым помещением: археологи почти не находят здесь следов повседневной жизни, жизнь проходила в другом месте, в «доме» (*domus*), иногда примыкавшем к башне.

Это здание менее основательное, и от него обычно почти ничего не сохраняется. Однако в том случае, если в нем проживал знатный вельможа, о некоторых особенностях внутренней организации жилища можно догадаться: такие дома раньше других начали строить из камня. Например, замок Кана — прямоугольное строение 30 на 11 метров и 8 метров высотой, возведенное во второй половине XII века. Два уровня, свода нет. На нижнем уровне мало проемов, в полу выгребные ямы, в центре очаг, есть резервуар для воды: видимо, это кладовая, но по крайней мере часть помещения служила кухней. На втором, «благородном» уровне шесть больших проемов, несколько каминов, дверь, в которую можно было войти, поднявшись по внешней лестнице. Руины замка становятся красноречивее, если их сопоставить с перечнем расходов на его ремонт, составленным около 1180 года: в этом документе после башни, укрепленного ограждения, часовни упоминаются наконец «покои» и «зал», то есть, вероятно, то, что находилось в самом строении, о котором я говорю. Мишель де Боюар, проводивший раскопки, предлагает различать

«зал, где демонстрируется публичная власть» и «личные апартаменты властителя». Таким образом, здесь, как и в монастыре, только гораздо более явно, проводится разделение между пространством открытым, больше предназначенным для демонстрации власти, и пространством максимально закрытым. Публичная часть в основном использовалась для проведения пиршеств: в этом хорошо освещаемом помещении хозяин выступает в роли кормильца своих друзей: окна, очаги, светильники, с нижнего этажа торжественно вносятся блюда, приготовленные младшими слугами. Что же касается покоев, места «приватности» (*privance*), неофициальности, то, вероятно, данное помещение отделялось от зала лишь перегородкой, которая не сохранилась, или просто занавесом, как в Вандоме или Труа, если только она не шла поперек всего зала, но была выполнена из более хрупких материалов, не оставивших после себя следов, как это было в Анже. Эта модель княжеского жилища воспроизводится при постройке домов-крепостей. Дом-крепость Вилли-ле-Мутье конца XIII века (Бургундия), раскопки которого проводили Ж.-М. Пезез и Ф. Пипонье, представлял собой большое деревянное одноуровневое здание площадью 10 на 20 метров, поделенное на два помещения, в одном из которых находился парадный камин, в центре другого — очаг для приготовления пищи.

Это все, что археология способна нам представить: не более чем скелеты. Чтобы вдохнуть в них жизнь, историк должен обратиться к письменным источникам. Только из них он может получить некоторое представление о внутреннем убранстве, в основном о текстиле, материале недолговечном, но, как свидетельствуют инвентарные описи, широко используемом и разнообразном. Например, опись имущества каталонского сеньора Арнау Мира, составленная в 1071 году, демонстрирует нам княжеский дом, битком набитый тканями и мехами; в ней перечисляются перчатки, шляпы, зеркала, все необходимые аксессуары — ведь хозяин и его близкие

должны были представлять перед публикой при всем параде; затем идут светильники, посуда из драгоценного металла для роскошного убранства пиршественного зала, наконец детали обстановки комнаты, предметы личного комфорта, прежде всего кровать *garni* («оснащенная», «с удобствами»), как тогда говорили, — язык не скупился на слова, чтобы описать многочисленные детали ее экипировки: матрасы, набитые пером подушки, одеяла, занавеси, ковер. Все это украшало тела, располагалось на столах и висело на стенах во время праздников, когда семейство хвасталось своими сокровищами. Но в обычное время они убирались в самую закрытую часть дома, в покои сеньора. Тексты указывают, что именно здесь хранились денежные запасы и сокровища, чаще всего в виде предметов, которые можно было показывать, так как хозяину надлежало демонстрировать свои богатства. Во время мародерств в 1127 году сокровища убитого Карла Доброго, графа Фландрии, разыскивали, и, видимо, безуспешно, фландрские рыцари и горожане, сначала в доме, затем в башне Брюгге; накинувшись на движимое имущество, они перессорились из-за кухонной утвари, свинцовых труб, вина, муки, опустошили все сундуки и не оставили ничего, кроме голых стен, весьма напоминающих остовы сооружений, которые раскапывают археологи.

И опять-таки, только по текстам мы можем догадаться о функциональном назначении и использовании внутреннего пространства. Возможно, самое ясное свидетельство можно почерпнуть из истории графов де Гин, где описывается восстановленный в 1120 году сеньором Ардра деревянный дом (описывается во всех подробностях, ибо он вызывал восхищение); от него до наших дней не сохранилось ничего, кроме земляной насыпи, на которой он был воздвигнут. На первом этаже, как в Кане, «кладовые и амбары, лари, бочки и кувшины»; на втором — «жилище»: во-первых, помещение, где «собираются домочадцы», то есть зал для собраний и обедов, сочетающий

функции зала капитула и монастырского рефектория с расположенными в торцах клетушками для надобностей хлебодара и виночерпия; затем «следовали просторные внутренние покои, где спали сеньор и его жена; к ним прилегало закрытое помещение, служившее спальней для служанок и детей; отдельно выделялось место, где на рассвете или вечером разжигали огонь для обогрева больных, тех, кому делали кровопускание, или служанок и детей»; «на этом же уровне, но в стороне от дома — кухня» (отдельное двухэтажное здание, внизу — свиарник и курятник, а наверху очаг, сообщающийся с залом); над покоями хозяина «обустроены верхние опочивальни; в одной спали сыновья сеньора, когда они того желали; в другой, конечно, дочери», а рядом располагалась каморка охранников; наконец, по коридору из «жилища» можно было пройти в «ложу», место для отдыха и частных разговоров, а из нее — в часовню. Как и в монастыре, переход к частному пространству был постепенным, от ворот к месту для молитв. Следует также отметить ориентированность по вертикали, снизу вверх, от земли-кормилицы, нижнего двора, где хранились запасы продовольствия, к возвышающемуся над всем жилью сеньора, и разграничение между собственно жилищем и местами общего пользования, соответствующее разделению домашнего общества на хозяев и слуг, различию между огнем, на котором готовят, и огнем, который греет, освещает, украшает.

Итак, в самой высокой и самой важной части знатных домов выделяются три сектора, три функциональных пространства. Роль молитвы здесь второстепенна, часовня вытеснена на периферию, хотя ее значение и велико: в Ардре, как мы знаем, она была богато расписана. Главной же являлась военно-судебная функция, и в зале все было устроено для ее торжественного исполнения. Так как она направлена во внешнее пространство, то и зал был открытым, и выходил он во двор, к воротам. Как и в процессиях, во время которых публично демонстрировалось могущество семьи, здесь каждый

занимает место, соответствующее рангу, каждый отмечен отличительными знаками и на церемониях присутствует в своих самых пышных нарядах. Здесь хозяин правит суд, выносит приговоры. Сюда приходят, чтобы засвидетельствовать ему почтение, принести оммаж. Это территория публичных действий, пространство по преимуществу мужское. Однако так как в зале проходят все празднества, отмечаемые в дворянской среде, все публичные ритуалы, связанные с заключением союза, с братской общностью, танцы и пиры, то сюда приглашаются и женщины. Впрочем, их основное место — в дальней комнате, во внутренних покоях, где осуществляется третья, основополагающая функция, а именно репродуктивная, столь серьезная и ответственная, что для ее исполнения требуется укромность и защищенность. Эта комната по сути своей является брачной, супружеской. В центре ее располагается кровать: к этому освященному ложу в первую брачную ночь подводят супругов, здесь появляются на свет наследники. Это производящее лоно льняжа находится в самой приватной части жилища. Однако об уединении нет и речи, его здесь не больше, чем в монастырском дормитории. Рядом с ложем сеньора спят люди: в первую очередь женщины, а временами, возможно, и мужчины из числа близких — как подсказывают нам ночные приключения Тристана. Нестерпимая близость, обостряющая желание ускользнуть. Нам хорошо известна роль окна в романских интригах: возле него несчастные жены тоскуют по освобождению. Здешние женщины, как и мужчины, вольнолюбивы: проведя слишком долгое время в заточении, они задыхаются и ищут выход. Выход есть в сад, в открытое пространство, которое, впрочем, не выводит вовне, будучи строго замкнутым, подобно монастырскому клуатру, и сквозь него тоже бегут ручьи; а еще здесь есть деревья, иллюзия леса. Здесь можно почувствовать себя отрезанным от остальных, затерявшимся. Здесь зарождается и созревает тайная любовь, здесь, в подземных сумерках, можно скрыть незаконные объятия.

*Домашнее общество*

В больших домах социальные отношения были получастными, полупубличными, так как в домашнем пространстве водились, как говорится в «Романе о Лисе», «и свои (*privés*), и чужие, и друзья». Три категории сотрапезников. «Чужие» — это те, с кем хозяин дома не был связан никакой особой эмоциональной связью. Возможно, «свои» отличались от «друзей» тем, что были связаны с ним по крови: «по дружбе», как говорится в том же романе, Волк и Лис величали друг друга дядей и племянником. Но, по всей видимости, различие скорее состояло в том, что дом был постоянным местом проживания для «своих», в то время как «друзья», если они свободно допускались в дом и к его главе, проживали здесь временно. Они были гостями, как и те, кто останавливался в монастырской гостинице.

«Свои» (*privés*) формировали то, что в средневековом французском называется «ménage» или «maisnie»\*, юридическое определение которых мы находим в акте Анналов парижского парламента, датированном 1282 годом: *«Его домашние («maisnie»), проживающие в его собственном доме, под которыми следует понимать тех, кто трудится на него и за его счет»*: совместное проживание, совместное питание, коллективом управляет глава, и под его начальством все трудятся над общей задачей — чем не точное подобие монашеского братства? Это коллективное «тело» бывало весьма многочисленным: в XIII веке в доме Томаса Беркли (Англия), проживало более двухсот человек, а епископу Бристоля при переездах требовалась сотня лошадей для своих домочадцев. Сплоченность такой большой группы обеспечивало то, что держала ее в своей власти одна рука, или, как говорили в то время, что она «поддерживалась», полностью содержалась одним патроном. То, что «свои» в XI или XII веке ожидали от своего патрона, не сильно отличалось от притязаний некоего

---

\* Дом; домочадцы, домашние.

человека, вверившего себя патрону за 500 лет до этого, как то следует из одной мерovingской формулы: «Ты дашь мне еду и одежду (*victum et vestitum*), чем прикрыть спину и укрыться на кровати и что надеть на ноги — и все, чем я владею, будет в твоей власти». Вверение себя, заставляющее вспомнить о монашеских обетах, в обмен на все то, в чем могут нуждаться душа и тело. А тот, кто распределяет пищу и обеспечивает кров, получает право карать и бичевать. Я говорил о теле: оно состоит из членов, голова — это «глава» (*caput mansi*, как записано в одном документе из клюнийских архивов, датированном рубежом XII века), глава «манса», жилой ячейки, и всего того, что в ней содержится.

Впрочем, как и монастырская «семья», такая семья четко делилась на две части. С одной стороны, те, кто обслуживал (*servientes*) дом, они питались отдельно, в своем углу, менее благородным черным хлебом или, если дом был очень большим, проживали по-соседству с ним, в бурге (мне представляется очевидным, что на заре возрождения городов, в XI веке, значительная часть их населения, «буржуа», состояла из «домашних людей» различных «профессий», домашней челяди сеньора, епископа, графа или кастеляна).

С другой стороны, хозяева. Однако в светском обществе — и в этом его отличие от общества монашеского — теми же привилегиями, что и хозяева, пользовались их помощники, на которых лежало исполнение двух главных функций — молиться и воевать: это прежде всего клирики, составляющие в более или менее больших и влиятельных домах коллегия каноников (сеньор, несмотря на свой светский статус, был частью этого сообщества, на заседаниях сидел в центре, на главном месте), и, конечно же, рыцари.

Глядя на этих слуг первого ранга, вы сразу понимаете, как сложно отделить частное от публичного, «своих» от «друзей». Ведь молитвы, которые читались в часовне сеньора, служили на благо всей сеньории, а его дом являлся крепостью,

от которой мир и справедливость излучались на всю прилегающую территорию. Как следствие, к собственно домашним воинам периодически присоединялись мужчины, проживающие в округе в собственных домах и имеющие склонность к военному делу; на время такой стажировки они «входили» в частную жизнь хозяина замка, получали от него питание и снаряжение, становились на время его домашними людьми, а вернувшись к себе, оставались его друзьями, связанными с ним оммажем, который превращал их как бы в дополнительных родственников. Впрочем, настоящими родственными узами, кровным родством или свойством, глава семейства был связан с большинством домашних клириков и рыцарей: это были его сыновья, законные или бастарды, племянники, кузены, другим он отдавал в жены дочерей и, отправляя их по заключении брака в приготовленные для них дома, тем самым крепко-накрепко привязывал новых свойственников к своему дому, что обязывало их и их потомство возвращаться время от времени обратно и вливаться в общество его домочадцев.

Так, подобно монастырю, дворянский дом выполнял функцию гостеприимства, которую можно назвать структурной. Здесь принимали также и бедняков, которым позволялось, как в доме Лазаря, подбирать то, что перепало со стола сеньора, причем хозяин и все его домочадцы такой неизбежный, ритуальный паразитизм воспринимали как благословение. Как и монастырь, знатный дом брал на воспитание молодежь. Это была школа, где в мальчиках из благородных семейств воспитывали храбрость, где их обучали куртуазным манерам. Проживали здесь, как правило, сыновья сестер хозяина или его вассалов. Но принимали и посторонних — «друзей» или «чужих», таких же неизбежных нахлебников, только высокого ранга, а одним из главных жестов в символике патрональной власти было приглашение их к столу в пиршественном зале, где их кормили до отвала, поили допьяна и оставляли спать до утра. В отдельные дни в доме принимали не только

случайных гостей, в его частное пространство стягивались все дома-спутники. Например, на торжественные приемы во время больших христианских праздников: на Рождество, Пасху и Троицу — зал дома властителя, превращаясь в своего рода базилику, приобретал свою исходную функцию места суверенной власти, где частное полностью растворяется в публичном. И во всех домах, больших и малых, гостеприимство достигало своего апогея во время свадебных торжеств. «Семья» жениха выходила за ограду навстречу невесте, которую сопровождала ее собственная родня, подводя к дверям, затем провожая по дому до самой спальни — с задержкой в промежуточном, полупубличном пространстве, где устраивался пир невиданных масштабов.

### *Порядок и беспорядок*

Что касается организации власти, управлявшей этим сложносоставным и в значительной своей части подвижным обществом, то совпадение с монастырскими структурами опять-таки кажется поразительным: отец, один-единственный, как Отец небесный, который, впрочем, никогда ничего не предпринимает без совета; мужской иерархизированный совет, молодые под руководством старших; могущество отца, занимающего место самого Бога, зиждилось на том, что всякая жизнь в его доме происходила от него лично. Различие, и весьма существенное, заключалось в том, что в этом доме люди не жили в столь тесной близости с ангелами, в таком отрыве от телесности, в том, что домашнее общество не было бесполом, а его глава, ответственный за судьбу линьяжа, должен был продлевать его существование в будущих поколениях и распределять женщин по соседним домам, дабы заручиться покорностью последних, а значит, продолжить род. Исконная функция отца, связанная с деторождением, обязывала его иметь в своей постели женщину. Супружеская пара была

центром сети властных отношений. Женщина, естественно, полностью подчинялась мужчине; тем не менее, так как она являлась супругой и должна была стать матерью наследников (а если ей это не удавалось, то в XI веке ее без колебаний отсылали обратно), часть могущества ее «сеньора», как она его называла, переходила и на нее: «дама» (*domina*) тоже занимала здесь доминирующую позицию, в том числе и потому, что ее вклад в расширение дома — как законной сексуальной партнерши, обладающей способностью к деторождению, — был решающим.

Ведь дело обстояло так: до сих пор мы видели, что частная жизнь скорее занимает оборонительную позицию, съеживается в своей скорлупе внутри ограждающих ее стен, но в действительности, как живой организм, она старалась пробиться наружу и распуститься, и в домашнем обществе все, в частности авторитет хозяина, было нацелено на то, чтобы поддерживать сферу частных отношений в максимально жизнеспособном состоянии — приобретая еще больше родственников, еще больше друзей, еще больше слуг. Вот почему в самом укромном уголке замка Ардра мы обнаруживаем плодотворящую клетку — супружескую спальню, а рядом с ней — комнату для младенца, где кормилицы брали на себя уход за потомством жены хозяина, чтобы та как можно скорее могла вновь забеременеть. Вот почему дети, едва достигнув разумного возраста, распределялись по двум различным «секциям»: в одной, тщательно закрытой, содержались девочки, будущие матери, до тех пор, пока их по очереди не передавали в другой дом, где они становились дамами; вторая «секция», открытая, предназначалась мальчикам, но жили они там лишь время от времени, как гости, так как их выпускали, выбрасывали наружу, чтобы они сами добывали себе все, что смогут, в том числе жен.

Однако собственной плодовитости *pater familias* было недостаточно, поэтому первая обязанность и главная забота хозяина после производства потомства и заключения браков

состояла в увеличении штата домочадцев, для чего приходилось привлекать и «удерживать» новых сотрапезников. Эта задача определяла характер домашней экономики: стремление вкладывать отсутствовало напрочь, а если во внутренних покоях, в кладовой или погребе начинали копиться запасы, то только в преддверии праздников, во время которых богатства с легким сердцем растрчивались. *Constitutio expansae*, «организация расходов» — так назывался план укрепления ресурсов, в середине XII века внесенный в один из картуляриев аббатства Клюни. Цель плана заключалась в приведении в соответствие доходов от имения и насущной потребности в щедрых тратах. Частная жизнь в феодальную эпоху вовсе не была склонна к боязливой бережливости; не знающая границ щедрость позволяла приумножать число друзей — ведь именно они и составляли настоящее богатство, о чем не уставала твердить светская литература.

Хозяин, таким образом, был обязан полностью удовлетворять духовные и телесные потребности своих домочадцев. Первые, в сущности, были в то время самыми главными, и в домашней иерархии службы, отвечавшие за дела духовные, занимали высшую ступень. Духовная работа шла не только в часовне, но и в зале, и даже во внутренних покоях, так как она возлагалась в первую очередь на отца семейства. Как и в монастыре, воспитание являлось отеческой обязанностью. Из Похвалы графу Бодуэну II де Гину мы узнаем, что этот «неграмотный» аристократ, не умевший читать, тем не менее собирал книги, заказывал переводы латинских текстов на понятный ему разговорный язык, комментировал прочитанное для него вслух, задавал вопросы, обсуждал, учился, чтобы лучше обучать других. При себе он держал штат помощников: «магистров», окончивших школу, которые проживали у него временно, работая над переводами и пополняя библиотеку, а также родственников, интегрированных в церковное сообщество, каноников или монахов, которые между делом делились

своими специальными знаниями с братьями и кузенами; часть из них — домашние клирики и капелланы — жили здесь постоянно. Капелланы читали проповеди; впрочем, хозяин охотно привлекал их и для организации увеселений, для составления текстов, которые рассказывались или пелись на народном языке либо инсценировались, зная, что за это «друзья» будут ему признательны больше, чем за нравоучительные проповеди.

Желая угодить, Бодуэн де Гин прилагал все усилия, чтобы развеять тоску, охватывающую воинов и охотников во время неизбежных пауз в их спортивной жизни. Он прекрасно понимал, что чем больше потакать их телесным желаниям, тем крепче они будут его любить и, стало быть, тем лучше будут ему служить и охотнее подчиняться. Поэтому граф старался как можно чаще устраивать для своих людей погони за дичью и сражения с противником — в битве или на турнире. Он следил за тем, чтобы его дом был полон женщин на все случаи жизни, чтобы в его сундуках было достаточно, как тогда говорили, «вест»\* для ритуальной раздачи по случаю больших праздников. Как без подарков, без периодических «благодарностей» держать в руках своих домочадцев и, главное, исполнять со всей честью свой патрональный долг? В 1219 году Уильям Маршал, находясь на смертном одре, распределял свое личное имущество: все деньги он завещал служителям церкви, чтобы те молились о его душе. Ему напомнили, что в его покоях осталось еще немало алых платьев, отороченных беличьим мехом, по меньшей мере восемьдесят меховых одежд, совсем новых, и из них можно было бы извлечь неплохую выгоду, купив на них еще больше молитв; Уильям разозлился: приближается Троица, в этот день рыцари имеют право на новые наряды, и они их получают; хозяин не может осрамиться, и даже на пороге смерти моральный долг заставляет его предпочесть заботе

---

\* Веста — в Средние века куртка с узкими длинными рукавами, скрепленными в нескольких местах по локтевому шву.

о собственном спасении обязанность быть щедрым хозяином. Одевать, но прежде всего кормить досыта едой как можно более обильной и вкусной, которой радуется рот и которая отличается от пищи простонародья: *companagium*\* для хозяев и их гостей — вовсе не то же самое, что для обычных слуг, то есть не основная пища, а простая и скромная еда, дополняющая хлеб. А для этого не следует быть прижимистым, потому что власть сеньора в его частном пространстве, в спальне, где он производит потомство, в зале, где он кормит, всегда пропорциональна его способности давать — и чем больше, тем лучше.

Как и настоятелю в монастыре, в заведовании хозяйством сеньору помогали домашние управляющие, обязанности которых распределялись в феодальную эпоху примерно так же, как во дворце каролингской эпохи. Главным помощником была супруга, обладающая той же властью, что и королева в IX веке: она руководила женщинами и тем, что с ними связано, например малолетними детьми, распоряжалась запасами и контролировала все, что попадало в дом. Например, жена сеньора Ардра следила за сбором налогов с крестьянских хозяйств; когда одна из зависимых крестьянок, очень бедная, не смогла предоставить требуемого барана, дама в качестве компенсации забрала ее малолетнюю дочь, вырастила и, когда та стала достаточно взрослой, выдала замуж, спарила, эксплуатируя ее детородные возможности, заботясь как добрый пастырь о приумножении стада и помогая своему мужу в деле расширения «семьи»; также, следя за разрастанием дома и восстанавливая в нем добрый порядок, она взяла под свое покровительство беременную служанку и заставила предполагаемого совратителя на ней жениться; эта властная хозяйка наводила ужас на всех женщин в доме, наказывая их и подчиняя своей воли. Точно так же в конце концов была вынуждена подчиниться королеве

---

\* То, что едят вместе с хлебом.

Франции одна сирота, дочь крупного вассала, которую монарх, по рассказу Жана де Мармутье, намеревался выдать замуж против ее воли: когда ему самому не удалось ее к этому принудить, он поручил своей супруге сломить ее сопротивление.

У хозяина были и другие помощники, каждый из которых имел свое «занятие» (*ministerium*), управлял особой службой. Внутренние распорядки весьма крупного дома Эно дают довольно ясное представление об этих службах и их работе. В 1210 году два старца, выбранных из самого «приватного» окружения предыдущего графа, его незаконнорожденный брат и его капеллан, прибыли ко двору, чтобы публично изложить древнейшие кутюмы, которые планировалось восстановить и зафиксировать. Таким образом все институционализировалось и закреплялось, выгодные должности были уже полностью присвоены, продавались с согласия патрона, передавались по наследству, некоторые из них занимали женщины или, по факту, их мужья, хотя обычно старший сын, заведомый наследник, после обучения «должности» в *curia* сменял своего отца либо после смерти последнего, либо если тот был уже слишком стар. Несмотря на такую жесткость системы, министерялы продолжали считаться полноценными членами семьи, ели вместе с хозяином, спали, естественно, в доме, имели лошадь, что уже ставило их выше простых людей, или даже две, если они были рыцарями; каждый год им выдавали весту, плащ и рубашку-тунику, а кроме того, «ливрею», то есть жалованье, чтобы завершить экипировку по своему усмотрению; наконец, те, кто состоял на военной службе: *commilitones* графа, его товарищи по оружию, те, кто скакал рядом с ним, бок о бок, в его *conroi*, крепко сплоченном боевом отряде, — получали денежное довольствие; в этом документе о них не упоминается, но нам известно, что они были одного возраста (*coetani*) со своим предводителем, чаще всего его родственники, товарищи с детства, посвященные в рыцарство в тот же день, что и он, и что в доме они составляли наиболее

сплоченную и закрытую группу, схожую с коллегией каноников и, по всей видимости, как и каноники, стоящую выше простых министерялов. Последние, однако, тоже входили в ближайший круг своего хозяина и были обязаны сопровождать его во всех военных походах, «дабы защищать его тело».

О равенстве тем не менее здесь нет и речи: в этом большом доме действовала четкая система распределения обязанностей. В анализируемом документе выделяются три основные службы, они напрямую происходят от трех светских «должностей», опираясь на которые каролингский суверен некогда руководил своим домом, представляющим собой исходную модель дворянской частной жизни вообще. Этими службами управляли великий сенешаль, великий камерарий (камергер) и великий виночерпий. Предполагалось, что они служили графу, но, по всей очевидности, их должности, теперь уже почетные, больше не вынуждали их жить в его доме, однако давали доступ к суверену, позволяли находиться подле него во время процессий, демонстрирующих его могущество. За тремя этими высокопоставленными фигурами мы различаем фактически три независимых домохозяйства, соответствующие трем графским домам, каждый из которых возглавлял отдельную политическую единицу: двум замкам, Монсу и Валансьену, к каждому из которых примыкала коллегиальная церковь — к Монсу более значительная, так как здесь покоились предки династии (мы не должны забывать о мертвых — будучи частью общества домочадцев, они включались в их частную жизнь посредством периодических памятных церемоний), и еще одному, менее солидному дому, управлявшему недавно приобретенной сеньорией Остреван. Существовала должность и второго камерария. Когда сестра графа Фландрии мадам Маргарита, «жена Бодуэна [V], погребенного в центре клироса в Монсе», была отдана в очередной раз замуж, ее супруг был всего лишь наследником Эно, родовое имение занимал его отец. Новой паре требовался собственный дом; супруги обосновались

в другом месте — в Лилле, на землях, принадлежащих Маргарите; ей прислуживали собственные служанки; одну из них она выдала замуж и назначила ее мужа на должность личного камерария; с тех пор «повсеместно», как говорится в тексте, стала функционировать особая «казенная палата» графини, не привязанная ни к какому дому. Эта «палата» заведовала «движимостью», сугубо женской долей собственности, приданым. Система, следовательно, была многоуровневой: граф, графиня, иерархия домов, в каждом из основных домов две главные службы, одна над другой, ибо распределение сфер их обязанностей соответствовало распределению пространства совместного проживания в доме: служба, заведующая столом, то есть залом, под руководством сенешаля и виночерпия; более приватная служба, заведующая покоем и казной, под руководством камерария, стоящего ниже сенешаля, но выше виночерпия, который, в свою очередь, заведовал погребом, то есть тем, что находится ниже всего.

В зале стоял стол или, скорее, столы (*mensae*), которые, если позволяла погода, выставлялись на свежий воздух. Обеды проходили церемонно, как в монастыре: пищу не подобало принимать в скрюченной позе или стоя, на скорую руку. Это был акт торжественный и публичный. Вполне закономерно, что за него отвечала самая высокопоставленная служба. Сенешаль следил за наиболее изысканной частью рациона, за «сопранаже», «снedyю» (*escae*\*), главным образом за мясом (присутствие мясной пищи говорит о многом), которое главный слуга должен был подать и разрезать на глазах хозяина. Мясо покупали, а затем готовили на кухне. Под началом главного слуги служили семь младших слуг: прежде всего закупщик и хранитель снеди; три повара; консьерж, который поддерживал огонь в доме — на кухне и в зале, где он должен

---

\* Множественное число от *esca* (лат.) — еда, корм, но также приманка, наживка.

был гореть особенно ярко, подчеркивая блеск окружающей обстановки; привратник, встречавший и размещавший гостей; и, наконец, нарезчик, ответственный не только за нарезку, но и за соль. Что касается напитков, а именно вина, то оно также проходило по ведомству одного из высших должностных лиц — виночерпия. В Монсе в начале XIII века эту должность занимала женщина, дочь рыцаря, унаследовавшая ее от отца; она же являлась канониссой и по этой причине была очень занята. «По ее распоряжению» вино подносилось к столу, и если оно приходилось ей по вкусу, она собственноручно подавала его графу и графине. Но обычно этим занимались два ее заместителя. Ниже виночерпия стоял тот, кто «хранил вино и разливал его по кувшинам и чашам» (по этой причине в его ведении состояла такая низкая «должность», как горшечник), он также руководил двумя кладовщиками. Еще более низкую ступень занимал хлебодар, снабжавший пищей, которая для господ, оставаясь знаком превосходства, не являлась основной, — круглыми хлебами. Будучи подначальным, хлебодар сам руководил четырьмя слугами: поставщиком, «потомственным» пекарем, проживавшим вне двора, в посаде, вместе с независимыми ремесленниками, хранителем хлебов, или, точнее говоря, ломтей, на которые клали мясо, а тот, в свою очередь, сам командовал «человеком, подававшим ломти на стол». Замыкал список распорядитель ларя с салом, так как согласно домашним распорядкам сало — эту простонародную, как и хлеб, пищу — хранили в кухонном подвале, в самом низу домашнего пространства.

В Монсе младший камерарий — подчиненный камерарию, в свою очередь подчиненному великому камерарию Эно, — следил за внутренними покоями и за хранившимися там ценными вещами; будучи таким образом ответственным за «платья» и ткани, он должен был также стелить постели «для всего двора», большинство из которых раскладывались в зале ежевечерне; он также снабжал водой, которую старший

по должности подавал графу и графине, в то время как он сам подносил воду клирикам и рыцарям, чтобы те умылись перед едой; наконец, под контролем старшего камерария, который, видимо, сохранил за собой право распоряжаться деньгами, младший изготавливал и распределял свечи, в частности те, которые втыкались в хлеб, освещая графа, графиню и сенешалья, и только их, когда они сидели за столом.

Итак, с одной стороны, стол, день, яркий огонь, парадность; с другой — постель, ночь, свечи, уединение. Зал был обустроен в первую очередь для пиршеств, которые сами по себе являлись демонстрацией надлежащего порядка. Граф и графиня, господствующая чета, были в центре этого спектакля, им оказывалась особая честь, прислуживали самые высокопоставленные слуги; рядом с ними, практически на их уровне, находился сенешаль, который, как и хозяин, ибо он был *major domus*, первым среди домашних, имел право на хлеб с солью и на персональное освещение. И так как речь шла о публичном представлении, о демонстрации могущества, особо важное значение имело то, что прислуживающие за столом были рыцарями; они получали то же снаряжение, ту же ливрею, что и боевые товарищи патрона, вместе с поварами и консьержем сопровождали его всякий раз, когда тот садился в седло: их дневные домашние обязанности продолжались за стенами дома, в походных условиях. А вот внутренние покои представляются, когда читаешь кутюмы, закрытой раковиной; здесь нет вина, которое сопровождает праздники и щедрые траты, зато есть очистительная вода и охраняющие светильники, чтобы смыть грязь и скверну и разогнать тьму, когда наступает ночь.

Большой штат помощников и церемониал как дисциплинирующий инструмент были необходимы хозяину, чтобы поддерживать в домашнем обществе мир и порядок. Конфликт мог разгореться где угодно. Со стороны мужчин опасность представляли вспышки открытого вооруженного

насилия, естественного в среде людей, привыкших к войнам и турнирам. Поэтому следовало непрерывно пресекать зависть и вражду, неустанно поддерживать «дружбу». Это было нелегкой задачей, если учесть атмосферу постоянного соперничества при дворе, зависть младших к старшим, неприкрытое соревнование среди «кормящихся», оспаривающих друг у друга милости хозяина и дамы: каждый старался затмить остальных, очерняя и задирая их и при каждой возможности нанося удары ниже пояса, — и причиной всему соперничество, производящее столько шума и ярости. Чтобы унять это бурление, использовалось три способа. Прежде всего, изгнание самых буйных; в этом, видимо, и состояла одна из функций крестовых походов, и притом наиболее благотворная; сходную роль играло ритуальное путешествие, финансируемое отцом семейства, в которое после церемонии посвящения в рыцари отправлялись на год или два старший сын и другие «новоиспеченные рыцари»; странствуя, молодежь на время избавлялась от слишком ретивого пыла. Нам также известно, что, согласно обычаю, как только сыновья выходили из детского возраста, их передавали на воспитание в другое место — фактически это был простой взаимобмен, так как семья, сбыв родных сыновей, обязана была принять чужих; впрочем, такие перемещения, видимо, тоже в какой-то мере гасили конфликты. Ритуалы куртуазной любви я считаю вторым способом усмирить молодежь. То, что мы знаем об этой придворной игре и о ее развитии начиная с середины XII века, заставляет полагать, что сеньор предлагал свою жену в качестве наживки, своеобразной приманки, назначал ее в известной степени призом в соревновании, правила которого, все более и более изощренные, обязывали участников, холостых рыцарей и домашних клириков, уметь справляться со своими страстями. Наконец, глава дома был наделен судебной властью, правом разрешать споры и восстанавливать справедливость; при этом он не мог ничего решать, не посоветовавшись с домашними,

а те были обязаны давать ему советы, высказывать свое мнение, ставить в известность о своих разногласиях. В зале — как и в монастырском зале капитула — после предъявления жалобы и выслушивания доводов сторон назначалось возмещение ущерба и делались выговоры, если только, апеллируя к Божьему суду, *caput mansi* не решался устроить при дворе сражение, поединок — специально организованную драку, позволявшую противникам выпустить пар.

Была ли эта система регулирования отношений эффективной? Следы ее неудач легко отыскать в тех немногих семейных хрониках, которые дошли до наших дней. Так, в панегирической истории сеньоров Ардра, хорошо документированной только для четырех поколений, упоминается по меньшей мере одно домашнее убийство — убийство сеньора, совершенное в лесу, как утверждалось, кухонными слугами. В не менее панегирической истории сеньоров д'Амбуаз, также хорошо документированной лишь для четырех поколений, упоминается об убийстве зятя, выданном за несчастный случай на войне; далее речь идет о двух братьях последнего (из зафиксированных в хронике) сеньора д'Амбуаза — они были убиты людьми из своего близкого окружения, на одного устроили засаду, другого отравили. Обуздать волнения было нелегко, так как рыцари, принадлежа к противоборствующим группировкам, одна из которых поддерживала сына, другая — отца, брата жены [одного из убитых], находились в состоянии перманентного возбуждения; хозяина замка Ля Э (который был здесь чужаком, мужем наследницы) и его брата в конце концов убили воины из их собственного дома, которым надоело терпеть их присутствие. Впрочем, считалось, что в домашнем пространстве скрытая опасность исходит в основном от женщин — отравительниц, колдуний, смутьянок. Упадок сил, внезапная болезнь, смерть без видимой причины, сеньор, найденный утром мертвым в своей постели, — все это списывалось на козни женщин, и в первую очередь дамы.

### **Источники опасности: женщины и мертвые**

Итак, тайная угроза существующему порядку исходила якобы от самой интимной, самой приватной части куртуазного общества. Слово «куртуазный» подходит как нельзя лучше: едва ли стоило беспокоиться по поводу беспорядков, спровоцированных подчиненными женщинами, — их властно и жестко смиряла хозяйка дома. Нарушить внутренний мир могли скорее особы благородного происхождения. Поэтому за ними строго следили, пресекая всякое непослушание. Базовый принцип системы ценностей, которым руководствовались в знатном доме, опирался на следующий постулат, берущий начало из Писания: женщин, как существ более слабых и более склонных к греху, следует держать в узде. Первостепенная обязанность главы дома — надзирать, наказывать и, если потребуется, предавать смерти свою жену, своих сестер и дочерей, а также вдов и дочерей-сирот своих братьев, кузенов и вассалов. Патриархальная власть ужесточалась, когда дело касалось женщин, потому что от них исходила опасность. Эту смутную угрозу старались предотвратить, заточая женщин в самых укромных уголках домашнего пространства, во внутренних покоях — в «комнате дам», которую надо представлять себе не как место обольщения и удовольствия, а как место ссылки: их заключали здесь, потому что мужчины их боялись. Впрочем, и хозяин, и другие мужчины проникали в эту комнату весьма свободно: в романах непринужденно рассказывается, как вечером после ужина хозяин приходил сюда, чтобы съесть фрукт, расслабленно склонял голову на колени девушек, а те «ощупывали» ее (*tastonnet*), расчесывали, вылавливали вшей: это было одно из удовольствий, которые полагались сеньорам, этим счастливицам, властвующим в доме. Другие мужчины тоже допускались во внутренние покои — для развлечений в тесном кругу, для чтения или пения, однако они должны были получить приглашение и разрешение хозяина, а их визит ограничивался во времени: как мы знаем из художественной

литературы, практически единственного источника информации, во внутренних покоях, не считая главы дома и его малолетних сыновей, могли находиться только раненые и больные, вверенные женским заботам до своего выздоровления. Гинекей, из которого мужчины, естественно, исключены и который им удастся увидеть лишь мельком, представляется таким «странным» доменом, обособленным княжеством, которым управляет дама по поручительству своего сеньора; оно населено пленительным, но враждебным племенем, самые хрупкие представительницы которого заперты крепче всего и находятся под более строгим присмотром — во внутреннем монастыре под защитой религиозного сообщества они живут по уставу под властью настоятельницы, которой является не жена хозяина, но вдова из родни или старая дева, так и не выданная замуж. Следовательно, женская часть семьи представляла собой некий обособленный корпус, государство в государстве, обладающее собственным самоуправлением и ускользающее от власти всех мужчин, за исключением главы дома, но и его власть, как власть сюзерена, сводилась только к надзору, и мы часто видим, как представители церкви пытаются ее оспорить под предлогом духовного наставления.

На данную группу женщин, волнующих мужское сознание, возлагались особые обязанности, так как необходимо было их чем-то занять, ведь считалось, что праздность исключительно пагубно влияет на этих слишком слабых созданий. В качестве идеала предлагалось гармоничное сочетание молитвы и работы, а именно ткачества. Женщины пряли, вышивали и, когда в XI веке поэты предоставили им слово, сочиняли «песни прялки». Женскими руками создавались всевозможные наряды и расшитые ткани, украшавшие и саму комнату, и зал, и часовню, иными словами, значительная часть того, что мы называем художественными произведениями, религиозными или светскими, однако из-за их недолговечности до наших дней дошли лишь ничтожные клочки. Тем не менее коллективные

молитвы и труды — аналогично войне и охоте, если говорить о мужчинах, — не освобождали последних, искренне убежденных в глубинной порочности женской природы, от навязчивого смутного беспокойства: чем заняты женщины, когда их оставляют в комнате одних? Ответ очевиден: ничем хорошим.

В то время, когда церковь все еще практически полностью сохраняла монополию на производство письменных текстов, то есть в период, изучая который историк вынужден довольствоваться почти исключительно размышлениями духовенства, именно моралисты кажутся более всех озабоченными преступными удовольствиями, которым, вне всякого сомнения, предаются в гинекее женщины, в одиночку или со своими подругами и детьми. Потому что молодая женщина, как сказано в одной из версий жития святой Годелины, составленной в начале XII века, всегда находится на острие неотвратимого желания, которое она легко утоляет в однополой любви: это гнетущее подозрение подпитывала общепринятая практика спать в одной постели людям одного пола. Кроме того, оставшись одни в своем обособленном частном пространстве, женщины якобы обменивались тайными знаниями, в которые не посвящали мужчин и которые самые молодые получали от «старух», часто фигурирующих в рассказах, — типа тех, что наводили и снимали порчу в родительском доме Гвиберта Ножанского или обучали в деревнях магическим ритуалам, либо вроде той старухи, которую в XIII веке преследовал Этьен де Бурбон. Мужская власть ощущала свою беспомощность перед колдовскими чарами и зельями, которые лишали сил или исцеляли, возбуждали или подавляли желание. Она заканчивалась на пороге комнаты, где зачинали и рожали детей, где ухаживали за больными и обмывали покойников, где под властью жены в самом приватном пространстве дома простиралась смутная зона сексуального удовольствия, размножения и смерти.

Итак, домашнее общество было четко поделено — на организационном уровне — на мужское и женское, что отражалось

на большинстве поведенческих стратегий и психологических установок. Существовал только один официальный, демонстрируемый, публичный союз, союз сеньора и дамы, и все в доме было организовано вокруг него таким образом, чтобы он был идеальным, то есть плодovitым. Впрочем, размножались здесь и другие, однако незаконно, втайне. Есть тысячи намеков, указывающих на то, что сексуальная жизнь домочадцев протекала весьма бурно, в наиболее благоприятные для этого часы и в наиболее безопасных местах — под покровом тайны и сумерек, в тени сада, в кладовых и тайниках, под мраком ночи, которую не освещал, как в монастыре, даже тусклый свет свечей. В этом пространстве, не имеющем внутренних жестких границ, мужчинам не составляло большого труда попасть в женскую постель; однако, если верить моралистам и романистам, обратное случалось куда как чаще: не имея преград для мимолетных связей, дом был полон легкодоступных и соблазнительных женщин. Речь идет прежде всего о служанках, то есть мелких сошках, о которых ни семейные хроники, ни романы почти не упоминают. Речь идет и о родственницах, сватях, невестках, тетках, и здесь уже можно заподозрить беспорядочные кровосмесительные связи. Среди этих родственниц наибольшей активностью, согласно источникам, отличались внебрачные дочери отца семейства, дядей-каноников, а также, собственно, матери этих будущих наложниц. Но были ли здесь замешаны законнорожденные незамужние дочери хозяина? Предлагали ли их, по законам доброго гостеприимства, странствующим рыцарям так свободно, как на том настаивает развлекательная литература? И правда ли, что ненасытные особи женского пола столь же часто тревожили мужской сон, сколь часто об этом упоминают жития святых?

В любом случае несомненно, что совместное проживание вокруг супружеской четы такого количества неженатых мужчин и незамужних женщин, неизбежный промискуитет, предписанные правила поведения по отношению к гостям, будь

то друзья или чужаки, согласно которым предоставлять им женщин из своего дома, точно так же как и хвастаться своим богатством, считалось хорошим тоном, — все это заставляло сеньора, ответственного за порядок в доме и заботящегося о семейной славе, концентрироваться на главном — на сохранении чести. История чести, к созданию которой в свое время призывал Люсьен Февр, так до сих пор и не написана. Очевидно одно: в феодальные времена проблема посрамленной чести касалась мужчин и имела отношение к публичности, но возникала в основном из-за поведения женщин, то есть происходила из частной сферы. Мужчину могли опозорить женщины, находящиеся в его власти, и в первую очередь его собственная жена. Куртуазная игра, как она описывается в литературе, толкала юношей, желающих проявить себя, к тому, чтобы соблазнить даму и овладеть ею. Игра эта, впрочем, вписывалась в реальность, в реальный жизненный опыт. Бесспорно, жена хозяина была притягательной, и внушаемое ею желание, представляемое как идеальная, утонченная любовь, использовалось, как мы видели, в качестве средства дисциплинирования домашней молодежи. Жесткие запреты удерживали от того, чтобы овладеть ею на самом деле. Случалось, впрочем, что ее брали силой. Место, отводимое насилью в перипетиях развлекательных историй, по всей очевидности, отражает реальность: как тут не сопоставить лиса Ренара, решившего развлечься с королевой, и Жоффрау Плантагенета, силой овладевшего Алиенорой Аквитанской в доме ее мужа, короля Франции? Бывало и так, что дама отдавалась по собственному желанию. Адюльтер был навязчивой идеей, за любовниками следили шпионы и завистники, карауля их очередное свидание.

Позору противостояли, прежде всего отгораживаясь от публичности: страх быть опозоренным женщинами из собственного дома объясняет и завесу туманности вокруг частной жизни, и обязанность бдительно следить за женщинами, держать их по возможности взаперти, а если и выпускать для

участия в публичных церемониях или религиозных обрядах, то только в сопровождении. Так же и в путешествие женщина отправлялась в сопровождении домочадцев, следивших за тем, чтобы ее не «соблазнили». В середине XI века, совершая длительное паломничество в Рим, Адела Фландрская все время провела в некоем подобии передвижного дома, на носилках с постоянно задернутым балдахинном. Некоторым женщинам иногда удается сбежать из своего заточения, как, например, счастливице Корбе д'Амбуаз, в Туре похищенной кузеном после окончания мессы. Женщин держат в четырех стенах, чтобы их выходы не порочили мужчин и оставались скрыты от посторонних глаз, под покровом *privacy*. Исключение составляют те случаи, когда их проступок, их адюльтер выгоден, когда им можно воспользоваться как удобным предлогом, чтобы избавиться от бесплодной или надоевшей супруги либо от сестры, претендующей на часть наследства. Тогда глава дома разоблачал, гласно объявлял, обнаруживал — доводил до всеобщего сведения — новость о женском проступке, чтобы затем иметь право на законных основаниях наказать виновницу, изгнать ее из дома или даже сжечь заживо.

Нужно упомянуть еще об одной опасности, угрожающей семейному обществу: она исходила от мертвых, всегда присутствующих рядом: требуя к себе внимания и ожидая новых почестей, они любили навещаться по ночам в самое интимное пространство, в покои, где их тела когда-то готовили к погребению. Здесь, как и в монастыре, в рамках частного пространства совместного общежития для них было выделено отдельное место, дабы их души не металась и не беспокоили живых. Как только появлялись средства, а средства требовались немалые, домочадцы обустроивали усыпальницу: основывали монастырь, коллегиальную церковь, где хоронили своих усопших. Таким образом, некрополь, обязательное местожительство для мертвых членов линияжа, располагающихся

там в надлежащем порядке, создавался как дополнительная пристройка к дому, специально предназначенная для данной группы домочадцев, такой же опасной, как и женщины, и тоже содержащейся взаперти. Здесь служили панихиду по усопшему не только в первую годовщину смерти, но и ежегодно; чтобы его задобрить, семья в этот день — как это делалось и в монастыре — ела с ним или скорее за него, вместо него. Именно так в Брюгге в 1127 году поступили убийцы графа Фландрии: сразу же после убийства засели в часовне, расположившись «вокруг гроба, положив на него хлеб и поставив кубки, как на стол, ели и пили прямо на теле, думая, что если вести себя таким образом, никто не будет мстить», а убитый их простит.

Именно с моментом перехода в мир иной было связано большинство обрядов проводов, в которых отчетливо проявлялось, как и в монастыре, переплетение частного и публичного. Публичный ритуал, перенос тела из частного пространства, внутренних покоев, постели, в другое частное закрытое пространство, гробницу, неизбежно проходил через публичную зону и, следовательно, так же как свадьба, не мог не быть праздничным, ведь и в этом случае весь дом выстраивался в процессию, где каждый занимал место согласно рангу и, воплощая в себе идею сплоченности, следовал за покойником, для которого это был последний публичный выход, последний публичный акт щедрости, изливавшейся во время большого пира на бедняков. Также публичными на данной стадии были проявления скорби — спектакль, в котором женщинам, рыдавшим, рвавшим на себе одежду и царапавшим лицо, отводилась главная роль. Между тем помимо этих демонстративных ритуалов существовали и другие, сугубо частного характера, однако частное в данном случае оставалось «многочастным», коллективным. Все начиналось в зале с ритуала прощания: перед всеми собравшимися, «домашними» и «друзьями», умирающий вслух и с помощью жестов оглашал свою последнюю волю, давал распоряжения о наследовании, утверждал своего

преемника. Так, в Ауденарде вокруг Бодуэна V де Эно, отходящего в мир иной, точно как для собрания, провозглашающего общественный порядок, со всей страны были привезены мощи, на которых верующих призывали поклясться в сохранении мира. Более интимная фаза, агония, происходила в покоях. В стихотворении, сочиненном в честь Уильяма Маршала, умершего в 1219 году, дано удивительно точное описание того, как один из самых высокопоставленных баронов своего времени готовится к смерти. Желая умереть у себя дома, Уильям, как только его состояние ухудшилось, приказал доставить себя в один из принадлежащих ему замков. Он призвал туда всех домашних, прежде всего старшего сына, чтобы те выслушали его распоряжения по поводу наследства и выбора места погребения, присутствовали при том, как он меняет платье, облачаясь в одежду тамплиера, и окончательно переходит в другое братство, как, обливаясь слезами, в последний раз целует свою супругу. Как только церемония расставания, весьма напоминающая проводы главы дома, когда тот отправлялся в путешествие, подходила к концу, сцена пустела. Умиравшего, впрочем, не оставляли одного: домочадцы, сменяя друг друга, днем и ночью дежурили у его постели; постепенно он освобождался от всего, что имел: передавал то, что в свое время получил на хранение, — родовое имение, затем все свое личное имущество, деньги, украшения, платье; он отдавал долги, просил прощения у тех, кого когда-либо обидел, размышлял о своей душе, исповедовал грехи, и вот накануне кончины для него начинали приоткрываться двери в мир иной. Уильям увидел двух мужчин в белых одеждах, один встал по правую руку от него, другой по левую; назавтра в полдень состоялось прощание, на этот раз закрытое для публики, с женой и рыцарями: «Оставайтесь с Богом, я больше не могу быть с вами. Я больше не могу сопротивляться смерти». Так он расставался с людьми, которыми правил, снимая с себя все полномочия и вверяя домочадцев Богу. И, впервые с рождения, оставался в полном одиночестве.

## Родство

На предыдущих страницах Жорж Дюби намеренно вынес за скобки все, что касалось родства; он рассмотрел средневековую *familia*, обособив ее от семьи в современном смысле слова: при анализе необходимо четко разграничивать эти два феномена. Естественно, что родственные отношения и отношения, складывающиеся в рамках совместного проживания, часто переплетаются, однако в этом переплетении нет ничего механического. Не отделяя достаточно четко совместное проживание от кровного родства, упорно продолжая недифференцированно употреблять двусмысленный термин «семья», многие историки прошлого погрязли в рутине (взять хотя бы «большую семью древних германцев»).

Родство с полным правом и на тех же основаниях, что и совместное проживание, является одним из аспектов изучения «частной жизни». Это можно было бы показать, проведя параллель: метафорам рода, как и метафорам дома, уделяется большое место в репрезентациях религиозной или политической общности; разрастание в XI–XII веках не только коллективов домохозяев, но и родственных групп, привлекающих особое внимание специалистов по социополитической истории, свидетельствует о приватизации власти и опять-таки, парадоксальным образом, об ущемлении частной сферы; наконец, неотвратимое влияние линьяжа, а также навязчивое присутствие домашнего окружения ставят под угрозу независимость индивида и супружеской пары: в конечном счете, частная жизнь и всюду, и нигде.

Тем не менее родство — категория куда более абстрактная, чем совместное проживание. Следовательно, в связи с ним возникает целый ряд особых вопросов. Для начала надо уточнить, что же такое, собственно, «линьяж», который средневековые тексты преподносят нам с весьма различных точек зрения и которому современные комментаторы не удосуживаются дать определение. Чтобы не надоедать читателю скучным историографическим обзором, я ограничусь рассмотрением двух глав,

которые Марк Блок посвятил этому вопросу в 1939 году в своем «Феодалном обществе». Этот основополагающий для современной французской науки труд по средневековой истории до сих пор продолжает вдохновлять и восхищать богатством и живостью мысли, даже если последующее развитие исторической науки и антропологии, а также междисциплинарных исследований на их стыке обязывает критически подойти как к интересующему нас, так и к ряду других вопросов.

Марк Блок сначала рассматривает кровнородственные связи, а затем переходит к связям вассальным, причем справедливо релятивизирует значение последних, показывая, что они всего лишь встраиваются в структуру, заданную первыми, и придают обществу, которое можно было бы назвать даже не феодальным, а скорее феодально- (или вассально-) родовым, определенную связность: кровнородственные и вассальные связи людьми Средневековья обычно ставились на одну доску, а самыми крепко сбитыми группами были те, что строились на их сочетании: так, по свидетельству Жуанвиля, во время битвы при Мансуре (1250) вассальная преданность одному сюзерену и верность линьяжу обеспечили войску Ги де Мовуазена идеальную эффективность. Родство анализируется Блоком в терминах правовой солидарности (мобилизация для участия в частных войнах, обладание совместными правами на имущество). Но, к сожалению, его представление о совместном проживании сомнительно, так как он придерживается того мнения, что родственники живут под одной крышей или, во всяком случае, стабильно селятся по соседству. Это не мешает Блоку выдвинуть одно фундаментальное суждение: он хочет показать нам, что различие между нашим обществом и обществом средневековым коренится в семье как ячейке общества, на первой взгляд элементарной и естественной. «Родовой коллектив, — пишет он, — отличается от маленькой супружеской семьи современного типа как своей психологической атмосферой, так и размерами»: это что-то менее

эмоциональное, но изнутри более прочно связанное, что для Блока, как и для его современников, некстати попавших под влияние Леви-Брюля, неявно отдает первобытностью в плохом смысле этого слова. Это ощущение укрепляется подозрением в том, что могущество рода ущемляет супружескую пару: «Поместить супружеский союз в центр семейной группы значило бы, конечно, существенно извратить реальность феодальной эпохи»; фактически женщина только «наполовину» принадлежит линияжу своего мужа, так как вдовство *ipso facto* исключает ее из линияжа (или избавляет от него). Тем не менее благодаря церкви и государству на заре XIII столетия намечается несомненный переход к современности: церковь во имя прав личности, государство во имя общественного порядка — и оба, преследуя свои вполне понятные интересы, — непрерывно трудятся над ослаблением сдерживающего контроля со стороны родни.

Определение границ линияжа, выявление его функций, изучение его отношений с «супружеской семьей», наконец, прослеживание его трансформаций на рубеже 1180-х годов — эти три основные темы я позаимствовал у Марка Блока и остановлюсь на каждой из них по порядку. Исследования, положенные в основу «Феодального общества», привели к тому, что сегодня в этой книге, как и в любой другой научной работе, написанной несколько десятилетий назад, есть устаревшие фрагменты; величие же ее состоит в тех интуитивных находках, которым последователи не уделили должного внимания или которые они могли лишь подтвердить, трансформируя их в концепты. Так, в ней Марк Блок предугадал значение недифференцированного родства\*: «область родственных обязательств постоянно меняла свои очертания». Есть, впрочем,

---

\* Недифференцированное, или билатеральное, родство — в антропологии кровное родство, ведущееся по двум линиям (отцовской и материнской), одинаково значимым и обладающим симметричными характеристиками. — Прим. авт.

устойчивая родня, в которую включался или из которой исключался индивид. Если речь шла об аристократе, то родня также была властным ресурсом и выражением его могущества. Так чем же конкретно она являлась?

### Метаморфозы линьяжа

#### Лингвистика и феодальный мир

На латыни и по-старофранцузски «линьяж» и «родство» обозначают скорее *отношения*, нежели жестко оформленные *группы*; связь с великими мира сего *через* линьяж и/или *через* родство (эти два термина практически эквивалентны) позволяет занимать хорошее положение в социальной иерархии. Статус Ангеррана IV, сеньора де Кузи, имевшего в 1259 году проблемы с королевским правосудием, объясняется тем, что все знатные бароны Северной Франции принадлежали к «его линьяжу» и потому явились поддержать его своим «советом»: патрилатеральная и матрилиатеральная родня, альянсы, заключенные через женщин, выданных замуж или принятых в семью через замужество, равным образом способствуют формированию широкой сети родственных связей, которые выходят на первый план в случае драматической ситуации или даже специально воссоздаются ввиду обстоятельств.

Употребление этих слов в значении *групп*, как, например, в артуровском романе — «родня короля Бана» (*li parentez le roi Ban*) или «наш линьяж» (*nostre lignage*), об угасании которого сокрушается Говейн, в действительности второстепенно и встречается реже, чем в значении *отношения* — определяющего и/или выстраиваемого. Та или иная группа конкретизирует и индивидуализирует родственную связь. *Genus*, чисто латинское слово, не являющееся прямым предком слова «гасе» (род), используется в XI–XII веках точно так же: прежде всего для обозначения происхождения мужчины или женщины (которое если характеризуется, то всегда как «благородное» или

«блестящее») и только затем — для обозначения конкретной социальной группы, для чего есть также более специальное слово *prosapia* — род. *Cognatio* применяется в отношении родственных групп, но скорее подневольных, нежели аристократических. Если к этому добавить список слов, обозначающих коллективы родственников, типа «близкие», «друзья (по крови)» и наиболее часто употребляемые «родичи», «сородичи» (*cognati*), «кровные родственники» (*consanguinei*), то мы получим немало корней и производных, подходящих для обозначения широких родственных связей: отсутствует здесь только «семья»! Ни пара, ни «супружеская» или «нуклеарная» семья, если добавить детей, отчетливо не выделяются.

Сделать из этого вывод, что таковые по факту не существовали, все-таки весьма затруднительно. Ведь при описании и интерпретации общества нельзя основываться исключительно на его самосознании и на том образе себя, который оно может и хочет нам преподнести; не должно ли, напротив, привлечь наше внимание то, что не отрефлектировано и не сформулировано? Жорж Дюби в своих недавно вышедших «Диалогах» с Ги Лардро призывает нас к написанию истории молчания, а именно истории замалчиваемой частной жизни, не выговоренной в словах. Так что, отчаянно цепляясь за извивы языка, проблемы не решить. Тем более что, по замечанию Марка Блока, изменчивая лексика вовсе не обязательно указывает на крепость уз линьяжа.

Французский феодальный мир не является единым лингвистическим пространством: язык ойль\* имеет свои региональные варианты, а термины, переложенные на латынь, в разных диалектах могут быть неадекватными и не всегда соответствуют друг другу. Историк должен, таким образом, принять к сведению отсутствие специальных терминов, обозначающих

\* Langue d'oïl — группа диалектов Северной Франции в Средние века, название происходит от слова «да», которое в этом регионе произносилось как «ойль».

различные группы родственников; родство в основном понимается как отношение и обобщенная социальная функция. И мы должны изучить, каким образом оно соединяет несколько сфер.

По большей части также отсутствуют настоящие родовые имена («фамилии»): участники крупных социально-политических событий Блуа-Шампань и Эрембальды именуется так современными историками — для более ясного изложения тех событий. Нормандская семья Жируа, прозванная так в XII веке, представляет собой особый случай, своего рода предвестник очень медленного, но верного процесса освоения родовых имен; однако это во многом искусственное явление, так как родовое имя было навязано политическими властями извне.

Наконец, анализ может быть направлен в русло изучения номенклатуры особых, двусторонних отношений в рамках системы родства. В латинском словаре клириков различаются понятия, исчезнувшие из современного французского языка, например термины, обозначающие отчима, отца мужа, отца жены, а также, следуя этой же логике, родных и сводных братьев. Эти различия стали необходимы, по всей очевидности, из-за частых повторных браков, так как смерть рано уносила жизни молодых воинов и первородящих женщин. Нельзя рассматривать с одинаковых позиций пару или «семью», с одной стороны, при таких демографических условиях, когда средняя продолжительность совместной жизни супругов была весьма невысокой, и, с другой — в нашем современном обществе, исключительно благоприятствующем длительным союзам. Если различие между *patruus*\* и *avunculus*\*\* действительно закрепилось и проводилось на постоянной основе, то следует прокомментировать его с социологической точки зрения: именно от второго, от брата матери, произошел француз-

---

\* Дядя по отцу (лат.).

\*\* Дядя по матери (лат.).

ский «дядя» (*oncle*), и именно с ним связан тот пристрастный интерес, который отдельные ученые проявляют к антропологически многозначительным взаимоотношениям между племянниками и дядьями по материнской линии. Однако нам недостает доказательного материала в том, что касается поведенческих стратегий, а сама по себе система наименований кажется несколько путаной. Вдобавок к различиям, на которые мы больше не будем указывать, всплывает, наконец, досадная двусмысленность слова *peros*: племянник или внук? Первое значение преобладает, и именно оно одерживает верх при переходе слова во французский язык. Причина здесь в том, что лишь немногие дети могли знать своих дедушек; даже в крепком капетингском роду будущий Людовик Святой появляется на свет только в 1214 году, всего за девять лет до смерти Филиппа Августа.

Полный перечень и интерпретация данной номенклатуры — вот работа, которую еще предстоит проделать. Однако такой анализ рискует оказаться малорезультативным, столкнувшись со случайным использованием терминов. «Феодальное общество», как и множество других, недостаточно хорошо владеет средствами выражения, чтобы дать нам четкую картину своих поведенческих установок, отраженную в правилах употребления слов и разграничении их семантических полей. Окаменевшее наследие латыни — или же французского языка, когда тот внезапно поднимается до высот письма, — сложно отделить от живой, нарождающейся речи. Максимум, что можно извлечь из данных замечаний, — направления дальнейших исследований, касающихся взаимоотношений между дядей и племянником или предположительной множественности форм линьяжа. Но вот где достать для этого подходящий материал, ведь источники, на основе которых худо-бедно выстраивается история Высокого Средневековья, слишком редки, слишком темны и в подавляющем большинстве случаев церковного происхождения?

### Источники

Генеалогическая литература процветала в XII веке стараниями аристократии и во имя ее нужд, распространяясь из Фландрии и Анжу, центров ее зарождения. Жорж Дюби предпринял ее изучение, прекрасно отдавая себе отчет в том, что он имеет дело не с чем иным, как с «идеологией родства», репрезентацией, озабоченной скорее происхождением, нежели линияжем *stricto sensu*: скорее вертикальной осью родства, нежели тем полем, которое она образует, пересекаясь с осью горизонтальных связей. Тем не менее мы не сбрасываем со счетов этот источник: разве воображаемое не играет такую же важную роль в создании системы родственных связей, как и, собственно (и грубо) говоря, «реальность»? Однако прибегать к генеалогической литературе нужно уже после того, как система родства и свойства будет восстановлена по другим источникам: тогда ее следует сопоставить с предпочтениями и искажениями, привнесенными авторами генеалогий, с тем чтобы извлечь из этого сведения о социополитической функции их трудов.

Обычно считается, что социальные отношения можно постичь в их первоизданном виде, читая уставы и документы, сохранные церквями. И в том, что индивид весьма часто окружен сонмом родственников, хотят видеть лучшее, неоспоримое доказательство крепости родственных уз. Когда мужчина или женщина уступает землю или доход в пользу церкви посредством дарения или продажи (или скорее посредством сложной сделки, не являющейся ни тем, ни другим), требуется согласие близких, *laudatio parentum* (одобрение родственников)\*. Так, в подписях к документам фигурируют имена сыновей и дочерей, братьев, сестер и зятьев, кузенов и племянников и т.д.

---

\* *Laudatio parentum* (лат. одобрение родственников) — средневековая юридическая процедура, связанная с передачей земельной собственности в дар церкви. Лицо, желавшее совершить акт дарения, должно было предварительно заручиться согласием родственников.

Марк Блок и многие другие выводят из этого понятие «экономической солидарности линияжа», полагая, что владения были часто неделимы, а родственные группы крепко сплочены. Предположения эти слишком поспешны, в первую очередь потому, что крупные группы родственников, сколь ни интересен этот пример, вовсе не самый распространенный случай: в конечном счете, статистические данные относительно родственников, участвующих в *laudatio*, смещены в пользу «супружеской семьи»; периодическое присутствие более дальних «кровных друзей» не становится от этого менее значимым, тем более что составители кратких версий документов могли вообще о них не упоминать, что и обнаруживается всякий раз, когда есть возможность сопоставить эти версии с более развернутыми актами о тех же сделках. Однако — и это второй, и главный, контраргумент — не переоцениваются ли права вышеназванных *parentes*? Если они и отказывались от осуществления своих прав, то только от потенциальных и едва ли от реальных. Нужно ли полагать, что церковь превозносит индивида, вырывая его из спаянного родового коллектива? Не стоит ли, напротив, предположить, что братья и кузены ссылаются на свои родственные связи, выдвигая требования, которые они почти не надеются удовлетворить, но которые служат удобным поводом для получения значительной компенсации? Огласить *calumnia* (требование), чтобы что-то получить — кто получает десять су, кто парадного коня, кто вермелевые туфли, перстни, наряды или свиней (*sic*) для своих жен или дочерей, — значит преобразовать простое право контроля, в лучшем случае над частью нераздельной собственности, в личное имущество. В таком случае, чтобы оказывать давление на монахов и клириков, более снисходительных, чем принято полагать, можно запросто создать искусственную группу родственников: ни совместное проживание, ни даже некоторая общность имущества не являются для нее обязательными условиями, и было бы большой ошибкой сблизать такого рода двусмысленные практики

с обычаями наследования, к тому же лишь в редчайших случаях записанными между 1000 и 1200 годами. Тем не менее этот хитрый прием — а именно возможность требовать, ссылаясь на родство, разнообразные почести и имущество — уверенно утвердился в качестве распространенной социальной практики. Люди того времени вовсе не «смешивают» юридические понятия и не являются заложниками некой «ментальности»: они аргументируют свои притязания и ловко соперничают между собой, используя все доступные им средства.

Не удовлетворившись конкретными «социальными практиками», историк, изучающий родство, может обратиться к нарративным источникам, простив им отдельные неточности ради того вклада, который они привносят своими толкованиями и комментариями в ретроспективную социологию. Около 1100 года в Северной Франции были свои великие историки и летописцы. «Француз» Гвиберт Ножанский, фламандец Гальберт из Брюгге, нормандец Ордерик Виталий в довольно мрачном свете рисуют нам мир скорее не «феодальной анархии», но жесткого, хотя и рационального соперничества между линияжами: могущество власть имущих диалектически подается как причина и следствие влиятельности их родственных и вассальных связей, которые часто объединяет и укрепляет совместное проживание в одном доме; и если контуры коллектива домохозяев столь же расплывчаты, сколь расплывчаты очертания линияжа, то, наверное, и не стоит прорисовывать их слишком четко, правильнее всегда представлять их как сеть отношений, а не как гомогенные образования. Примем это к сведению, прежде чем взяться за социологическую реконструкцию.

Наконец, нет причин отвергать прямые свидетельства эпической и куртуазной литературы на языке ойль. Позвольте мне между прочим предложить буквальное прочтение: в сюжетах как каролингского, так и бретонского цикла мы погружаемся в обстановку и слышим диалоги XII–XIII веков; историки материальной культуры находят здесь благодатную

почву для исследований; так зачем же отказывать в правдоподобии тем социальным отношениям, на которых выстраиваются воображаемые сценарии? Здесь по крайней мере не клянут «феодализм», как это делают писатели-монахи, закостенелые в своем презрении к миру. Беседы и монологи Гвиневры и Ланселота — это те самые речи, что доходят до нас напрямую из придворного общества. И даже если мы смотрим на все это сквозь «увеличительное стекло» стилизации, то это как раз то, что нам нужно! Во всяком случае, едва ли можно найти лучший способ передачи эмоций. Средневековый роман, как и современный, более реалистичен (в широком смысле слова), чем тексты, считающиеся более «объективными». Таким образом, четыре вышеупомянутых источника заслуживают равного интереса: каждый из них претендует на определенный уровень достоверности, каждый (если сказать то же самое иными словами) создает свой собственный вымысел.

Удержание на плаву, закат и гибель великих «семейств» или «домов» (хотя ни тот, ни другой термин не применялся для обозначения групп родственников) дают летописцам «феодальных» времен богатый материал; да и в эпоху более позднюю эта тема имеет большой успех в романической и исторической литературе, будучи удобной для вскрытия наиболее значимых социальных отношений и их самых неумовимых трансформаций. Фландрский род Эрембальдов и нормандский род Жируа позволили нам воссоздать подробную синхронную картину в срезе десятилетия и рассмотреть долгосрочные стратегии в пределах одного столетия.

### *Взлеты и падения великих льняжей*

Родня Бертульфа, прево коллегиальной церкви Сен-Донатъен в Брюгге и канцлера Фландрии, стала знаменитой в момент своего краха из-за убийства Карла Доброго (1127); ряд современников происшествия, и в первую очередь нотариус Гальберт, в подробностях описывают заговор, преступление

и Божью кару, осуществленную руками людей. Помимо всего прочего, мы имеем дело с блестящим отрывком из социальной истории, повествующим о возвышении министерялов — слуг принцев и сеньоров, карьера которых стремительно взлетает в XII веке, но сами они при этом не перестают прикладывать множество усилий, дабы пересечь критический порог, отделяющий их от аристократии. Дворяне или сервы? Вот два противоположных полюса социальной иерархии, между которыми разыгрывается их судьба; два статуса, объединенные по крайней мере тем, что оба хранят свою генеалогическую память: в одном случае *по воле* заинтересованных лиц, а в другом — *против их воли*. Эрембальдам, вероятно, удалось бы скрыть сервильное происхождение, если бы породнившийся с ними рыцарь не был вынужден во время одного процесса отказаться от судебного поединка: будучи изначально свободным, он, поведая ему, утратил этот статус, так как провел год в браке с племянницей прево; он-то надеялся, что столь видный союз укрепит всегда несколько относительную и шаткую свободу, а в итоге открыл в своей жене скрытый порок: она, оказывается, серв! Родня супруги, поставленная в затруднительное положение, вынуждена была, прибегнув к политическим методам, дать отпор группе заговорщиков — те, замыслив ее погубить, побуждают графа предъявить права на своих законных сервов.

Однако в этой интриге есть еще одна движущая сила. Ведь родня (*cognatio*), замаранная серважем, заявляет свои права на происхождение (*genus*), претендующее на определенный престиж и то, что с ним связано, как то укрепленные дома и междоусобные войны, которые сам Бертульф косвенно стремится развязать для своих племянников, дабы возрастали их честь и слава. Таким образом, Борсиард и другие *nepotes*\* *Bertulfi* столкнулись в непримиримой борьбе с противоположной группировкой, не менее спесивой и ненавидимой

---

\* *Nepos* (р.п. *nepotis*) — племянник (лат.).

брюггенцами, — *nepotes Thancmari*; с обеих сторон были мобилизованы родственники и вассалы. Граф, карая за нарушение установленного им закона о сохранении общественного порядка, разрушил дом Борсиарда, после чего ожесточение Эрембальдов достигло своего апогея.

Несколько племянников прево вступают в сговор, в котором участвуют также другие родственники, обозначенные менее определенно, и даже один человек со стороны. Заговорщики совершают убийство в церкви и начинают приводить в исполнение вызревший политический план: передать Фландрию в руки Вильгельма Ипрского, бастарда графского рода, который пообещал обеспечить безнаказанность преступников. Однако объявившиеся тут же мстители за Карла Доброго из числа его домочадцев, с одной стороны, и король Людовик VI, стремившийся утвердить господство с помощью своего кандидата на графский титул, Вильгельма Клитона, с другой, не оставляют низкородженным выскочкам шанса осуществить их заговорщический план: находясь под бременем вины, все члены родни, даже те, кто не принимал участия в преступлении, были повержены один за другим. Гальберт уже постфактум описывает и оправдывает это коллективное злополучие в терминах родового проклятия; именно он (или его «народные» вдохновители) создает «Эрембальдов». Это имя принадлежит предку одного рыцаря низкого происхождения. Он предал своего сеньора, кастеляна Брюгге (некоего Больдрана, следы которого вообще-то не обнаруживаются ни в одном документе!): сначала совратил его жену, а затем сбросил его самого в реку и прибрал к рукам кастелянство с женой в придачу. Таким образом, кара, настигшая убийц графа, — а их сбросили с башни — повторяет то первое преступление, а также является возмездием за него, замыкающим на себе историю этого подлого — фиктивного — линияжа. Тут значим по крайней мере сам вымысел легендарного эпизода, который в генеалогической литературе, как правило, закладывает

основы процветания достойного рода (*genus*): молодой герой, доблестный незнакомец, получает руку девицы или вдовы в качестве вознаграждения за совершенный подвиг; через женщину потомство мужчины приобретает честь (имущество и престижное происхождение).

Если в такой подаче линияжа сквозит что-то искусственное, то лишь потому, что обычно очертания этого коллектива менее определены. Как бы то ни было, его базовое ядро патрилинейно: произведенный в ранг *caput generis*, главы рода, благодаря высоким должностям, занимаемым в графстве, Бертульф устраивает карьеру сыновьям своих братьев, к которым питает привязанность, так как вырастил их в своем доме; если в настоящий момент каждый из них живет собственным домом, то они все равно продолжают зависеть от Бертульфа в том, что касается планирования и координирования их жизненных сценариев, а его дом является знаковым местом, «местом престижа» для всей группы. Ламберт, отец Борсиарда, живет и здравствует, находясь на периферии этой системы: будучи кастеляном Редденбурга, он стремится (впрочем, безуспешно) отстраниться от дела, в котором его сын является одним из главных фигурантов.

В отношении него, как и в отношении других членов рода, встает вопрос о коллективной вине; некоторые пытаются ускользнуть от возмездия. Так, кастелян Дидье Хакет, брат Бертульфа, пытается откреститься от убийц графа перед принципами Фландрии: «Мы осуждаем их поступок, и мы бы совершенно отдалили их от себя, если бы не были вынуждены считаться, хотя и против воли, с тем, что они наши кровные родственники <...>» (чтобы предоставить им убежище, помощь, дать совет). Хитрый прием или конфликт ценностей? Есть нечто трагическое в том, как этот человек отбивается от своих родственников. Однако такая оборона имеет под собой определенные основания. Ни от Гальберта, ни от его современников не ускользнул тот факт, что некоторые родственники

с определенной выгодой для себя отrekliсь от злосчастной когорты: любимец «народа» и почти что дворянин Роберт Дитя (сын кастеляна Дидье) был удостоен двойной привилегии: он избежал тюремного заключения вместе со своей «родней» и был умерщвлен через отрубание головы, а не через повешение. Кровные узы, несмотря ни на что, связывают насмерть.

Мера вины в этом деле у каждого своя, а инициатива не исходила от всего рода в целом. Гальберт в своем рассказе выделяет устойчивую группу родственников, которую ничто не мешает квалифицировать как линьяж, хотя другой хронист, Готье Теруанский, смещает акцент в сторону совместного проживания: Бертульф для него — это прежде всего *pater familias*, глава домоладцев. В то же время группа заговорщиков в его глазах — это союз на договорной основе. С другой стороны, оба автора без обиняков указывают нам на двусмысленность положения свойственников, что может усложнить социологическую экспертизу: любой брак влияет на положение каждой из двух групп родственников и создает между ними определенную взаимозависимость; насколько нам известно, мужья племянниц Бертульфа не избежали гибельной участи; правда, они, за одним исключением, на протяжении всей истории остаются в тени. Это говорит о сложном, почти произвольном взаимодействии между родством и свойством.

Однако такая неопределенность, возможно, объясняется незрелостью данного конкретного *genus*. Разве не опирается древняя аристократия, в противовес этим выскочкам, на более устойчивую, не столь поспешно сбитую родовую структуру? Жируа могут стать здесь прекрасной иллюстрацией. Когда Ордерик Виталий, современник Гальберта, излагает их историю или скорее вкратце пересказывает то, что написал по этому поводу в своей «Истории церкви», она растягивается уже на целых четыре поколения.

1. Жируа являются типичными представителями высшей нормандской аристократии, созданной или по крайней мере

в значительной мере сформированной герцогами в начале XI века: исследование Люсьена Мюссе показывает, что она состояла не из легендарных «соратников Роллона» (как то можно было бы себе представить), а из франкских и бретонских переселенцев знатного происхождения. Первый Жируа происходил «из высшей французской и бретонской знати»: Ордерику Виталию известны имена его отца и деда, а также его сестры, многодетной матери Хильдегарды. Потомки Жируа увековечили его прозвище, прибавляя к собственным именам либо без изменений (Роберт «Жируа»), либо используя в адъективированной форме (Вильгельм *Geroianus*). Личные имена в глазах людей Средневековья играют фундаментальную роль и функционируют как настоящие фамилии; семейная связь между индивидами маркируется регулярным повторением имен, из поколения в поколение; они переходят как наследные атрибуты от отца к сыну, от дяди к племяннику, а также (и, может быть, даже в первую очередь) от деда или двоюродного деда по материнской линии к внуку или внучатому племяннику. Эти славные имена — один из главных вкладов женщин в линияжи своих мужей, носят их только потомки первых обладателей; уже сами по себе они служат важным козырем в политической карьере: не только *virtus* предков орошает кровь их одноименных потомков, иногда им также положены их *honores* (права и владения сеньора). При изучении аристократических родов нужно с большой осторожностью подходить к вопросу наследования имен, пытаться понять, почему для детей выбирается то или иное имя — не программирует ли оно заранее их будущую жизнь? В данном случае Вильгельм или Роберт свидетельствует о связи (видимо, через свойство или крестничество) с нормандской герцогской семьей; они активно вытесняют, по всей видимости, более древнее и патрилинейное имя Эрно/Рено. Жируа — всего лишь добавленная к имени кличка, с ее помощью члены отдельного патрилиньяжа (линьяжа по отцовской линии) узнают друг друга среди недифференцированной

родни, которую, в свою очередь, опознают и из принадлежности к которой извлекают пользу благодаря традиционному использованию имен, передаваемых через женщин. Эта «грамматика родственных отношений» (когнатных), по выражению Карла Фердинанда Вернера, на самом деле уходит корнями в древность; напротив, мужское прозвище, транслируемое через агнацию\*, является новшеством — можно даже сказать, новаторским решением, — связанным со стремлением группы укорениться на территории, которую контролируют их замки, хотя плотность и численность «поселенцев» до 1000 года не фиксировалась. Управление такой «замковой системой» и распоряжение связанными с ней властными полномочиями (баналитетная сеньория) — вот та нелегкая задача, которая легла на плечи потомков первого Жируа.

Жируа обосновывается на границе Мэна и Нормандии между 1015 и 1027 годами, заручившись поддержкой сеньора Беллема (Жируа был его соратником) и покровительством герцога: единственная дочь могущественного Хельгона обещана в жены бойцу, однако она скоропостижно умирает еще до свадьбы, что, впрочем, не мешает ему получить два *fiscus* (то есть домена или фьефа, который вот-вот приобретет статус замкового владения) — Монтрэй и Эшофур. От брака с другой благородной девицей у него рождается семеро сыновей и четыре дочери — такая высокая рождаемость в браке не была чем-то исключительным в то время, она вынуждала линьяжи, если они хотели избежать рокового раздела имущества, следовать экспансионистской логике, подстрекающей к соперничеству как внутри «отчизны», так и за ее пределами, либо же держать младших в крайней строгости. Ордерик Виталий помогает реконструировать стратегию семьи Жируа, но представляет не все ее стороны, придерживаясь определенной

---

\* Агнация — родство по мужской линии (в отличие от когнации — родства сразу по обоим линиям: мужской и женской). — *Прим. авт.*

репрезентации действительности, сообразующейся с тем, что ему известно, а также с тем, что служит интересам его монастыря, Сент-Эвру-д'Уш; эту стратегию и эту репрезентацию следует рассмотреть в их взаимосвязи.

2. В первом поколении наследников только трое из семи братьев производят на свет сыновей. Старший из выживших (после смерти Эрно), Вильгельм Жируа, в течение всей своей жизни властвует над братьями; получив замок Сен-Сенери, он передает его младшему Роберту — союзнику в борьбе против третьего брата, Фукуа. Ведь превосходство не дается Вильгельму автоматически: *honor* Монтрёй был исходно поделен между ним и Фукуа, и, вероятно, чуть позже 1035 года между ними началось ожесточенное противостояние. Фукуа был соратником и крестником Гилберта, графа де Брионна, врага Вильгельма Жируа и его окружения; однако он потерпел поражение, и в рассказе Ордерика Виталия он и его потомки оказались отодвинуты в тень, в зону нелегитимности: мать его детей названа «наложницей» — но неужели во всей истории этого линияжа, господствовавшего в то время, когда канонические нормы брака так часто попирались, это единственный союз, законность которого поставлена под сомнение? В такое верится с трудом. Не идет ли тут речь о стремлении опозорить сыновей, которые не приняли участия в основании монастыря Сент-Эвру (хотя делали пожертвования в его пользу), а впоследствии разоряли его? В действительности мы сталкиваемся здесь с примером конкурентной борьбы, на которой акцентировал внимание Жорж Дюби в предыдущей главе. Вместе с тем для политической и социальной истории примечателен тот факт, что внутренние войны в графстве или герцогстве, в данном случае в Нормандии, предполагают сплоченное столкновение не столько больших родственных групп, сколько мятежных группировок, играющих на расколах внутри линияжей. Линьяжи выживают, потому что их представители принадлежат

к одному из двух лагерей; вопрос в том, какая из ветвей вытеснит остальные или по меньшей мере добьется превосходства (или даже, реорганизовав память, задним числом заставит признать свое первородство).

Из оставшихся четверых братьев жизни троих унесла преждевременная или по крайней мере внезапная смерть, когда те были еще «молодыми», то есть холостыми. Такая участь выпала старшему Эрно, а также «Жируа» (чье «настоящее» имя не упоминается), шестому ребенку в семье, который был по случайности смертельно ранен оруженосцем: в последние минуты жизни из чувства милосердия, которое в каком-то смысле, как дарение церкви, изолирует индивида от его родни, он уговаривает оруженосца бежать, чтобы спастись от мести братьев, к чему их толкала — вероятно, не меньше, а то и больше, чем эмоциональный порыв, — забота о чести. Наконец, завершая обзор судеб семи братьев, упомянем еще одного младшего брата, Рауля Маль-Курона (Дурной венец): он отказывается от опасностей и пороков рыцарства в пользу духовной карьеры, которая дает ему свободное время, чтобы заниматься науками и медициной.

Вильгельм, таким образом, занял доминирующую позицию — подчинил или устранил своих братьев, а их жизненное призвание или стечение обстоятельств только сыграли ему на руку; он вел, бесспорно, трудную игру во главе патрилинейной группы, члены которой шли на взаимные уступки, не принимая в расчет всех прочих родственников (но считаясь с сеньорами и вассалами друг друга) при актах «продажи» или «дарений» в пользу Сент-Эвру: являясь «уступщиками» или «содарителями», как будто это было одно и то же, при том что такая практика не обязательно предполагала наличия общей собственности.

А вот четыре дочери Жируа не передали своим наследникам ни патронимического прозвища, ни соответствующих прав на имущество. Они все вышли замуж, поскольку

замужество не ставило сохранение имущества под угрозу; напротив, матримониальные альянсы служили на пользу политике линьяжа, налагая на свойственников обязательства. Эрембурк и Эмма были отданы замуж за мелких дворян, живущих по соседству с зоной влияния Жируа: их отец обладал определенной силой убеждения на своих зятьев, но и в группе «соседей, мужчин и кузенов» также можно отметить некоторые метания, некоторую свободу действий, которая возрастает в следующем поколении. Аделаида и Адвиза вступают, как мне кажется, в браки другого типа — изогамные\*, предполагающие перемещение на дальние расстояния: в одном случае в Мэн-Анжу, в другом в Нормандию — провинции, между которыми линьяж Жируа всегда старался в равной доле распределять своих дочерей, отдавая их в качестве жен или монахинь.

Роду, с которым Жируа породнились через Адвизу, Ордерик Виталий придает особое значение: объединившись с двумя племянниками де Гранмесниль, Вильгельм и Роберт около 1050 года восстанавливают аббатство Сент-Эвру. Установление связи с монастырем — один из обязательных этапов на пути тех, кто стремится к автономной баналитетной сеньории; власть меча должна получить нечто вроде легитимации и поддержки от власти святых мощей. Аббатства, эти «семейные некрополи», являются местом непрерывной молитвы за мертвых; рифмованные эпитафии на звучной латыни возводят последних в ранг предков. Не напоминает ли все это, несмотря на выраженную специфику христианского культа, африканские линьяжи? Группа основателей формируется в результате определенных манипуляций со стороны родни, а именно налаживания отношений со свойственниками под давлением Вильгельма, при том что поначалу племянники

---

\* Изогамия — брак, заключенный с человеком примерно равного социального статуса (в отличие от гипергамии — брака с человеком более высокого статуса; см. стр. 130–131). — *Прим. авт.*

хотели все устроить сами и даже думали поселить монахов на месте смерти их отца. Таким образом, Сент-Эвру — это интерлиньяжное святилище, вовсе не связанное с потомками, восходящими по одной линии к общему предку; тем не менее создается впечатление, что Жируа здесь главенствуют: приобретя здесь места погребения, они оказываются связаны — через двойное родство по материнской линии — с матерью Роберта Рудланского, сестрой Гранмеснилей, «из прославленного рода Жируа» (*ex clara stirpe Geroianorum*).

Однако у ауры сакральности, которой окружили себя эти два линияжа, есть оборотная сторона. С экономической точки зрения за нее приходится дорого платить: Роберт де Гранмесниль, как и Эрно д'Эшофур, ставшие монахами в Сент-Эвру, буквально отнимают у своих «родичей» часть их богатства, а именно добычу, привезенную из Южной Италии и переданную монастырю; не является ли этот метод идентичным методу *calumniatores*, заполонивших страницы картуляриев? С другой стороны, над монастырем такого рода нельзя установить полный контроль: герцогская власть еще в большей мере, чем григорианские реформы, борется с присвоением монастыря основателями. Время Жируа и Гранмеснилей пройдет, а вот Сент-Эвру останется... если не навсегда, то по крайней мере надолго.

3. Трудности, встающие на пути семейств, — не что иное, как прямое следствие большого политического кризиса, подкосившего в 1060 году как тех, так и других. Роберт I де Сен-Сенери и Эрно д'Эшофур, восставшие против герцога, не уцелеют после волнений; последний едва успеет вернуть себе расположение Вильгельма Завоевателя и заново вступить во владение конфискованным наследством, как тут же будет отравлен ядом, приготовленным Мабель де Беллем (1064): дружба пращуров сменилась непримиримой, полной неожиданных поворотов борьбой между Жируа и сеньорами де Беллем. Гранмеснили поправляют свои дела быстрее; их судьба отныне явно расходится с судьбой их кузенов, в то время как

знатный род *Джерояни*, по словам Ордерика Виталия, после Эрно приходит в упадок; потомкам Жируа удалось найти пристанище только в Южной Италии, куда стекались многие младшие ветви или просто обездоленные представители этого аристократического клана.

4. И все-таки Жируа вернутся: их род продолжится в ветви Сен-Сенери. В 1088 году щедрый Роберт Куртгёз сменяет на герцогском троне беспощадного Вильгельма; перед ним заискивают понабежавшие со всех сторон наследники великих *honores*, более или менее близкие родственники могущественных сеньоров, ограбленных его отцом, и он возвращает им их имущество, тем самым утверждая ценность наследственного права, которое в правовой культуре Средневековья было связано с аллодами. Жоффруа де Майенн, вступившийся за Роберта II Жируа, в качестве аргумента использовал, однако, не происхождение последнего, но его родство с герцогом через мать Аделаиду, кузину (*consobrina*) Завоевателя.

*Progenies* (потомство) не вымирает, несмотря на угрожавшие ему опасности, так как оно представляет собой одновременно нечто большее и меньшее, нежели чистый патрилиньяж. Широкая сеть мультилатеральных родственных связей и, соответственно, взаимовыручка помогают ему преодолеть трудные времена: так, в 1094 году, когда Беллемы расправились с первой женой Роберта II, его взятым в заложники сыном и захватили его замок, тот «с поддержкой родни и друзей» укрепил свои силы с надеждой взять реванш. С другой стороны, необходимость сохранять свои земли неделимыми заставляет линияж, подобный этому, поддерживать лишь одну линию родства, включая в нее братьев и дядей-холостяков и отсекая кузенов либо, если удача улыбнулась им где-то на стороне, стараясь потерять их из виду. В 1119 году Монтрёй и Эшофур возвратились к Роберту II; таким образом, он восстановил наследство предков, прежде чем ему пришлось распределять его между сыновьями. Когда старый монах из Сент-Эвру вписывает

часть истории предков Жируа в свое широкое полотно, те по-прежнему обитают в этом крае: ему удалось точно подметить специфику этого линияжа, который приумножал свойственников и ограничивал прямое родство, обрекая себя на непрерывную борьбу за самосохранение в атмосфере кровнородственной солидарности — борьбу длиной в сто лет одиночества.

Судьба этого линияжа, как и точка зрения на нее хрониста, показательны по многим параметрам. Время его укрепления на территории (начало XI века) совпадает с временем, когда большинство дворян Северной Франции пускали здесь корни, обосновываясь в замках: формирование линияжа происходит позже, чем у сеньоров, и, видимо, раньше, чем у мелкого рыцарства. То, что герцоги обладали властью, способной поставить существование линияжа под угрозу путем конфискации имущества, является нормандской особенностью; впрочем, в еще более беспокойных областях, таких как Валь-де-Луар или Иль-де-Франс, засады и налеты в не меньшей степени подрывают устоявшийся порядок, причем совершенно неожиданно, однако в перспективе это не слишком сказывается на могуществе линияжей.

Такая структура родства характерна для аристократии, которая как по склонности своей, так и ввиду социальных причин увлеченно принимает участие в борьбе за власть и местное господство. «Обычные» рыцари, часто упоминаемые, но редко индивидуализированные участники «Истории» Ордерика Виталия, появляются в качестве спутников власть имущих, вовлеченных в механизмы и интриги обширной армии их домочадцев. Что же касается крестьян, занятых производственными задачами, то в их ветхих домах проживают лишь «малые семьи». Они озабочены не столько тем, чтобы подерживать честь, заключая матримониальные союзы или ведя междоусобные войны, сколько увеличением-своих наделов; интеграция в сеньорию или приход заставляет их следовать местным кутюмам и связывает с безымянными *patres*, которые

покоятся на церковном кладбище. И современная этнология, и социальная история Средневековья говорят об одном и том же: линияжи и генеалогии — монополия власть имущих.

Кроме того, они являются продуктом идеологии. Так как у историка нет возможности опрашивать замковых домочадцев, собирая свидетельства из первых уст, он извлекает сведения из произведений Ламбера Ардрского, Жана де Мармутье и их продолжателей; эти тексты — бесценные подарки второй половины XII века. Сопоставив эти сведения с некоторыми генеалогиями, Жорж Дюби выделяет их главные приоритеты: обосновывая право обладания имуществом, авторы прослеживают родство по мужской линии; они также отмечают почетный статус, приобретенный родственной группой путем заключения выгодных гипергамных браков (с представителями более высокого социального слоя). Это не значит, что благородное происхождение ведется скорее от женщин, чем от мужчин; если в обществе того времени и есть социальное положение, передающееся от матери, то это серваж, хотя институт брака и независимое вирилокальное проживание (в доме мужа) в значительной степени перебороли это наследие античного рабства. Говоря о благородстве, этом врожденном качестве, все еще способном проявляться в зависимости от «размера» чести и степени приближенности к королям, следует уточнить, что его отнесут на счет матери или прародительницы только в том случае, если этот матрилинейный поворот столбовой дороги предков принесет дополнительный престиж родству по мужской линии. В XII веке предки Жируа вполне могли бы прибегнуть к такому селективному моделированию линияжа, если бы их домашний капеллан решил взять пример с капеллана сеньоров Ардра. Заслуга Ордерика Виталия, автора более отстраненного, в том, что он преподносит нам нечто среднее между сырым материалом и идеальной картинкой.

Шедевр ранней эпической литературы Высокого Средневековья, «Песнь о Роланде», самая древняя рукопись которой

датируется тем же временем и происходит из той же среды, что и «История церкви», тем не менее дает нам иной набросок родовых структур. У героя только два родственника, личность которых установлена: Карл Великий, дядя по матери, и Ганелон, его отчим и враг. Можно, конечно, подумать, что причина ненависти кроется в соперничестве двух родов за власть: заполучить сестру короля означает занять доминирующую позицию при дворе, а повторный брак свидетельствует о перераспределении позиций между двумя соперничающими группами... однако в тексте об этом не говорится ни слова. Роланд живет не с кровными родичами, а в окружении боевых товарищей, образующих группу королевских домочадцев. Его «родня» существует только виртуально и абстрактно, когда он упоминает ее, желая оправдать свой гордый и роковой отказ протрубить в рог, чтобы позвать на помощь: «*Ne placet Damnedeu / Que mi parent pur mei seient blasmet*» («Не дай мне Господь посрамить своих родичей»).

#### *Две эры вымышленных обществ*

Дело об измене Ганелона рассматривается судом баронов, перед которыми с обвинительной речью выступает сам Карл, нашедший опору в лице своего юного вассала Тьерри, близкого ему человека, но не родственника. В свою очередь, изменник полагается на помощь тридцати «родичей»: они предстают безликими, безымянными фигурами, из которых автор выделяет лишь Пинабеля в связи с участием последнего в судебном поединке, причем степень родства Пинабеля с обвиняемым не уточняется. Во время боя он обменивается с Тьерри предложениями о мире и посредничестве. Однако Пинабель не может бросить Ганелона; выражая приверженность ценностям *shame culture*<sup>\*</sup>, он восклицает: «*Sustenir voeill trestut mun parentet / N'en recsterrai pur nul hume mortel; / Mielz voeill murir qu'il me seit*

<sup>\*</sup> Культура стыда (англ.).

геррoвет» («Я буду защищать свою родню; ни один смертный не помешает мне исполнить это обязательство: я предпочту смерть укорам в небрежении своим долгом»).

Поражение Пинабеля влечет за собой казнь не только изменника, но и поддержавших его тридцати родичей (их повесили). Неяркие, невыразительные образы родственников, лишённые индивидуальных черт, — не проглядывает ли здесь примитивное общество с наивным, чисто германским духом?

В романах о Ланселоте и Персивале (1170–1190) Кретьена де Труа атмосфера оживляется; бойкое перо автора делает более ощутимым присутствие женщин, вдохновительниц «душевных порывов». Судьба довольно часто сводит героев с их родственниками, которых автор называет по именам и даёт им некие обобщённые портреты; однако встречи с ними происходят всякий раз случайно, и родственная связь обнаруживается обычно после спонтанного возникновения у героя чувства симпатии к ним. Если, например, Персиваль в одном месте решит защитить знатную даму от грубого обхождения со стороны её кавалера, а в другом поникнет головой, пристыженный словами некоего отшельника, то впоследствии в первой он узнает свою кузину, а во втором — дядю. Подобным же образом и благородный Горменанц де Гора восхищается врожденным талантом сына своей сестры, видя, как быстро юноша осваивает рыцарское искусство, но не подозревает, кто перед ним. Ещё бы пара фраз вроде: «Ах! Он мой племянник! Это-то мне и нужно» или «Теперь я ясно вижу, о чём говорило мне мое сердце» в завершении сцены плюс немного иронии, и этот эпизод вполне мог бы сойти за отрывок из комедии Мариво: здесь мы видим социальные предрассудки общества, равно как и «классовые противоречия».

К 1200 году романы и эпические поэмы достигают расцвета, возможно, утрачивая при этом первоначальную прелесть, и начинается постепенное слияние двух жанров. С этих пор Франция и Бретань испытывают потребность, каждая

со своей стороны, в «обобщении» их образа, отдельные элементы которого распылены по различным произведениям литературы обоих регионов: именно в этот период и одновременно в двух местах рождается тема патрилиньяжа, которая быстро приобретает огромное значение и присваивает себе организаторскую функцию в этих вымышленных обществах. Артур и Карл Великий уступают место своим баронам, чего нельзя сказать о Филиппе Августе, от которого бароны принимают привычку платить за добро черной неблагодарностью и нежелание жертвовать собой ради дела. Не только человек, но и государство меняет свой облик; не только детерминизм, пусть даже и диалектический, но и некая внутренняя логика, присущая развивающейся литературе, обуславливает создание этой литературой целой воображаемой вселенной. Поистине удивительным кажется сходство между теми типами отношений и поведения, которые отражает литература второго века романно-эпической эры, и самыми надежными, «объективными» источниками, имеющимися в нашем распоряжении.

Бертран де Бар-сюр-Об подразделяет героев франкского эпоса на три жесты (букв. «род», «клан»): жесту королей, жесту изменников, потомков Доона де Майанса, и жесту верных королю баронов, которым автор выдумывает родоначальника, Гарена де Монглана. Представители второй и третьей жесты оспаривают друг у друга право на привилегированное положение в королевстве (*seignourie*), и это интересует их гораздо больше, чем какие-то замки или герцогства, представляющие собой не более чем разменную монету, если, конечно, речь не идет о старых родовых владениях, вызывающих у них ностальгические чувства.

С этого времени любое из произведений эпического цикла может быть посвящено отдельному, даже самому незначительному патрилиньяжу, чья история преподносится как один из элементов жесты; главного героя таких сочинений трудно отделить от его братьев (вспомним, например, поэму

«Рено де Монтобан», также известную под названием «Четыре сына Эмона»). Четыре брата, прямые наследники Гарена де Монглана в первом поколении, объединяются вокруг младшего из них, Жирара Вьеннского (по имени которого назвал свою поэму Бертран): Жирара оскорбила королева, и это дало повод к вражде всего семейства с Карлом Великим. Братья не раздумывая приходят на помощь Жирару в сопровождении внушительных отрядов, собранных из их вассалов; при сложившихся обстоятельствах Жирар, будучи пострадавшей стороной, берет на себя роль лидера. В присутствии престарелого отца они проводят семейный совет — долгое совещание, где выслушивается мнение каждого из братьев. Отношения между взрослыми мужчинами, принадлежащими к одному роду (линьяжу), строятся по принципу равенства; главная роль переходит от старшего брата, Эрнальта, хозяина семейных владений, к Жирару, ставшему предводителем (*chevetaigne*) в войне с Карлом. Кроме того, у Жирара складываются особые отношения, основанные на любви и уважении, с его племянником Эмери — в ущерб Эрнальту, родному отцу юноши; вследствие этого за Жираром признается право быть воспитателем, «наставником» молодого человека, которого он фактически берет к себе в дом, предварительно подвергнув испытанию его чувство семейной чести: *Molt traoit à sa gest* («он был его крови», или, говоря иначе, «во многом на него походил»).

Во время переговоров об *asseurement* (соглашение о взаимных гарантиях), где наконец происходит примирение братьев с Карлом, один Эмери поначалу не соглашается произнести слова клятвы; чтобы уклониться от этого ритуала, порядок исполнения которого позволяет отнести его ко времени не ранее XI века, он применяет право, вошедшее в своды законов лишь в эпоху Людовика Святого\*. Впрочем, он дает себя

\* Возможно, намек на анахронизм, содержащийся в поэме. Годы правления Карла Великого — 768–814, Людовика Святого — 1226–1270.

убедить в том, что не сможет вести войну в одиночку. В своем семействе Эмери олицетворяет юношескую дерзость: старшие (*senex*) не пользуются у него авторитетом, и он то насмехается над дедом в присутствии родных, то, опередив всех, бросается защищать старика и в его лице честь семьи, когда при дворе какой-то барон непочтительно хватает того за бороду. У семейства Жируа тоже намечались линии раскола, но они шли «вертикально», противопоставляя отдельные ветви линияжа; здесь обнаруживается другая, горизонтальная линия раскола, и хотя она, конечно, пролегает неглубоко и происходит скорее от неких динамических колебаний, нежели от сокрушительных ударов, все же эта линия вполне реальна. Таким образом, латинские источники давали нам неполную картину: если они противопоставляли пассивную рассудительность *seniores*\* безрассудной порывистости *juvenes*\*\* , то это относилось ко всему обществу, а не к отдельному роду (линьяжу).

В эпической поэме «Эмери Нарбоннский», названной по имени главного героя, молодой дворянин превращается в пожилого сеньора, чуть ли не впавшего в маразм. У Эмери развивается скрытый конфликт с первыми шестью из его семерых сыновей: вынашивая завоевательные планы вселенского масштаба, он отсылает их из города и оставляет при себе лишь младшего сына, еще ребенка; таким образом он предотвращает междоусобные войны и сохраняет целостность родового поместья, но в то же время обманывает надежды старших детей и подвергает опасности собственные владения, которые остаются без защиты перед угрозой нападения сарацин. Показывая конфликт поколений, автор не отдает предпочтения главе семейства; он представляет читателям аргументы сторон одинаково сильными, а семейные споры — неразрешимыми.

\* Старых (лат.).

\*\* Юных (лат.).

Вообще, как показал Жоэль Грисвар, эта семья из Нарбонна с ее четким распределением ролей соединяет в себе три потенциальные модели поведения «индоевропейцев» в мире и обществе. Эти модели, или, по выражению Жоржа Дюмезиля, «идеологические поля», — пантеон индийских (или германских) богов, национальная история римлян, феодальный линияж. Нельзя ли сказать, что во многих «архаических» обществах родственные отношения представляют собой одну из самых эффективных категорий для осмысления общественного устройства? Если позволить себе немного пофантазировать, можно показать, что действующие в семье (рассмотренной независимо от конкретной окружающей среды) отношения полного подобия близнецов или кровного родства соответствуют таким более общим категориям, как отношения единичного и множественного, различия и тождества; одним словом, можно увидеть в семье подобие целого мира с его преемственностями и противоречиями.

Данный пассаж не означает, что я собираюсь вторгаться в область вышеуказанных исследований. Ограничусь лишь одним замечанием о произведениях Бертрана и его собратьев-труверов, которые обрабатывали исторический материал. Не воспроизводят ли они в своих произведениях процесс изобретения линияжа, имевший место в реальном мире? Там он был не так ярко выражен, протекал синхронно с другими процессами и в связи с ними, тогда как литература разделила его на несколько последовательных этапов и рассматривала вне контекста.

Та же эволюция произошла и в отношениях рыцарей Круглого стола, описанных в произведениях самых разных авторов — от Кретьена де Труа до того анонима, который, прикрываясь авторитетом и именем Готье Мапа, около 1230 года завершил монументальный цикл «Ланселот-Грааль» драматическим рассказом «Смерть короля Артура». В противоположность личному соперничеству, центральной теме первых романов, междоусобная вражда будит неуправляемую жажду

мести и чувство смертельной ненависти, которые приводят к гибели королевство Артура. Ланселота и Говейна связывает страстная дружба, но интриги трех братьев Гавейна, а впоследствии их гибель разлучают бывших друзей.

Два патрилиньяжа, которые мы здесь сопоставили, не во всем одинаковы. К наследникам короля Бана (*li parentez le roi Van*) относятся его сыновья (Ланселот, Эктор) и племянники (Боор, Лионель). Будучи старшим сыном в старшей ветви рода, Ланселот неоспоримо занимает в своей семье главенствующее положение, владеет родовыми поместьями Беноик и Гоне (хотя двое его кузенов сохраняют за собой право на наследование этих владений) и имеет звание сеньора. Даже во время романа Ланселота с королевой Гвиневрой родственники считают своим долгом защищать его честь. Напрасно он, пытаясь найти собственный путь в жизни, уезжает вместе с оруженосцем восвояси, облачается в чужое платье и заимствует чужой герб, чтобы на какое-то время отдалиться от остальных, — все равно душа героя продолжает оставаться открытой книгой для членов его линьяжа. Ланселот и его кузены любят друг друга одинаково сильно и в той же мере объединены взаимными обязательствами. Хотя каждый из них возглавляет свой собственный довольно крупный род, эта четверка демонстрирует непоколебимое единство, идет ли речь о турнире или о войне.

Труднее обнаружить столь же идеальное согласие у пяти племянников короля Артура — сыновей его сестры или, возможно, брата, которые составляют родню (*parenté*) монарха и по которым он проливает слезы во время их похорон, как по собственным детям. Из своих городских жилищ (*ostels*) они приходят во дворец, где их часто можно увидеть в каком-нибудь закоулке или коридоре шушукующимися или о чем-то переговаривающимися вдали от людских глаз. Но они не отличаются сходством характеров, не вырабатывают единой линии поведения: зависти и интригам Агравейна, злодеяниям Мордера можно противопоставить учтивость Гавейна

и верность Гарета. Если бы кто-нибудь составил перечень достоинств и недостатков племянников короля, Гавейн и Гарет фигурировали бы в списке как самые доблестные (*vaillans*). Этот линьяж менее однороден, чем первый, и не имеет столь жесткой иерархической структуры. В сущности, только тройное убийство, лежащее на совести родственников короля Бана, пробуждает в Гавейне «семейные чувства» и толкает его на месть. Подобно героям исландских саг, написанных в одно время с этими французскими романами, он должен оставаться твердым на переговорах, отвергая любую другую форму компенсации за убийство Гарета, кроме смерти самого Ланселота, и преследуя данную цель с безрассудным упорством. Гавейн публично выражает свою любовь к погибшим братьям, но это слово в романе из-за частого употребления потеряло всякий смысл. Не будем заблуждаться: главное здесь — статус линьяжа в глобальном обществе, и королевская семья хочет, чтобы за убийство кого-либо из ее членов платили самую высокую цену.

Этот факт не должен казаться анахронизмом в XIII веке: правда, уже перестали действовать «варварские» законы эпохи Раннего Средневековья, дававшие юридическое обоснование и определявшие денежный эквивалент той «цены» или «ценности» человеческой жизни, которые убийца должен был уплатить родственникам жертвы в порядке компенсации для полюбовного решения вопроса, но подобные идеи прочно укоренились в сознании «феодалов», что позволяло устанавливать социальный статус и вместе с тем усложняло его. Мечь «друзей по крови»\* не продиктована ни эмоциональной травмой, ни даже желанием возместить потери одной из партий ввиду возможности нового этапа борьбы между ними: она вызвана общим интересом к судебным прениям, которые могут подорвать авторитет родственников убитого, если «цена» жертвы окажется недостаточно высокой.

---

\* То есть родственников.

Актуальность «Смерти короля Артура» с социологической точки зрения проявляется, на мой взгляд, также в контрасте между *parage* Гавейна и *frérage*\* Ланселота: вторая из упомянутых форм, привнесшая вассальные отношения в сферу линьяжа, с 1200-х годов начинает распространяться среди «феодальной» аристократии Северной Франции — основной аудитории романов, — которая по-разному оценивает и принимает этот процесс.

Таким образом, это произведение, как и поэма о Жираре де Вьенне, представляет собой любопытное сочетание социальной реальности с вымыслом. Жеста и роман показывают и объясняют такие явления, как соперничество между молодежью и стариками или отсутствие разногласий между братьями и кузенами, — в общем, то, что другие источники забывают сообщить или оставляют в тени. Художественные образы прекрасно вписываются в систему общественных отношений; некоторое замешательство может вызвать только умаление роли дядьев по материнской линии (о чем хорошо свидетельствует тот факт, что Бертран де Бар-сюр-Об в своей поэме о Жираре превратил последнего в дядю Оливье по отцу) — но это, возможно, связано с подчеркиванием мужской линии в патрилиньяже. Удивляет также, что авторы столь упорно стремятся подкрепить абстрактные родственные связи своих героев изображением тесных контактов между ними: в сущности, они ставят одно в зависимость от другого. Эта «обобщающая» литература старается представить индивида в системе социальных связей, отрывая его от блаженного уединения, от одиночества, столь желанного для героев.

---

\* *Parage* и *frérage* — две системы землевладения, практиковавшиеся в XIII веке. Позволяли нескольким братьям, унаследовавшим феод, держать его в общем владении под властью старшего брата: в первом случае младшие братья помогают старшему нести военную службу в пользу сеньора или платят вместо этого налог, но не приносят брату *оммаж*; во втором они, напротив, получают свою часть неделимого феода во владение от старшего брата и приносят ему *оммаж*. — *Прим. авт.*

Не демонстрирует ли она вполне недвусмысленно все функции родственных отношений?

Отличие от реальности состоит лишь в том, что литература ошибочно приписывала эти функции одной-единственной категории. Однако на практике, как показывают хроника Гальберта из Брюгге и монументальный труд Ордерика Виталия, патрилиньяж не всеми воспринимался как некий микрокосм, в котором сосредоточены все родственные отношения. Если вопрос о родовых именах напрямую зависит от патрилиньяжа, то война, например, затрагивает более широкий круг родственных связей. Подлинность в описании общей системы отношений, неточность или, во всяком случае, стилизация описания отдельных групп — вот как можно оценить отражение реальности в литературе.

Мне бы хотелось, остановившись на различии между родством и линьяжем, использовать его как прием в моем последующем анализе. Если в старофранцузском языке данные понятия были практически равнозначны, мы откажемся от подобного сближения, обозначив словом «родство» (*parenté*) родственные отношения вообще, а словом «линьяж» (*lignage*) — одну из разновидностей таких отношений, определяемую родством лишь по одной линии. Это позволит нам избежать противоречий между Марком Блоком, призывающим с осторожностью относиться к линьяжным обязательствам вследствие неопределенности границ данной сферы, и Жоржем Дюби, который смело вводит в свой рассказ о «замковой эпохе» различные эпизоды, посвященные борьбе линьяжей и победе одних над другими.

#### *Честь рода и стратегия линьяжа*

Юридическая наука иногда соприкасается с социологией, хотя преследует иные цели и развивается в соответствии с другими требованиями. Бывший королевский бальи Филипп де Бомануар около 1283 года создает сборник правовых норм

«Кутюмы Бовези» с собственными комментариями, а в главах «Об отношениях линияжа» и «О войне» дает прекрасное описание недифференцированного родства и его свойств. Бомануар определяет степень родства по традиционной методике — по числу поколений, отделяющих каждого из двух кровных родственников от их общего предка; он пишет свою книгу с «мужских» позиций и делает акцент на патрилатеральных связях, однако из контекста вполне очевидно, что родство, по его мнению, передается как через мужчин, так и через женщин. Данное им определение родства выстраивается вокруг четырех категорий юридических вопросов: они касаются войны, брака, наследования и выкупа родового имущества (*retrait lignager*). Рассмотрим первую категорию.

Бомануар пытается решить конкретную проблему, с которой сталкиваются судьи, когда кто-нибудь из дворян оправдывает собственные грехи (*mefets*) участием в «войне» на стороне одного из своих родственников. В каких случаях этого дворянина можно признать невиновным? В Средние века не было принято применять к слову «война» эпитет «частная» (это идет от современных исследователей); государство в те времена не отказывало данному виду насилия в легитимности, стремясь лишь ограничить право на его использование: необходимыми условиями участия в войне были благородное происхождение и близкое родство с воюющей партией (не ниже четвертой степени), причем на свойственников (родственников по браку) оно не распространялось. Буржуа и *hommes de la poesté* (подданные сеньора) не могли быть военачальниками, однако, если их сеньор вел войну, они оказывались в нее втянутыми. Родственники объединялись вокруг предводителя (неважно, обидчик он или обиженный) по принципу «структурной относительности»: структура группы менялась в зависимости от каждого конкретного ее члена. У Бомануара нет и тени двусмысленности, все подчинено строгой логике, которую он считает априорной категорией в разговоре о правилах

войны. В самом деле, войну в одиночку вести нельзя, а между тем непонятно, к какому лагерю причислять людей, состоящих в одинаковой степени родства по отношению к предводителям разных родов. Поэтому полнородные братья не пойдут войной друг на друга, тогда как между единокровными и единоутробными братьями, происходящими из разных линияжей, например между братьями по матери, конфликт возможен, при том что общие их родственники должны сохранять нейтралитет. Это касается всех легитимных способов солидаризации: «равнородные» кузены не должны братья за оружие, но если родство между ними не считается «равным», они вынуждены примкнуть к той ветви, с которой их связывают наиболее близкие родственные отношения.

Таким образом, существенные различия между родственными связями и вассалитетом очевидны, хотя оба типа отношений накладывают на вовлеченных в них людей столь похожие обязательства, что Марк Блок определял вассалитет как «замещение родства». Помимо отсутствия иерархии, столь характерной для вассалитета, родство предполагает такую связь, которую нельзя разорвать; если родственные отношения установлены и признаны, они уже не могут стать предметом сделки. В случае возникновения противоречий между вассальными обязательствами всегда можно было объявить одну из вассальных связей приоритетной, а другие — менее важными и, прибегнув к лукавой казуистике, рассчитать степень своего участия в военных операциях сюзеренов и сумму причитающихся им налогов. Взаимопомощь родственников ничем не обуславливается, и какой-нибудь троюродный брат имеет не меньше обязательств, чем родной.

В суде бальи не принимается такой аргумент, как любовь. Бомануар иногда упоминает о ней, говоря о бастардах (которые, в сущности, не являются членами рода в полном смысле слова, поскольку не имеют права на наследство и, по всей видимости, сталкиваются с препятствиями при вступлении

в брак) — их сближают с единокровными братьями родственные чувства (и общность интересов). В общем, хотя регламентация отношений «кровной дружбы» облегчает рассмотрение дела, Бомануар не забывает о наличии других факторов. Он избегает ловушки, в которую мог попасть, если бы в ущерб сохранению мира — а Бомануар как раз старается его сохранить — объявил взаимную помощь родственников обязательной; напротив, по словам правоведа, заинтересованные лица всегда могут открыто отмежеваться от группы, ведущей войну: одни для того, чтобы не подвергать себя опасности, другие, одержимые мыслью о мщении, — чтобы не принимать участия в мирных переговорах. У них даже есть право отвергнуть соглашение о мире (*asseurement*) и пренебречь мнением предводителя (*chevetaigne*), хотя он здесь главное заинтересованное лицо: в данном случае имеет место победа семейной чести и/или так называемое *laudatio parentum*, когда коллективное право ставится выше индивидуальных договоренностей. Поскольку группа, ведущая войну, возникла лишь благодаря стечению обстоятельств, она не имеет ни четкого иерархического устройства, ни определенной управленческой структуры.

Недифференцированные родственные связи нужны автору для развития теории о частной войне, представленной здесь как некая абстракция. Но, как показывает применение *laudatio*, есть основания думать, что на практике были задействованы преимущественно патрилатеральные связи (родственные отношения по отцу). Так ли уж далека провинция Бовези от вымышленного Корнуолла, где происходит действие многих романов? Расхождение между законом, на котором строятся рассуждения юриста, и воображаемым идеалом, который лежит в основе мировоззрения рыцарей, конечно, велико, но нарративные и дипломатические источники помогают его преодолеть. Пришло время подвести итог, охарактеризовав «расклад», который фактически установился между функцией-родством (1) и структурой-линьяжем (2).

1. Первая из этих категорий, представленная здесь пока что только примерами кровного родства (ниже мы рассмотрим союзы), является функцией в том смысле, в каком это слово использует математика. Она подразумевает наличие между людьми отношений эгалитарных (почет, оказываемый семье, в равной степени распространяется на всех ее членов), недифференцированных (родные братья и кузены одинаково сильно любят и поддерживают друг друга), отмеченных искренностью и взаимностью родственных чувств. Почет — тот социальный капитал, который и хранят, и пускают в оборот сообща, хотя необходимость его переоценки (в случае убийства одного из членов семьи или заключения им брачного союза) всякий раз ставит под вопрос статус семейной группы и даже сам ее состав. Феодалное общество признает возможность таких отношений между «кровными друзьями» по мужской и по женской линиям и часто дает этой возможности осуществиться. Выгодный брак Гийома де Гранмесниля считается «великим почетом для его родни» (*in magno honore consanguinitatis sue*). Казнь в Неле некоего разбойничающего рыцаря навлекает позор на его кузенов: не имея никакого отношения к его злодеяниям и не очень переживая из-за его повешения, они жалуются королю Людовику Святому на сам факт казни родственника, но не добиваются никакого результата (см. Гийома де Сен-Патю\*). Вопреки мнению Марка Блока и многих других авторов, эта родственная солидарность никак не стесняет индивида. Напротив, она дает ему определенные привилегии: получать свою долю доходов различных религиозных организаций, подолгу гостить у дальних родственников, участвовать в совместных военных «походах», сулящих интересные приключения и богатую добычу. Родственная солидарность выступает гарантией независимости аристократии, мерилом

---

\* Имеется в виду труд Гийома де Сен-Патю «Жизнь монсеньора святого Людовика».

ее общественного положения, «трамплином» для карьерного роста: с ее помощью люди добиваются успеха в частной жизни.

Поэтому считалось, что необходимо хранить память обо всех известных предках. «Образ семьи», сложившийся в сознании этих людей, — если только нам удастся увидеть его во всей чистоте и первозданности, — оказывается по сути очень похожим на нынешний: он предполагает когнатное родство, передающееся по обеим линиям, мужской и женской. Возьмем, например, Ламберта по прозвищу «де Ватрело» из Сен-Омера де Камбре, каноника, родившегося в 1108 году, а в 1152-м составившего родословную своей семьи; его рассказ лишен тенденциозности, ибо автор, приняв духовное звание, вынужден был отдалиться от своего линияжа — одного из аристократических семейств среднего или низшего ряда. Ламберт с равным интересом пишет о своих предках и по отцовской, и по материнской линии, перечисляется равное количество родственников с обеих сторон. Тем не менее он склонен пренебрегать материнской линией, хотя она, по всей видимости, стоит выше отцовской: во всяком случае, в роду матери много священников, проторивших молодому человеку путь к вере. Упоминания кровных родственников (*consanguinei*), щедро разбросанные по страницам автобиографии Гвиберта Ножанского (написана ок. 1115), свидетельствуют о наличии множества преданий подобного типа.

2. Порядок представления героев, принятый в книге Ламберта, показывает, что автор отдавал приоритет мужчинам над женщинами, старшим братьям над младшими. «По мнению Ламберта, — пишет Жорж Дюби, — отцовская линия его рода образует “общину”, семью воинов, где многое определяется правом первородства». Вывести образ патрилинияжа из всего комплекса недифференцированных родственных отношений, изображенных Ламбертом, было бы довольно легко; отталкиваясь от противопоставления мужчина — женщина, младший брат — старший брат, которое красной нитью проходит через

всю книгу, мы бы без труда воссоздали искомый образ, вполне определенную и конкретную группу. Центром формирования этой группы, уже довольно явной в обрывках воспоминаний Ламберта, можно, безусловно, считать родовое поместье Ватрело. Автор потому не делает на этом акцент, что, в отличие от других составителей родословных, не принадлежит к числу домочадцев: он из тех детей, кто оставил семью, обосновавшись в другом месте.

Линьяж напоминает первичную политическую структуру, но не тождественен ей. Он обеспечивает единство своих членов, делает их обособленной группой, используя для этой цели свойства функции-родства. Но главное, он закрепляет неравенство их шансов и заставляет с ним смириться: это и несоразмерное распределение наследства, и четкое разделение социальных ролей, проявляющееся в препятствиях, которые возникают перед младшими братьями при попытке вступления в брак. Умалчивая о конфликтах в семье (выступающих, впрочем, как факторы ее развития), родословные легитимизируют их результат; с другой стороны, генеалогия поставлена на службу одного из участников общественного соревнования, призвана обслуживать интересы одной из сторон в общественной борьбе.

Вот где следует искать источник ограничений, налагаемых на личность; но они являются выражением стратегии, а не воплощением ментальности. Жертвование интересами младших детей в Северной Франции — проклятие местной аристократии. Линьяж вызывает отторжение у священников, некогда бывших его членами, потому что они невысоко ставят кровные узы, но при этом не могут полностью от них освободиться; линьяж угрожает (как мы увидим позднее) прочности брачных союзов, возникающих и распадающихся вследствие его политики; линьяж отказывает мужчинам и женщинам из благородных семейств в праве на время и пространство частной жизни.

### *Злоключения супружеской пары*

Патрилиньяж прочно связан с двумя супругами, владеющими домом и производящими детей; им он обязан своим существованием. Правда, в разговорной речи той эпохи даже не было слова, обозначающего супружескую пару, но не занимала ли она тем не менее центральное место внутри «семьи», вопреки мнению Марка Блока на этот счет? Наиболее активная и типичная форма «феодальных» родственных объединений — широкий союз между совершеннолетними братьями и кузенами, основанный на сходстве интересов и взаимной привязанности, даже если его участники отдалены друг от друга на значительное расстояние. Взгляды окружающих обращены на господский дом, расположенный в самом центре родового имения, в наиболее престижном для линьяжа месте; дом, управление которым переходит от деда и бабки к старшему сыну и его супруге. Сеньор и дама, совместно управляющие замком, — по крайней мере жилыми помещениями — вполне обыденное явление того исторического периода.

Но какое положение занимает жена в линьяже своего мужа? Какие связи она сохраняет со своим собственным линьяжем?

Очевидно, что такие вопросы, в свое время поставленные Марком Блоком, актуальны не только для «феодальной» эпохи, но приоритет политических мотивов при заключении браков между аристократами придает этим вопросам исключительную важность для нашего повествования. Заложница одних или орудие других? Вопрос несправедливый, если речь идет об истории аристократок в «дворцовый» период.

#### *Выбор супруга*

Для анализа системы родственных отношений нужно исследовать, каким образом мужчины «обменивались» женщинами. Как бы ужасно ни звучала эта формулировка Клода Леви-Стросса, она не должна создавать впечатление, что

женщины были совершенно пассивными объектами некоей сделки, — смысл ее и область применения весьма ограничены и не предрешают будущих моделей поведения и «властных» отношений. Отец «отдает» свою дочь зятю, который «берет» ее в жены: эти средневековые выражения остаются в ходу вплоть до настоящего времени.

«Примитивные» и «архаические» общества известны тщательной регламентацией браков: они запрещают союзы с близкими родственницами (называя это «инцестом»), равно как и с родственницами из «параллельных» ветвей рода, и санкционируют законный брак с какой-нибудь четвероюродной сестрой или представительницей «пересекающейся» ветви. Система брачных союзов, распространившаяся в эпоху Высокого Средневековья, представляет собой одну из самых сложных конструкций в ряду тех, которые логически возможны и исторически засвидетельствованы. В этнологии систему подобного типа принято называть *когнатной*, потому что она не дифференцирует родственные связи: запреты касаются браков с кузинами по обеим линиям, а также с родственницами ближе определенной степени — обычно четвертой. Минимально допустимая степень родства — величина непостоянная, и методы ее определения могут быть разными; их изменения не всегда влияют на суть системы, но по крайней мере заставляют заинтересованных лиц расширять сеть своих брачных союзов и в то же время делать ее более гибкой; они также способствуют развитию социополитических отношений. Таким образом, начинается своеобразный переход от «архаического» общества, довольно недвусмысленно указывающего каждому своему члену, какой должна быть его избранница, к нашему «современному» обществу, которое окружает мужчину и женщину гораздо большим количеством потенциальных партнеров, предоставляя человеку выбор (и обрекая на мучения, связанные с необходимостью его делать).

Впрочем, исследование когнатных систем Франсуази Эритье указывает на вполне определенную тенденцию, обусловленную социологическими факторами: мужчина выбирает супругу из рода, максимально близкого к его собственному, насколько только это позволяет закон. Такая практика обуславливает регулярные циклы «матримониальных» обменов и сохраняет за брачными союзами важнейшую функцию сплочения членов небольшой группы в единое целое. Можно ли наблюдать нечто подобное у аристократии Северной Франции в XI и XII веках? Ответ на этот вопрос затрудняет отсутствие надежных источников; неизвестно даже, насколько серьезно воспринималась идея церкви расширить «запретную зону», увеличив минимально допустимую степень родства с четвертой до седьмой.

По мнению Марка Блока, недифференцированное родство не позволяет выделять какие-либо устойчивые группы: каждый брак вносит изменения в структуру родственных отношений. Отцовский род, занимающий главный замок и наследственное имение и успешно существующий на основе когнатных связей, должен рассматриваться как партнер по матримониальному союзу другого такого отцовского рода. Их взаимодействие заключается в том, что, отдавая дочерей, они получают жену для главы рода. Если правитель какой-то страны устраивает браки между влиятельными аристократическими семействами — чем активно занимался, например, англо-норманнский король, — он еще не становится субъектом матримониального обмена, он лишь проявляет склонность к регулированию межлиньяжных отношений, по крайней мере делает вид, что регулирует.

Определенные аспекты матримониальной стратегии начинают проясняться в свете современных исследований. В погоне за престижем члены линияжа пытаются найти для наследника жену равного или более высокого положения, предпочитая ждать подходящего момента, лишь бы

не допустить мезальянса. Когда составляешь генеалогическое древо семей вельмож и рыцарей, поражаешься, сколь сильно все они были озабочены этой проблемой. Браки с представительницами более высокого рода, вероятно, встречающиеся реже обычных изогамных союзов, но имеющие по сравнению с ними неизмеримо большее значение, дают патрилиньяжам приток свежей крови — крови королей, принцев и графов, и это периодическое «вливание» поддерживает статус аристократии и укрепляет сплоченность правящего класса. Удачный брак повышает положение мужа и членов его линияжа: память о нем бережно хранят в родословных книгах «дома». Зато дочерей, выданных замуж, легко забывают: их дети уже не принадлежат «дому»! Вместе с тем приданое (*mariage*) жены обычно остается у ее родни (*parage*) и не используется, пока не сменится несколько поколений. Так что и от женщин бывает польза!

Пример Жируа ясно демонстрирует матримониальную политику рода: усилия его членов направлены на то, чтобы поскорее устроить браки всех незамужних девушек — ведь благодаря им можно обрести союзников и даже сделать кое-кого своими должниками; и напротив, женитьба молодых людей всячески тормозится, так как она чревата нежелательным увеличением наследников; в имущественной сфере явно преобладает агнатный принцип. Ссылка в монастырь двух дочерей Эрно д'Эшофура свидетельствует об устранении этой семьи из политической жизни Нормандии, символизирует закат рода.

В таком обществе есть женщины, которых надо завоевывать: брак с ними чаще служит повышению престижа, нежели приобретению фамильного замка, но и первого условия достаточно, чтобы между потенциальными мужьями возникла жесткая конкуренция. Однако социальный рост удачливого кавалера означает лишь его переход в иное состояние. Жорж Дюби тщательно проанализировал положение

дворян/рыцарей из области Маконнэ в 1100-х годах: хотя в конечном итоге все они происходят из «старой» аристократии (хочется назвать ее «вечной» — она полностью сформировалась задолго до 1000 года), этот класс тем не менее распадается на несколько страт, потому что последствия борьбы за замки и неравное положение старших и младших братьев постепенно привели к внутренней дифференциации. Недостаток сеньорий оборачивается постоянным понижением социального статуса тех ветвей рода, которые отпали от него или оказались наименее удачливыми; браки с женщинами более высокого положения означают временное повышение статуса или его закрепление. Именно в этом контексте брачные союзы должны интересовать наблюдателя. Не следует ли воспринимать их как процесс адаптации к новой социальной среде?

Большинство браков, о которых нам рассказывают источники, заключаются после тщательного обдумывания всех деталей: стороны оценивают общественное положение друг друга, главы рода ведут переговоры. Молодого человека и девушку просят только дать согласие на то, чтобы их признали «взрослыми», чтобы выделили отдельное жилище; собственный дом и своя роль в обществе — не об этом ли мечтают они оба? Родня и покровители обязаны предоставить им то и другое: это естественный итог воспитания, «наставления» детей. О значении подобных «сделок» и трудностях их заключения свидетельствуют три примера из XI века, которые можно считать вполне типичными.

Симон де Крепи-ан-Валуа, унаследовавший в 1076 году три стратегически важных графства, граничивших на севере с доменом Капетингов, должен был вступить в брак, чтобы упрочить «дом». «Ему выбрали в супруги уроженку Оверни, статную, красивую лицом, славящуюся благородным происхождением». Монашеское призвание помешало Симону заключить этот союз, а выбраться из политического тупика ему

помогло аналогичное предложение от Вильгельма Завоевателя, пожелавшего сделать Симона своим зятем с явным намерением использовать его в борьбе с Капетингами.

Перед отцом и матерью будущей святой Годеливы, прелестной и элегантной молодой девушки, предстают несколько претендентов на ее руку (графство Булонь, середина XI века). Предпочтение отдается Бертульфу из Брюгге, готовому дать самый большой выкуп\*. Однако он не спросил совета у собственных родителей, мать обрушивается на сына с упреками, выражая недовольство его избранницей, которая живет слишком далеко от них; в черном цвете волос невестки она видит дурное предзнаменование. «Дорогой сын, разве у нас ты не мог найти себе такую же ворону?» — вопрошает она в книге талантливого агиографа Дре де Теруана. Супружеская жизнь начинается в недобрый час.

Эрманн из Турне рассказывает более романтический эпизод, относящийся к 1080-м годам. Юный представитель бургундского рода Фульк де Жюр, очарованный блеском и знатностью графа Гильдуина де Руси, решает просить руки одной из его многочисленных дочерей, Адели. Сначала «француз» отвечает на эту просьбу отказом, аргументируя его тем, что юноша чужеземец. Но когда через некоторое время граф едет выполнять поручение короля Филиппа I, он попадает в засаду, устроенную Фульком; только согласие выдать замуж за него свою дочь позволяет Гильдуину вернуть себе свободу и собственность. Получив обещание руки дочери графа, юноша тут же начинает относиться к нему с почтением и преподносит обычные в таких случаях свадебные дары. Этот дерзкий поступок, впрочем, более простительный и благородный, чем обычное похищение, приводит к браку, давшему многочисленное

---

\* Так называемая «вдовья часть»: имущество, которое муж передавал жене при заключении брака. Если жена переживала мужа, то могла воспользоваться этим имуществом; впоследствии оно переходило к их детям.

потомство; дети тяготеют в основном к «родичам» со стороны матери и связывают с ними свою дальнейшую судьбу.

Если Симона де Крепи, наследника многих земель, не удалось заставить заключить брак, несмотря на все уговоры, то Фульк де Жюр чуть не силой проложил себе путь к союзу с представительницей более высокого рода и оказался в выигрыше. Эти три примера свидетельствуют также о расширении сети брачных «контактов», равно как и о настороженном отношении некоторых семей к региональной экзогамии\*. Имея право на свободу передвижения, молодые люди, похоже, обладают возможностями для маневра, тогда как для девушек или женщин любое путешествие представляет опасность. И, конечно, у нас нет сведений о том, оказывали ли Годелива де Гистей и особенно Адель де Руси какие-то знаки внимания своим поклонникам. Ни законы агиографического жанра, ни правила рыцарской этики не позволяют женщинам брать инициативу в свои руки. И разве не слышим мы еще век спустя из уст литературного героя, Жирара Вьеннского, жесткой отповеди, обращенной к одной привлекательной герцогине, которая сама предлагает ему свою любовь: «Or puis bien dire et por voir aïer / que or comence le siecle a redoter / puis que les dames vont mari demender» («Воистину мир сошел с ума, раз женщины сами ищут себе мужей»)?

И он отказывает ей, напомнив, что устройство браков, как и ведение войн, — удел мужчин и что первое лишь ненадолго отвлекает от второго и представляет собой не более чем временное перемирие.

Воля женщины более ясно выражается в отказе: обеты посвятить себя Богу и попытки убежать из семьи, чтобы уклониться от роли, которую та навязывает, — весьма распространенные сюжеты в житиях святых дев... Впрочем, как

---

\* То есть к бракам между представителями разных провинций или стран.

и мужей, например Симона де Крепи. Около 1150 года святая Ода из Эно, посчитав побег из дома слишком рискованным предприятием — не столько из-за крепости засовов ее родного жилища, сколько вследствие опасностей, подстерегающих снаружи, — решает изуродовать себя, лишь бы избежать нежеланного замужества. В этом случае мы видим уже новые детали: в присутствии священника девушка отказывается заключить брачный союз, заставив «семью» отложить церемонию, но с той минуты давление на нее со стороны льняжа, верного своей стратегии, не ослабевает. Девушка полностью подчинена чужой воле; выразителем этой воли выступает не только отец — ему удается заручиться поддержкой матрон. И наконец, надо упомянуть девушек, погибших из-за того, что их избранник получил отказ у родителей или был убит: возлюбленная английского короля Гарольда, за которого отец обещал ее выдать, но потом вступил с ним в войну и победил при Гастингсе, — речь идет о дочери Вильгельма Завоевателя — решает свести счеты с жизнью, когда судно везет ее к новому мужу, Альфонсу Кастильскому (см. в хрониках Ордерика Виталия). Дочь управляющего замком (кастеляна) из Куси тоже грозитя покончить с собой (ок. 1080): добропорядочности юноши, которого отец и мать прочат ей в мужья, девушка противопоставляет смелость «славного рыцаря», в которого влюблена. По совету святого Арнуля (об этом сообщает его житие) девушку выдают за того, кто является объектом ее желаний: «Церковные правила гласят, что не должно соединять юную деву с человеком, который ей немил»; впрочем, читателю дают понять, что с представителями рыцарского сословия нередко происходят несчастные случаи... Быстро овдовев, строптивница достается тому, кому была уготована с самого начала.

Военные подвиги и любовные авантюры, которыми заняты «странствующие рыцари» (*milites gyrovagantes*) Северной Франции в XII столетии, в эпоху рыцарских турниров,

кажутся совершенно спонтанными. Но среди этих рыцарей — младших представителей рода, изгнанных из дома, — есть и прямые наследники, чьи странствия вписываются в общую схему линьяжной политики; их маршрут не случаен, они пускаются на поиски приключений скорее из желания пройти некую инициацию, нежели просто выступить на турнире. В результате аристократические семейства все больше смешиваются, чему несомненно способствует борьба церкви с браками между близкими родственниками. Впрочем, девушки и молодые люди не совсем избавлены от контроля со стороны их линьяжа, и это накладывает отпечаток на их выбор. Разве могут несколько непредвиденных событий и бунтов разрушить систему родственных связей?

### *Христианские браки*

Около 1100 года в Северной Франции появляются первые литургические обряды бракосочетания: в первую очередь это церемонии англо-норманнского происхождения, сложившиеся в Британии или на материке; недавно они стали объектом исследования Жана-Батиста Молена и Проте Мютембе. Церковные обряды свидетельствуют о растущем проникновении церкви в жизнь «семей»: священники проверяют готовность будущих супругов вступить в брак и степень кровного родства, которое может стать препятствием к законному союзу. Позволив женщинам публично выражать свою волю и, вероятно, нарушив цикл брачных обменов введением более жестких экзогамных правил, не подорвала ли церковь основы аристократического порядка? Об освобождении женщины, которое Жюль Мишле считал одним из трех главных достижений XII века (наряду с освобождением «духа» и «общин»), свидетельствует прежде всего ритуал бракосочетания, выступающий гарантией религиозного достоинства супруги, равно как и залогом ее преимущественных прав в области ведения хозяйства. Впрочем, если тщательно сопоставить сборники

литургических правил с теми несколькими строчками, которые автор жития или эпической поэмы иногда отводит описанию свадеб между представителями аристократии, можно прийти к выводу о незавершенности (или даже о недостаточной разработанности) этой церковной инициативы.

Обыкновенно брак включает две процедуры; в «Житии святой Годеливы», сочинении середины XI века, они четко разделены. Получив согласие на предложение о браке, Бертульф принимает Годеливу под свою «мужнюю власть»: она считается *sponsa*<sup>\*</sup> с того момента, как только ответственность за нее, право и обязанность ее защищать в общественной сфере передаются мужу; убедившись, что документы о «вдовой части» в порядке, отец передает Годеливу мужу с рук на руки. Договор нельзя разорвать, так что мать Бертульфа опоздала со своими упреками. Свадьба проходит в супружеском доме (с этих пор Годелива останется здесь в качестве *sponsa nova nupta*<sup>\*\*</sup>); странно читать о том, что муж, уже начавший сожалеть о своем выборе, не присутствует на данной церемонии; его представляет мать, вынужденная скрывать неприязнь за любезной улыбкой! Бертульф появляется только через три дня... чтобы в скором времени переехать жить к отцу, оставив жену одну в супружеском доме, да еще под надзором. Трагическая развязка неминуема. Впрочем, эта история, в той или иной степени подвергшаяся авторской обработке, должна была выглядеть достоверно в глазах читателей; не случайно в ней проводится четкая граница между *épousaille* (помолвкой), с которой начинается ритуал брака, и *noces* (свадьбой)<sup>\*\*\*</sup>, его завершающей и придающей ему нерушимую силу с точки зрения церкви.

---

\* Невеста (лат.).

\*\* Жена, новобрачная (лат.).

\*\*\* Приблизительное значение этих слов. О несоответствии их современного понимания тому смыслу, который вкладывали в него средневековые хронисты, см. ниже.

Эпическая поэма «Эмери Нарбоннский», написанная в конце XII века, тоже изображает, хотя и менее драматично, два этапа традиционного заключения брака. Эмери посылает своих баронов просить руки прекрасной Эрменгарды у ее брата, короля Ломбардии, затем сам приезжает за ней; между мужчинами начинаются переговоры, в ходе которых посулы перемежаются угрозами, но при этом стороны пытаются не нарушить волю самой Эрменгарды. Хочет ли автор просто подыграть публике, когда подчеркивает это обстоятельство, или он воспроизводит «историческую» деталь? Ведь двое будущих супругов, ни разу прежде не встречавшихся, выбирают друг друга на основании репутации, которую имеет каждый из них. Во всяком случае, речи посредников звучат убедительно; вот как сам Эмери расписывает перед будущим шурином достоинства предлагаемого союза: «En totes corz en seroiz vos plus chier / Et en voz marches plus redoté et fier» («Во всех судах вас будут ставить выше, во всех походах вас станут бояться больше»).

Согласившись с его словами, король приводит свою сестру. На протяжении всего путешествия в Нарбонн автор называет ее «супругой» (*espouse*) или «женой» (*moillier*), хотя брак еще не состоялся. Нападение сарацин задерживает свадьбу (*poces*). Ее устраивают лишь после снятия осады с Нарбонна, и Эрменгарда становится хозяйкой города. Интересно, что брачная ночь предшествует официальной церемонии — мессе, которую служит архиепископ и с которой все спешат поскорее уйти, чтобы занять место за праздничным столом; пир продолжается целую неделю. Пышность, с которой он проходит, призвана прославить графа и всю Францию: в те времена мерилom богатства и могущества, неотделимых друг от друга, выступали щедрость и роскошь.

Просматривая источники XI–XII веков, убеждаешься, что длительность интервала между *épousaille* и *poces* сильно варьируется в зависимости от обстоятельств. Случаи, когда

пауза особенно затягивается, связаны со специфическими условиями жизни аристократии: территориальной отдаленностью семей, вынуждавшей жениха пускаться в долгое путешествие, а также практикой объявлять помолвленными несовершеннолетних детей (Иво Шартрский допускал ее при том, что оба участника обряда старше семи лет) — практикой, обусловленной необходимостью прочно скрепить союз или мирное соглашение между враждующими группами. Допустим, у девочки, единственной дочери в семье, есть агрессивный дядя: она нуждается в муже-защитнике, чтобы сохранить свой замок. Или какой-нибудь правитель срочно должен утихомирить взбунтовавшегося вассала, разоряющего его провинцию, — приходится вступать с ним в родственные отношения. Стало быть, хронисты того времени очень четко разделяют *épousaille* и *noces* и очень часто о них пишут; современные понятия «помолвка» и «свадьба» плохо передают значение тех двух слов.

В 1105 году наследник трона Капетингов Людовик VI посредством помолвки (*épousaille*) вступает в союз с Люсьенной, дочерью графа Ги де Рошфора-ан-Ивелина, юной девушкой, еще «не достигшей зрелости»: происходит временное сближение между государем, который с большим трудом удерживает власть в своем «домене», и господствующей группировкой влиятельного патрилиньяжа, чьи замки столь многочисленны, что окружают весь Париж. Однако «законному королю» объясняют, что ему следует искать союза, более соответствующего его достоинству и государственным интересам, поэтому он уступает Люсьенну кому-то из своего окружения, а сам не торопится с поиском новой жены (она появится лишь в 1115 году). Такую перестановку не так уж легко произвести: потребуются разрешение церковного собора (Труа, 1107), чтобы аннулировать то, что Сугерий справедливо называет «законным браком». Впрочем, сама Люсьенна по-прежнему остается в компании тетушки в своем замке Монтлери. Что касается

отца девушки, тот настроен решительно: посчитав — и не без оснований, — что над ним посмеялись, он начинает военные действия в Иль-де-Франс.

Юристы и теологи XII века (прежде всего в Париже) уточнили суждения церкви по вопросам брака, внося согласованные и духовные аспекты в сугубо реалистические и приземленные этические нормы их предшественников (эпоха Каролингов): эти последние заботились прежде всего о взаимном доверии (*fides*) супругов как некой социальной категории и о консумации как решающем факторе формирования брачного союза. Впрочем, выдвижение на первый план нематериальных аспектов, которое начинается с XII века, отражает прогресс лишь в сфере высокой церковной культуры: на практике по-прежнему преобладают материальные и социальные аспекты священных таинств, их «плотская» сторона. К тому же каноническое право вплоть до Трентского собора признавало, что помолвку (*engagement*) в действительный брак превращают сексуальные отношения, олицетворяющие «плотский союз» жениха и невесты. Согласие на совместную жизнь, дающееся во время помолвки, находит таким образом свое подтверждение.

Не является ли церемония у ворот церкви, о которой идет речь в англо-норманнских сборниках литургических правил, не чем иным, как помолвкой (*épousaille*) — первой или, в известных случаях, повторной? Здесь, как отмечают Молен и Мютембе, мы можем почерпнуть ценную информацию о «светских и семейных устоях, которые совершенно естественно [?] вписываются в обряд литургии». Предав гласности древние обряды (и подчинив своему контролю), церковь делает их нашим достоянием. И в то же время она их меняет — нечто похожее происходит в этнографии. Тем не менее можно с известной долей достоверности отличить детали, принадлежавшие «гражданской» сфере, от нововведений, своим появлением обязанных вмешательству церкви.

Убедившись во взаимном согласии супругов и проверив степень их родства, священник позволяет начать церемонию, за которой он просто наблюдает и которую заканчивает молитвой. Отец или близкий родственник невесты (*sponsa*), у которого она воспитывалась, передает ее жениху: соединение правых рук символизирует «дарение» (несмотря на некоторую искусственность и двусмысленность этого акта); через какое-то время (в XIII веке) церковь будет рассматривать его как обязательство супругов доверять друг другу и сам священник станет играть роль *joigneur* (соединителя). Жених надевает поочередно на три пальца невесты освященное кольцо, которое соединяет молодую пару. Это кольцо будет хранить невесту от козней дьявола; его надевают в знак любви и как символ верности — об этом упоминает церковная доктрина, но аналогичная процедура в отношении жениха появится лишь в XVI веке. Затем, как гласят два формуляра XII века, невеста должна пасть ниц у ног жениха; впоследствии наметится трансформация этой процедуры, и обоих супругов попытаются заставить опуститься на землю перед священником, но требование окажется невыполнимым, и церковь, идущая путем проб и ошибок в стремлении подчинить себе ритуал брака, предпочтет полный и недвусмысленный отказ от этого неудачного варианта, который был, вероятно, как и другие подобные ему, лишь особенностью местного развития. Теологи вовсю восторгаются дарами, которые супруги преподносят друг другу; однако, судя по церемонии, мужу и здесь отводится главная роль. Он является активной стороной: представляет документы о «вдовой части», вместе с кольцом преподносит «традиционные» подарки и тринадцать денье (обычай, сохранившийся со времен Салической правды), — хотя за невесту полагается приданое (*mariage*), и этого обычая никто не отменял. Монеты не задерживаются у невесты и оседают в карманах священника, нищих, разного рода помощников. Деньги нужны не для «выкупа» невесты, а для того, чтобы она раздала

их в качестве милостыни: не являются ли эти монеты вечными символами на фоне постоянно меняющихся и уходящих обычаев? Церемония сопровождается традиционной формулой: «Этим кольцом я с тобой обручаюсь, этим золотом я воздаю тебе честь, этим приданым я тебя наделяю», — которую произносит жених или кто-нибудь с его стороны.

Обручение (*fiançailles*) Роланда и «прекрасной Оды», как называет ее «Песнь о Жираре де Вьенне», по некоторым признакам сближается с вышеописанной помолвкой (*épousaille*). Карл Великий просит руки юной девушки для своего племянника — сначала у ее дяди, «предводителя» в войне, затем у самого старшего дяди в линьяже (но не у отца Оды, хотя тот жив и здоров) — и получает согласие. По окончании пира, знаменующего завершение военных действий, госпожа Гибур выводит из «покоев» пышно разодетую Оду; из рук тетки очаровательное создание переходит в руки дяди и короля и только после этого соединяется наконец со своим женихом. Он дает ей литургическое кольцо, в ответ она совершает *ensegne*<sup>\*</sup>, относящийся, напротив, к числу придворных ритуалов. Присутствующий при этом архиепископ лишь следит за церемонией, прямо в нее не вмешиваясь. Если бы драма в Ронсевальском ущелье не прервала идиллию, разве «брак» не стал бы простым повторением ритуалов помолвки и свадьбы, после которых молодая пара поселилась бы наконец в своем собственном доме?

Практика представляет многочисленные примеры обрядовых подношений, которые совершаются в стенах жилища молодых супругов, а затем повторяются в храме или перед ним, иногда в обратном порядке. Не «дублировалась» ли подобным образом и сама помолвка, так же как и другие договоры? Церковь сумела лишь спроецировать на общественную сферу — вынести наружу — те процедуры, которые ранее совершались

\* *Enseigne* (ст.-франц.) — действие или знак, выражающие признательность и уважение.

в пространстве частной жизни, куда, впрочем, священники проникали довольно часто уже начиная с эпохи Каролингов.

Саму свадьбу (*noces*) невозможно полностью перенести в публичную сферу и там воспроизвести, ведь главный ее момент — освящение покоев супружеской пары, вернее, их спальни. Супружеская спальня с бóльшим основанием, чем «семейный очаг», может служить символом супружеского жилища. О ее освящении, хорошо известном историкам-модернистам, которые стремились воскресить дух «старой Франции», говорится в некоторых формулярах Северной Франции XII века: от брачного ложа необходимо отвести порчу, дабы супруги не испытывали недостатка в наследниках и избежали позора, который могла бы навлечь на мужа измена жены (но не наоборот!). Супруги ложатся в постель на глазах «близких», но кого следует включать в их число, определить трудно; они не отходят от молодой пары, оставляя ее разве что на время интимной близости. Частью ритуала становится, хотя и не без некоторых колебаний со стороны епископов, благословение священника, однако ему составляет «конкуренцию» благословение отца мужа — это видно по отрывку из Ламбера Ардрского, относящемуся к 1190-м годам. Я склонен видеть здесь не столько пережиток патриархальных порядков «старой Франции», сколько попытку главы дома присвоить себе часть власти церкви: уже тогда начинает складываться образ отца семейства, спустя много веков запечатленный Ретифом де Ла Бретонном. Ведь супружеская спальня, которая остается или становится основополагающим элементом брака (об этом свидетельствуют специальные исследования, проводившиеся церковью в XIII веке), представляет собой тот сегмент частной жизни, где определенная роль отводится власти, где она может влиять на частное существование. Хотя аристократия «второго ряда» еще не полностью освободилась от всех форм зависимости, гидра феодализма уже тянет к ней свои щупальца; тот же Ламбер Ардрский описывает неприятный случай,

произошедший около 1100 года с одной дамой из среды вальвассоров<sup>\*</sup>: едва она ложится в постель со своим супругом, как ей внезапно наносит визит министриал ее влиятельного соседа, облеченный миссией получить с женщины так называемый *colvekerla* — налог, взимаемый с людей, которые вступали в неравный брак. Несчастливая краснеет от стыда. Впрочем, ее чувства пострадали не так сильно, как социальный статус. Позднее благодаря вмешательству графини де Гин бедняжке удастся добиться отмены повинности — пример эффективной борьбы женщин ее класса за свои права.

О значении, которое имела помолвка в глазах церкви, свидетельствует одно из изречений Иво Шартрского: в случае смерти жениха или невесты либо расторжения помолвки несостоявшиеся муж и жена не могут сочетаться браком с братьями, сестрами или иными родственниками друг друга. Это изречение исходит от человека, который, как и многие его современники, был одержим желанием воспрепятствовать инцесту, трактовавшемуся очень и очень широко: свойство — как в упомянутом выше случае — между женихом и невестой должно было быть не ближе традиционной четвертой степени, а кровное родство, больше интересующее автора, делало невозможными любые отношения между молодыми людьми, если оно было ближе седьмой степени. Известно, что вышеупомянутые степени — не что иное, как поколения, отделяющие каждого из родственников или ближайшего из них от общего предка, поэтому «площадь запретной зоны», особенно в масштабах того общества, представляется историкам поистине маленькой загадкой. Расширяя до такой степени ее границы, «церковь Каролингов», а вслед за ней и «григорианская церковь», действовавшая с еще бóльшим рвением (конец XI века), значительно затрудняют заключение браков: как простые

\* Вальвассоры (вавассоры) — мелкие феодалы; вассалы рыцарей, получившие от них феодал.

смертные, связанные с сеньором узами взаимных обязательств, могли бы покинуть свой кантон и искать жену в чужих краях? И как могли бы люди благородного происхождения избежать мезальянса, не выезжая за пределы «родной» провинции?

Чего именно хочет церковь? Законодательные источники с их лаконичными формулировками не содержат обоснований дел, ограничиваясь ссылками на решения «властей», которые могли избирательно применяться и произвольно интерпретироваться. Остается прибегнуть к гипотезам. Может быть, священнослужители стремились принудить паству склониться перед ними и смиренно просить о льготах, заставив таким образом признать власть церкви? Но это было бы чистым макиавеллизмом, да и не путаем ли мы тут причину со следствием? Больше других эти законы затрагивали аристократов — прихожан епископов; какой-нибудь прелат или монах не мог возводить подобные препоны перед своей послушной паствой в ее экзогамной практике. Более серьезные требования, ставшие в каком-то смысле общеевропейскими, предъявлялись к брачным союзам королей: на рубеже 1000 года европейские монархи вынуждены были ради того, чтобы продолжить свой род и при этом не совершить инцеста, ждать возвышения или обращения в христианство скандинавских и славянских князьков, к дочерям которых они могли бы посвататься; самые терпеливые — те, кто готов был связаться с отправкой посольства в Константинополь, — вознаграждались браком с византийской принцессой. Смешанные браки этнической аристократии с представителями других групп населения также весьма способствовали складыванию франкского государства в единое целое (IX век). С другой стороны, можно ли предположить, что высокородные священнослужители, которые, по свидетельству источников, становятся все более восприимчивыми к интересам своего линияжа, вдруг в порыве благородства решили раздробить наследственные имения, воспрепятствовав их концентрации в одних руках?

Однако лучшей гипотезой относительно намерений церкви следует признать ту, которая объясняет все случившееся простым «недоразумением»: Бернар Гене считает, что символическое число «семь» было воспринято в буквальном смысле. В Библии и в патристике речь шла о том, что необходимо избегать браков между родственниками, но не о том, чтобы проводить специальное расследование любых родственных связей вплоть до седьмого колена, как то предписывают синоды на рубеже 1000 года.

Даже король, образец для «народа», мог иногда жениться на «кузине», связанной с ним родством пятой или шестой степени. Да и церковь в конце концов пошла на уступки: не означало ли снижение на IV Латеранском соборе (1215) «запретительной нормы» с седьмой до четвертой степени, что духовная власть признает победу традиционной когнатической системы? Если только эта система еще не была ею разрушена... Самое главное, церковь уже отдает себе отчет в противоречивости своей деятельности, на что обратил внимание Жорж Дюби: ратуя за прочность брачных союзов, она в то же время сама дает повод для их расторжения. Как и другие обманутые отцы, Ги де Рошфор справедливо приписывает расторжение помолвки с его дочерью интригам врагов. История того времени изобилует примерами, когда жених внезапно обнаруживает родственные связи с невестой, если этого требует политический момент или если у него изменились планы; граф Анжу Фульк ле Решен был признанным специалистом по составлению генеалогий, предназначенных для «разводов» (конец XI века). Подобная практика может быть также направлена на упреждение удара противника: Генрих Боклерк, герцог Нормандии и король Англии, мешает своему племяннику Вильгельму Клитону, которого лишил наследства, вступить в союз с анжуйцами, объявив о его родстве с той, кого Вильгельм прочит себе в невесты. Религиозные соображения явно отступают здесь на второй план.

Вплоть до XII века христианская литургия брака остается слабо разработанной. Присутствие священника практически не меняет смысла «брачного» ритуала, который по-прежнему есть не что иное, как передача мужу власти над своей женой в публичной сфере и признание главенства жены в сфере частной; переход помолвки в ведение церкви не уменьшает роли родни в данной церемонии. Вопреки тому, что сообщает нам «Житие святой Оды», лишение девушки права голоса происходит с молчаливого согласия каноников. И наконец, гарантии, предоставляемые невесте на случай изменения женихом своего решения или разрыва брачного союза, — гарантии, которые внесли бы весомый вклад в дело христианского гуманизма, — практически сводятся на нет слепой приверженностью этой удивительной норме. Даже в тех случаях, когда она неукоснительно соблюдалась, не испытывала ли девушка, оказавшись в семье мужа, настороженного отношения со стороны новых родственников и не терпела ли унижения, подобно святой Годеливе?

### *Женщины, война и мир*

Браки, заключенные ради достижения мира между линиями и партиями, столь же непрочны, как и эти перемирия. Какова судьба женщины, чей муж вступает в конфликт с ее отцом или братом? В сочинениях Ордерика Виталия и Сугерия содержатся разные варианты развития подобной ситуации.

Вильгельм Завоеватель, выдавая замуж племянниц и кузин, превращает их в своих шпионок и сообщниц. Юдита разоблачает заговор своего мужа, англосаксонского графа Вальтеофа; это не мешает ей идти во главе пышной траурной процессии после казни супруга (1075). Роберт Жируа случайно съедает отравленное яблоко, приготовленное его женой Аделаидой для другого (1060), но по странному совпадению это происходит во время бунта Роберта против герцога, двоюродного

брата Аделаиды. Принцу сватают девушку с тем, чтобы она побуждала его выступать на стороне ее родственников в случае войны: в определенном смысле она представляет в доме мужа интересы своей семьи.

Впрочем, чаще жена встает на сторону мужа; сделавшись хозяйкой дома, она не желает возвращаться в свой линияж: ей есть что терять. Генрих Боклерк выдает свою внебрачную дочь Джулианну замуж за Юстаса де Бретея, жалует им замок д'Иври; в войне, которая начинается между Юстасом и королем в 1119 году, Джулианна принимает сторону мужа и энергично руководит обороной замка. Генрих, в свою очередь, не останавливается перед тем, чтобы ослепить и изувечить (им отрезают носы) попавших ему в заложницы собственных внуков. Однако несколько месяцев спустя, с наступлением осени, которая приносит с собой мир, король во имя родственных отношений принимает капитуляцию мятежной пары: «Великодушие смягчило сердце короля и вернуло его расположение к дочери и зятю», но это не вернуло здоровье искалеченным детям!

Если, следуя устоявшимся представлениям, мы примем за аксиому, что XI век — время непрерывных войн, то мы не увидим в источниках ничего, кроме ужасающих, хотя и эффектных сцен, а все другое, что там можно найти, останется вне нашего внимания. Жестокость междоусобных войн действительно вторгается в частную жизнь людей. Сугерий рассказывает о жене Ги де ля Рош-Гийона, которая обращается с отчаянной мольбой к родственнику, собирающемуся у нее на глазах расправиться с ее мужем: «Разве вы не объединены узами вечной дружбы? Это безумие!» Когда муж начинает уступать противнику, она пытается заслонить его своим телом, но ее, израненную, вырывают из его объятий и в довершении всего сбрасывают в Сену их малолетних детей. Мрачноватая картина для «весны Средневековья»! Но стоит ли придавать значение этому и еще нескольким подобным примерам? Какая эпоха обходится без трагедий?

Неудачливая посредница или свидетельница страшной сцены порой находит убежище в монастыре, под защитой и властью церкви. Аббатство ордена Фонтевро служило убежищем, по словам Жака Даларюна, жертвам несчастливо закончившихся политических браков; но туда принимали по преимуществу тех из них, кого навсегда оставил муж или кто уже вышел из «брачного возраста». Вместе с тем женщину феодальной эпохи можно представить как подстрекательницу войны, как активную участницу конфликтов, пронизывающих ее жизнь и делающих ее невыносимой.

Действительно, церковные писатели с ужасом и негодованием изображают *viragos* (от них пошло и само это слово), которые по причине взаимной неприязни развязывают войну между своими мужьями. В 1090 году «графиня Элвиса [д'Эрве] была разгневана презрительными речами Изабеллы де Конш [из рода Монфор] и начала со злости всячески убеждать графа Гийома и его баронов взяться за оружие. Вот так женская ревность и женские ссоры воспламенили гневом сердца храбрых мужчин»... Похожий сценарий приводит к конфликту между Ангерраном де Куси и Жераром де Керси (конец 1110 года): их супруги, острые на язык (и весьма вольных нравов), обмениваются взаимными оскорблениями и инсинуациями во время частного разговора, уверенные, что он получит широкую огласку. Гвиберт Ножанский довольно точно определяет их как «похотливых гадюк».

У женщин по сравнению с мужчинами есть то преимущество, что они менее подвержены опасностям войны — и теоретически, и на практике. Причем иногда это ведет к полной перемене семейных ролей: спесивые подстрекательницы войн диктуют свою волю мужьям, которые ради них жертвуют жизнью в кровавых и бессмысленных походах. Ангерран де Бов, первый из знаменитых сеньоров Куси, вступает (ок. 1079) на территорию своих будущих владений благодаря их тогдашней хозяйке (возможно, унаследовавшей эти земли по

отцовскому праву), та влюбляется в него и пускает к себе, предав мужа; впрочем, новоприобретенные земли слишком хороши, чтобы их можно было оставить без защиты, и Ангеррану приходится взять на себя эту тяжелую обязанность. Менее воинственна, хотя столь же свободна от предрассудков Бертрада де Монфор: обеспокоенная буйным нравом своего грозного супруга, Фулька ле Решена, она начинает оказывать знаки внимания королю Филиппу I: он увозит ее к себе и делает королевой (1093). С самого начала она активно влияет на стареющего монарха и долгое время координирует действия его сыновей от обоих браков против юного Людовика VI. Конфликт с мачехой — один из наиболее известных классических сюжетов. В нашем случае интриги Бертрады заканчиваются для нее неудачно и она вынуждена уйти в монастырь, хотя и после весьма продолжительной борьбы.

Вплоть до XII века имеет место похищение невест, однако следует ли видеть в подобной практике только символ варварства и угнетения, которому подвергаются женщины? Они часто сами выступают инициаторами этих похищений; во всяком случае, их соучастие немало способствует успеху предприятия. Похищение может быть средством, с помощью которого влюбленные стараются настоять на собственном выборе в противовес воле линьяжа; если последний в конце концов признаёт свершившийся факт, все завершается «хеппи-эндом»... Иногда похититель больше заслуживает эпитета «освободитель» по отношению к девушке, которая лишена выбора, или женщине, с которой плохо обращается муж. В самом акте похищения заключено явное противоречие: чтобы обрести защитника, женщина готова ему отдаться; с одной стороны, мы видим, насколько ущемлены права той, которая вынуждена пойти на такой шаг, а с другой — очевидно, что это одно из самых эффективных средств освободить себя. В похищение нередко входит элемент постановки или, выражаясь высоким языком, ритуала.

По правде говоря, мы знаем о женщине только то, что о ней рассказывают мужчины; источники, изображающие ее в столь неприглядном виде, необъективны. В «Истории» Ордерика Виталия женщина несколько раз появляется в роли отравительницы — этакой новой Евы, угощающей мужчин ядовитыми яблоками и постоянно распространяющей злобную клевету. Ощущается влияние притч Ветхого Завета, ибо автор — монах, чье мировоззрение сформировано чтением Библии. Но не повторяются ли здесь эти нападки — столь же «достоверные», как и обвинения женщин в колдовстве, — для того лишь, чтобы пресечь любую попытку подвергнуть сомнению законность мужского доминирования? Постоянные упоминания об адюльтере выполняют, вероятно, схожую функцию, даже если они не совсем лишены оснований. Вызывает сомнение рассказ о письмах, якобы полученных в 1068 году несколькими рыцарями, спутниками Вильгельма Завоевателя, от их жен: те просят супругов вернуться домой и удовлетворить их желания, а в противном случае грозятся завести любовников. Однако непохоже, чтобы «пространство» женщины полностью контролировалось мужчинами: она не томится в высокой башне, когда ее муж отправляется в крестовый поход, и не носит пояса целомудрия, который появляется позднее или вообще относится к разряду легенд. Если и существует какое-то ограничение свободы женщин, то оно не столь изоциренно, хотя, надо полагать, более действенно.

Надзор за ними должен обеспечиваться матронами. Кто они — соседки или женщины из числа домочадцев? Неважно. Ведь линия раскола между юностью и зрелостью проходит не только через мужское общество. Печальная история святой Годеливы, которая погибает от рук убийц, подосланных собственным мужем, а перед этим претерпевает от него различные унижения, свидетельствует не столько об отсутствии заботы об этой женщине — она управляла домом, хотя и под

надзором, и сумела заручиться помощью многочисленных сторонников, — сколько о конфликте со свекровью, придерживающейся строгих «матриархальных» взглядов. У Ордерика Виталия образцом главы «семейства», равно как и идеалом справедливого шателена\*, выступает Ансо де Моль, воспитатель и наставник своей молодой и знатной супруги; однако он продолжает заботиться и о своей старой и не менее знатной матери, оставшейся в доме ее покойного мужа, и тем самым являет пример истинной, безупречной сыновней любви. Не по этой ли причине автор всем предпочитает именно его? Если нетривиальная интерпретация источников может пролить свет на скрытые мотивы их авторов, она вполне допустима. Тем легче будет нам иметь дело с куртуазной литературой, возникшей после 1150 года: ведь к ее интерпретации надо подходить с удвоенной осторожностью.

Рауль I, сеньор де Куси берет в жены (ок. 1160) Агнессу, дочь Бодуэна IV, графа де Эно; в качестве приданого за нее полагается пошлина, которую один из городов во владениях графа должен ежегодно выплачивать будущему супругу. Чтобы быть уверенным в регулярном получении пошлины, зять предоставляет тестю военную помощь и поддерживает его советами, к тому же такая односторонняя услуга — справедливая плата за приток в свой линияж королевской крови. Неравенство отношений, лежащее в основе вышеупомянутых гипергамных браков, внесло свой вклад в формирование иерархического устройства системы.

Отношения зятя и шурина во время рыцарского турнира могут принимать причудливые формы, как в каком-нибудь спектакле: Рауль I де Куси и Бодуэн V де Гиннегау (брат жены) то выступают вместе, то сходятся в крупных поединках. Жильбер де Мон отмечает сохранение связей между госпожой Агнессой и ее родственниками: в 1168 году она появляется

\* Здесь: сеньор, владелец замка.

на «семейном совете», в то время как присутствие ее мужа там не засвидетельствовано.

Самое главное, Агнессе удастся понравиться «жестоко-сердным» рыцарям, которые вместе с сеньором де Кузи охраняют ее земли и составляют ее двор. Для тех краев она была дамой из рыцарских романов, то есть, согласно интерпретации Жоржа Дюби, не объектом поклонения, находящимся в центре придворного общества, но послушным орудием в руках мужа, которым тот умело пользовался с целью упрочить свой авторитет.

Приобретения знатных дам в плане безопасности и стабильности на рубеже XIII–XIV веков автоматически означали для них потери в области свободы маневра. Однако в это время множится число регентш, управлявших вместо своих детей: на уровне королевства (Бланка Кастильская), герцогства (Бланка Наваррская) или простой сеньории, но речь не идет о том, что перед ними внезапно открылись новые карьерные возможности или что благодаря крестовому походу возросли их обязанности, — изменились только условия отправления власти: непосредственное участие в войне или судебном заседании имеет отныне меньшее значение, чем грамотное управление хозяйством или умелое проведение собраний (с помощью правоведов).

Хотелось бы, наконец, добраться до подлинных человеческих отношений — но других, более сложных.

### *Общество супругов*

Возьмем, например, любовь между супругами, которая часто проявляется в минуту смертельной опасности. В рассказе Гвиберта Ножанского о Ланской коммуне есть несколько трогательных сцен: видам\* Адон во всеоружии спешит покинуть дом, чтобы прийти на помощь своему сеньору — епископу,

---

\* Наместник епископа.

осажденному восставшим плебсом (1112), его жена, предчувствуя скорую смерть супруга, в присутствии слуг просит у него прощения за все обиды, которые когда-либо ему причинила, и после долгих объятий они обмениваются прощальными поцелуями. Такая же нежная торжественность сопутствует прощанию Ансо де Моля со своими близкими за три дня до его кончины, которую он тоже предчувствует: перед лицом своих «домашних» рыцарей он наставляет старшего сына, призывая чтить церковь и короля, после чего благословляет его; затем, повернувшись к жене, увещевает ее хранить целомудрие во вдовстве и просит ее согласия на свой постриг в монахи. Здесь соединены два обычая, распространенные в аристократической среде XI века: во-первых, встречать смерть в «одежде святого Бенедикта» (монашеской рясе), облачившись в нее *in extremis*<sup>\*</sup> — «ради спасения» (*ad succurendum*), как пишут источники, — предварительно пожертвовав церкви большую сумму; во-вторых, разрывать супружеские узы во имя более чистых отношений; только такое расторжение брака признается церковью, но при условии согласия супруги.

Здесь, перед лицом смерти, становятся очевидными значение и ценность супружеского союза: быть может, его истинный смысл раскрывается именно в эту минуту, когда немислим обман? Или автор просто не хочет упустить последний шанс создать идеальный образ супружеской пары? Так же как и при помолвке, в этом ритуале отстаиваются два принципа: равноправия жены и в то же время ее подчинения мужу. Способностью соединять противоречивые принципы и понятия обладают мифы — а в нашем случае также стереотипы и ритуалы; позднее эту функцию возьмет на вооружение этнология. Союз супругов стремились представить эгалитарным и в то же время иерархичным. Для супружеских отношений, точно так же как и для феодальных (вассальных),

<sup>\*</sup> В тяжелую минуту, при смерти (лат.).

характерно использование слов *mon seigneur* (мой господин) и *ma par* (моя равная). Что касается римского права, которое в XIII веке оказало некоторое влияние на легистов севера Франции, то у римлян внимание к правам личности сочеталось с упрочением прерогатив мужа и отца. Мораль там такая же, как и в каноническом праве: жена должна смириться со своим подчиненным положением в брачном союзе (*societas*).

Наверное, можно провести параллель между формами семейной и государственной власти: современная социология нередко находит связь между ними. Мнимое освобождение невесты — вероятно, не что иное, как новое политико-юридическое понятие, мало чем отличающееся от «освобождения» деревни, которое «приписывают» той же эпохе: в обоих случаях речь идет о комплексе регламентированных отношений, где свобода провозглашается как некий «общий принцип», сопровождаемый целым набором строгих ограничений. Освобождение «коммун» и освобождение «женщины» — то, чем в свое время так восторгался Жюль Мишле, — имеют общее условие. От одних требуют признать сеньора, от другой — любить супруга.

Достается ли ему эта любовь? Стали почти общим местом утверждения (они встречаются, например, в авторитетной «Encyclopaedia Universalis»), что сами понятия «пара», «чета» были придуманы в XII веке французами, которые и без того сыграли одну из ведущих ролей в истории Запада: сначала «пара» изображалась (трубадурами из мятежной Окситании) вне связи с браком и даже как его противоположность, затем стала рассматриваться (писателями севера Франции, где царили мир и спокойствие) в контексте законного союза супругов; Кретьен де Труа в своих книгах об Эреке и Эниде, Персевале и Бланшефлор придает семейным отношениям то же очарование и наделяет их той же глубиной, как если бы речь шла о романтических приключениях двух любовников. Совместимы ли брак и любовь? Вызвав оживленные споры в «куртуазном»

обществе Шампани и Парижа, этот вопрос в конечном счете так и остался без ответа. Опирались ли участники споров на реальный супружеский опыт? Влияло ли одно на другое? Не оставались ли эти споры в области литературы?

Во многих архаических обществах отмечается моральная дистанция между супругами, о чем свидетельствует такой показатель, как редкость разговоров между ними. Когда ежедневно ощущается давление родственников и когда, несмотря на это, актуальными остаются независимость женщины и ее правовая защита, настоящее сближение жены с мужем почти невозможно. Оба этих препятствия в какой-то мере встречаются в аристократическом мире, описанном Ордериком Виталием, Сугерием и Гвибертом Ножанским. Не отравляли ли взаимные подозрения супружескую жизнь?

В XI веке, или скорее в сознании людей того времени, опасение женской измены стало какой-то навязчивой идеей, причем ее основанием служил тот очевидный факт, что дома и внутренние покои не были полностью закрыты для окружающего мира. Королевы и дамы, обвиненные в результате интриг враждебной партии в непозволительных действиях, которые они якобы совершали с мужчинами в глубине «алькова», зачастую добивались оправдания с помощью ордалий: односторонних, когда обвиняемая должна была держать в руке раскаленное железо, и двусторонних — дуэли, на которой приходилось драться ее представителю; первое подразумевало личную ответственность дамы, второе — вмешательство защитника, близкого человека, родственника или... любовника. Изольде, Гвиневре и другим героиням романно-эпического цикла, не совсем честных со своими мужьями, удастся избежать приговора феодального суда их сеньора и господина именно благодаря дуэлям. В эпоху, когда слушатели труверов содрогались, слушая их рассказы об ордалиях (конец XII века), к этим опасным испытаниям, похоже, уже переставали прибегать, возможно утратив при этом частицу свободы.

И напротив, письма Иво Шартрского свидетельствуют об актуальности ордалий на рубеже 1100 года: знаменитый церковник хочет ограничить применение этого «незаконного» испытания («иррационального», как сказали бы сегодня) — оно неприемлемо главным образом потому, что является «искушением Бога», — теми случаями, когда нет другого способа выяснить истину; супружеская неверность, в которой обвиняют жену, относится как раз к числу таких случаев. Ведь она может призвать в свидетели только небо.

Что касается выплеска мужской сексуальной энергии за пределы семьи, то это не угрожает ни отношениям в самой семье, ни чистоте линияжа: подобные безобидные происшествия упоминаются в источниках лишь вскользь. Портрет Бодуэна II, графа де Гина (ум. 1169), нарисованный капелланом Ламбером, передан с удивительной реалистичностью: жизнелюбие этого сеньора («невоздержанность его чресел») с ранней юности и до старости выражалось в неумеренной любви к юным девушкам; окрестности Па-де-Кале полны его незаконными сыновьями и дочерьми, о судьбе трех из них он проявляет особую заботу, пытаясь как-то их устроить (за внебрачными детьми не признавалось никаких прав на наследство)\*. Вместе с тем граф испытывает глубокую печаль, когда от родов умирает его жена, госпожа д'Ардр; он ведет себя как безутешный вдовец. Отныне он начнет заниматься «добрыми делами» на благо *domestici* («семьи» в широком смысле слова) и помогать отдельным представителям мелкого дворянства, попавшим в трудную ситуацию; иначе говоря, он заменит покойную супругу, известную своей благотворительностью. Живо представляешь себе тип отношений, некогда установившихся между ней и Бодуэном: искренняя дружба — в том значении, какое придавал этим словам Цицерон, — дружба с «обязанностями» супругов друг перед

\* Вероятно, речь идет не о Бодуэне, который в 1169 году только родился и прожил довольно недолгую жизнь, а о его отце Арнульфе де Гине, действительно умершем в 1169 году.

другом; гармоничная пара, совместно ведущая дела, феодальный организм, живущий благодаря взаимным связям и уступкам.

Одного этого, как мне кажется, достаточно для сближения супругов. Недоверие между мужем и женой сильнее всего в тех обществах, где не действует принцип вирилокальности\*, или там, где связи внутри семьи непрочны и слабы. И напротив, любое движение в сторону роста численности как супружеских жилищ, так и их обитателей (наша книга ясно обозначает, когда это началось: в 1180 году) влечет за собой укрепление семейной ячейки. Конец XII века изобилует примерами, свидетельствующими о развитии подобной тенденции, так что даже возникают сомнения в сохранении прочных связей внутри линияжа. Эти примеры касаются прежде всего различных сделок.

Домашнее хозяйство: не затронув эту тему, невозможно проанализировать жизнь семейной пары, потому что последняя должна иметь прочный материальный фундамент. Настоящей общности имущества не существует, если не считать владения тем, что было совместно приобретено супругами. Сложность имущественных отношений между супругами дворянского или рыцарского звания вынуждает нас ограничиться лишь общими, формальными соображениями. Так называемая «вдовья часть», известная еще со времен Салической правды, хотя и уравниваемая приданым (*mariage*), о стратегической функции которого я говорил выше, входит в ритуал помолвки. В длинной преамбуле грамоты, составленной в 1177 году от имени Арнуля де Монсо, рыцаря из окрестностей Лана, прославляются достоинства брака; это явно направлено против еретиков, которые пропагандируют идеи равенства и чуть ли не свободы и прельщают ими женщин, не желающих признавать мужское господство. Из любви

---

\* Этнологический термин, обозначающий переезд жены в дом мужа после свадьбы.

к супруге Арнуль выделяет ей — это центральная тема документа — «лучшую часть» своего имущества: дорожную пошлину с жителей города Лана. Но, как гласит пословица, женщина «зарабатывает» на «вдовью часть» в постели, а получает лишь тогда, когда действительно становится вдовой.

В королевстве Капетингов начала XIII века обычай дает знатной женщине право на половину имущества мужа по закону о «вдовой части» (*jus dotalitii*); речь идет о праве обеспечить себя после смерти супруга при условии, что она не выйдет замуж повторно; при этом учитывается, что, получив право на «вдовью часть» после вступления в брак, она не принимала участие в каких-либо разделах наследственного имущества со своими братьями. Что касается собственно «вдовой части», размер ее не всегда четко определен; юристы-практики не забывают упомянуть о случаях, когда женщина вынуждена давать согласие на отчуждение части имущества мужа. Например, супруги вместе приходят в церковный суд для оформления пожертвования или сделки: жена присоединяется к воле мужа, отказываясь от своей доли наследства, или соглашается на увеличение своих прав на другую часть имущества. Источники называют это решение «спонтанным», принятым «без принуждения» (*spontanea, non coacta*). Таким образом женщина защищает себя от чрезмерного расточительства мужа и притязаний на его наследство, которые после его смерти могут предъявить дети или, что более вероятно, родственники по боковой линии.

Начиная с 1175 года обычай *laudatio parentum* (одобрение родственников) встречается все реже, а роль женщин в семейной жизни, напротив, возрастает. Стало быть, супружеская пара вытесняет линияж? С тем же успехом можно выдвинуть противоположную гипотезу: «родственникам» предоставляется беспорное право на наследство, так называемый «выкуп родового имущества», о котором упоминает Бомануар: оно позволяет родственникам индивида контролировать любую его сделку; невесте же даются недостаточные и непрочные

гарантии в плане получения наследства. Не является ли представленный образ неким отражением действительности, или в каком-то высоком смысле он ее предвосхищает?

Легисты в целом стремятся защитить будущую вдову. И эта забота свидетельствует о потенциальном конфликте между женщиной и родственниками ее мужа; в этом состоит главная проблема истории родственных отношений. На нее обращает внимание Марк Блок, отмечая в жесте о Гарене ле Лоэрене то место, где к какой-то вдове обращается с бессердечной речью родственник ее покойного супруга: он говорит, что имеет больше причин печалиться, потому что для него потеря невосполнима, в то время как она может найти себе нового мужа. Его речь не надо воспринимать как резкую, но естественную реакцию на смерть близкого человека, как неуправляемый выход «эмоций»: на самом деле его публичная жалоба означает притязание на наследство, *clamor*\* в полном смысле слова.

### *Вдовы и сироты*

Но разве не известно, что долг рыцаря — «защищать вдов и сирот»? На это я отвечу, что церковь, вероятно, именно потому возлагает на рыцаря заботу о вдовах и сиротах (хотя и сама идея, и ее формулировка возникли намного раньше как одна из прерогатив короля), что он зачастую имеет обыкновение их притеснять, начиная с собственной невестки и племянника. Стремление к роскошному образу жизни, невозможному без получаемых по наследству богатств, при каждом разделе имущества неизбежно сталкивает друг с другом разные ветви патрилиньяжа; за два века, которые мы здесь рассматриваем, изменились только форма и интенсивность этой борьбы.

Что ожидает молодую вдову? После преждевременной смерти Эрно д'Эшофура, отравленного небезызвестной Мабель

---

\* Крик, вопль (лат.).

де Беллем (1064), его жена возвращается в свой линьяж, найдя пристанище в доме брата, сенешаля Нормандии. Что это — символ верховенства патрилиньяжа или одно из последствий поражения рода Жируа? Семейная ячейка распадается, итог печален: двое маленьких детей воспитываются вдали от матери, в «чужих домах», где им приходится испытывать «нужду и несправедливость» (что не помешает юношам достигнуть больших высот, одному в сфере религии, другому — в военной области).

Пример совершенно иного рода — история матери Гвиберта Ножанского, относящаяся к тому же времени. В своей автобиографической книге Гвиберт — монах, чей отец был рыцарем и владельцем поместья, — рассказывает об омрачавших его детство конфликтах между патрилиньяжем и супружеским союзом (середина XI века). Став мужем и женой в совсем еще молодом возрасте, родители Гвиберта получают отдельный дом с прислугой в Бовези — автор называет это местечко *oppidum* (поместье, городок). По соседству с ними живут пары, принадлежащие к «отцовскому» линьяжу; связывающие их отношения можно по некоторым признакам охарактеризовать как сочетание взаимной поддержки и соперничества (например, они переманивают друг у друга учителя для детей, чтобы те получили преимущество перед соседскими отпрысками в области образования). Но все-таки между молодыми семьями существует своего рода барьер, интимная сфера, куда не позволено вторгаться: проходит «семь лет», прежде чем будущий отец Гвиберта сознается родственникам в своей неспособности консумировать брак. Его жене приходится пройти через тяжелые испытания, ибо патрилиньяж толкает ее на «грех» (должна ли она спровоцировать собственное похищение?) с тем, чтобы расторгнуть союз с мужем, хотя этот брак и относится к числу гипергамных. Семья устоит перед трудностями: опыт внебрачных связей избавит мужа от комплексов, возникших, очевидно, вследствие того, что его законная супруга происходит из более знатного рода; он умрет молодым, вероятно, попав

в плен, но они с женой успеют произвести на свет нескольких детей. После смерти отца, вспоминает Гвиберт, «родня» начинает изводить молодую вдову, стремясь поскорей избавиться от нее, тогда как она отказывается повторно выходить замуж; ее одолевают предложениями руки и сердца и преследуют судебными тяжбами (делами о «вдовьей части?»), перемежая угрозы и запугивание всякого рода посулами. В книге есть жуткая сцена: несчастная вдова, уже готовая сдать на милость одного враждебного двора (надо ли говорить, что он состоит исключительно из мужчин?), находит спасение, обратившись с молитвой к Иисусу Христу, которого она называет «sponsus» (жених/супруг, обещающий вечный союз уверовавшим в него); таким образом она заявляет о своем намерении посвятить себя Богу, что обеспечивает ей поддержку церкви. Эта сильная женщина, уподобленная героиням Священного Писания, остается фактической хозяйкой дома и наставницей своих детей вплоть до того момента, когда самый младший из них, Гвиберт, достигнет двенадцатилетнего возраста. Отныне она, вознося покаянные молитвы у ворот монастыря вместе с другими женщинами, думает только о спасении собственной души, а также о спасении душ детей и мужа, его — особенно: она даже готова взять на себя заботу о воспитании беспризорного ребенка, лишь бы замолить грех покойного супруга, чьи попытки обрести сексуальный опыт привели к рождению внебрачного сына.

Следовательно, во времена расцвета Средневековья существовала и супружеская, и материнская любовь: они дают себя почувствовать в стычках матери Гвиберта Ножанского с родней, в ее настроениях и мечтах; оба вида любви тесно взаимосвязаны: если верить Гвиберту, его мать перенесла на него привязанность к умершему мужу. Но в повествование Гвиберта вплетаются также социальные и эмоциональные аспекты родственных отношений, причем, как мне кажется, сразу видно их функциональное назначение. Воцерковленный

человек, шедший к Богу долгими «окольными» путями, укоряет себя за все, что совершил под влиянием «кровных друзей»; любящий сын, чье почитание Девы Марии очевидным образом связано с его чувствами по отношению к своей матери, присоединяется к ее упрекам в адрес свойственников. Отцовский род, заинтересованный в продвижении своих представителей, внимательно следит за духовной карьерой Гвиберта, последний до глубины души ненавидит старшего брата (кузена), возглавляющего патрилиньяж, но именно он едва не добивается для Гвиберта сана каноника. Что касается родственников с материнской стороны, по-видимому, более именитых, чем отцовская родня, то бросается в глаза отсутствие упоминаний о них во время двух тяжелых испытаний, через которые приходится пройти молодой женщине. Еще раз подтверждается тот факт, что когнатное родство не играет активной роли в социальной жизни, ограничиваясь функцией пассивного представления социального статуса. И в Бовези, и в Лане пути Гвиберта постоянно пересекаются с кем-то из его родственников, рассматриваемых в качестве таковых без различия линии родства; так, Гвиберт не может и не хочет скрывать свою привязанность к Эврару де Бретею или свой чисто земной интерес к кухне, обосновавшейся в Лане после замужества. Несмотря на интеграцию в обширную «семью» (говоря метафорически) священнослужителей, этот монах не отрекается от своей настоящей родни. И хотя Гвиберт, одержимый эдиповым комплексом, кажется вполне современным человеком, он продукт «феодальной эпохи», и его семья не совсем идентична нашей.

Складывается впечатление, что вдова не имеет большого желания возвращаться домой; какой прием может там ее ждать? Внимание, уделяемое учеными-юристами в XIII веке всему, что касается «вдовьей части», объясняется, быть может, тенденцией к сокращению числа повторных браков, к отдалению вдовы от «родни»; если бы подтвердилась регулярность подобных случаев, это можно было бы считать свидетельством

прочности семейной пары. Прекрасной Эрменгарде, уехавшей к Эмери Нарбоннскому из родной Ломбардии, не суждено вернуться на родину; госпожа Гибур в стихотворной форме рассказывает своему племяннику — в знак расположения к нему — о социальных мотивах такой практики, сопроводив свой рассказ идеей, на этот раз высказанной прозой, но не менее полезной, о том, что «счет брака не испортит»: *«El n'a parant en iceste contrée, / Seror ne frere, don't elle soit privée. / De son doaire ne doit ester obliée: / Car li nomez, sire, s'il vos agree / Plus en avra d'amor a vos tornée, / Si vos en ert plus cortoise et privée»* («У нее нет родственников в нашем краю — сестры или брата, с которыми ее связывали бы товарищеские отношения. Не нужно забывать о «вдовьей части»: скажите же ей, сударь, если вам угодно, что вы в нее включите; за это она полюбит вас сильнее, она будет более внимательна, больше предана вам»).

В больших династиях XII столетия вдова, богатая и знатная дама, играет важную роль; занимаясь исследованиями рода де Куси, я обратил внимание на одну тенденцию: вдова в первые годы управления домом почти полностью отождествляет себя со своим несовершеннолетним сыном, потом сама твердо встает на ноги; она живет на ренту с «вдовьей части», которая после ее смерти отойдет младшему сыну или же вольется в другую «вдовью часть» (оставаясь, вне сомнений, в патрилиньяже, чтобы служить источником различных дотаций); впрочем, рента слегка уменьшится, потому что на закате дней вдова, вероятно, отдаст часть средств на богоугодные дела или построит поблизости новый храм. Где-то между 1130 и 1138 годами вдове и сыну жестокосердного Томаса де Марля, сеньора замка Куси, предъявляют претензии граф де Вермандуа и монастыри, в свое время разграбленные Томасом, но король Людовик VI, победивший Томаса в битве, не дает толкнуть себя на такой несправедливый и неосмотрительный шаг, как лишение наследства жены и детей покойного: он ограничивается присвоением его казны, оставив семье землю;

епископы и аббаты, не желая, со своей стороны, «социальной смерти» наследников грешника, довольствуются «реституцией» похищенного Томасом и требованиями некоторых пожертвований на благо церкви.

На протяжении XII–XIII веков, в те моменты, когда преждевременная кончина отца и мужа вызывает ослабление сеньории, княжества или королевства, защита вдов и сирот, равно как и манипуляция ими, все заметнее переходят из сферы линьяжных отношений в область отношений феодальных: вассалы поддерживают и вдохновляют наследника их почившего сеньора, король или принц-сюзерен берет под защиту и под надзор сыновей и дочерей их вассалов. Образ воспитанника отличается амбивалентностью: нечто среднее между маленьким заложником, мучеником и образованным, воспитанным юношей. Относительно упоминавшихся нами выше знаменитых регентш нужно заметить, что одна из них, Бланка Наваррская, находится под строгим наблюдением короля Филиппа Августа, который держит при себе ее сына (1200–1216); другая, Бланка Кастильская, видит, как ее «права» на королевство оспариваются именитыми баронами, в 1229 году пытающимися отнять у нее сына, будущего Людовика Святого, — разве их сеньор, Людовик VIII, умирая, не поручил сына их заботам? Жизнь вдовы — беспощадная битва, как и во времена Гвиберта Ножанского. Если она молодая, тирания сеньора или дерзость вассалов нередко вынуждают ее снова выйти замуж; у нее нет выбора.

Поскольку вплоть до конца XII века крупные сеньории не подчинялись ограничительным феодальным правилам и продолжали существовать в виде аллодов, наиболее надежную защиту вдове мог предоставить патрилиньяж, и он же — оказать на нее наибольшее давление. Впоследствии проявляются черты классического феодализма с характерными для него законами: они не имеют ничего общего с подлинной свободой женщин и детей. В работах, излагающих историю Франции

в традиционном ключе, можно прочесть, что Капетинги умело и без применения силы заставили работать на себя законы сюзеренитета; в действительности под этим подразумевается следующее: лишение женщины права выбирать мужа, скрупулезное изучение степеней родства между будущими супругами, наложение вето на потенциально опасные союзы — короче говоря, бесцеремонное вторжение в частную жизнь аристократии.

В частную жизнь аристократии? Это не столько частная жизнь, сколько совокупность стратегий, которые я описал, отталкиваясь от общего определения границ «частной сферы», предложенного Жоржем Дюби.

### *Постскриптум (1998)*

В издании 1985 года эта глава завершалась заключением, в котором я обобщал рассмотренный материал; однако текст получился немного сумбурным. Я писал, что в изучаемый период наблюдаются «константы» (например, обширные когнатические родственные связи или, в известном смысле, семейная пара) и «переменные» — мутации, дающие о себе знать с течением времени: скажем, усиление роли линияжа в жизни аристократии «на рубеже X–XI веков» (!) и, «напротив» (?), ее ослабление к началу XIII века. Господствующий класс объединяет разветвленная сеть родственных связей, скрепленная близостью двоюродных братьев и разными формами консолидации. Это служит его главным отличительным признаком: он состоит из наследственной аристократии, которая берет на себя заботу о сохранности семейных связей, — из мужчин «чистой крови» и дам «высокого рождения» (то и другое синонимично выражению «благородная фамилия»). Они всегда или союзники, или соперники, однако поле взаимодействия и борьбы между ними, правила и ставки в ходе истории подвергаются модификации. «Дворцовая» монархия Каролингов

к 880 году уступила место государственным образованиям более, скажем так, «феодалного типа»; много позже, в XII–XIII веках, происходит реконцентрация власти, которая отныне опирается на более сильную юридическую и административную базу. Эти два процесса неизбежно влекут за собой определенную эволюцию «благородной фамилии». Сейчас, в 1998 году, я хотел бы вернуться к данному вопросу с учетом новых исследований и моего собственного обогатившегося опыта. Мне показалось возможным сократить свой вариант 1985 года, особенно в той части, которая касается семейной пары, чтобы оставить место для этого постскриптума.

*Наследство Каролингов.* «Феодалный» мир Франции был в гораздо большей степени продуктом системы, созданной в VIII–IX веках Каролингами, чем это представлялось старой школе (Марку Блоку) и приверженцам теории о «великом переломе 1000 года», который якобы произошел в указанное время вследствие внезапного и страшного кризиса публичных институтов. Хотя при Каролингах еще не сложилось четко определенной литургии христианского брака — этот процесс потребует долгого времени, — церковь дофеодалной эпохи передала потомкам несколько чрезвычайно важных моральных и правовых принципов. При Каролингах так называемые «ревнители веры», которым Пьер Тубер посвятил блестящее исследование, уже рассматривали супружеский союз как идеальный общественный договор. Союз супругов играет известную роль и в эволюции социальных стратегий, рассмотренных в книге Режин Ле Жан «Семья и власть у франков (VII–X вв.)» (1995). Если в «феодалную» эпоху преобладают патрилиньяжи аристократии, вроде рыцарского «дома», из которого вышел Ламбер де Ватрело, так это потому, что супружеский союз, давший начало этим патрилиньяжам, с VIII–IX веков постепенно обретает силу и права. Королевы и графини еще до «начала новой эпохи» заняли место рядом с мужьями; вслед

за ними те же привилегии получают знатные дамы из замков. Ансо де Моль не единственный, кто так почитает свою мать. После свадьбы дом мужа, в который входит женщина, становится и ее домом. Когда сваты (отец или брат девушки, иногда ее сеньор) приносят приданое (*mariage*), это нередко означает ее исключение из «природного» патрилиньяжа. Если среди ее братьев есть рыцари, то она и ее дети не получают большого наследства. Своим сыновьям и дочерям она завещает скорее определенные социальные связи и престиж, соответствующий их положению, чем какие-то материальные блага. То, что она все-таки получает в виде приданого (*mariage*) или других даров, скорее всего, перейдет к ее младшим сыновьям или дочерям, что позволит старшему из наследников забрать все имущество отца и уберечь его от разделов. Обычай давать приданое за невесту («свадебный дар»), наряду с официальной процедурой передачи «вдовьей части», нашел отражение в документах XI века (Клюни и Вандом), неожиданно оказавшихся весьма содержательными и полными новых деталей о частной жизни. Однако я думаю, что данная практика обусловлена какими-то более ранними эволюционными процессами и объясняется более ранними реалиями. Жорж Дюби не однажды высказывал предположение, что в районе «тысячного года» не столько совершались «перевороты», сколько «переосмыслились» уже возникшие явления. Нечто подобное пишет и Жильбер Дагрон относительно «новых» практик, которые приблизительно в то же время зародились в Византии, а вернее сказать, точно так же получили известность благодаря обилию появившихся документов.

Еще одним наследием, которое Каролинги оставили так называемому «феодальному» обществу, могло стать возросшее внимание к отношениям крестных и крестников. Эта идея очень мила сердцу двух историков — Аниты Герро-Жалабер и Алена Герро, рассматривающих духовное родство как структурный элемент тогдашнего общества. Лично я считаю, что свидетельства подобного рода до XII века встречаются

редко; духовное родство могло быть лишь одним из видов родственных связей, приобретая больший вес, вероятно, лишь после григорианской реформы (1070–1120).

Соответственно с этим XII век воскрешает и ужесточает требования к отсутствию кровного родства между супругами. В чем смысл этого требования? Режин Ле Жан предложила гипотезу, позволившую мне распознать ошибки в моих прежних (1985) рассуждениях и зачеркнуть их одним движением пера. Этнология помогла исследовательнице увидеть связь между системами недифференцированного родства и жесткой экзогамией. Эта последняя была характерна для франкской аристократии еще в Раннем Средневековье: она позволяла ей расширяться, включать в свой состав все новые группы, пока в IX и в последующие века не превратилась в ядро латинского христианского мира. Экзогамия франков способствовала коронации Карла Великого в качестве императора римлян не меньше, чем франкские боевые топоры и стремена. Правила в экзогамном сообществе все больше и больше ужесточались: если родство между женихом и невестой было ближе седьмой степени, это уже считалось инцестом! Но Режин Ле Жан замечает, что неопределенность самого понятия «родство» привела к его эволюции; если первое время епископы скрупулезно высчитывали максимально возможное число степеней родства (семь), то позже из прагматических соображений они по большей части воздерживались от попыток выносить свои генеалогические изыскания за рамки уже установленных родственных связей. Только когда у кого-то возникает желание провести расследование, правила приходится ужесточать; тогда-то и возникают проблемы. Следовательно, сами по себе правила, касающиеся родства дальше четвертой степени, достаточно гибки. В завершение следует отметить, что в те времена, когда люди требуют более суровых законов, IV Латеранский собор (1215) проявляет мудрость, закрепив в качестве нормы весьма умеренные требования.

И наконец, «феодальное» общество и семья несут на себе отпечаток эпохи Каролингов в том смысле, что феодализм засвидетельствовал нежизнеспособность начинаний Карла. Последний, борясь против инцеста с помощью епископов, хотел также искоренить *faide*, сообразуя усилия духовных лиц с деятельностью графов. *Faide* (по-английски *feud*) — это право на осуществление мести, частная война рубежа Раннего и Высокого Средневековья, тем более яростная, что воюющие стороны представлены людьми свободными, влиятельными, честолюбивыми — одним словом, знатью. Карлу с большим трудом удается прекратить междоусобные войны. Но после 880 года, с наступлением эпохи замков и региональных или микро-региональных сеньорий, войны вспыхивают с новой силой. В XI веке кровная месть легитимна, почти обязательна как часть системы. В 1030 году кузен графа Анжуйского был убит своим вассалом Амлином де Ланже — возможно, непреднамеренно. Граф Жоффруа Мартел начинает мстить за родственника. Он угрожает своему вассалу конфисковать его феод. Однако, уступив просьбам заступников, ограничивается захватом мельницы Амлина и спешит преподнести ее в дар аббатству в Вандоме из страха создать впечатление, что он, человек столь высокого ранга, продал за деньги честь родственника. Уж лучше простить обидчика — это более благородно и скорее соответствует христианскому духу... Данный случай показывает, насколько неизбежна первоначальная реакция Жоффруа, а также то, что желание мести не всегда приводит к смертельному исходу. Культура междоусобной войны (*feuding culture*) — в той же и даже большей степени культура переговоров и компромиссов, нежели культура насилия. Стивен Уайт демонстрирует это на примере Турени и, в частности, на примере местных поэм (жест).

Терроризм сеньоров и тирания рыцарей в эпоху «тысячного года» — в значительной степени мифы. Они рискуют помешать нам увидеть междоусобную войну (*faide*) как социальное явление, которое реализуется благодаря широкой

сети родственных связей между аристократами и теми рыцарями — владельцами замков, которых Жорж Дюби еще в 1953 году, в своем исследовании графства Макон, предложил освободить от привычных клише (таких, как «главари банды»); с этих же позиций описаны они и в настоящей книге (1985). Именно междоусобные войны (*faide*), а не мнимый рост насилия на рубеже эпох, не борьба двух классов волнуют монаха Рауля Глабера. И договоры «о Божьем мире» — одна из форм компромисса, которых в обществе того времени было, вообще говоря, чрезвычайно много, — направлены прежде всего на прекращение этих войн. Когда в замок Бларинем, близ Лилля, переносят мощи святого Урсмара (1060), между рыцарями, которых тщетно пытался помирить владетель этих мест, устанавливается мир. Анри Платель в одной из своих замечательных работ обращает внимание на удивительное сходство XI и VI веков. Он упоминает, хотя и вскользь, об отцеубийцах и об их раскаянии. Вместе с тем не будем, руководствуясь нашими современными представлениями, считать *faide* формой насилия, губительной для баланса сил в обществе; стоит посмотреть на нее внимательнее, как становится очевидным, что междоусобицы хоть и бушевали, но никогда не выходили за известные пределы; прежде всего, они не угрожали социальной структуре. Скажем больше: они сосуществовали с общественным правосудием в его начальной форме, и никакое давление со стороны «военных» институтов, никакие пертурбации не были способны его разрушить.

*Мутации.* То, что мы установили причинно-следственную связь между явлениями «каролингской» и «феодальной» эпох и подчеркнули целостность цивилизации Раннего — Высокого Средневековья с VI по XII век, не помешает нам указать несколько случаев нарушения данной преемственности и множество постепенных мутаций.

Тенденция к образованию линияжей присутствует уже при Карле Великом, хотя и подспудно: мужское потомство

аристократических семейств объединяется в крепко спаянные группы, основанные на агнатическом, патрилинейном принципе, — группы, в которых старший сын занимает главенствующее положение, получая львиную долю наследства. И именно эти группы в X веке ведут междоусобные войны (*faiides*). С падением каролингских дворцов (877–884) и появлением местных сеньорий патрилиньяжи переживают подъем. Впрочем, первые сеньории постепенно «размываются»; на границе с ними растут сеньории дворцовые (в провинции Берри это владения Деолей и Бурбонов, возникшие еще в 900-е годы; другие подобные образования не так велики по площади и относятся к более поздним временам). Власть знати нуждается в «территориализации». Какова связь между этим феноменом и усилением линьяжей — что тут причина, а что следствие? В любом случае определенная взаимозависимость между двумя явлениями существует: сеньория постепенно становится мельче, компактнее, и этот символический, переходящий по наследству «отцовский дар» способствует окончательному формированию патрилиньяжей (X–XII века): его членов объединяет если не общность проживания, то по крайней мере сходство интересов; в умах людей и в хрониках запечатлевается «образ» патрилиньяжа.

Отец еще при жизни приобщает старшего сына к управлению сеньорией. Эта практика долгое время рассматривалась современными французскими историками как тактический ход королей династии Капетингов: те якобы опасались избрания королем отпрыска враждебной династии (например, из дома Блуа). Но на самом деле так поступали уже «последние Каролинги» (конец X века). Эндрю Льюис доказывает, что подобная практика утверждала право первородства, предотвращала роковой для государства раздел власти между старшим сыном и его младшим братом или братьями. Необходимо, чтобы старший брат как можно скорее передал младшим причитающуюся им долю. Если Людовик VI, единственный из первых

Капетингов, был коронован (1108) лишь после смерти отца, то причиной этого послужил раздел власти с единокровными братьями Людовика и их матерью, прекрасной и опасной Бертрадой. Но в конце концов обстоятельства складываются в пользу Людовика. Мне представляется, что с XI века практика приобщения старшего сына к власти, наделение его преимущественными правами начинают встречаться и в семьях знатных сеньоров. Речь идет о том, что этнологи называют «предварительным наследством» (*préhéritage*), которое может выполнять несколько функций одновременно: утверждать исключительные права за старшим сыном, устанавливая мир между старшим и младшим сеньорами, распределять между ними роли, пока первый еще жив и не ушел в монастырь.

Сообразно с обстоятельствами и в соответствии с некоторыми установившимися, имплицитными нормами социальной морали знать Северной Франции в XI веке произвела (или воспроизвела) несколько систем наследования. Бывали случаи, когда наследство переходило от брата к брату (вспомним Туара и Л'иль-Бушара), прежде чем попасть к сыну старшего брата. Местная традиция? Скорее эксперимент отдельных семейств, результат целой серии договоров, не разрешивших, однако, всех противоречий... Тем не менее по крайней мере уже в XI веке младшие сыновья могли надеяться на любую сеньорию из владений рода, за исключением «отцовского дара»: своему старшему сыну, Роберту Куртгёзу, Вильгельм Завоеватель оставляет одну лишь Нормандию, в то время как Англия достается его второму сыну. Если у девушки-наследницы нет брата, то у ее дяди со стороны отца появляется шанс получить завещанное ей; конечно, этого не случится, если она найдет себе мужа, «верного рыцаря», который сам будет младшим отпрыском какой-нибудь благородной фамилии. Сосредоточению наследственного имущества в одних руках препятствовали многие факторы, но в XII веке часть их сошла на нет. То, что Алиенора Аквитанская перешла

от Людовика VII к Генриху Плантагенету, не доставшись ни одному из младших братьев обоих монархов, было поистине беспрецедентным случаем!

Алиенора... В ней воплотились все радости и горести «женщины XII века». Как ей жилось — лучше или хуже, чем дамам предшествующих столетий? В своих набросках о цивилизации Высокого Средневековья, с которым столь тесно связан «патрилиньяжный» XI век, мы не должны ни игнорировать, ни переоценивать роль знатной женщины. Мы не должны ее игнорировать потому, что та эпоха известна не только войнами, вассалитетом, рыцарством, но также переговорами, семьей и светским обществом — тремя сферами, куда женщины имели доступ. Однако не стоит и переоценивать роль женщины, поскольку средства и символы господства — светские и религиозные — находятся в руках мужчин. (Полин Стэффорд недавно обратила внимание на неоднозначность некоторых хартий X века, предположительно написанных женщинами. Она хочет вернуть истории женщин истинную сложность и полноту, вернее, выступает за «единую» социальную историю, в которой нашлось бы место не только мужчинам, но и женщинам.) Позднее, в XII веке, мы наблюдаем движение в противоположном направлении. Наследниц и регентш становится больше, но внутри семейной пары власть мужа скорее усиливается, нежели ослабевает. Взаимоотношения мужчин и женщин, так же как отношения между сеньором и крестьянами, не перестают подвергаться незначительным модификациям, оставаясь по сути неизменными: это отношения господства мужа над женой и сеньора над крестьянами, хотя и с некоторыми оговорками...

И другой вопрос: начинается ли в XII веке ослабление линияжей? Я так не думаю; скорее наоборот, они упрочиваются благодаря более четкому законодательству. И не тогда ли у знати, равно как и у простонародья, утверждается родовое прозвище, «фамилия», как мы называем ее сегодня? Занимаясь

этим вопросом с 1986 года, Моник Бурен привлекла к своим исследованиям группу ученых из Азе-ле-Феррона\*. Что касается обычая *laudatio parentum*, Стивен Уайт дает ему примерно ту же характеристику, что и я, хотя у него она выглядит точнее и убедительнее (1988).

Еще в 1985 году Жорж Дюби говорил о том, в какие дебри нам пришлось углубляться в наших исследованиях. Думаю, что сейчас эти «дебри» исследованы немного лучше; здесь я попытался дать краткий отчет о новейших достижениях в исторической науке. Увы! Жоржа Дюби больше с нами нет.

Д.Б.

### **Библиография к Постскриптому**

Напомним, что наши исследования ограничены севером Франции, за исключением Окситании — исключением досадным, но принятым нами еще в издании 1985 года. Дополнительный очерк об этой исторической области и дальнейшая разработка темы с привлечением новых материалов и научных дискуссий заняли бы здесь слишком много места.

Barthelemy D. *La Societe dans le comte de Vendome, de l'an mil au XIV<sup>e</sup> siecle*. Paris: Fayard, 1993.

Idem. *Noblesse, chevalerie et lignage dans le Vendomois et les regions voisines aux XI<sup>e</sup> et XII<sup>e</sup> siecles* // Claudie Duhamel-Amado et Guy Lobrichon (ed.). *Georges Duby. L'Ecriture de l'Histoire*. Bruxelles: De Boeck, 1996. Pp. 121–139.

Bourin M. et autres (ed.). *Genese medievale de l'anthroponymie Moderne* // Publications de l'Universite de Tours. 5 volumes d'Etudes d'anthroponymie medievale, depuis 1989.

Gaudemet J. *Le Mariage en Occident*. Paris: Cerf, 1987.

---

\* Коммуна во Франции, в центре страны.

Guerreau-Jalabert A. La designation des relations et des groupes de parente en latin medieval // *Archivum Latinitatis Medii Aevi* 56–57. 1988. Pp. 65–108.

Idem. Prohibitions canoniques et strategies matrimoniales dans l'aristocratie medievale de la France du Nord // *Epouser au plus proche. Inceste, prohibitions et strategies matrimoniales autour de la Mediterranee*. Paris: Editions de l'EHESS, 1994. Pp. 293–321.

Histoire de la famille / A. Burguiere et autres (ed.). Paris: Armand Colin, 1986. T. I.

Le Jan R. Famille et pouvoir dans le monde franc (VII<sup>e</sup>–XI<sup>e</sup> siecles). *Essai d'anthropologie sociale*. Paris: Publications de la Sorbonne, 1995.

Lewis A.W. *Le Sang royal. La famille capetienne et l'Etat, X<sup>e</sup>–XIV<sup>e</sup> siecles* / Trad. fr. Paris: Gallimard, 1986.

Morelle L. *Mariage et diplomatie: autour de cinq chartes de douaire dans le Laonnais-Soissonnais, 1163–1181* // *Bibliothèque de l'Ecole des Chartes* 146, 1988. Pp. 225–284.

Platelle H. *La violence et ses remedes en Flandre au XI<sup>e</sup> siecle* // *Sacris Erudiri*, 20, 1971. Pp. 101–173.

Stafford P. *La Mutation familiale: A Suitable Case for Caution* // *The Community, the Family and the Saint: Patterns of Power in Early Medieval Europe* / J. Hill, M. Swan (ed.). Turnhout: Brepols, 1998. Pp. 103–125.

White S. *Custom, Kinship and Gifts to Saints: the Laudatio Parentum in Western France, 1050–1150*. Chapel Hill; London, 1988.

Idem. *Feuding and Making Peace in the Touraine around the Year 1100* // *Traditio*. 1986. №42. Pp. 195–263.

## ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ТОСКАНСКОЙ ЗНАТИ НАКАНУНЕ РЕНЕССАНСА

Эта глава, как и предыдущая, рассказывает о жизни господствующего класса. Но она содержит несравненно больше точных сведений. В самом деле, за три столетия документальный материал, которым располагают историки, значительно увеличился. В качестве объекта исследования, помимо многочисленных памятников материальной культуры — картин, созданных великими художниками, описей, заполнивших нотариальные архивы, — мы выбрали Флоренцию. В этом городе, одном из наиболее передовых для своего времени, сохранились семейные книги, мемуары, размышления профессиональных и доморожденных моралистов, первыми обративших внимание на проблемы частной жизни. Последняя наконец выходит из подполья и обретает собственную историю.

Ж.Д.

### *Частная среда, отчет и описание*

Человек не создан для того, чтобы жить одному (не считая людей со специфическими моделями поведения — монахов, разбойников и т.д.); человек — животное социальное;

говоря словами францисканского монаха из Венеции Фра Паолино, *fagli mestiere a vivere con molti*\*. *Con molti* — жить рядом с другими, не нарушая общественного порядка. Жизнь в обществе предполагает, по мнению все того же Фра Паолино, участие в жизни трех взаимосвязанных сред: большого политического сообщества — города или королевства (или другого территориального образования), сообщества соседей (*vicinato*) и, наконец, дома. Согласно этой точке зрения, получившей широкое распространение, внутри публичной сферы (города или королевства) постепенно выделяются отдельные автономные группы, которые можно охарактеризовать как частные. Центром такой группы является дом (*casa, ostau* и т.д.), но пространство частной жизни не замыкается в нем. Оно выходит за пределы семьи и жилища и проникает в более открытую среду — в сообщество *vicinato*, как его обозначил наш францисканец. Слово *vicinato* (соседство) подразумевает взаимную солидарность людей, вынужденных ежедневно общаться друг с другом. Каналы, по которым частная жизнь перетекает из дома к соседям, тянутся дальше, множась и принимая различные формы, пока не достигают некоего более обширного сообщества (города, кантона), связующего среды друг с другом. Прежде чем вторгнуться в сферу частной жизни, я попытаюсь найти границу, отделяющую частное от публичного.

Вести частную жизнь означает прежде всего жить у себя дома, в семье. Семья, как известно, представляет собой центр частной жизни. Родной дом, очаг, самое необходимое и дорогое сердцу место, часто воспринимается как особая среда, семейный круг. Согласно тому же Паолино, в семейный круг должны входить лишь муж, его супруга и их дети — никто больше, за исключением служанки, которая помогает им по дому; в глазах священника это необходимое условие. Спустя

\* Научи его искусству жить со многими (итал.).

сто двадцать лет Леон Баттиста Альберти изображал семью как такой же узкий круг лиц. Муж, дети, жена, челядь — «вот что называется семьей». Если верить этим моралистам, главную ячейку общества, семью в подлинном смысле слова, представляет супружеская пара. Действительно ли все было так? Была ли семейная пара достаточно самостоятельна в Италии той эпохи?

### *Семья*

Благодаря декларациям, которые должен был подавать каждый налогоплательщик, мы можем получить некоторое представление о составе итальянских домохозяйств начиная с XIV века. В большинстве случаев семья в среднем состояла из четырех человек, после 1348 года это даже стало общим правилом (Болонья, 1395 — 4,30 человека, Тоскана, 1427 — 4,42, Сиена, 1453 — 4,28), но иногда она была меньше (Флоренция, 1427 — 3,80, Лукка, 1411 — 3,91). Эти невысокие показатели относятся, по всей видимости, к семьям, состоящим исключительно из супругов и их детей: отца, матери и двух детей.

Следует учитывать, что для численности семей катастрофические последствия имели эпидемии чумы 1348-го и последующих годов. В начале Треченто семьи, вероятно, жили лучше, и еще в первые годы XV века встречаются дома со столь многочисленными обитателями, что их можно назвать перенаселенными. Например, в деревне Сан-Джиминьяно в 1290 году семья насчитывает в среднем шесть человек, а в 1428-м — уже более семи. Высокие цифры заставляют предположить, что дом не ограничивался семьей в собственном смысле слова (супружеской четой и их детьми), и при сопоставлении отдельных домохозяйств\* эта

---

\* Здесь этот преимущественно экономический термин используется для обозначения дома как единицы налогообложения.

гипотеза подтверждается; дома с наибольшим числом обитателей (7 и выше) и дома менее населенные (4 или 5 человек на дом) представляют собой семьи самого разного типа. Замечательные исследования Кристиан Клапиш и Дэвида Херлихи показали, что в Тоскане, где средний размер домохозяйств составлял в 1427 году 3,8 человека, формы семей были чрезвычайно разнообразны: от одиночных (вдовы или вдовцы, холостяки) и обыкновенных «супружеских» семей (с детьми или без них) до «расширенных» семейств, включавших родственников по прямой или побочной, восходящей или нисходящей линии, иногда — брата или кузена, или «сложносоставных», объединявших несколько отдельных семей: семью родителей и семью детей, семьи братьев и т.д. Если один из вариантов, упомянутых выше, — обыкновенная «супружеская» семья — и занимает преобладающее положение (54,8% всех домохозяйств), им все-таки далеко не исчерпываются все формы семьи: 13,5% составляют одиночки, и, напротив, молодые пары после заключения брака не всегда начинают жить обособленно.

Тяга тосканской супружеской четы эпохи Кватроченто к проживанию в «сложносоставной» семье не так заметна в городах («большие» семейства составляют здесь 12% всех домохозяйств), но эта тенденция в полной мере проявляется в сельских районах, особенно среди зажиточных людей: в каждом пятом крестьянском доме живет «большая» семья, а когда речь идет о сельских толстосумах, соотношение достигает двух к одному. Можно решить, что эти патриархальные дома представляют «исходную» модель семейства, от которого «супружеская» семья отделяется сравнительно поздно, в результате дробления «большой» семьи. Однако есть причины для сомнений. В XII–XIII веках деревенские семьи невелики (это видно на примере Романьи), и в доступных нашему взгляду деревнях домохозяйства, насчитывающие

больше семи членов, — скорее исключения. Во всяком случае, в рассматриваемую нами эпоху это сосуществование разных семей под одной крышей широко распространено в итальянских селах. Данное явление можно наблюдать в окрестностях Болоньи (от 22% домохозяйств в 1392 году до 36% в деревнях, расположенных на равнине, в 1451 году), в районе Лукки (18% домохозяйств в 1411–1413 годах) и в Полезине, граничащей на юге с Феррарой (30% домохозяйств в 1481 году). Если условия городской жизни препятствуют образованию «сложносоставной» (или «многоядерной») семьи, зажиточных людей эти преграды все же стесняют меньше. Из флорентийских домохозяйств, имеющих доход больше 800 флоринов, около 15% представляют собой «большие семьи» (1427). Особенности такого сосуществования варьируются в зависимости от каждого конкретного линияжа и от каждого нового поколения: только 2 из 26 семейств (7,7%), входящих в прославленный флорентийский род Ручеллаи, образованы несколькими супружескими «ячейками» (1427), хотя впоследствии (1480) соотношение меняется: 7 из 28 (25%). В столь же известном флорентийском роду Каппони на «сложносоставные» семьи приходится 8% общего числа домохозяйств в 1427 году и 54% — в 1469-м. Здесь не прослеживается закономерностей. Все зависит от обстоятельств. В такой среде с течением времени дом нередко полностью трансформируется. Первые налоговые декларации представляют нам молодую чету и ее детей; спустя пятнадцать лет родители исчезают, но дети, теперь уже юноши, продолжают жить вместе; проходит еще десять лет — и вот уже коммуна, состоящая из семей, которые создал каждый из них; затем «братство» распадается, и стареющий патриарх — тот из братьев, кто остался в доме и возглавил его, — в последний раз описывает имущество для семьи своих детей.

Существование «сложносоставных» семейств, которые сами по себе возникли в результате неких промежуточных

состояний, описанных выше (семьи, где братья становятся сиротами и не спешат вступить в брак), и легкость перехода из одного состояния в другое становятся причиной того, что большая семья — под какими бы названиями она ни фигурировала: «расширенная» (семейная чета, их дети и родственники по восходящей линии) или «сложносоставная» — в конце концов входит в сознание большого числа тосканцев (особенно если те обитают в сельской местности или принадлежат к буржуазии) и становится частью их жизни. Находясь постоянно — или по крайней мере иногда — рядом с дедом, кузенами, семьями братьев, многие неизбежно начинали испытывать более сложное и глубокое чувство семейной близости и общности, нежели то, каким его изображали моралисты. Частные мемуары (*ricordanze*), которые в XV веке имели обыкновение писать представители флорентийской буржуазии, изобилуют свидетельствами привязанности их авторов к сообществу живущих рядом. Вот и Леон Баттиста Альберти, среди прочих, неоднократно высказывает сожаление — устами старого Джаноццо — о том, что «семьи разделяются: иные уходят из отчего дома, иным он сам открывает двери; я никогда не смог бы допустить, чтобы мой брат Антонио жил один под чужой крышей». Подобные идеи столь распространены, что нашли отражение и формальное обоснование в законах и уставах, посвященных семье, а также в сочинениях тех же моралистов. Статут Болоньи 1287 года определяет семью как объединение отца, матери, братьев, сестер и невесток (образец патриархальной семьи).

Какими бы гостеприимными, открытыми и многолюдными ни были все эти дома, населены они, как правило, родственниками только по мужской линии. Свойственники и родные с женской стороны принимаются в семью с большой неохотой, даже если речь идет о ближайших родственниках или о людях, которым настоятельно требуется помощь (сироты, незаконнорожденные); впрочем, их окружают вниманием

и любовью, если все-таки признают своими. Что касается слуг, которых Альберти настойчиво называет членами семьи, то их имеют, конечно, только обеспеченные люди, причем иногда в довольно большом количестве (в 1290 году у флорентийского торговца Бене Бенчивенни были лакей, пять служанок и горничная; у Франческо ди Марко Датини, знаменитого торговца из Прато, в 1393 году — два лакея, две служанки и раб). Но это не стало общим правилом, и ремесленники, например, редко нанимают слуг. Последние станут неотъемлемой частью жизни города лишь в XVI веке.

Границы частного сообщества, естественно, не совпадают с границами дома. В городе, как и в деревне, у всякого есть дядья, кузены — в общем, родня, объединенная чувством близости, свойственным обитателям одного дома.

Кроме того, под «родней» подразумевается прежде всего линияж, группа индивидов, восходящих к одному предку по мужской линии и осознающих факт их общего происхождения. Самые древние или самые знатные из этих линияжей (*consorterie*, *casate* или даже *famiglie*), которые в XIV–XV веках, разумеется, уже присутствуют в Италии, так же как и в других странах, с этого времени обретают имя, свидетельство осознания людьми своей принадлежности к линияжу. Это осознание настолько упрочилось и распространилось во Флоренции, что к 1427 году каждый третий налогоплательщик уже имел родовое имя (фамилию). В других тосканских городах цифры меньше (20%), и еще меньше они в деревнях (9%), но видно, что острое чувство «линяжной» солидарности при случае проявляется и у крестьян, еще не получивших родового имени (они поддерживают отношения с дальними родственниками, участвуют в жизни *consorteria*), — такая искренняя солидарность очень часто дает о себе знать в любой среде. Похоже, что некоторые линияжи, в свою очередь, объединены посредством договора в *consorzio familiare* (семейное сообщество) — организацию

со своими собственными органами, руководством, уставом, представляющую еще одну форму частной жизни наряду с двумя уже упомянутыми (дом, линияж).

И наконец, супружеские союзы образуют вокруг каждого из супругов — через мать, супругу, сноху — дополнительную сеть родственных связей (справедливо называвшихся *parentadi*). Брак — дело государственное. Риск велик. «Сколь многие браки у нас на глазах привели к упадку знатные семьи, а все потому, что заключены были со спорщиками, сутягами, гордецами и злопыхателями», — вспоминает Альберти. С другой стороны, обдуманно, основательно подготовленные браки могут дать семье «услужливых помощников» в лице «новоприобретенных родственников» (Ф. Барбаро), они «укрепляют взаимную привязанность свойственников друг к другу и <...> устанавливают согласие между ними» (святой Бернардин Сиенский), заставляют семьи, «соединенные родственными связями, <...> милостиво помогать друг другу и просить друг у друга совета, услуги и поддержки» (Маттео Пальмиери). Одним словом, заключить брак — значит вступить на совершенно новую землю, сулящую перспективы новых отношений, взаимное чувство доверия, поддержки, привязанности, которое определяет границы частной жизни, хотя иногда и выходит за них.

Другие виды частной солидаризации, обусловленные родственными или личными предпочтениями, дополняют те, которые представляет семья, или вступают с ними в противоречие. Писатели рассматриваемой эпохи, независимо от того, были они моралистами или нет, превозносят ценности дружбы и добрососедства. Но мы здесь уделим немного внимания и другой теме, стыдливо обойденной молчанием в литературе: разным формам товарищеских отношений. Олицетворяя со всем иные ценности — вроде игр, развлечений, воспитания, состязаний, — товарищеские связи, как можно догадаться, накладывают свой отпечаток на жизнь людей.

### Другие виды семьи

Во Флоренции в типовых формулах, касающихся близких, друзья, в противоположность Франции, всегда упоминаются после родственников (сначала *parenti*, потом — *amici*), никогда не отождествляясь с последними. Каждая семья опирается на постоянный круг друзей, который дополняет и укрепляет связь с кровными родственниками и свойственниками. Самые близкие из друзей — те, кого можно упомянуть наравне с родственниками, — немногочисленны, особенно на фоне «семейных групп», где у каждого члена сообщества свое место: например, у флорентийского банкира Лапо Никколини таких друзей с полдюжины (см. его мемуары, 1410). Но, как бы там ни было, это надежные, верные товарищи, готовые оказать любые услуги, включая финансовые, о чем еще будет сказано. Впрочем, круг друзей можно и расширить, если целенаправленно стремиться к этому и углублять отношения со знакомыми. Моралисты и мемуаристы охотно подчеркивают необходимость и преимущества дружбы. Дружба сама по себе — великое благо. Гуманисты, вдохновленные великими примерами Античности, говорят о ней с увлечением. И вот вопрос, что предпочтительнее: дружба или родство, тревожит умы, повсюду вызывает страстные споры, даже в окружении Козимо Медичи (см. у Бартоломео Платина). Альберти не сомневается, что силой и прочностью дружба превосходит родственные связи (*parentado*), и хотя она объединяет людей из разных домов (*fuori casa*), великий гуманист без колебаний объявляет ее частной (*privato*) семейной добродетелью, вроде чувства чести. Будучи человеком слишком серьезным, чтобы заниматься спорами, флорентиец Джованни Морелли считает тем не менее, что необходимо «заручиться дружбой людей истинно <...> добродетельных и весьма влиятельных»; такую цель он и сам когда-то ставил перед собой, был свидетелем того, как к ней же стремился его отец, и теперь советует потомкам добиваться ее достижения. Услуги, которые, по словам

Джованни, оказывал его отец своим ближайшим друзьям, и те, которые они оказывали ему в ответ, — автор не преминет их перечислить — демонстрируют, насколько тесно эта дружба была связана с частной жизнью.

Стандартный набор тем, включаемых в мемуары, обязательно касается соседей, которые стоят на последнем месте (родственники, друзья, соседи). В сущности, роль соседей в повседневной частной жизни не так уж сильно отличается от роли друзей или родственников: этому способствует взаимная близость с ними. От соседей ничего не скроешь. У них масса поводов вмешиваться в частную жизнь друг друга и даже, если возникнет обоюдная симпатия, завязывать дружеские отношения: так, отведав вина, предложенного остроумным и обходительным соседом, булочником по фамилии Чисти, флорентийский патриций мессер Джери Спини причисляет того к своим друзьям; об этом рассказывает Боккаччо. Соседские отношения сокращают социальную дистанцию.

Некоторые из друзей и соседей поднимаются по социальной лестнице, добиваясь вожделенной роли крестного отца (по отношению к ребенку) и, следовательно, кума (по отношению к родителям ребенка); обычай выбирать в крестные к ребенку сразу нескольких человек (засвидетельствованный также и во Франции: вспомним Жанну д'Арк) — людей, не принадлежащих к членам семьи, — создает вокруг этой последней, особенно если она многодетна, еще одну родственную среду, важную, но весьма специфическую: сообщество крестных отцов и матерей. Например, у 13 детей супругов Никколини в общей сложности 32 крестных отца и матери. К дружбе и близости соседских отношений кумовство добавляет свою ноту: духовное родство (объединяющее крестников с крестными и их близкими), родство вполне реальное, осязаемое. Судя по окружению Никколини, мир крестных отнюдь не гомогенен, равно как и круг соседей, из которого их выбирают. Если половина крестных принадлежит к среде Никколини, то другие

десять стоят гораздо ниже на социальной лестнице. Но их всех отличает одна особенность, одна общая черта, на которую обращают внимание рассказчики: «духовное» родство дает им более свободный доступ к жилищу и личному пространству семьи их крестника. Они беспрепятственно входят в дом и выходят из него, они болтают со служанками, с хозяйкой, не боясь дать повод для сплетен. Отношения крестного родства представляют собой один из элементов частной жизни.

Сильные мира сего (аристократы, буржуазия, дельцы), опирающиеся на дружеские и соседские связи, предстают в источниках окруженными *amici* и *seguaci*, иначе говоря — клиентами. Именно наличие клиентелы\* лежит в основе политических побед многих знатных семейств в тосканских городах XIV–XV веков. И напротив, одной рекомендации патрона достаточно для того, чтобы добиться должностей, льгот, налоговых послаблений, всевозможных подачек. Клиентела до сих пор остается для нас вещью не вполне понятной, однако мы видим некоторые указания на прочность связей между патронами и клиентами. Государственных мужей, вроде Козимо Медичи и патрициев из его окружения, осаждают просители: они засыпают их письмами, просьбами, подарками, все больше раболепствуют перед ними, разговаривают как со старшими братьями, почти как с отцами. Одним словом, они стремятся установить с ними те личные отношения, основанные на любви и готовности предоставить защиту, которые современники определяют словом «amicizia» (дружба). На самом деле эти отношения копируют и имитируют линияжные и патриархальные связи в частной сфере. Клиентела — это искусственный линияж, еще одна форма частной жизни, воплотившаяся во взаимоотношениях между властью имущими и теми семьями,

---

\* Клиентела — форма социальной зависимости; восходит к временам Древнего Рима, где под этим термином понимались правовые, социальные и экономические обязательства между патрициями и плебеями. Подробнее о клиентеле см. в томе I «Истории частной жизни».

которые оказались слишком скромными, чтобы добиться для своих представителей успеха или почестей. Никакое заметное повышение роли индивида в обществе невозможно без мощной поддержки со стороны частных лиц.

Покинуть дом, жилище, семью означает попасть в незнакомый мир, часто слишком опасный, чтобы противостоять ему в одиночку. Товарищества, корпорации, любые структурированные объединения предлагают себя в качестве защитной среды. Но когда приходится ненадолго покинуть привычное место, когда привычные защитные структуры отсутствуют или отвергаются, тогда спонтанно возникают новые объединения, которые продолжают, заменяют, иногда имитируют частную среду. Как это обычно происходит, на улице вместе играют дети из разных социальных слоев. В городе их *brigade* (компании) часто объединяют ребят из одного квартала или маленьких рассыльных, нанимаемых ремесленниками; их игры, правда, вынужденно прерываются, но всякий раз возобновляются, превращая детей в соучастников некоего незаконного действия. В сельской местности (например, в коммуне Валь д'Эльса) можно увидеть, как юная Вердиана\* и другие пастушки, девочки в возрасте от шести до четырнадцати лет, при первом удобном случае собираются вместе со всех окрестных полей и проводят долгое время за разговорами в тени дерева или часовни. Это не только детская болтовня, подруги говорят и о серьезных вещах: о религии или о святости. По мере взросления мир человека расширяется, однако *brigade* никуда не исчезают: теперь это ватаги приятелей, сопровождающие удачливого кавалера, или веселые толпы, регулярно собирающиеся в городских кварталах для того лишь, чтобы попить и повеселиться, и порой остающиеся верными этой традиции в течение многих лет. Конечно, молодым людям нельзя отказать в изобретательности. И вместе с тем их *brigade*, похоже, имеют более строгую

---

\* В XVI веке причислена к лику святых.

структуру, чем у детей: у них особая одежда, иногда даже свои законы, название, ритуалы, которые обычно держат в тайне; между ними существует соперничество. Из материалов одного судебного процесса, относящегося к 1420 году, известно, что в то время во Флоренции были две молодежные банды, «Ла Берта» и «Ла Магроне», которые устраивали между собой рукопашные бои. Позднее вступление в брак флорентийских мужчин, позднее взросление, препятствующее участию в семейных и политических делах вплоть до тридцатилетнего возраста, неудовлетворение, обусловленное подобными обстоятельствами, — все это заставляет молодых людей устремляться «замещающие» социальные контакты вне пределов семьи, создавать подобие частной жизни с помощью мнимых *consorterie* (кланов), существование и название которых держатся в тайне.

### **Маргинальные и «подпольные» проявления частной жизни**

После заключения брака молодой паре, особенно жене, придется продолжить свое участие в частной жизни, вернее, в каких-то ее «маргинальных» проявлениях. Участие эпизодичное и неформальное, но тем не менее важное. У замужней женщины есть свои *brigade*, состоящие из крестных ее детей; в их сопровождении она ходит на исповедь и во все прочие места; от них она почти ничего не скрывает. Чтобы попасть из деревни в город, из одного города в другой, из одной страны в другую, часто приходилось присоединяться к одной из женских *brigata*, следовавших по нужному маршруту. Юную Агнессу, впоследствии причисленную к лику святых, в путешествии в Монтепульчано сопровождает группа женщин; Вердиана из Кастельфиорентино направляется в Сантьяго-де-Компостела в компании других паломниц, в большинстве своем уроженок ее родного села: они специально поехали вместе. Отметим

также объединения благочестивых женщин — мирянок, состоявших при монашеском ордене, и вдов, — которые собирались в доме одной из них с целью совершения религиозных обрядов (что являет собой пример частной жизни в чистом виде), или группы постоянных «клиенток» разного рода отшельниц (вроде той же святой Вердианы) — местных богомолков, толпящихся у келий святых дев.

У мужчин, как и у женщин, также есть время, желание и потребность заниматься подобной «вспомогательной» частной деятельностью. Если они одиноки, не имеют семьи, то объединяются в союзы, пытаются найти в них опору: таковы трое слепых из новеллы Франко Саккетти, которые странствуют вместе, прося подаяния; вечером они собираются в снятой на троих комнатухе и делят выручку (новелла 140). Но и люди, вступившие в брак, временами чувствуют тягу к коллективной стороне жизни; в сельской местности такую возможность предоставляют праздники и воскресные игры; описание праздничного вечера в сельской харчевне в Понтассеве (Тоскана) характерно для многих деревень: «Добрых три десятка крестьян собрались там, как обычно, воскресным вечером, чтобы выпить, поиграть, рассказать друг другу разные небылицы» (конец XV века). Отметим также, чтобы больше к этому не возвращаться, особый образ частной жизни паломников, купцов, пастухов, матросов — представителей мужских профессий, требующих продолжительного и коллективного пребывания в чуждой среде.

Каждый житель урбанизированной и социализированной Италии той эпохи в любом возрасте имеет возможность интегрироваться — навсегда или временно — в иную среду (замещающую или заменяющую его собственную): это среда коллективной социальности, среда желанная, с теплой, неформальной обстановкой, располагающей к доверительности: образы неясные, но напоминающие частную семейную жизнь.

Иногда граница между товарищеской связью и соучастием в преступлении оказывается очень зыбкой. Такое сообщничество угадывается прежде всего в действиях молодежных кланов. Одни балансируют на грани закона, другие явно вовлечены в преступные действия. Неофициальный, подпольный статус банды, страсти, которые порой объединяют ее членов, роднят ее с частной средой еще сильнее, чем чисто товарищеские союзы, как бы карикатурно ни выглядела эта связь.

Прежде всего это страсть к игре в кости — игре с большой буквы, игре азартной (*ad zardum*). Этому занятию предаются все и повсюду, днем и особенно ночью, у себя дома (здесь мы возвращаемся к частной жизни) и в некоторых разрешенных местах (на ярмарках, рынках), но еще больше в кости играют тайно — везде, где только есть пространство для нескольких игроков и огарка свечи: на заброшенных рынках, в *loggje*<sup>\*</sup>, в подворотнях, на порогах дворцов, в проулках, по углам площадей, на берегах рек и т.д. Вокруг игроков собирается народ, слышатся приглушенные крики; здесь рискуешь встретиться с незнакомцами из самых разных районов города, что абсолютно не вписывается в рамки привычного круга общения людей одного квартала или одного прихода. Эта публика (так же как и гомосексуалисты, чье появление, впрочем, более кратковременно, спорадично и редко) и не думает отказываться от всепоглощающей страсти, несмотря на дискомфорт, холод, рейды полиции (благодаря которым мы и знаем о таких сборищах). Такое поведение — своеобразное продолжение частной социальности, требующее от заинтересованных лиц особых усилий и условий секретности и вместе с тем представляющее собой явление вполне обыденное, — должно занять свое место в нашем обзоре частной жизни.

---

\* Лоджия, крытая галерея (итал.).

И наконец, в той же плоскости лежит частная жизнь разного рода бандитских организаций, открыто нарушающих закон: она более выразительна и жестока, хотя зачастую подчинена более строгим правилам; это общество искателей приключений, бандитов, сформировавшееся из жертв депортаций, беженцев, бродяг в ходе длительных войн, грабежей и разбоев. Притоны, игра (здесь она не менее популярна), проститутки — вот основы частного существования бандитов, построенного от начала и до конца на совершенно иных принципах, нежели привычная семейная жизнь, которая, впрочем, вызывает у этих людей чувство ностальгии.

### *Соотношение возрастов и полов*

Все эти взаимосвязанные среды (семья, линьяж, кровное родство, друзья, соседи, товарищи, «подпольные» сферы частной жизни), которые окружают индивида, знакомят его с сотнями различных людей. Основываясь на дошедших до нас данных, мы можем выделить главные демографические характеристики рассматриваемой эпохи. Создается впечатление, что до эпидемий чумы дома были полны детей, но опирается оно на разрозненные данные. У нас есть точные цифры по периоду конца XIV—XV веков. В отдельных сельских районах численность молодежи еще в 1371 году достигала исключительных величин: в окрестностях Прато люди моложе пятнадцати лет составляли 49% населения — этот показатель выше, чем во всех современных развивающихся странах; двадцать лет спустя в деревне Будрио близ Болоньи он будет лишь немного ниже (43%). Однако участвовавшие после 1348 года эпидемии угрожают в первую очередь детям, среди них особенно много жертв. Через два поколения, в 1427 году, молодежи того же возраста (моложе пятнадцати лет) в окрестностях Прато будет не более 37% населения; в течение следующих сорока лет цифра останется прежней на территории всей Тосканы (в городах и сельской

местности), отклоняясь всего лишь на одну или две процентные доли. Конечно, процент молодежи внутри семьи продолжает оставаться значительным (немного меньше, чем в современном Египте; немного больше, чем в Китае), однако там же наблюдается небывало высокая доля лиц старше шестидесяти пяти лет (9–10% в тосканских селах), что намного выше, чем в современном Египте или Китае. Население, имеющее подобные характеристики, демографы называют «старым» (то, что после 1430 года доля стариков сокращается, не меняет общего положения). И последний штрих: почти во всех регионах (в Тоскане, Ферраре, окрестностях Болоньи) мы наблюдаем диспропорцию численности мужчин и женщин, хотя причины этого неясны; максимальное преобладание мужского населения отмечается в некоторых сельских районах и среди обеспеченных горожан. Жить в XV столетии в частной среде, описанной выше, — с обширными родственными связями и отношениями — означало находиться в постоянном и близком общении с детьми, хотя с каждым поколением их становилось все меньше; это означало также регулярно видаться с пожилыми людьми и прислушиваться к их словам; наконец, в условиях недостатка женского населения (особенно ощутимого среди буржуазии и людей пожилого возраста) — вести постоянные разговоры о женщинах, но рассуждать о них с точки зрения мужчин.

### *До́ма*

Мемуаристы XV века пытаются воспитать у членов своих семей чувство любви и уважения к совместной жизни, можно даже сказать — мистическое преклонение перед ней. Флорентиец Джинно Каппони в 1421 году записывает в своем дневнике специально для детей: «Вы должны оставаться вместе до того момента, пока не будете в состоянии произвести раздел так, чтобы между вами сохранилось единство»; через девяносто

лет, в 1510 году, другой представитель рода Каппони, Андреа, сообщает своему дяде, епископу Кортонь, что они с братом решили жить вместе, сделав общим все имущество: таким образом они прославят свой род и заодно удовлетворят желание вышеназванного дяди. Совместная жизнь — идеал также и для Альберти, который вкладывает в уста своего альтер эго, почтенного Джаноццо, такие слова: «Я бы хотел, чтобы все мои близкие жили под одной крышей, грелись у одного очага, ели за одним столом». Под «моими близкими» имеются в виду, конечно, близкие родственники, члены семьи. Впрочем, о своем желании сохранить патриархальную семью говорят почти все, во всяком случае в этих кругах (крупная городская буржуазия). Если в подобном стремлении есть конкретное, определенное содержание, то оно отчасти воплощено в «больших» патриархальных семьях, которые мы описали выше; но сама идея одновременно и более глубокая, и более общая: ратуя за единство, честь, семью, патриархи выражают мечту о вечном согласии в доме — подлинном, а не просто внешнем, и одновременно — о прочном мире, который царил бы, помимо семьи, внутри линияжа и среди друзей. Воплощается ли эта мечта в повседневной жизни, или она оказывается невыполнимой? Как люди живут вместе?

Сколько семей — маленьких и больших, бедных и богатых, сельских и городских, — столько и типов жилища.

### *Типы жилища*

Условия проживания наиболее многообразны в равнинной местности. Дома наемных работников и мелких предпринимателей почти всюду производят впечатление более чем скромное: стены из самана, крыша из соломы (в окрестностях Болоньи, в разных районах Тосканы, поблизости от города Лоди в Ломбардии), да и размеры часто бывают совсем небольшими (4–5 на 8–10 метров). Тесные, закопченные, лишенные

внутренних перегородок, зачастую находящиеся на грани разрушения, эти домишки не располагают к отдыху и не создают атмосферу интимности. Сдаваемые в наем мелкие поместья (фермы, *poderi*), приспособленные для нужд арендаторов или испольщиков (Тоскана), выглядят значительно привлекательнее: стены и крыша из более прочного материала (соответственно из камня или кирпича и черепицы) и больший размер (высота 5 метров, площадь 5–6 на 10–12 метров) делают дом более пригодным для жилья. Внутреннее помещение состоит из двух этажей и обычно разделено на несколько частей: хранилище для продуктов, гостиную, одну или несколько жилых комнат плюс *loggie* — пристройку, позволяющую работать на открытом воздухе. Эта общая модель имеет тысячи вариантов, включая те, что были описаны в Пьемонте и Тоскано-Эмилианских Апеннинах (лестница с внешней стороны дома, галерея и жилая комната на втором этаже, хлев на первом). Еще одна разновидность жилищных условий отмечена в посадах и укрепленных деревнях, где за высокими крепостными стенами дома, как правило, тесно примыкают друг к другу. В местечке Сан-Коломбано близ Лоди самый старый квартал в 1347 году состоит из семи домов (*domus*). Имея очень внушительный вид благодаря мощным каменным стенам (часть которых образует соседствующая с ними городская стена), эти *domus* на самом деле так же тесны, как их «собратья»: четыре из них совсем маленькие: площадь каждого не превышает 27 квадратных метров; внутри всего две комнаты, пространство, которое парикмахер или другие ремесленники, обитающие в доме, могли бы использовать для своих профессиональных нужд, ограничено. Теснота здесь не обязательно связана с бедностью.

Контраст между дешевым и дорогим жильем, как и разница в благосостоянии, особенно сильно ощущаются в городе. Материал для строительства домов, во всяком случае в наиболее крупных городах, приблизительно одинаков. Деревянные строения, столь популярные в XII веке, легко загорались.

В XIV веке они еще полностью не исчезли ни во Флоренции, ни в Болонье, ни в Сиене, ни в Генуе, ни в Венеции, но уже утвердился обычай строить из более надежного материала — кирпича или камня: во Флоренции кирпич использовался для зданий попроще, камень — для домов буржуазии; в Сиене из кирпича строили и простые здания, и дворцы — по крайней мере фасады, камень вошел в обиход с XV века; в Генуе в ходу был камень, кирпич стал применяться позднее — для строительства верхних этажей (начиная с третьего). Относительная стандартность материала не означает, конечно, стандартизации ни самих домов, ни условий проживания в них.

Для людей бедных и неустроенных жизнь в городе была связана с необходимостью довольствоваться скромным жилищем, часто ветхим и даже более непритязательным, чем аналогичные дома в сельской местности на равнине. Мы видим, что неженатые молодые люди, недавно переехавшие в город, обходятся одной комнатой на несколько человек (Флоренция, 1330). Некоторые семьи едва ли живут в лучших условиях, хотя у нас нет точных данных. В Тоскане XIV века типичное жилище бедняка — либо ветхая и тесная лачуга из дерева и самана, либо одна-две комнаты в многоэтажном доме; в лучшем случае это будут смежные комнаты, но тогда придется ютиться на последнем этаже или на *palco inferior* (помещение наподобие антресолей); впрочем, они могут располагаться и на разных этажах (гостиная\*, спальня, иногда кухня), соединяясь лестницей. В любом случае речь идет о темных, неудобных комнатах (часто без кухни), выходящих во двор, в то время как более обеспеченные жильцы попадают в дом через парадный вход. Фасад здания может быть красивым; внутреннее

---

\* Имеется в виду комната, предназначенная для всех членов семьи, в русском языке этому понятию соответствуют: в замках, дворцах, больших особняках — слово «зал», в жилищах более скромных — «общая комната, гостиная». В современном смысле слова «гостиная» появляется позднее, в XVI веке.

пространство всего дома и каждого этажа распределено между семьями жильцов в соответствии с их социальным положением. У бедняков есть и иная среда обитания: определенные кварталы, улицы, дома; сегрегация усиливается в XV веке, по крайней мере во Флоренции. Добавим, что жилье, конечно, съемное, причем речь идет о краткосрочной аренде (в трех случаях из четырех квартиру снимают на год). Бедняки часто меняют жилище. Бедность сокращает пространство частной жизни, сжимает территорию семьи (иногда — до ужасающей тесноты) и при этом разрушает частные товарищества (друзья, близкие), едва они начинают формироваться. Остаются клиентские связи, более гибкие и не так сильно связанные с местом проживания, но одновременно ставящие человека в большую зависимость, не говоря уже о том, что для бедняка стать клиентом обеспеченного человека остается весьма проблематичным.

Ремесленники, лавочники, весь *popolo medio*\* итальянских городов вообще и тосканских в частности имеет более просторное и солидное жилье (это относится в равной степени и к квартирам, и к домам) — чаще съемное, иногда собственное. В центре дома располагается пара комнат, обязательных для любого средневекового жилища: зал (*sala*) и спальня (*camera*); там же, в доме, можно увидеть и дополнительные помещения — прежде всего кухню (раньше ее размещали во дворе), правда, обычно на последнем этаже (у бедняков ее вообще нет); нередко в доме есть также двор, сад, погреб, конюшня, личный колодец и т.д.; главное, в распоряжении семьи теперь две (или несколько) *camere*, что уже настоящая роскошь; они могут находиться на разных этажах — если семья живет в доме — или в одном большом помещении, разделенном перегородкой на несколько частей. Гостиные обыкновенно выходят на улицу, спальни (особенно женские) — во двор. Застройка

---

\* Средний народ (итал.).

Флоренции XIV века привела к увеличению числа «двусторонних» домов простого типа, возведенных вдоль новообразованных прямых улиц. Такие дома одной стороной выходили на улицу, а другой — во двор. С улицей была связана только гостиная, а в спальню можно было попасть лишь со двора, что демонстрировало новый тип соседских отношений (если площадь людей сближала, то улица их разделяет) и новый тип интимности (появление семейного сада, отдельной спальни).

Богатая буржуазия — руководители крупных ремесленных цехов (*popolo grasso*) и аристократия могут похвастаться еще более хорошими условиями. Полностью лишенные комфорта, тесные дома-крепости с зубчатыми стенами, в которых они проживали в XIII века, во всех городах Тосканы (в Пизе, Сиене, Лукке, Флоренции) и Ломбардии уступили место более открытым и вместительным жилищам. Построенные, подобно другим зданиям (домам *popolo medio*), из кирпича или из камня, они отличаются от них размерами фасадов и стенных проемов, а также различными декоративными элементами: железными украшениями (кольцами, фонарями, крюками), мраморными оконными пилястрами (в Сиене), широкими проемами в виде круглых арок (Флоренция), гуртиком, идущим по краю крыши, и т.д., но главное — более просторным внутренним устройством. Во Флоренции жилища такого рода появляются в конце XIII века (дворцы семейных кланов Моцци, Фрескобальди, Спины, Перуцци); в том же стиле выдержаны городские дома наиболее известных купцов первой половины XIV века. Прочные и удобные для жилья, эти здания, в особенности перечисленные выше дворцы, выдержали испытание временем: до сих пор еще можно любоваться их длинными фасадами, их суровой величавостью, которую смягчают арочные проемы внизу, открывающие доступ к лавкам (они тянутся в несколько рядов один над другим) и оконными проемами на верхних этажах, благодаря которым помещение проветривалось и теряло всякое сходство с крепостью.

Подобный вид зданий, не совсем правильно называемых дворцами, продолжает утверждаться в городе. Какие трансформации он претерпевает в течение века? Неизвестно. Тем не менее, когда нам наконец открывается внутреннее устройство дома (благодаря появившимся после 1375 года описям имущества), оно уже отличается большим разнообразием форм. Жилище флорентийца Джакомо ди Россо, согласно описи его имущества, произведенной в 1390 году, имеет широкий вход (*androne*), вероятно с аркой, комнату со сводчатым потолком типа погреба и/или подвала (*volta*), две гостиных («первая» и «большая»), две спальни, каждая из которых связана с одной из гостиных, кухню и комнату для прислуги. Итого: пять жилых комнат плюс несколько длинных коридоров. Серотино Бранкаччи владеет двухэтажным домом (судя по описи, проведенной двумя годами ранее) с тремя гостиными, прихожей, четырьмя спальнями, двумя *volte* и кухней, окружающим двор с апельсиновым деревом в центре. Две *volte*, гостиная и спальня находятся на первом этаже, на втором располагаются две гостиных и две спальни.

Внутреннее устройство, естественно, имеет множество вариантов. Но какими бы они ни были, налицо появление в домах буржуазии новых элементов, о масштабе и важности которых свидетельствуют их повсеместное распространение: это и использование для частных целей первого этажа (теперь его коммерческая роль ослабевает, лавок и магазинов здесь либо вообще нет, либо их значительно меньше, причем часто они сдаются в наем другим лицам), и умножение числа гостиных и спален, представляющих личное пространство в пространстве общем (хотя пара гостиная — спальня продолжает восприниматься в едином контексте), и увеличение запасов продовольствия и технических средств, призванных обеспечить семье большую автономию и комфорт, и расширение на двух этажах дома пространства семьи, из чего следует более четкое разделение общей и личной частной

жизни (частная жизнь родителей, детей, слуг, разных пар), и придание двору (зачастую еще не существующему или существующему в зачаточном состоянии) роли эстетического и культурного центра жилища (у Серотино двор украшен одним-единственным объектом: большим апельсиновым деревом). Застройка новых кварталов Флоренции XIV века, за пределами исторического центра, представляет собой особый случай. Патриции, которые селятся в новых районах, строят себе такие же дорогие жилища, как их собратья в центре города, но расположение этих домов, возводившихся по границе длинных участков, перпендикулярных улице, — типичная черта новых кварталов! — придает им ряд характерных признаков, которые роднит их с соседними домами, принадлежащими людям более низкого происхождения. Те и другие здания отличает прямоугольная форма, те и другие выходят на улицу и в сад (последний занимает незастроенную часть парцеллы\*), у тех и других отсутствует внутренний дворик. В сплошном ряду домов патрицианские особняки выделяются лишь размерами: они были построены на стыке двух парцелл.

XV век вносит в эту модель существенные коррективы, но все же следует осознавать их относительность. Возведение огромных и роскошных особняков, вроде тех, которые я только что описал, а еще чаще — их обустройство (расширение, переделка интерьера, объединение смежных зданий) продолжают в конце XIV—XV веке. Некоторые из этих особняков сохраняют размеры, указанные выше, но другие строятся с большим размахом. С конца XIV века, судя по упоминавшимся описям имущества (за 1380–1410 годы), во Флоренции было несколько трех-четырёхэтажных особняков (дома семейных кланов Строцци, Бомбени, Каппелли, Даванцати), имеющих внутренние дворики (*cortili*) и насчитывающих до двенадцати комнат (иногда больше). Во дворце (вот где

\* В данном случае — участок земли, единица землевладения.

слово «дворец» вполне уместно!) братьев Да Уццано на виа деи Барди (XV век) тридцать комнат: девять на первом этаже, десять на втором, одиннадцать на третьем. Но эти дома не нарушают городской структуры. Их контуры, зачастую весьма причудливые, не выходят за границы парцеллы (в то время как сами парцеллы во многих случаях образовались в результате случайных и сомнительных операций), фасады не выступают за общую линию, и они практически ничем не отличаются от соседних домов (за исключением тщательно подобранных и обработанных камней); по крайней мере, ничем не выделяются из их ряда. На первом этаже продолжают работать или открываются новые лавки, о чем свидетельствует дворец Даванцати, владелец которого в 1498 году представил его налоговым органам как «дворец с тремя лавками цеха шерстобитов».

Однако после 1440 года во многих местах начинают появляться дворцы, специально построенные так, чтобы выделиться на фоне старой городской структуры: таковы большие и знаменитые дворцы Медичи (1446), Питти (первый вариант закончен в 1464 году), Антинори (1465), Строцци (1489), Гонди (1490). Строительство престижных зданий обходится владельцам недешево; приходится покупать, а затем сносить целые массивы домов, чтобы освободить место для нового фундамента. Выделяясь из общего ряда зданий, нередко с двух или с трех сторон окаймленные улицами, эти дворцы должны соответственно иметь не один, а два или три декорированных фасада. Отказавшись от размещения лавок, владельцы дворцов целиком посвятили их внутреннее пространство частной жизни; это пространство необъятно, обстановка величественна, есть сад и красивый *cortile*, но сам дворец представляет собой замкнутое пространство, отделенное от внешнего мира высотой окон и стен, а также суровой мощью главных ворот. Грандиозный двор, окруженный портиком, образует центр жилища, в котором сходятся все линии (входы и выходы, лестницы).

Несмотря на монументальную архитектуру и огромную разницу в масштабах между этими дворцами и описанными выше домами буржуазии или купцов, первые не более удобны для жилья, чем вторые, а иногда и менее. Во дворце Даванцати четыре этажа и около пятнадцати жилых комнат, однако, по сведениям Ричарда Голдсуэйта, автора одной из последних работ на данную тему, число комнат в дворцах нового типа, даже самых вместительных, не превышает дюжины: значительное пространство занимают двор и сад, а если говорить об оставшейся части, то размер жилых комнат, непомерно больших и высоких, не позволяет добавить новые помещения к уже имеющимся.

Таким образом, можно выделить два типа домов наиболее богатых флорентийцев. Престижнее жить во дворцах «новостройках», которые размерами и местоположением выделяются из всего комплекса домов буржуазии. Есть соблазн объявить их подлинным образцом жилища флорентийских аристократов, а само жилище — воплощением, реальным или воображаемым, смысла существования подобных дворцов: они, дескать, представляют собой своеобразный кокон, выполняющий защитную функцию и создающий комфортные условия и для жизни супружеской семьи, вновь приобретшей особое значение, и для формирования личности, которое происходит внутри семьи.

Но слава этих дворцов и амбиции их создателей не должны вводить нас в заблуждение. Среди флорентийских зданий, в которых обыкновенно живет аристократия, строений такого типа ничтожно мало. В период с 1430 по 1520 год только два семейства из всех ветвей кланов Каппони, Джинори и Ручеллаи, насчитывавшие в общей сложности более двухсот семей, предприняли строительство дворцов; все другие продолжали жить в унаследованных от предков или новоприобретенных домах, размеры которых сильно варьировались: обычно это были старые здания, иногда существовавшие уже не первый

век, — короче говоря, традиционные средневековые дома по виду и по духу. Таким образом, как ни парадоксально, благодаря переделкам, пристройкам, надстройкам и т.д. старые здания оказываются более удобными, более открытыми и просторными, нежели дворцы. В двенадцати, четырнадцати, чуть ли не тридцати комнатах, имеющих в старых домах, может поместиться разветвленная, многосоставная семья и жить там в атмосфере братства, невзирая на разделение жилого пространства на обособленные части. Большая патриархальная семья продолжает существовать и даже процветать в среде флорентийской аристократии; ее можно увидеть всюду, кроме дворцов, где она появляется кратковременно и эпизодично.

### Обустройство жилища

В доме бедняка одна комната, и ее используют в самых различных целях. Позднее появляются многокомнатные дома, где у каждой комнаты своя функция. Как и во всей остальной Европе, если размер жилища позволяет, проще говоря — если в нем достаточно места для двух комнат (они есть даже в самых скромных городских и сельских жилищах), одна из них используется в качестве *sala* (общей комнаты, гостиной) и кухни, другая — в качестве *camera* (спальни). Связка *sala* — *camera* кажется неизменной всюду: во Флоренции, Генуе, Неаполе. С ростом благосостояния число комнат увеличивается, их функции становятся все разнообразнее.

В селениях близ Флоренции, вероятно лучше других демонстрирующих общую тенденцию, крестьяне, достаточно обеспеченные для того, чтобы расширить свое жилище, не знают, что выбрать: помещение для профессиональных занятий или комнату для жилья. Папино ди Пьеро из Чертальдо, глава семейства из шести человек, добавил к привычной паре комнат *sala* — *camera* вторую спальню, а также *cella* (кладовую) (1456). Другая похожая семья (из четырех человек) имеет, помимо

*sala* и *camera*, подвал и «хлебную комнату» (пекарню?). И тот и другой предпочли помещения для профессиональных нужд. У издольщиков материальное положение лучше. Хозяин некоего Мазо из города Монтальбино предоставляет в распоряжение последнего одну комнату под кухню, одну — под столовую, одну — под супружескую спальню; кроме того, две комнатки для детей работника (каждому по комнате) и необходимый в хозяйстве погреб (ок. 1450). Мазо живет, ничем себя не стесняя. Так же обстоит дело с работником, нанятым картезианскими монахами в местечке близ Лоди: в его распоряжении пять комнат. Часто ли арендаторы живут в подобных условиях? Неизвестно.

В городе третью комнату отводят под кухню или под дополнительную *camera*: распространенная практика, не требующая больших усилий. В обычной *camera* сооружается перегородка; впрочем, она неплотная, ибо сделана из дерева, самана или ряда вертикально уложенных кирпичей, и плохо справляется со своей задачей обеспечения пространства частной жизни (новеллисты не упускают случая пройтись на ее счет).

Чем больше помещение, тем шире, естественно, функциональное назначение комнат. Редкий дом мелкой буржуазии обходится без *cella*. Однако с ростом богатства возрастают и потребности. Для хранения причитающейся им по испорченной части урожая, равно как и для собственных запасов, состоятельные люди устраивают у себя дома вместительные складские помещения: подвалы, *volte* (комнаты со сводчатыми потолками на первом этаже, используемые в качестве погреба и кладовой), деревянные сараи; кроме того, на месте бывших коридоров и проходов строятся конюшни, выделяются рабочие комнаты — клетушки, окруженные многочисленными коридорами и проходами; и, конечно, не стоит забывать об увеличении непосредственного пространства частной жизни — гостиных и спален, к которым начиная с XV века в домах очень обеспеченных людей добавляются вестибюль, передняя, оружейный зал, кабинет (*studio*), а также двор с аркадами

и, наконец, на последнем этаже — *loggie*, куда летом можно подняться подышать свежим воздухом, — те самые лоджии, которые в XIV–XV веках становятся излюбленным местом флорентийцев, сиенцев, венецианцев. Последние настолько очарованы этим сооружением, что изобрели множество его разновидностей (*liago, termanza, corteselle, altane*) и украсили ими свой город.

Распределение комнат и вспомогательных помещений по этажам отнюдь не случайно. Обыкновенно складские и служебные помещения располагаются в полуподвале или на первом этаже, рядом с аркадами *cortile* (внутреннего двора), который выходит на улицу через арочный вестибюль (*androne*). Если в доме есть сад, он может соединяться с кабинетом хозяйина на уровне нижнего этажа. Комнаты, выходящие на улицу, при случае перестраиваются в спальни (если на первом этаже нет лавок). Но пространство частной жизни начинается все-таки на верхних этажах. Второй, «благородный» этаж отведен под самые престижные комнаты: супружескую спальню хозяев дома, прихожую, в известных случаях — оружейный зал, *studio* и, самое главное, под большой зал, который, как часто можно видеть, занимает всю переднюю часть дома, выходящую на улицу (дворцы Даванцати, Пацци, Гуаданьи, Медичи). Однако «благородный» этаж не обладает монополией ни на сами эти комнаты, ни на их расположение. Зал (общая комната) может находиться на любом этаже; он всегда соединен с одной или несколькими спальнями, образующими конфигурацию, которая может повторяться от этажа к этажу (дворец Даванцати). Занимает ли большая семья весь дом полностью или же какая-то его часть (один или несколько этажей) сдается в аренду, в любом случае частное пространство либо обособляется само по себе, либо его выделяют, устраивают на каждом из этажей.

Мебель — это роскошь, позволительная лишь владельцам городских домов. Крестьянский дом, будь он даже жилищем

зажиточного земледельца, удивляет скудностью обстановки, сведенной к минимуму. Опись имущества Дзаноби, крестьянина из Капаннале (Муджелло), произведенная после его смерти в 1406 году, свидетельствует, как кажется, о достатке покойного. Он имел свое хозяйство, был хорошо обеспечен сельскохозяйственным инвентарем, бочками, тягловым скотом и домашними животными (три свиньи), запасов зерна и вина хватило бы до следующего урожая, долги отсутствовали. Но в доме всего одна комната, в которой ютится вся семья (он с женой и тремя детьми), а из мебели в глаза бросается лишь большая кровать (шириной 2,9 метра) с полным набором постельных принадлежностей да несколько сундуков; в остальном — не хватает даже самого необходимого. Правда, есть квашня, ларь с зерном, два стола (один из них — небольшой круглый столик), котел, несколько кастрюль; но нет ни стульев, ни светильника, ни таза для воды, ни посуды на стол. Даже если принять во внимание привычную для нотариусов практику не отмечать предметы, не имеющие материальной ценности (миски, посуда), вполне очевидно, что процветание и успех Дзаноби напрямую связаны с хозяйством. Это предмет его забот, его гордости, цель его вложений. Обстановка не значит для этого человека практически ничего, и такой же точки зрения придерживаются, конечно, многие другие крестьяне, даже если некоторые деревенские богачи, более восприимчивые к вкусам горожан, тратят большие денег на сундуки, скамьи, столы, светильники или на какие-либо другие предметы обихода.

Семьи бедняков (чесальщиков шерсти и т.д.), обосновавшихся в городе, довольствуются столь же неприхотливой обстановкой, причем нередко все их вещи взяты в наем. Но речь не идет об осознанном выборе. Перестройка жилища затрагивает в первую очередь горожан. Обогащение, достижение высокого общественного статуса сопровождаются, помимо прочего, заботой об обстановке дома. Один пример из многих: опись имущества флорентийца Антонио, представителя ничем

не примечательной артели кожевников, включает 553 наименования предметов, засвидетельствованных в восьми комнатах его дома, четыре из которых — спальни (1393). Хотя основную часть имущества составляет одежда, есть там и мебель. Антонио владеет девятью кроватями, из которых по меньшей мере пять снабжены полным комплектом постельных принадлежностей (матрасы и проч.), семью лавками (общая длина — 15 метров) и четырьмя табуретами, двумя столами и конторкой (*tavola da scrivere*) — и это только крупные предметы обстановки, а есть еще светильники, посуда, белье, к которым я вернусь позже. Роскошь пока весьма умеренная, но тенденция очевидна: кровати, стулья и столы делают жизнь все более комфортной.

Те, кому посчастливилось добиться большего успеха в делах — торговцы тканями, мехом, *mercatores*<sup>\*</sup>, — могут похвастаться еще более разнообразной домашней обстановкой. Они тоже имеют несколько кроватей, включая постельные принадлежности, предметы мебели для сидения (длинные лавки размером от 2 до 3,5 м или табуреты — *deschetti*), столы, представляющие собой горизонтальную доску длиной от 2 до 3 метров, водруженную на подставки. Но изготовлена эта мебель обычно из более красивого и изысканного материала: скамейки сделаны из дуба, столы — из орехового дерева; кроме того, их дополняет множество других предметов. Прежде всего это сундуки, представленные во всем разнообразии своих форм. Вдова одного меховщика держит у себя в спальне около десятка различных сундуков: и вместительные *cassapanche*, поставленные вокруг кровати и заодно используемые в качестве скамеек, и так называемые *cassoni*, тщательно отделанные сундуки, в которых, возможно, хранилось ее приданое, и *forzieri*, кованые железом ларцы, и *cassoncelli* — разновидность *cassoni*, и просто крашенные ящики. Такие же ларцы, ларчики, сундуки — все

\* Купцы (лат.).

эти привычные хранилища белья и драгоценностей (шкафы в источниках XIV века упоминаются редко) — наполняют дома богачей. В то же время предметы комфорта становятся все разнообразнее и многочисленнее, и в описях имущества крупных домов всегда можно найти домашнюю утварь, светильники, емкости для хранения продовольствия — мяса, зерна, жидкостей, инструменты, посуду — металлическую, деревянную, медную, оловянную, керамическую, кухонную и столовую; короче, все те предметы, с которыми отныне ассоциируется достаток.

Обстановка комфорта начинает обретать определенные черты. Мода на сундуки связана с настоящей потребностью где-то держать вещи. Бедняки вешают одежду на длинные планки, идущие вдоль голых стен их спален на равном расстоянии от пола и потолка. Жизнь в достатке предполагает хранение вещей в сундуках. Та же попытка внести порядок в домашний быт обуславливает распределение мебели и предметов обстановки по разным этажам и комнатам. Место каждой вещи еще четко не установлено, особенно когда речь идет о продовольствии. Под кладовые обычно используют погреб (*volta*) и кухню, но некоторые хозяева более строго следят за своими запасами. Привратник флорентийской коммуны хранил в гостиной (*sala*) зерно и засоленное мясо, а спальню превратил в кладовую провизии: вокруг кроватей (которых там три) стояли четыре мешка пшеничной муки, мешок муки с отрубями, бочонок с уксусом и четыре кувшина оливкового масла. Но от этого комнаты не перестают выполнять ту функцию, которую предполагают их названия (*sala, camera, ciscina\**), причем особое значение придается спальне, считающейся «сердцем» дома. Обстановка гостиных обыкновенно состоит из одного или двух столов и немногочисленных скамеек и табуретов. Впрочем, эти элементы не являются обязательными (некоторые гостиные абсолютно пусты), иногда их

\* Кухня (итал.).

дополняют посуда, провизия и несколько разнородных предмета (шахматная доска, бухгалтерская книга, клистир); здесь можно устроить временный склад строительных материалов и дров. Лишенная убранства, скудно обставленная, иногда совершенно пустая, эта неприветливая комната, разумеется, не всегда играет серьезную роль в повседневной жизни; она оживает летом и во время приемов. Пышные пиры, цветы придают ей праздничный вид и особый шарм, которых она в иное время лишена. По крайней мере, так обстоит дело в начале XV века; правда, уже в 1434 году Альберти дает *sala* весьма сочувственную и лестную характеристику. Именно там происходят встречи и звучат диалоги, которые он описал с таким талантом.

Спальни производят противоположное впечатление: от них исходит тепло и жизнь, они постоянно и многократно используются. Прежде всего, конечно, в ночные часы: спальня по определению место сна и отдыха. Это единственное помещение такого рода: некоторые обитатели дома могут ночевать в гостиной, прихожей, подсобных помещениях (слуги, рабы, дети), но наличие кроватей засвидетельствовано здесь в очень редких случаях. Спальня же специально предназначена для сна, и эта ее особенность всячески демонстрируется и подчеркивается.

В сельской местности, так же как и в городе, кровать — основной предмет мебели, «королева». Убогое ложе или соломенная подстилка — признак глубокой бедности. Первое вложение в домашнюю обстановку (которое нередко делает отец жениха) выражается в покупке кровати, настоящего семейного ложа. Литература, живопись, описи имущества демонстрируют и перечисляют все элементы этого престижного предмета. Каркас обычно сделан из дерева, иногда из обожженной глины; в ширину он имеет от 1,7 до 3,5 метра, а чаще — 2,9 метра (описи различают отдельные его варианты — *lectica*, *lectiera*, *lettucio* — и стили — *lectica nuova alla lombarda*; они

с трудом поддаются идентификации, но не влияют на размер). Постельные принадлежности, прилагающиеся к этому гиганту, как правило, включают кроватьную сетку, матрас, одеяла, пару простыней, покрывало, подушки, иногда *piùtacci*\* — диванные подушки неясного назначения (возможно, это обыкновенные валики), и полный комплект запасных простыней и покрывал, разложенных невдалеке.

Постель, занимая господствующее положение в комнате, ширина которой ненамного превосходит ее собственные размеры (2 или 3 метра), кажется еще огромнее из-за окружающих ее сундуков и одновременно еще колоритнее благодаря ярким краскам лежащего на ней одеяла — иногда разноцветного (с узором в елочку и в клетку), иногда, в зависимости от капризов моды, сплошь красного, синего или даже белоснежного; в общем, постель выделяется своей монументальностью, которую только подчеркивает полог. В XIV веке убранство постели пока еще скромное. На одной из фресок Джотто в капелле Скровеньи (ок. 1306) изображена святая Анна, только что родившая ребенка и отдыхающая на простом узком ложе, лишенном изголовья и привычного набора сундуков; слегка занавешивающий его полог — всего лишь кусок дешевого полотна, прикрепленный к деревянному карнизу простой конструкции. Через двадцать лет (ок. 1328) художник Симоне Мартини изобразит блаженного Агостино Новелло, совершающего одно из своих чудес; действие происходит на фоне спальни, где выделяется громадная кровать, сбоку от которой стоит блестящий ярко-красный сундук. Но мы не видим у этой кровати ни каркаса, ни малейшего намека на полог. Через одно поколение (1365) Джованни да Милано представит в росписях капеллы церкви Санта-Кроче свою версию рождения Девы Марии: перед нашими глазами снова окажется кровать, но на этот раз с более пышным убранством, что соответствует

\* Пуховая подушка (итал.).

ее характеристике в описях имущества конца века. Сундук, с этого времени прочно вошедший в обиход, стоит вдоль всей кровати; в результате ложе кажется более высоким, будто бы стоящим на постаменте. Легкий, но элегантный полог прикреплен к металлическому карнизу, прикрытому облицовкой потолка. Годы идут, и постели, на которых Фра Анджелико изображает своих героев (ок. 1430) — рождающимися, спящими, страдающими и умирающими, — сохраняя часть описанных выше свойств, нередко дополняются чем-то новым. Здесь, как мы видим, постель стоит на огромном сундуке, который таким образом окаймляет ее с трех сторон, делая шире и подчеркивая высоту центральной части; изголовье иногда поднимается до уровня человеческого роста. Размер постели, необходимость иметь доступ к окружающим ее сундукам часто вынуждали сдвигать ее от краев в центр комнаты — обстоятельство, которое придает еще более демонстративный характер монументальности этого громадного сооружения. Однако все это относится к богатым кругам. Кровати бедноты, будучи более простыми, узкими, экономичными (они делались из пихты и прочих спелодревесных пород), часто повторяли описанную модель: каркас из точно пригнанных деревянных деталей, сундуки по краям, высокое изголовье, полог (см. роспись алтаря, выполненную Фра Анджелико в монастыре Сан-Марко).

В Венеции конца века (1495) Карпаччо посвящает одну из своих картин святой Урсуле: она спит на кровати, которая возвышается посреди спальни, стоящий в изножье сундук выполняет функцию подставки. Изголовье кровати, примыкающее к стене, являет собой шедевр архитектурного искусства. Легкий балдахин без полога довольно высоко поднят; его поддерживают изящные деревянные колонны, которых не было в первоначальном наброске картины. Во многих венецианских домах кровати закрыты дорогим пологом, украшенным различными фигурками, рисунками, сценами охоты и иными признаками роскоши.

Жизнь продолжает кипеть в спальне и днем, на что есть тысяча причин. Об этом свидетельствуют всевозможные предметы мебели и обстановки, нашедшие себе место возле постели. В описях имущества за 1380–1420 годы фигурируют до 200 или 300 наименований (в некоторых случаях больше). Скамейки, круглые табуретки, столы, не считая бесчисленных сундуков, располагают к совместному времяпрепровождению. К разговорам. Работе. Или молитвам, которым предаются, обратив взор на иконы и прочие предметы культа, тогда как в других комнатах их нет. Это место, столь тесно связанное с жизнью хозяев и столь тщательно оберегаемое ими, в то же время производит впечатление крепости или кладовой, где собирают и распределяют принадлежащие семье вещи, где хранят ее богатства. В этом видится смысл заполняющих спальню сундуков, играющих одновременно (ибо в сундуке всего понемногу) роль платяного шкафа (где одежда, правда, не висит, а лежит сложенной), библиотеки, где хранятся несколько семейных книг и личные бумаги хозяина дома (письма, *ricordanze*), сейфа для драгоценностей, комода для столового белья, иногда также буфета для посуды. При всем при этом наполнять комнаты не означает их загромождать. Все прибрано, ничего не валяется в беспорядке. В спальнях XIV века практически нет безделушек, которые придали бы этому помещению особую изюминку. Мода на них распространится позднее. Остаются пышность тканей, строгость икон, величественность постели, разговоры, хождение взад и вперед между сундуками, которыми приходится пользоваться регулярно; эта ненавязчивая роскошь, эта оживленность, этот особый дух, незримо присутствующий в спальне, — не придает ли они ей жизнерадостности и не делают ли самой уютной частью дома?

Флорентийские дворцы нового стиля следует рассматривать отдельно. Как обставить такие огромные комнаты? Через пятьдесят лет после окончания строительства самые

большие залы дворца Строчи по-прежнему совершенно голые (начало XVI века). Громоздкость флорентийской мебели в XV веке, вероятно, объясняется необходимостью заполнить чем-то внушительным необозримое пустое пространство (впоследствии оживляемое лишь с помощью различных декоративных вещей).

### *Личный комфорт*

Стремление к комфорту обуславливает дальнейшие перемены в жилище, включая спальню, какой бы уютной она ни казалась. Потребность в некоторых из этих изменений или просто желание улучшить свой дом возникают или усиливаются начиная с описываемой эпохи.

В описях имущества и литературе того времени постоянно упоминаются замки и засовы (*spranga*). Часто ли двери дома запирают на ключ, насколько следят за этим? Есть причины думать, что ответ должен быть утвердительным. Частное пространство является пространством защищенным. И в деревне, и в городе большое внимание уделяется надежности дверных и оконных рам. Так, в деревнях провинции Лоди надежные оконные и дверные рамы есть в большинстве домов. У наиболее обеспеченных хозяев дома сделаны из камня, а деревянные двери укреплены поперечными брусками; они плотно закрываются благодаря целому набору различных приспособлений: боковым планкам на створках дверей, задвижкам и замкам — последние могут быть самых разных видов, включая настоящие шедевры кузнечного искусства. Все окна защищены закрывающимися на щеколду ставнями, а нередко и железными решетками. Простые соломенные хижины, которые гораздо чаще можно увидеть в тех местах, также имеют деревянные двери с каким-нибудь запором (засовом) или замком. Но там менее тщательно следят за безопасностью. Ключи часто теряются, и в некоторых домах

запирающие механизмы отсутствуют. Но окна всегда, за редким исключением, закрываются ставнями.

В городе XIII века люди отказываются от так называемых домов-башен (хотя они засвидетельствованы в Болонье еще в 1286 году): чтобы попасть в эти строения с высоко поднятым над землей входом, владельцам (мужчинам и женщинам) приходилось взбираться по приставной лестнице. Однако люди не утратили бдительности. Новые городские дома оснащены еще более тщательно продуманной системой заслонов. В домах буржуазии, о которых известно больше, входная дверь имеет две створки, усиленные, в свою очередь, тонкими деревянными пластинами, прибитыми множеством гвоздей с очень широкой шляпкой (гвозди располагаются по определенной схеме или обрамляют филенку по краям). Эти двери, довольно сурового вида, тоже весьма основательны. Они запираются изнутри на горизонтальный засов и замок, иногда дополняемые задвижкой. Все это содержится в порядке и рабочем состоянии. Когда муж уходит, честная жена должна закрыть на ключ главные ворота. Что касается мужа, то ему пристало хорошенько запереть все в доме на ночь, чтобы преградить злоумышленнику вход в здание и выход из него, а затем спрятать ключ в спальне (см. у Паоло да Чертальдо). Если на первом этаже есть комнаты с окнами, то их оснащают решетками, особенно когда речь идет о небольших вентиляционных окошках, не имеющих ставней.

Дом должен быть защищен от непогоды; по мере роста благосостояния к этому прилагается все больше усилий, особенно после того, как новые городские строения утратили облик домов-крепостей и обрели множество дверных и оконных проемов и других отверстий во всех комнатах и на всех этажах. Главная забота: оградиться от несносных сквозняков, продувающих комнаты. Предметом гордости хозяев дома были внутренние ставни. В Сиене, например, они появились ранее 1340 года, хотя, быть может, эта практика не повсеместна:

парные окна готических дворцов, изображенные художником Лоренцетти (см. его фрески в «Зале мира»), кажется, начисто их лишены. Более легкий и менее прочный барьер от ветра и солнца — занавески; их вешают на длинные горизонтальные карнизы, идущие вдоль фасада на полувысоте окна. Вместе с тем закрытые ставни препятствуют проникновению не только дождя, но и света и при этом нисколько не спасают от холода. Ставни — лишь первый этап на пути к комфорту в доме.

Чтобы не оставаться в темноте в непогоду, не прибегая к помощи светильника, был придуман механизм, позволявший обеим створкам ставней поворачиваться по горизонтальной или вертикальной оси; но изобретено это было довольно поздно. Такая технология, по всей видимости, не была распространена ни в Сиене 1340-х годов, ни даже во Флоренции в 1420-е годы, где фрески и картины (Лоренцетти, Мартини, Мазаччо) показывают нам вполне традиционные полуоткрытые массивные ставни. Первые упоминания о шторках или жалюзи относятся к 1390–1400 годам; они встречаются в счетах флорентийских больниц: может быть, именно забота о больных, столь характерная для той эпохи, дала толчок к разработке и использованию такого устройства, прежде чем оно широко распространилось во второй половине XV века. Однако шторки не компенсируют все недостатки ставней (полутьма, сквозняки и т.д.). Довольно быстро (в начале XIV века?) появляется более совершенное устройство, хотя его продвижение, похоже, замедленно: так называемые *finestre impannate* («драпированные» окна). Во Флоренции они распространяются в 1370–1380 годах, преимущественно в госпиталях — вероятно, опять-таки в связи с заботой о больных. По существу, речь идет об оконной раме, обтянутой льняным полотном, которое пропитывают маслом, чтобы оно стало полупрозрачным; раму составляют в оконный проем того же размера. В XV веке такие окна засвидетельствованы во всех городах Центральной Италии (в Пизе, Сан-Джиминьяно, Монтефалько, Генуе). Они

широко используются во флорентийских дворцах, особенно, естественно, в «благородных» комнатах: залах, спальнях, рабочих кабинетах; находят применение и для технических целей (в мастерских художников и мозаистов). Немногим позднее появляются оконные стекла. Уже в 1331 году стекла, укрепленные сеткой из медной проволоки, зафиксированы в Болонье, в 1368-м — в Генуе. Чуть более двадцати лет спустя (1391) ими оснащены по крайней мере два помещения в монастыре кармелитов во Флоренции: лазарет (с двумя окнами) и кабинет; затем они распространятся в особняках буржуазии всех упомянутых городов (хотя в XV веке этот процесс идет довольно медленно). Напомним, что в ту эпоху, чтобы застеклить окно, приходилось множество круглых стеклянных пластин скреплять свинцовыми перемычками.

Оставалось решить проблему затемненности жилища, вызванную ночным мраком и перенасыщенностью города зданиями: флорентийская патрицианка Алессандра Мадзинги-Строцци жалуется в письме на соседа, чьи постройки отнимают у нее свет. Что тогда говорить об улочках в бедных кварталах? Значит, нужно улучшать освещение дома. Самое дешевое средство — сальная свеча, особенно популярная в сельской местности, о чем свидетельствуют сохранившиеся описи, где отмечены ступки для растирания сала для свеч. Описи крестьянских жилищ фиксируют также масляные лампы (*lucerna*), однако 48 из 60 домов (бедных и обеспеченных), исследованных М.А. Мацци, их не имеют. Свеча — верная спутница крестьян, сопровождающая их в ночных походах и работе. Но тьма быстро поглощает ее жалкий свет. Лишь огонь очага может осветить лица и движущиеся фигуры членов семейного сообщества. В ночной деревне огонь и очаг — центры притяжения людей.

Известные нам городские дома буржуазии освещены гораздо лучше: преимущество объясняется обилием светильников, идет ли речь о простых масляных лампах (как глиняных, так

и оловянных или железных), о фонарях, о лампах-«переносках» или, наконец, о свечах в разнообразных подсвечниках: коротких и длинных, кожаных и железных, «английских». Все эти предметы, иногда в нескольких экземплярах, есть в обеспеченных (известных нам) домах 1400-х годов. Они отмечены во всех комнатах, хотя, похоже, чаще их ставят в спальню (до шести раз) — в ущерб гостиной (два раза) и кухне (один раз). Описываемые светильники легкие и, разумеется, без труда переносятся из одного помещения в другое, но, по-видимому, исключительные права на них имеет спальня, где их можно разместить на большой высоте и в удобных местах благодаря многочисленным подставкам (от двух до шести на спальню). В противоположность тусклым деревенским свечам большие лампы «буржуазных» домов позволяют полностью осветить спальню или гостиную, когда там собираются домочадцы или члены городских *brigade* (сообществ). На наружных стенах знаменитых дворцов в ночной темноте сияют фонари, придавая этим зданиям ореол загадочности и фантастичности, но это не нарушает частную жизнь их владельцев.

Слабое пламя свечей, конечно, не способно справиться с холодом, особенно опасным в период с ноября по апрель в комнатах с негерметичными, плохо проконопаченными стенами. В тосканских селах XIV и XV веков единственный источник тепла — печь для приготовления пищи (в гостиной или в кухне), простая, без всякой отделки, стоящая на фундаменте из нескольких кирпичей прямо на утрамбованном земляном полу. То же мы видим в провинции Лоди в 1440 году, если не считать богатых семей, живущих в так называемых *castelli*\*: их дома, несмотря на скромные размеры, теперь имеют камин, иногда даже два (на пять комнат). В городах же XIV века встроенный в стену камин с дымоборником в виде кошака, дымоходом и выходным отверстием — далеко

---

\* Замок (итал.).

не новость. В Венеции он известен уже в XIII веке, а его первые флорентийские аналоги появляются около 1300 года, хотя распространяется это изобретение медленно. В Пьяченце, по свидетельству хрониста Г. Муссо, в 1320 году еще нет никаких каминов; нет их и в Риме в 1368 году. На одной из сиенских фресок Лоренцетти (1340) видно, что в городе над крышами домов поднимается не больше полудюжины труб (не обязательно соединенных именно со стенными каминами). Тот же Муссо добавляет, что в Пьяченце в 1388 году в каждом доме было по несколько каминов, но действительно ли речь идет о настоящем стенном камине? В любом случае во Флоренции наблюдается постепенное движение в этом направлении; по-видимому, оно набирает обороты в 1370–1420 годах, когда печь, располагавшаяся в центре комнаты, уступает место камину «на французский лад».

Однако не всем так повезло с отопительной системой, равно как и с быстротой ее распространения. Некоторые дома слишком тесны или непрочны для того, чтобы там установить камин. Как ни парадоксально, во Флоренции к этой категории принадлежат новые здания, возведенные в 1280–1340 годах на окраине города и стоящие там попеременно со старыми домами. Люди не хотят идти на риск, проводя в стенах между комнатами длинный и потенциально опасный дымоход. Даже расположенные на последнем этаже кухни оснащены лишь традиционной печью, установленной в центре помещения. Возможно, просторные многокомнатные дома буржуазии в старых кварталах легче поддавались перепланировке и перестройке? К концу XIV века большинство из них имеет по меньшей мере одну отапливаемую комнату, не считая кухни. В восьми известных мне домах в шести кухнях, шести спальнях и двух гостиных есть разного рода каминные принадлежности: подставки для дров, щипцы, крюк для котла, лопата. Однако сама печь описывается лишь в двух случаях: в первом речь идет о стенном камине в супружеской спальне,

во втором — о жаровне в комнате для гостей. Отметим, что в эту эпоху (конец XIV — начало XV века) в домах обеспеченных горожан уже были отапливаемые комнаты, не связанные с кухней и соединенные с общей комнатой или — чаще — со спальней (впрочем, лишь одна из трех спален могла похвастаться подобным соседством); вместе с тем камин еще не завоевал себе места: важная, возможно даже решающая роль оставалась за печью с ненадежной тягой и переносными каминными принадлежностями.

В XV веке встроенные в стену камины используются все чаще — во всяком случае в местах, доступных нашему взгляду. Города один за другим уступают новой моде. Стоит кому-то признать новшество, как оно быстро распространяется повсюду. Технология изготовления камина уже настолько хорошо известна каменщикам, что они могут установить несколько образчиков этого полезного изобретения в одном доме. В конце XV столетия камины украшают главные залы знаменитых флорентийских дворцов; навес над камином приобретает монументальный характер; подставки для дров, щипцы, весь набор каминных принадлежностей — изящных, со вкусом сделанных вещицек — делают комнату, где они находятся, похожей на художественную галерею. Каминные завоевывают симпатию и венецианцев: на картинах Карпаччо (см. «Чудо реликвии Святого Креста», 1494) мощные трубы придают крышам домов сходство с грибницей шампиньонов.

### *Украшение интерьера*

Сугубо частная сфера жизни исключает роскошь в одежде. Крестьяне не разделяют одежду на рабочую и домашнюю; в течение XIV и XV веков она меняется, более или менее следуя городской моде, но излюбленным материалом остается *tomagholo* — грубое сукно коричневого или серого цвета. Когда человек выходит на улицу в праздничной одежде (которая

есть у всех), происходит соприкосновение сугубо частной жизни с жизнью внешнего мира. То же самое характерно и для городов: дома, в кругу семьи, принято носить одежду попроще. Альберти особо подчеркивает, что новое платье предназначено для праздничных дней, ношеное больше подходит для повседневной жизни, старое — для дома. Схожего мнения придерживается М. Пальмиери, хотя оно не совсем совпадает с точкой зрения Альберти: в обычные дни, считает он, у себя дома прилично носить только такую одежду, которую носят все. Таким образом, подходящими для частной жизни признаны две категории одежды (по-видимому, именно их и носили в реальности): платье из самой грубой материи и самого простого покроя и элегантные вещи, унаследованные от предков или приобретенные у старьевщика, но, несмотря на свою пышность, не используемые в качестве парадного костюма, потому что вышли из моды или поношены. Как правило, в домашней обстановке люди все-таки носили самую простую одежду. У себя дома женщина, к какой бы среде она ни принадлежала, должна довольствоваться простой *gonnella* (XIV век), известной в XV веке под названием гамурра (*gamurra*, в Ломбардии — *zira*): весьма непритязательным шерстяным платьем вроде туники с широкими рукавами (после 1450 года они делаются съёмными), которое надевалось поверх камизы (*camicia*), длинной сорочки из льна или хлопка. Именно в таком облачении она занимается хозяйством, совершает покупки и наносит неформальные визиты (если на улице не холодно и не нужно надевать верхнюю одежду). Но когда она покидает сугубо частную обстановку и соприкасается, пусть и не очень тесно, с внешним миром, оставаться в гамурре считается дурным тоном. Приходит время открыть сундуки и извлечь из них самые дорогие наряды, демонстрирующие личный и социальный статус человека.

Домашняя жизнь допускает бóльшую свободу в плане одежды. Правда, моралисты рекомендуют придерживаться

строгих правил и в доме, особенно в гостиной (где собирается вся семья), но на деле частичная или полная нагота в определенные моменты частной жизни никого не шокирует. Люди спят в сорочках, но могут спать и голыми, просто потому, что в комнате жарко; дама не стесняется, например, присутствия дочери, которая спит на кровати рядом с ней, или нескромных взглядов соседа, который через открытое окно может увидеть, как она ложится спать или как утром встает с постели. Кроме того, привычка греться у огня или сушить там свою одежду также порой создает немало пикантных ситуаций: в отсутствие нижнего белья женщинам приходится оголяться, а мужчине, который не постесняется сесть перед очагом без штанов, следует (по словам Саккетти) остерегаться кошки, ибо та, увидев мужское «хозяйство», решит поиграть с ним\*.

Мы видим, что, несмотря на примитивность внутреннего убранства дома и прямое пренебрежение некоторыми деталями интерьера, домочадцы стремятся придать своему жилищу особую свежесть, красочность, колорит, в общем — какую-то «изюминку». Это может быть цветок, букет, одно из тех растений, которые запечатлены на многих флорентийских и сиенских фресках и картинах XIV и XV веков: они стоят в вазах, украшая столы и шкафы для посуды, или тянутся к солнцу на подоконниках. Это могут быть птицы в тростниковых клетках, висящих в оконном проеме, изображенные на фресках Лоренцетти и Мазаччо, или те, что посылают больному мальчику по имени Микеле Верини, чтобы они радовали его своим пением (юный гуманист, десяти лет от роду, пишет ответное письмо на чистой латыни). Символами частного жилища могут стать и домашние животные: кошки, собаки, гуси, которых столь высоко ставит Альберти, считая хранителями домашнего очага, и даже обезьянки: изображение одной из них мы видим на фреске Мазаччо

---

\* Автор ссылается на сюжет новеллы 130 Франко Саккетти.

в капелле церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции — там она, несмотря на привязь, совершает кульбиты на карнизе особняка.

Достаток и имущество позволяют идти дальше, украшая и оживляя главные комнаты более основательно — гобеленами и фресками. Генуэзские описи имущества 1390-х годов часто упоминают гобелены (не сообщая, что на них изображено), мода на них не исчезает и в XV веке. В Генуе существовали также «комнаты с расписанными тканями» (отмечены в конце XV века): тканями с вытканными сюжетными картинами обтягивали всю комнату (спальню); опять-таки здесь говорится о спальне, а не о гостиной. Во Флоренции XIV века ткани и гобелены тоже произвели настоящий фурор. Но в повседневной жизни в качестве украшения использовали лишь небольшие изделия такого рода — их стелили на стол, стулья и скамейки. Что же касается крупных изделий, то есть гобеленов в собственном смысле слова (*arazzi*), предназначенных для стен, изголовий кроватей или дверей, то они применяются менее часто. Их извлекают из сундуков, где они хранятся в обычное время, только по праздникам, чтобы ради особого случая продемонстрировать неслыханную роскошь. Они дополняют запасы богатой одежды, косметики, драгоценностей, придавая еще бóльшую ценность той пышности, в которую облакается частная жизнь.

Картины, фрески и темперы, которые с конца XIII века (см. «Новую жизнь» Данте) украшают внутренние покои, будучи более долговечными и менее дорогостоящими, нежели гобелены — первые явились неким суррогатом вторых, — тоже тесно связаны с частной жизнью и представляют собой источник ценной информации обо всех ее периодах. Типовые и недорогие орнаменты могут состоять из геометрических узоров — простых (в виде разноцветной шахматной доски, ромбов и т.д.) и сложных; арабесок; самым изысканным считалось изображение геральдических символов, выполненных из меха (беличьего и горностаевого); в зависимости от вкусов хозяев

стили настенного декора можно было сочетать или применять раздельно. Иногда один и тот же орнамент покрывает ровным слоем все внутреннее пространство; в иных случаях фрески представляют собой искусную имитацию гобеленов с нарисованными карнизами и кольцами, которые придают рисунку рельеф. Благодаря простоте орнамента и дешевизне фрески быстро вошли в моду, проникнув не только во внутренние дворы, в галереи, расположенные между этажами (замок Поппи, Тоскана, конец XIII века), в залы и *loggie*, но даже в уборные. Однако наиболее полное выражение безграничные возможности живописи находят во внутренних помещениях по-настоящему богатых домов, где начиная с XIV века распространяются фигуративные изображения. Сначала возникает мода на деревья, каждое из которых изображается на отдельном панно, затем — на сады, полные цветов и птиц, и, наконец, на жанровые сцены: игры, охоту, эпизоды из куртуазной жизни. В одном и том же помещении могут соседствовать фрески разных типов и разного содержания. Отличную подборку разнообразных фресок, относящихся к трем периодам (конец XIV–XV век), представляет замечательно сохранившийся дворец Даванцати. Стены в зале и в двух полностью декорированных спальнях (единственный пример подобного рода во всем доме) от пола до карниза, расположенного на высоте приблизительно 2,5 метра, заняты геометрическим орнаментом с замысловатым, можно даже сказать изысканным, узором, над карнизом (шириной от 0,2 до 1 метра) — фриз, расписанный или пальмами в окружении птиц на голубом либо красном фоне (гостиная), или другими деревьями, каждое из которых украшено гербом и обрамлено готической аркой, или же, наконец, сюжетами из жизни кастеляна из Вержи с неизменными деревьями и птицами; мы видим их через круглые арки, увенчанные изображениями французского герба. Чем больше достаток и благосостояние хозяев дома, чем выше полет мысли и совершеннее искусство художника, тем лучше домочадцы ограждены от забот внешнего мира.

### *Питание в кругу семьи*

На случай нехватки провизии осмотрительный отец семейства должен сделать необходимые запасы. Семья может сама, своими силами противостоять капризам природы и неудовлетворительной работе общественных служб. В XIV веке Паоло да Чертальдо, образец здравого смысла в буржуазном понимании, дает своим читателям такой совет: «Всегда имей у себя дома запас пшеницы на десять лет <...> и такой же запас растительного масла». Разумеется, бедняки не в состоянии следовать этому благоразумному правилу: многие крестьянские семьи, особенно в неурожайные годы, продают все свое зерно подчистую. Но и почти полное отсутствие денег в семейной казне не мешает делать запасы продовольствия, приобретая его по сходной цене. В городе Прато в ноябре 1298 года, когда намечается рост цен, власти проводят инвентаризацию запасов зерна. В квартале Сан-Джованни 30% семей не имеют ровным счетом никаких запасов, 20% располагают запасами провизии на один — шесть месяцев, остальные, добрая половина граждан, полностью обеспечены до следующего урожая. Это означает, что припасы делают не только представители крупной буржуазии — судьи и купцы. Лавочники и ремесленники тоже не чураются заготовки продовольствия, более того, учитывая скромность их средств и обилие их запасов, можно заключить, что такая практика приоритетна именно для данной группы населения (по времени, которое они на это затрачивают, и по тому, во сколько это обходится их бюджету).

Флорентийская буржуазия 1400-х годов по-прежнему запасает продовольствие, но теперь при просмотре описей их имущества эта привычка не так бросается в глаза. Обеспеченные семьи имеют в своем распоряжении запас вина — несколько бочек — и растительного масла — несколько кувшинов; в двух случаях из трех они располагают запасами уксуса; по меньшей мере в одном из двух — зерном пшеницы и других злаков, сушеными овощами, сушеным или засоленным мясом.

Эта выборка не дает таких точных цифр, как инвентаризация зерна в Прато. Зерно — наиболее распространенный вид запасов в среде тосканской буржуазии, где каждый имеет одно или несколько владений, сдаваемых в наем (ферм). Во всяком случае, можно утверждать, что в какой-то мере (в какой именно, нам неизвестно) обычаем обеспечивать продовольствием семью впрок не исчез. Для этой цели отводятся определенные места. Сундуки (*arca*) для хранения зерна часто ставят в гостиных, еще чаще — в спальнях, но бочки всегда складывают в погребе (*cella, volta*), существующем в любом «буржуазном» доме.

Прежде чем быть поданной на стол, пища, разумеется, должна быть приготовлена. Большинство домов вообще и все дома, принадлежащие буржуазии, имеют кухни. Из дворов и садов, куда их удалили в XIII веке, они возвращены в дом. По разным причинам их размещали на антресолях (боязнь пожара, желание избежать дыма, зловония), но случалось, что некоторые из них ради удобства устраивались на «благородных» этажах. Этот признак городского комфорта распространился и на сельскую местность, и в XV веке наличие кухни несколько раз засвидетельствовано в богатых домах Апеннин, в некоторых районах Ломбардии и, вне сомнения, в других местах.

Кухня, разумеется, не принадлежит к числу помещений со скудной обстановкой; она насчитывает больше предметов быта, чем жилые комнаты (от 25 до 80 единиц, согласно флорентийским описям имущества); эти самые предметы более разнообразны и зачастую дороже стоят, нежели обстановка многих гостиных. Из мебели там присутствуют: квашня, ларец, шкаф (правда, он встречается редко: только в XIV веке), полки для посуды; однако внимание домочадцев занимает прежде всего бесчисленное множество предметов домашней утвари — железных, медных, оловянных, глиняных, деревянных, — которые используются в процессе приготовления обедов, а иногда и во время роскошных пиров. Ведь хороший стол не только

радует сердце хозяина, но и служит одним из главных средств демонстрации богатства дома, когда тот ненадолго открывает свои двери перед внешним миром, впуская гостей. В Венеции конца XIII века уже существуют кухни, оснащенные на высоком техническом уровне, а в XIV веке они распространяются по всей Италии и встречаются в каждой обеспеченной семье.

Росту комфортабельности частной жизни в отношении того, что радует глаз и желудок, способствует улучшение снабжения семьи питьевой водой. Общественные колодцы, выкопанные на перекрестках и площадях и существующие на деньги местных жителей, — обычное явление в Болонье, Пьяченце, Флоренции и во многих других городах XIII века. Но воды в них не всегда достаточно, и она не всегда годится для питья; речная вода — если поблизости есть речка — ненамного лучше. Стремясь исправить положение, коммуны берут дело в свои руки: в Венеции они создают целую систему резервных водоемов (около пятидесяти), а в Сиене предлагают амбициозный проект организации сети подземных каналов и общественных фонтанов. В других местах о снабжении своих домов водой приходится заботиться самим жителям. Во Флоренции, например, в новых кварталах, появившихся в 1320–1380-х годах к северу от Сан-Лоренцо\*, строительство зданий часто сопровождается сооружением частных колодцев: согласно недавним исследованиям, их было не менее 149. Однако колодцы роют не всюду. Их нет на некоторых отдаленных улочках и во всех бедных домах (на виа Гуельфа из 33 домов только один имеет колодец). Чем красивее улицы и роскошнее дома, тем больше колодцев: в богатых кварталах (например, в Кампо Корболино) ими оснащены до 39% домов. Иными словами, если понадобится, вода будет под рукой, причем иногда с помощью особых механизмов, поднимающих ведра через прорезанные в полу люки, вода доставляется и на верхние этажи (вплоть

\* Квартал в центре Флоренции.

до четвертого), что способствует распространению гигиены, облегчает уборку в доме и приготовление пищи, позволяет утолять жажду.

### *Как люди жили вместе*

#### *Коллективные занятия в частной жизни семьи*

Профессии лавочника и ремесленника предполагают пребывание за пределами частной сферы. Во Флоренции большинство ремесленников арендуют помещение для мастерских, живя при этом в другом месте. Имеются и обратные примеры, когда места проживания и работы совпадают, но это случается крайне редко. Как правило, мы видим разделение этих сфер. Днем городские дома пустеют: мужчины, женщины, в иных случаях даже дети (иногда уже с 8–10 лет) отправляются на работу. Однако некоторые профессии традиционно связаны с работой на дому: у мужчин это ткачество, у женщин — тоже ткачество плюс, конечно, прядение. Движимое имущество в домах шерстобитов включает, как видно из соответствующих описей имущества представителей данной профессии (1378), ткацкий станок, предназначенный для мужа, если ткачеством занимается он, в противном случае — для жены, и *filatoio* (прялку): оба рабочих инструмента перечисляются наряду с другими предметами мебели и составляют вместе с ними обстановку частного жилища. То же в середине XV века наблюдается в Сиене и во многих других местах. В семьях, где муж и жена занимаются ткачеством или муж ткачеством, а жена — прядением, супруги трудятся дома, вместе, весь день, а иногда и всю ночь. В сельской местности это проявляется в еще большей степени: там ежедневная крестьянская работа, которую семья выполняет собственными силами, не отделена от частной жизни. И напротив, для города совместный труд

дома — менее типичная ситуация, к тому же в бедных семьях такая работа поглощает весь день и даже ночь, что скорее препятствует семейной близости, нежели благоприятствует ей.

К счастью, члены семьи, которых необходимость отправляться утром на работу отделяет друг от друга, расстаются не насовсем: как и в другие времена, они воссоединяются вечером, по окончании рабочего дня (хотя флорентийские каменщики возвращаются к вечерне); такая возможность предоставляется также в нерабочие дни (в праздники и по воскресеньям). Можно ли назвать это воссоединение подлинной совместной жизнью?

Процесс одевания — первая возможность встретиться: это касается и детей, чье одевание должно происходить под надзором матери (как велит Джованни Доминичи), и взрослых, которые не всегда могут одеться без посторонней помощи и не всегда делают это только утром. Считается нормальным, чтобы жена помогала мужу умываться. Дамы просят служанок одевать их, а также наносить румяна и мыть (во всяком случае, ноги); среди дам и супружеских пар Равенны распространен обычай вычесывать друг у друга вшей, так что в XIII веке пришлось даже издать распоряжение, запрещающее предаваться этому занятию публично, в аркадах зданий.

Менее интимна обстановка за обедом, во время которого (иногда — еще до его начала) члены семьи встречаются. Один источник бегло обрисовывает детей хозяйки, собирающихся вокруг нее, пока она хлопчет над супом (Фьезоле, июль 1338 года): дочку пятнадцати лет, сидящую на низком сундуке с шитьем в руках, ее старшую сестру, притулившуюся у порога с прижатым к коленкам подбородком и высматривающую кавалера, их братишку, который бесцельно слоняется, не зная, чем себя занять. Затем каждый садится на свое место за столом. Семейный обед — это одновременно и идеал (к которому призывает Альберти), и реальность, в которой он воплощается. Все флорентийские семьи — и богатые, и бедные — имеют

по крайней мере один стол (а то и несколько): он может быть или прямоугольным (с особыми ножками, сбитыми крест-накрест, как козлы) или круглым: в последнем случае он используется исключительно во время трапезы, что нашло отражение даже в некоторых описях имущества («стол круглый обеденный»). Источники представляют нам как обыденное явление присутствие за столом жены наравне с мужем, равно как, с определенного возраста, и их детей. За исключением, быть может, некоторых сельских районов и отдельных семей со средним достатком, мы не увидим за столом слуг.

Наконец, начинаются вечерние бдения, достигающие своего пика после ужина, когда семья собирается вместе. Находится немало совместных дел: повседневные домашние заботы (лущение, скобление, штопка, чистка, починка и т.д.), разные виды женской работы и многое другое в этом роде. Все это обычно сопровождается разговорами. Мужа и жену беспокоят повседневные дела, они говорят об «овцах, зерне, постройках, о привычных для супругов вещах», как передает свидетель беседы сельской пары. В который раз обсуждаются различные планы (за кого выдать замуж дочь) и проблемы (налоговый гнет, рождение все новых детей, «умеющих только есть»), о которых мы можем судить по налоговым декларациям, запечатлевшим людские страдания и семейные ссоры. Если муж и жена принадлежат к числу исполщиков, разговор крутится вокруг приданого, материальных интересов, отношений с собственником или патроном. Моралисты сетуют на непристойность частных разговоров. Впрочем, бывает, что разговор касается и религии. Даже в самых богобоязненных и благочинных семьях порой случаются приступы гнева, когда каждый «изливает желчь в бурных речах», по выражению биографа святой Екатерины Сиенской применительно к ее жизни. В иных случаях старики вспоминают детство или рассказывают историю рода (едва ли полностью достоверную). С возмущением обсуждают местные скандалы (двоеженство,

убийства, разврат священников и т.д.). Диапазон тем, который мы привели на основании различных тосканских документов XIV века, естественно, расширится, если от крестьян и людей среднего достатка мы перейдем к городской буржуазии и гуманистам. В их домах тоже ведутся разговоры, в которых повседневные темы не всегда обходятся стороной. Альберти превозносит прелесть безмятежных бесед о «говядине, шерсти, виноградниках и посевах» — обо всем, к чему располагает жизнь за городом. Но, как известно, подобные беседы могут подниматься на совершенно иную высоту. По словам Альберти, у его дяди «было в обычае никогда не говорить о вещах пустых, но всегда о чем-то возвышенном». Что касается речей гуманистов, их диалогов, действительных или предполагаемых, разговор поднимается до высот истинной эрудиции и просветительства; к их идеям мы еще вернемся.

От разговоров переходят к играм: игре в кости (но это не так легко обнаружить в источниках), шахматы (часто упоминаемые в качестве предмета обстановки буржуазного дома), позднее — к картам. Иногда зовут детей, чтобы исподволь научить их грамоте (Пальмиери); когда они подрастают, родители устраивают для них ежевечерние чтения, как это делает, например, достойный и благочестивый нотариус из Прато Лаппо Мадзеи, читавший своим детям все зимние вечера напролет «Цветочки святого Франциска Ассизского» (1390). Через сто лет (1485) дядя юного гуманиста (ребенка-вундеркинда) Микеле Верини после обеда читает своему племяннику Евангелие (а для затравки Евклида).

Сама структура домов, где не все помещения полностью обставлены и не все хорошо отапливаются (равно как и проветриваются), способствует этим собраниям и коллективным бдениям. Летом принято вместе дышать свежим воздухом у входа в дом, или в саду, или в разного рода *loggie*. Зима объединяет домочадцев вокруг очага в *sala*: жена занята пряжей, хозяин дома перемешивает угли и разговаривает, дети

внимают ему, застыв в разных позах на своих табуретках. Этот излюбленный сюжет повторяется на многочисленных миниатюрах. Другие обстоятельства (роды, болезни) собирают всех членов семьи в спальне. Но пуристы видят в этом вторжение на территорию, принадлежащую исключительно женщине или супружеской паре, тогда как центром семейного взаимодействия в полном смысле слова является, на их взгляд, гостиная. Последняя, безусловно, играет свою роль. Но муж, жена и их дети (так называемая «супружеская» семья) предпочтут гостиной спальню, где больше интимности и уюта. Вместительная гостиная буржуазного дома обычно принимает широкий круг родственников и знакомых, и в то же время служит неким фильтром, пропускающим в спальню лишь избранных.

### «*Pater familias*»\*

Семьей приходится управлять. Каждый день необходимо принимать решения. Две категории вопросов более других требуют распределения обязанностей: имущество и дети. О последних приходится заботиться с раннего детства до вступления в брак. Таким образом, они зависят от двух линий — жей и двух традиций, представленных соответственно отцом и матерью. Чье влияние окажется в итоге преобладающим? То же самое касается родового имущества. Все итальянские семьи, вплоть до тех, кто в налоговых документах назван *nihil habentes* (неимущими), владеют определенной собственностью, будь то предметы мебели или же скот. Но родовое имущество не однотипно. Оно объединяет наследственное имущество в строгом смысле слова, полученное от отца, собственные приобретения семьи, приданое жены (а иногда также и ~~известки~~), *peculia* сыновей (имущество, перешедшее

---

\* Отец семьи (лат.).

к ним посредством дарения или покупки). Но и само приданое не представляет собой единого целого: юристы разделяют его на учтенное, то есть включенное рачительными хозяевами в опись имущества, и неучтенное — предметы мебели или обстановки, используемые в повседневной жизни. Таким образом, в формирование семейного имущества вносят свой вклад отец, жена и взрослые дети главы семьи. Нужно распределить обязанности, другими словами, делегировать их разным членам семьи. И еще вопрос — кто этим займется?

По давней итальянской традиции власть полностью и безоговорочно принадлежит отцу семейства. Уподобляя отцовскую власть королевской, юристы (особенно болонской школы) в XII–XIII веках немало способствовали ее укреплению, так что к XIII веку поговорка «У себя дома каждый король» («*Quilibet, in domo sua, dicitur rex*») повсюду была очень популярна. Эту власть, *patria potestas*, отец, будучи ее единственным носителем, распространяет на детей; как пишет юрист Азо, «ни сама мать, ни родственники с материнской стороны не имеют власти (*potestas*) над детьми». Отцовской власти подчиняются и другие родственники по нисходящей линии, прежде всего внуки, в каком бы возрасте ни находился *pater familias* — пусть ему даже шестьдесят лет (*etiam sexagenarius*) — и сколько бы ни было лет его сыновьям. Эта максима, выведенная юристами, не остается мертвой буквой. Возникнув как ответ на вопросы, поставленные жизнью, она находит применение в быту через статуты и кутюмы, которыми итальянские города обзаводятся на протяжении XIII–XIV веков (статуты, среди прочего, регулируют частную жизнь), и с помощью них еще глубже проникает в жизнь семьи.

*Pater familias* является прежде всего единственным распорядителем совокупного имущества возглавляемой им семьи. На нем лежит обязанность распоряжаться жениным приданным, а иногда и приданным невесток. Он может даже продать часть приданого, вопреки воле владелицы. Юридическая

практика имеет тенденцию предоставлять мужу всю полноту власти в сфере управления жениным приданым, тогда как супруга никак не может помешать инициативам, рискующим оказаться опасными для целостности имущества, будущего наследства ее детей. Что касается доходов с приданого, юристы высказываются за его включение в общий семейный бюджет, контролируемый мужем (а не владельцами капитала, который пускается в оборот), для того чтобы легче переносить «тяготы семейной жизни» (проще говоря, текущие расходы); при этом муж волен реинвестировать свой собственный капитал в землю и товары. На основании той же *patria potestas* отец контролирует денежные средства и приобретения сыновей.

Он же выступает в роли хозяина по отношению не только к вещам, но и к домочадцам. Жена, как и другие члены семьи, подчиняется определенной юристами *potestas* (мужней власти) и на этом основании обязана слушаться супруга и уважать его. Учение известных духовников-доминиканцев подкрепляет взгляды их коллег-юристов. Напоминая одной из исповедующихся ему дам (1398) о необходимости подчинения жены мужу (если только он не толкает ее на грех), Джованни Доминичи высказывает идею, ставшую общим местом в проповедях священников. Эхо подобных идей слышится в сочинениях моралистов — Фра Паолино, Леона Баттисты Альберти, Эрмолао Барбаро и многих других: «Будучи единственным хозяином в своем доме, муж открывает жене лишь часть семейных тайн. Он сам учит ее выполнять работу по дому и, принимая в расчет хрупкость ее тела и мягкость характера, не должен давать ей серьезных обязанностей». Эта зависимость имеет реальные практические последствия, выразившиеся в виде норм различных статутов коммун, которые уполномочивают мужей (например, в статуте тосканского города Джелло 1373 года) «наказывать их детей, младших братьев, жен». Власть отцов над детьми выглядит еще более полной в юридических и законодательных документах, а также в сочинениях моралистов.

Дети должны относиться к отцу с глубочайшим уважением и почтением, как к священной особе. Каковы бы ни были общественные обязанности сына, в частной жизни они ничего не значат: отец неизменно сохраняет там свою власть и первенство (Пальмиери). За любую оплошность, любое неподчинение, любое оскорбление или небрежность (по отношению к престарелому отцу) детям грозит кара со стороны или его самого, или же публичного правосудия. Еще в 1415 году одна из статей флорентийских статутов наделяла отца или деда правом отправлять в тюрьму провинившегося родственника. Эту тему любят развивать проповедники: тот, кто почитает своего отца, найдет такую же любовь к себе со стороны детей, на него распространится Божья благодать и т.д. И наконец, представители обеих групп (моралисты, духовенство) солидарны в признании отцов, готовых «украсить жизнь сыновей самыми добродетельными нравами» (Пальмиери), единственным источником их образования. Джованни Доминичи в своем трактате о хорошем воспитании более конкретен: так, он настаивает, чтобы ребенок, отвечая отцу, всякий раз говорил: «Messer sì»\*, чтобы он стоял в присутствии родителя, послушно опускал голову, выслушивая его приказы, — одним словом, проявлял бы неизменное уважение к человеку, которому он обязан появлением на свет.

Законодательство и социальные императивы отражают нравы людей, и то, что известно о тосканских семьях, отчасти соответствует тому, что я только что в общих чертах обрисовал. Статут о заключении сыновей в тюрьму применяется во Флоренции еще в 1463 году; старейшие члены крупных буржуазных семей XV века являются живыми свидетелями этого всевластия отцов. Мы видим, что некоторые из них удерживают в своих руках контроль и над экономической сферой. В 1480 году старый Джино Джинори сам составляет

\* Да, господин (итал.).

налоговую декларацию, причем он единственный в семье, кто это делает. О своих взрослых сыновьях, живущих с ним под одной крышей и работающих вместе с ним, он пишет: «Они трудятся со мной на моей суконной фабрике и еще слишком мало умеют, чтобы жить самостоятельно». Другие патриархи из того же социального круга, что и Джино, сами собирают приданое для внучек, и т.д. Всевластие отца семейства в экономической сфере укоренилось и в более скромном обществе, среди исполщиков. Около 1400 года семьи крестьян-исполщиков, живущих в окрестностях Сиены, устроены наподобие небольших частных компаний, где всем руководит и распоряжается, все контролирует глава семьи (труд, долги, уборку урожая, запасы продовольствия).

Кроме того, нередко мы видим, как отец семейства берет на себя роль наставника. Первой «жертвой» оказывается его жена. Юный возраст, отсутствие опыта на момент замужества неизбежно делают ее зависимой от знаний супруга. Многие мужья заставляют юных жен, пользуясь их робостью и благоговением перед ними, выслушивать длинные нравоучения, с помощью которых старому Джаноццо, как тот не без самодовольства говорит племяннику (Альберти), удалось сделать из своей «второй половины» замечательную хозяйку: «Благодаря природным способностям и воспитанию, но больше всего благодаря моим наставлениям она стала прекрасной матерью семейства». Но самую неусыпную, самую нежную и самую трогательную заботу отец проявляет об интеллектуальном и нравственном воспитании потомства (вспомним, например, вечерние бдения, о которых мы говорили выше). Как же рады отцы, если их внимание к детям окупается сторицей! Отцовская гордость пронизывает письма юриста Уголино Верини к своему сыну Микеле, юному гуманисту и вундеркинду. Подбадривая сына, давая ему советы, временами даже ругая его, требовательный отец тем не менее довольно часто отмечает исключительные способности и силу сыновней привязанности

этого удивительного десятилетнего мальчика и дает выход своим чувствам к нему: «Какую радость доставил бы мне твой приезд [из Флоренции в Пизу]! Никто мне не дорог так, как ты, никого я не жду так, как тебя, в твоём лице я достиг исполнения всех моих желаний».

Дисциплина и пиетет вызывают у хозяина дома удовлетворение; фрондерство и неговорчивость — гнев. Законы уполномочивают его наказывать членов своей семьи. В первую очередь он использует данное право по отношению к жене, делая это в полном соответствии с тогдашними правилами. Франко Саккетти рассказывает историю о семейной паре из Романьи, владеющей постоялым двором: как-то вечером жена неохотно помогала мужу и при этом все время ворчала. Свидетелем этой сцены стал один из постояльцев, который весь кипел от возмущения. Волею судеб он вскоре овдовел, и такая же участь постигла хозяйку постоялого двора; тогда он решил жениться на ней с единственной целью наказать за давешнюю грубость. Так он и сделал, начав с самого дня свадьбы устраивать жене взбучки, подвергать несчастную жестокому обращению и публично ее унижать. Наказанная, избитая, укрошенная, супруга дрожащим голосом клянётся делать все, что прикажет муж: она будет идеальной женой. И Саккетти заканчивает рассказ следующей сентенцией: характер жены полностью зависит от мужа. Таким образом, если Саккетти и не готов подписаться под словами известной поговорки (весьма популярной в его время): «Хороша ли женщина, плоха ли, ей надо отведать палки», он тем не менее признает, что «плохая женщина» уж точно ее заслуживает. Эта проблема, по-видимому, не дает покоя автору. Ещё одну новеллу он целиком посвятил вынужденному знакомству молодой жены с палкой супруга. Что касается детей, надо заметить, что их воспитание не обходилось без хорошей порки (палкой или розгами), на необходимости которой настаивает Джованни Доминичи: «Не очень сильные, но частые наказания детям идут только на пользу».

*Жена и мать*

Несмотря на подчиненное положение и побои, женщина в своем доме пользуется определенной властью, которая при наличии у дамы сильного характера может распространяться довольно далеко и получает некоторое оправдание в сочинениях гуманистов. По мнению моралистов, пространство жизни женщины должно ограничиваться стенами ее дома, но внутри него она занимает более высокое положение, «нежели вся остальная семья». Таким образом, в своей узкой сфере она получает реальную власть. Власть делегированную, находящуюся под контролем, подчас весьма жестким, но определенно дающую ей право голоса в обсуждении различных бытовых вопросов и принятии решений по ним. При этом вовсе не обязательно чувствовать у себя за спиной поддержку супруга: она свободна в своих действиях, когда муж в отлучке, что в этих торговых городах происходит довольно часто. «Вся забота о работе слуг по дому, о воспитании детей ложится на нее. Став в семье повелительницей, она над всеми господствует, рачительно и благоразумно распорядясь всем тем, что оставил ей муж <...>, развивая, совершенствуя хозяйство» (Эрмолао Барбаро). Отзыв сочувственный, однако туманный и немного выспренный. Святой Бернардин Сиенский более прост и ясен. В его красочном, но пространным описании хозяйки отметим несколько наиболее ярких моментов: вот она снует туда-сюда по дому — из подвала на чердак, вот проверяет запасы растительного масла, вот засаливает мясо, подметает, прядет пряжу, шьет, кроит, стирает, чистит одежду, поддерживает порядок во всем доме. Напоминает работу служанки? Святой Бернардин не спорит, но насколько же лучше, по его словам, эта работа сделана! Каждодневный труд закладывает основу, фундамент всего семейного здания, управляемого женой, где в качестве этажей выступают воспитание детей (Барбаро особенно на этом настаивает), поддержка мужа и семьи, готовность помогать неимущим, перед которыми всегда открыты

двери, и, наконец, мир и согласие. Согласие — главная цель всей социальной жизни и всей системы управления: изобразив женщину подлинным гарантом согласия в частной сфере; автор открыл новую веку в размышлениях моралистов о смысле и назначении домашнего труда женщин.

Двойственность положения замужней женщины хорошо иллюстрирует пример моны Маргариты, жены купца Франческо ди Марко Датини из Прато, о жизни и повседневных заботах которой мы знаем по ее письмам. Поначалу супруги почти не расстаются. Затем работа заставляет Франческо все чаще покидать дом. Они много пишут друг другу. Судя по переписке, всесторонне представляющей нам облик Маргариты, это уже зрелая женщина с закаленным характером, которой все труднее выносить бремя подчинения строгому мужу. Все это делает отношения между супругами более сложными и в то же время более яркими. Франческо, чья профессия купца сделала его особенно бдительным *massaiò*<sup>\*</sup>, засыпает жену письмами с инструкциями на каждый день, перемежающимися со столь назойливыми напоминаниями о самых разных обязанностях, что это начинает звучать почти оскорбительно: «Не забывай закрывать окна кухни и поливать апельсиновое дерево, не забывай [того], не забывай [этого]». Сначала Маргарита безропотно подчиняется, но со временем отношения между супругами становятся натянутыми. Любовные связи мужа со служанками и собственное неизлечимое бесплодие печалят и ожесточают ее. Со все возрастающим раздражением она отвечает на мелочные придирки супруга, умело нанося ответный удар. Маргарита подчеркивает неравенство их происхождения (в ней течет благородная кровь), обрывает жалобы мужа («ты сам решил уехать»), укоряет его, иногда довольно пылко, в безнравственном поведении («измени свой стиль жизни, позаботься о своей душе»), короче говоря,

<sup>\*</sup> Хозяином (итал.).

демонстрирует большую свободу в высказывании своего мнения. А также определенную независимость, ибо Франческо, временами проявляя здравомыслие и раскаяние, признает ее правоту и даже призывает «действовать по собственному усмотрению», добавляя: «Если бы только Богу было угодно, чтобы я тебя послушал». В условиях долгой супружеской жизни, когда у жены есть характер (чем решительнее, тем лучше) и когда ей, в отсутствие мужа, множество раз приходится проявлять инициативу и принимать решения, баланс в семье изменяется в ее пользу. Резкое нарушение этого равновесия, вызванное смертью мужа, не застаёт ее врасплох: она готова нести свалившееся на ее плечи бремя новых обязанностей (ведение хозяйства, воспитание), ничем не отличающихся от мужских. Но женщины видят свою миссию в воспитании детей. Маргарита находилась в сильнейшей фрустрации из-за своего бесплодия. Ее случай, впрочем, едва ли типичен. Если женщине посчастливилось испытать радость материнства, она так или иначе добьется роли воспитательницы. Во-первых, благодаря своему юному возрасту. Выходя замуж в шестнадцать-восемнадцать лет, то есть будучи на 7–10 лет моложе супруга, она занимает промежуточное положение между поколениями мужа и детей (особенно старших), и это обстоятельство сближает ее с детьми. Мать символизирует для детей стабильность и постоянство (особенно в городе) в условиях, когда отец, занимаясь торговлей или ремеслом, пропадает на работе, часто и надолго уезжает. Поэтому воспитательное влияние матери растет. По мнению некоторых моралистов, оно чрезмерно: нужно избегать воспитания в изнеженной женской среде. Несмотря на столь сильный крен в законодательстве в сторону *pater familias* и несмотря на культ этого понятия, царящий в сочинениях мемуаристов, для детей из определенных кругов буржуазии роль отца, по-видимому, отодвигается на второй план, во всяком случае в известные моменты.

Таким образом, теоретически в семьях существует иерархия, являющаяся идеалом для моралистов и предполагающая главенство отца над матерью, хотя реальность и противоречит идеалу. Впрочем, наличие иерархии иллюстрируют многочисленные примеры, которые ее конкретизируют: названия, обращения и т.д. Например, муж никогда не станет обращаться к жене на «вы», жена — наоборот; а если муж носит еще какой-нибудь титул (*messer, maestro*), супруга не забудет употребить его при обращении: «Maestro, voi»\* (Боккаччо). Обращение к отцам на «вы» (*voi*), по-видимому, принято в среде городской буржуазии.

### Супружеская пара как единое целое

Но иерархическая система с определенным набором ролей и определенными взаимоотношениями между людьми нередко теряет свою четкость, особенно если речь идет о бедных классах. Там жены обращаются к мужьям на «ты» и могут, как мы увидим, осадить их резким словом, не стесняясь в выражениях. Та же мона Маргарита обращается к своему придирчивому супругу на «ты». Обращение к мужу на «вы», по всей видимости, ограничено аристократическими или патрицианскими кругами, верными своим традициям или намеренно подражающими старине (Альберти). И напротив, среди детей обращение к родителям на «вы» — вещь довольно распространенная, но создается впечатление, что там, где форма «вы» сохранилась, она имеет отношение к обоим родителям; то же самое можно сказать и о других проявлениях вежливости. Правила хорошего поведения (реверансы, почтительное молчание, учтивые поклоны), которым Доминичи считает необходимым учить детей, относятся всякий раз к обоим *genitori*\*\*

\* Маэстро, вы (итал.).  
 \*\* Родителям (итал.).

без какого бы то ни было различия. Проводя разграничение по линии «родители — дети», Доминичи, конечно, имеет в виду некую идеальную модель, но модель должна отражать реальную ситуацию. Для детей родители символизируют семью и воспитательную среду, чья аура сглаживает различия между супругами, смягчает их индивидуальные черты, уравнивает их права (Тоскана и другие области Италии).

*Частная жизнь личности в рамках  
частной жизни семьи*

*У каждого своя работа*

Члены семьи, собирающиеся для совместных обедов и бесед, расходятся на время работы. Она у каждого своя. Герой Леона Батисты Альберти, старый Джаноццо д'Альберти, который ничего не оставляет без внимания, предупреждает супругу о необходимости распределять работы в доме в соответствии с тем, какая кому подходит. В среде крупной буржуазии, о которой рассказывает Джаноццо, речь идет о распределении работы среди слуг, но в более скромных, особенно деревенских кругах оно производится непосредственно между членами семьи. Распределение, обычно простое (хотя мы мало о нем знаем), усложняется, когда есть возможность диверсифицировать занятия. Об этом свидетельствуют, например, тесные связи, установившиеся между монастырем Монте Оливето (Сиена) и семьями испольщиков (1400–1430); женщины, сменяя друг друга, прядут лен для монахов, прядут для них шерсть, стирают шерстяную одежду: почти вся женская половина дома занята сдельной работой подобного рода. Впрочем, и мужчины, помимо своих прямых обязанностей на ферме, в течение всего года выполняют для монахов — сдельно — краткосрочную сельскохозяйственную работу. Со своей стороны, и мальчики

по очереди нанимаются на работу в монастыри. Но при необходимости семья может, согласовав это дело с управляющим монастыря, отозвать их обратно. В этом случае семейство воссоединяется. Близость монастыря к ферме превращает испольщину в хозяйство, выходящее за границы обрабатываемой земли. Все стремятся заполучить себе место на стыке двух сфер влияния: с одной стороны, отца семейства (*pater familias*), с другой — управляющего монастыря, так, чтобы можно было сохранять фактическую независимость от того и другого. Сплоченность семьи делает эти личные «авантюры» привлекательными для каждого и благоприятными для всех. Во многих сельских домах наблюдается то же явление: так, в семействе испольщиков может жить сапожник и заниматься там своим ремеслом (Валь-д'Эльса). В иных случаях дети время от времени наведываются в город и нанимаются там на какую-либо работу, не нарушая при этом семейного согласия и гармонии. Такая ситуация еще больше распространена в агломерациях.

### **Пространство уединения**

Диверсификация занятости, судя по документам, проявляется тогда, когда у человека возникает потребность в личном пространстве внутри семьи, стремление (появившееся недавно?) к обособленности, уединению в пределах дома, где пространство семьи служило бы обрамлением пространства личности. Эта потребность выражается в организации частного пространства и в различных способах его использования. В доме увеличивается число жилых комнат, прежде всего, как я уже говорил, спален. Не менее важно то, что спальни закрываются на ключ или даже на засов, что делает их неприкосновенным местом. Внутреннее пространство дома представляет собой череду отдельных комнат, приобретающих все большую индивидуальность. В одной из новелл Боккаччо изображает прощание ревнивого мужа и неверной жены: «Я иду обедать

с друзьями, — говорит муж (он лжет), — тщательно запи дверь на улицу, дверь антресолей и дверь спальни». Таким образом, семья располагает целым домом. В него попадают через парадный вход: это первый барьер. Впрочем, парадная дверь позволяет пройти лишь на первый этаж; это техническое помещение, где хранятся вещи и провизия, а иногда принимают гостей: там есть даже спальня, но она нежилая (ревнивец из новеллы Боккаччо прячется именно там). Жилые помещения в собственном смысле слова, совокупность комнат с постоянными обитателями, находятся на втором этаже; от вещей и гостей на первом этаже их отделяет дверь, выходящая на лестницу и запирающаяся на ключ: вот и второй барьер. И, наконец, жилое помещение разделено на несколько комнат; одна из них — супружеская спальня хозяев дома, в свою очередь также запирающаяся на ключ. Три двери, три изолированных помещения, три уровня частной жизни: вход и комнаты для гостей; семья; супружеская чета. Мы в основных чертах представили жизнь семьи в доме. Проникнем же теперь в интимную сферу супружеской пары, а также и других членов семьи, раз уж мы обнаружили в доме несколько спален.

### *Интимная сфера супружеской пары*

Мы помним супружескую спальню с ее сундуками, драпировкой, иконами, скамьями и лавками, постелью, щеколдой и ключом. Вернее, ключами. Последний оплот частной жизни, сундуки, знаменитые семейные сундуки, нередко оснащены замками, которые составители описей не забывают упомянуть. Мы знаем, например, что в спальне Бартоло де Кастельфиорентино и его жены Катерины стояли длинный сундук-скамья (*cassapanca*) и ларь, снабженные соответственно тремя и двумя замками; в передней у них находились два еще более длинных сундука-скамьи, каждый из которых имел шесть замков, и еще один ларь с двумя замками (1380). В данном списке нет ничего

экстраординарного, причем это касается семей не только обеспеченных, но и более скромных, — хотя там он, вероятно, будет не таким полным. Среди ремесленников нет практически ни одной семьи, которая не имела бы сундука с замками.

Супругам нравятся теплая и уютная спальня, их собственная комната. Они часто приходят сюда — например, вечерами, после ужина. Муж дает наставления юной супруге, которая с почтением его слушает. Она моет ему ноги (Саккетти), вычесывает вшей (источники относят эту практику лишь к сельской местности). Постепенно становясь смелее, жена делится своими заботами, и в разговоре всплывают мелкие дразги: «Мне нечего надеть, я тебе безразлична. <...> Та лучше меня одета, другую больше уважают, а надо мной все насмеваются. <...> О чем это ты говоришь с соседкой? А с горничной?» (Фра Паолино). Однако вскоре она успокаивается. Они обсуждают домашние дела, хорошие традиции, детей (Альберти), продолжают вдвоем беседы, начатые за вечерними посиделками. Тем для разговора хватает.

Наступает ночь, а значит, и время любовных ласк. Некоторые юные пары, закрыв на засов дверь в спальню, начинают интимную жизнь с того, что встают на колени и возносят молитву к Богу; они просят у него процветания, согласия, плодовитости (подразумеваются дети мужского пола), богатства, почета, добродетельности (Альберти). Религиозные братства и исповедники обычно требуют от паствы произнесения вечерней молитвы, но мало говорят о совместном молении супругов и почти не уделяют внимания распространению этой благочестивой практики внутри семейного круга.

Супруги устраиваются в постели. Муж, оставшийся в одной рубашке, и жена, у которой под сорочкой может быть еще какая-то одежда, приводят себя в порядок перед сном. Полнота супруги, которая ничем больше не скрыта, вызывает у мужа желание поупражняться в остроумии на ее счет: «Знаешь, что мне сказали сегодня вечером? Что когда ты ходишь

облегчаться, то даже не можешь подтереть некую часть своего тела — настолько она большая!» Последний обмен любезностями (Саккетти).

Некоторые мужья, изнуренные дневными заботами, быстро засыпают. Тем хуже для интимных отношений между супругами! К счастью, так происходит не всегда. Моралисты и исповедники посвящают моментам близости множество скептических исследований, предупреждений и подробнейших правил. С другой стороны, писатели не упускали возможности отпустить соленую шутку на этот счет. Нравоучительные или насмешливые, такие свидетельства тем не менее по-своему знакомят нас с интимной, «спонтанной» частью жизни супругов.

Подготовительный процесс не лишен значительности. Моменту раздевания предшествуют *ragionamenti amorosi*\* — время, когда не принято спешить. Нагота имеет свое очарование. Однако известен пример мужа (флорентийского дворянина), который не узнавал обнаженное тело своей жены до тех пор, пока не увидел ее лица. Дело в том, что некоторые женщины из стыдливости ложатся с мужем, не снимая рубашки. Врачи утверждают, что если перед соитием разжечь желание женщины и довести его до высшей точки (*farsi ardentemente desiderare*) беременность будет легкой, а дети — здоровыми. Советы врачей укрепляют привычку и склонность семейных пар к тем самым *toccamenti... de la bocca... et con mano*\*\* , против которых выступает святой Бернардин.

Писатели, подобно досужим кумушкам, весьма скептически настроены в отношении невинности девушек, выдаваемых за муж. Когда в некоем доме женится лакей, вся прислуга убеждена, что «мессер Уд войдет в Черные врата, не пролив ни капли крови и к большому удовольствию их обитателей» (Боккаччо). Вероятно, это мнение не относится к дамам из буржуазных



\* Интимные разговоры (итал.).

\*\* Прикосновениям рук... поцелуям (итал.).

кругов. Выходившие замуж совсем юными (16–18 лет), а до этого жившие под строгим надзором, они хранили целомудрие до самого дня свадьбы. Для этих юных девственниц, явно не имевших никакого представления об отношениях полов, первая брачная ночь, по-видимому, оказывалась психологической травмой. Через какое-то время они, конечно, приобретали необходимую *astuzia* и *malizia*\*. По различным намекам моралистов можно догадаться, что в рассматриваемый нами период супругам были известны те позы, знакомство с которыми вырабатывается само собой за время долгой совместной жизни. Так, например, простак Каландрино, убежденный приятелями в том, что он забеременел, обвиняет в этом жену: «Non vuoi stare altro che disopra»\*\* (Боккаччо).

По настойчивым увещаниям моралистов можно понять, что в начале XV века в тосканских городах широко распространяется практика (ранее, по-видимому, встречавшаяся редко) супружеского анального секса. Проповедники обвиняют молодых женщин в излишнем простодушии, когда они предаются занятиям, о природе которых им ничего не известно. Не будем забывать об изнеженности мальчиков, воспитываемых матерями, об их позднем вступлении в брак и т.д., что, возможно, могло служить причиной распространения подобных отношений; в связи с этим вспомним также практику использования контрацептивных средств (*coitus interruptus*\*\*\*), о наличии которой вполне определенно свидетельствует демографическая ситуация, по крайней мере когда речь идет о женщинах зрелого возраста (старше тридцати лет) из кругов мелкой буржуазии и ремесленников (они перестают рожать детей задолго до наступления менопаузы). Сообщая о сексуальных победах мужчин, источники для обозначения

\* Ловкость и сноровку (итал.).

\*\* Все потому, что ты всегда хочешь быть сверху (итал.).

\*\*\* Прерванный половой акт (лат.).

любовных актов употребляют такие выражения, как «читать псалмы» или «читать “Отче наш”»; таким образом они воздадут должное священникам и монахам, достигшим в этом деле больших высот. Один из них прочитал за ночь шесть псалмов и еще два утром: эпизод, делающий честь скорее священникам, нежели мужьям. В соответствии с представлениями тогдашней медицины, дошедшими до нас благодаря устной традиции и сочинениям мемуаристов, минуты блаженного расслабления, следующие за половым актом, супруга, если она стремится иметь детей, должна провести в полной неподвижности: пусть не смеет даже чихнуть, иначе мужское семя выльется из драгоценного сосуда! Если же она не хочет забеременеть, то может чихать и ворочаться в постели сколько душе угодно. Теснота, царящая в бедных крестьянских хижинах, — одна-единственная комната, иногда также одна кровать на всю семью — сильно влияла на характер интимной жизни супругов, на формирование стыдливости в детском возрасте.

### *Каждому по спальне*

Вернемся к домам буржуазии: увеличение числа комнат позволяет выделить спальню даже неженатым членам семьи, а иногда — отдельную спальню каждому домохозяину. Иными словами, среди высшего слоя буржуазии образуется небольшая (вероятно), но заслуживающая внимания группа людей, которая располагает пространством для личной жизни уже на очень раннем этапе истории. В отдельных спальнях обстановка такая же или примерно такая же, что и в супружеской спальне: дверь с щеколдой или запором, сундуки с замками (засвидетельствованные, например, в спальнях для гостей и для прислуги), светильники, лавки, скамейки, иногда икона или картина, разумеется, кровать с полным набором постельных принадлежностей. Наличие отдельной спальни — признак настоящего комфорта, который служит для того, чтобы

материально оформить носящуюся в воздухе идею личной независимости. Сохранение и развитие личной жизни человека в XV веке не кажется всецело новым феноменом. Умножение числа спален завершило и ускорило давно начавшийся процесс. Как бы то ни было, в XIV–XV веках жить у себя дома, на своей личной территории уже не представлялось утопичным. Как же устроена эта личная жизнь? Альберти советует супругам иметь отдельные спальни, чтобы не стеснять друг друга (из-за возможных болезней, жары, родов жены и т.д.). Комнаты должны соединяться дверью, чтобы супруги могли встречаться, не привлекая внимания посторонних. Исключительное право на отдельную спальню, отапливаемую и защищенную от шума, должно быть у стариков, добавляет автор. Но отдельная спальня совершенно необходима, подчеркивает Альберти, любому хозяину дома, особенно если он принадлежит к крупному линияжу. Спальня — это сокровенное место, где отец семейства, видя перед собой наиболее ценные семейные объекты и семейные документы, питает созерцанием вещей свою семейную гордость, а изучением бумаг поддерживает свою деятельность. По отношению к этим «сокровенным и священным вещам» (семейным документам) отец исполняет роль священника, совершающего в своем храме памятную и искупительную литургию. Со спальней может быть соединен кабинет (*studio*), тоже сокровенное и священное место, где отец, среди прочих занятий, пишет свои мемуары, ревниво сберегаемые для потомства. От частного пространства отца зависит поддержание семейной традиции во всей ее подлинности и силе. Как обычно, пафос Альберти производит немного комическое впечатление, но сам предмет разговора — особое частное пространство, принадлежащее отцу, — становится с XIV века реальностью, и возможно, даже широко распространенной. У некоторых отцов семейства спальня отделена от спальни его супруги; об этой привычке крупной буржуазии упоминается в произведениях писателей (Боккаччо) и в описях

имущества (1381). Позднее (XV век) в нескольких дворцах отмечены кабинеты (*studii*).

Мужья не владеют монополией на семейные книги, которые действительно могут храниться — и не обязательно под замком — в их спальнях (два упоминания в описях), но также встречаются в просторных спальнях с двумя или тремя кроватями, доступных любому члену семьи (три упоминания), в прихожих (одно упоминание), иногда даже во всех спальнях (одно упоминание). Причем их хранят вполне открыто, а не как некую сакральную вещь — во всяком случае, создается такое впечатление. С этой оговоркой можно заключить, что у отцов в доме есть свое «убежище» с набором семейных бумаг и книг (в описях упоминаются Тит Ливий, Саллюстий, «Хроника» Виллани); очевидно также, что владельцы бумаг вынимают их из сундуков, кладут на стол, открывают, внимательно читают, пишут новые, избрав для этого занятия субботу (см., например, Саккетти) или вечер буднего дня. Таким образом, с XIV века в повседневной жизни главы семейства появляется место, отгораживающее его от других обитателей дома, и занятия, которые его интересуют и которым он посвящает часть своего времени, не теряя при этом из виду свою семью и линияж: создание «убежища» нередко объясняется заботой о семье.

Супруга также проводит в одиночестве определенную часть жизни — иногда вынужденно, иногда по собственному выбору. Ей случается, временно или постоянно, иметь отдельную спальню. У нас нет недостатка в свидетельствах относительно этого более или менее добровольного уединения. Собственная спальня есть у самых родовитых дам, вроде Лукреции, матери Лоренцо Медичи, но нередко такую привилегию получают и представительницы крупной буржуазии Неаполя, Флоренции и Венеции. Случается, что временного уединения и изоляции требуют обстоятельства. Например, вполне нормально воспринимается, когда заболевшей молодой

жене стелют постель в отдельной комнате — скажем, в той самой спальне на первом этаже, которая, как мы уже отмечали, предназначена для гостей и часто пустует («Пекороне»). На время родов постель жены также переносят в отдельную комнату. То пространство, которое некоторым дамам посчастливилось получить в семейном жилище, позволяет им насладиться мгновениями уединения; повторять и продлять их тем легче, что, помимо ведения домашнего хозяйства, у них нет никаких других обязанностей. Что касается личного благочестия, которое ставится на первое место самими аристократками (и/или их духовниками), спальня, будучи мистическим пространством, заменяет часовню, келью, убежище, где женщина «закрывается» от мира. В комнате появляется скамеечка для молитвы, к иконам Пресвятой Девы, которые украшают стены, добавляется распятие, и супруга несколько раз за день приходит сюда, чтобы, стоя на коленях, помолиться Богу. Она ищет здесь укрытия от послеобеденных праздных разговоров, проводя время в молитвах и чтении. Осененная Божьей благодатью, святая Маргарита Кортонская, которая провела юность во грехе, уединяется в своей спальне, чтобы предаваться слезам. Впрочем, она — скорее исключение. Другие женщины, менее благочестивые и менее враждебные миру, находят этому пятачку гораздо более земное применение. Источники делают акцент на том, что спальня — место сокровенное, где человек дает волю чувствам. Тон повествования, признающего и подчеркивающего сакральную роль мужа, здесь меняется, становится более сентиментальным. Оставшись наедине со своими сундуками, супруга вынимает письма, перечитывает их и пишет ответ мужу, находящемуся в отъезде, или возлюбленному: она предается чувствам. Мадонна Фьяметта\* часто пропадает в спальне: «Приходя туда чаще одна, нежели

\* Псевдоним, которым в ряде произведений Боккаччо именуется свою возлюбленную.

в чьем-либо сопровождении, <...> я открывала сундуки и доставала вещи, некогда принадлежавшие ему, и глядела на них с такой любовью, будто это был он сам; я рассматривала их еще и еще и целовала, едва сдерживая слезы <...>. После чего я вынимала его бесчисленные письма и, читая их, утешалась так же, как если бы поговорила с ним самим». Однако в действительности матроны в итальянских городах более грубы и практичны, чем героини романов. Если у них есть своя спальня, они отправляются туда — одни или в сопровождении служанки — заниматься делами, так или иначе связанными с их обязанностями: они действительно пишут письма мужу или детям, но при этом совсем не обязательно льют слезы, а сами письма посвящены предметам отнюдь не сентиментальным — здоровью и управлению домом. Здесь же они готовят корреспонденцию, касающуюся дел, которые ведут собственноручно, несмотря на то что те порой удивительно сложны и многообразны (мелкая спекуляция льном, тканями, продуктами и проч.); по-своему, в приватной манере, решают серьезные проблемы управления домом, которые ложатся на плечи женщин, чьи мужья находятся в отъезде, и на вдов; занимаются своими туалетами, включая примерку платьев.

В случае болезни дамы и особенно родов женская половина дома собирается в спальне и развивает бурную деятельность: готовит роженице обеды и горячие ванны, развлекает ее песнями и т.д.; другие подобные сборища воскрешают дух *brigata*.

Таким образом, нельзя сказать, чтобы частные жизни жены и мужа были совсем несхожи. Из своей спальни, отчасти выполняющей роль кабинета, женщина руководит разнообразными делами, иногда сочетая их; речь идет о тех делах, в которых она участвует совместно с мужчинами (управление домом, воспитание) или которыми она занимается лично (контакты женщин друг с другом); позднее распространение идей гуманистов приведет к появлению в женской спальне

книг и рабочих столов, которые мы часто видим на картинах конца XV века, изображающих сцену Благовещения. К этому приватному, интимному облику спальни жена добавляет иногда оттенок большей домашности, иногда фривольности (ах, эти наряды, эти модные тряпки!), иногда, напротив, придает ей более мистический вид; наконец, она может создать в спальне чувствительную, сентиментальную атмосферу, чтобы проливать там слезы. Но, как известно, там не только плачут, но и смеются; жена в своей спальне реже остается одна, чем муж в своей: вокруг нее шумной и назойливой толпой собирается ее двор — дети, взрослые дочери, кормилица. Впрочем, они развлекают ее, поддерживают, утешают. Все это, конечно, касается лишь самых богатых городских кругов. В другой среде женщины работают день и ночь, и размышления о частном пространстве немало бы их удивили.

### *Место детей*

Маленькие дети в какой-то степени разделяют судьбу матери. Но только отчасти, ибо в буржуазных кругах матери кормят своих младенцев лишь в исключительных случаях. Детей доверяют заботам кормилиц, менее четверти которых (23%) живут в доме родителей ребенка. Трое из четырех младенцев проводят первые месяцы вдали от дома; даже больше, учитывая, что 53% малышей остаются у чужих людей по крайней мере первые восемнадцать месяцев жизни. Один мемуарист, вспоминая своего отца, говорит даже, что его не забирали у кормилицы, пока ему не исполнилось двенадцать лет!

Однако если младенец выживал, родители рано или поздно возвращали его в дом, в семейную среду. Ребенок спал в примитивной колыбели с матрасом, которая находилась рядом с родительской или кормилицыной кроватью, а иногда и над ней. В последнем случае речь шла о простом деревянном каркасе, изготовленном на скорую руку и подвешенном на веревках,

которые крепились к потолку и позволяли раскачивать колыбель, как гамак (Симоне Мартини, XIV век). Отмеченные в описях колыбели находились в таких комнатах, как гостевая спальня, спальня *casina*\* или чулан — скорее они там просто хранились, а не использовались, если только *camera di casina* (комнату горничной) не занимала кормилица. Ни одна из колыбелей, зафиксированных в известных нам описях имущества, не отмечена в материнской спальне. Ребенок вместе со своей люлькой попадает в материнскую спальню только после возвращения от кормилицы и остается там очень недолго — лишь до того волнующего момента, когда ему разрешат спать вместе со старшими детьми. Кроватки, пеленки, детское белье нередко находятся под рукой у матери, в гостиной или спальне, и под ее надзором, поскольку она, видимо, лично контролировала состояние и использование детского приданого, независимо от того, сама ли она вскармливала малыша. «Детское приданое» могло быть очень богатым (в описях перечисляется до пятидесяти детских рубашек в одном сундуке) и изысканным.

Франческо ди Барберино, моралист XIV века, дает тысячи разнообразнейших практических советов о том, как лучше ухаживать за младенцами. Он обращает их к кормилице, но руководствовалась ли ими эта добрая крестьянская женщина? Были ли они ей вообще известны? Насколько соотносились с народной практикой?

В народной среде — и в городе, и в деревне — детская смертность особенно велика в разгар эпидемий чумы (1348–1430). С этого времени, и особенно с начала XV столетия, детоубийство (удушение) перестает быть чрезвычайным явлением, весьма многочисленными становятся и случаи отказа от детей, что приводит к строительству приютов (Сан-Галло и «Приют невинных» во Флоренции, 1445), плодивших, в свою очередь, новых сирот. Младенцы, особенно девочки, были слишком

---

\* Горничной (итал.).

слабы и зачастую нежеланны, чтобы вызвать у родителей настоящую привязанность, способную перевесить все невзгоды и испытания.

К детям, которые уже в состоянии ходить и разговаривать, отношение меняется. Только после возвращения от кормилицы отпрыски буржуазных семей по-настоящему занимают свое место в частной семейной среде. Наличие колыбелей разных размеров показывает, что их использование не ограничивалось младенческими годами ребенка; однако дети, по-видимому, довольно рано допускались к семейной постели, которую они делили с братьями, сестрами и одним из родителей, иногда — со всей семьей (в постели могло находиться до шести человек): все зависело от обстоятельств и социальной среды. Джованни Доминичи представляет ребенка из обеспеченной семьи как избалованное существо, окруженное заботой и ласками. По словам Доминичи, ребенка постоянно обнимают, убаюкивают под звуки песенки, короче говоря, прямо-таки сдувают с него пылинки. Малышу рассказывают сказки о ведьмах, которые приятно будоражат его воображение; среди его игрушек можно найти коня-качалку, маленькие и большие барабаны, разноцветных птичек из дерева и глины и прочее. Все это подарки родни, которая из кожи вон лезет, чтобы угодить малышу. Балуют ли ребенка? Некоторые описи свидетельствуют в пользу этого: в сундуках материнской спальни хранится множество поистине королевской одежды, предназначавшейся для нашего юного героя. Это богатый и разнообразный гардероб, добротная одежда прекрасной расцветки, сверкающая серебряными пуговицами (общее число таких пуговиц на одежде ребенка может достигать ста семидесяти).

Впрочем, слова Джованни Доминичи (адресованные одной очень знатной даме) относятся, по всей видимости, лишь к очень немногим семьям, даже в среде буржуазии. Например, дети некоего мехоторговца, согласно описи его имущества, имеют на двоих один плащ и четыре черные туники, причем

только одна из них подбита мехом, а гардероб дочери привратника коммуны состоит, помимо четырех камиз, из домашнего платья, двух простых туник и легкой юбки — все из самого обыкновенного сукна. Упоминания о дорогих игрушках весьма редки в любых источниках. Следовательно, как бы ни любили обеспеченные родители своих детей (о чувствах родителей к детям мы еще поговорим), те не обязательно были избалованы, хотя на протяжении XV века воспитание становится все более мягким. Что касается детей из простых семей, то их гардероб был еще более бедным, а про игрушки ничего не слышно.

Итак, маленьких детей вводят в семейную среду, как правило, довольно простым и бесцеремонным способом. У ребенка, разумеется, есть во что играть (хотя игрушки непритязательны), он не обделен родительской нежностью. Но не только кровать ему приходится с ранних лет делить со старшими братьями и сестрами: он делит с ними обязанности и заботы. Чем беднее семья, тем раньше ребенок расстается с детством: девочек 6–8 лет уже определяют в горничные.

Добавим еще одну деталь, которая опровергает тенденциозное изображение кардиналом Доминичи наиболее привилегированных слоев общества. некоторых тогдашних специалистов, стоило бы обратить внимание на привязанность ребенка к кормилице — нежной и заботливой женщине, фактически второй матери, — если его продолжают доверять ей и после отъема от груди. Эта привязанность может ослабить природную любовь ребенка к настоящей матери, причем довольно существенно.

### *Подростки и «молодежь»*

Взрослея, парни и девушки приобретают индивидуальность. Молодые люди много работают, зарабатывают деньги. Есть ли у них возможность жить более самостоятельно, оставаясь при этом в лоне семьи?

Не все молодые люди до вступления в брак имеют отдельную постель. Известен случай (правда, не слишком типичный), когда трое молодых отшельников из Флоренции делят одну кровать, причем вечером к ним присоединяется четвертый: их исповедник. Обычай делить одну кровать на несколько человек часто встречается у бедняков и крестьян. Тем не менее наличие отдельной кровати — дело обычное; оно засвидетельствовано даже у ремесленников. В источниках можно найти тому немало подтверждений. Екатерина Сиенская, дочь красильщика, двадцать четвертая из двадцати пяти детей, имеет собственную кровать по крайней мере с четырнадцати лет: тем лучше для ее сестер, ибо она решает убрать матрас, чтобы спать на голых досках. Отдельная постель не всегда подразумевает уединение: в одной комнате может стоять несколько кроватей. Служащий городской коммуны, о чьей квартире мы имеем сведения (1390), поставил все три имеющиеся у него кровати в одной из двух спален, причем только одна кровать была с пологом. Та же святая Екатерина несколько месяцев делит спальню с одним из братьев. Но молодежь стремится к уединению и в конце концов добивается своего. После настойчивых просьб Екатерине удается получить отдельную комнату, которой, впрочем, она была лишена лишь благодаря упорству, с которым отказывалась от любых предложений о замужестве. В городе и в сельской местности немало парней и девушек, подобно Екатерине, имеют собственную спальню, что благоприятствует расцвету духовной жизни и развитию эмоций. Дети с юных лет привыкают к личной молитве (Агнесса Монтепульчианская, Екатерина Сиенская), в то время как их старшие братья и сестры, найдя укромное местечко, читают совсем другие псалмы (см. выше). И наконец, стоит упомянуть, что именно в спальне будущие гуманисты хранят книги и письменные принадлежности — будь то в городе или в сельских имениях родителей.

Наличие какого-то подобия частной жизни у молодежи не означает фрагментизации, дробления частной жизни семьи. Подросшие дети привлекаются родителями к работе по дому, оказывают им разного рода услуги. В семь лет святая Екатерина уже ходит за покупками, в тринадцать ее отправляют на кухню (в качестве наказания), затем заставляют, как только она становится чуть сильнее, снимать со спины осла или мула мешки с зерном, взваливать на плечи и нести по лестнице наверх, в амбар. Франческо ди Барберино кажется нормальным, что дочь купца (даже если он богат) участвует во всех видах домашних работ, которыми занимается ее мать. Судя по сочинениям Паоло да Чертальдо, это означает помощь в выпечке хлеба, в приготовлении еды, в стирке, застилании постели, во всевозможном рукоделии (прядание, шитье, вышивание поясных кошельков, как это принято у дочерей рыцарей и судей). Что касается девушек из простых семей, крестьянок и им подобных, то их обязанности ничем не отличаются от работы служанки. Молодые люди тоже находят себе применение. Если в детстве они лишь мальчики на побегушках, то с годами их роль возрастает. Морелли с явным воодушевлением рассказывает историю своего юного кузена, мальчика лет 12–14, который справился в одиночку с управлением всем домашним хозяйством, когда его семья, состоящая из двадцати человек, бежала из Флоренции в Болонью во время эпидемии чумы.

Естественно, детский труд — помощь по дому, работа по найму — находился под контролем родителей. Любые инициативы, связанные с домашней жизнью, даже сугубо частные, должны были получить их одобрение (если, например, детям хотелось передвинуть кровать или пойти спать на террасу, они просили разрешение у отца и матери). Особенно это касалось девочек, чья спальня вместе со всей обстановкой (постелью, заслонкой, сундуком), так же как и обязанности по дому и даже форма прически, находились в ведении родителей (вспомним святую Екатерину Сиенскую). То же можно сказать и о выборе

профессии: договор об определении мальчика в подмастерья заключается с отцом, и решение о нем, разумеется, принимает отец. Это означает также, что отец управляет имуществом, принадлежащим сыну, каким бы ни был способ его приобретения: дар, заработанные деньги, наследование, купля; *paterna potestas* позволяет отцу контролировать управление и распоряжение всеми имеющимися у сына вещами. Однако совершеннолетие сына часто ослабляет отцовскую власть.

Семейное давление усиливается, когда приходит пора вступать в брак. Ставки слишком высоки, чтобы пустить столь важное решение на самотек. Первый вопрос: нужно ли вообще заключать брак в том или ином конкретном случае? Думается, ответ напрямую зависит от мнения семьи. Часто молодые люди из обеспеченных семей медлят с женитьбой: это слишком накладно, скучно, чересчур обременительно. Альберти, сожалея о таком состоянии вещей, призывает к большей строгости: «Нужно заставлять юношей жениться посредством убеждения, искусных речей, щедрых посулов — любых доводов, средств, уловок». Он сопровождает свой постулат образцом подобной речи, снабдив ее убедительной аргументацией. Вероятно, большие дома не раз становились местом жарких споров и ссор, вызванных нежеланием молодых людей вступать в брак. С девушками церемонились меньше. Когда святая Екатерина сообщает матери об обете целомудрия и показывает ей свои коротко остриженные волосы, мона Лаппа чуть не сходит с ума от ярости. Поступок Екатерины вызывает всеобщее негодование: упреки и обвинения сыплются на нее сплошным потоком. Ее увещевают: «Ты должна выйти замуж, пусть это даже разобьет твое сердце!» Именно тогда девушку лишают отдельной спальни (которая запиралась на ключ) и свободы, отправляют на кухню мыть посуду. Когда речь идет о замужестве дочери, на карту ставится репутация всей семьи: больше всего «ценится» младшая дочь, поскольку здесь можно рассчитывать на выгодную партию, «удачного» зятя.

В том случае, если подходящее соглашение достигнуто (или навязано), остается решить второй вопрос: с кем сочетаться браком? Новая тема для совещаний, новый предлог для вмешательства в жизнь детей. Но поскольку здесь происходит соприкосновение частной семейной жизни с внешним миром, мы еще вернемся к этой важной теме.

Однако бывают случаи, когда, несмотря ни на что, взрослым неженатым детям удастся смягчить и ослабить отцовскую власть: или получить частичную независимость от нее, или же каким-то образом разделить эту власть с отцом семейства (*pater familias*). В теории, мало-помалу реализуемой посредством статутов городов, за сыновьями признается право на участие в *dominium* (осуществлении власти) над отцовским имуществом, несмотря на то что это плохо сочетается с римским правом. На практике данное явление еще более заметно. В сельских районах сыновья участвуют в составлении договоров (например, в связи с испольщиной) и в управлении вместе с отцом. Молодые люди вмешиваются в брачные дела сестер, иногда довольно энергично (как братья Екатерины Сиенской). Возрастной порог для них — четырнадцать лет: с этого времени юноши могут брать на себя ответственность или разделять ее с отцом (участвуя, например, в деревенских собраниях). Кроме того, они находят опору друг в друге. Взаимоподдержка существует как между сестрами, так и между братьями. Иными словами, дети, взрослея, стремятся создать себе частное пространство, которое не ограничивалось бы только убежищем в виде отдельной спальни с запирающейся дверью, но включало бы и автономное отправление обязанностей.

Несмотря на ограничения, налагаемые кутюмами, и настоятельность отцов, сыновья все-таки получают доступ к высшей форме частной жизни. Они претендуют на все ее аспекты: благочестие, секс, личный труд, брачные союзы. Не всегда эти попытки увенчиваются успехом. К положительному результату

они приводят тогда, когда молодые люди становятся членами «альтернативных» сообществ, своего рода «замещающих» частных сред: религиозных братств, молодежных группировок, объединений подмастерьев. Эти сообщества — малоизвестные, но многочисленные — своими ритуалами, обрядами вносят вклад в интеграцию молодежи в другие частные сообщества и тем самым постепенно сближают ее с еще более обширным сообществом, стоящим над всеми, — с городом как совокупностью всех его жителей. Для девушек надежда на эмансипацию остается слабой, почти нулевой, если только они не найдут убежище в молитве, мистике или в таком акте свободного выбора, как отказ от вступления в брак. Ситуацию ухудшает распространение женоненавистничества, продолжающегося сохраняться во многих традиционных семьях и засвидетельствованного различными мемуаристами (Паоло да Чертальдо и другими). Разумеется, девушка должна питаться и хорошо одеваться, чтобы не нанести вред репутации семьи. Но ее нельзя перекармливать, и покидать дом она может лишь в строго определенных случаях. Таков, по крайней мере, принцип, широко распространенный в буржуазной среде, и не только в ней.

### *Старость в семье и вне дома*

Старость для представителей той эпохи была понятием растяжимым. Данте считает, что она начинается в сорок пять лет. Пальмиери — что в пятьдесят шесть: ей предшествует, по его мнению, *virilità*\*. Под этим он понимал такую «старость», которая знаменует начало, а не конец «заката» жизни. Подлинная старость в привычном для нас смысле, «четвертый возраст», немощь (по определению той эпохи) наступает, согласно Данте, в семьдесят лет, с чем согласен и Пальмиери. Если считать началом старости сорок пять или даже пятьдесят

\* Зрелость, расцвет сил (итал.).

шесть лет, придется отнести к этой категории поколение отцов (включая отцов маленьких детей): возрастной диапазон мужчин, чьим детям еще не исполнилось года, колеблется от тридцати до пятидесяти лет, то есть их средний возраст — сорок лет (Тоскана, 1427). В пятьдесят шесть лет мужчина только начинает знакомиться с детьми своих сыновей — внуками, носящими то же имя и принадлежащими к тому же линьяжу. Поэтому в нашем исследовании мы будем говорить о людях более почтенного возраста: тех, кому уже исполнилось шестьдесят пять — семьдесят лет. Это старики в собственном смысле слова, в которых наиболее полно воплотились чувства и настроения, пробуждающиеся на склоне дней.

Их число не очень значительно (3,8% всего населения Прато, 1371; 4,8% населения Флоренции, 1480), но обстоятельства иногда способствуют их росту; в 1427 году они составляют уже 10% всех тосканских крестьян. Присутствие стариков в такие времена ощущается прежде всего среди простого народа и мелкой буржуазии, где их численность порой превышает 11%; среди обеспеченных людей цифры более скромные — в лучшем случае 3–4%. Но их небольшое количество не умаляет их роли в семье, прежде всего в обеспеченной среде, но также и в деревнях. В обоих случаях старик, продолжающий выступать как глава семьи, нередко управляет сразу несколькими обширными семействами, поскольку вместе с ним живут сыновья, а то и внуки, с собственными семьями. Альберти и другие мемуаристы демонстрируют большое уважение к патриархам и активно побуждают к тому, чтобы советоваться с ними по любому вопросу, слушать их и подчиняться ввиду их большого опыта. Мемуаристы настаивают также, чтобы домочадцы проявляли заботу об удобстве их спальни. В действительности отношение семьи к старикам более амбивалентно, а в иные моменты уважение к ним может перестать быть абсолютной величиной. Многие из них состояли во втором браке с молодыми женщинами, которым быстро

наскучивали эти неповоротливые, некрасивые и ревнивые отцы семейств, о чем свидетельствует частое появление персонажа подобного типа у писателей того времени (Боккаччо, Саккетти). 64-летний меняла Липпо дель Сега с негодованием фиксирует у себя в дневнике оскорбления, которыми его осыпает юная супруга, называющая Липпо *vecchio rimbambito* (старым болваном) и заявляющая, по его словам, что «il cesso dove ella casava era più bello <...> que la mia bocca\*». Что касается детей, то обременительная опека со стороны «старых развалин» нередко их тяготила: документы тех лет изобилуют свидетельствами о конфликтах, возникающих на этой почве. Но повседневная жизнь патриархов была менее напряженной. Преклонный возраст способствует словоохотливости; вероятно, и наши старики, усевшись у камина, оживляли долгие вечерние бдения своими историями, которые, должно быть, звучали куда более интересно, чем бесконечные нравоучения падкого на лесть Джаноццо, персонажа произведений гуманиста Альберти.

Положение старух было гораздо тяжелее. Молодые вдовы имели власть и влияние, хотя и должны были делить их с опекунами своих детей, в роли которых нередко выступали братья покойного мужа. Но находились они в явном меньшинстве: дома, управляемые вдовами моложе тридцати восьми лет, во Флоренции в 1427 году не превышали 1,6% общего числа домохозяйств, а в сельской местности не дотягивали и до 1%. Положение вдов, вставших во главе семейств, ухудшается, если они немолоды, что имеет место в большинстве случаев. В той же Флоренции дома, которыми управляют вдовы старше пятидесяти восьми лет, составляют 8,4% всех городских домов; в сельских районах их доля равняется пяти процентам. Однако обитателей в таких домах было меньше, чем в других жилищах: от силы два человека, а средний доход такого дома

\* Выгребная яма, куда она ходит по нужде, красивее... чем мой рот (итал.).

оставался низким (около 200 флоринов против 800 флоринов в домах, возглавляемых мужчинами). Старение женщины часто сопряжено с риском овдоветь (46% флорентинок становятся вдовами уже в шестьдесят лет, 53% — в шестьдесят пять, 75% — в семьдесят) и столкнуться с одиночеством и бедностью, если только вдова не найдет пристанище в доме сына. Послушаем, как одна пожилая женщина откровенничает с молодой спутницей: «На что, черт побери, годны мы, старухи? Разве только ворошить угли в камине. Когда мы, женщины, стареем, мужья воротят от нас лицо, никто на нас и смотреть не хочет! Нас отправляют на кухню следить за горшками и кастрюлями и изливать душу кошке. И это еще не все. Над нами потешаются в песнях: “Жаннетте лучшие кусочки, а старым клячам — только крошки”. И если бы только это!» Старая женщина видит, как вокруг нее постепенно распадается частная домашняя жизнь. По крайней мере в своем доме она чувствует себя нежеланной, чужой, фактически предметом мебели; ничто в новой холодной атмосфере не пробуждает эхо прежней жизни. Что это — обоснованные жалобы или простое брюзжание? Кто знает. Муки голода и холода часто ранят гораздо менее чувствительно, чем страдания, причиненные любовью.

### *Частная жизнь слуг*

В семью, говорит Альберти, входят челядь и слуги. Во Флоренции XV века семьи буржуазии имеют небольшой штат домашней прислуги, намного уступающий той массе слуг, которая наводнит дома в XVI столетии (в 1552 году они составят 16,7% флорентийского населения). Владельцы ренессансных замков нанимают только самых необходимых в хозяйстве слуг. Если обслуживание обширного семейства Джованни Ручеллаи в том дворце, который оно занимает, требует полдюжины человек (во дворце Франческо Датини их пять), то в обычном доме, даже принадлежащем высшим

кругам буржуазии, довольствуются двумя или тремя слугами; столько же прислуги в домах врачей и нотариусов, судей и купцов. Ремесленники, лавочники, перекупщики — все представители *popolo medio*, стоящие ступенькой ниже на социальной лестнице, имеют всего одного слугу, вернее, служанку. В Пизе многочисленная челядь встречается еще реже (1428–1429), но в этом же городе слуг используют прежде всего для работы по дому. Таким образом, в том или ином количестве слуги постоянно присутствуют во многих домах той эпохи. Как они интегрируются в семью?

У них есть козырь: юный возраст. Подсчитано, что в 1427 году во Флоренции 40% слуг мужского пола (456 человек) и 39% женского (280 человек) находились в возрасте от восьми до семнадцати лет. Хозяева дома со слугами, близкими по возрасту их детям, обращаются так же, как и со своими отпрысками: с одной стороны, строго (их порют), с другой — справедливо (насколько это возможно) и даже великодушно: за мелкие грехи не колотят, прощают. По крайней мере, такие рекомендации дают мемуаристы (Паоло да Чертальядо, Альберти, Джованни Ручеллаи). Подростки выполняют работу разного рода, это многообразие подчеркивается наличием специальных терминов для разных видов работ: *famulus\**, *fante\*\**, кормилицы, горничные, *gagazzo\*\*\**. Вероятно, степень проникновения каждой из этих профессий в частное пространство семьи была неодинакова. Если взять, например, те дома, где работает несколько служанок, то горничная по определению будет ближе к хозяйке, чем другая прислуга. Конечно, такое различие, связанное с разделением труда, неприменимо к семьям, где все обязанности выполняет всего одна служанка, а таких семей большинство. Но если девушке,

\* Слуга, служитель, прислужник (лат.).

\*\* Мальчик в услужении (итал.).

\*\*\* Мальчик, слуга (итал.).

будь она горничная или простая служанка, от пятнадцати до тридцати лет (самая распространенная возрастная категория среди прислуги), хозяйка дома (вышедшая замуж примерно в восемнадцать лет) найдет в ее лице сверстницу и подругу. Когда волею судеб вы обречены на беспросветную жизнь в замкнутом пространстве, которое вам приходится делить с очень старым, суровым и редко бывающим дома мужем, у вас наверняка возникнет соблазн сделать служанку своей confidentкой. Confidentка, соучастница в любовных авантюрах своей госпожи — здесь нам не остается ничего другого, как полагаться на рассказы писателей того времени, лишенные какого бы то ни было статистического подтверждения. Будучи с хозяйкой на короткой ноге или почтительно соблюдая дистанцию, горничная или служанка, чья помощь постоянно необходима в самые интимные моменты — для утреннего туалета, принятия ванны, примерки платья, — является, коротко говоря, неременной спутницей своей госпожи в «женском» секторе частной жизни.

Во Флоренции конца XIV века богатые хозяева обеспечивают слугам неплохие условия, предоставляя им отдельную комнату — рядом с кухней или в каком-нибудь другом помещении. Иногда эта комната служит заодно и чуланом, заваленным самыми разнообразными вещами (съестными припасами, старой мебелью, деревяшками, сырьем и проч.); квашня и прочие предметы обстановки придают помещению нежилой, рабочий вид. Но там всегда есть кровать с полным комплектом постельных принадлежностей (подобным хозяйским) и нередко также стулья. Постельные принадлежности и разного рода белье (простыни, полотенца, салфетки) у слуг зачастую более старые и истрепанные, нежели у хозяев, и сшиты из более грубой ткани; хозяйка дома хранит их в собственных сундуках и следит за их использованием, но это не следует считать признаком притеснения прислуги: с детьми тоже особенно не церемонятся, а все белье, имеющееся в доме, хозяйка держит у себя.

Находясь под контролем хозяев, порой даже получая от них нагоняи, слуги тем не менее могут рассчитывать на доброжелательное отношение и уважение. С хозяевами их нередко связывают узы взаимной любви, особенно если речь идет о кормилицах. Живя и старея в доме хозяев, слуги привязываются к ним, и хозяин не забывает вознаградить их за эту привязанность в своем завещании, добавив к основным его положениям, касающимся традиционного распределения денег между членами семьи, дополнительные пункты в пользу верной прислуги: они могут получить красивую одежду, золотые украшения, земельные участки. Порой хозяину приходится добиваться для них пожизненного приюта и пропитания в доме у его наследников — примерно того же требуют и для вдов. Моралисты, старавшиеся наладить взаимоотношения отцов и детей, так же щедры на нравоучительные советы слугам и хозяевам по поводу того, как поддерживать согласие между собой. Франческо ди Барберино определяет обязательный набор моральных качеств *cameriera*<sup>\*</sup>, которой так неосмотрительно позволяют проникнуть в самое сердце частной жизни дома: она должна быть почтительной, аккуратной, целомудренной, искренней (никакой лести хозяйке дома), привязанной к детям, но главное — скромной, скромной, подлинно скромной!

Добрая воля обеих сторон и увещевания моралистов не устраняли всех трудностей. Введение слуг в частную жизнь дома — искусственный процесс, не везде проходящий гладко и не закладывающий основу для прочных отношений. Проявления доброты со стороны хозяина, упомянутые нами выше, нередко объясняются не чем иным, как необходимостью — о которой завещателю напоминает исповедник — рассчитаться со слугой, компенсировав ему невыплаченное в течение долгих лет жалованье. Множество других разногласий приглушают, хотя и не всегда сводят на нет чувство привязанности между

\* Камеристка, горничная (итал.).

хозяевами и слугами. Жалобы хозяев на прислугу льются нескончаемым потоком; неумелые, ленивые, неискренние и вороватые слуги нередко становятся темой разговоров и переписки аристократов (например, Маргариты Датини). Хорошенькие служанки слишком кокетливы (по мнению госпожи); сменяющие их «старые мартышки» слишком уродливы (по мнению господина). А слуги, в свою очередь, если бы они умели писать, упрекнули бы хозяев в жестокости, скупости, похотливости и т.д. В душе людей рождается злоба: «Я бы отправила его на виселицу, я не дала бы и гроша, чтобы спасти его жизнь; это отъявленный лжец... исполненный пороков и лукавства», — пишет взбешенная Маргарита Датини о своем слуге. Судя по быстроте, с которой слуги и хозяева меняют друг друга, между ними царит недоверие (как с одной, так и с другой стороны). В принципе при найме слуг составляется нотариально заверенный договор, определяющий срок службы, который может достигать шести лет (чаще всего подобная практика встречается в Генуе). В действительности же договоры не всегда заключаются и не всегда соблюдаются. Из тридцати контрактов (XV век), известных благодаря *ricordanze*\* трех флорентийских семей, только четыре заключены более чем на год. Если брать служанок (в договорах речь идет прежде всего о женщинах), то они обычно остаются на службе от трех до шести месяцев, средний срок составляет около четырех месяцев.

Таким образом, домашнее услужение, осуществляемое по большей части наемными работниками, означает для хозяев регулярное вторжение на их частную территорию — в спальню — нежелательных свидетелей, чья несдержанность может привести к раскрытию семейных тайн. Отсюда потребность в ключах, связка которых всегда висит на поясе у хозяйки, отсюда сундуки; отсюда же индивидуальная частная среда в спальне каждого из супругов. Однако чувства и тела хозяев

---

\* Воспоминания, мемуары, записки (итал.).

дома открыты нескромным взглядам, разговорам и пересудам дюжины случайных зрителей (на фреске в соборе Сан-Джиминьяно мы видим, как служанка помогает новобрачным принимать ванну и укладываться спать; оба супруга обнажены). Хозяева озабочены тем, чтобы сохранить в тайне свои чувства и любовные авантюры, но, похоже, безразличны к сплетням по поводу собственной наготы. Настоящие тайны — это тайны семейные и тайны коммерческие.

### *Домашние рабы*

Вместе с лично свободными слугами в богатых домах живет прислуга низшей категории — рабы (*servi*); не будем о них забывать. Какая-то часть рабов (привезенных с Востока) нашла применение в деревне (в Сицилии и Испании), однако нужды домашнего хозяйства и желание выставить напоказ свое богатство привели к тому, что большинство из них оказались в городе. Перепись населения, проведенная в Генуе в 1458 году, выявила здесь более двух тысяч этих несчастных; преимущественно это женщины (97,5%), почти всегда используемые в качестве домашних служанок. Их нередко предпочитают лично свободным женщинам из соображений экономии (покупка самой дорогой рабыни не превышает средней стоимости шестилетнего труда служанки). В Венеции, во Флоренции, в других городах также насчитывается довольно много рабынь-служанок.

Покупка рабыни и ее поселение в доме не могут не повлиять на частную жизнь. В момент приобретения эти несчастные еще молоды (из тех 340 рабынь, чья покупка зафиксирована во Флоренции в период с 1366 по 1397 год, 40% моложе двадцати трех лет) и совершенно бесправны; все в доме ими помыкают, все их колотят (хозяин, мать, взрослые дети). Свидетельские показания, в которых фигурируют рабыни, изображают их живущими в вечном страхе перед телесными

наказаниями. Через несколько месяцев, когда рабыни глубже проникают в частную среду своей хозяйки, они, несмотря на тумачи и колотушки, чувствуют себя уже более уверенно и постепенно начинают играть более заметную роль в жизни дома. Подвластные надзору хозяйки, рабыни крепче всего связаны все-таки именно с ней. Негласный обычай, распространенный в некоторых городах (Фриули, Рагуза), предписывает дамам из обеспеченных домов иметь при себе рабыню, а там, где обычаи не столь строги — в Генуе или в Венеции, — она является важным знаком престижа благородных и богатых матрон. Проводя целые дни рядом со своей госпожой, эти смиренные создания еще глубже входят в ее личную жизнь. Естественно, самая непривлекательная и утомительная работа предназначается именно для них, а не для наемных служанок. Но им доверяли и менее трудоемкие занятия, вроде шитья, за которым они могли поболтать друг с другом. Некоторых приобретали в качестве кормилиц. В 1460 году некую Марию, рабыню, живущую в семье флорентийских лавочников, оставляют одну в целом доме на время отъезда ее хозяев. Мы видим, что она неоднократно входит в спальню своей госпожи; она знает, где спрятана шкатулка с драгоценностями, и быстро находит ключ. Чувствуется, что она прекрасно знакома с тем святилищем частной жизни дома, коим является спальня, и не встречает недоверия со стороны хозяев. Последние иногда настолько очаровываются преданной и усердной рабыней, что фактически передают в ее руки управление домом. Алессандра Строцци в переписке со своим сыном Филиппом не упускает случая высмеять подобных недотеп (1463).

Случается, что в рамках частного пространства хозяйской семьи рабыня выстраивает собственное частное пространство, причем эту задачу облегчает долгий срок службы, которая, если только девушку не перепродадут другой семье, может в течение многих лет связывать ее с одним домом (впрочем, не обходится без исключений). Мы видим контраст с недолгим

пребыванием в доме лично свободных служанок. Рабыне могут выделить отдельную комнату, многих из них отправляют под крышу, на чердак, загроможденный продовольственными запасами и вышедшей из употребления мебелью (Флоренция, 1393). Но уже тогда считалось предпочтительным временно размещать девушек в гостиной, где их кровать (предполагаемая; имеют ли они кровать, точно не известно) соседствует с дровами и строительными материалами (Флоренция, 1390). Заметим тем не менее, что в этих помещениях они спят одни. Иные получают право на более приличную комнату — настоящую спальню. Они называют ее «моей спальней». Мы видим одну из них на этой своей частной территории: она складывает в сундук собственную одежду (Флоренция, 1450). Речь идет, конечно, о простом гардеробе, который, впрочем, не считая ветхости и качества ткани, вполне сопоставим с домашней одеждой хозяев. Ей позволено свободно распоряжаться своими нарядами: надевать, складывать в сундук, даже разрывать на тряпки, если пожелает. Она спокойно гуляет по городу, обменивается визитами с друзьями — свободными и вольноотпущенниками — и не думает никому давать отчета в своих действиях.

Однако присутствие в интимной среде семьи некоего инородного тела довольно часто вызывает раздражение. Семья плохо выносит странное, иногда враждебное поведение, которое отражает не только опасные вкусы, пристрастия, тайны и бунтарские настроения, но и поиск независимой частной среды, что явно противоречит привычному для других обитателей дома конформизму. Психологическая травма, сопряженная с утратой свободы, превращением в раба и перемещением в чуждую среду, наложила отпечаток на характер многих из них. Им не прощают этого. Рабов осуждают за все необычные особенности их поведения. Их укоряют за плохое воспитание (хорошего они не имели возможность получить), обвиняют в воровстве, лжи, склочности, даже в дурном запахе. И наконец, матери семейств боятся губительного влияния на своих

мужей юных девушек, чей экзотический облик притягивает к себе как магнит: четверть или даже треть всех детей, которые воспитываются во флорентийских приютах для *trovatelli* (подкидышей) в 1430–1445 годах, составляют дети рабынь, родившиеся от связи с хозяином. Поэтому невозможно всю жизнь мириться с присутствием в твоём доме взрослых людей, зависящих от тебя, как дети, и жаждущих самостоятельности и частного пространства, обрести которые они могут лишь вследствие соращения, протестов, насилия или бегства: последнее было явлением нередким. Многие рабыни в конце концов получают свободу.

## *Другие формы частной солидарности*

### *«Расширенная» частная среда: программа*

В кругах обеспеченных людей — обеспеченных, но не обязательно высокородных — чувство частного, захватив семью, распространяется на весь род (особенно в городах). Эта особая сопричастность, усиливаемая взаимной привязанностью, наиболее заметно проявляется внутри группы, состоящей из братьев, кузенов (*fratelli germani*), дядьев и племянников, в компании которых нередко протекает часть детства индивида в так называемой расширенной семье. Лишь по ним — братьям и их близким родственникам — принято соблюдать траур, то есть носить черную одежду, вдовам, братьям и невесткам. Но взаимное согласие выходит за рамки этой привилегированной группы. Альберти и другие тосканские мемуаристы, чьи *ricordanze* от начала и до конца посвящены прославлению их *gens*<sup>\*</sup>, являют тому яркое свидетельство чуть ли не на каждой странице своих книг.

\* Род, родовая община, клан (лат.).

Во Флоренции, Генуе, Болонье — везде множество элементов поддерживают этот союз между родственниками и в то же время его символизируют; упомянутые элементы не теряют своего значения в XIV–XV веках, скорее наоборот. Родовое имя (все более распространенный атрибут) помогает различать линияжи, выступая в роли своеобразного ярлыка, указывающего на общность крови. Внутри линияжа (или отдельной его ветви, части) от одного поколения к другому передается ограниченный набор личных имен: считается, что каждое из них наделяет новорожденного памятью и жизненной силой того *consors*<sup>\*</sup>, который носил его раньше. Герб линияжа, украшающий оружие, одежду, дома, часовни, алтарные принадлежности, катафалки, знамена и т.д., напоминает каждому о древности (предполагаемой) рода, его могуществе и доблести. Земли, недвижимость, имущество (в высшей степени символические: башни, площади, улочки, часовни, попечительские организации), которыми члены рода владеют сообща, поддерживают между ними солидарность — не очень важную с точки зрения экономики (остальная часть родового имущества дробится при разделах), но совершенно необходимую для формирования самосознания, то есть сознания рода. И наконец, в церкви, являющейся центром семейного благочестия и всегда украшенной определенным гербом, линияж владеет алтарем, часовнями, семейными гробницами, что концентрирует религиозные чувства семьи вокруг одних и тех же святых, одних и тех же церемоний и одних и тех же усопших. У людей жива память о предках (несмотря на то, что их порой разделяют столетия); в XIV–XV веках люди не брезгают никакими средствами ради воскрешения и поддержания этой общей памяти. Во Флоренции, например, мемуаристы, отыскивая в глубине веков своих предков, соревнуются друг с другом в попытке приписать себе наиболее древнюю родословную. Джованни Морелли,

\* Брат, сотоварищ; здесь: член рода (лат.).

скажем, открывает свои «Мемуары» (*Ricordi*), начатые им около 1400 года, очерком о своем предке, который был известен еще в 1170 году, причем прослеживает родословную этого предка вплоть до его прадеда. После 1450 года дома начинают наполняться портретами и бюстами предков, к которым с 1480 года добавляется «безграничное» (Вазари) множество посмертных масок, развешенных повсюду — на каминах, дверях, окнах, карнизах и т.д.; масок «столь совершенных, что они кажутся живыми». Все эти лица, которые оживляют, охраняют и расширяют сугубо частную сферу жилища, вместе с тем выводят человека из замкнутого пространства дома в более широкую среду, включающую его в линияж.

Родство сближает людей; оно создает разные формы солидарности, хотя солидарность не всегда равнозначна близости. В расширенном линияже у человека есть кузены, с которыми он редко видится и которые участвуют в его частной жизни лишь косвенно и случайно. Линьяжная солидарность не всегда порождает близость в частной сфере. Напротив, друзья, с которыми человек постоянно встречается, или соседи, живущие неподалеку, непосредственно и регулярно входят в его частную сферу. Поэтому следует определить более точно, так сказать в общем виде, возможных кандидатов, могущих рассчитывать на сближение с «расширенной» семьей, на проникновение в нее, а также причины и механизмы подобного сближения.

По отношению к возможным кандидатам на вхождение в частную сферу необходимо проявлять как можно большую услужливость, непринужденность, сердечность, что способствует подлинно интимной атмосфере (но не заменяет ее). В этом сходятся все флорентийские мемуаристы XV века. Страдая от налогового гнета и последствий сосредоточения политической власти в руках нескольких влиятельных кланов, они считали создание широкой сети дружеских контактов лучшей защитой от произвола и превратностей судьбы.

В своих записках, обращенных к близким, Джованни Ручеллаи красноречиво отстаивает эту распространенную точку зрения: «Должен вас предупредить, что в нашей родной Флоренции богатство трудно сохранить под бременем таких невзгод [т.е. налогов]! <...>. Не вижу иного средства от них защититься, кроме как постараться не создавать себе врагов — ведь от одного врага вреда больше, чем пользы от четверых друзей; во-вторых же, необходимо оставаться в наилучших отношениях с consortes [членами линьяжа], с союзниками, с соседями и всеми людьми из своего gonfalon [квартала]; про таких людей я могу сказать только хорошее; они всегда помогали мне добиться снижения налогов в нашем квартале, они меня поддерживали и жалели. В таких случаях могут очень пригодиться верные друзья и преданные родственники: когда пойдешь ко дну, они протянут тебе руку и спасут тебя от опасности <...>. И чтобы оставаться в лучших отношениях с согражданами, родственниками и друзьями, прошу вас, дети, будьте добрыми, справедливыми, честными, добродетельными, предавайтесь хорошим делам ... чтобы вызвать к себе любовь. С не меньшей настойчивостью призываю вас ничего не жалеть для ваших друзей, по-настоящему справедливых, честных и добрых. Я бы не колеблясь дал им деньги в долг или в дар, полностью бы им доверился, поделившись с ними всеми моими планами, мыслями, успехами и неудачами (при этом не забывают заводить новых друзей) <...>. Мне остается поговорить с вами о просьбах, с которыми к вам могут обратиться члены вашего линьяжа: такое случается сплошь и рядом. Мне представляется, что ваш долг — помогать им не столько деньгами, сколько потом, кровью, всем, что у вас есть, даже жизнью, когда затронута честь вашего дома и вашего линьяжа».

На этом проповедь не кончается, автор вносит некоторые коррективы в сказанное им ранее, однако общий смысл ясен. Вполне понятные общие интересы (совместно-защищаться от налоговых органов) заставляют хозяев домов выходить за рамки

простой учтивости в своих взаимоотношениях и устанавливать более тесные, более активные, более экзистенциальные связи внутри большой семьи и за ее пределами. Эти связи особенно прочны с линьяжем (*casa*), заслуживающим принесения себя ему в жертву, и с самыми близкими друзьями, заслуживающими полного доверия. Но находиться «в лучших отношениях» с другими (гражданами, союзниками, знакомыми) означает быть с ними на короткой ноге, допускать их — с помощью совместных обедов, доверительных отношений, писем, визитов — в свою частную жизнь. Эта программа составлена известным и богатым купцом. Но она сформировалась в среде, где стоящие перед автором налоговые и политические проблемы беспокоили всех (или почти всех). Когда ее читаешь, осознаешь все большую актуальность создания вокруг семейств широкой интимной среды — так, чтобы надежная и обширная частная сфера защищала бы от назойливого внимания государства.

Вместе с тем эта программа, несмотря на всю свою оправданность, — не более чем проект или желание, труднореализуемое, требующее самоотречения и очевидно утопическое. Конечно же, в повседневной жизни открываются широкие возможности для того, чтобы спонтанно расширить свое частное пространство и открыть другим свой частный мир, но они более простые, непритязательные, избирательные и зачастую более случайные, чем предложенные в программе. Начнем с них, прежде чем рассмотреть расширение частной сферы, обусловленное фискальными и прочими нуждами.

### **«Расширенное» пространство частной жизни**

Само устройство городского и сельского пространства благоприятствует созданию широких частных связей, объединяющих несколько домов одного и того же или разных линьяжей. Такие условия выгодны прежде всего знати и магнатам. В городах Италии знатные семьи с давних пор застраивали

башнями (впоследствии особняками) узкие пятачки земли, которые каждая из этих семей колонизировала и укрепляла. Семейная группа селится в одном квартале. Эта тенденция и обусловленное ею чувство соседской солидарности не меняются в течение XIV–XV веков ни в одном из итальянских городов: ни во Флоренции, где дома крупных *casate*<sup>\*</sup>, сосредоточенные вокруг башен, церквей, *loggia*, площадей, остаются тесно связанными друг с другом; ни в Сиене, где так называемые *castellari*, ансамбли укрепленных зданий, образующих одно целое и объединившихся вокруг замка, продолжают служить прибежищем для основных *consorterie*<sup>\*\*</sup> (их члены предпочитают селиться поближе к центральному двору); ни в Генуе, где в XV веке городские жилища *alberghi* (больших семей и их клиентелы) всегда располагались в пределах одного квартала, на тесном пятачке; ни в пригородах Генуи, где упомянутые семьи стараются поддерживать столь же тесные связи между своими сельскими, загородными имениями: в 1447 года семейство Спинола владеет в местечке Кварто восемнадцатью домами. Крестьянские семьи подражают аристократам: в Тоскане можно обнаружить целые поселки, постепенно возводившиеся в XIV веке линияжами, которые расширяли свои владения, чтобы не нарушить сплоченность.

Так формируются индивидуализированные ячейки, иногда действительно изолированные друг от друга стенами или лабиринтами переулков. В XIV веке они еще по большей части сохраняют свой характер и оригинальность и в Генуе, и в Сиене, и в старых кварталах Флоренции. Солидарность, основу которой составляют тесное общение, соучастие в различных делах, заключение союзов и общность интересов, объединяет обитателей этих домов, идет ли речь о членах *consorteria*, линияжа, об их клиентах, друзьях или просто о квартиросъемщиках,

\* Родов, семейств (итал.).

\*\* Кланов (итал.).

за исключением тех случаев, довольно частых среди бедняков, когда жилье арендуют на короткий срок. Совершенно естественно, что социальность такого рода сопряжена со встречами, беседами, пересудами, иногда включенными в рамки публичных структур (разного рода приходские и квартальные собрания и т.д.), но чаще совершенно свободными от официоза вследствие случайности, спонтанности их встреч, неформальности разговоров.

Чтобы организовать эти встречи, достаточно было самых простых средств. В богатых домах гостиная, будто специально предназначенная для открытых встреч членов «расширенного» частного сообщества, располагалась на первом этаже, который служил промежуточной ступенью между улицей и сугубо частным пространством семьи. В описи имущества Пьетро Мостарди (Флоренция, ок. 1390) упоминаются скамейки, табуретки (на них могло разместиться от пятнадцати до двадцати человек), столы, кувшинчики, графины, кубки и другие предметы, призванные утолять жажду членов *brigata*, тем более что гостиная соединялась с *volta*, где шестьсот литров красного и белого вина ждали, пока их кто-нибудь отведают. Для того чтобы в погожие дни можно было подышать свежим воздухом, вдоль стен домов ставились каменные скамейки. Любой мог на них посидеть, иногда под навесом. Площади с *castellari* в Сиене, «линьяжные» кварталы во Флоренции нередко бывали окружены этими скамьями, являя собой подобие греческой агоры в миниатюре и столь же располагая к совместным беседам, как и их древний аналог. Монастырские дворики, общественные колодцы, лавки булочников, площадки перед входом в церковь, кабачки (место встречи мужчин) — столько возможностей для соседей обменяться новостями, переброситься словом или шуткой! Однако можно привести два наиболее типичных примера формирования семейной солидарности между членами линьяжа, их клиентелы и соседей: первый — встречи в приходской церкви, имеющие

сакральный (во время церемоний) и мирской (в промежутках между ними) смысл, второй — собрания в лоджиях. Последние представляли собой обширные помещения, напрямую связанные с улицей через аркады: в лоджиях представители линьяжа и клана (реже к ним присоединялись и другие) вели непринужденные разговоры, беседовали, решали споры, обсуждали вопросы управления имуществом (встречаясь здесь с вассалами и арендаторами своих земель), демонстрировали собственное богатство. В Генуе некоторые *loggie* были открыты для всех; люди собирались там даже глубокой ночью.

Загородные имения аристократии — если рассматривать их отдельно от городских жилищ — тоже вполне пригодны и даже удобны для проведения больших семейных собраний. В своем труде «*De re aedificatoria*» («Десять книг о зодчестве») Альберти описывает идеальную модель подобного жилища и пути его эксплуатации под следующим многообещающим подзаголовком: «О вилле хозяев и благородных людей со всеми ее частями и лучшим месторасположением». Вот его советы: из окон виллы должен открываться широкий вид, а саму виллу следует окружить садами, в которых можно было бы удить рыбу и охотиться. «Вилла должна состоять из нескольких частей: некоторые из них будут доступны всем желающим, другие откроют двери перед избранным обществом, третьи предназначены для интимного круга». В первом случае речь идет об огромных территориях (лугах), которые, по образцу монарших замков, используются для состязаний колесниц и лошадей. Во втором — вилла предоставляет членам *brigata* места для прогулок и для купания, лужайки, места для скачек, лоджии; старики там гуляют, а *famiglia*\* проводит свой досуг — *famiglia* в широком смысле слова, включающая собственно семью, ее родню, слуг и останавливающихся в доме гостей (которые также считаются частью *famiglia*). Эта вторая часть жилища,

\* Семья, фамилия (итал.).

типичный образец «расширенного» частного пространства, состоит из различных *sale* (залы, гостиные) — зимних, летних, «межсезонных», — располагающихся по периметру *cortile* (внутреннего дворика): зимние даже отапливаются, и все они просторные и светлые. Гостям предоставляются спальни, расположенные у входа в дом. Затем Альберти позволяет читателям заглянуть и в сугубо частную сферу семьи.

Эта идеальная модель редко реализовывалась в полной мере, а если кто и мог провести в жизнь столь амбициозный проект, так только царственные особы; но она тем не менее хорошо отражает чувства и вкусы итальянских богачей, которые те демонстрируют, правда, с меньшим размахом начиная с XIV века. Альберти руководствуется принятой в то время практикой, развив и дополнив ее. Знаменитые флорентийские банкиры Перуцци в 1310–1320-х годах занимаются обустройством сельского дома, недавно купленного ими в пригороде Флоренции: вблизи дома они разбивают «сад удовольствий» с водоемами и фонтанами и окружают его стеной. В конце века имение семейства самого Альберти столь славилось своей изысканностью, что получило название «Il Paradiso»\*. Неподалеку от фонтанов раскинулись рощицы душистых хвойных деревьев (сосен, кипарисов), а на лугах паслись «невиданные и чудесные» животные. Здесь и собираются флорентийские *brigate* (имение «Il Paradiso» лежит у ворот Флоренции); местом их сбора могут служить столь же благоухающие сады неаполитанских, генуэзских и венецианских селений.

### Завоевание частной среды юношеством

Как и в любой другой стране, в Италии дружеская близость между людьми зарождается в детстве и крепнет во время совместных игр. Играя, дети из одного квартала объединяются

---

\* Рай (итал.).

в компании и группы, включающие как мальчиков, так и девочек, причем никто не обращает внимания на разницу в социальном происхождении; сын богатого купца может дружить с дочерью обыкновенного портного, не вызывая этой дружбой никакого протеста со стороны окружающих (Флоренция, XIV век). Впрочем, в этом городе девочки ходят в школу наравне с мальчиками (факт, засвидетельствованный в 1338 году), что позволяет дружбе продолжаться и после окончания игр. Неизвестно, проходили ли занятия мальчиков и девочек в одном помещении; очевидно, впрочем, что ребенку легче завести дружбу с представителем своего пола: это обусловлено сходством вкусов, одинаковой степенью стыдливости и послушания; юная Катерина ди Бенинкаса\* (как никто другой боявшаяся и избегавшая мужского присутствия) объединила вокруг себя группу верных последовательниц — девочек, любимым занятием которых было тайное самобичевание с целью очистить свое тело от скверны. Игра, сообщничество, тайны — во всем этом детям впервые открывается частная сфера, а также закладывается основа будущих отношений. О солидарности, устанавливающейся в это время (и не только посредством самобичевания) между детьми, которым еще не раз предстоит встретиться — ведь они соседи, — позднее многократно вспоминают и апеллируют к ней при известных обстоятельствах: «Вспомни, еще детьми мы с тобой были друзьями», — говорит один флорентиец (1415). Когда человек просит помощи, такой аргумент оказывается весомым. Подобная солидарность существенна, она образует одну из самых прочных основ «расширенной» частной сферы, которая впоследствии выстраивается между взрослыми.

Солидарность подростков (12–14 лет) продолжает солидарность детскую, становясь более прочной и «автономной». Франческо ди Барберино признает за юными девушками — за исключением наиболее знатных, принцесс и дочерей

\* Речь идет об уже упоминавшейся святой Екатерине Сиенской.

высокопоставленных вельмож, — право самим заводить знакомства со сверстницами, живущими с ними в одном квартале. На фресках (например, «Аллегория доброго правления» Лоренцетти, Сиена, 1338) изображены девушки, которые вместе танцуют и поют под аккомпанемент барабанов; впрочем, не везде это было разрешено полицейскими правилами. У юношей больше шансов вырваться из семейной среды и создать себе дополнительное, «побочное» частное окружение. Избалованные сынки аристократов, купцов и буржуазии, те изысканные молодые франты, которых так хорошо изобразил Боккаччо в «Декамероне», поют и танцуют друг с другом и с девушками; великолепные пригородные парки очень располагают к подобному времяпрепровождению. Они играют в шахматы и в шашки, совершают прогулки или дурачатся у фонтанов. Упомянем также охоту, военные экспедиции и прочие коллективные занятия, в которых участвует молодежь начиная с восемнадцати лет. В мирной «плебейской» атмосфере городов и укрепленных селений парни следуют универсальному обычаю молодежной солидарности: сквернословят, рассказывают неприличные анекдоты; только требовательные и «структурированные» семьи способны успешно бороться с этими опасными настроениями своих детей. Молодой муж Бонавентуры Бенинкасы (сестры святой Екатерины), «лишенный родителей, постоянно вращался среди сверстников; эти юнцы, не зная удержу в речах, весьма часто заходили в них слишком далеко, произнося всякие гнусности, и он [молодой муж] не отставал от остальных!» Бедная Бонавентура, как грустно! С ее-то воспитанием! (Сиена, 1360).

Эти юные повесы собираются в целые банды, вроде тех, о которых мы писали выше: банды со своим названием, ритуалами, потасовками, скандалами (Флоренция, 1420). Иногда весьма долговечные, иногда возникающие и исчезающие спонтанно, эти группировки становятся грозным обещанием

будущих бунтов. Например, после казни какого-то гибеллина мы видим, как орава *fanciulli* (детей и подростков) завладевает телом казненного, тащит его к нему в дом, отрезает у него руки и играет ими в футбол, затем четыре дня не дает закрыть семейный склеп (Флоренция, 1381).

Молодым людям также приходится трудиться и зарабатывать себе на жизнь, хотя это занятие, конечно, более обыденное и приземленное. Профессиональная среда приобщает юношей к совершенно иному частному кругу — хозяин, хозяйка, подмастерья; иногда приходится жить в той же лавке или мастерской, где они работают (отец святой Екатерины поселяет учеников у себя дома); зарплата, ставшая после 1348 года весьма существенной, стимулирует вкусы и желания юношей: вращаться в обществе, хорошо одеваться, не отставать от моды. Да, от моды. Как это обычно бывает, основное внимание молодые люди уделяют девушкам, искусству обольщения, прогулкам перед домами избранниц, любовным эскападам, серенадам, победам, которые совместно смакуются и обсуждаются. Мода также не обходится без пирушек. Богатые и не столь богатые юнцы — потенциальные и очень активные участники любого пира или поединка. Эти последние устраиваются почти во всех итальянских городах: в Тоскане, в Генуе, в Венето (там, пожалуй, всего заметнее: в городке Тревизо происходит осада «замка» Кастелло д'Аморе), в Падуе, но особенно в Венеции, «украшением» которой они служат почти весь год.

Подростки не торопятся разрушить свой «детский» частный круг, участвуя в этих нелепых состязаниях, открывающих дверь во взрослый «публичный» мир. Они впитывают опыт различных сред, но каждый раз воссоздают из него пространство и содержание частной жизни. Выход человека — с помощью выбранной профессии, участия в пирушке и т.д. — из-под постоянного родительского контроля означает отвоевание собственного частного пространства — вероятно, довольно существенного начиная с этой эпохи. Для молодых

людей, которые до двадцати семи — двадцати восьми лет не допускались к «взрослой» модели частного существования, то есть к браку и семейной жизни, сквернословие или покорение девушек (а иногда парней) было идеальной или реальной формой компенсации. Для юных граждан, еще плохо интегрированных в общественные институты, молодежные объединения представляет также противовес существующей власти; они подчиняют себе молодых людей, но не раскрывают свои правила и остаются их частным делом. Поэтому, взрослея, подростки не спешат расстаться с частным миром, который до последнего момента был их единственным пристанищем. Скорее они впитывают опыт новых частных сред, замкнутых (каждая со своим пространством, охватом, со своими правилами, ритуалами, тайнами) и одновременно коллективных, ибо присутствие товарищей способствует утверждению, но не унижению личности.

### *Частные отношения семей*

Интимная семейная среда открывается миру более простым и обыденным образом. Социальность получает материальное выражение в виде прилегающих к супружескому жилищу участков, которые были рассмотрены выше. Эта социальность предполагает более тесное общение с родственными линиями, соседями, друзьями. Она предполагает также более скромную жизнь.

Внешнее пространство, предназначенное для этой цели, — лоджии *consorterie*, скамейки, расставленные на площадях, и т.д. — часто служат негласным местом вечерних или утренних свиданий; местом, где в хорошую погоду принято проводить досуг. Самые известные из этих мест (во Флоренции это Новый рынок и базилика Святого Аполлинария) привлекают людей отовсюду. Люди собираются в кружок, однако многие предпочитают посидеть на скамейках, расставленных

вдоль стен домов: именно там они в компании друзей находят простоту и интимность, именно там, *come è d'usanza\**, по вечерам встречаются соседи. Старики вспоминают прошлое — путешествия, дальние страны и т.д. (см. Боккаччо), другие смеются *dicendosi novelle\*\** (см. Саккетти). Но больше всего собравшиеся любят обсуждать женщин; в один из вечеров кто-то отпускает шутки на счет соседских жен, в другой — разговор касается более фривольной темы: почему в любовных играх между супругами муж всегда уступает жене (Саккетти). В аристократических лоджиях тоже принято, сев с утра *a cerchio\*\*\**, предаваться долгим беседам. Но здесь чаще обсуждаются дела общины, и линьяжная среда таким образом соединяется с публичной сферой.

Владельцы домов часто устраивают приемы; люди охотно перемещаются из одного дома в другой. Дети ходят поприветствовать деда, матери «по заведенному обычаю навещают замужних дочерей, чтобы узнать, все ли у них хорошо» (Сиена, 1360). Наносят друг другу визиты двоюродные сестры. «[Моя кузина] Констанция часто приходит ко мне поболтать» (Алессандра Строцци, 1459). *Consortes*, живущие в одних кварталах, неизбежно встречаются каждый день, и любой, самый незначительный инцидент позволяет почувствовать силу их сплоченности. Достаточно юной жене некоего Аччайоли шутки ради крикнуть среди ночи «На помощь!», чтобы ее спальня в мгновение ока наполнилась обеспокоенными родственниками, мужчинами и женщинами (Флоренция, XIV век). Нередки также встречи друзей, что находит горячую поддержку у Альберти; неизменны контакты между соседями. Днем они перекрикиваются, стоя в дверях домов или высунувшись из окон (подобные мгновения запечатлены на картинах художников), а взаимные

\* Согласно обычаю (итал.).

\*\* Рассказывая друг другу новости (итал.).

\*\*\* В круг (итал.).

визиты соседей составляют часть повседневной рутины. С наступлением вечера, когда погода не располагает к разговорам на улице, семьи устраивают неофициальные приемы (вечерние бдения), приглашая несколько супружеских пар или нескольких женщин. Этот обычай засвидетельствован во Флоренции (XIV век) и в Генуе, где застрельщицами подобных собраний выступают женщины, «наноса взаимные визиты и собирая в домах друг у друга компании для вечерних бдений» (XV век).

Повсеместным становится попечение о больных. Тот же Альберти вменяет в обязанность каждому «не оставлять больного родственника <...>, но навещать и поддерживать его». Такова традиция. Мы видим мону Алессандру Строщи у изголовья ее выздоравливающих кузин. Верные товарищи окружают толпой юного гуманиста Микеле Верини до и после перенесенной им операции (1485): они развлекают его разговорами, играми и музыкой. Такая солидарность каждодневно проявляется по отношению к представителям любой социальной среды: к хозяину постоянного двора — старику, согнутому подагрой, к домохозяйке, страдающей от колик (ее пытались отравить). Старые товарищи приходят к подагрику, чтобы разделить с ним пищу и вместе поболтать и пошутить; добрая женщина посещает умирающего, дабы его утешить, «как это у них принято» (Саккетти); соседки поправляют больному постель. Солидарность проявляется столь часто и воспринимается настолько обыденно, что больного нередко помещают в спальню на нижнем этаже (изначально рассматриваемом как место «расширенной» частной среды), чтобы несчастный был ближе к входу в дом и к посетителям (возможно, и для того, чтобы не дать распространиться заразе, но у нас нет достоверных свидетельств). Лишь ужас, внушенный эпидемиями чумы, положил конец этой практике — фундаментальной составляющей частной жизни.

Перейдем, пожалуй, к самому важному сюжету. Множество возможностей проявлять и поддерживать солидарность

свойственную «расширенной» частной сфере, предоставляет совместная трапеза. Стаканчик вина, предложенный посетителю в гостиной, едва ли способен установить между людьми прочные связи, но нередко представляется повод попить у соседа: отпраздновать, например, доставку ему нового вина (см. Саккетти). Ничто не мешает привести на пирушку совсем незнакомых людей. Пригласить гостей наверх, на обед означает проявить более родственные чувства. Подобное гостеприимство, нередко оказываемое родственникам, друзьям, соседям, составляющим «широкую» частную среду, — но не всем, учитывая интимность атмосферы, которую оно подразумевает, — распространяется на узкий круг лиц (если речь не идет о многолюдных роскошных пирах). Священники любят принимать прихожан и хорошо их угощать: ведь если верить книгам, все они — веселые гуляки. В ответ люди охотно приглашают их к себе: именно священника или кюре усаживают во главе стола, в то время как сам хозяин дома садится по правую руку от него, а дальше — его жена и дочери. Семьи могут принимать и художников, которые выполняют их заказ. Связи между домами иногда вынуждают принимать друзей с утра до вечера. Но встречи за трапезой предназначены прежде всего для родственников — например, кузены из семейства Строцци встречаются во время таких сборищ в любое время дня и ночи (Флоренция, ок. 1450).

Если говорить об аристократических кругах, то мобильность, присущая этой среде (путешествия, поездки в загородные имения) и этой эпохе (чума), содействует развитию гостеприимства. Люди ночуют в домах друзей, проводят там целые недели. В каждом доме есть гостевая спальня, охотно предоставляемая в распоряжение друзей. Та же Алессандра Строцци часто ночует именно в спальне для гостей (например, в 1449 году): и когда останавливается у дочери в Мугелло, и когда гостит у брата или у кузена в их загородном доме. Она и сама принимает гостей. Например, мы видим, как она охотно

встречает у себя дома находящегося во Флоренции проездом двоюродного брата мужа, у которого в Неаполе работают два ее сына. Он гостит у нее восемь дней, в течение которых она принимает и кормит толпу родственников, свойственников, друзей, пришедших его поприветствовать, устраивает для него роскошные обеды (Флоренция, 1449). Гостеприимство не остается прерогативой исключительно буржуазии. Простые люди тоже открывают двери своих домов близким и друзьям, насколько позволяют им средства. За неимением гостевой они предоставляют гостям или отдельную постель в общей спальне, или общую постель, или просто охапку соломы в конюшне.

### ***Утверждение «расширенной» частной среды***

Разумеется, утверждение «расширенной» частной среды естественным образом соотносится с основными вехами в жизни отдельного человека и всей семьи — событиями, которые способствуют укреплению солидарности. Будущая мать окружена любящей заботой близкой родни; молодую роженицу осыпают подарками (отрезы дорогой ткани, серебряные столовые приборы и т.д.). Рождение некоторых детей празднуется как радостное событие, например появление на свет Бернардо Веллутти, шестого ребенка и единственного сына в семье (Флоренция, ок. 1330). Нет никакого сомнения, что в этом «большом праздновании» принимает участие родня младенца. *Consorti*’ов гораздо меньше интересуют крестины, хотя последние часто используются как возможность завязать искусственные родственные связи: соседские, клиентские, деловые, благодаря которым семейство приобретает большинство своих «духовных» родственников, то есть крестных отцов (Флоренция, 1380–1520).

Родственные связи особенно ощутимо проявляются в правах, когда речь заходит о браках. Так, Джованни дель Бене, предпринимая шаги для устройства замужества своей дочери Катерины, хочет сохранить все дело в тайне. Ему отвечают, что

это невозможно. Родня жениха, с которой уже начаты переговоры, столь многочисленна и столь рада предстоящему союзу, что просто не сможет держать язык за зубами (Флоренция, 1380). Переговоры *consortes* (представителей двух семей) — вещь распространенная, но это не простая формальность, особенно если среди них есть какой-нибудь влиятельный человек. Донато Веллутти сообщает, что у него просили совета по поводу женитьбы троюродного брата и что он выразил свое согласие — хотя «согласие», вероятно, слишком сильное слово (Флоренция, 1350). *Consortes* остаются с семьей вплоть до церемонии свадьбы. Во Флоренции вручение кольца (обозначающее согласие будущих супругов на свадьбу) часто происходит в тесном кругу — по правилам, жениха сопровождают лишь четверо ближайших родственников, — но родня быстро собирается в полном составе. В день помолвки или на следующий день после нее представительницы родни жениха (человек пятнадцать-двадцать), следуя традиции, передают молодой супруге кольца, полученные ими при схожих обстоятельствах. Вручаемые женщинами, но поступающие в распоряжение мужчин, эти ритуальные кольца включают будущую супругу в новую родственную среду и материализуют связь между упомянутой средой, теми мужчинами и женщинами, которые хранили кольца на протяжении многих поколений, и новой семьей.

На праздничную трапезу, знаменующую начало совместного проживания молодых супругов, приглашают членов линияжа вплоть до третьей, канонической степени (двоюродные деды, двоюродные братья родителей, троюродные братья супругов). Друзья тоже присутствуют на церемонии, но их число не регламентируется. Родственники и друзья вносят свой вклад в придание пиру необходимой пышности, отправляя к столу яства из своих запасов (сторона мужа) и преподнося подарки жене (обе стороны); их обещают отблагодарить. Следовательно, наибольшее участие в празднестве принимают

родственники и друзья. Будучи необходимым атрибутом церемонии, они, как говорит один хронист из Модены, выступают в роли свидетелей: их свидетельство удостоверяет соглашение супругов (Бьянки, XV век). Обилие *consortes* и друзей да и вообще показная роскошь этих пиров беспокоят коммуны и заставляют ее предпринимать попытки обуздать излишнюю кичливость хозяев. В Болонье среди множества других предписаний существует запрет приглашать на пир более двадцати четырех дам, помимо представительниц принимающей семьи; остальные детали (кортеж, следующий от одного дома к другому) регулируются схожим образом (Болонья, 1401). Во Флоренции, Сиене, Модене дела обстоят так же.

Траурные церемонии требуют столь же активного участия *consortes*, как и помолвки. «Все родственники покойного — как мужчины, так и женщины» (Саккетти) — приходят в его дом, где уже собрались соседи. Жены, родственницы, соседки плачут и стенают над телом. Погребение знатной персоны может сопровождаться душераздирающими воплями. Когда тело благородного Джованни ди Марко (умершего в Орвието) привезли в дом его матери, «она начала причитать над ним с громкими воплями, подхваченными всеми присутствующими женщинами, как будто беснующаяся толпа подняла мятеж» (Сиена, 1394). Затем тело выносят, его сопровождает похоронная процессия, в которой, естественно, участвуют все *consortes*. С XIII века издаются статуты, которые регулируют эти церемонии с целью ограничить возможные последствия прохождения по городу огромной толпы родственников умерших. В Равенне, например, ношение траура разрешается только самым близким родственникам; похоронные причитания внутри церкви запрещаются (Равенна, XIII век).

Таким образом, у социальной истории линьяжа есть свои поворотные моменты, мы перечислили лишь те из них (можно вспомнить и другие: первые мессы юных священников, посвящение в рыцари и проч.), когда все родственники и друзья

оказываются вовлечены в частные дела одной семьи — частные и в то же время общие для всех, ибо посвящение в рыцари, брак или траур имеют значение для всего линьяжа, для его чести, плодovitости, выживания. Отметим также важное место, которое занимают в этих церемониях женщины — жены, матери, невестки, несмотря на то что они не принадлежат к линьяжу (или вскоре перестанут считаться его членами, выйдя замуж). Благодаря женщинам в церемонию вовлекаются семьи свойственников, к которым эти дамы принадлежат. Но прежде всего их личное участие, даже если оно ритуализировано (как, например, похоронные плачи), придает обычаям «расширенной» частной среды налет спонтанности, эмоциональности и тепла.

### Взаимные услуги

Помимо этих церемоний между членами рода (*consortes*) и членами семьи устанавливается система обыденных, но жизненно важных связей — помощь друг другу советами, вынесение третейских решений, посредничество в отношениях с властями и судебными органами и другие примеры взаимовыручки: бесчисленное множество услуг, которые открывают многим *consortes* доступ в различные семейства и поддерживают между первыми и вторыми (хотя иной раз не обходится без сбоев) солидарность и даже привязанность, зачастую патриархального типа. Значение подобных услуг, принятых даже в высших кругах, выделяет, среди прочих, гуманист Платина, пересказывая, как Козимо Медичи живописует своему внуку Лоренцо идеальную картину взаимоотношений между родней: «Люби своего брата; люби всю свою родню: не ограничивайся внешними знаками уважения — приглашай их к участию в обсуждении всех твоих дел, как частных, так и публичных. Советы родственников, по всей вероятности, будут лучше, чем рекомендации людей, не связанных с тобою узами крови».

### *Испытание прочности частной солидарности*

Солидарность внутри семьи и, не в меньшей степени, солидарность между родственниками и членами линьяжа нередко подвергается испытанию. Ей угрожает мобильность тех, кому по работе приходится часто переезжать с места на место (и кто любит это делать), равно как и тех, кто может стать жертвой сбоев существующего политического механизма (войны, ссылки и т.д.). Кроме того, она рискует быть нарушенной из-за смерти кого-либо из членов семьи и стирания памяти о нем, а это очень серьезная проблема для среды, где считается, что предки продолжают жить — в раю и в воспоминаниях — и по-прежнему занимают свое место в линьяже. Итальянцы XIV–XV веков, особенно торговая буржуазия, пытаются противостоять этим опасностям.

### *Распыление семьи и частная переписка*

Распыление семей — явление, свойственное социальной жизни итальянских городов и деревень еще с древности. Купцы испокон веков путешествовали по морю и по суше; лавочники (торговцы зерном, скотом, маслом и т.д.) объезжали деревни, вплоть до самых отдаленных; даже крестьяне часто вынуждены были отправляться в город, где они обычно останавливались у родственников или у соседей по деревне, обосновавшихся в городе. В XIV–XV веках умножение «экстерриториальных» должностей (посольства, провинциальная администрация и правосудие) в связи со все более совершенствующейся системой управления и расширяющейся территорией государства еще больше ухудшило эту ситуацию. И наконец, число изгнанников увеличивали политические чистки. Ситуация, когда супруг, сын, брат или отец находится вдали от семьи (в нескольких днях пути или дальше), вполне обыденна, и семьям приходится с ней мириться.

Мириться, но не терять связь с уехавшим. Возможны эпизодические контакты. С постоянным движением людей из одной точки в другую возрастает число всевозможных посредников и посыльных. «Я с нетерпением жду Герардо, который должен прибыть с минуты на минуту (он родом из Брюгге), чтобы лично сообщить мне новости о тебе: о твоих делах и твоём здоровье», — пишет Алессандра Строцци своему сыну Лоренцо (Флоренция, 1459). Семья в целом или кто-то из ее членов может отправиться к уехавшему родственнику, чтобы воссоединиться с ним. Этот вопрос не раз обсуждался Алессандрой Строцци и ее сыновьями. Последние живут в разных частях Европы (Неаполь, Брюгге, Флоренция); раз так, почему бы всем не встретиться в Авиньоне (1459)? Однако сложность предприятия заставляет отказаться от него. Тот же исход уготован и другим подобным попыткам: Алессандра предлагает сыновьям встретиться в Пизе, в Болонье, но в итоге каждый остается в своем городе. Полагаясь лишь на посредников, можно потерять связь с уехавшим.

Остается частная переписка — удивительное явление, заново открытое в Италии XIV века и ставшее отрадой и радостью многих итальянцев. Переписка, обмен коммерческой информацией — одно из испытанных средств успеха итальянской торговли начиная с XIII века. Но по мере смены поколений к деловым письмам прибавляются сугубо частные послания, письменные сообщения о последних событиях. Мало-помалу все осваивают навыки письма: мужчины — чтобы управлять и передавать информацию; женщины — чтобы отвечать и давать советы; дети — чтобы выразить свою любовь к родителям; управляющие и нотариусы — чтобы отчитываться перед хозяевами. Не все женщины умеют писать; чем ниже их социальное положение, тем более они невежественны, а в Тоскане XV века такая ситуация, по-видимому, только усугубляется. Безграмотность встречается и среди мужчин (мелких наемных рабочих, крестьян), но в более ограниченных масштабах.

Тем не менее с 1360–1380-х годов желание владеть грамотой и потребность в ней широко распространяются в обществе; сохранилась обширная корреспонденция, относящаяся к этой эпохе, и возможно, именно она знаменует собой, по крайней мере во Флоренции, некий рубеж, после которого частная переписка все активнее входит в повседневную практику.

Каждый мог и сам писать письма, и получать их от других. Например, землевладельцы отправляют исполщикам письменные распоряжения (Сиена, 1400). Другие виды корреспонденции — во всяком случае, из тех, что мы знаем, — связаны с сугубо частной сферой, семьей, отражая ее жизнь (фрагментарно, но ярко), привязанности и занятия ее членов, особенно женщин, оставивших восхитительные письма. Алессандра Строцци, чьи сыновья были изгнаны из Флоренции семейством Медичи, ведет с ними переписку в течение двадцати трех лет (1447–1470), держа их в курсе домашних дел. Зять Алессандры, ее дочери, даже маленький Маттео (начиная с двенадцати лет) отправляют им частные послания. Изгнанники отвечают им. Семейная ячейка продолжает жить интенсивной жизнью.

Некоторые другие виды *carteggi* (переписки) затрагивают гораздо более широкий круг родственников, друзей, клиентов, выявляя как масштаб этих частных отношений, их связь с государственными институтами и делами, так и роль переписки в жизни коллектива, в управлении им.

Возьмем, например, флорентийца Форезе Саккетти, приора городской коммуны (1405), в 1411 году вновь занявшего высшую государственную должность и многократно избравшегося капитаном или подестой городов *contado*\*. Его засыпают письмами — в то время они представляют собой сложенный в несколько раз лист бумаги с адресом на оборотной стороне; иногда он получает по несколько посланий в день (судя по сохранившемуся архиву Форезе), особенно

\* Здесь: в окрестностях Флоренции.

когда дела заставляют его покидать Флоренцию. Эти записочки приходят от самых разных корреспондентов. На первом месте, конечно, стоят члены его окружения. Его управляющий, Пьетро ди Джованни, с должной пунктуальностью сообщает ему обо всем, что касается управления имением (урожаи, арендаторы, продажа продуктов производства и т.д.), посылая ему в случае необходимости несколько писем подряд — так, в период между 15 и 30 октября 1417 года было отправлено четыре письма. Родные Саккетти, похоже, не питают большой любви к переписке, но друзья, помнящие о нем, выражают свою преданность в любезных письмах и трогательных записках, коротких, но содержательных: «Форезе, я охотился, и мне повезло. Посылаю тебе этого зайца. Съешь его, если тебе угодно, вместе с моим верным и прекрасным братом Джованни». Даже когда Форезе далеко, он остается в сердцах друзей, и они спешат продемонстрировать это словами и подарками. Другие люди того времени, известные нам по сохранившейся переписке, просят подробно рассказывать о здоровье и занятиях их жен и детей. Забота перерастает в беспокойство, когда кто-нибудь заболевает. Мессер Бартоломео Деи, живущий в Милане, требует регулярных известий о своей дочери (или снохе), которая скоро должна родить. Корреспондент Бартоломео, его свойственник, пишет ему иногда по три письма за декаду (1, 5 и 10 мая 1489 года) — подробный бюллетень о здоровье молодой женщины: та находится на девятом месяце беременности, и ее состояние внушает некоторую тревогу — у бедняжки опухли ноги!

Семейные послания теряются среди огромной массы писем от далекой родни, от клиентов и просто от неизвестных — людей самого разного происхождения и самых разных профессий. Обычно этот поток адресован какой-нибудь общественной фигуре, человеку, который, пользуясь своей властью или авторитетом, может оказать услуги корреспондентам, по большей части просителям. Здесь мы выходим за границы

частной сферы. Но разделительная линия между частным и публичным не всегда четко различима. Чтобы получить желаемую поддержку, большинство просителей, обращаясь к адресату, избирает интонацию и выражения, свойственные частной переписке; с помощью этой нежной почтительности они надеются создать то подобие родства, которое вынудит вельможу вмешаться и помочь им. Все называют Форезе Саккетти «*maggiore*»<sup>\*</sup>, проявляя уважение к его высокому положению. Более умеренные добавляют: «*onorevole*»<sup>\*\*</sup>. Затем почтение (с примесью лести) перерастает в славословие: адресата называют «*magnifico*»<sup>\*\*\*</sup>, «*carissimo*»<sup>\*\*\*\*</sup>; для представителей буржуазии, то есть для равных, он «*onorevole maggiore come fratello*»<sup>\*\*\*\*\*</sup>, для остальных — «*come padre*»<sup>\*\*\*\*\*</sup>. Слово «*padre*» может встречаться три или четыре раза в одном письме: «полагаюсь на вас как на отца», «молю вас как отца» и т.п. Форезе не оставляет без ответа эти просьбы, иногда принимающие характер угроз. Мы видим, как он хлопочет о судьбе просителей, привлекает к делу юристов, ведет себя как благожелательный человек, но прежде всего как настоящий патрон целой группы клиентов. Клиентские связи, даже непрочные, имеют значение для политической карьеры, поэтому флорентийские мемуаристы категоричны: будьте услужливы, не наживайте врагов. Но маска фамильярности (которую не стоит считать обычным притворством), примеряемая на себя корреспондентами Форезе, стимулирует в нем еще большее самолюбие, заставляет еще внимательнее относиться к чужим просьбам и вести себя с клиентами так же, как он поступил бы по отношению к своим близким.

---

\* Старший (итал.).

\*\* Почтенный (итал.).

\*\*\* Великолепный (итал.).

\*\*\*\* Дражайший (итал.).

\*\*\*\*\* Как старший брат (итал.).

\*\*\*\*\* Как отец (итал.).

Образованные круги итальянского общества (которые не ограничивались городской буржуазией) охотно пользуются таким чудесным средством, как письмо, чтобы поддерживать во время отлучек из дома столь дорогие их сердцу частные, семейные и дружеские связи. Не только поддерживать, но и развивать, ибо, как мы можем констатировать, начиная с этой эпохи переписка привносит новые оттенки в повседневный диалог членов частного круга. Разумеется, чем дальше друг от друга отправитель и адресат, тем длительнее ожидание письма и тем медленнее эпистолярный диалог. На письмо, направленное Алессандре Строцци из Неаполя 18 декабря 1464 года, пришлось ждать ответа до 18 января 1465 года, хотя получательница откликнулась уже через четыре дня. Но всякий знает, что послания, идущие долго и медленно, еще дороже тем, кто их получает; с расчетом на это они и пишутся. Уехавший продолжает получать известия с самыми интимными подробностями о жизни семьи, но они сообщаются ему в особой манере. Нередко тон писем более теплый, чем тон разговоров. В письмах человеку легче, чем в повседневной жизни, находить слова любви, заботы (которая в разлуке усиливается), утешения, радости — те слова, которые женщины стесняются произнести дома вследствие предрассудков и условностей. В переписке принято проявлять деликатность. Так, корреспондент может преуменьшать серьезность болезни кого-то из родственников: свояк мессера Бартоломео Деи признается ему после рождения у его дочери ребенка: «Припухлость ног у ней была сильнее, чем я вам писал». Кроме того, каждый из кожи вон лезет, чтобы сообщить уехавшему все новости; желая рассказать всю правду о маленьком мире человеку, который его оставил, корреспонденты проявляют по отношению друг к другу больше интереса и внимания, чем обычно: дядя постоянно интересуется делами племянницы; молодой человек слушает не отрываясь разговоры старших и с подкупающей самоуверенностью пишет о таких вещах, как приданое, залог,

налогообложение; мать становится особенно предупредительной по отношению к тем, кто видел или может увидеть ее детей, и т.д. Необходимость держать уехавшего в курсе событий, связанная с необходимостью управлять, воспитывать, хлопотать о каких-то делах вместо него, мобилизует весь круг родственников и друзей — и не только домочадцев — и усиливает их сплоченность.

И наконец, переписка, расширяя частную сферу, укрепляет ее — во всяком случае, этому способствуют ходатайства и прошения. Просители умеют подобрать в своих письмах — а просить о чем-то в письме всегда легче, чем при личном визите (иногда задачу ведения переписки берут на себя третьи лица), — нужные слова, ставящие их в зависимость от определенного человека, причем порой — надолго.

### *Распыление семьи и личные дневники*

Вечная разлука, иными словами — смерть, исключает возможность переписки, но все же не означает полной потери связи.

Прежде всего такая связь осуществляется через молитву, этот уединенный крик, хоть и не рассчитанный на непосредственный ответ, но считавшийся в ту эпоху привычным средством контакта с Господом, святыми, а через них — со Страдающей церковью (чистилищем), вероятным местонахождением многих предков. Линьяжные молитвы — не миф. Возможность помолиться за упокой души членов семьи и рода предоставляется во время похоронных церемоний и месс, назначенных самими усопшими в завещаниях и проводимых регулярно (иногда постоянно) в выбранных ими церквях или основанных ими часовнях. Но нам едва ли удастся доказать, что в этих церемониях непременно участвуют члены рода и что они используют их, чтобы вспоминать дела и поступки покойного. Если они не будут особо напрягать память,

то очень скоро не вспомнят об усопшем ничего, кроме имени, внесенного в церковную книгу и ежегодно упоминаемого на таких церемониях.

Но они напрягают память. Устные традиции, касающиеся предков, передаются в линияжах начиная с XII века, а в XIV–XV веках они уже широко распространены. Джованни Морелли несколько раз упоминает (ок. 1400) о том, что получил от престарелых родственников (мужчин и женщин) некие сведения, которые те, в свою очередь, узнали от своих предков, относительно их общего пращура, родившегося в 1150 году. Джованни Ручеллаи сообщает, что многое о прошлом своей фамилии он почерпнул из разговоров с пожилыми *consortes*. Некоторые известные фамилии, особенно наиболее сплоченные, тщательно хранили богатые устные предания, благодаря чему хорошо знали историю рода и из поколения в поколение передавали чувство семейной гордости.

Но в XIV–XV веках это уже кажется недостаточным: устные источники дополняются документами — семейными бумагами, хранящимися в сундуках (нотариальные договоры, счетные и судебные книги и проч.), что позволяет более подробно, более достоверно, более убедительно представить портрет предков. Вместе с тем люди стараются оставить о себе и о своих детях точные биографические данные: возраст, время появления на свет (год, месяц, час), имя крестного отца и т.д. Альберти первым рекомендует добиваться такой точности: это необходимо «по многим причинам», говорит он, но не уточняет, по каким.

С того времени, когда речь идет о хранении столь подробной и ценной информации, никто уже не думает полагаться лишь на свою память. В XIV веке «стандартизированная» родословная, сведения для которой собирались по крупицам из разных источников, занимает несколько страниц в счетной книге семьи или даже отдельную тетрадь, специально купленную для этой цели. Ограничиваясь лишь ближайшими родственниками по прямой линии (Морелли) или распространяясь

на семьи двоюродных и троюродных братьев (Веллути), родословная составляется не столько ради прославления предков, сколько для того, чтобы показать, как живет линияж, чтобы выделить наиболее яркие моменты его истории, подчеркнуть его древность и преемственность профессии его членов (или продемонстрировать разрыв этой преемственности), одним словом — чтобы акцентировать все элементы родственной солидарности (солидарности родовой, духовной, политической и т.д.), не принижая значение личного выбора и индивидуальности каждого конкретного человека (некоторым из них, вплоть до самых дальних родственников, даются удивительно яркие характеристики: см., например, Веллути) и не затушевывая неизбежные трения и ссоры. Семейные мемуары (*ricordanze*, *ricordi*) поддерживают у группы людей, в чьем доме они хранятся, осмысленную, мотивированную, персонализированную привязанность к большой фамилии, которая, судя по деталям, выделяемым мемуаристами, и чувствам, вызываемым ими, воспринимается как продолжение во времени и пространстве частной сферы семьи, как ее расширение.

Тем не менее ни одни из известных нам воспоминаний (*ricordanze*) не написаны линияжем коллективно. В роли авторов выступают отцы семейств, неразрывно связанные со своим поколением. Предки, конечно, устаиваются с их стороны всяческих похвал, но когда рассказ доходит до наших дней, автор находит для описания своего окружения (родителей, дядьев, кузенов, детей) особую, более проникновенную интонацию; самые прочувствованные и изящные места Джованни Морелли посвящает своим дядьям, братьям и сестрам. Мемуарист и его потомки ревностно хранят воспоминания у себя. Их показывают близким друзьям, при случае одалживают братьям или даже кузенам (Корсини, Флоренция, 1476). Но мемуаристы, авторы этих произведений, склонны подчеркивать их тайный характер. Воспоминания предназначаются прежде всего детям и прямым потомкам (которые часто берутся за их

продолжение): это дело семейное, точнее говоря, мужское. Даже жен не допускают к мемуарам: супруги принадлежат к чужому линьяжу; секретность воспоминаний (*ricordanze*) распространяется и на них.

В *ricordanze* совмещаются две тенденции. Портреты предков способствуют более сильной привязанности к линьяжу и желанию сохранять его обычаи, взгляды, оригинальность, вдохновляться его примерами и в то же время избегать его слабостей. Но эту задачу нередко дополняет, а иногда даже затмевает все то, что мемуарист добавляет о семье — в узком или широком смысле, — в которой он живет. Когда автор говорит о близких, о тех, кто его окружает, рассказ становится более детальным, более точным, более подробным, более эмоциональным, больше соответствующим атмосфере сугубо частной среды. Возьмем, например, начало краткой заметки, написанной Джованни Морелли о его брате Морелло. Этот самый Морелло появляется на свет 27 ноября 1370 года, «в канун Дня святого Петра Александрийского, то есть в ночь со среды на четверг, когда колокол в церкви Санта-Кроче пробил восемь с половиной часов. Его крестили в субботу, 30 ноября; крестных было четверо [следуют имена и адреса двух мужчин и двух женщин]. Ему дали два имени: Морелло и Андреа, первое в честь деда, второе — в память о святом, в чей день происходило крещение. <...> Он взял в жены Катерину ... Каstellани» (сообщаются детали этого брака).

Все здесь относится к сугубо частной среде (если не считать упоминания имени деда), концентрирующейся вокруг узкой семейной группы. В этой заметке Морелли, как и в других письменных свидетельствах подобного рода, выделяются те формы солидарности — формы сугубо частные, проявляющиеся в течение всего дня в пространстве города, церкви, — которые касаются семьи, крестных, союзов. В повседневной жизни упомянутые формы солидарности, совершенно естественные для семьи и делающие ее уникальной,

накладываются на линияжные формы солидарности (иногда весьма замысловатые). Семейные воспоминания, фиксируя такое положение вещей, в то же время и закрепляют его. Они упрочивают и иллюстрируют те пересекающиеся формы отношений и солидарности, которые запечатлевают уникальный образ «расширенной» частной сферы, объединяющей взрослых индивидов, где каждый, в свою очередь, связан со свойствами, крестными и прочими группами, определяющими особое место человека внутри линияжа.

### *Конфликт личной и коллективной частной среды*

Разные формы частной социализации внутри семьи и линияжа, индивидуальные вкусы и предпочтения создают почву для латентных противоречий, которые ведут к трениям и конфликтам, не менее частым в эпоху Средневековья, чем в наше время: таков результат столкновения различных концепций частной жизни.

Участниками таких конфликтов чаще всего становятся муж и жена: ссоры между супругами — не новость. Жены не хотят мириться с отсутствием мужей, ибо семейная жизнь предполагает присутствие обоих супругов, и делаются ворчливыми, сварливыми, раздражительными. И напротив, к стычкам может приводить постоянное совместное существование, поскольку брак соединяет людей, воспитанных в разных условиях, по разные стороны социопрофессиональных барьеров; не стоит забывать и о возможном несходстве характеров. Подобное положение дел наблюдается сплошь и рядом, и кризисы с которыми неизбежно сталкивается семья, только обостряют внутренние противоречия. Некий художник из Сиены застаёт свою высокомерную жену с любовником (ок. 1350–1380); оскорбления и угрозы, которыми обмениваются супруги, обнажают трения между ними, которые, вероятно, и привели к разрыву:

*Он.* Гнусная шлюха, ты зовешь меня пьяницей, а сама прячешь любовника за распятиями? [Муж расписывает распятия.]

*Она.* Это ты мне?

*Он.* Нет, ослиному дерьму!

*Она.* Ну, лучшего собеседника ты и не заслуживаешь.

*Он.* Совсем потеряла стыд, потаскуха? Не знаю, почему я еще не сунул тебе вон ту головешку в одно место.

*Она.* Только попробуй... Клянусь Богом, ты дорого заплатишь, если только меня тронешь.

*Он.* Ты грязная свинья, а твой дружок... <...>

*Она.* <...> Да будут прокляты те, кто заставляет дочерей выходить замуж за художников, за этих полоумных шутов, которые вечно пьянствуют, — богомерзкий сброд!

Данный эпизод, представленный Саккетти в комическом виде, выявляет действительные проблемы, стоявшие перед семьей: жить с художником (в рассказе его зовут Мино) означает терпеть грубость человека, который долгое время вращался в компании молодых неженатых мужчин; это означает мириться с определенными склонностями живописцев (загулы, кутежи), тогда как девушки, выросшие в иной среде, к этому не привыкли. Стало быть, в одном месте придется совмещать опыт жены, благовоспитанной юной девушки, и мужа, поначалу впитавшего дух юношеской вольницы, а потом своеобразные привычки флорентийских художников: иными словами, здесь соединяется «наследие» трех разных частных сред. Можно понять, в каком положении оказалась молодая женщина и какие ее окружают соблазны.

«Супружеская» семья (семья с ребенком) тоже сталкивается с определенными ограничениями и трудностями, вызванными по большей части той же необходимостью взаимного сосуществования и столкновением разнородных частных сфер. Иногда проблемы начинаются с рождением ребенка; для бедной семьи появление еще одного рта — настоящая

катастрофа; если ребенок незаконнорожденный, то это чревато крупными неприятностями в любой социальной среде; молодая вдова, имея маленьких детей от первого брака, не может надеяться повторно выйти замуж, хотя семья настойчиво склоняет ее к этому. Нередко случается, что нужда (в первом случае), социальные предрассудки или личный интерес (в двух последних) толкают на детоубийство или отказ от ребенка (особенно если это девочка). Бастардов и девочек из бедных семей отдают в детские приюты; детей вдов, долгое время не забираемых у кормилицы, поручают заботам семьи их отца (Тоскана, конец XIV–XV век). В случае с бастардами и вдовами ощущается давление линьяжа. Его честь, его сплоченность и интересы ставятся выше чувств матерей. Давая добровольное согласие на повторный брак, вдовы показывают, что они предпочитают положение жены положению матери, хотя им приходится сделать поистине трудный выбор. В таких конфликтах, в которые вовлечено одновременно несколько частных сфер (линьяж; законные супруги; матери; наконец, сами дети), сторонам зачастую бывает нелегко сориентироваться.

Новые проблемы возникают, когда дети вырастают. На некоторых из них накладывают отпечаток ранние годы, омраченные грубостью кормилицы, холодностью «жесточкой матери» или частым отсутствием отца. В семействе Морелли с этим столкнулись и отец, и сын. Паоло, остававшийся у кормилицы до двенадцати лет, и Джованни ди Паоло, в четыре года отданный своей матерью на воспитание, не прекращали, даже став взрослыми, изливать горечь по этому поводу (Флоренция, 1335–1380). У других неудовлетворение оборачивается отказом подчиняться родителям. Член семейства Перуцци посвящает целую страницу своей книги объяснению причин, заставивших его проклясть собственного сына (1380). Это случилось, говорит он, из-за его бунтарства. Он повторяет то же слово в пяти разных вариантах: «Коварный, лукавый, лживый, он вечно бунтовал, вечно предавал меня».

высмеивал — не только меня, но и весь наш квартал, нашу коммуну, наших *consortes* и наших союзников» (Флоренция, 1380). Столь же враждебное отношение к дочери мы наблюдаем у отца святой Маргариты Кортонской. После нескольких лет сожительства с женщиной будущая служительница Господня возвращается в отчий дом в слезах, укутанная в черные одежды. Под влиянием жены, мачехи Маргариты, отец отказывается ее принять (Кротоне, XIII век).

И напротив, случается, что инициативы отцов вызывают непонимание и раздражение у сыновей, идет ли речь о вопросах управления или — как в случае с семейством Ланфредини — о перемирии, заключенном главой семьи с враждебным линьяжем вопреки желанию детей. Даже жена нападает на него: «Ланфредино, вы предали самого себя и своих близких [она обращается к нему на «вы»]! Как вы могли навлечь на своих детей такой позор, как могли заключить такое перемирие, ничего не сказав ни им, ни мне? Вы отобрали у них все — достоинство, честь». И один из сыновей Ланфредино, уязвленный действиями отца, пишет брату: «Говорю тебе: покидая наш дом, я безоговорочно решил никогда больше не называть себя его сыном и сменить имя» (Флоренция, 1405). Утверждаясь, характер сыновей делается все более жестким. Два примера, приведенные выше, демонстрируют (в гипертрофированном виде) два возможных варианта освобождения детей из-под отцовской власти. В одном сыновья требуют полноправного участия в принятии решений, определяющих вектор развития частной семейной жизни, в другом, напротив, хотят действовать совершенно самостоятельно, полностью выведя свою частную жизнь и занятия за пределы семейной среды.

Коснемся теперь бесчисленных ссор из-за разделов наследства, объектом которого становится сначала приданое жены, затем имущество мужа. В них могут быть вовлечены и весь линьяж, и отдельная семья; они представляют одну из слабых сторон линьяжной солидарности. Говоря о последней,

следует заметить, что не все семьи линьяжа близки друг другу и что множество мотивов углубляют уже существующие линии раскола в линьяже. Например, вопрос о жилище. Некоторые семьи обосновываются вне границ квартала, заселенного их *consortes*, и теряют контакт с семьей, который возникает благодаря ежедневным встречам, вписывающим их в ту же частную среду. Впрочем, семьи решаются на такое неохотно, только если их к этому принуждает изоляция или бедность; они были бы рады вернуться в лоно линьяжа; в известных нам крупных флорентийских *casate* (Джинори, Каппони, Ручеллаи) такие семьи составляют меньшинство. Определенную роль здесь играет и имущественное положение: бедные семьи изначально не могут позволить себе тот стиль жизни, каким отличаются их соседи — богатые родственники. Однако в городах этот фактор не имеет того решающего значения, которое ему нередко приписывают. По крайней мере, такое впечатление создается при знакомстве с семьями, упоминаемыми чуть выше. Имущественные диспропорции между ними меньше, чем принято считать, причем доход каждой отдельной семьи не отличается стабильностью; например, кадастры (составлявшиеся каждые десять лет) всякий раз выдвигают нового претендента на роль самого богатого семейства клана Джинори (XV век). С другой стороны, каждое из трех упомянутых семейств гораздо обеспеченнее «рядовой» городской семьи; ни одна семья из клана Джинори в XV веке не может быть причислена к разряду «бедных», а семьи со скромным достатком (иногда речь идет о тех, кто разорился недавно) тем не менее имеют доступ к такому же воспитанию, тем же должностям, наконец, к тому же образу жизни, что и более богатые родичи. В конце концов, солидарность — не пустой звук; ее стремятся сохранить.

Следовательно, солидарность линьяжей и их корпоративный дух достаточно сильны, чтобы противостоять внутренним конфликтам, вызванным обособлением отдельных групп внутри этих крупных систем. Однако новым вызовам

противостоять труднее, в особенности соблазну обретения профессиональной и имущественной независимости.

Возьмем, например, семью Веллутти. В XIII веке вся мужская часть семейства была занята в одной торговой компании; с 1330-х годов возобладала тяга к независимости и индивидуализации. В XIII веке стремились, насколько это было возможно, сохранять родовое имущество целым и управлять какой-то его частью сообща; начиная с упомянутой даты разделы родового имущества, которое могло стать объектом продажи людям, не входящим в линияж, участились. Раздел родового имущества, его дробление и продажа рождали антагонизм, иногда весьма устойчивый и лишь усиливавшийся со временем. Автор используемых здесь мемуаров, Донато, сообщает о десяти стычках между его кузенами. Некоторые из них переросли в настоящие ссоры, в шести он сам принимал участие. С этого времени естественные иерархии рушатся. Несмотря на авторитет и известность Донато — к нему обращаются за советом, приглашают в качестве третейского судьи, — его влияние распространяется лишь на одну из пяти ветвей рода (главы соперничающих кланов приходились друг другу кузенами: у них был общий дед). В сущности, поле деятельности Донато ограничивается его братьями и сыновьями. И наконец, самым красноречивым свидетельством ослабления чувства солидарности служит отказ от кровной мести (*vendetta*) — по крайней мере в семье Веллутти. Здесь не будут мстить за обиды, причиненные клану, и когда один представитель рода, долгое время уклонявшийся от мести за убийство кузена в 1310 году, решит обагрить руки кровью врага, в глазах семьи он прослышет опасным чудаком (Флоренция, 1310–1360).

Семейная солидарность теряет свою прочность и в деревнях, но это происходит постепенно, в ходе долгой эволюции. В деревне Валь д'Эльса, расположенной между Сиеной и Флоренцией, всем заправляет мелкодворянское семейство Бельфорти. В начале века ведущую роль в семье играют трое

братьев. Годы идут, и трех основателей рода сменяют их дети, образующие три группы двоюродных братьев (1330–1340). Прежний товарищеский дух теперь почти не дает о себе знать. Представители первой ветви рода живут в городе, имеют престижную работу (они менялы и землевладельцы). Они не скупятся на приданое для дочерей (в среднем более тысячи лир на каждую), чтобы заключить выгодные брачные союзы. Представители третьей ветви занимают очень скромное положение (они мелкие землевладельцы), дают дочерям довольно скудное приданое (в среднем сто лир на каждую) и остаются жить в деревне. Определенную солидарность семья сохраняет — о ней продолжают говорить как о *consorteria*<sup>\*</sup>, — но близость между ее членами в частной сфере несомненно угасла (Тоскана, 1300–1340).

Мы можем лишь констатировать то, о чем уже писали в связи с темой воспоминаний (*ricordanze*). Линьяж и его уставшие правила не отвечают новым требованиям, которые очевидны всем: это и большая мобильность в профессиональной и имущественной сферах, и более ощутимая автономия в судебных вопросах (позволяющая освободиться от ответственности за преступление *consors*<sup>\*\*</sup>), и большая сплоченность в защите от непомерных appetitов налоговых органов. Поддержка линьяжа, ценность которой несомненна, должна дополняться другими формами солидарности, более соответствующими индивидуальным запросам человека и менее обязывающими: это солидарность соседей, друзей, союзников, коих каждый сознательно выбирает себе сам. С этих пор сочетание тесных связей и контактов подобного рода определяет «расширенную» частную среду — среду, отличающуюся теплой атмосферой (с перепиской, взаимными визитами, приемами) и не дающую раствориться своеобразию, присущему каждой семье.



\* Клан, клика (итал.).

\*\* Соучастник, сотоварищ (лат.).

### *Частная ячейка, матрица внутренней жизни*

Частная среда не стирает индивидуальности характера ее членов. Человек, пребывая внутри линияжа, внутри одной из ветвей рода, внутри семьи, может лично принимать решения, уединяться в собственном святилище (например, в спальне), по крайней мере в обеспеченных домах. Но жизнь в семье способствует развитию личности не только благодаря особым зонам свободы, которые человеку удастся там себе устроить. Забота членов семьи друг о друге (иногда навязчивая), существование родственников во всем его разнообразии, со всеми перипетиями подобной жизни, несомненно служат благодатным источником внутреннего формирования и развития для каждого. Воспитательная роль семьи, во все времена остающаяся актуальной, особенно необходима в эпоху, когда практически отсутствуют иные «механизмы», как мы бы назвали их сегодня, способные сформировать личность.

### *Взаимоузнавание*

Совместная повседневная жизнь — особое, если не единственное (например, для женщин) средство проникнуть в иную интимную среду, узнать других людей и дать им узнать себя. Чтение писем и семейных книг ясно дает понять, какое внимание уделяется людям, составляющим семейный круг, безотносительно к их полу, статусу, публичным обязанностям.

Возраст человека вплоть до появления кадастров в XV веке остается частной сферой, открытой только для родственников. Нередко мать устно передает сведения о возрасте ребенка: один купец в начале своих мемуаров (1299) сообщает, что он родился, «по воспоминаниям моей матери», в 1254 году. Некий крестьянин определяет возраст дочери (ей десять лет) на основании того, что он «слышал от ее матери». Алессандра Строщи помнит наизусть все важнейшие даты в жизни ее детей. В письме, которое она пишет в 1452 году

своему сыну Лоренцо, целый абзац посвящен сведениям о семье. «Возраст Филиппо? Двадцать девятого июля ему исполнится двадцать четыре года. Седьмого марта будет двенадцать лет с тех пор, как он покинул Флоренцию. Тебе самому двадцать первого августа исполнился двадцать один год. Ты уехал из Флоренции в этот самый месяц семь лет назад»; затем она сообщает аналогичные сведения об оставшихся трех детях. С ростом моды на воспоминания (*ricordanze*) в них начинают включать как составной элемент биографические справки (и некрологи), и хотя написаны они отцами семейств, предшествующая записям вековая устная традиция была женской, а значит, преимущественно частной. Определение возраста с точностью до дня дает возможность поздравить с именинами, составить гороскоп, установить иерархию в «расширенной» частной среде; это означает воздать должное индивидуальной частной среде и одновременно построить коллективную частную среду.

Дети растут и физически развиваются. Первым, а иногда и единственным (девочкам, например, нередко запрещают выходить из дома после достижения половой зрелости) свидетелем подобной возмутительной трансформации становится, наряду с родственниками, и все частное окружение. Так, судя по многочисленным упоминаниям мемуаристов, физический облик членов линьяжа (*consortes*) — и молодых, и старых — не остается без внимания семьи. Джованни Морелли ради забавы набрасывает портреты своих братьев, сестер, кузенов, и эти наброски хорошо ему удаются. Вот его двоюродный брат Бернардо, «крепкий, очень высокий, мускулистый, с ярким румянцем на веснушчатом лице»; вот Бартоло, «полный и бодрый, с кожей белого или, скорее, оливкового цвета»; вот Мея, его старшая сестра, — «среднего роста, с восхитительным цветом кожи, бодрая, белокурая, отличающаяся красивым лицом», она «поистине очаровательна. Среди прочих достоинств у нее были чудесные руки цвета слоновой кости, как будто

с картины Джотто — руки длинные, нежные, с изящными, сужающимися к концам пальцами, увенчанные блестящими, ярко-красными ногтями». Жить в семье нередко означает подвергаться насмешкам домочадцев; но это означает также испытывать удовлетворение от того, что тебя знают, узнают, отличают от других, превозносят.

Мемуаристы еще тщательнее подбирают краски для моральных портретов своих персонажей, чем для изображения их физического облика. Все братья и сестры Донато Веллутти (включая троюродных и еще более отдаленных по степени родства) могут надеяться, что он в нескольких словах обрисует их моральные качества. При том что это не банальные портреты, выполненные по единому шаблону, — Донато пытается нарисовать их максимально точно и основательно. Для описания характера и поведения своих персонажей он использует по меньшей мере семьдесят различных прилагательных.

Естественно, этот опытный рассказчик не ко всем относится одинаково хорошо; он без колебаний отмечает и пороки. К тому же его суждения основываются на ценностях, свойственных его эпохе, его среде, его окружению. Больше всего он отмечает — с помощью семидесяти прилагательных и всех оттенков смысла, которые в них заключены, — мудрость (суждений), осмотрительность (в управлении), учтивую любезность (в общении); отсюда суровость, с которой он осуждает озлобленность или, например, мотовство. В пределах этих ценностей (не слишком соотносящихся с христианскими или общественными) суждения Донато в целом благожелательны, хвалебны и оптимистичны (75% прилагательных имеют положительный смысл). Частная среда, та огромная «расширенная» частная среда, в которой живет Донато, вероятно, не охватывает все возможные типы характеров и умонастроений; тем не менее она представляет собой незаменимое место взаимодействия и взаимоуважения, дом в подлинном смысле

слова, где видимое внимание и доброжелательность некоторых близких людей — товарищей или старших — с детства стимулируют развитие личности.

### ***Облагораживание чувств***

Частная ячейка — это также колыбель чувств и эмоций. То, что происходит внутри семьи, воспринимается совсем иначе, чем то, что происходит за ее пределами: на внутрисемейные события смотрят как на нечто личное и близкое, реагируют эмоционально или даже страстно. Именно здесь формируются чувства.

В переписке часто затрагивается тема отсутствия близких людей, воспринимаемого как трагедия. Микеле Верини, которому едва исполнилось одиннадцать лет, снова и снова повторяет эту мысль в письме отцу, находящемуся в Пизе: даже небольшая задержка курьера вызывает тревогу у него и у остальных членов семьи, особенно если есть основания полагать, что причиной задержки послужила болезнь. В любом случае, продолжает мальчик, даже когда письма приходят, «твое отсутствие для меня — настоящая трагедия», и откровения этого не по годам развитого и чуткого ребенка кажутся вполне искренними.

Жестокие физические страдания, предвосхищающие смерть, становятся горнилом, в котором очищаются и крепнут чувства. В том мире, где больницы предназначены главным образом для бедных, богатые лечатся дома. Там они лежат, прикованные к постели, там они страдают, агонизируют, умирают. Страдание собственное и чужое, собственная и чужая смерть остаются частными формами опыта, множющимися вследствие размера семьи, бренности человеческого тела, качества ухода за больными.

Письма, личные дневники, счетные книги, рассказы и новеллы — всё неизменно свидетельствует о настойчивом присутствии в домах болезни. Дядя Микеле Верини, живущий в одном с ним доме, болен водянкой; с раздувшимся,

как бурдюк, животом в течение шести месяцев он лежит, прикованный к постели (1480). Сильный удар в нижнюю часть живота надолго приковывает к постели самого Микеле (1485–1487); в домашних условиях ему ампутруют яичко. У современника Микеле, тринадцатилетнего Орсино Ланфредини, две сестры тяжело болеют корью (май 1485), и лечат их, естественно, в доме родителей. Пребывание в доме больного родственника, прикованного к кровати в течение нескольких недель, — обычное дело в ту эпоху. Повсюду встречаются больные малярией. Даже заболевших чумой родные лечат дома; большая часть завещаний написана под диктовку лежащих больных *in domo sua* («у себя дома»). Моралисты считают, что даже слуг, если они заболеют, надо лечить в доме хозяина и что последний должен взять заботу об этом на себя. К их советам, конечно же, прислушиваются. Но если состояние заболевших ухудшается, их без особых колебаний отправляют в госпиталь, предварительно проверив (как это делает Алессандра Строцци), насколько хорош там уход за больными.

В домашней обстановке в то время принято было лечить и обычные хвори, допускающие домашнее лечение даже в наши дни, и опаснейшие недуги, требующие в современных условиях обязательной госпитализации. Жизнь в одном доме с больным нередко сопряжена со страданием — обычно кратковременным, но иногда долгим, сильным и даже непереносимым: как будто в семье появился кто-то чужой, от которого никто из домочадцев не может скрыться. Дядя Микеле Верини, заболевший водянкой и вечно страдающий от жажды, не дает покоя своими криками никому из домашних: он просит, чтобы ему принесли вина. Через пять лет уже сам Микеле мучается от полученной раны; хирургическое вмешательство оборачивается для него настоящей пыткой. С этих пор страдания ни на минуту не оставляют его ни днем, ни ночью. Заботы друзей могут на время обмануть болезнь, но никто не властен заставить ее отступить. Чем больше

проходит времени, тем сильнее он страдает «от жестокого недуга». Мона Джиневра, жена мемуариста Грегорио Дати, после родов слегла в постель. Она так и не оправилась и была вынуждена претерпеть жестокие страдания (Флоренция, 1404). Бывают и особенно серьезные испытания, которые почти невозможно перенести. Джованни Морелли ни на минуту не удается изгнать из памяти, из сердца, из воображения страшные воспоминания о болезни его сына Альберто. В понедельник утром бедного мальчика (ему десять лет) забрали из школы с кровотечением из носа, рвотой и коликами. Жар не спадает. Через десять дней во время приступов рвоты у него возникает острая боль в паху. Его состояние ухудшается изо дня в день. Страдания мальчика настолько сильны, мучительны и так неотступно преследуют его все шестнадцать дней болезни, не отпуская ни на час, что он стонет и кричит не переставая. Все вокруг, даже самые толстокожие, потрясены случившимся.

Некоторые больные умирают. Умирают дети (Альберто, в десять лет), умирают юноши (Маттео Строцци, в двадцать три года; Орсино Ланфредини, в семнадцать лет; Микеле Верини — в девятнадцать), умирают девочки (Лукреция, сестра Орсино, в двенадцать лет), умирают молодые женщины (прекрасная Мея с руками цвета слоновой кости умирает в двадцать три года, через восемь часов после рождения четвертого ребенка, который, как и его старшие братья, не проживет и двух лет), умирают взрослые, умирают старики: каждый в доме является неоднократным свидетелем ожидания и страха смерти, приготовления к ней (исповедь, причастие, соборование, составление завещание, чтение молитвы), проведения траурных обрядов (женские причитания, помпезные церемонии) и шествия похоронной процессии. Когда 77-летний Валорино ди Барна Чуриани в 1430 году заканчивает книгу воспоминаний (*ricordanze*), начатую еще в 1324-м его дедом, ему остается только тяжело вздохнуть при виде того, сколь многие из его родственников безвременно покинули этот мир (последние несколько страниц книги

посвящены записям гражданского состояния). Когда Валорино было двадцать пять — тридцать лет, ему пришлось стать свидетелем смерти своей дочери, которой едва исполнился месяц, и своего 58-летнего отца. В тридцать семь у него умерла другая дочь (четырнадцать лет) и одиннадцатимесячный сын; в сорок семь — две дочери, тринадцати и пятнадцати лет. Преодолев шестидесятилетний рубеж, он потерял троих сыновей (лет тридцати — тридцати пяти), супругу, позднее — сына 54 лет, семнадцатилетнюю внучку. И это не считая детей, умерших сразу же после рождения! Впрочем, Валорино начинает дневник лишь в двадцать пять лет. Нередко знакомство со смертью происходит намного раньше. Сын Валорино Луиджи, умерший в тридцать шесть лет, пережил те же самые потери (смерти сестер четырнадцати, пятнадцати и тринадцати лет; одиннадцатимесячного брата, брата тридцати одного года) соответственно в девять, десять, девятнадцать, двадцать и тридцать один год.

Умереть молодым, умереть в муках можно в любую эпоху, но эпидемии, обрушившиеся на Европу после 1348–1350 годов, умножают число преждевременных и мучительных смертей, смертей тем более шокирующих, что они с удвоенной силой ударяют по самым юным, самым невинным, причем поражают их дома — в том месте, которое люди хотят видеть самым обособленным, самым защищенным, самым интимным, уединенным и мирным.

### *Развитие чувств*

Написанное ранее позволяет думать, что частная среда — место, где чувства находят особенно сильное выражение. Люди, которые столь легко и часто возбуждаются, не будут сдерживать эмоции. Всё заставляет думать, что поток чувств (страха, радости, печали) проявляется прежде всего в интимном частном кругу и что именно там его ничто не стесняет. Частная среда, в сущности, связывает человека с самыми

близкими ему людьми, судьба которых его волнует. Также частная среда очерчивает пространство, в котором проходит жизнь женщин, и является главным, если не единственным местом выражения их чувств. И наконец, в семье, где эти чувства переживаются одновременно несколькими людьми, общие чувства подкрепляют чувства индивидуальные. Но будь они коллективными или индивидуальными, рассматриваемая нами эпоха дает возможность благодаря книгам, письмам и другим свидетельствам проследить за этими чувствами, идентифицировать их, постоянно наблюдать за их спонтанным зарождением и развитием. Взглянем же на расцвет чувственности и эмоциональности.

Иконография — новый и очень ценный источник. Впервые в итальянской истории религиозная живопись — фреска — предстает широким полотном со множеством сюжетов и действующих лиц. Персонажи фресок, будто члены нового Святого семейства, выступают носителями и выразителями глубоких чувств и эмоций. Конечно же, не всем художникам это удастся одинаково хорошо; поэтому возьмем Джотто, наиболее известного живописца своей эпохи, признанного мастера, чей авторитет незыблем на протяжении всего XIV века и чьи работы вызывают неизменное восхищение. Посмотрим на героев его фрески в капелле Скровеньи (Падуя, ок. 1305). Анна и Иоаким, супруги, которым довелось познать разлуку и испытать немало ударов судьбы, встречаются у Золотых ворот; в том, как муж и жена смотрят друг на друга, как они друг друга обнимают, читаются глубокая взаимная привязанность и искренняя радость от произошедшей встречи. С той же спокойной нежностью святая Анна тянет руки к новорожденной дочери; потом, когда приходит время, ведет ее к первосвященнику. Лежа на жесткой подстилке, на которой она рожала, Дева Мария в первый раз принимает из рук повивальной бабки (апокрифическая фигура) сына, завернутого в пеленки; мать вкладывает в свой жест все почтение, а в свой взгляд — все

благоговение, внимание и нежность, на какие она способна, все предвосхищение, дарованное ей Творцом и его сыном. Идут годы. Склонившись над лицом мертвого сына, она всматривается в него с отчаянием, но не плача — как человек, у которого не осталось слез, — и с безнадежным желанием навсегда запомнить милые черты. Когда видишь ее перед телом сына, не создается впечатления, что она проявляет большую силу духа, большее мужество, нежели любая другая мать. Вокруг нее рыдают святые женщины. Как бы ни менялись стили и направления в живописи на протяжении XIV и XV столетий, сюжеты, вдохновленные чувствами Девы Марии к Христу, — нежным отношением матери к новорожденному сыну, скорбью перед лицом горя и смерти, — постоянно переосмысливаемыми в зависимости от настроений той или иной эпохи, встречаются у всех художников и кажутся убедительными всякому, кто пережил подобные моменты (рождение, трагическая смерть и т.д.). Иконография благодаря мастерству художников и психологической точности изображенных персонажей способствует усилению эмоций в частной сфере, особенно по отношению к младенцам и детям, равно как и к умершим.

Под воздействием живописи, под воздействием гуманистической, буржуазной литературы, на которой следовало бы остановиться подробнее (Боккаччо имеет феноменальный успех), под воздействием самой структуры частной сферы — это одновременно и хаос, и гармония, и противоречивость, и интимность — тысячи разных чувств под тысячью разных предлогов входят в частную жизнь людей, вдохновленные или усиленные ею.

Гармоничная жизнь в лоне семьи — явление, к счастью, достаточно распространенное — предполагает в первую очередь создание и поддержание атмосферы любви, особого микроклимата, отличающего семью от внешнего мира. В этом убеждены моралисты, начиная с Леона Баттисты Альберти: как бы высоко ни ставил он дружбу (его любимая тема), ему

приходится признать, что супружеская любовь стоит выше. Семейные разговоры, сердечные излияния, сладострастие, дети, забота о доме — все это способствует поддержанию любви между супругами, которая скрепляет брак. Что касается отцовской любви, всякий знает, как глубоко, прочно, сильно коренится она в сердцах; нет ничего более постоянного, полного, всеобъемлющего, чем эта любовь.

Взаимная привязанность в семье, ее сила и распространение, будто подтверждая представления моралистов, обнаруживаются в литературе и в еще большей степени в переписке того времени. Супруги стыдятся своих чувств по отношению друг к другу, но другие формы любви проявляются вполне свободно. Находясь в разлуке со своими детьми, высланными из Флоренции, мона Алессандра Строцци в письмах не может удержаться от проявлений нерастраченной материнской нежности, которая с годами только обостряется: «Мне кажется, я умру от невозможности встретиться с тобой <...>, всем сердцем и всей душой хочу жить там, где живете вы; единственное, чего боюсь, это что я умру, так и не увидевшись с вами» (Флоренция, 1450–1451). «Если бы у тебя были дети, — признается одна знатная флорентинка своей подруге, — ты бы поняла всю силу любви к ним».

Отцовское сердце не меньше материнского открыто нежности. Боккаччо в своей непринужденной манере пользуется (и даже злоупотребляет) этим благородным чувством как безотказным способом выставить в смешном свете мужей-рогоносцев: что, например, может делать в супружеской спальне монах, на котором из одежды одна рубашка? Ну, конечно же, он лечит от глистов сына хозяина, и доверчивый отец в порыве чувств обнимает лекаря... Но в воспоминаниях (*ricordanze*) и в переписке нет недостатка в примерах подлинной и очень сильной привязанности отцов к детям. Откровения Джованни Ручеллаи, Пьеро Гвиччардини, Пьеро Веттори, Гвидо дель Паладжо, Каппоне Каппони, Джованни Морелли, письма Уголино Верини

отличаются единодушием в отношении к детям, которое один из этих авторов резюмировал в следующем афоризме: «Говорят, что самая сильная любовь, какая бывает на свете, — это любовь отца к сыну» (Флоренция, XIV–XV века). Присутствие малышей, их улыбающиеся лица очень рано пробуждают в отце и матери чувство родительской любви. Согласно мнению Альберти, «мать заботится о своем ребенке с большим вниманием и усердием, нежели кормилица, и материнская любовь сильнее, чем любовь кормилицы». Конечно, реальность далеко не всегда соответствует идеалу. Мы уже говорили, что богатые итальянцы первыми были вынуждены отправлять своих детей на воспитание кормилице. Имеются сведения о молодых вдовах, отказывающихся от своих отпрысков, когда тех еще не отняли от груди, чтобы повторно выйти замуж. В простонародной среде отмечается подозрительная диспропорция между девочками и мальчиками в пользу мальчиков. Да, бывает, и, возможно, часто, что бедность, вспышки эпидемии чумы, суровые жизненные условия берут верх над зарождающейся привязанностью родителей к детям, успевшим, несмотря на юный возраст, стать обузой — так что доходит до детоубийств. Но мы всегда чувствуем подспудную любовь родителей к детям, которая при первой возможности выходит наружу.

Любовь (*affection*), которая исходит от родителей, не может не найти отклика у детей. Она усиливает и обновляет все формы привязанности, сосуществующие внутри «большой» семьи, распространяясь и на друзей. Взросление, происходящее в семейном кругу, особенно если речь идет о среде городской буржуазии, богатой знакомствами и родственными связями, предполагает интеграцию в разветвленную и прочную (в большинстве случаев) сеть взаимных привязанностей. Нередко люди афишируют привязанность подобного рода; она имеет большое значение для молодежи, для вдов и т.д. Микеле Верини, который так восхищается отцом и так горячо его любит, в то же время очень привязан к своему дяде

Паоло («Вы любите меня как никто другой»), а также к своему наставнику Лоренцо («Вы никого не любите больше меня») и к своим товарищам: в каждом из этих случаев их взаимоотношения называют любовью (*amore*) (Флоренция, 1480). Для Микеле привязанность равнозначна любви, особенно в период его болезни. Алессандра Строцци, окруженная почтительным обожанием со стороны дочерей и зятьев, — обожанием, которое еще больше усиливается, когда родственники видят, через какие испытания приходится ей пройти, — переносит на свое окружение (племянников, кузенов) любовь, оставшуюся нерас-траченной из-за отсутствия сыновей, находящихся в ссылке. Но не только она, все вокруг ведут себя аналогичным образом, в особенности мужчины, чьи чувства пока еще не стесняет боязнь людского мнения. В отношениях между дядей и племянником, между двоюродными братьями, между друзьями присутствует не только уважение со всеми его оттенками (*fidanza, fede, stima*), но нередко и любовь (*affection*). Любовь становится темой разговоров; о любви не возбраняется говорить и писать женщинам, использующим это чувство как средство продвижения детей по карьерной лестнице («Ты всегда относился к нему с любовью: помоги ему»); любовь определяет поступки людей, демонстрирующих свою солидарность с кровными родственниками (давая совет, помогая получить должность или справиться с управлением); примеров такой солидарности можно найти великое множество. Несмотря на «сбои» в системе линейной солидарности, несмотря на ссоры, семья остается средоточием взаимной любви, отмеченной тем особым духом, который позволяет даже дальним родственникам и друзьям почувствовать ее на себе (в наши дни мы этого не наблюдаем). Именно это дает основание сказать, что взаимная любовь (*affection*) — чувство активное, действенное, наиважнейшее для частной солидарности.

Любовь дополняют другие эмоции, которые, как мы видим, с легкостью распространяются в интимной, частной атмосфере.

Слава Богу, семье есть чем гордиться. Избрание одного из кузенов приором переполняет радостью весь линьяж. Письмо от уехавшего родственника или рождение ребенка также радует весь линьяж. Но самую большую радость, настоящее ликование вызывает другое событие частной жизни. Это событие — достаточно типичное, но исполненное глубокого символизма — не раз описывается у Боккаччо. Речь идет о неожиданном воссоединении семьи, на которое часто не было никакой надежды. Мать встречается с сыном: потоки слез, тысячи поцелуев, «излияния чистой радости». Отец узнает дочь — «безмерная радость», затем сына — начинаются нескончаемые расспросы, «перемежаемые слезами радости, проливаемыми вместе». Воссоздание разъединенной семьи — вот, по общему мнению, высшая радость.

В этих непрочных группах, которым периодически угрожают разлука, ссылки, болезни и смерть, любовь часто ассоциируется с заботливостью.

Тех, кто находится в отъезде, не забывают. Письма доносят до нас отголоски беспокойства родственников. Если ответ не приходит вовремя, к ожиданию примешивается *malinconia* (беспокойство): «Как описать эти два беспокойных месяца, когда о них не было никаких известий! Я была уверена, что с ними что-то случилось!» (Алессандра Строщи, 1451). Если же известия оказываются плохими, беспокойство перерастает в тревогу: «Поскольку природа его болезни была неизвестна, меня охватила тревога» (она же, 1459). То же чувство беспокойства, затем тревоги возникает, когда в доме заболевает кто-то из членов семьи, когда его состояние ухудшается, когда он мучается от боли.

Если смерти все-таки удастся сделать свое дело, члены семьи испытывают чувство боли, оттенки которого могут быть самые разные — от печали до отчаяния. Однако боль утраты, будучи прямой противоположностью взаимной любви, не в силах (именно по этой причине) поколебать сплоченность семейной сферы. В сплоченных семьях чем сильнее боль,

чем скорее эта взаимопомощь сближает сердца, тем больше она укрепляет связи домашней солидарности. Смерть юного (23-летнего) Маттео Строщи в Неаполе в 1459 году ошеломляет окружение матери юноши, Алессандры, оставшейся во Флоренции. Невыносимая скорбь пронизывает все письма соболезнования, которые во множестве присылают несчастной женщине. Окружающие как будто решили превзойти друг друга в предупредительности. Чтобы сообщить ей ужасную новость, один из кузенов Алессандры, получивший известие из Неаполя, зовет к себе нескольких родственников, вместе они встречают несчастную мать и со всей возможной тактичностью ставят ее в известность о случившемся; каждый из них утешает ее и сострадает ей. В разговорах, в письмах, которыми обмениваются родственники Алессандры, они успокаивают друг друга и призывают окружить ее заботой, поддержать в выпавших на ее долю испытаниях. Однако мона Алессандра вносит не меньший вклад в «мобилизацию» чувств, великодушно исполняя роль утешительницы, несмотря на постигшее ее горе. Как сердце, которое качает кровь по венам, так и Алессандра, являясь душой, «сердцем» дома, «распространяет» полученные ею свидетельства любви по всему «семейному организму». Жестокий удар, потрясший всех близких, в конечном счете укрепляет общее согласие и усиливает формы частной солидарности, даже если они не так тесно связаны друг с другом.

Частная среда — то место, где люди охотнее всего дают волю слезам. Принято ли плакать публично? Этого мы не знаем. Как бы там ни было, человек, находясь у себя дома, не стесняется плакать от боли или от радости во время траура или в случае воссоединения семьи. Чувствительность? Да, но также особый язык частной сферы. Разумеется, письма и литературные произведения, особенно книги Боккаччо, столь внимательного к проявлениям эмоций, содержат упоминания о том, как героини плачут, о тех слезах, которыми сопровождается мучительное осознание одиночества, вызванного смертью, разлукой,

расставанием, одним словом — отрывом от живительной домашней среды. Герои Боккаччо проливают слезы в одиночку; однако речь может идти не только об «индивидуальных» плачах, но и о «совместных» рыданиях, о «семейных» плачах в случае, если на дом обрушились жестокие невзгоды, не поддающиеся словесному описанию. Слезы — единственный подлинный язык абсолютного доверия и согласия. Это могут быть слезы любви (*affection*): встречаясь после долгих лет разлуки, люди молча сжимают друг друга в объятиях и плачут (Боккаччо, II, 6 и 8; V, 6 и 7); слезы сострадания (там же, II, 6; III, 7; VIII, 7); слезы раскаяния. И наконец, слезы общей боли. Все еще находясь под впечатлением от смерти своего юного шурина Маттео, Марко Паренти получает одно за другим два письма; первое, в котором говорится о переживаниях жены Марко, вызывает у него потоки слез; второе, рассказывающее о душевных муках тещи, потрясает его: «Я зарыдал еще сильнее», — говорит он. Эти слезы выражают здесь чувство глубокого сопереживания Марко при известии о невзгодах в семье его жены. Письма Марко полны сострадания к родственникам, но самым красноречивым свидетельством единения с ними служит рассказ о том, как он предавался рыданиям; «совместный» плач может передать больше, чем любые слова, даже если люди разделены большим расстоянием. В связи с этим надо заметить, что мужчины наравне с женщинами пользуются языком слез, и это расширяет и утверждает влияние такого «языка»; совместные рыдания ведут к преодолению всех условностей.

Есть и другие примеры «коллективного» плача; они предполагают участие исключительно женщин и касаются похорон членов клана. Правда, в этом случае речь идет о ритуальных плачах, предназначенных для того, чтобы прилюдно продемонстрировать скорбь семьи. Отказаться от них означает оскорбить честь покойного. Но крайняя, хотя и необходимая форма этих ритуалов искажает истинность чувств, ничего не привнося в интимную сферу семьи.

### *Развитие тела и ума*

Ум, как и чувствительность, формируется в семейной обстановке; развитие тела и развитие духа относится преимущественно к частной сфере; школа — какова бы ни была ее роль в воспитании ребенка (об этом ведутся споры) — вмешивается в данный процесс лишь на поздней стадии.

Первый этап воспитания начинается с детской бутылочки (или с женской груди). Этим занимаются кормилицы. Их следует тщательно отбирать; бойтесь как чумы, предупреждает Пальмиери, «кормилиц из числа татарок, сарацинок, варваров и прочих нехристей». Автор дает множество рекомендаций относительно груди кандидаток, их запаха, возраста, надежности и т.д. И он прав. На кормилицу ложится непростая задача: она должна не только кормить ребенка молоком, но и петь ему колыбельные песенки, исправлять, если нужно, заикание и даже с помощью особых манипуляций устранять отдельные недостатки внешности — форму носа, рта, косоглазие (Франческо ди Барберино).

Не дожидаясь, пока кормилица закончит свою работу, за воспитание ребенка принимаются родители. Сначала мать, чье участие кажется обязательным Леону Альберти, Франческо Барбаро и прочим моралистам («заботу о ребенке нежного возраста должны брать на себя женщины, кормилицы, матери», пишет Альберти); к ней вскоре присоединится отец, на которого моралисты возлагают главную ответственность за нравственное и интеллектуальное воспитание малыша. Вместе с воспитанием в самом раннем возрасте должно начаться и образование ребенка; подобная точка зрения широко распространена — ее выражает, среди прочих, Пальмиери. Некоторые, говорит он, откладывают образование детей до того момента, когда тем исполнится семь. Это, по его мнению, проявление лени. Детей нужно начинать учить навыкам письма, когда их еще кормят грудью. Заняться этим значит сэкономить время (два года). С семи лет у мальчика появляется учитель.

Моралисты (Маффео Веджо) настаивают на необходимости отправлять детей в школу, где те смогут найти себе товарищей. Другие предпочитают домашнего наставника: такой вариант выбирают родители Джованни Морелли (XIV век); позднее домашний учитель будет у Лоренцо Медичи и многих других.

Таким образом, в обеспеченных семьях, парадоксальным образом более близких в этом отношении крестьянам и простому народу, нежели средней буржуазии, весь цикл детского образования проходит — преимущественно или полностью — в рамках частного пространства. Пространства, которое становится благоприятным для нужд образования. С приближением Ренессанса обстановка в домах буржуазии все больше располагает к интеллектуальной жизни благодаря наличию нескольких комнат, тихих и уединенных (спален, *studio*), благодаря особой мебели (письменным столам, подставкам для книг, книжным полкам), благодаря библиотекам, украшению многих дворцов во Флоренции, Милане, Венеции, Неаполе, Риме. Пользовались всеми этими нововведениями прежде всего взрослые, которые и выступали их инициаторами, но и дети не были лишены к ним доступа.

Образование молодежи — всепоглощающая задача, к исполнению которой может быть привлечена значительная часть семейной группы. Возьмем, например, юного гуманиста Микеле Верини. Сначала за его воспитание берется отец, причем это происходит раньше обычного срока, когда мальчику еще нет семи лет. Но чем бóльших успехов добивается он в обучении, тем скорее растет число домашних учителей, достигнув полудюжины в период, когда мальчику 10–15 лет. Его дядя Паоло, которому около тридцати пяти, учит его основам математики (а также Священному Писанию); позднее обучение математике продолжит другой дядя мальчика, математик Лоренцо Лоренцини. Уроки латинского языка дают священник и грамматист — до того момента, как знаменитые Кристофоро Ландино и Анджело Полициано, удивленные способностями Микеле, соглашаются

уделить ему свое драгоценное время; Микеле нет еще и пятнадцати. Уроки проходят как вне дома, так и в его стенах. Мальчик находит трогательные слова, чтобы выразить нежную любовь, испытываемую им ко всем учителям, которые осуществляют по отношению к нему *paternum officium* (родительскую функцию). Будучи его наставниками, эти выдающиеся личности — почти все профессора Флорентийского *studio* (университета) — вступают в частную сферу Микеле. Отец, дядья, свойственники, прославленные *amici* — все родственники посвящают образованию ребенка много времени и внимания. Ради ученика они переезжают с места на место, переписываются, консультируются друг с другом, обмениваясь новостями, советами, проектами. Окружение молодого человека, особенно если речь идет об известном роде, старается сделать все, чтобы обеспечить ему будущее.

Таким образом, цели домашнего образования отнюдь не всегда частные. Учить мальчика означает прежде всего давать ему необходимую подготовку для быстрого освоения навыков будущей профессии и для достойного и продуктивного участия в публичной жизни. Буржуазные семьи считают делом чести подготовить сыновей для будущей политической карьеры. Тем не менее отметим вместе с Пальмиери, что, давая образование мальчикам, наставники не учили их отдельно, «как вести дела, как разговаривать с согражданами, <...> как управлять домом; все постигалось одновременно и опытным путем». В мире, где семья и линияж играют определяющую роль в политической жизни, ключом к успеху таких объединений в публичной сфере служит приверженность лежащим в их основе частным ценностям.

В деле обучения дочерей семьи не проявляют подобного рвения. Хотя известно, что уже к 1338 году во флорентийских школах обучались дети обоего пола, одновременно идут жаркие споры о праве женщин на образование, и многие моралисты относятся к этой идее враждебно. Светские дамы — особый случай. Их общественные обязанности предполагают

определенный уровень культуры. Поэтому они умеют писать, и довольно неплохо; многие любят читать; в XV веке самые способные из них изучают латынь и даже греческий, удостаиваясь похвалы от гуманистов вроде Леонардо Бруни. Такой же набор дисциплин преподают будущим монахиням: чтение, письмо, иногда латинский язык. Но за пределами этого привилегированного круга образование женщин ориентировано главным образом на подготовку к семейной жизни, воспитанию детей, частным обязанностям и ценностям. В трудах Франческо Барбаро («De re uxoria», 1416) и Маффео Веджо («De educatione liberorum», 1440), посвященных соответственно браку и воспитанию детей, проводится именно такая точка зрения. Девушка-подросток, примеряя на себя роль матери, будущей хранительницы морали и веры, образца для дочерей, должна, по словам Веджо, «воспитываться на священных книгах, которые научат ее вести жизнь размеренную, целомудренную, праведную и всецело отдаваться домашней работе», перемежаемой лишь молитвой. Барбаро делает больший акцент на практической форме образования, однако в целом точка зрения этих двух и многих других авторов совпадает. Поскольку мать семейства в их глазах предстает как подлинная хранительница частных ценностей, они считают желательным, чтобы она полностью посвятила себя защите этих ценностей и их передаче следующим поколениям. Обучение девушек будет проходить соответственно.

*Интимность частной среды  
по отношению к внешнему миру*

*Постоянные посетители*

Как бы ни были частные среды, прежде всего семейная, ограждены от толпы, как бы их ни защищали двери, замки, барьеры недоверия и взаимной солидарности, все-таки они

открывались внешнему миру, причем могли это делать в любую минуту, подчиняясь нуждам момента.

Даже самые защищенные дома не были неприступными крепостями: через разные бреши в них проникали нахалы и незваные гости. Семейная жизнь не замыкается в пределах дома. Любая перемена в настроении, поведении, в наружности обитателей домов не остается незамеченной соседями по кварталу (Боккаччо, IX, 5). Жители близлежащих домов не упускают случая понаблюдать друг за другом, если зрелище того сто́ит. Узость улиц порождает невольный вуайеризм. Вопрос судьи: «Действительно ли мона Сельвацца занимается проституцией?», ответ честной соседки: «Из окна, выходящего на дом моны С., я видела множество раз, как она ложилась в постель голый с совершенно голыми мужчинами и занималась с ними всеми теми гнусными вещами, которыми обычно занимаются проститутки» (Флоренция, 1400). Ничего не ускользает от любопытных взглядов кумушек, и любовные приключения соседей становятся главной темой пересудов и сплетен.

Проникнуть в чужой дом так же легко, как и шпионить за его обитателями. Возле дверей домов постоянно толчется множество посторонних — нищих, исполнителей серенад, ухажеров; многие попадают внутрь жилища. Не считая мелких сошек — профессиональных попрошаек или детворы, — в течение всей недели дом доступен для людей, без которых была бы невозможна жизнь семьи. Исполщики, принося оброк, доставляют его до самых дверей амбара или другого хранилища (иногда, чтобы перевезти все продукты с фермы, приходится гонять осла туда и обратно не меньше сотни раз); бродячие торговцы, чтобы показать свой товар, должны войти в прихожую; служанка соседа приходит повидать подругу; периодически наведывается цирюльник (в Равенне статуты обязывают обслуживать клиента дома, если клиент — рыцарь); в случае заболевания кого-нибудь из членов семьи в дом пускают врача; в случае родов — повивальную бабку; если

необходимо подписать договор — нотариуса и свидетелей; для обсуждения условий при подготовке к женитьбе — официальных посредников; для исполнения различных церковных услуг (посещение больных, соборование) — священников и т.д. Документы сохранили множество примеров таких непланируемых, но обыденных визитов. Прибавим к этим проходным фигурам также случайных собутыльников, сотрапезников, бедняков, которым устраивают бесплатные обеды, наконец, постояльцев — людей, которых зажиточные семьи принимают у себя на одну или несколько ночей, считая это своим долгом в соответствии со своеобразным моральным кодексом богатых, разработанным, среди прочих, неаполитанцем Джованни Понтано (конец XV века); щедрость и гостеприимство — неотъемлемая часть обязанностей обеспеченных кругов.

Не всем посетителям разрешалось проходить в интимную, личную часть дома — неважно, проводили ли они здесь несколько мгновений или целый день. Многих не пускают дальше прихожей. Других — собутыльников — принимают, по всей видимости, в гостиной на первом этаже, с прилегающим к ней погребом; в другой гостиной, на втором этаже, обсуждают дела, ужинают, беседуют с гостями. Более закрытым местом остается спальня, но даже она не вполне изолирована от внешнего мира. Туда запросто пускают шутов, иногда — арендаторов земель хозяев дома, а в случае болезни одного из членов семьи — цирюльников, врачей, акушеров, священников с клириками. В *rocche* (загородных домах) феодальной буржуазии спальня нередко столь же значима, сколь и ее аналог в королевских дворцах: так же как монархи хранят в сундуках сокровища, сеньоры держат там документы, подтверждающие их власть; именно в спальне в присутствии нотариусов и свидетелей заключаются важные договоры.

Законы гостеприимства требуют предложить гостям кресло — у очага или за столом. Чтобы выслушать исповедь больного или пощупать ему пульс, одним словом — чтобы

выполнить свои обязанности, священники и врачи должны сесть на постель. Что до тех гостей, которых оставляют в доме на ночь, им порой приходится делить постель с кем-то из обитателей дома — обычная практика, распространенная в больницах и гостиницах и принятая здесь без лишних церемоний.

Первый контакт частной ячейки с внешним миром, будучи столь простым и банальным, не сулит никаких особых потрясений для сокровенности семейной обстановки, если не считать опасности распространения слухов или совершения краж (эхо подобных страхов можно встретить у святого Бернардина). Кроме того, возникновение новой, «импровизированной» среды может спровоцировать конфликт либо, напротив, привести к неожиданной и даже излишней близости между гостем и хозяином.

### *Завоевание женщинами внешнего мира*

Женщине, особенно если она молода и не замужем, трудно выйти за рамки этих эпизодических отношений и остаться один на один с внешним миром. Женщину принято держать под надзором: общественное мнение находит это вполне нормальным, а моралисты вторят ему дружным хором. По мнению Паоло да Чертальдо, «женщина — существо пустое и легкомысленное. <...> Если в твоём доме живут женщины, держи их под строгим надзором; часто устраивай обход дома и, занимаясь своими делами, не забывай держать их [женщин] в подчинении и страхе». И дальше: «Пусть женщина возьмет за образец Деву Марию, которая не выходила из дома, чтобы болтать с каждым встречным и поперечным, которая не заглядывалась на красивых мужчин и не слушала их льстивых речей. Нет, она оставалась дома, в четырех стенах, скрытая от чужих взоров, как и должно».

Пока девочки маленькие, им оказывается некоторое снисхождение. Конечно, с раннего детства (с трех лет) они

имеют отдельные от мальчиков постели и спальни и на ночь облачаются в длинную рубашку (впрочем, как и мальчики): стыд обязывает (Дж. Доминичи). Но никто не думает запрещать им выходить на улицу, чтобы исполнить чье-либо поручение или поиграть со сверстницами (!); если к ним приезжает дядя, они могут свободно сопровождать его повсюду; не возбраняется и собираться в доме одной из них (вспомним о поведении юной Катерины ди Бенинкасы, а ведь у нее была очень строгая мать!).

В двенадцать лет свобода кончается. Екатерина, в соответствии с кутюмом, действующим в то время в Сиене, лишается права выходить из дома. Ее бдительно охраняют отец и братья (их роль трудно переоценить); судя по тому, как часто моралисты обращались к данной теме, она сильно будоражила общественное мнение. В это время, полагает Фра Паолино, отцы должны удвоить внимание по отношению к девочкам, запретив им не только прогулки по городу, но даже private беседы в доме. Только усердный и бессловесный домашний труд может изгнать глупые мысли из голов юных ветрениц. Франческо ди Барберино больше внимания обращает на социальный статус девочки. Хотя воспитание юных аристократок не должно быть столь же суровым, как и дочерей монарших особ, с ними все-таки надо быть очень строгим: беречь от мужчин, от романтических приключений, от нескромных взглядов; девочкам не следует покидать пределов дома и приближаться к окнам. Низшие сословия не нуждаются в таких предосторожностях. Маффео Веджо, со своей стороны, предостерегает девиц от дружбы с незнакомыми юношами и девушками, от излишне доверительных отношений со служанками. За всем этим должна следить мать. Забота семьи о девушках столь велика, что их даже не водят на проповеди, несмотря на гневные призывы священнослужителей. Набожность, стыдливость, целомудрие — вот главные слова для характеристики идеального поведения юной девушки.

Замужество несет в себе лишь частичное освобождение от домашнего затворничества. Несмотря на новые обязанности — роль хозяйки дома, — девушка в своих отношениях с миром подчинена воле мужа. Некоторые ревнивцы доводят дело до крайности: «Не имея права пойти ни на свадьбу, ни на пир, ни в церковь, не прося даже самого малого — позволения выйти из дома, супруга [одного купца из Римини] не смела ни приблизиться к окну, ни взглянуть — что бы ни произошло — на внешний мир» (Боккаччо, VII, 5). Это исключительный случай, он редко встречается и вызывает негодование всех женщин. Но если у тебя такой муж, что поделаешь?

Преувеличенная строгость моралистов по отношению к пятнадцатилетним девочкам наводит на подозрение: тут что-то не так. Видимо, частное пространство женщины не было абсолютно непроницаемым для посторонних, несмотря на все нотации нравоучителей. Но их тон заставляет задаться вопросом: не было ли в этой защите слишком много брешей?

Дома, окруженные неприступными стенами, все же связаны с внешним миром посредством обычных каналов, а именно окон и дверей, к которым, как мы видели, с подозрением относились ригористы. Окно — это большой соблазн и источник развлечения, ибо через него чудесным образом открывается вид на улицу; при этом оно защищено от нескромных взглядов высотой расположения (на втором этаже) и раздвигающимися пластинами жалюзи. Оттуда подглядывают, смотрят, переговариваются с жителями соседних домов; через них дают увидеть себя. Томные красавицы «сидят возле них весь день напролет, опершись локтями на подставку и держа в руках работу, которую никак не могут закончить» (Альберти). Дверь на улицу — излюбленное место дам, которые погожим вечерами усаживаются возле входа, провожая взглядом прохожих (святой Антонин). Из-за близости улицы и связанных с ней опасностей здесь разрешается сидеть лишь матронам; юным девушкам дозволено появляться у окна

только в сопровождении взрослых. Однако это престижное место — именно у входа в дом в определенные законом дни собирается женская половина дома. В Милане можно видеть «матрон и девиц, сидящих на крыльце дома в праздничные дни; они так блистают золотом, серебром, эмалью, жемчугом, рассыпанными по их нарядам, что их можно принять за королев или за принцесс крови» (Г. Фьямма).

Контакты женщин и девушек с внешним миром редко ограничиваются лишь этим. Домашние и религиозные обязанности домохозяек заставляют большинство из них ежедневно выходить за пределы своего жилища. Некоторые женщины, особенно из бедной среды, работают вне дома. Другие встречаются у лотков торговцев, на рынках, возле колодцев, на мельницах. Еще одно средство вырваться за пределы частной среды — посещение церкви, к которому особенно часто прибегают представительницы высших кругов, ибо наличие служанок лишает их возможности покидать дом под предлогом похода за покупками и дает этим дамам много свободного времени. Наши богомолки находят тысячи поводов проводить в церкви ежедневно по несколько часов, особенно в праздники или в дни Великого поста; для женщин этой среды считается хорошим тоном встречаться во время определенных церемоний: «В воскресное утро все женщины собираются в церкви францисканцев» («Пекороне»). Мы видим также, что и юные девушки, во всяком случае из небогатых семей, вместе с подругами (вдвоем или втроем), посещают церкви, причем без всякого сопровождения (Боккаччо, IV, 7).

Взгляд из окна или выход за порог дома чреват столкновениями и встречами с посторонними людьми, никак не связанными с частной сферой, и прежде всего с мужчинами, с молодыми людьми. Это может закончиться влюбленностью.

Привязанность часто возникает из детской дружбы или продолжительного знакомства. Она может зародиться случайно — во время совместного пребывания в гостинице.

Но в семьях городской буржуазии, где девушки, находясь под строгим надзором, открывают для себя мир лишь через окно, влюбленность начинается со взглядов. Простушке достаточно увидеть щеголя, чтобы в него влюбиться (одна сицилийка, дочь аптекаря, «прильнувшая к окну, как и другие дамы», совершает ошибку — влюбляется в самого короля: Палермо, 1280); однако еще больше будоражит кровь обмен взглядами. Под окнами девушек прохаживаются юные франты, и горе той, кто встретится с ними глазами! Влюбленная девушка использует, без ведома родителей или с их молчаливого согласия, всевозможные ухищрения для обольщения и завоевания избранника. Вот какой диалог происходит в Венеции между матерью и дочкой: «Дочь, где твой платок? — Но, мама, вчера вечером, когда я стояла на балконе, он развязался и каким-то образом упал с моей шеи. Этот молодой человек его подобрал». Мать (опытная женщина): «И сколько времени вы уже прибегаете к этой уловке? — Уже почти год, мама» (Леонардо Джустиниан, начало XV века). Генуэзские девушки мало отличаются от венецианок; местный стихотворец пишет: «Вот юные нимфы, достигшие брачного возраста; каждый может их видеть стоящими в свете окон; они смотрят в окно и, конечно, хотят, чтобы смотрели на них. Каждая из девушек улыбается своему кавалеру. И вот она бросает ему цветы, плоды, орехи — все, что могло бы послужить залогом ее любви. Молодые люди обмениваются тысячами признаний и шуток. <...> Отец, заставший дочь за этой игрой, не высказывает ей своего неудовольствия, хотя речь идет, в сущности, о любовном свидании: какой бы она ни жила отшельницей, ей не возбраняется говорить избраннику тысячи нежных слов; но мечтам не суждено осуществиться». Днем и ночью отовсюду слышатся альборады и серенады\*; упомянем также бесчисленные праздники, которые издавна сводят вместе парней и девушек.

\* Альборады исполнялись утром, серенады — вечером.

### **Брак, разрыв и соединение двух частных сфер**

Тем не менее поворотным моментом в жизни женщины, знаменующим распад ее частной среды, было замужество. В XIV столетии влюбленности проходят быстро; девушек очень рано выдают замуж. Средний возраст, в котором они вступают в брак, составляет в 1370 году шестнадцать лет (Прато, Тоскана), в 1427-м — семнадцать с половиной (в том же Прато и во Флоренции). В Сиене о возможном замужестве дочери родители начинают думать, когда той исполняется двенадцать (середина XIV столетия); век спустя этот возраст смещается к четырнадцати годам, а само бракосочетание происходит обычно по достижении девушкой шестнадцати — восемнадцати лет. Но и здесь эволюция не останавливается. В 1470 году в Прато, во Флоренции и их пригородах возраст невест обычно составляет полных двадцать лет и даже двадцать один год (Прато). Быть может, этим объясняется расцвет романтических настроений, описанных выше. Чаще всего все эти романтические приключения были непродолжительными и быстро забывались.

Законный брак — вот что имело подлинное значение, и, каков бы ни был возраст девушки, родители со всей серьезностью подходили к столь важному для частной среды событию. Достойный кандидат выбирался в течение длительного времени, иногда это длилось в течение нескольких лет. Одновременно родители или третьи лица — профессиональные посредники — выступают с различными инициативами, а от девушек требуется в полной мере проявить искусство обольщения. Ничего не получится, если они не смогут привлечь молодого человека. Речь, разумеется, не идет о действиях, каким-либо образом компрометирующих барышню; родители ограничиваются тем, что сажают ее у окна или у входа в дом в компании других дам; церемонные и чопорные, они представляют некое подобие живой картины. Будущая невеста должна быть чистой («Умой лицо!» — ворчит мона Лаппа, обращаясь к своей дочери, Екатерине Сиенской), хорошо причесанной,

изысканно одетой — так сказать, воплощенный идеал девушки, которая, несмотря на застенчивость и боязнь лишней улыбки, станет объектом обожания и надежд молодых людей. Если все пойдет хорошо, в претендентах на ее руку не будет недостатка. Тогда перед родителями встанет проблема выбора. Любые детали и соображения будут приняты в расчет: размер приданого невесты (их дочери), социальное происхождение жениха, его профессия (допускает ли она союзы? Означает ли повышение статуса невесты? Ремесленник считается хорошей партией для крестьянки, Фьезоле, 1338), дипломатические таланты его родственников, их местожительство (лучше, если их дом находится по соседству), согласие линьяжа (хотя бы негласное)... и даже согласие дочери. Моралисты не скупятся на советы. Доминичи: «Выдай дочь замуж за человека твоего круга, приготовь требуемое приданое». Альберти: «Жениться — значит искать красоты, связей, богатства. Окружите себя советами стариков. Они досконально знают семьи всех молодых людей, всех их предков». Ни один брак не бывает удачным без сближения двух частных сред — жениха и невесты.

Устройство браков своих дочерей, а потом и сыновей становится делом первостепенной важности для Алессандры Строцци. С успехом справившись с первой частью операции, она приступает ко второй при поддержке двух зятюв. Сколько инициатив, сколько тайных совещаний, сколько колебаний! Некоторые из девушек, которых она имеет возможность увидеть в церкви или в гостиной отцовского дома, поистине очаровательны. Увы! У каждой есть свой недостаток: одна взбалмошна, другая бедна, третья из недостаточно влиятельной семьи. В конце концов Алессандра выберет подходящую кандидатуру, но это будет стоить ей многих усилий. Ничем нельзя пренебрегать, когда речь идет о благополучии, чести, безопасности, выживании семьи и частной среды.

Наконец наступает момент бракосочетания со свойственным ему церемониалом. Сложность ритуала, формировавшегося

веками, подчеркивает значение этой минуты для представителей двух частных сред, которые в мгновение соединяются. Купец Грегорио Дати отмечает в своем дневнике (1393): «Тридцать первого марта 1393 года я согласился взять в жены Изабетту, поклявшись в этом под присягой. Седьмого апреля, в понедельник после Пасхи, я дал ей кольцо в присутствии нотариуса, сера Луки. Двадцать второго июня, в воскресенье, в десятом часу, она переехала в дом ко мне, ее мужу, по воле Бога и Фортуны». Без излишнего романтизма, нередко в той же безличной манере, присущей деловым людям, молодой муж скрупулезно описывает бракосочетание в том виде, в каком оно существовало в современную ему эпоху в Тоскане — все три традиционных этапа церемонии. Итак, переговоры двух семейств закончились успешно. Первый договор официально подтверждает согласие обеих сторон на брак. Через несколько дней (как в случае с Грегорио), недель, месяцев или лет состоится помолвка в собственном смысле слова. Жених в присутствии нотариуса дает расписку о получении приданого (Грегорио не вспоминает об этой формальности), затем тот же нотариус спрашивает о согласии на брак у жениха и невесты и присутствует при обмене кольцами: никакого священника поблизости еще нет. На вопрос «Хотите ли вы...» жених и невеста отвечают «Да» или «Да, сударь» («Messer si», город Поппи, область Казентино, 1388), после чего жених надевает кольцо из золота или из позолоченного серебра на безымянный палец правой руки невесты. В Болонье рыцари и ученые получают право на два кольца; а когда в 1350 году Леопольд Австрийский женится на Виридис Висконти из Милана, в обиходе уже три золотых кольца. Почтенный отец семейства (*pater familias*) — или его старший сын, если отца нет в живых, — обзаведясь зятем, официально уступает ему власть над своей дочерью или сестрой. Комическая деталь: случается, что в момент произнесения женихом слова «Да» один из присутствующих довольно сильно хлопает его по спине (этот сюжет часто

воспроизводится на фресках, посвященных бракосочетанию Святой Девы); удар призван символизировать всю глубину досады, которую испытывают местные парни по отношению к такому шагу жениха. Остается третий этап церемонии — поселение в доме мужа, начало совместной жизни. Этот благословенный момент — увы! — часто запаздывает, иногда на месяцы и даже на целые годы (нередко из-за финансовых проблем); многие юные девушки, *maritate*, но не *ite* (замужние, но не живущие в доме мужа), остаются в своих семьях по вине родителей, не сумевших собрать необходимое приданое. К счастью, такие препятствия обычно удается устранить; обрывается новая маленькая частная ячейка — она отделяется от материнской и начинает жить собственной жизнью.

### *Тайное бегство из частной сферы семьи*

Случайная влюбленность не всегда заканчивается браком; это скорее исключение: обычно поклонники бывают одного возраста с девушкой, а муж должен быть постарше. Но случается, что ранние романы приводят к иным результатам. Не все браки счастливы, и супруги не всегда верны друг другу. Из домашней частной сферы (из супружеской среды) люди нередко пытаются вырваться украдкой, не делая шума. Когда имеешь дело с тайными романами, которые так любят писатели и столь сильно желают скрыть главные действующие лица, крайне сложно выделить конкретные факты, независимо от трагического или мирного исхода романа. Однако тайные романы присутствуют в повседневной жизни каждого: о них рассказывают, над ними смеются, по их поводу переживают, для многих они представляют одну из фундаментальных возможностей выбора новой, утверждающейся частной среды.

Благодаря служанкам, рабыням, нередко молодым и привлекательным, мужчины получают шанс расслабиться, что удерживает их от романов на стороне. Читая воспоминания

(*ricordanze*) представителей буржуазии, постоянно сталкиваясь с упоминаниями о целой ораве незаконнорожденных детей, живущих в доме. Маргарита Датини жалуется на юных служанок (1390), а меняла Липпо дель Сега отмечает свое семидесятилетие насилием над служанкой (Флоренция, 1363). Таков общий фон картины. Присутствие в доме кузин и племянниц тоже может создавать неудобства, особенно если все спят в одной спальне. Иногда суду приходится рассматривать дела об инцесте (любовной связи с кузиной или с племянницей — *contado*\* Пизы, 1413), и не исключено, что подобная девиация была распространена шире, чем это кажется.

Единичные или повторяющиеся любовные связи, тривиальные романы или прочные привязанности зарождаются за пределами дома. Во всех городах и даже посадах (Лигурия) есть проститутки. Их наличие отмечается из века в век, несмотря на преграды, которые ставят у них на пути коммуны (ограничения, касающиеся одежды, жилища, времени выхода на улицу; налоги). Но ограничения становятся все менее строгими. Появляются публичные дома (Флоренция, 1325, 1414; Генуя, до 1336); случается, что подобному виду бизнеса даже потворствуют, считая его меньшим злом по сравнению с иными «пороками» — например, с гомосексуализмом (Флоренция, 1403). Неизменное присутствие и невиданное количество проституток, особенно впечатляющее в Венеции (более 11 тысяч в XVI веке), Риме и Неаполе; положение, богатство и известность в свете некоторых из них в Риме и Венеции конца XV столетия — все указывает на успех этих дам и их роль в подспудном (или открытом) разрушении барьеров замкнутого частного пространства на всех социальных уровнях.

Случайные гомосексуальные связи имеют те же последствия, подчас создавая довольно устойчивую частную среду, объединяющую партнеров. Гомосексуалистов можно встретить

\* Окрестности (итал.).

повсюду — в Неаполе, Болонье, Венеции, Генуе, но гневные тирады лучших тосканских проповедников (Джордано Пизанский, ок. 1310; Бернардин Сиенский, ок. 1420), критические стрелы Данте («Ад», XV, XVI), обеспокоенность властей и суровость принятых ими мер (начало XIV и начало XV века) свидетельствуют о том, что главными очагами распространения гомосексуализма были тосканские города — Сиена и особенно Флоренция (по-немецки «flogenzer» значило «гомосексуалист»). Тем не менее диатрибы упомянутых выше проповедников расставляют все точки над «i»: речь идет об отношениях, распространенных среди мужчин и мальчиков в возрасте от восьми до тридцати лет; все они или большая часть из них — холостяки. Поэтому эта практика была не столько альтернативой частной супружеской среде, сколько примером разрозненных попыток со стороны «молодежи» — мужчин, вынужденных очень поздно вступать в брак, — обрести идентичность и собственную частную среду. И все же речь идет о явном отклонении от привычных норм морали в частной сфере, так что распространение подобных привычек становится серьезной проблемой. Не рассматривая всех доводов святого Антонина, отметим его точку зрения: он обвиняет родителей, которые не пресекли «детские забавы», в излишней мягкости и преступной снисходительности, связывая педерастию с мутациями частной семейной сферы. В действительности причина была, возможно, в том, что традиционно мужские области деятельности (борьба, политика, война) утратили престиж, а ценности, воспринимаемые как женские — обходительность, учтивость, чувственность, — приобрели в глазах мужчин большую привлекательность; одновременно с этим власть отцов над сыновьями, уже вступившими на путь профессиональной карьеры, ослабла, ибо первые нередко находились в отъезде или уже пребывали в преклонном возрасте (если вообще были живы).

Наконец, надо отметить тайные романы — настоящие любовные драмы. Главными действующими лицами здесь

выступают члены семей: мужчины и их спутницы, подростки и кокетки, о которых мы писали выше. Еще будучи незамужними, они пытаются обрести независимость; выйдя замуж, они продолжают свои попытки, создав себе, как и мужчины, иную частную среду, существующую наравне с традиционной домашней средой. Писатели готовы без конца говорить об обстоятельствах возникновения любовных романов — от первого душевного порыва до конечного экстаза. Влюбленные обмениваются подарками; посредницы (часто в их роли выступают служанки) осуществляют связь между ними; назначаются свидания — в доме, в саду, в парильнях; коварные уловки ревнивцев удается обойти — и да здравствует любовь! Случается, что повороты судьбы ведут к обмену женами (Боккаччо, VIII, 8) или к двоеженству. О распространении этого явления свидетельствуют и законы, направленные на борьбу с ним (Венеция, 1288; Генуя, XIII век; Болонья, 1498), но они не раскрывают особенностей конкретных ситуаций. Иногда, напротив, дело заканчивается плохо; любовники отправляют в лучший мир опостылевшего мужа. Фарс оборачивается драмой. Когда в архивах судебных ведомств в наших руках оказываются документы по одному из таких эпизодов, с протоколами допросов убийц и соучастников, мы как будто становимся свидетелями подлинной трагедии и с замиранием сердца следим за развитием событий. Желание молодых людей, девушек, супругов выйти за пределы домашней жизни обретает в тайных романах свое логическое завершение. Если верить рассказам писателей (даже они иногда настроены довольно скептически), подобные романы не всегда бывали безоблачными и не всегда счастливыми.

### *Публичная демонстрация частной жизни*

В некоторых случаях, обычно четко определенных законом, семья (в узком или широком смысле) сознательно открывает внешнему миру доступ в свою среду и в свои частные

дела. Как и в других странах, в Италии это происходит в поворотные моменты жизни семьи, когда частные события неизбежно требуют присутствия публики в качестве свидетелей и участников: это свадьба, похороны, крещение, долгожданная встреча, посвящение сына в рыцари и т.д. Во всех социальных средах этим церемониям придается определенная публичная форма; толпа, которая спешит принять участие в данном событии, намного превосходит численность семьи и пределы частной среды. Долгий процесс заключения брака начинается как вполне частный (обещание, передача кольца), но завершающие обряды — начало совместного проживания, посещение отцовского дома (в городе Кьоджа XIII века эти события разделены восемью днями) — проходят публично, с помпой, особенно среди «толстых» горожан. Гости, знакомые, клиенты, празднующиеся — сотни людей ежедневно веселятся на гуляниях, устраиваемых Джованни Ручеллаи в июне 1466 года по случаю свадьбы его сына Бернардо и Наннины де Медичи, внучки Козимо. Хранилища, конюшни, подвалы заполняются подарками (прежде всего вином), отправленными от имени городов, монастырей, безвестных крестьян и, разумеется, родственников.

«Приведение к мужу» (*ductio ad maritum*)\* настолько вошло в традицию как публичный акт, что с XIV века во многих местах (Пьемонт, Ломбардия, Тоскана) обычай позволяет спонтанное вмешательство местной общины в это мероприятие. Не случайно главной мишенью подобных законов избраны повторные браки (особенно с XV века): ватаги юнцов, а иногда и вся публика, собравшаяся посмотреть на зрелище, приветствуют свадебный кортеж громким улюлюканьем (оно называлось «*mattinate*», по-французски — «*charivari*»), сопровождаемым насмешками, дикими воплями и звуками, неприличными замечаниями и т.д.; завершается все разбрасыванием монет и раздачей вина.



\* Процессия, в которой невесту в сопровождении родственников торжественно вели в дом мужа, где им отныне предстояло жить вместе.

Смерть, причем не только великих мира сего, привлекает толпу зевак, встревоженных душераздирающими причитаниями женщин. Женщины собираются вокруг тела внутри церкви; мужчины остаются за ее стенами (Флоренция, XIV век).

Наконец, возвращение издалека, долгожданная встреча, примирение между линияжами (немаловажное для Италии событие) дают повод организовать празднества, на которые также собирается публика.

Эти церемонии, какими бы они ни были, затрагивают честь семьи. Нельзя ударить в грязь лицом перед посторонними. Забота о репутации рода требует организации и регламентации празднеств, скрывающих за красивым фасадом семейные тайны, гуляниям придается невиданная помпезность, подчеркивающая значение семьи, оплошностей быть не должно.

Роскошные приемы подразумевают, конечно, обилие еды и выпивки. Здесь, как и всюду, пиры представляют собой одну из главных составляющих «показного» гостеприимства. По случаю бракосочетания своего сына Бернардо Джованни Ручеллаи приказывает возвести на широком участке улицы помост площадью 180 квадратных метров и накрыть столы, за которыми в течение восьми дней будут пировать гости (до пятисот человек в день). Поблизости специально ради этой церемонии строят кухню, на которой суетятся пятьдесят поваров и поварят, чтобы обеспечить всех желающих едой. Одни блюда сменяются другими. Любое удачное дело или встреча завершается пиршеством, хотя и не всегда таким роскошным. Изобилию угощений не должна уступать изысканность убранства. Будучи известным человеком, Ручеллаи позаботился о том, чтобы украсить возвышение, на котором проходит пир, гобеленами, дорогими тканями, изысканной мебелью. Для защиты от непогоды над головами гостей натянут огромный тент из светло-голубой материи, шитой золотыми нитками и украшенной гирляндами с вплетенными в них розами. На помосте возвышается чеканный серебряный стол

для сервировки еды. В более скромных семьях пол гостиной устилают травой, а на стену или на окна вешают гобелены, дорогие ткани или просто куски материи, хранящиеся для торжественных случаев в сундуках.

Самым распространенным способом заявить о себе — способом, требующим, правда, особых усилий, — является демонстрация личных украшений, одежды и макияжа. Чтобы показаться на публике за пределами частной сферы, требуется парадная одежда. Всякий раз, когда намечается семейное торжество, например свадьба, внушительные суммы тратятся на новые наряды (речь идет о буржуазной среде). В числе иных предметов и украшений Марко Паренти подарил своей юной невесте два супердорогих подвенечных наряда (*giornea* и *cotta*<sup>\*</sup>) и головной убор из павлиньих перьев, что обошлось ему в тысячу лир, а это равняется сумме, которую хороший каменщик зарабатывает за три, четыре или пять лет упорной работы. И остальные подарки были в том же роде. Даже для неофициальных визитов, например для посещения рожениц (дам из высшего общества), необходима более или менее парадная одежда. Лукреция Торнабуони, с которой Гирландайо должен был писать святую Елизавету для фрески в церкви Санта-Мария-Новелла, выбирает для своей героини роскошное одеяние: великолепный гарнаш (*guarnacca*) из темно-розового шелка, усеянного золотыми звездами, надет поверх гамурры (*gamurra*) белого шелка, расшитого гранатами и цветами, а из разрезов на рукавах выступает пышная ткань рубашки<sup>\*\*</sup>.

Разнообразие и роскошь парадных костюмов (особенно женских) с течением времени лишь увеличиваются; качество тканей улучшается, все чаще используется как повседневная одежда из шелка, причем более изысканного сорта; появляются дорогие аксессуары. Так, из почти 200 предметов женского

\* Тога и котта (итал.).

\*\* Подробнее о женской одежде рассматриваемой эпохи см. главу 3, «Отношение к интимности в XIV–XV веках».

туалета, зафиксированных в одном документе (Болонья, 1401), 24 были украшены серебром, 68 — золотом (бахрома, вышивка, парча), 48 отделаны мехом. Судя по сохранившимся описям имущества, для представительниц аристократических кругов XV столетия одежда служила средством подчеркнуть свой статус. Причем, по-видимому, женщины не стремились указать на свою принадлежность к определенному клану или семье; им было важно продемонстрировать свою индивидуальность и отличие от себе подобных. Это достигалось с помощью оригинального туалета, особого макияжа и прически, открывавшей лицо. Роскошность женской одежды публично утверждает социальный статус семьи и частной среды, однако не позволяет «идентифицировать» конкретную семью или род. Парадная одежда, подчеркивая индивидуальность и своеобразие черт того, кто ее носит, означает для женщин повышение их престижа, равно как и компенсацию за подчиненное положение в частной жизни.

### *Вмешательство властей в частную жизнь*

Определяющая роль частных занятий и ценностей — в первую очередь частных занятий и ценностей семьи — в жизни людей и в жизни сообществ неизбежно привлекает внимание властей и обуславливает их вмешательство.

### *Законодательство коммун*

В коммунах очень рано отмечается факт существования частных групп. Слова «*consortes*», «семья», «происхождение», «братья» часто встречаются в официальных документах как некая данность — гуманитарная, социальная и, конечно, политическая, — с которой надо считаться. Власти к семейным группам относятся с подозрением, ведь в итальянских городах XIII века, еще политически слабых, они фактически

начинают доминировать. Дают о себе знать амбиции семейств, соперничающих друг с другом из-за своих частных интересов. Аппетиты этих могущественных кланов (современники называют их *magnati*) власти ограничивают с помощью законов. Первоначальное законодательство властей городских коммун направлено именно на это: оно устанавливает мир между частными группами.

Вне зависимости от отношения к амбициям кланов (группировки, стоящие у власти, благоволят семьям, которые им преданы), это законодательство не имело бы почти никакого влияния на частную жизнь, если бы его авторы не пытались регламентировать ее содержание. Римское право регулирует частную жизнь в той же степени, что и публичную; выше я уже писал о значении работы болонских глоссаторов\* XII–XIII веков, уточнивших права и роль отца семейства (*pater familias*). По их примеру коммуны постоянно ставят в центр внимания содержание частной жизни, и статуты, которые они принимают на протяжении XII–XIV веков, в полной мере об этом свидетельствуют. Мы видим, что муниципалитеты издают законы, касающиеся частных домов — их высоты, материала, из которого их следует строить, линии застройки (Сиена, XIV век); законы вправе устанавливать налог на выступающие части зданий, ограничивать высоту башен и т.д. Многие законы требуют, чтобы владельцы имущества сообщали о нем властям в целях оптимизации налогообложения (первые кадастры засвидетельствованы в XIII–XV веках в Вероне, Венеции, Перудже, Флоренции); они регламентируют и управление имуществом (обязанности, наследование, приданое). В частную сферу законы вмешиваются прежде всего ради определения и регламентации власти мужа, прав жены и детей, вопросов эмансипации, совершеннолетия, брака (гвельфам запрещается

---

\* Глоссаторы — в Средние века итальянские юристы, занимавшиеся римским правом.

жениться на девушках из семей гибеллинов — Парма, 1266); благодаря законам пресекаются самые серьезные отклонения от нормы: инцест, двоеженство и, конечно, гомосексуализм.

Законодатели удваивают свое внимание в тех случаях, когда частный выбор имеет или может иметь воздействие на публичную жизнь. Особенно сильное подозрение у них вызывают церемонии бракосочетания и погребения, в связи с чем эти события становятся объектом подробной регламентации, ничего не оставлявшей без внимания: ни число и статус гостей — преимущественно женщин, ни время проведения пиршеств (Венеция, 1339, 1356; Болонья, 1276 и позднее; Генуя, 1428), ни размер приданого и стоимость свадебных подарков (Венеция, 1299, 1360; Болонья, 1401), ни проведение похорон и т.д. Как ни странно, наибольший страх в обществе вызывают законодательные инициативы, касающиеся моды. Пышность и дороговизна туалетов, в которых женщины появляются на публике, внушают обеспокоенность властям, и эта тревога материализуется в виде повсеместно принятых регламентов ношения одежды, напоминающих скорее модные каталоги; в известном статуте против роскоши и чрезмерных расходов, принятом в Болонье в 1407 году, перечисляется шестнадцать категорий запрещенных предметов одежды (драгоценности, пояса, кольца, вышивка, меха, бахрома, платья, туфли, пуговицы и др.), причем они, в свою очередь, подразделяются на множество более мелких категорий, так что штрафы сыплются как из рога изобилия. Но ремесло инспектора неблагоприятно. Сеньория закрывает глаза на правила и сама устраивает пиршества, как, например, в Венеции, а женщины проявляют поистине дьявольскую изворотливость в уклонении от закона: один служащий (нотариус) говорит моднице, которая щеголяет в дорогом костюме, украшенном длинным рядом пуговиц: «Пуговицы запрещены, госпожа». На что красавица отвечает: «Пуговицы? Но это чашечки! Взгляните сами, если мне не верите: где ножка, где петельки?» (Саккетти).

Должностные лица унижены, но не сдаются. С течением времени контроль — можно даже сказать, господство — законодателей над частной сферой не ослабевает. Не забыты мораль и общественный порядок, а власть, сосредоточившись в руках узкого круга лиц, становится все более репрессивной: Медичи доходят до того, что начинают перлюстрировать частную переписку. Таким образом, постоянные контакты с другими средами насыщают частную среду ценностями и предписаниями, выработанными за ее пределами. Государством. И церковью.

### *Власть церкви и наставление семьи*

Частное жилище время от времени становится местом почитания Бога. Бедняки хранят в своих домах медальоны и освященные оливковые ветви, а в описях имущества обеспеченных семей часто, хотя и не всегда обнаруживаются янтарные четки, распятия (весьма редкие во Флоренции XIV века), молитвенные книги и, главное, изображения Святой Девы.

Эти иконы и культовые предметы хранятся в спальнях, включая гостевые и предназначенные для прислуги: здесь религиозное чувство принимает форму частного и индивидуального религиозного акта; в то же время в гостиных мы их не встречаем (Флоренция, 1380–1420). Но личное религиозное чувство не обязательно связано с иконами. Оно может проявляться в гостиной и распространяться на все семейство, собравшееся послушать, как отец читает душеспасительные книги или произносит молитву перед едой. Но будь это спальня или гостиная, именно в доме дети познают основы христианства, здесь они повторяют свои первые молитвы.

Если копнуть глубже, мы заметим, что все риски, тревоги, невзгоды, которые несет в себе частная жизнь и которые затрагивают судьбу близких людей, делают частный мир полностью зависимым от воли провидения. Все — мужчины, женщины,

дети — осознают это, признают и не скрывают этого. Видеть, как близкий человек покидает дом, слабеет, страдает, умирает, — значит чувствовать на себе руку Господа, признавать его могущество, взывать к его милосердию. Слова о предании себя Божьей милости или взывание к его покровительству — самые привычные и вместе с тем искренние строчки, встречающиеся в письмах.

Умершие родственники, любимые и близкие — еще одно связующее звено между человеком и небесами. Становясь предметом молитв, благодаря которым они в конце концов должны попасть в рай, усопшие — особенно дети, невинные души, — поддерживают в семье чувство близости к небу.

Эта каждодневная, обыденная близость может наставить на путь истинного благочестия, но действительно ли она способна формировать сознание? Об этом с беспокойством спрашивают моралисты и проповедники, перечисляя моральные и материальные опасности, подстерегающие на границах частной жизни или даже в самом ее центре, — опасности, преодолеть которые может только хорошее воспитание в частном кругу.

Если кто-то из завистников пытается нарушить спокойствие семьи с помощью чар колдуньи — скажем, навести порчу (*mal occhio*) на детей, — моралисты принимают это близко к сердцу и дают советы: например, чтобы предохранить детей, надо надеть им на шею коралловую нить (амулет, который художники той эпохи изображают даже на шее младенца Иисуса); церковь же эта опасность не очень волнует в ее размышлениях о частной жизни. Иное дело — мораль.

Открыв двери дома другим, люди *ipso facto* приносят в жизнь семьи мирскую суету, о которой священники, солидарные в данном вопросе со светскими моралистами, говорят с печалью и негодованием. Бракосочетания, похороны, обряды крещения, пиры, все те празднества, которые частное сообщество устраивает для публики, нередко

становятся источником разнузданности, *disonestà*\* — начиная с самодовольства, тщеславия и заканчивая всевозможными мелочными чувствами и желаниями: даже простое пожатие рук рассматривается как смертный грех (святой Антонин). Ежедневный выход на улицу чреват ненужными разговорами и непозволительными встречами; особенно это касается мальчиков, которым угрожает знакомство с опасными товарищами (см. святую Екатерину, Пальмиери, святого Бернардина, Маффео Веджо). И наконец, достаточно самых безобидных встреч, чтобы пробудить чувства, а они порочны по самой своей сути. К обонянию у моралистов не так много претензий (см. Доминичи). Но взгляды — это не только «стрелы любви» (Франческо ди Барберино), но и стрелы смерти, убивающие душу (святой Антонин). Слушать — значит впитывать лесть, непристойности, разного рода пошлости (святой Антонин, чьи наставления, обращенные к одной знатной даме, мы здесь цитируем, ограничивает свой список только теми непозволительными действиями, которые были распространены в их среде). Говорить означает вступать в беседы вроде тех, которые мы упомянули выше. Наслаждаясь вкусом пищи, человек занимается чревоугодием.

Даже в стенах своего дома никто не застрахован от этих соблазнов. Сугубо частная сфера не исключает ни обжорства за обедом, ни вспышек гнева, ни праздной болтовни, ни того поведения и тех разговоров, из которых дети «узнают о наших пороках, наших любовницах, наших попойках» (Пальмиери), а поскольку «они все понимают, хоть и не подают виду», то рискуют «быть испорченными нашей развращенностью» (святой Антонин). Частная сфера не препятствует ни небрежности в одежде (или полному отсутствию таковой), ни двусмысленным или просто непристойным знакам (вроде показывания среднего пальца), которыми любят щеголять

\* Бесчестия (итал.).

подростки у себя дома при полном попустительстве родителей. В результате дети начинают считать эти отклонения от нормы вполне естественными и подражать им. И наконец, частная среда служит прибежищем всякого рода извращениям в супружеской спальне.

Эта моральная и духовная уязвимость частной среды — источник сильного беспокойства церкви. Созданные по образу Святого семейства, дом и семья выступают краеугольным камнем христианского общества, центром повседневной духовной жизни, примером духовного развития. Даже самые проникновенные проповеди оставались бы неубедительными, если бы не падали на благодатную почву, подготовленную семьей, где формируется религиозное призвание и праведность. Упадок семьи имел бы катастрофические последствия для духовной жизни.

Поэтому необходимо было вмешаться, и мы видим, что с XIV века доминиканцы и францисканцы пытаются наставить семью на путь истинный. Братья-монахи довольно рано начинают посещать дома прихожан, и эта инициатива, вовлекая все новых людей, делает многих священников доверенными лицами и друзьями различных семей. Родители святой Екатерины числят среди близких друзей одного доминиканца (Сиена, 1360), два францисканских монаха во имя старой дружбы с покойным мужем монаы Алессандры Строщи время от времени вмешиваются в ее семейные дела (Флоренция, 1449).

Интимная атмосфера, созданная подобным образом нищенствующими монахами, подготавливает и облегчает более конкретное и специальное вмешательство пастырей в жизнь семьи: это, во-первых, исповедь, к которой, по-видимому, чаще прибегают женщины; затем — наставления, дающиеся в форме нравоучительных трактатов (Доминичи, святой Антонин), писем или бесед и предназначенные тоже скорее для женщин; и, разумеется, проповедь, особенно распространившаяся после

1350 года, когда проповедники начинают делать больший акцент на морали. Святой Бернардин созывает на проповедь всех членов семьи, включая юных девушек.

Благодаря повторяющимся попыткам вмешательства братьям-монахам удается распространить учение, одна из главных целей которого заключается в возвращении контроля над частной жизнью. И хотя эта цель лишь подразумевается, она вполне ощутима. Мы видим, что они ставят на первое место частное пространство и дом как связующее звено и как базу для христианского и человеческого (это роднит их с гуманистами) воспитания личности. Они акцентируют свое внимание на таких аспектах частной среды, как покой, безмятежность, отмечают присущую ей роль убежища, говорят о ее способности наилучшим образом обеспечить защиту от различных форм агрессии, прежде всего от внешнего мира. Частная среда защищает от ночи, что подобно «непроходимому лесу, где человека подстерегают всяческие бедствия» (мессер Уголино Верини, 1480). Во дворцах частное пространство защищает от шума и неприятных запахов (например, капусты и лука — см. Альберти «De re aedificatoria»), ограждает от суеты и соблазнов внешнего мира, обеспечивает мир и безмятежность.

После того как заложен фундамент, легче перейти к основному пункту программы, а именно: ценою самодисциплины, практикуемой с детства, научиться очищать душу от любых проявлений честолюбия и вожделения. К этому будут стремиться и воспитатели, и исповедники, предписывая строгую дисциплину и самоистязание: первое — ученикам, второе — грешникам. Теми и другими подобная суровость будет принята. Самоограничение отныне направлено на сдерживание наиболее опасных возбудителей похоти: мы говорим о пяти основных чувствах человека. Зрение: «Возведи очи горе <...>, открой их небу, лесам, цветам, всем чудесам творения. В городах, особенно там, где есть опасность

греха, опусти взгляд» (Доминичи). «Научи ребенка отводить взгляд от того, что могло бы его смутить, прежде всего — от картин» (Фра Паолоино). «Следите за тем, куда смóтрите [«куда смотрите» повторяется три раза]» (святой Антонин); следите за тем, куда смотрят другие, ведь их любопытство может плохо сказаться на ваших религиозных начинаниях и на вас самом. Будьте внимательны к речи: и к собственной, и к той, что произносят другие; святой Антонин считал речь настолько подозрительным действием, что посвятил ей три большие главы в своем «Сочинении о наилучшей форме жизни» («Opera a ben vivere»). Главы носят следующие названия: «Следите за словами, не оскорбите Господа», «О грехе многословия и пустословия; о том, как они вредны», «Даже в приличных речах следует знать меру». Сдержанность необходима не только в словах, но и в жестах, движениях; нужно сдерживать смех, ибо грешно слишком часто смеяться. Не забывает автор и об осязании и вкусе. Аскеза, разумеется, распространяется и на сексуальные отношения — конечно, на единственную разрешенную их разновидность, то есть сексуальные отношения супругов (все остальное даже не рассматривается): нельзя жениться в недозволенное церковью время (консумация брака в такой период — смертный грех), сексуальные контакты разрешены лишь в надлежащих местах и в определенное время (ни в коем случае нельзя предаваться им во время поста или покаяния), причем допускается лишь естественная форма отношений между супругами: никакой содомии (тягчайший смертный грех), никаких непозволительных поз (смертный грех).

Частная среда лучше любой другой подходит для реализации этой трудной программы вследствие солидарности, которая естественным образом связывает всех ее членов. Нужно заставить эту солидарность работать, чтобы люди помогали друг другу вступить на стезю добродетели. Старшие дети, например, должны подавать пример младшим

и во всем слушаться родителей (Фра Паолоино), родителям, со своей стороны, надлежит подбирать детям друзей, давать хорошие советы и хороший пример; и наградой этим коллективным усилиям будет Божье благословение (Джованни Доминичи).

Пастырское служение, осуществляемое церковью, широко распространяется и практикуется не только видными священнослужителями, благодаря которым мы можем судить об этом феномене, но и сотнями простых монахов, рассеянных по городам и посадам (конец XIV–XV век). То, что данная тенденция способствовала очищению веры и культа в семьях, вполне вероятно. Но способствовала ли она более активному участию благочестивых христиан в публичной (социальной, политической) жизни, усилению их контактов с внешним миром?

Уж во всяком случае, женщин она к этому не подталкивала. Тот путь к Богу, который предлагали им проповедники (особенно с помощью «наставлений», популярных среди терциарианок и дам из высшего общества), предназначался главным образом для укрепления внутреннего благочестия — после обуздания чувств в душе должно установиться внутреннее уединение, сопутствующее человеку везде: в церквях, салонах, на пирах, во время прогулок. Но, конечно, гораздо больше для укрепления благочестия подходит атмосфера спальни. Спальня служит набожной женщине убежищем, кельей, любимым местом для духовных упражнений, и обставляет она ее соответствующим образом: главным элементом обстановки служит распятие, больше располагающее к покаянным молитвам, нежели традиционная икона с ликом Пречистой Девы. Истинное благочестие женщины в частной среде отдаляет ее от мира.

Цели религиозного воспитания гораздо более амбивалентны, когда дело касается мужчин. Святой Бернардин напоминает этим последним, что у них есть обязанности вне дома,

которые им надлежит выполнять, но ни он, ни его собратья серьезно не развивают тему. В просвещенных кругах с этого времени наряду с проповедями странствующих монахов звучат голоса гуманистов — но не в унисон с голосами проповедников. Мнения расходятся. Обстоятельства вынуждают Колюччо Салютати (ум. в 1406) посвятить свой труд апологии уединенной жизни («*De saeculo et religione*»<sup>\*</sup>); сочинения данного жанра не иссякают на протяжении всего XV века, нечто подобное можно найти, например, в книге Кристофоро Ландино, посвященной созерцательной жизни («*Questiones camaldulenses*»<sup>\*\*</sup>, 1475). Но большинство не согласилось бы с этим. Салютати слишком высоко ценит городскую жизнь и не готов признать, что «бежать общества, отводить глаза от приятных вещей, закрываться в монастыре или ските являет путь совершенства». Мудрец обязан пользоваться всеми своими дарованиями для общего блага. В разных формах, обусловленных особенностями характера и воспитания, Поджо, Бруни и Валла — ограничимся наиболее известными именами — настаивают на этой обязанности философа, причем делают это во имя христианских идеалов (особенно Бруни). Гуманисты отвечают на это крайне враждебно: они относятся к проповедникам с сарказмом и обвиняют, среди прочего, в том, что те «лицемерно наставляют всех этих глупеньких дам и их простоватых мужей», так что вместо серьезных вещей голова у них забита душеспасительной ерундой. Если пастыри ставят перед христианским воспитанием мужчин и женщин идентичные задачи — научить замыкаться в своей частной сфере, то гуманисты, сторонники активного участия в жизни города, отвергают такую точку зрения. По мнению последних (конечно, они формулируют свои мысли иначе, чем мы здесь, но общий смысл такой), христианские обязанности женщины

\* О жизни в миру и монашестве (лат.).

\*\* Диспуты в Камальдоли (лат.).

напрямую связаны с частной жизнью, но частное воспитание мужчин, оставаясь христианским, должно выступать в качестве трамплина для других, публичных обязательств. Таким образом, мы приблизились к эпохе, когда христианские тексты все реже служат людям ориентиром. На пороге Нового времени мы и остановимся, хотя многие его признаки вполне ощутимы уже в XV веке.

ГЛАВА 2  
ВООБРАЖАЕМЫЙ МИР

*Даниэль Ренье-Болер*

## ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Литературные источники как северного, так и южного происхождения, способные пролить свет на генезис понятия «частное», на рост роли индивида, на новое определение сфер тайного и скрытого, требуют осторожного подхода. Иногда возникает иллюзия, что в них мы видим рождение «повседневной частной среды»; однако ностальгия по *realia*\* не должна заставить нас забыть, что в источниках такого типа места и люди описываются сообразно литературным канонам и что интимность, которая, казалось бы, здесь прослеживается, — не более чем метафора. Однако литература может претендовать на правдоподобие иного рода: воображаемый мир тоже имеет свои законы. Обрисованному несколькими штрихами пространству (реальному или воображаемому) и паре персонажей литература умеет придать жизнь: автор ведет читателя от одной сцены к другой, от начала конфликта к его разрешению, наполняя содержанием то, что раньше как будто оставил без внимания. Под видом фантазматических сценариев литература дает чрезвычайно точную оценку взаимоотношений индивида и коллектива, она служит матрицей их меняющихся, утопических границ: в действительности индивид может быть исключен и изгнан из частного пространства или же сам выйти

---

\* Реальность (лат.).

за его пределы, чтобы добровольно поселиться в некоем закрытом пространстве, он может стремиться к «частным» идеалам, находясь внутри пространства общины, исповедующей свои, коллективные ценности. Если то или иное произведение описывает распад семейной ячейки под воздействием неблагоприятных факторов, то в конце концов первоначальное единство восстанавливается, причем в более совершенном виде.

В дальнейшем мы остановимся лишь на определенных аспектах этой проблематики и выделим только некоторые основополагающие моменты, имеющие значение для воображаемого, а именно: пути исключения индивида из общины, дающие ему возможность постепенной реинтеграции, культурные символы которой несут большую смысловую нагрузку; одержимость авторов образом Двойника и осмысление семейных распрей, изображенных в форме назидательных историй со счастливым концом; рассмотрим также одежду, украшения, наготу, которые касаются коллективного договора, отброшенного, забытого и вновь усвоенного индивидом; и наконец, обратим внимание на замкнутые зоны, отведенные (в символическом смысле) определенным группам, которые сосуществуют в одном доме, где царит гинекей, каким бы подчиненным ни было его положение. Мы не встретим здесь деталей, из которых сложилась бы повседневная история, серия жанровых картин; взамен — вечная и непостоянная оценка статуса индивида, странствующего рыцаря из куртуазной литературы, отделяющегося, подобно отростку на ветке, от группы, чтобы потом, после плодотворных поисков, воссоединиться с общинной структурой, которой никогда не грозил распад, если даже она сама была простой легендой. Несмотря на измену королю Артуру, которая превратилась в один из наиболее известных западных мифов, несмотря на глубокое потрясение, которое переживает мир рыцарей Круглого стола, когда туда проникает недоверие, личность короля — Марка или Артура — всегда остается непогрешимой. Однако уже в поэме XIII века «Кастелянша из Вержи» власть компрометирует себя

неправедными действиями в одном частном конфликте, и если в других произведениях господствует прославление придворной жизни и коллективных увеселений, то здесь интрига находит выход в «частном» рассказе. Наконец, вымышленная вселенная может обнаружить осязаемое смещение позиции индивида по отношению к коллективу: ложь и притворство меняют их взаимные чувства. Испытания, ждавшие рыцарей круглого стола в мире короля Артура — мире, объединявшем любовь и приключения, связывающем героя с общиной, — уступают место тайнам. Неотразимость Жана Парижанина\* основана на умелом владении искусством *gab*\*\*; он завоюет прекрасную девушку при помощи чисто внешних эффектов, в то время как личные качества героя никак не проявятся.

Одновременно с этим начинается длительный период эволюции всего комплекса литературы, способствующей постепенному формированию различных способов представления индивида. Поэзия сосредотачивается главным образом на выражении индивидуального сознания, на «индивидуализированной» лирике, которая, по-видимому, отмежевывается от *toroi*\*\*\* трубадуров и труверов. Что касается мемуарной литературы — воспоминаний и хроник, — то ее авторы всеми силами стремятся выдвинуться на передний план с помощью особой манеры выражения, которая лишает дискурс нейтральности.

Отношения индивида и коллектива: литературные источники демонстрируют их, привлекая разные биологические периоды жизнедеятельности человека, с помощью подлинно «частных» жестов. Так, функция сна принадлежит к «символическому» времени индивида, впавшего в амнезию; чтобы

---

\* Герой одноименного анонимного романа конца XV века (и многочисленных последующих произведений). Французский дофин представляется испанской принцессе, которую много лет назад ему обещали в жены, богатым парижским купцом. С помощью богатства и личного обаяния Жану удается завоевать сердце девушки.

\*\* Шутки, остроумие (ст.-франц.).

\*\*\* Здесь: культурное пространство.

вновь обрести человеческое обличье, чтобы вернуться к коллективной жизни, ему необходимо пройти сквозь эту оболочку, ступок сознания, сон зародыша в утробе. Но в свете того недоверия, с которым Средневековье относилось к одиночеству, считая, что оно открывает дорогу дьяволу, надо быть особо внимательным к любому признаку повышения роли частного пространства, к примерам замкнутой жизни, к развертыванию ментального поля, к своеобразию феномена сна как рамки для художественной литературы, к неотвязным попыткам нащупать присутствие сознания или его химеры. Разумеется, у нас не должно быть соблазна видеть в этих источниках зеркальное отражение жизни. Избегая слишком строгих хронологических рамок (и с учетом той роли в рождении текстов, какую играли ожидания читательской аудитории, обусловившие обращение к старым сюжетам и их переработку), литературу следует рассматривать как ответ на тревожные мысли и порывы, как поиск удовлетворительных решений моральных вопросов, как отзвук того, что говорится в нормативных текстах о месте индивида, особенно женщины, в коллективе. Используя литературу как инструмент для проникновения в глубины «частного», мы будем строить свой рассказ вокруг постепенно вырисовывающегося образа индивида, наделенного правом говорить и хранить молчание, иметь собственную идентичность и надевать маску.

### *Пространство и воображаемое*

#### ***О бремени «закрытого пространства» и о радости быть защищенным***

Столкнувшись с биполярностью изображения «закрытого пространства», читатель не в силах решить, было ли оно угрозой или защитой. «Закрытое пространство» предстает тюрьмой в рассказе Рютбёфа об обители Скупости, которую

он описывает как некую антитезу радости, как западню, захлопывающуюся за посетителем и отдающую его на милость хозяйке тех мест, «скорее мертвой, чем живой»; Робер из Блуа противопоставляет опасную закрытость одних домов открытым дверям других, и если Рауль де Удан в своем сочинении «Сон о преисподней» говорит нам, что во Франции всякий — увы! — держит двери дома на замке, а в аду, как известно, обедают «с открытыми вратами», то автор книги «Бланкандин и Гордая в любви» просто выражает сожаление о тех прошедших днях, когда люди не ставили у входа привратника. «Закрытость» кажется препятствием воплощению идеала социальности, свободному перемещению предметов и людей и особенно возможности совместной трапезы. Ведь «обед, как вы знаете, закладывает основу дружбы», напоминает в своих «Наставлениях» Робер де О.

В противоположность отрицательному отношению к «закрытости» необходимо отметить, что среди текстов, авторы которых благоволят женщинам, есть один панегирик XIII века, где выдвигается «пространственный» аргумент: «счастлив удел тех, кто родился защищенным». Господь поместил мужчину в райский сад, усыпил его и извлек из его бока ребро, из которого вышла Ева, наделенная двойной защитой — райскими кущами и телом мужчины. Это довольно ценное качество в глазах автора, который противопоставляет внутреннее и внешнее пространство: «Судите сами: не проявил ли Он к ней бóльшую любовь, нежели к мужчине, раз создал этого последнего вне оболочки?»

*Пространство, которое можно охватить взглядом*

Когда все известное пространство находится во власти взгляда, наделенного даром всевидения, оно изображается как ряд замкнутых мест, подчиненных особой иерархии. Панорамный обзор позволяет увидеть используемое, обитаемое место; «всеохватывающее» место является творением человека и охраняется им; оно вызывает желание воспринимать его

с эстетической точки зрения. «Этот город укреплен со всех сторон: его не взять ни штурмом, ни измором. Его укрепил король Эврен, освободивший горожан от налогов; им он будет владеть, пока жив. Король окружил его стенами не потому, что кого бы то ни было боялся, а для того, чтобы сделать город еще красивее» («Эрек и Энида»).

Эта защита продолжает оставаться функциональной: предатель, изменяющий по сюжету романа («Клижес») королю Артуру, укрепляет замок двойной цепью стен, «частоколом, рвами, подъемными мостами... засовами, оградами, раздвижными железными воротами и каменными глыбами, из которых сложен донжон», делая это настолько основательно, что нет никакой необходимости запирать двери. Защитные и оборонительные укрепления такого рода могут в определенных случаях дополняться полосой природных препятствий. В романе «Гнедой конь», например, говорится об укрепленном доме, не просто стоящем на утесе, но окруженном рвом, терновой изгородью и, сверх того, «нелюдимым и густым лесом».

Литература настойчиво проводит идею о том, что «закрытость» рождается в некоем обширном пространстве и что отдельные аспекты «закрытости» отражают не только мощь и защиту, но и систему запретов. В песнях (лэ) Марии Французской, основанных на мифологических образах, институциональные запреты описываются удивительно подробно, хотя, как известно, произведения подобного жанра отличаются немногословностью. Так, в «Гижмаре» раненый рыцарь приплывает в некий город, правитель которого, старый ревнивец, заточил супругу в замке, обнесенном сплошной стеной из зеленого мрамора, с единственной дверью, днем и ночью охраняемой стражей. В «Йонеке» красивая городская панорама становится местом инициации молодой женщины, стремящейся вновь встретиться со своим таинственным возлюбленным, человеком-птицей; город окружен крепостными стенами, с одной стороны его защищают мощные строения,

с другой — болота и леса и, наконец, река. Воображаемая архитектура нередко копирует — зеркально отражает — феодальное пространство, как показывает пример «Лэ о Гингаморе», где изображен замок феи. Укрепленный город из поэмы «Флуар и Бланшефлор», которым правит эмир, владеющий искусством «ворожбы», занимает большую территорию и обнесен высокими стенами, скрепленными надежным строительным раствором, оснащенными ста сорока воротами и семьюстами башнями; в центре располагается башня в две сотни туазов\*: гиперболическое изображение размеров строений и материалов, из которых они сделаны, становится характерной чертой утопических описаний.

В других текстах, помимо символов власти, мы находим детали экономического характера. В «Прекрасном незнакомце» замок окружен мельницами, реками, лугами, виноградниками; в «Гаст Ситэ» герои окидывают взглядом весь город — замковые башни, обнесенные высокими стенами, и многочисленные городские постройки, к которым вплотную подходят леса и виноградники. В произведениях XIII века, по сравнению с романами Кретьена де Труа, увеличивается разнообразие типов пространственного изображения. Ракурс подобных изображений не случаен, поскольку доступ к «закрытым пространствам», часто затрудненный или невозможный, непосредственно касается персонажей произведения. «Закрытые пространства» нередко служат непреодолимой преградой между теми, кто находится за пределами этих пространств, и теми, кому разрешено быть внутри, теми, кто допущен внутрь, и теми, кому доступ туда запрещен. Определенное развитие получают «промежуточные» пространства, которые приходится пересекать героям кельтских легенд: открытые места, равнины, бескрайние леса с протекающими через них

\* Старинная французская мера длины — шесть футов (около двух метров).

реками и с оленями, внезапно появляющимися перед героем и помогающими ему найти дорогу (см., например, историю о Греланте). В «Поисках святого Грааля» «закрытое пространство» имеет происхождение: Ланселоту, прибывшему к замку в надежде найти Грааль, удается проникнуть внутрь, хотя вход охраняют два льва. Он пересекает замок и достигает донжона, но не находит здесь ни одной живой души. Тогда Ланселот направляется в главный зал, где натывается на запертую комнату — символическое «закрытое пространство», преграждающее герою путь к Граалю. Двери зала закрываются сами собой, «без чьего-либо вмешательства», и это считается «необыкновенным явлением».

Однако закрытые зоны могут открываться, и если город предстает в виде замка, если замок уподоблен городу, воображаемое служит свидетельством того, что люди нередко бросают вызов властям. В сущности, пространство, открывающееся перед героем, который покидает феодальный мир, приводит его к новой замкнутой среде — любви и ее запретам; среде, принимающей форму социального пространства, ибо феей часто оказывается «дама» из «другой земли». От проблематики «индивидуальность — коллективность», находящейся в самом центре приключенческих романов, неотделим вопрос о переходе из одного пространства в другое, о текучести границ, доступной лишь избранным. В XII и XIII веках коллективное пространство, отнюдь не отходя на задний план, обращает наше внимание на закрытые участки, из которых герой произведения может вырваться, откуда он может быть изгнан, которые он может завоевать. Пространственное измерение накладывается на прочную сеть закрытых пространств, и даже столь интимное место, как фруктовый сад, в котором проходят любовные встречи героев, может быть символом власти, осуществляемой Другим миром: это видно на примере финального испытания в «Эреке и Эниде».

*Страх пустынного мира*

Обилие территорий, прославленных трудом рук человека и воображением архитекторов, делает особенно непривычными как пустынные пространства, так и многочисленные незастроенные и заброшенные места. Эрек и Энида ничего не едят и не пьют во время своих опасных поисков, «ибо за все время их путешествия на пути им не встретилось ни замка, ни деревни, ни башни, ни дома, ни аббатства, ни больницы, ни гостиницы». Героиня поэмы «Рыцарь телеги», отправившись на поиски Ланселота, вынуждена идти наугад: «Прежде чем девица достигла тех мест и что-либо о нем узнала, она, сдается мне, исходила окрестности вдоль и поперек не один раз. Но к чему рассказывать обо всех ночных остановках, обо всех ее долгих скитаниях! Она перепробовала много путей и дорог, но по прошествии месяца знала о местонахождении Ланселота ровно столько же, сколько и раньше: все было напрасно. Как-то раз, когда девушка шла по полю, хмурая и задумчивая, она заметила вдалеке, на берегу залива, одинокую башню: на целую милю вокруг никакого другого жилища — ни хижины, ни усадьбы...».

*Одинокий человек*

В средневековой вселенной, если человек одинок, ему угрожает опасность. В «Романе о Тристане» Беруля король Марк, узнав, что влюбленная пара находится в лесу Моруа, зовет к себе близких и сообщает им о своем желании отправиться в путь в одиночку. «Ты хочешь идти один? Видали свет более неблагоразумного короля?» — вопрошают они. На что Марк отвечает: «Я пойду без сопровождения и оставлю здесь мою лошадь. Не хочу брать с собой ни спутника, ни слугу. На этот раз я не нуждаюсь в вашем присутствии». Здесь мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией, отзвук которой слышен и в словах отца Эрека, когда он молит последнего взять с собой по крайней мере часть его рыцарей: «Сын

короля не должен никуда отправляться один!» Произведения XII века изображают, и подчас весьма реалистично, опасности, которые подстерегают человека. Главный герой романа «Дочь графа Понтье» (начало XIII века), сопровождая жену в паломничество, станет свидетелем ее изнасилования пятью незнакомцами, напавшими на нее в лесу. Если в «Гнедом коне» юная девушка соединяется со своим возлюбленным и выходит за него замуж, виной тому невнимательность сопровождающих, которые «плохо следили» за ней. Образ девушки, путешествующей в одиночку, может стать навязчивым и преследовать героя, пока он не женится на ней, вопреки своим желаниям.

Однако же одиночество бывает желанным и продолжительным. Добровольное одиночество приобретает точные координаты в пространстве в виде отдаленной кельи, что подразумевает определенную форму зависимости от внешнего мира и связь с ним; человек, покинувший коллектив, осуществляет по отношению к нему функцию отшельника. Последний всегда находится вдали от любого скопления людей. Так, автор не дает описания отшельничества Огриня в лесу Моруа, где нашли убежище *forbannis*<sup>\*</sup>, взамен этого упор делается на отдаленность места и долгие блуждания героя по лесу, прежде чем он попадает к нищенствующим изгнанникам. Ивейн тоже лишь после долгих блужданий находит низкую хижину с узким окошком, в ней живет отшельник, помогающий дикарям. В «Поисках святого Грааля» многочисленным встречам с отшельниками и затворниками всегда предшествует упоминание специфических условий: герой сбивается с пути, видит часовню или скит на холме; это случается в момент задумчивости, вечером, в час молитвы. Так, и Персиваль сбивается с дороги: «Все же, выбрав направление, которое показалось ему наилучшим, он в конце концов достиг часовни и постучал в узкое окошко затворницы. Она быстро отворила дверь, поскольку

<sup>\*</sup> Изгнанники, отшельники (ст.-франц.).

не спала, и, высунув голову, спросила, кто он». Затворница объяснит, что поселилась в этом пустынном месте после смерти мужа, боясь за собственную жизнь; по ее наставлению здесь построили дом для ее духовника и его людей, а для нее самой — келью.

Гавейн и Гектор, подъехав к подножию горы, поднимаются по узкой тропинке на вершину; путь так труден, что они выбиваются из сил и тут только замечают маленький дом и маленькую часовню с небольшим садом, где отшельник рвет крапиву себе на ужин. Таким образом, уединенность убежища отшельника подчеркивается длиной пути, который нужно преодолеть; так автор показывает «защищенность» частного пространства.

### *Одиночество и смысл*

Земли, по которым проезжают рыцари Круглого стола во время их бесчисленных скитаний, полны знаками, свидетельствующими о подчинении «земного» «небесному». Они обрекают рыцарей на добровольное отшельничество и выступают носителями смысла, который не случайно скрыт от посторонних глаз и который приходится искать в наиболее потаенных и труднодоступных местах. В конце XIV века путь к ним станет еще более тяжелым. Супруг Мелюзины Раймондин, получив у римского папы прощение за клятвопреступление по отношению к жене, посещает скиты аббатства Монсеррат. Семь скитов расположены один над другим по склону отвесной скалы; Раймондин будет жить в четвертом, настолько удаленном от всяких других жилищ, что, если смотреть оттуда, и церковь, и аббатство кажутся совсем крошечными.

Встречи с отшельниками в рассказах всегда не случайны: тот, кто выбирает одиночество, устанавливает весьма специфические связи с ценностями сознательно покинутого коллектива. Если в «Ивейне» отшельник служит простым посредником между дикарем и цивилизованным сообществом,

то в «Тристане» Огрину, который мыслит в категориях добра и зла, удается вернуть Изольде внешние признаки реинтеграции в социальную среду: он становится орудием примирения, направляется в корнуоллский городок Мон Сен-Мишель, покупает там, торгуясь или в кредит, меха и шелка и привозит ей наряд, достойный королевы! В «Поисках святого Грааля» смысл событиям придают отшельники и затворники: если приключение само по себе воспринимается его участниками как нечто наделенное смыслом, который, впрочем, они не способны разгадать (Э. Баумгартен), то отшельники выступают его толкователями, из-за чего в романе так много длинных монологов и признаний. В особенности это касается такой интимной сферы, как толкование снов. «Знай же, — говорит отшельник Ланселоту, — что в этом видении скрывается гораздо больше смысла, чем многие могли бы подумать. И если тебе угодно меня выслушать, я расскажу о происхождении твоего рода». Необходимые посредники между Богом и занятыми поиском Грааля рыцарями, отшельники и затворники воплотили в своих одиноких речах самую суть этих поисков.

### *Символические места*

В воображаемом мире литературы несколько мест, упоминаемых чаще других, наделены особыми символическими функциями: таковы, например, башня и сад, и если распределение внутреннего пространства между залом и спальней, похоже, имеет чисто функциональное значение, такой предмет, как кровать, приобретает целую гамму смысловых оттенков, вместе очень близких понятию «символ».

#### *Башня*

Будучи символом власти, башня связана с завоеванием. В отличие от «Песни о Роланде», где практически все действие происходит в открытом пространстве с несколькими

замкнутыми зонами — садами, в которых Карл и Марсильи собирают своих вассалов, — «Взятие Оранжа» представляет собой интересное описание осады башни: Гильом, переодевшийся в чужую одежду, и его спутники проникают в сарацинский город Оранж, они направляются к приемному залу в одной из башен дворца, но, минуя его, поворачивают к башне Глорьет, чьи «колонны и стены сделаны из мрамора» и куда не проникает ни солнечный луч, ни дуновение ветерка. В самом оплоте могущественного Врага Гильом проникает в его частное пространство, в спальню. Из спальни он выходит в спускающийся террасами сад и именно там находит объект своих страстных желаний — прекрасную королеву. Символ власти, к которой стремится завоеватель, — башня — это одновременно и оборонительное сооружение, и жилое пространство, и место для наслаждений.

Олицетворяя собой заточение, башня символизирует злоупотребление властью, — это хорошо известно героиням так называемых «песен прялки»<sup>\*</sup>. Однако иногда она выполняет защитную функцию, и в контексте архитектуры воображаемого мира, благоволящего влюбленным, ее роль приобретает вполне положительные коннотации. Таким образом, мы видим амбивалентность замкнутых пространств феодального мира: будучи центром битв, они в то же время способствуют возникновению множества ситуаций частного порядка, реализуя наложенные властью запреты; в «Песне о соловье» стена становится символом институциональных и социальных запретов, иногда в довольно гиперболизированном виде. «Домá влюбленных стояли по соседству, и главные залы донжонов прилегали друг к другу. У них не было других препятствий, других преград, кроме серой каменной стены, разделявшей их».

<sup>\*</sup> «Chanson de toile» — жанр средневековой французской литературы; один из видов лирической поэзии. Берет начало в песнях, исполнявшихся мастерицами во время работы.

*Сад*

Место частной жизни, место общения, сад, в свою очередь, свидетельствует о навязчивом желании установить границы и об амбивалентности этих последних. Замкнутое пространство сада представляется прежде всего идеальным местом для встреч влюбленных, а также для соблазнения и тайных совещаний: это закрытое со всех сторон место, где женщины пускают в ход свои чары, как происходит, например, в «Лэ об Аристотеле»; это убежище, где слышатся жалобные звуки «песен прялки»; это пространство, предоставляющее возможность для слезки; это место, на которое должно опуститься магическое безмолвие, чтобы никому не дать высказать свое суждение о запретной любви — вспомним «Песнь о Тидореле», где существо из мира волшебников (*faé*) обнаруживает, что королева бесплодна. Когда сад, через который нельзя пройти, из которого нельзя выйти, который нужно завоевать, становится для Эрека последним испытанием, завершающим его инициацию, то он (сад) обретает, можно сказать, определенную амбивалентность, поскольку в то же время является для героя райским уголком. Однако для влюбленных сад — это прежде всего убежище: именно сад долгое время будет местом встреч кастелянши из Вержи с ее возлюбленным. Вместе с тем сад может быть социальным пространством, объединяющим небольшую группу людей и представляющим наибольший интерес для женщин, как следует из «Лэ об Иньоресе», где несколько дам, играя в саду в исповедников и кающихся, узнают, что все они — возлюбленные одного и того же юноши, или из «Песни о Тидореле», где королева и ее фрейлины имеют привычку лакомиться в саду фруктами и предаваться там послеобеденному сну.

Сад становится в полном смысле слова интимным местом в момент, когда влюбленные получают его в свое распоряжение. Однако это ненадежное укрытие, доступное нескромным и враждебным взглядам; впрочем, в «Лэ о тени» (XIII век)

местом любовной близости стал колодец, где капризная красавица встречается со своим Двойником — тенью, которая, в отличие от нее, не отказалась от кольца, предложенного воздыхателем.

### *Рай для чувств*

Сады, не связанные с выполнением символических функций (то есть не выступающие местом тайных встреч влюбленных), далекие от каких бы то ни было преступлений, обольщений и опасностей, напоминают райские пейзажи, где творения человеческих рук соседствуют с природой и обогащают ее. Олицетворение вечного наслаждения и праздника, арена, где сталкиваются разные оттенки смысла, — искусственный сад, восходящий к традиции *locus amoenus*\* (она представлена произведениями XII и XIII веков типа «Флуара и Бланшефлор», «Лэ птички», «Прекрасного незнакомца» или даже «Юона из Бордо», где в саду протекает источник жизни и молодости), позволяет проанализировать идеальное замкнутое пространство, в пределах которого реализуется множество чувственных возможностей. Эти сады, подобие рукотворного рая, прелестные места, вызывающие к чувствам, символизируют счастье в чистом виде, счастье, где все — расположение сада, флора, обилие запахов и звуков — должно стимулировать перцептивные процессы. Средневековый сад, провозвестник того торжества чувств, коим будут отличаться сады маньеристов, предлагает образ безмятежного счастья и затрагивает проблему вечности, растянувшейся во времени благодаря неиссякаемому потоку чувств; цветущая вселенная сада — это природа, достигшая наибольшего своего выражения: мир, отгородившийся от человеческих добродетелей, не только наполненный всевозможными запахами, но и изобилующий «целебными травами», которые возвращает таинственный знахарь, вызывающий к силам

\* Прелестное место (лат.).

природы, способным свести на нет болезнь и воспротивиться ходу времени. Рука человека или волшебника выравнивает в таком саду почву. Сад из «Лэ птички» появляется в результате черной магии (*nigromance*). Там мягко льется свет, птица поет для одного песнь забвения, для другого — песнь желания или песнь юности, создавая тем самым иллюзию вечности. Этот гиперчувственный мир отдает приоритет эфемерности, что опасно, поскольку рай оказывается довольно-таки ненадежным местом: стоит птице улететь, как источник иссякает, а сад увядает.

Отмена времени или вечное возвращение: в «Лэ птички» очевидна социальная подоплека, автор осуждает хаос времени и смену владельцев сада — отныне он принадлежит не дамам и рыцарям, но простолюдину. В поэме «Флуар и Бланшефлор» функция приостановки времени всплывает при описании кенотафа: смерть преодолевается благодаря возбуждению чувств, благодаря повторению — вызванному капризом или направлением ветра — неких желанных действий. И в самом деле, существует ли более изящный способ отринуть течение времени, чем предоставить возможность предаваться разнообразным удовольствиям? Отнюдь не будучи чисто декоративным элементом, отнюдь не сводясь к воплощению чувственного мира, сад, возводя удовольствие в абсолют, передает через него ощущение времени.

В этом раю, где чувствам отводится такая роль, почти отсутствуют цвета; как ни парадоксально, функция продления счастья возлагается на дуновение ветра и аромат деревьев и иных растений, на эфемерность звуков. Сад чахнет, почти такой же бранный, как тело человека.

*Внутреннее пространство зала (гостиной) и спальни*

Литература, выводя на сцену те или другие слои общества, разумеется, по-разному представляет распределение и диверсификацию обитаемого пространства. Уже обращали

внимание на малую диверсификацию пространства в жилищах простолюдинов, которые описываются в фаблио\*: мы видим, что площадь дома невелика, что все пространство состоит из одной комнаты; например, в одном фаблио жилище мельника заставлено бочками и сундуками, они занимают все пространство, кроме постели. Когда приходится прятать дочь, мельник держит ее в ларе, ключ от которого хранит у себя.

Однако в рассказах, где действуют аристократы, их дома описаны более тщательно. Зал и спальня: есть соблазн приписать одному функцию размещения коллектива или по крайней мере функцию группового частного сектора, а другой — функцию более скрытого и более интимного пользования. Однако смущает пересечение этих функций. Конечно, зал (гостиная) предназначен для коллективной жизни; будучи изолирован от улицы, он выступает традиционным местом сборов, местом социальным в полном смысле слова. Если рассматривать пространство, окружающее какого-нибудь мифического персонажа вроде короля Артура, можно заметить, что главный зал предназначается почти исключительно для «социального» использования. Особенно часто он служит местом разных эффектных встреч: уже в «Песне о Роланде» Карл, вернувшись в Экс-ля-Шапель, сразу же направляется во дворец, в зал, где сообщает Оде о гнетущем его горе — о смерти героя. Именно в зале вассалы собираются для важных дел: мы видим это в «Нимской телеге», где Гильом, возвратясь с охоты, узнает из уст племянника о неблагодарности Людовика. Поспешив во дворец, он «так стремительно пересек зал, что порвал голенища своих кожаных сапог. Все бароны испуганы этим. При виде Гильома король поднялся, чтобы приветствовать его». В то же время зал — место увеселений, которым предаются во время сборищ, устраиваемых по случаю какой-нибудь

---

\* Жанр французской средневековой литературы, короткая повесть в стихах, обычно сатирическая.

праздничной даты: здесь укрепляется сплоченность общины. На праздник Успения Артур собирает великолепный двор, зал полон благородных баронов; к этому прибавляется присутствие королевы и придворных дам. Ланселот, похищающий Гвиневру в поэме «Ланселот, или Рыцарь телеги», тем самым бросает вызов всему двору как некой общности. В конце подобных произведений залы упоминаются снова: на этот раз как место коллективного прославления героев. Пир, устроенный по случаю коронации Эрека, проходит в пяти залах, до отказа «заполненных людьми, так что с трудом удавалось найти проход между столами. За каждым столом сидел король, или герцог, или граф». Поскольку традиционно зал — отправная точка развития сюжета, неудивительно, что во многих пародийных лэ это место гиперболизируется; в «Песне о роге», например, автор помещает в зал тридцать тысяч рыцарей, сопровождаемых тридцатью тысячами девственниц!

В иных случаях — когда речь идет о предоставлении приюта нуждающемуся в нем — зал может служить столовой: в одной из поэм карлик отводит Рыцаря телеги и Гавейна в донжон, где они устраиваются на ночлег, затем некая молодая женщина соглашается дать Ланселоту приют и ведет его в свой дом — «укрепленный замок, окруженный высокими стенами». «В замке она приказала построить большой зал и множество красиво убранных спален»; в этом зале рыцаря и ждет обильное угощение. «Зал осветили. Правда, на небе уже начинали появляться звезды. Но множество свечей — витых, массивных, пылающих — наполнили зал ослепительным блеском». За залом (гостиной), таким образом, закреплена функция приема гостей. Король ведет только что приехавшую Эниду в большой каменный зал; затем королева увлекает ее в свою спальню, где гостью по-королевски одевают. После этого обе женщины возвращаются в зал к королю, при их приближении присутствующие там многочисленные рыцари встают. В этот день всеобщего веселья, день бракосочетания все барьеры снимаются,

не закрываются ни дверь, ни ворота, все входы и выходы весь день остаются открытыми, теперь бедных и богатых ничто не разделяет, происходит сплочение группы, которое влечет за собой временное снятие любых заграждений.

Что касается спальни, ее с бóльшим правом можно назвать местом одиночества. Но что обозначает одиночество? В «Эреке и Эниде» король Артур просит пустить ему кровь, и эта операция выглядит как совершенно частное дело; между тем «его свита, частное окружение короля, состояла всего лишь из пятисот баронов: никогда еще король не чувствовал себя столь одиноким и очень скучал из-за малочисленности людей при его дворе». Королевская персона всегда должна быть окружена придворными? Или так думали сами придворные? В любом случае Артур всегда находится в гуще событий.

Однако спальня — это по определению место, где человек скрывается от чужих взглядов, иными словами — место, где можно открыто предаться печали. Персонажи, переживающие горе, поднимаются к себе в спальню. Обыкновенно она служит местом уединения женщины и ее убежищем. В поэме «Гильом из Доля» главная героиня не выходит из своей спальни: «Ни один человек не мог ее там увидеть, поскольку рядом не было брата». Но «...я не свободна, — жалуется Марии Французской молодая женщина, влюбленная в юношу по имени Милон, — за мной следят тысячи молодых и старых стражей, включая слуг». Спальня открывает свои двери перед раненым или изможденным человеком. Автор считает нужным подчеркнуть такие аспекты, как гигиена, покой и уединение: спальня, где принимают Эрека, «приятна, нешумна и наполнена свежим воздухом», а в «Рыцаре телеги» Ланселот после сурового испытания, коим являлся для него плен, находит дом приютившей его дамы «надежным», а воздух в нем «целительным».

Таким образом, спальня предлагает более утонченные формы общения и развлечений, чем зал (гостиная). Задушевная музыка, рассказы, игры: отец Гильядун в лэ «Элидук»,

придя в покои дочери, начинает партию в шахматы с чужеземным рыцарем и одновременно учит игре дочь, стоящую по другую сторону шахматной доски. Мы видим, что границы между пространством «коллективным» и предназначенным индивиду размыты и что мужчины порой получают доступ на территорию, которая считается преимущественно женской. В «Повести о сливе» (XIV век) гости после обеда моют руки и переходят в спальню: «Дама, коей было известно множество уловок для того, чтобы заставить молодого человека полюбить женщину, собрала всех вокруг себя для игры в “короля, который не лжет” <...>. С помощью этой игры, где она была королевой, дама хотела узнать, о чем думает каждый из участников: нужно было подходить к ней по одному и рассказывать о своих сердечных делах». Граф, герой романа «Коршун», «имел привычку, доставлявшую ему наслаждение: почти каждый вечер в окружении свиты из самых близких людей он приказывал разжечь в спальне девушек камин, чтобы пламя поднялось высоко и красиво. Затем он направлялся туда отведать десерта и расслабиться. Юная красавица Аэлиса хорошо владела искусством доставлять ему удовольствие. Вокруг камина ставили ложа и кровати, чтобы можно было сесть. Граф распорядился об этом после одного достопамятного события. Закончив ужин, он направлялся в спальню отдохнуть в свое удовольствие и, пока ему готовили фруктовый десерт, приказывал, чтобы его чесали; при этом он почти полностью разоблачался, так что из одежды на нем оставалось одно исподнее».

### *Постель*

Где было принято спать — в зале или спальне? Как спали — каждый на отдельной кровати или все вместе в одной? С кем делили постель — с супругом (супругой) или с представителем того же пола? Во всяком случае, присутствие нескольких людей в одной комнате ночью кажется делом обычным. Назначая свидание Ланселоту, Гвиневра дает ему

понять, что спит в комнате не одна: «Не надейтесь, что нам удастся встретиться: в моей спальне ночует сенешаль Кей; он весь изранен, но все еще держится». Погрузившись в сон, раненый почти не помешает влюбленным. Жоффруа де Пуатье приходит на свидание с королевой: поскольку королева не может привести графа к себе в спальню, она велит поставить две кровати в главном зале — одну для графа, к которому она вскоре присоединится, другую — для его спутника.

Отдельная кровать означает, что человеку хотят обеспечить лучший отдых. Так, Эрек получает отдельную постель от короля Артура: «Король питал к Эреку большую любовь; он распорядился, чтобы Эрек спал в своей постели один, не позволив никому делить с ним ложе и бередить старые раны». В соседней комнате бок о бок спят Энида и королева. Вылежившись, Эрек снова спит в одной постели с супругой. И напротив, пара из «Песни об Эквитане», по-видимому, располагает двумя кроватями, потому что любовники развлекаются на «кроватьи мужа». Отдельную постель можно получить в знак уважения: в «Поисках святого Грааля» король Артур, «чтобы воздать должное знатному происхождению» Галаада, ведет его к себе в спальню и отдает в его распоряжение собственную кровать; сам же он присоединяется к Ланселоту и другим баронам. Далее сказано, что Артур лишь утром появляется в спальне, где спали Ланселот и Гавейн, — признак того, что автор негласно признает право короля на отдельное ложе.

Будучи своеобразным островком частной жизни, постель способствует уединению: она дает человеку уникальную возможность проявить свои чувства. Так, в «Поисках Грааля» Гвиневра, «чтобы не показывать всем своих страданий», вызванных отъездом рыцарей, идет к себе в комнату и бросается на кровать, пребывая в глубокой печали. Но вместе с тем кровать может быть окружена символическим ореолом вины: она нередко становится олицетворением тьмы, преступлений, местом, где невозможно пролить свет на то, что там

действительно произошло. Постель — это объект, открытый подтасовкам и подменам; в особенности это касается женщин, родивших внебрачных детей или детей-уродцев. Кровать также символ различных уловок и манипуляций с реальностью: вместо Изольды в постель к королю Марку ложится девственница Бранжьюна, а в рассказах о двойниках кровать — темное место в буквальном смысле слова: женщина дает себя соблазнить потому, что не может в сумраке отличить одного брата от другого. Это место преступлений и место, где часто происходят ошибки и творится обман, — мы редко видим здесь свет истины. Все права на эту территорию имеет адюльтер, следы которого кровать несет на себе. Ложе Тристана стоит почти вплотную к королевской постели: «на расстоянии длины копья». Тристан намеревается завести разговор с королевой, как только заснет его дядя, но тут у него открывается рана — кровь из нее оставляет следы на простынях. Кровь Ланселота также пачкает постель Гвиневры, дав повод обвинить жену короля в том, что она пригрела в своей постели раненого сенешаля. Улики шаткие и на самом деле ничего не доказывают, но кровать, как мы видим, легко превращается в опасное место.

И наконец, подчеркивая различие между днем и ночью, кровать представляет ночные разговоры как тревожный симптом. Бессонница и, стало быть, отсутствие сновидений заканчиваются для Тидорея — героя названного его именем лэ, получеловека, полуволшебника, чьи глаза никогда не закрываются, не давая ему заснуть, — полной непригодностью к социальной жизни и к осуществлению им власти. Он воссоединится со своим отцом-волшебником в мире, где времени как такового нет; это притча об обязательном чередовании дневного и ночного ритмов, о социальности и о необходимых перерывах в общении. Герои многих произведений не ложатся спать допоздна, проводя время в веселье и пирах, но редко бывает, чтобы они вообще не отправлялись в постель. К тому же ночное бдение чревато большими

неприятностями, о чем свидетельствуют признания, вырванные женою у мужа — «Рыцаря с лебедем» — во время бессонной ночи. По наущению дьявола она задаст мужу невольный вопрос; точно так же и одна герцогиня именно в постели вызывает у мужа тайну, которая будет стоить жизни кастелянше из Вержи и ее возлюбленному. Таким образом, постель предстает также и уязвимым местом — местом, где легко размывается идентичность, местом серьезных инверсий, как реальных, так и мнимых, пусть даже речь идет о ночном разговоре, который неизменно становится источником всяческих бед.

### *Социальность*

В литературных произведениях пространство почти всегда изображается в виде территории, занятой некой домашней группой: семейными парами; детьми; несколькими поколениями родственников, живущих вместе; семейными группами, подверженными частым колебаниям; артуровским сообществом рыцарей; короче говоря — неким иерархически организованным домашним обществом, вокруг которого выстраиваются отношения власти и зреют интриги. Смерть матерей при родах, смерть отцов, потерянные и найденные дети, случайные убийства — подобные сюжеты семейной жизни, ставшие традиционными, заставляют говорить о них, даже в силу их «избыточности», как о фантазиях, часто обладающих статусом универсальности. Сплоченность линияжей в поэмах (жестах) сменяется в романах изображением семьи, где отношения между людьми порой разъедает некая порча, где определенные персонажи олицетворяют абсолютное зло (так воспринимаются мачехи, иногда наложницы, сенешали), а за их жертвами, чаще всего детьми и юными женами, закрепляется определенный статус. Властители в романах показаны

в действии, а гинекей, в частности, предстает воплощением такого места, где отец и муж осуществляют свою власть над миром женщин, который по мере развития сюжета все же находит пути выживания. Не стоит удивляться, что подспудный спор о правах старших и младших братьев может быть отражен в рассказах о близнецах — реальных и вымышленных персонажах, чье родство закладывает основу эмоциональной близости, одну из форм братства. Таким образом, литература предлагает если не реальную картину частной жизни эпохи, то по крайней мере наиболее чувствительные ее точки, связанные с жизнью общины и статусом индивида. В частности, места и ритуальные формы общения, прежде всего их открытость и толерантность, подготавливают почву для необходимой, хотя и трудной интеграции индивида в общество.

### *Частная сфера: свое и чужое*

#### *Границы*

Если за пределами домашнего общества диверсификация пространства нередко означает для индивида невозможность скрыться от посторонних взглядов, то вокруг него все же начинают воздвигаться стены, позволяющие независимо от других пользоваться личной свободой. Уже многие произведения Кретьена де Труа описывают путешествие-инициацию, когда индивид оставляет коллективное пространство, предпочтя ему скитания в одиночестве, по завершении которых он возвращается в коллектив, где его неизбежно ждет слава. Впрочем, в XIII веке тело все больше становится личной собственностью человека и опорной точкой нормативного дискурса, ибо оно рассматривается как нечто могущее подвергнуться насилию из-за того внимания, которое направлено к персональному «я», и вследствие этого служит источником потрясений в жизни общества, в конфликтные ситуации которой литература надеется внести больше ясности.

Возникает понятие «чужой частной сферы», пространства, внутри которого имеют место иные действия, нежели те, что совершаются на глазах у публики. О том, что члены общины обязаны проявлять такт по отношению друг к другу, недвусмысленно заявляет Робер из Блуа в книге «Хороший тон для дам»: нельзя, говорит он, направлять взгляд на чужое частное пространство, на ту самую *privacy*, которая относится не ко всем, а лишь к части людей. Показательно, что эти правила, предписывающие с уважением относиться к частной сфере, касаются преимущественно личности женщины, как будто она представлялась наиболее уязвимым объектом возможных правонарушений и наиболее полным воплощением всех желаемых добродетелей: «Всякий раз, проходя мимо чужого дома, остерегайтесь задерживать на нем взгляд и останавливаться рядом. Глазеть на чужой дом или прогуливаться перед ним неумно и невоспитанно: определенные действия, — говорит автор, — предназначены для частной обстановки, для дома; их принято скрывать от чужих взглядов, в том числе и от того, кому случится оказаться перед дверью. Если вы хотите войти в дом, легонько кашляните в дверях, чтобы предупредить о вашем приходе с помощью этого звука, или произнесите какое-нибудь слово. Коротко говоря, никто не должен входить, не предупредив людей в доме».

### *Попытки уединиться*

Как добиться уединения в многолюдной частной среде? Элементы, из которых состояло пространство, демонстрируют, что некоторые места отличались «большой публичностью» по отношению к другим, а некоторые, напротив, — «большой приватностью». Таким образом, уединенность означает способ, посредством которого два индивида по доброй воле изолируют себя от остальных, дабы обменяться секретами, сообщить друг другу то, что не предназначено для широкой публики.

Типы поведения в многолюдной частной среде, изображенные в литературе, свидетельствуют, до какой степени трудно найти подходящее место и подходящий момент для разговора с собеседником — так, чтобы защититься от длинных ушей зевак. Почти не вызывает удивления, что литература придумывает реалистические модели для того, чтобы, с одной стороны, вынести определенные сцены за пределы дома главного героя, а с другой — чтобы обойти их молчанием. Так, Клижес, персонаж одного из произведений, просит у своего крепостного Жана разрешения уединиться с возлюбленной в его доме. XIII век будет особенно богат ситуациями такого рода. В отличие от романов Кретьена де Труа, «Смерть короля Артура» (начало XIII века) — произведение, где почти нет приключений, где мир рыцарей, полный интриг и доносов, трагически рушится; в «Гнедом коне» племянник, желая привлечь к делу своего дядю, полагая, что тот неплохо представит его интересы перед отцом возлюбленной, ищет для личного разговора подходящую «комнатку» (небольшое помещение на втором этаже, одну из спален?) — короче говоря, некое отдаленное место.

В романе «Гильом из Доля» социальность изображена как добродетель хорошего государя, уединенная беседа безусловно наделена функциональностью и предстает как открытое проявление людских взаимоотношений. Один из главных объектов таких взаимоотношений — менестрель, любимец короля. Желая услышать из его уст занятную историю, монарх берет лошадь Жюгле под уздцы, и двое друзей отходят в сторону от остальных. «Расскажи мне, дорогой друг, историю, которая бы разогнала мою скуку». Уединенная беседа требует убежища, ниши в окружающем пространстве, происходит ли она на природе или в доме. Также в уединенном месте, «на балконе», император объявляет сенешалю о своем намерении жениться; и позднее, когда император приглашает Гильома весело провести время в саду, месте их последней встречи,

он, как говорит автор, находится «в узком кругу». Иногда мы имеем дело с самоизоляцией: узнав о клевете, жертвой которой стала Льенора, император, оставив всех, один бродит по полям, погруженный в печаль. Что касается сенешаля, его удается вывести на чистую воду тоже с помощью уединенного разговора: тогда как все в полном сборе находятся во дворце императора, посланник Льеноры выманивает сенешаля «из дворца» и назначает встречу «у высокой стены», где их никто не увидит; попавшись в эту ловушку, предатель будет наконец изобличен. Таким образом, дворцовые интриги, служа своего рода каналами передачи секретов, сменили прекрасную ясность мира короля Артура. Проемы окон в «Лэ о белом рыцаре» (XIV век) или в более позднем романе «Маленький Жан де Сентре» становятся средоточием тайн, местом, где можно подслушать тайные переговоры, подчас касающиеся не самых невинных тем.

### *Тайный язык знаков*

К концу XII века в коллективном пространстве складывается замкнутая и тайная сеть разных типов коммуникации: подарков, которые скрепляют связь между влюбленными; залогов любви, которые известны этнологам даже сегодня; письменности, которая, все шире распространяясь, приобретает значение связующего звена; писем, которые посылают, теряют, похищают, используют для различных манипуляций. Простые приспособления для хранения вещей — драгоценностей, одежды, оружия — повышаются в цене, получают статус реликвариев, становятся метафорами тайн куртуазных романов, своеобразными символами интриг, их раскрытия и разоблачения.

Признаки любовного союза иногда очевидны, а иногда их стараются скрыть: это символы близости, воспринимаемые окружающими как знаки, отсылающие к их главному значению. Вообще тайные знаки заполняют куртуазный мир XIII века: маленькая собачка, на первый взгляд случайный персонаж

домашнего пространства, сообщает возлюбленному кастелянши из Вержи о времени свидания. Уже у Марии Французской в «Жимолости» встречаем влюбленных сопутствует обмен знаками: Тристан обвиняет жимолостью ветку орешника, сдирает кору и пишет на ветке свое имя, тайный знак их связи, который как будто говорит: «Любимая, как нельзя разделить эти ветви, так и я не могу без вас, а вы — без меня». Еще один знак — узел, который возлюбленная Гигемара завязывает на его рубашке так, чтобы никто другой не смог его развязать (Гигемар, в свою очередь, надевает на обнаженное тело любимой пояс, который нельзя ни сорвать, ни срезать): тайный язык знаков, определяющих пространство и силу эмоций, недоступных посторонним. Позднее мы увидим (см. роман «Маленький Жан де Сентре»), что в мире личин и масок обучение юноши хорошим манерам включает приобщение к тайному языку, к скрытому набору правил, создающему новые изолированные пространства, где могут передаваться секреты.

В противоположность этому такой залог любви, как подарок, украшение или кольцо, не несет в себе скрытого смысла. Кольцо, будучи элементом саморепрезентации, в то же время выступает как явный символ сексуальности, как важная деталь произведения, где нарушаются те или иные запреты: связь с феей распадается после того, как герой рассказывает отшельнику о своих отношениях с нею. И кольцо исчезает после нарушения клятвы! Лучше интегрированы в символику социальности четки, которые девушки дарят любимым, как пишет Гийом де Машо, увековечивший этот образ в своем произведении. Девушка «быстро изготовила очень красивые четки, которые показались мне полными очарования, так как были сделаны из мускатных орехов, роз и фиалок. Закончив работу, она подошла ко мне и надела четки мне на голову»; здесь четки, «растительная» связь между влюбленными, продолжают другой вид связи — объятия, в которые девушка заключит главного героя.

*Запретная речь*

Необходимость сохранения тайны — один из наиболее известных законов куртуазной любви; именно его нарушение приводит к трагедии, произошедшей с кастеляншей из Вержи: «Так уж повелось, что выдавший тайну теряет из-за этого счастье, ибо чем сильнее любовь, тем больше настоящие влюбленные бывают огорчены, когда один из них подозревает другого в неумении сохранить то, что он должен был держать в тайне. И часто все заканчивается настолько плохо, что любовь должна отступить перед болью и стыдом».

Когда речь идет о встречах смертных и фей, многочисленные запреты — если они касаются потустороннего мира — могут распространяться на что угодно, вплоть до еды и питья; однако чаще смертным запрещено раскрывать вполне определенные тайны: нельзя никому рассказывать о существовании феи, задавать вопросы о ее происхождении (см. «Песню о Тидореле» или «Песню о рыцаре с лебедем»). Произведения о феях отражают, хотя и в крайней форме, запреты, не позволяющие представителям частной сферы открывать свои секреты коллективу — неважно, что здесь под «частной сферой» понимается потусторонний мир. Мелюзина, скрывая свой образ полуженщины-полузмеи, сумеет сыграть на этих запретах, искусно используя существующие табу: в определенные дни ее запрещено видеть, общаться с ней. Но Раймондин нарушит запрет и не удержится от того, чтобы посмотреть на жену.

К ограничениям и запретам в сфере коммуникации прибавляются письменные формы связи. Этот тип посредничества расширяется в XIII веке, и во «Фламенке» влюбленные будут долго искать друг друга с помощью устных или письменных посланий, определенного набора знаков. Письма входили в число ~~д~~галаей, упомянутых уже Берулем в «Тристане», где Марк велит капеллану прочитать ему вслух послание Изольды: письмо становится предметом общественной связи. Капеллан

ломает восковую печать, читает текст, затем излагает его — строку за строкой. После этого Марк созывает баронов и призывает им также прочесть письмо.

В «Смерти короля Артура» сам король читает послание девушки, чей труп в таинственной лодке приплывает к нему по реке. В обоих случаях роль писем заключается в трансляции неких сведений, которые принадлежат частной среде, настоящей или вымышленной (как говорит Огрин, «чтобы смягчать стыд и избегать скандала, полезно чуть-чуть лгать»), но должны стать публичными. Иногда в роли грустного прощания выступает некий образ, изображение. Король Артур, находясь в таинственном замке своей сестры Морганы и увидев с восходом солнца картины, нарисованные Ланселотом во время пленения, предчувствует свою неудачу. В книге «Филомела», приписываемой Кретьену де Труа, бедная немая, найдя в сундуке *eschevaux*<sup>\*</sup> и *fusées*<sup>\*\*</sup>, с помощью цветных ниток рассказывает свою историю: описывает изнасилование, которому она подверглась, затем сообщает о нанесенном ей увечье и последующем заключении в тюрьму; сестра сумеет прочитать ее «письмо». Изображение поведает о том, о чем никто не осмеливается говорить, — о непередаваемых словами вещах.

О растущей роли писем как средства коммуникации свидетельствует «Роман о кастеляне из Куси», где коммуникация сама по себе настолько опосредована, что становятся понятными функция лирических отступлений, основная проблематика романа и рост числа промежуточных звеньев в контактах между влюбленными, короче говоря, «трудный путь слова и информации» (Ш. Маршелло-Нидзе). Послания играют столь же важную роль в произведениях, касающихся темы инцеста: там нередко рассказывается о подмене писем,

\* Клубки ниток (ст.-франц.).  
 \*\* Веретено.

предварительно вскрытых и фальсифицированных с целью объявить о рождении у некой дамы уродца (тогда как на самом деле она родила прекрасного младенца) или сообщить о приказе разгневанного мужа сжечь супругу и чудище, которое та якобы произвела на свет, хотя в действительности он великодушно пощадил их.

Отшельнику, лишившемуся рассудка и памяти, послание будет служить средством сообщить миру о причинах случившегося с ним странного бедствия. Герой «Повести о борзой», взяв с собой чернила и пергамент, убегает в лес и там приступает к описанию своих невзгод: долгие годы ожидания, презрение дамы. Свои записи, ставшие для него отныне единственной возможностью вернуть прошлое, единственным способом поведать людям о своих злоключениях, он прикрепляет к дереву.

### *Предметы в предметах*

Сундуки подчеркивают ценность вещей, постепенно извлекаемых на свет божий. Открываясь, хранилища являют драгоценности и одежду; лари даруют украшения, которые наденет герой книги «Гильом из Палермо», побывавший в шкуре оборотня и вернувшийся в человеческий облик; в походном сундуке лежит камзол из зеленой парчи, в который фея облачает отшельника: так проходит обряд восстановления в «Повести о борзой». Хранилище может выступать смыслообразующим элементом рассказа: украденный поясной кошель из романа «Коршун» становится источником драмы, впоследствии — счастливой встречи. В «Смерти короля Артура» письмо не только выдает тайну мертвой красавицы, оно делается объектом, скрывающим в себе другие объекты многослойного пространства: лодку, гобелены, поясной кошель. В сфере социальности подарки нередко выступают в роли хранилищ, которые благоприятствуют распространению символического языка, выражающего открытие.

Предметы, используемые при погребении, приобретают еще более символический смысл: таков сундучок с останками соловья (*laostic*) в одном из лэ Марии Французской — метафора вечной тайны, олицетворение духа и памяти: супруг главной героини убил соловья, и та, вышив на парчовой ткани золотой нитью письмо с рассказом о случившемся, заворачивает в нее птичку и посылает любовнику. Будучи настоящим рыцарем, любовник велит выковать «сундучок чистого золота», украшенный драгоценными камнями, кладет туда останки соловья и запечатывает «раку». Другие «раки» также подчеркивают символическое значение содержимого: например, «корзина», которая чудесным образом хранит, уберегая от тлена, руку красавицы Элен. Отрубленную руку другой героини (см. роман «Безрукая») держат в не менее странном «реликварии» — желудке осетра, распространяющем столь приятные ароматы, что сердце всякого, кто стоит рядом, наполняется нежностью!

*Домашнее общество:  
колебания и возврат к норме*

Построенные в соответствии с принципами жесткой семейной структуры, средневековые произведения запечатлевают внутренние проблемы семей, делая особый акцент на идее соперничества между наследниками, что, впрочем, могло быть темой произведений и в феодальную эпоху (сценарий примерно одинаков). Итак, повествование нередко выходит за рамки узкого семейного круга, который с помощью различных экзогамных средств будет в конечном счете восстановлен. Хотя описание семьи в литературе крайне многообразно, мы отметим здесь основные точки отсчета: в первую очередь частое повторение сценариев сексуального характера — инцест, ставший результатом соблазнения (отец — дочь, теща — зять, сестра жены — муж сестры); соперничество вокруг женщины;

клевета, обвинения в измене, послужившие причиной изгнания молодой матери; короче говоря, все домашние ссоры, которые другие рассказы стыдливо обходят молчанием, изображая идеальную семью.

### *Семейное поле*

То, что семья далека от идеального согласия и гармонии, запечатлено во многих фавлю. Кретъен де Труа, напротив, делает особый упор на достоинства жизни в браке, показывая раз за разом, как этот институт продолжает сохранять галантные отношения. В романе, представляющем антитезу «Тристану», — «Клижесе» — адюльтер уступает место свободному, легитимному выбору; однако литература чаще изображает разногласия и ссоры между супругами. Другие же пары, не столкнувшиеся с адюльтером, этим источником ревности, могут жить в полной гармонии, время от времени испытывая трудности, но всегда умея с ними справиться; так, супруг из романа «Дочь графа Понтъе», потрясенный изнасилованием своей жены, свидетелем которого он стал, ищет облегчения боли в отказе от сексуальных отношений, тогда как форма наказания устанавливается отцом жены; в историях о кривосмешении, например в «Безрукой», супруги, встречающиеся после разлуки, умеряют на время Святой недели свое желание и начинают новую жизнь.

Многочисленные произведения свидетельствуют о нежных чувствах к ребенку — от «Безрукой» до «Тристана из Нантейля», где только благодаря чуду к матери, готовой покончить с собой, лишь бы не видеть страданий своего ребенка, возвращается молоко. В рамках строгой иерархической схемы Ида, графиня Булонская, никому не позволяет кормить молоком своих детей, Заметив, что в ее отсутствие проголодавшегося ребенка накормила служанка, мать, охваченная праведным гневом, его будит, трясет, заставляя отрыгнуть «чужое» молоко, затем кормит собственным молоком. Подобная система

взаимоотношений, основанная на связи матери и женской половины прислуги, объединенных заботой о ребенке (см. повесть «Рыцарь лебеда»), сопрягает частный мир гинекея со всем линьяжем. Гинекей становится символическим местом, где в полной мере проявляется роль матери в домашней ячейке, где биологическая передача материнского молока становится священным актом: мать выступает как единственная кормилица, достойная славного потомства.

### *Поиски отца*

Средневековые повести то и дело возвращаются к проблемам родства, к функции, которую выполняют дети, и к вопросу об отношениях отцов и детей, поднимаемому авторами почти с фанатичной настойчивостью. Связи с отцом, как можно догадаться, являются объектом тщательных исследований в рассказах об оклеветанных женщинах, обвиняемых в рождении уродца — такой, разумеется, не может быть законным сыном их мужей; впрочем, подобные связи еще сильнее проявляются в тех смертельных (и полных символизма) опасностях, с которыми сталкиваются отцы и дети, сходясь в битвах, где противники не знают или не узнают друг друга (см., например, повесть «Гормон и Изамбар», в которой сын-отступник в стычке ранит отца, а также «Доон де ля Рош», «Бодуэн де Себурк», «Флоран и Октавиан»). В позднем романе «Валентин и Орсон» (конец XV века) описано отцеубийство: на Валентина, укрытого сарацинским щитом, нападает родной отец; столкновение настолько сильно, что копье сына пронзает тело отца. «Сегодня вы убили отца, который породил нас на свет!» — кричит убийце его брат-близнец Орсон.

### *Дядья и племянники*

Исследования кровных связей ясно показывают, насколько смутным в средневековом сознании было представление о точной степени родства. Впрочем, именно в линьяжах,

произошедших от волшебников, явственно чувствуется симпатия отца к сыну и сына к отцу, ибо само несходство их жизней, принадлежность отца к феодальному, а сына — к потустороннему миру означает, что они близки и в то же время незнакомы друг другу; мы видим это на примере повести (лэ) «Желанная» и, в несколько более фантастической форме, в «Тидореле»: узнав о своем волшебном происхождении, король Тидорель оставляет земную власть, пришпоривает коня и спешит в полном вооружении в глубины озера, откуда в свое время вышел его отец, чтобы произвести героя на свет.

Великие герои эпических поэм (жест) и куртуазных романов редко имеют детей, а если имеют, те остаются на вторых ролях, вроде бесхарактерного Людовика из «Нимской телеги». Их заменяют племянники, связанные с дядями узами любви: Р. Беццола отметит, что это новое явление по сравнению с греческой, римской, германской и кельтской мифологией. К связке отца — дети, наделенной глубоким символическим смыслом, добавляется то, что племянник может привнести в отношения тесного родства, исключая возможность непосредственного наследования: будучи очень близки дяде, пользуясь с его стороны немалой любовью (возьмем, например, племянников Гильома Оранжевого), племянники выступают в «особой» роли. Однако отношения дяди с племянником отличаются некоторой двойственностью — вспомним об императоре Карле и Роланде. На Роланда, единственного племянника императора, возложена индивидуальная миссия, но «не был ли он больше, чем племянник? Не был ли он его сыном?» (Беццола). Согласно одной скандинавской саге, Роланд был сыном Карла и его сестры Жизели (впрочем, и в «Песне о Роланде» отец героя упомянут лишь однажды как «строгий» человек), но эта кровосмесительная родословная не подтверждается ни одним французским источником ранее XIV века. В контексте восприятия племянников как «детей любви» (внебрачных сыновей) вспоминается прежде всего история Тристана в изложении

Готфрида Страсбургского: воспитанный приемными родителями, похищенный скандинавскими торговцами, Тристан приходит к королю Марку, который узнает в нем племянника. Любовь дяди к сыну сестры будет столь велика, что он не захочет производить на свет наследника, считая Тристана своим сыном... Двусмысленны отношения двух антиподов — Гавейна и Мордреда, племянников короля Артура. Верный товарищ и мудрый советчик короля, Гавейн, этот галантный рыцарь, будет противостоять предателю Мордреду, который хочет отнять у Артура жену и королевство. Согласно одной из версий этой легенды, Мордред является плодом кровосмесительной любви короля Артура к своей сестре, жене короля Лота Орканского и матери Гавейна. Впрочем, это небольшой грех, поскольку король Артур в период романа с Анной не знал, чей он сын, а следовательно, не догадывался, что она его сестра.

### *Изгнание*

С темой взаимоотношений индивида и окружающего его коллектива, который, ограничивая его свободу, предоставляет ему статус, тесно связана, как продолжение семейной проблематики, тема изгнания. Особенно интересно рассматривать ее на примере женских персонажей: вспомним дочь графа Понтье, чье замужество можно назвать идеальным, поскольку ее мужем был сын сестры ее отца. Она оказывается бесплодной, и ее, потерявшую честь и социальное положение, бросают в бочке в море; после спасения она родит детей и обретет новый статус в мусульманской среде. Способность к деторождению дочь графа Понтье получит благодаря инициации, воплощенной в посягательстве на тело, попытке ее убийства (о чем она никогда не будет сожалеть) и, наконец, переходу в «языческую» веру. Можно ли считать, что экзогамный брак оказался для нее необходимым и плодотворным этапом? Ведь в конце концов она возвращается в свой мир — как будто временное отдаление от семьи и от окружавшего ее социума

было для чего-то нужно. Впрочем, изгнание нередко обуславливается попыткой женщины избежать домогательств кого-либо из родственников, и если о кровосмесительных устремлениях отца героини повести «Гнедой конь» лишь смутно догадываешься, то в «Двух влюбленных» Марии Французской они более явственны («Ее руки просили могущественные вассалы, которые были бы счастливы взять ее в жены, но король никому не хотел дать согласие, ибо не мог с ней расстаться. Она была для него единственной отрадой, и он не отходил от нее ни днем, ни ночью»), а в «Безрукой» и в «Романе о графе Анжуйском» противоестественная страсть уже вполне очевидна.

#### *Галантная любовь и ревность*

Одним из источников конфликтов в домашней среде — и далеко не самым незначительным — является ревность, от которой происходит галантная любовь (какое бы фантазматическое развитие она ни получила в литературе) и которая «действует» в рамках тех же запретов, ибо муж становится источником одновременно и любви, и опасности. Если в артуровском цикле король не очень подвержен этому пороку (судя по роману «Рыцарь телеги», посвященному супружеской измене, Артур отнюдь не кажется ни ревнивым, ни склонным к подозрениям), то начиная с XIII века феномен ревности получает отражение в литературе: в «Романе о кастеляне из Куси» ревнивый муж подает супруге жаркое из сердца ее возлюбленного, убитого во время крестового похода; в «Лэ об Иньоресе» мы видим ревность в пародийно-гипертрофированном виде, вылившуюся в месть двенадцати супругов; в «Кастелянше из Вержи» ревность герцогини приводит к профанации любви; во «Фламенке» это чувство приобретает прямо-таки патологические черты: ревнивец представлен там необузданным, отталкивающим существом, антиподом галантных рыцарей.

*Обвиненные женщины*

Некоторые «семейные» сюжеты, широко представленные в новеллистике, столь массово переключались в средневековые романы, что невозможно поверить, будто эти последние не внесли — ради утешения, которое получит читатель, когда все закончится к всеобщему удовольствию и все опасности, нависшие над домашней средой, будут устранены, — никаких новых мотивов, ограничившись развлекательной стороной, укорененной в традициях жанра. Поэтому всплывает мотив несправедливо обвиненных женщин, причем клевета чаще всего касается происходящего в спальне, особенно в спальне роженицы. Спальня становится олицетворением греха, а оклеветанный новорожденный получает позорное клеймо бастарда или монстра. Клевета может также затронуть целомудренную женщину, не ответившую на домогательства деверя. Героиня подвергается преследованиям, но затем добивается оправдания, выполняя в рамках семьи определенный набор ролей: так, ее отвергнутым воздыхателем обязательно оказывается брат мужа, а окончание истории знаменуется тем, что преследователь женщины, заболев, признается в своем преступлении и жертва его козней вылечивает обидчика. Невозможно переоценить важность признания обществом, общиной неподобающего желания, возникающего в интимной среде, — признания, которое в финале рассказа, например в повести «Флоренс из Рима», превращается в настойчиво повторяемый лейтмотив. Обвинения в преступной любви нередки, и если сопоставить их с народными традициями, придется включить их в более широкий контекст и связать с более широкими представлениями о сексуальности и генитальных фантазиях. В «Рыцаре лебедя» королева Беатриса высмеивает мать двух братьев-близнецов, сама же рождает шестерых. В более позднем произведении («Тезей из Кельна») королева насмехается над каким-то уродцем; когда ей приходит время рожать, она производит на свет монстра, и бывший поклонник, в свое время отвергнутый ею, обвиняет королеву

в связи с карликом. Возмущенный муж велит сжечь жену на костре, но Бог дарует ребенку красоту, а карлик в поединке побеждает клеветника. С обвинениями матерей связана судьба детей, вынужденных рано покинуть семейную и легитимную среду и — безвестными и обездоленными — подчиниться року.

### *Братья внутри семейной группы*

В течение XII–XV веков в литературе зарождается и утверждается нуклеарная модель семьи с двумя братьями, нередко близнецами, — модель, которая, вероятно, может служить идеальным решением проблемы коренного антагонизма между двумя держателями власти, двумя лицами, занимающими одно частное пространство. Беря за основу вечную тайну двойного рождения, рассказы о братьях (весьма представительный корпус текстов) будто откликаются на такую особенность феодального общества, как бесконечная цепь разочарований, уготованных младшим детям. Рассматривая связи между братьями через призму взаимоотношений близнецов, литература возвращает дискриминированным членам семьи относительное равенство и даже порой утверждает их первенство, ведь в иных случаях они меняются местами со своими «двойниками» — с согласия последних.

В некоторых произведениях, где появляются «фиктивные» братья, взаимоотношения близнецов используются как метафора, позволяющая высказать идеи, которые автор не осмелился бы затронуть, если бы речь шла о братьях настоящих. «Слияние» Двойников — хороший прием, ибо близнецы, будучи частью феодального мира, выполняют функцию подчеркивания наиболее существенных сторон реальности. Таким образом, литература, поднимающая такую тему, выносит на поверхность серьезные проблемы семьи и может быть интерпретирована как «социальная терапия» (Ж. Дюби). Если здесь и проглядывает желание добиться каких-то прав на наследство для младших братьев, то главный

посыл заключается все же в утверждении идеи возможности мирного сосуществования двух похожих индивидов. Двойник перестает угрожать идентичности, Двойник получает право на жительство. Средневековые литературные произведения, основанные на базовом для человека той эпохи чувстве идентичности, логически аргументируют весь комплекс фантазмов, свойственных индивидуальному сознанию.

В некоторых случаях между братьями возникают кровавые конфликты; особенно это касается произведений на сюжет о царе Эдипе («Роман о Фивах») или о Ромуле и Реме (см. пролог к «Атису и Профилиасу»). Тема соперничества между братьями в романе «Флоренс из Рима» развивается на фоне феодальных отношений XIII века: братья борются друг с другом за власть, причем война идет не на жизнь, а на смерть. В этих произведениях взаимная ненависть напрямую связана с борьбой за власть — проблемой, которую авторы решаются поставить лишь в контексте взаимоотношений двух братьев, эти последние всегда изображены как старший и младший брат. Всякий раз ссора возникает из-за противоречия между правом первородства и правом на переход наследства к младшему сыну. Братоубийство становится результатом столкновений между старшим и младшим братьями, но не между близнецами.

И напротив, взаимоотношения близнецов всегда показаны образцовыми... В литературе их нередко изображают жертвами вытеснения из социальной и даже человеческой среды, но постепенно они двигаются в сторону социализации. Их мать (королева Англии из «Гильома Английского»; прекрасная Элен, сестра Пепина из «Валентина и Орсона» и прочие) находится в изгнании, а дети, родившись в чужом мире, нередко теряют родителей и вскармливаются животными или же попадают в иную социальную среду, отличную от их собственной, — к простолюдинам или купцам. В этой связи детей с матерями чувствуется отпечаток архаических моделей: подчиняясь сильной энергии, обусловленной генетическими

факторами, близнецы остаются соединенными с матерью некой первичной связью; об этом с особой силой свидетельствует сюжет с отрубленной рукой прекрасной Элен, которую привяжут к телу ее сына Браса\*, а тот будет хранить ее и всегда носить с собой как реликвию вплоть до юношеского возраста; после же благополучного завершения всех приключений брат юноши Мартин (будущий святой) чудесным образом присоединит к телу матери эту священную пуповину.

В таких произведениях нередко рассказы о чудесном спасении и о неожиданных встречах, особенно в контексте реабилитации несправедливо обвиненной матери. Таким образом, близнецы выступают восстановителями семейной ячейки (родители — дети), и, поскольку они являются единственными факторами подобного воссоединения, их история обычно играет роль центростремительной силы, восстанавливая распавшуюся семейную ячейку. Вместе с тем на имя, которое получают близнецы, всегда накладывает отпечаток новоприобретенная идентичность: в одном из вариантов повести об Орсоне и Валентине Орсон, воспитанный медведем\*\*, носит имя «Nameless» (Безымянный), которое сохранит и в будущем — как будто тайна рождения и выталкивание из коллектива не позволяют человеку иметь имя... Рассказы о близнецах — это рассказы об аккультурации: прежде чем вновь обрести отца и мать, близнецы должны увидеть друг в друге братьев. Повесть «Валентин и Орсон» особенно интересно описывает процесс окультуривания полудикого ребенка его уже приобщившимся к цивилизации братом; Орсон дает Валентину своеобразную клятву верности, вроде той, какую вассал приносит сеньору: он «тянет к брату руки, знаками прося у него прощения, и знаками показывает, что никогда не причинит ему вред и не посягнет на его имущество».

---

\* От «bras» (франц.) — рука.

\*\* Намек на связь между именем «Орсон» и медведем (франц. ourse).

Явный парадокс: фактическое существование среди близнецов старшего брата. Казалось бы, близнецы занимают совершенно равноправное положение. Однако из романа «Гильом Английский» явствует, что один из двух близнецов считался перворожденным, а «Кутюмы Бовези» содержали статью, согласно которой в суде не принимались свидетельства женщины, за исключением тех случаев, когда она должна была указать, который из двух ее сыновей появился на свет первым: «Не было бы никакого средства узнать, кто из них старший, если бы не показания женщин, и по этой причине в данном случае им нужно верить».

#### Фиктивные близнецы

Мнимые «близнецы» — преувеличенная метафора близнецов настоящих. Странно само рождение этой пары; необычны договоры, которыми оно сопровождается, и доказательства, которые удостоверяют их подлинность. Впрочем, их роль в общине идентична роли настоящих братьев, и представления об их нерушимой связи так же идеальны. Эти «близнецы» — искусственное образование, вызванное к жизни особыми обстоятельствами: их навеки соединяет «ассоциативный» договор, подкрепленный документами о «братском союзе» (*affrèment*), которые хорошо известны историкам. С другой стороны, это союз чисто эмоциональный, где стороны не связаны ни узами крови, ни даже общностью проживания: Эми и Эмиль происходят соответственно из Берри и Оверни; Атис и Профилиас — из Рима и Афин; герои одной повести XV века, в которой действие происходит при бургундском дворе, — из Алгарве и Кастилии. С первых же мгновений встречи их отношения скрепляет зафиксированная в договоре формула, и порой между ними устанавливается очень прочная связь: «...едва познакомившись, они прониклись друг к другу такой любовью, что заключили вечный союз и братство, пообещав друг другу, что ни один из них никогда ничего не сделает без

ведома другого, пока их не разлучит смерть. Ибо им казалось невозможно — если только не по воле всемогущего Бога, — чтобы ненависть и злоба возникли там, где была такая любовь и товарищество» («История Оливье Кастильского и Артура из Алгарве»).

С этого дня стороны приобретут *un semblant et une feiture* (идентичный вид); «дублирование» внешности «брата», возможность принять одного за другого представлены как следствие заключения вышеупомянутого договора. Даже родители фиктивных близнецов не всегда могут различить, кто из них кто. Однако, чтобы получить законную силу, договор должен подвергнуться испытанию, которое нередко принимает вид поиска. Брат ищет Двойника по какому-нибудь опознавательному знаку: разлука для них непереносима. Серьезным испытанием сплоченности близнецов может стать женщина: ради Профилиаса, страдающего от несчастной любви, Атис задумывает жениться на объекте страсти брата, уступает ему девушку в брачную ночь и продолжает это делать в течение долгих месяцев. Еще одно испытание — принесение в жертву крови детей одного «брата» ради другого. В ряде произведений один из близнецов, заболевший проказой, излечивается с помощью крови детей своего брата: возможное напоминание о традиционных ритуалах обмена кровью, лишнее свидетельство приоритета договорных обязательств и безусловной верности договору.

### *Братья и власть*

И настоящие, и фиктивные братья-близнецы всегда связаны с проблемой власти, так что можно с полным основанием считать такой тип объединения, на первый взгляд внутрисемейного, главной связью семьи с общиной. Если сыновей царя Эдипа и братьев, основавших Рим, снедает зависть друг к другу, то братья-близнецы эпохи Средневековья вместе занимаются укреплением благосостояния государства

и расширением его границ. Под влиянием харизматических лидеров, братьев Клариса и Лариса, герои артуровского цикла все дальше распространяют свои завоевания. Средневековая литература не только наделяет «братский союз» (*affrèrement*) динамической функцией, но и решает трудную проблему Двойников, приписав им солидарные действия: Двойник человека упрочивает его позиции. Однако братья-близнецы могут и совместно отказаться от власти. Эми и Эмиль закончат дни в Ломбардии верными слугами Бога; финал книги о Валентине и Орсоне близок к сюжетам агиографических сочинений. Добровольный отказ от имущества расценивается как лучшее средство избавиться от самых зачатков опасного соперничества. Даже в «Истории Оливье Кастильского», романе, запечатлевшем настроения бургундского двора XV века, у старшего брата хватает благоразумия быстро исчезнуть со сцены, передав младшему власть над всем королевством.

Реальные или фиктивные братские связи можно рассматривать и как зеркальное отражение чувства ненависти, и как более или менее удовлетворительное решение латентных конфликтов, которые сублимируются в идеальные, безупречные литературные образы. Близнецы транслируют изначальную неразделимость и разделение общей матрицы: они распространяют атмосферу мира, крепко спаянных отношений, заново обретенной идентичности, и те же утопические устремления демонстрируют «братья», которые являются таковыми лишь в фигуральном смысле.

### *Гинекей*

У всякого, кто захочет извлечь из лирических и нарративных произведений сведения о том, что представляло собой объединение женщин внутри ограниченного пространства, — так называемый гинекей, специфически женская территория, — не будет недостатка в источниках: это и «песни прядки», и жесты, и романы, и даже более поздняя литература,

где есть описания вечерних женских посиделок. Каковы же структура и функция этих групп в рамках домашнего общества? Объединения женщин следуют определенным моделям: с XIII по XV век диахронический процесс позволяет, с одной стороны, сформироваться особому пространству, предназначенному для женщин (будь оно официально существующим или только подразумеваемым), а с другой — появиться законам функционирования в нарративной схеме. Таким образом, многообразие вариантов и инвариантов свидетельствует о прочности структуры гинекея, придающей ему вид такого элемента дома, в котором пространство и его обитатели кажутся сравнительно статичными. Однако если здесь есть варианты, то каковы они? При каких обстоятельствах гинекей сохраняется, а при каких распадается? Эти вопросы непосредственно касаются взаимных связей частного пространства (одной женщины, пары женщин или целой группы женщин) с коллективом или по крайней мере с более «заселенным» сектором частной сферы.

Указания на пространственные характеристики в литературе немногочисленны и неопределенны, но ощущение границы, отделяющей внутренний мир от мира внешнего, выражено довольно сильно, поскольку темп жизни в «женском» пространстве противопоставлен ходу времени за его пределами, что придает внутреннему пространству его статус. В «песнях прялки» эта граница обусловлена зависимым положением женщины и потенциальным бунтом против института брака, против замужества, которое уже состоялось или только предстоит: время, изображенное здесь, — это время ожидания, оно подчеркнуто внутреннее. Иногда, например в «Романе о графе Анжуйском», женщины покидают свое частное пространство из-за грозящей им опасности и перебираются в другое место, воссоздав себе там собственное пространство и собственное время, идентичное прежнему и при этом новое. Если завеса над частным «женским» пространством приоткрывается, то это

происходит по воле какой-нибудь проклятой женщины вроде воспитательницы прекрасной Ориальты в «Романе о фиалке».

И напротив, в «Песне о рыцаре с лебедем» закрытости частного «женского» пространства придается большое значение, потому что это подразумевает существование особого мира женщин, наделенного свойствами линьяжа; здесь же прославляется положение женщины-матери в таком пространстве и в такой среде, проникнуть в которые мужчине дозволено законом лишь на время. Примечательно, что никаких указаний на пространственные измерения нет именно там, где роль женщины в семье показана во всем многообразии осуществляемых ею функций (дама, домохозяйка, кормилица). Речь идет о мире, где ребенок получает первые начатки воспитания, где сегрегация имеет функциональное значение и где внутреннее время гинекея и время внешнее, «мужское» обогащают друг друга.

Позднее благодаря устным контактам между женщинами появляются так называемые «Евангелия от прях», которые напрямую восходят к «Декамерону» и являются провозвестниками жанра, достигшего расцвета в XVI веке. Эти произведения возникли из вечерних посиделок женщин, описанных автором следующим образом: «Надо сказать, что как-то вечером после ужина, с наступлением ночи, — дело было в прошлом году, между Рождеством и Сретением, — я отправился в дом к одной немолодой даме, живущей от меня неподалеку, к которой я привык ходить ради беседы, ибо многочисленные ее соседки собираются у нее пряхсть и вести разные житейские, веселые разговоры, в коих я нахожу великое утешение и удовольствие». Разговоры, о которых упоминает рассказчик, придают обществу женщин свою специфику; женская речь сама очерчивает свои границы: сознательно вынесенная за пределы мужского сообщества, она отражает магические знания и подразумевает принятие на себя части ответственности за общину. В гинекее царит всеохватывающее время, собственно говоря — матрица.

В некоторых ситуациях задействованы исключительно женские персонажи, чьи характеристики разнятся в зависимости от условий — принадлежности к аристократическому миру романов или крестьянскому миру «песен прялки»; этим персонажам предписываются определенные поступки и прежде всего речевые акты, символизирующие уединенность, закрытость пространства — эмоциональную или ритуальную. Эти элементы — набор символов, чья структура выдает наличие действующего литературного кода, — ретранслируют редкие ссылки на пространственное измерение. Таким образом, в «песнях прялки» частное пространство женщин предстает как место мечтаний, свободы, ожидания и откровенности. Если «визуальная наводка» в большинстве случаев лишена резкости, то язык знаков выразителен и свидетельствует (посредством вербальных обозначений) о наличии двух пространств: частного женского и другого — того, от которого зависит женская среда и от которого она вынуждена ожидать чего угодно. Героини «песен прялки» живут как будто в преддверии разрыва с авторитарным миром законов. Зарисовки гинекея показывают препятствия, через которые проникает взгляд: окно или бойницу башни, точки соединения внутреннего и внешнего. Сад, напротив, — открытое место; в этих произведениях он нередко символизирует распад, грозящий частному пространству, уже произошедшее разрушение гинекея. Именно в саду возлюбленный прекрасной Беатрисы встречается с ней, чтобы увести с собой.

Еще одна деталь: особые действия женского сообщества, которые выражают ту или иную форму погружения в себя. Если героиня порою уходит в себя, ожидая кого-либо, если иногда она полностью поглощена чтением, то и в лирике, и в романах вроде «Гильома из Доля», «Коршуна» или «Романа о графе Анжуйском» дамы заняты прежде всего работой. Они сидят, шьют, поют и разговаривают, причем организация места и времени порой воздействует на функцию коллективной

памяти гинекея. Так, мать и сестра Гильома вдвоем исполняют роль героинь «песен прялки», сидя за шитьем, как говорится в песне, которую поет Льенора, принимая посланца императора. В «Евангелии от прях», где действие происходит в течение шести вечеров, бросается в глаза обилие предметов; каждый вечер начинается и заканчивается следующим напоминанием о рукоделии: «<...> все принесли с собой прялку, лен, веретено *estendars, happles* и все другие приспособления, необходимые для их работы».

В повествовательных произведениях большее внимание уделяется возникновению и распаду гинекея с помощью контрастных образов тех женщин, которые осуществляют в домашнем обществе функцию гувернанток. В «Романе о графе Анжуйском» и в «Романе о фиалке» эти функциональные фигуры выступают как воплощение или чувства солидарности, или же абсолютного зла. В первом рассказе юная девушка, сопровождаемая гувернанткой, бежит из отцовского дома. Беглянки прячутся в доме одной небогатой женщины, где они живут молитвой и занимаются рукоделием, в коем немало преуспели. Вынужденные покинуть и это место, они находят пристанище у кастеляна, который доверяет им обучение шитью двух его дочерей. Гувернантка, называемая автором «хорошей дамой», обращается к своей молодой госпоже по имени и является ее confidentкой; именно она уговаривает девушку бежать, она в курсе всех дел в доме, она укладывает золото и серебро, которые понадобятся им в пути. Их *chamber et maingnage* (спальня и дом) выходят в сад, граничащий с лесом. Позднее, когда героиня из-за происков злобной мачехи, пустившей слух о рождении у нее ребенка-урода, будет приговорена к сбрасыванию в колодец вместе с новорожденным сыном, гувернантка умрет от горя: образ идеальной матери, наводящий на мысль о том, что опасность быть оклеветанной, обвиненной в инцесте угрожает фактически всем женщинам. Женский персонаж — это,

в сущности, не столько индивид, сколько группа: в этом рассказе, как и в остальных, группа представлена двумя женщинами, дублирующими друг друга: прекрасную Элейн из Константинополя дважды «дублирует» другая женщина, которая в итоге вместо нее восходит на костер. С другой стороны, в «Романе о графе Анжуйском» исключительно важным предстает труд женщин: именно благодаря работе женщины получают *manentise* и *herbergage*, и не что иное, как функция передачи знаний двум юным ученицам, дочерям кастеляна, возвращает коллективу безопасность и содействует его реинтеграции. Таким образом воссоздается гинекей: гинекей в «мобильной» форме, в котором сплоченность поддерживается памятью о привычных ритуалах. При угрозе нарушения границ замкнутое «женское» пространство распадается, ищет новой территории свободы, переживает миграцию — пока не отвоюет себе новое пространство, частное и закрытое. В условиях возможной опасности гинекей дает отростки, приживающиеся в другом месте.

И напротив, «Роман о фиалке» демонстрирует распад гинекея. Содействуя нарушению замкнутого пространства, кормилица олицетворяет размежевание внутри тесного женского круга: она потакает зарождающемуся желанию мужчины, выступает в качестве посредницы, узнает у юной девушки ее тайну — у нее на груди родинка в виде фиалки, — затем делает отверстие в стене, чья хрупкость символизирует разрыв в системе утопических ценностей гинекея, гармоничного мира женщин.

В «Евангелии от прях» действие на первый взгляд происходит вне домашнего общества, то есть аристократического семейства, но мудрые и осмотрительные матроны, решив однажды выйти на сцену («одна из нас начнет читать вслух свои главы в присутствии всех, кто соберется вокруг нас, дабы собравшиеся узнали их и навечно запомнили»), магически управляют домашним обществом, читая

изречения и опираясь на повседневный опыт. Некоторые из них, зная толк в оккультных науках, изготавливают снадобья по старинным рецептам, не только дающие плодородие земле и плодovitость животным, но и излечивающие от разных суеверных страхов, например от ночных кошмаров (*cauquiemares*). Поскольку их уединение связано с активным досугом и коллективным ритуалом, ключевую роль там играет повторение, циклическое время, объединяющее прошлое, настоящее и будущее. Этот особым образом организованный женский кружок (с председательницей, которую поочередно выбирают из числа собравшихся, с постоянной аудиторией, растущей день ото дня, секретарем, который ведет протокол), состоящий из крестьянок, выступает хранителем тайного знания, о чем свидетельствует обилие средств интерпретации, умение расшифровывать «символы», способность выявить скрытый смысл прочитанного. На обмене знаниями держится сплоченность группы, ведь тайна распространяется только среди женщин: «<...> они горячо благодарили госпожу Абонду за ее правдивые евангелия, обещая, что не только не забудут их, но, напротив, расскажут и передадут их всем представительницам женского пола, дабы, переходя от одного поколения к другому, сии рассказы продолжились бы и дополнились».

Таким образом, гинекей может быть прародителем новых гинекеев; будущее зависит от утверждающих и регулирующих речей женского общества, которое пытается контролировать все сферы индивидуальной и коллективной жизни — от разведения животных до сексуального акта, от супружеских ссор до корректировки (с помощью колдовства) эмоциональных отношений: «Если женщина хочет, чтобы ее муж любил одного из детей больше других, пусть даст ему съест кончик уха его собаки, а кончик другого уха — ребенку, и тогда, как говорится в евангелии, их свяжет столь сильная любовь, что они не смогут обходиться друг без друга». Гинекей присваивает

себе магическую, провидческую функцию, что хорошо поняли их «секретарь»: «Им казалось, что миром отныне должны управлять и повелевать они с помощью своих установлений и глав».

Окруженный границами, в некоторых случаях ему навязанными, гинекей сам может выступать создателем границ, энергичным двигателем диалектики «внутреннего» и «внешнего», оплодотворяющей общее поле. Гинекей приобретает здесь статус высшей «женской» власти. Отражая полярные представления XIII–XV веков о заточении — которое или терпят, или нарушают, или выбирают себе добровольно, — гинекей всегда ассоциируется с такими понятиями, как речь, горе и власть, но обладает внутренней силой, которая — посредством той же сегрегации — сохраняет, воссоздает его, делает незаменимым элементом домашнего общества.

### *Личная жизнь супружеской пары*

Повседневная жизнь супружеской пары до XIII века нередко изображалась по устоявшимся шаблонам, в XIV и XV веках картина становится более индивидуализированной, особенно в нормативных источниках. Увещевания шеваляе де Ла Тура Ландри обращены к женщинам, дерзнувшим не подчиниться мужу, «в особенности на людях»; но оставшись с ним вдвоем, добавляет он, «вы можете позволить себе большую свободу в речах и поведении, в зависимости от его благорасположения к вам». Так определяются частное пространство и время, для которых характерна большая свобода и интимность в отношениях, как будто в присутствии других обитателей дома следует сохранять видимость приличий и взаимного уважения, а в интимной обстановке, не забывая об указанных качествах, дозволено быть более вольной в словах. Несколько таких примеров из личной жизни супружеской пары приведено в книге «Хороший хозяин»: супруг, отвечая на вопрос юной жены, для начала напоминает ей о том, как она

убеждала его мягко с ней обращаться: «В постели вы смиренно просили меня, сколько я помню, чтобы ради всего святого я никогда не бранил вас строго в присутствии чужих людей и в присутствии наших слуг, но чтобы я каждый вечер делал вам свои замечания в нашей спальне и чтобы я напоминал вам о недостатках вашего поведения и о наивных поступках, совершенных за один или несколько прошедших дней, и чтобы я вам указывал, как себя вести, и дал бы вам на этот счет советы; тогда вы, следуя им, не преминете изменить ваше поведение и сможете наилучшим образом исполнить все, о чем я вас попрошу».

В «Пятом параграфе» «Хорошего хозяина» обосновывается иерархия личной жизни, выступающая как относительное концентрическое пространство, центром которого является муж: «...вы должны любить своего мужа больше всех других живых существ на земле и быть с ним связанной теснее, чем с кем-либо другим, менее сильно любить и быть менее связанной с вашими кровными родственниками и родственниками мужа и держаться на расстоянии от всех других людей, как можно дальше отстраняясь от заносчивых и праздных юнцов...» Представление о гармоничной супружеской жизни вырисовывается в «Седьмом параграфе», где много места уделено телу, равно как и распределению функций и пространства, отводящихся мужскому и женскому полу. Тщательность, с какой женщины ухаживают за своим телом, сладость пространства «между двумя сосками», которое женщина дарит мужу, сравниваются с привязанностью детей к тем, кто умеет их любить, у кого они находят «ласку, заботу, пристанище, радость и удовольствие», то, что иные назвали бы «очарованностью». Автор «Хорошего хозяина» настоятельно призывает к столь же нежной близости в отношениях, напоминая женщинам деревенскую поговорку, «которая гласит, что человек должен избавить свой дом от трех вещей, а именно: от открытой двери, дымящего камина, сварливой жены».

*Женщина в пространстве и времени общины*

Написанные простым языком нормативные источники дают представление о степени «встроенности» индивида в коллектив — особенно те, которые адресованы женщинам и призваны примирить их с мыслью о том, что в рамках общины они должны выполнять отведенную им функцию. Таким образом, от женщины требуется, чтобы в частном пространстве она следила за своей внешностью, предназначенной для коллектива домохозяек, но избегала выставлять себя на всеобщее обозрение. Поскольку неправильное использование частной сферы (тела, сна, речи) пагубно сказывается на механизме работы коллектива, женщина — то орудие, которое нужно подготовить, чтобы умело им манипулировать.

Следовательно, женщинам необходимо давать советы, касающиеся (как, например, в «Наставлениях дамам») приличий и социальных действий, а также правил поведения за пределами того, что можно назвать частным пространством, — на относительно свободной территории, всегда открытой взглядам членов широкого сообщества. Становится очевидной неустойчивость положения женщины: Робер из Блуа прямо говорит, что женщинам очень непросто выработать нужную линию поведения в обществе, поскольку если они радушны и учтивы, то рискуют быть неверно понятыми мужчинами; если же, напротив, недостаточно любезны, это расценивается как проявление высокомерия. Женщинам каждую минуту приходится демонстрировать безукоризненность, постоянно держать под контролем свое тело, ибо на них всегда обращены чужие взгляды, а взгляд постороннего, как известно, источник всяческих бедствий. Они должны сами определять, в каких ситуациях можно снимать с лица вуаль, что, конечно, исключается, если под ней скрыто какое-нибудь уродство. Снимая вуаль в церкви, они должны сохранять благочестивое выражение лица, то есть не смеяться, не разговаривать и, главное, контролировать направление своего взгляда.

В «Книге поучений моим дочерям» шевалье де Ла Тур Ландри знакомит еще слишком «молодых и лишенных разума» девушек с «зерцалом древней мудрости» — пишет для них книгу о совершенной добродетели, придумывая занимательные сюжеты, призванные пробудить интерес этих юных особ. Как и Робер из Блуа, автор (впрочем, менее прямолинейный) повествует об улучшении женской природы с помощью надлежащего пользования телом, что не должно мешать выполнению рутинных операций и общинных ритуалов. В устроенной таким образом светской жизни отводить для всего свое время — особенно для сна и приема пищи — означает придавать этой жизни равновесие. Проникая во все виды деятельности, благочестие становится источником хорошего сна (если не забывать о нем ни на минуту). «Обедать принято между первым и третьим часом, а ужинать тоже надлежит в свое время»; книга даже учит поститься три раза в неделю для того, чтобы укротить плоть. Об этом мы узнаем из шестой главы, где на сцене появляется юная девушка, которая ведет жизнь «беспутную и безалаберную с утра до вечера», кое-как читает молитвы, затем закрывается в уборной, чтобы слопать «тарелку супа или какие-нибудь сладости», а когда родители ложатся спать, не может удержаться от порыва съесть что-нибудь еще. Это непривычное поведение, напоминающее симптомы булимии, выступает как инверсия повседневной практики, неминуемо укореняясь в супружеской жизни. Еще один пример неподобающего использования времени — рассказ об одном господине и его даме, которые с юности находят удовольствие в том, чтобы подольше поваляться в постели («спят допоздна»), не только пропуская мессу, но и, что хуже, лишая ее прихожан их округа.

В этом изображении частного времени, которое не может не влиять на время общинное, достоинство или недостойность поведения — то, что нужно принимать, и то, чего следует избегать, — определяется через советы автора по

поводу морали и удивительным образом, порой довольно-таки анекдотичным, распространяется также на манеры и внешний вид: «Читая часы на мессе или в каких-нибудь иных обстоятельствах, не уподобляйтесь черепахе или журавлю; девицы, кои смотрят по сторонам, вытягивая шею, напоминают журавля и черепаху или ласку, которая вечно крутит головой. Пусть осанка и взгляд у вас будут тверды, как у ищейки, которая смотрит прямо перед собою и не поворачивает голову ни вправо, ни влево. Стойте спокойно, глядя прямо перед собой, а если вам захочется посмотреть в сторону, повернитесь всем телом».

Жизненный порядок строится на разумном балансе между крайне интимным отношением к телу и ответственностью перед обществом: пренебрежение социальными нормами отзывается на состоянии тела, как бумеранг. Мимолетное наслаждение может обернуться тяжелыми последствиями; о неподобающем обращении с собственным телом свидетельствует эпизод из двадцать шестой главы «Поучений»: некая дама в праздник в честь Богородицы не пожелала надеть приличествующую случаю одежду, утверждая, что не предполагает встретить важных особ. Вскоре она распухнет и будет парализована. Наказанная таким образом, дама поспешит публично покаяться: «Все говорили мне, желая подольститься, что у меня красивое, нежное тело; из гордости и удовольствия, которые доставляли мне эти речи, я одевалась в роскошные наряды и дорогие меха: по моему распоряжению их шили очень узкими и подгоняли по фигуре; плод моего чрева подвергался из-за этого большой опасности, а я делала все это для того лишь, чтобы наслаждаться славой и хвалой света. Ведь когда я слышала, как эти люди мне льстят, говоря: “Посмотрите на это прекрасное женское тело, достойное любви доброго дворянина!”, мое сердце переполняла радость!» Слова раскаяния вернут ей былой вид, но теперь она будет придавать меньше значения нарядам и чужим взглядам.

«А посему крепко любите вашего мужа и следите за чистотой его одежд, ибо это ваша обязанность; ведь долг и забота мужчины — заниматься делами вдали от дома, а долгом он не может пренебречь: ему выпало постоянно быть в пути, переезжая с места на место в дождь, в снег, в град и ветер, и он то промокает до нитки, то страдает от зноя, то исходит потом, а то дрожит от холода — голодный, бесприютный, холодный, полусонный. И во всех этих бедах его согревает надежда на внимание, которое окажет ему жена по его возвращении, на радости, удовольствие и развлечения, кои он найдет рядом с нею; он ждет, что жена усадит его у горящего камина, омоет ему ноги, переобует и переоденет, что он будет накормлен и напоен, что о нем должным образом позаботятся, уложат в постель в белоснежной рубашке и ночном колпаке, покроют сверху меховыми одеялами, а затем удовлетворят и другие его желания и прихоти, любовные порывы, о коих я умолчу. А на следующий день ему будут приготовлены чистое белье и одежда» («Хороший хозяин», седьмой параграф).

Сопrotивляясь времени, которому подчинено все в этом мире, женщина постоянно предается спешке, желая, например, не отстать от моды; торопить время так же опасно, как тратить его впустую. Глава 47 поднимает тему посещения церкви женщинами, многие из которых одеты по последней моде. Епископ убеждает их, что они похожи на рогатых улиток и единорогов. Те чувствуют замешательство, когда понимают, что их *cointises* (ужимки), их *contrefaictures* (уловки) и *mignotises* (жеманство) напоминают поведение паука, заманивающего в свою сеть мух! Впрочем, шевалье де Ла Тур Ландри иногда изменяет свои наставления: в некоторых случаях, говорит он, нужно следовать общему примеру и поступать как другие, «ибо вечное и новое одинаковы для всех и всех касаются». Чрезмерная забота об элeгантности входит в противоречие со сменой времен года, заставляя девушек

и молодых людей вопреки здравому смыслу одеваться летом по зимней погоде. Необходимо избегать «грубого и непозволительного вмешательства в ход времени».

Столь же тщательное определение того, что допустимо, а что нет, отличает главу, посвященную целомудрию: Вирсавия мылась и расчесывала волосы перед окном, где ее мог видеть царь Давид, и фатальные последствия этого эксгибиционистского акта известны: «...началом всех несчастий послужило причесывание и стремление похвалиться своими роскошными волосами: вот что стало источником всяческих бедствий. И значит, любой женщине надлежит скрываться от чужих глаз и причесываться, а также одеваться в глубине комнаты; и она не должна выставлять напоказ, чтобы кому-то понравиться, ни свои роскошные кудри, ни шею, ни грудь — ничего из того, что надобно скрывать от посторонних».

В связи с поучениями о надлежащем контроле над телом (который распространяется на повседневную жизнь в любое время года) и об ограниченном использовании украшений, подчиненном социальным и сезонным условиям, автор то и дело дает советы о телесной близости, особенно при описании спора, который в любезной манере ведут отец семейства и его жена. Более мягкий, чем его супруга, мужчина не против проявлений нежности, дама же более осмотрительна: «Что касается присутствующих здесь моих дочерей, я им запрещаю поцелуи, поглаживание по груди и прочие фамильярности» (*le baisier, le poetriner et tel manieres d'esbatement*); слова свидетельствуют о том, сколь неоднозначно могли восприниматься такие действия. Уже в XIII веке во «Фламенке» затрагивались фамильярные жесты, способные дать повод для двойного толкования. Король «фамильярно» кладет руку на грудь молодой женщины («Он хотел оказать честь господину Аршамбо, когда в его присутствии обнял и поцеловал его жену; он делал это без задней мысли»), однако если фамильярный жест и может быть интерпретирован как

нормальный поступок, он все же всегда заставляет заподозрить, что человек перешел границу дозволенного.

Для женщины Средневековья очень серьезной проблемой, по-видимому, был выбор места, где молиться, умение найти «укромный уголок». На этот счет давались многочисленные советы, иногда очень индивидуализированные, как свидетельствует следующий текст: «Касательно времени и места [молитвы], равно как и манеры держаться [во время нее], я не даю вам никаких приказаний, я даю лишь совет по причине <...>. Известно правило, установленное древними законами, которое гласит, что каждый волен сам выбирать себе способ удовлетворить свое желание. Есть те, кто предпочитает потаенные, темные, узкие и длинные помещения. В старину такие люди молились в пещерах и в подземных склепах. Но это не для знатных людей — иными словами, не для вас, дочь моя. Другим более по душе простор и красота местности, а также ее открытость, позволяющая увидеть небо; поэтому они выбирают себе сады, рощи и пустыни. Третьим не мешают никакие условия — напротив, только воодушевляют их: пусть даже рядом завывает ветер, или шумит река, или раздается пение птиц, или слышится звон колоколов, славящих Господа, как сказано в одном из псалмов царя Давида: “Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе”. И то, что для иных послужило бы поводом доставить удовольствие своей плоти, для тех, кого мы упомянули выше, это основание проявить благочестие и богопочитание. Есть и четвертые, хотя их мало, коим свадьбы, танцы, арфы (как и другие музыкальные инструменты), изысканное и многолюдное общество, вина, яства, пиры дают пищу для самых возвышенных и чудесных мыслей. Таким людям полезно то, что иным способно нанести большой вред. Скажу также, что если люди подчиняются Господу, все способствует их процветанию. У хорошей торговли не залежится товар; хорошая пчелка сумеет найти мед на любом цветке» (Анонимная рукопись. Арсенал. 2176).

*Тепло и свет в доме*

Символ желанного уюта и центр социальной жизни, очаг (за исключением тех случаев, когда свет и тепло обеспечиваются существами из Другого мира, чье гостеприимство может оказаться опасным) — один из элементов ритуала встречи: гостю выделяют место, самое близкое к огню. Эрека принимает его подвассал, отец Эниды, — в его доме ярко горит огонь в камине. «Горящий ярко и без дыма», как настойчиво повторяют многие фаблио, очаг представляет собой залог физического и морального тепла, он заставляет забыть об усталости и страданиях, перенесенных в пути. В сценах, где супруги, сидя на подушках перед камином, наслаждаются изысканной едой, которая, как и тепло, составляет часть домашнего благополучия, образ семейной жизни представлен прежде всего очагом, символом объединения людей.

Играя довольно-таки двусмысленную роль, свет (или его отсутствие) позволяет авторам фаблио описывать различные подмены и недоразумения: в противоположность утопическому изображению сияющего светом дома в аристократической литературе здесь он горит тускло и редко. Наличие или отсутствие света порой свидетельствует о законности или незаконности любви. Так, в «Книге поучений» шевалье де Ла Тура Ландри между одним дворянином и дамой, играющими в карты, разгорается ссора, страсти накаляются. Дворянин говорит своей партнерше по игре, что если бы она была поумнее, то не пришла бы ночью в жилище мужчин «обниматься с ними на постели с незажженной свечой». Дальше в той же книге рассказывается о женщине, которая отличается идеальным поведением, несмотря на то что ее сладострастный муж всегда держит в доме одну или двух любовниц: когда он возвращается к ней после любовных утех из своей «комнаты для удовольствий», как он сам их называет, то находит зажженную свечу, полотенце и воду для рук. Интимное пространство признается здесь легитимным или нелегитимным в зависимости от того, освещено оно или нет.

То, что женщина занимается очагом, подпитывает миф о ее всевластии в доме и о ее намерении потеснить мужчину, что ей якобы почти удается (М.-Т. Лорсен). Если в мизогинном мире, представленном в книге «Пять радостей брака», мужчина вынужден сам заниматься очагом, причина в плохом положении дел у него дома. Продолжая традиции произведений, которые поносили женщин и брачные узы, этот сборник конца XIV (или начала XV) века описывает эпизод из жизни главы семейства. Жена, теща и служанки, сговорившись, превращают дом в негостеприимное место, чье пространство («обитель печали и слез», как написано в предисловии) распределено между двумя символическими центрами притяжения (спальной и гостиной) и между двумя очень важными для человека тактильными зонами — теплом и холодом. Впрочем, герой не в силах вырваться из стен холодного дома, да и сад перестает быть социальным местом, после того как глава семейства попадает в ловушку под названием «брак». Именно в спальне коварная жена находит убежище; именно в спальне проявляется человечность в социальных отношениях — когда дело касается заботы о роженице или когда речь идет о выработке стратегии, которая имеет своей целью усыпить подозрения мужа. Консенсус исключает споры и рождает веселье: женщины пьют и едят. Мужчине, супругу, уготовано одиночество: не имея доступа к очагу, он часто ложится спать голодным, замерзшим, промокшим и продрогшим; встает он тоже без огня и зажженной свечи. В этом перевернутом мире, где супруг разжигает огонь для своей жены, где он готовит еду, пока она примеряет наряды, распределение ролей нарушает порядок домашнего общества. Когда родители и близкие друзья мужа приезжают его навестить, супруга делает все, чтобы помешать ему общаться с гостями. Удалив из дома слуг, она тем самым не дает мужу возможности исполнить ритуалы гостеприимства. Ему ничего не остается, как вести близких в нетопленную и неубранную гостиную, лишенную функции социального места и служащую

теперь лишь жалким пристанищем. И напротив, сплоченность женской половины дома — супруги, матери, сестры или кузины, собирающихся зимой вокруг очага, а летом на природе, — позволяет в полной мере ознакомиться с традициями — со «старинными танцами», песнями — и совместно их использовать. Таким образом, домашнее пространство выступает как мир, разделенный на отдельные секторы, как вселенная, навязывающая индивиду — мужчине и женщине — их статус: господство или подчинение. Ночуя в спальне один, испытывая голод, холод и жажду, обреченный мерзнуть в нетопленной гостиной, лишенный каких бы то ни было социальных отношений, муж попадает в ловушку, в безвыходное положение. Семья — место постоянных конфликтов, где дети и мать объединяются против отца; особенно усердствует старший сын, мечтающий заполучить власть и считающий, что отец зажился на этом свете. Напрасно отец разрабатывает домашний устав: ни строгость условий, ни суровый тон не помогут ему вырваться из кошмара.

### *Хорошее и плохое окружение*

Второстепенные члены домашнего общества отнюдь не играли роль простых статистов, и их поведение свидетельствовало о том, что они прекрасно понимали, как важна для семьи сплоченность. Так, в «Прекрасной Элейн из Константинополя» свекровь, чтобы передать подделанное письмо, обращается к «посторонним» людям, не связанным с семьей, а в «Коршуне» император под влиянием плохих советчиков забывает о намерении Гильома и Аэлисы вступить в брак: после смерти отца Гильома монарх фактически окружает себя «новыми советниками», предателями, «лжецами»; в книге говорится, что уж лучше императору дать вырвать себе глаз, чем иметь советников, которые «замышляют и творят зло».

В сугубо домашнем обществе люди не забывают советы, адресованные «хорошим хозяином» его юной супруге по поводу осмотрительного выбора слуг, однако уже в «Сказе»

XIV века молодая женщина становится жертвой плохо выбранного окружения. В «Лэ о белом рыцаре» служанка, как хорошая подруга, побуждает свою госпожу к добрым делам, не боится ее критиковать, указывает ей на «ложные поступки» и «ложные лица», но главное, воздерживается от лести. На смену этой служанке приходит другая, которая слывет «добродетельной», но чье влияние можно назвать поистине роковым, поскольку она советует героине не растрачивать юность впустую и завести любовника.

*Женщина: активная и созерцательная жизнь*

Недавно обнаруженные так называемые «дни», десять правил христианской жизни, написанные на французском языке между XIII и началом XVI века (вкуче с несколькими итальянскими и испанскими текстами), позволяют судить об идеальном распорядке жизни женщины, желающей обеспечить себе спасение души. Работы Женевьев Асенор, из которых я позаимствовала ряд формулировок, демонстрируют, сколь часто исследователи обходят молчанием правовые нормы или ограничивают определенными условиями некоторые аспекты семейной и супружеской жизни. Жизнь домашней группы и жизнь индивида, социальность и естественный расцвет личности упоминаются там лишь в связи с возможными конфликтами. Поэтому представляется чрезвычайно важным толкование сочинений светских моралистов вроде шевалье де Ла Тура Ландри, Кристины Пизанской и автора «Хорошего хозяина» сквозь призму упомянутых «дней». В трехчастной модели женского общества — замужняя женщина, вдова, девственница — церковь ставит целомудрие выше статуса замужней дамы и, таким образом, предпочтение отдает «созерцательной» жизни (Ж. Асенор): повышение статуса девственницы порождает жанр духовных наставлений, которые, прежде чем стать доступными «простому человеку» (XIV и XV века), прозвучали во французских проповедях XIII века.

«Жизнь созерцателей лучше жизни активных людей» — об этом напоминают «Семь условий хорошей женщины»: в отличие от вдов и девственниц замужняя женщина, вынужденная нести бремя забот семейной жизни, не располагает свободно ни самой собой, ни своим временем, и если авторы духовной литературы иногда допускают для нее возможность активной жизни, они тем не менее стремятся вписать в рамки активной жизни перспективу жизни созерцательной. Как связать статус женщины, естественным образом вовлеченной в активную жизнь, и идеалы жизни христианской, лучшим способом достижения которых является созерцание, для того чтобы постепенно сформировалась часть сознания, отвечающая за спасение души, и стало возможным возникновение индивида? Как учит нас приписываемый святому Бонавентуре трактат «*Stimulus amoris*»\*, в начале XV века переведенный с латыни и сразу же получивший широкое распространение, человек, желающий соединить жизнь созерцательную и жизнь активную, должен полностью сосредоточиться на своей душе, познав самую ее суть (*les entrailles de son cuer*), короче говоря, отдать всего себя Богу. Исследуя включение созерцательной жизни в активную, эта книга подчеркивала противоречия, которые неизбежно должны были проявиться в каждодневной жизни как следствие, с одной стороны, стремления к духовному, а с другой — необходимости выполнять рутинные обязанности, ничтожные с точки зрения *contemptus mundi et carnis*\*\* . Некоторые программы жизненного распорядка наподобие «*Decor puellarum*»\*\*\* Жана Шартрё свидетельствуют об очень жесткой системе правил, опутывающих женщин на протяжении всего дня — с рассвета и до ночи, особенно когда речь шла о сокрытии от взглядов посторонних телесных проявлений благочестия.

\* Поощрение любви (лат.).

\*\* Презрение к миру и телу (лат.).

\*\*\* Украшение девиц (лат.).

Чтобы преодолеть «тернии» повседневной жизни, достаточно прибегнуть к «защите созерцательной молитвы, ибо чем выше поднимаются волны скорби, тем выше надобно возносить ковчег веры и молитвы». Таким образом, самое подходящее время для молитвы — разгар ночи: «Сдается мне, моя милая дочь, что наилучшим для молитвы часом и нам, и вам будет ночное время, когда мы выспимся и пища переварится у нас в желудке, когда дневные труды будут оставлены и закончены и когда к нам уже не придут соседи и ничто не будет занимать нас помимо Господа; когда никто не сможет стать свидетелем ни наших стонов, ни слез, ни вздохов, идущих из глубины сердца, ни наших горестных воплей, жалоб, прерываемых разве что вздохами; когда никто не будет лицезреть, как мы смиренно простираемся ниц или падаем на колени, не увидит красных от слез глаз, потных лиц, то покрывающихся краской, то бледнеющих» (Анонимная рукопись. Арсенал. 2176).

Идеальное время для раздумий — вечер, часы после ужина, а весь прошедший день занят операциями, направленными на интериоризацию и установление контроля над личной жизнью: даме предлагается набор молитв, повторяемых про себя (наподобие чтения, принятого в монастырях во время трапезы), в то время как супруг — это надо подчеркнуть — едва ли находится рядом с нею, особенно когда она ложится в постель, поскольку, наравне с вдовами, замужние женщины спят в одиночестве и в тишине.

Такая модель бегства от мира — включение в активную жизнь благочестия и отрешенности, которым подчинен весь дневной распорядок, — ведет к разным формам изоляции в семейном доме или супружеском жилище и даже к своеобразной изоляции в спальне, последнем убежище от «земной», светской жизни (Ж. Асенор). Так, в «Рассуждении о хорошей жизни» святой Антонин (XV век) точно устанавливает место для чтения и молитв: после еды жена удаляется в спальню, в самый дальний ее угол («уединившись в спальне, займите себя чем-нибудь

полезным: читайте, молитесь или размышляйте, пока не прозвонят к вечерне»). Для той, кто хочет жить духовной жизнью, физический труд лишь паллиатив, временное спасение от скуки и уныния. Таким образом, происходит нормативное разграничение всего того, что надлежит включить в жизнь домашней группы, имея в виду постоянную заботу о сохранении доли личной свободы, об условиях для совершенствования своего духовного «я». Советы Жана Шартрё в его трактате «*Decor puellarum*» подталкивают читателя к уходу от мирской суеты (шаг, достойный всяческих похвал): человек должен пребывать в молитве, пока все домашние не заснут, затем ему следует проверить, хорошо ли заперты двери, окна и сундуки — символическое ограждение души от любого соблазна, идущего извне; так постепенно вырабатывается внутренняя, автаркическая вселенная, где человек, обращенный к Богу, оказывается наедине с собой.

Внимание, уделяемое чтению, — все так называемые «дни» предписывают регулярное чтение по крайней мере «одной или двух страниц некой благочестивой книги для исправления вашей души», — сближает наставления женщинам с правилами жизни, которые предписываются затворникам и затворницам. В некоем письме, датированном концом XIII или началом XIV века и содержащем духовные увещевания о «правильной форме жизни», которую надлежит вести душе, особо подчеркивается необходимость держаться незаметно у себя дома: жизнь следует вести «как можно более замкнутую, в пределах своей спальни, ибо именно в спальне была спасена Пречистая Дева и здесь же она зачала сына Божьего».

## Тело

Литература описывает тело с помощью готовых образов и формул: статус и язык тела обусловлены нормами общения. С телом связано постепенное развитие самосознания: его

начинают считать не только символом прославления личности, но также инструментом управления собой (который можно использовать на благо или во вред). У разных авторов тело выступает как объект и неумеренного восхваления, и критики (и даже страшных проклятий). Затрагивая проблему взаимоотношений индивида и коллектива, авторы отнюдь не случайно включают тело в повествование: это один из способов постижения мира — через оправдание красоты, через неприятие уродства и через практику умерщвления плоти. Плоть играет важнейшую роль в вопросе спасения души. В конце XII века Элиан де Фруадмон, в чьих стихах обнаруживаются признаки зарождающейся субъективности, обращается к смерти в таких выражениях: «Ты, не щадящая плодородной земли / И точащая свою косу / О белоснежные шеи, точно точильные камни» («Стихи о смерти»).

### *Изображение тела*

#### *Образцы для подражания и соблазны*

На долю развлекательной литературы выпало прославление тела. Наряду с готической скульптурой, которая широко использовала повороты торса и постановку ног, — приемы, чье воздействие на отношения тела с вогнутым фоном стены хорошо известно, — литература представляла особую модель и демонстрировала повторяемость топоса, приписывающего женскому телу все традиционные признаки красоты: белую кожу с легкой примесью розового, которая лишь подчеркивает белизну; светлые волосы; правильные черты; удлинённый овал лица; высокий прямой нос; живые и веселые глаза; тонкие алые губы. Этому стереотипу соответствует и мужской вариант красоты, так что молодой человек иногда превращается (вспомним Клижеса или Окассена) в двойника дамы, которую он любит. Топос женского тела часто выражен с помощью метафоры: так, траектория полета стрелы Амура позволяет Кретьену де Труа выделить детали анатомии женского тела

в каждой части стрелы. В XIII столетии тело начинают описывать более откровенно и подробно: например, женские груди сравниваются с орехами, и хотя постановка ног, необходимая для скульптуры, в литературной модели отсутствует, женское бедро постоянно, словно цезура в стихосложении, упоминается, позволяя судить о теле, как и шнурованное платье, отмечающее талию, или распахивающаяся время от времени одежда.

Что касается мужской красоты, то в отличие от жест, которые представляли эту красоту с помощью абстрактных формул, утверждающих культ мускулистого тела, куртуазные сочинения не скупятся на описание конкретных достоинств тела мужчины. Возлюбленный Фламенки изображен следующим образом: «Даже майская роза в день, когда она расцветает, не казалась такой красивой и свежей, каким было его лицо, белизна которого оттенялась румянцем. Такое прекрасное лицо вам едва ли когда-нибудь приходилось видеть. Уши красивой формы, крупные, крепкие и розовые; прелестный и тонкий рот оставался изящным, что бы он ни говорил. Ровные зубы белее слоновой кости; восхитительно очерченный подбородок чуть раздвоен, что делает его еще более грациозным. На прямой и крепкой шее не выступали ни прожилки, ни косточки. У него были широкие плечи, сильные, как у Атланта. Округлые мускулы, развитые мышцы, в меру пухлые руки. Крупные, сильные и крепкие ладони, длинные пальцы с ровными суставами, широкая грудь и тонкий стан. Что до бедер, их движения отличались плавностью! Они были массивными и сильными; ляжки — округлыми и широкими; колени — гладкими; голени — здоровыми, длинными, прямыми, ровными; стопа — дугообразной сверху, выгнутой и жилистой — снизу: никому не удавалось догнать его в беге».

В этих портретах, основанных на закрепившихся в романтической литературе стереотипах, большое значение, как мы видим, имеет цвет кожи. Идеальный цвет — белый с легкой примесью розового — отражает характер героя и дает

представление о его физическом облике. Впрочем, при описании темпераментов преимущество получают сангвиники, поскольку у них светлая кожа и веселые лица, тогда как меланхолики, объятые печалью, показаны мрачными и бледными. Так, представляя кентерберийских паломников, Чосер сообщает, что один из них, «добрый» прелат, «уж точно не подходит под поговорку “бледен как смерть”»; про другого, франклина, написано, что у него здоровый цвет лица: достойный сын Эпикура по утрам хлебает суп вперемешку с вином. Шевалье де Ла Тур Ландри рассказывает про влюбленного, который, имея все шансы добиться благосклонности дамы своего сердца, не решается предстать перед ней «с бледным ликом», а потому тщательно кутается в теплую одежду. Писатель в качестве важной характеристики заботливого кавалера отмечает, что он был «красным как петух». Дама по достоинству оценивает это его качество, так как румянец кажется ей признаком мужественности и здоровья.

Следовательно, нас не удивит, что иные авторы, отдав должное мужественному виду героя, описывают, сколь искусно он обольщает дам. Смотреть на кого-то означает позволять ему видеть себя; судя по некоторым эпизодам (например, во «Фламенке»), мужские персонажи прекрасно понимают, насколько полезными в плане соблазнения дам могут оказаться собственное тело, красивые туалеты или нарочитая небрежность в одежде. Здесь ясно обнаруживается осознание того факта, что при определенных обстоятельствах своему телу можно дать свободу, не скрывать «частное» от постороннего взгляда. Умение управлять телом, ослаблять связь между ним и одеждой непосредственным образом связано с эротикой, о чем свидетельствуют игры на природе, описанные в «Гильоме из Доля». Компания девушек и молодых людей из высшего общества с раннего утра резвится у воды, «сняв туфли и засучив рукава»; кавалеры вытирают мокрые руки о сорочки дам, «касаясь их белоснежных бедер». Так, из естественных женских

чар, из связи тела и одежды (которая в нужные моменты приоткрывает тело) рождаются праздники жеста и, соответственно, праздники утонченных манер.

### *Улучшенная природа*

В том, что касается эстетики, включающей в свою сферу уход за телом и одновременно заботу об элегантности, сходятся и литературные произведения, и медицинские трактаты. У Анри де Мондевиля части тела нередко изображаются в виде предметов туалета, как будто одежда, признак социальности, самое подходящее средство для описания тайн тела: кожа предстает как верхнее платье, внутренние оболочки — как нижнее белье, внутренние органы — как тканевая оболочка, как своеобразная капсула, которая превращает общую структуру тела в емкую социальную метафору (М.-К. Пушель).

Литературным персонажам, наделенным поразительной красотой, использовать косметику излишне: так, в «Романе о розе» Амур оказывается рядом с дамой по имени Краса, которая блистает, как луна, так ярко, что по сравнению с ее сиянием звезды — просто свечки: она «не набелена и не покрашена», ей не нужны искусственные украшения. И напротив, для тех дам, к кому природа, не считающаяся с законами литературы, была менее благосклонна, для обольщения мужчин необходимы грим и другие средства улучшения внешности. У Мондевиля женщины делятся друг с другом секретами обольщения, рассказывая в том числе о разных способах удаления волос на теле (с помощью негашеной извести, щипчиков, пальцев, смоченных в смоле, или — самый трудоемкий процесс — раскаленной иглы, которой протыкается волосная луковица): о подобных практиках, похоже, не принято распространяться даже в семейном кругу. В случае получения ожогов Мондевиль советует женщине сказать мужу, что служанка слишком сильно нагрела воду в ванне... Бледность кожи тоже можно исправить: в книге «Les Trois Méchines», где рассказывается о трех юных девушках,

готовящихся к балу, одна из героинь предпринимает долгое путешествие, чтобы добыть волшебный порошок, который, как говорят, заставит кровь подняться от ног к лицу; а Робер из Блуа в «Хорошем тоне для дам» советует женщинам побольше есть за завтраком, что благотворным образом скажется на цвете кожи.

Запах — важная составляющая обольщения: от человека должно хорошо пахнуть или, во всяком случае, не должно пахнуть плохо. Анри де Мондевилль перечисляет несколько способов избавиться от запаха пота и придать волосам приятный аромат (с помощью мускуса, гвоздичного масла, мускатного ореха и кардамона). Женщины — персонажи одного аллегорического лэ живут в раю для влюбленных, их головы украшают венки из роз и шиповника, источающие пленительный аромат. Героиня «Романа о розе» по имени Праздность имеет такое необходимое для обольщения качество, как «приятный и душистый запах изо рта», а в «Наставлениях дамам» автор в качестве эффективного средства предлагает добавлять к завтраку анис, укроп или тмин. Впрочем, чтобы не произвести плохого впечатления, необходимо держаться от него на некотором расстоянии (совет, связанный с правилами поведения в обществе): «Во время любовной борьбы не позволяйте вас обнимать, ибо неприятный запах еще больше досаждаёт, когда вы разгорячены».

В «Рассказе мельника» Чосера влюбленный щеголь Авесалом поднимается с первым криком петуха, причесывает волосы и съедает немного кардамона и солодки, чтобы от него приятно пахло; желая обольстить молодую женщину, он при обращении к ней использует метафору, связанную с запахом и вызывающую чувство нежности и телесного удовольствия: «Моя милая пташка, моя сладкая корица!» Что касается одежды, то она тоже может стать объектом советов, направленных на достижение приятных обонятельных ощущений: Мондевилль советует время от времени стирать свою одежду в растворе щелока, обильно опрыскивать ее эссенцией фиалки и замачивать в свежей воде с добавлением мелко измельченного корня ириса.

*Уход за волосами*

Волосы служат важным элементом самосознания и идентификации человека\*. Белокурые или золотистые волосы — элемент канонический, о чем свидетельствуют многочисленные варианты названия этого цвета и происходящие из них имена героинь: Клариссанта, Соредамор, Льенора\*\*. Хотя в повествовательной литературе предпочтение отдается светлому цвету волос, некоторые женщины изображаются элегантными и в то же время с «темными волосами» («Роман о розе»). Лодина блондинка, но ее спутница Люнета «пригожая брюнетка». Интересные коннотации могут иметь другие цвета, например рыжий, который ассоциируется с моральными качествами. Из троих сыновей Эмери («Жеста о нарбоннах») рыжими волосами наделен тот, кто осуществляет третью функцию, то есть добывает еду для семьи; этот цвет здесь явно несет негативный смысл (Ж. Гризвар):

Как видно, правда то, что слышал я:  
Средь рыжих нет людей миролюбивых.  
Они все необузданны: тому  
Надежное свидетельство имею!

В прозаическом варианте «Ланселота» Мелегант рыж и покрыт веснушками.

Предлагались различные средства, возвращавшие золотистый оттенок потускневшим волосам: например, на ночь намазать их смесью золы виноградной лозы и ясеня (оба компонента полдня вымачивали и варили в уксусе) и оставить так до утра. Обширную информацию на этот счет можно

---

\* Выражаю искреннюю благодарность Мишель Перре за то, что ознакомила меня с материалами по данной теме. — *Прим. авт.*

\*\* Клариссанта: от *la clarté* (франц.) — свет; Соредамор: от *doré d'amour* (франц.) — букв. «позолоченный любовью»; Льенора: от *elinor* — слово арабского происхождения, букв. «свет бога».

почерпнуть из англо-норманнского сочинения XIII века под названием «*Ornatus Mulierum*»\*, этот текст почти совпадает по времени с известной работой Адама де ла Аля, где он противопоставляет красоту своей жены времен их свадьбы ее нынешнему виду — некогда прекрасные волосы, «блестевшие как золото, атласные, волнистые и сверкающие», в старости стали «редкими, черными и висящими как солома», — и также заостряет внимание на способах сохранить волосы и, в некоторых случаях, добиться их пышности. Советы автора сочетают заботу о цвете волос и уходе за ними. Они касаются обесцвечивания и окрашивания волос в рыжий, черный, каштановый цвет; эластичности волос и применения оливкового масла; борьбы с перхотью и вшами. В литературе время от времени упоминается профессия мойщицы волос: в книге «Коршун» прекрасной Аэлисе удалось выжить в Монпелье благодаря тому, что она мыла голову высокопоставленным людям (*haut homes*), и ее умения всячески восхваляются автором.

#### *Волосы заплетенные и распущенные*

Были и другие способы улучшить природу и заставить работать капитал, которым обладает женщина. Так, женские косы, длиной которых часто восхищаются авторы (Чосер: «Коса свисала вдоль ее спины на целый ярд»), могут стать важной деталью повествования. Праздность, героиня «Романа о розе», держа в руке зеркальце, вплетает в свои волосы роскошный рубин, а Жан де Мен дает жене следующие советы: «Пусть ее лицо некрасиво — она поступит очень разумно, если покажет всем свои прелестные косы, ниспадающие на шею, ибо она знает, как прекрасны и хорошо заплетены ее волосы! Какое прелестное зрелище!» Распущенные же волосы несут сильные эротические коннотации, и фея Мелюзина могла бы служить символом обольщения. Когда распущенные волосы всклокочены, они

\* Украшение дам (лат.).

обозначают печаль. Печалью зовут и одну из героинь аллегорической поэмы «Роман о розе»; в порыве отчаяния она рвет на себе волосы. Лодина тоже выступает воплощением скорби: на глазах у Ивейна она, убитая горем, начинает выдергивать свои белокурые волосы (и это оказывается довольно эффективным способом обольстить юношу); в «Романе о фиалке» прекрасная Ориальта, пребывая в отчаянии из-за потери друга, с остервенением вцепляется в свою косу и распускает волосы.

*Уход за телом. Опасности, связанные с телом*

«Ключ любви», сборник XIII века, лежащий в русле овидиевской традиции, сочетает советы социального порядка (касающиеся песен, игр, хороших манер за столом) с замечаниями по поводу гигиены и «эксплуатации» своего тела, которые очень интересны с точки зрения историчности фетишизма: книга учит показывать ножку, пользоваться декольте... Автор рекомендует читательницам иногда прибегать к уловкам: пышная грудь лишь выиграет, если украсить ее лентой, просторная одежда позволит скрыть худобу. Робер из Блуа в «Хорошем тоне для дам» весьма решительно высказывается по поводу рук и ногтей, которые не должны выступать над кончиками пальцев; подобные нотации следует рассматривать скорее в контексте заботы о приличиях (отсюда такое внимание к чужим взглядам), чем через призму возможного обольщения: «Если дама не будет следить за собой, то приобретет плохую репутацию. Ухоженный и опрятный вид ценится больше, нежели красота вкупе с неряшливостью».

Однако в том же тексте поощрение ухода за собой сопровождается советами, направленными на то, чтобы предотвратить любую попытку нежелательного выставления своего тела напоказ. Несмотря на опасности, коими чревата чувственность, несмотря на риск быть увиденной другими, рациональное и умеренное демонстрирование тех частей тела, которые не запрещено публично показывать, внушает мысль о красоте

всего тела: «Даме пристало показывать свое белое тело лишь домашним. Одна обнажает грудь, чтобы все видели, как бела ее кожа. Другая нарочно выставляет напоказ свой бок. Третья слишком открывает ноги. Мудрый человек не должен поощрять подобного поведения, ибо в сердце незнакомца, который ее увидит, может разгореться страсть. По этой причине мудрые говорят: “То, что не видит глаз, не удручает сердце”. На мой взгляд, белизна кожи шеи, лица и рук указывает, что скрытое под одеждой тело прекрасно. Женщину, которая обнажает эти части тела, нельзя упрекнуть в дурном поведении; но дамы должны помнить следующее правило: та, кто открывает тело чужим взглядам, поступает дурно».

*Телесные практики: принятие ванны и кровопускание*

В числе прочих составляющих ухода за телом мытье рук — акт, предшествующий трапезе и завершающий ее, — постоянно упоминается в средневековых текстах; пренебрежение этим обычаем воспринимается как факт, достойный сожаления. Приплыв из Шотландии в Норвегию, Сон де Нанси, герой романа XIII века, убеждается в относительности обычаев и традиций: норвежцы, например, — не говоря уже о других причудах — не моют руки после еды! Однако именно принятие ванны наделяется в литературе особым смыслом, именно омовение приобретает на структурном уровне важную символическую функцию. При изображении частного принятия ванны маркирует пространство и время интимности, пространственную зону и время, отведенные интимному. В отличие от героинь романа «Кастелянша из Вержи», приводящих себя в порядок коллективно, большинство женщин совершают свой туалет индивидуально. Впрочем, границы интимности, очерченные стыдливостью юной девушки и желанием уединиться, могут быть нарушены, как это видно, например, в «Романе о фиалке», где за моющейся героиней подглядывают. Принятие ванны провоцирует эротизм, поэтому общественные

парильни и бани подвергались регламентации и надзору: их посещение было, по-видимому, сопряжено с определенным риском; из-за ревности мужья часто строили частные бани.

В литературном плане эротизм, похоже, напрямую связан с влажностью кожи, присущей исключительно женщинам вследствие долгого пребывания в парильне. О значении бани можно судить по речи Старухи из «Романа о розе». Она видит, как Бель Акёй (Прекрасный Прием, другой персонаж этого романа) «смотрится в зеркало, чтобы узнать, хорошо ли на нем сидит шляпа», и обращается к нему: «Вы еще ребенок и не знаете, что вас ждет, а я прекрасно знаю, что рано или поздно вы окажетесь перед всепоглощающим пламенем и будете мыться в том чане, где Венера парит дам. Я точно знаю, что вы почувствуете жар! Поэтому я вам советую подготовиться, прежде чем вы пойдете туда мыться, и слушать, что я вам скажу, ибо молодому человеку опасно принимать ванну, если кто-нибудь его не научил».

В романе «Фламенка» центральным местом событий служат бани города Бурбон л'Аршамбо, поскольку там происходят свидания ищущих встречи влюбленных. Речь идет о лечебных купальнях, каждая из которых избавляет от какого-то конкретного недуга, о чем сообщает табличка с надписью. В бани со всей страны стекаются больные — хромые и калеки. В каждой купальне, закрытой со всех сторон стенами, имеется два источника — с горячей водой и с холодной, чтобы освежиться после горячей; прилегающие помещения позволяют насладиться отдыхом после купания. Купальщики пользуются лунным календарем: Фламенка, сказавшись больной, объявляет мужу, что хотела бы принять целебную ванну в следующую среду: «Луна находится в последней четверти, но через три дня она скроется из глаз и мое состояние улучшится». Ее будущему возлюбленному посетить купальню предлагает хозяин дома, где он живет: «Сегодня — говорит он, — я туда не пойду, потому что день еще очень близок к календам: мне лучше подождать; завтра девятый день луны — хорошее время, чтобы пойти в купальню».

Поход в баню позволяет получить несколько минут уединения, но предполагает и участие в социальной жизни, иногда против своей воли: женское окружение Фламенки сопровождает ее в купальню, неся тазы и мази. Встретиться с возлюбленным наедине героине позволит уловка: она пошлет придворным дамам приглашение вместе посетить баню, но те откажутся, поскольку Фламенка выберет купальни с минеральными источниками, источающими не слишком приятный запах. Таким образом, этот нарративный источник особенно содержателен как отображение особой формы социальности и определенно выраженного эротизма. То, что в реальной жизни власти пытались предотвратить разврат, назначая разные дни посещения бань для мужчин и женщин и оборудуя для них парильни совершенно разными устройствами, показывает, насколько щекотливым представлялся всем этот момент в жизни общины, сколь сильно здесь были задействованы вопросы морали. Впрочем, в окситанской версии этой истории супруг Фламенки запирает ее в купальне на замок, и когда она хотела выйти, то должна была звонить в колокольчик.

Среди ритуалов приветствия омовение — один из существенных элементов телесного комфорта. Так, жена градоначальника, принимая дочь графа Анжуйского с ребенком, тут же готовит ей ванну в чане; в романе «Рыцарь телеги» дама, освободившая Ланселота, также со знанием дела готовит ему ванны и делает массаж. Гостеприимство? Лечение? Любовная игра? Обычно объектом подобных забот и телесной близости является мужчина, о чем свидетельствуют многочисленные тексты, включая «Эрека и Эниду», «Коршуна», «Сона де Нанси». В «Гильоме из Доля» участники турниров после их окончания возвращаются домой, где, к их удовольствию, им омывают израненные шеи горячей водой; в «Лэ о белом рыцаре» (XIV век) незнакомец, победивший на турнире, вернувшись домой, «принимает ванну и ставит себе банки». И наконец, в фаблио ванна нередко ассоциируется с трапезой: «на огне

подогревалась вода для ванной, на вертеле жарился каплун». Три канониссы из Кельна по достоинству оценят и то и другое: моясь в чане с водой, они будут наслаждаться едой и питьем и при этом слушать менестреля!

Что касается кровопускания, то оно кладет начало более внимательному отношению к частному пространству, впрочем, порой не лишнему карикатурного преувеличения, как, например, в рассказе об «Эреке и Эниде», где кровь пускают королю Артуру. «Никогда в своей жизни король не чувствовал себя таким одиноким; он был раздосадован тем, что у него при дворе так мало людей...» Если верить автору, в апартаментах короля, в «его личных покоях» в это время проживает «всего лишь» пятьсот баронов королевского дома, тогда как обычно его окружение гораздо более многочисленно. У Марии Французской кровопускание явно служит уловкой, позволяющей Экитану встретиться с женой сенешаля. Когда король велит объявить, что ему «пустят кровь без свидетелей», двери его опочивальни закрываются. В течение этого времени двор возглавляет сенешаль. Ответственность за такой поворот событий лежит на частной сфере, а публичная допускает замену в иерархии функций. Чтобы окончательно избавиться от мужа, женщина приглашает любовника пожить у нее в замке и отворить себе кровь: двое мужчин окажутся в ванной в одно и то же время. Дальнейшее известно: приготовление двух чанов с водой, завершение плана. Прекрасному Иньоресу, двенадцатикратному нарушителю святости института брака, также суждено будет пройти и через принятие ванны, и через кровопускание — в обоих случаях в контексте наказания за свои грехи.

### ***Раскрытие тела. Игра со своим телом***

Одиночество и само по себе предполагает новое восприятие своего тела, но когда одиночество имитируют, обольщение, которое в обычных условиях чистой воды игра, должно

выглядеть естественно. В «Лэ об Аристотеле» молодая девушка, твердо решившая доказать престарелому философу, что он столь же способен на грех, как и юный Александр, напевая, прогуливается по саду с таким видом, будто она в нем одна; погода теплая, и на ней только сорочка, которая развеивается на ветру... Эффектная игра с использованием символов частной ситуации, обнаруживающая признаки фетишизма, не свойственного той эпохе. Впрочем, в Средние века люди умели манипулировать теми элементами тела, которые можно было показывать, и теми, которые надлежало скрывать: фея, соблазняющая Ланваля, лежит на пышном ложе, и ее «открытый бок», а также лицо, шея и грудь вполне определенно говорят о ее стройном теле. В отличие от нормативного дискурса, который учит благоразумно обращаться с телом, в отличие от патристической традиции, сосредоточенной на туалете женщины, художественная литература явно представляется вообразимому взгляду территорией свободы.

*Навязчивая идея: нагота или неподобающая одежда*

В средневековой художественной литературе немало говорится о созерцании индивидом собственного нагого тела, о том, как оно становится объектом внимания другого человека, о двусмысленной функции одежды (символ защиты? целомудрия? украшения?), о перцепции и использовании наготы в социальной практике фиктивных сообществ. Обращение к проблеме одежды выступает индикатором эксгибиционистских побуждений и потенциального чувства стыда. Опираясь на настойчиво транслируемые опасения «оказаться голым или неподобающе одетым», литература демонстрирует чувство стыда, испытываемое обнаженным человеком, а также имплицитное или эксплицитное осуждение подобного вида окружающими, хотя и нагота, и неподобающая одежда могут рассматриваться как способ представления своего «я» и принимать апологетическую форму. (Правда, это касается

в основном мужской наготы.) Показав наготу, затронув индивидуальное чувство стыда, чужие взгляды и отношение коллектива, литература придает особое значение проблеме изгнания и отторжения. По отношению к телу и одновременно по отношению к миру, где правят законы, нагота в Средние века, всегда сопряженная со стыдом, носит отпечаток табу и запретов, которые применяются в зависимости от половой принадлежности. Однако первоначально и мужская, и женская нагота неизменно представлялись в контексте изоляции от общества, в форме разрыва с коллективной жизнью, иногда в рамках частных ритуалов (принятия ванны), но чаще — в виде того переходного состояния, в котором находятся мужчины, отказавшиеся от цивилизации и сбросившие одежду.

*Обнаженный мужчина: символический смысл наготы*

У ребенка, родившегося на задворках общества или изгнанного из него в раннем возрасте, — вроде Тристана из Нантейля, возвращенного оленихой, или Орсона, воспитывавшегося медведем, — процесс приобщения к одежде совпадает с интеграцией в человеческое сообщество; помимо историй об окультуривании дикарей существуют многочисленные сюжеты о героях, которые полностью интегрированы в человеческое сообщество (вроде Ивейна из рассказов о рыцарях Круглого стола), но, получив травму и временно потеряв рассудок, отделяются от собственной группы; есть рассказы о превращении в оборотней. Поскольку изоляция, в которой оказываются герои средневековой литературы, всегда продолжается длительное время («годы»), индивид может преодолеть ее, лишь пройдя особый ритуал, состоящий из нескольких этапов. Обнажение женщины тоже может сопровождаться изоляцией, но не такой продолжительной, скорее напоминающей жанровую сцену из частной жизни: так, Ориальта из «Романа о фиалке» становится объектом нечестивого внимания со стороны мужчины, когда моется в ванне.

Свидетельство целомудрия? Обнажение тела, требующее закрытого пространства, уединения или ограниченного круга присутствующих, служит источником смущения и стыда, поэтому не вызывают удивления попытки доброжелателей, столкнувшихся с человеком без одежды, исцелить несчастного, уговорить его вернуться к нормальной жизни. Мужская нагота, всегда рассматриваемая в контексте изгнания из организованного, упорядоченного мира, символизирует отрицание старого порядка и даже оппозицию к государству, основанному на старом порядке, — другими словами, анархию, чьими приметам выступают отказ от одежды, отход от привычного внешнего вида, наличие обильного волосяного покрова, упразднение законов общежития, отсутствие упорядоченности в языке жестов и расстройство психики; мужская нагота — это воплощение распада. И напротив, женская нагота почти всегда находится в прямой зависимости от закона, возведенного в абсолют, от привычки короля или воли императора. «Мы выполним вашу законную волю», — заявляют юные девицы в «Романе о графе из Пуатье», когда император требует, чтобы кандидатки на роль его будущей супруги показали себя во всей красе. Впрочем, в «Цикле рассказов о заключении пари» женская нагота, которую удастся лицезреть лишь с помощью незаконного проникновения в частное пространство, делается предметом пари, причем в качестве ставок выступают материальные объекты: земли и проч. Единственный случай независимого от внешнего мира и благоприятного функционирования женской наготы можно наблюдать там, где существует какое-то подобие матриархальных отношений и где женщина пользуется наготой как средством привлечения мужчины.

Переходное состояние: если дети-дикари, вышедшие из мира животных, движутся по направлению к цивилизации, то другие персонажи, представленные в контексте мужской наготы, явно отступают от культурных знаков своей группы в сторону регресса. Бисклярве и Мельон вновь обретают

человеческий облик после длившегося какое-то время изгнания, в течение которого они сохраняли разум и память; персонажей, охваченных любовью, иногда можно сравнить с оборотнями. Возврат к ношению одежды — первый признак реинтеграции в общество (именно на этом достойном этапе жизни Ивейна начнутся его приключения, которым суждено будет привести его в замок Худшего приключения), а фазой перехода служит настоящая амнезия: потеря признаков социальной идентичности и отказ от законов ритуализированного поведения. Так, отвергнутый высокомерной дамой, которая понапрасну заставила его пройти тяжелые испытания, герой романа «Борзая» ломает меч, рвет на себе одежду и, совершенно обезумев, углубляется в лес. Ивейн тоже бежит от общества, выслеживает дичь, ест сырое мясо. Амадас спит прямо на камне. Возвращение памяти способствует обузданию человека и смягчению его характера: когда Валентин, приведя Орсона — обросшего волосами дикаря — к королевскому двору, знаками ему показывает, что так нельзя себя вести, тот преисполняется стыдом. Наиболее отрицательными качествами жертв подобного безумия считаются агрессивность и полный разрыв с обществом (как в случае с Ивейном, у которого в голове «поднялась буря»); в то же время — и это показательно — исчезают ценности рыцарской этики: храбрость, отвага, верность. Несомненен уклон в сторону мира животных: поскольку авторы широко используют парадигму «мохнатый — волосатый», одичавший человек предстает голым и в то же время одетым, скорее ряженым, чем голым, как будто авторы нарративных произведений не осмеливаются произнести слова «голый человек». Новая кожа воспроизводит функцию одежды, имитируя пространственную оболочку, место обитания и структуры общества. Цивилизованный внешний вид позднее предстает как приручение, приглаживание, исправление слишком буйной и плохо контролируемой природы. Ритуалы реинтеграции определенно включают акты

устранения телесных аномалий: герои нередко проходят через различные формы очищения: выпотевание, очистку желудка. Ведь возвращение дикаря (или встреча с ним) обязательно должно сопровождаться ликвидацией нежелательных характеристик тела. С лечением, выводящим Ивейна из состояния «гнева и меланхолии», можно сравнить «терапию», которую проходит герой романа «Борзая»: фея кладет на лоб молодого мужчины целебные травы, под действием которых у него начинается обильное потоотделение, и помешательство проходит. Спящий юноша просыпается: «О дама, — говорит он, — разум я обрел, / Благословенна будь, его мне возвратившая!»

Ритуал принятия ванны, необходимый элемент реинтеграции, встречается практически во всех произведениях. Девушка, влюбленная в Орсона, отмечает про себя, что он удивительно хорошо сложен и что «если бы он как следует вымылся и попарился, его кожа стала бы белой и нежной».

Чувство стыда, которое испытывает пришедший в сознание герой, — это следствие того, что он осознает серьезность нарушения правил, допущенного им во время беспамятства, когда он совершил ряд безумных поступков: придя в себя, он ощущает резкий контраст между собой и другими, теми, кто воплощает ценности коллектива. Когда Амадас, герой одного из произведений, осознает, какую «отталкивающую и презренную жизнь» он вел в городе, указание на коллективное пространство отнюдь не случайно: несоответствие внешнего вида героя общественным нормам заставляет его воспроизвести в памяти пережитый кошмар, то беспорядочное существование, какое он вел на глазах у других. Впрочем, чтобы оценить значение этой литературы в контексте отношений индивида с коллективом, необходимо отметить активную роль группы в реинтеграции изгоя в общество; своим здравомыслием, своим чувством близости и сплоченностью эта группа показывает, что умеет принимать обратно отсутствовавшего члена и добиваться его возвращения. Она предстает защитной «оболочкой»,

местом, внушающим доверие. В произведениях про оборотней важную роль играет спальня, благодаря которой оборотень в момент возвращения в человеческий облик не предстает перед другими в голом виде: в «Лэ о Мельоне» учтивый Гавейн советует королю Артуру: «Отведите его в спальню, без свидетелей, тайно, чтобы он не испытывал стыда в присутствии посторонних». В некоторых случаях может даже образоваться цепочка тайных мест, поочередно посещая которые герой окончательно интегрируется в общество («Повесть о сливе»).

### *Слои одежды*

После того как телу обеспечен надлежащий уход, начинается новый этап: встраивание тела в материальную оболочку — одежду, представленную как единое целое, хотя и подробно описанную. Тело человека служит метафорой социального тела (общества); эта метафора детально развернута в «Повести об ограде» Бодуэна де Конде, где верные вассалы, со знанием дела защищающие сеньора, сравниваются с оградой, защитным костюмом. Возвращению оборотня в человеческое обличье, возвращению памяти к людям, испытавшим эмоциональную травму, всегда соответствует какая-нибудь деталь одежды, обычно украшение. Люди, перенесшие потерю памяти, и оборотни одеваются в роскошные наряды: герою «Повести о сливе» дают «одежды, лошадей, деньги и сопровождающих»; большую роль здесь играют признаки общественного положения и составляющие социальности, щедрость и человеческое окружение. Если одежда служит стратифицированным признаком социальной оболочки, если, напротив, социальная матрица рассматривается как защитный костюм, спасающий от асоциализации, можно ли видеть в мужской наготе «плотскую» форму фантазмов десоциализации или того изгнания, которое так поразило Фрейда при исследовании сновидений? Некоторые пассажи «Амадаса и Идоины» заставляют думать, что коллективность тесно связана и с таким явлением, как

помешательство, которое затрагивает как будто лишь индивида, отколовшегося от группы: Амадас, ритуальная жертва, человек, который в своем городе каждый день подставляется под удары, возможно, берет на себя коллективную вину? В этом смысле рассказы про оборотней — произведения с наиболее стандартизированным сюжетом, как о том свидетельствует фольклор, — могли восприниматься как притчи об изгое, отвергнутом обществом, а затем вновь интегрировавшемся в него. Повторяя жесты и ритуалы, они дают человеку возможность — с помощью особого церемониала — повторно социализироваться. Таким образом, мужская нагота, по-видимому, служит испытанием типа инициации: выбиваясь за рамки кодекса приличий, она вводит в группу проблематику конфликта. И нас едва ли удивит тот факт, что возвращение памяти сопровождается готовностью к любовному ритуалу, воплощающему подлинную интеграцию в общество: перестав быть загнанным зверем, Тристан из Нантейля получает от своей возлюбленной наставление относительно одежды, любви и мира!

*«Не подобает видеть женщину обнаженной»*

«Не подобает видеть женщину обнаженной», — возмущается юная девушка, которую вынуждают раздеться под пристальным взглядом императора, ищущего себе жену. Как хрупкая частная сфера всегда вынуждена испытывать на себе взгляды группы, так и женщина обнажается в рамках социальной среды, и отказ от одежды превращает ее в жертву нечестивых взглядов мужчин. В отличие от обнаженного мужчины, она всегда связана с направлением возникающего или утвердившегося желания. К обнажению женщину могут побуждать довольно жестко: в «Романе о графе из Пуатье» император велит тридцати юным девушкам, стоящим перед ним: «Пусть каждая из вас разденется, и полностью; пусть каждая останется в чем мать родила!», потом добавляет: «Это приказ, не просьба!» Но если женщина добровольно участвует

в эксгибиционистских действиях своего мужа, она тем самым соглашается стать одним из символов, на которых основана мужская власть: так, в «Лэ о Грелене» вассалы обязаны ежегодно признавать красоту королевы. Поскольку одежда — один из способов саморепрезентации — была для мужчины единственной дозволенной формой позерства, обнаженная женщина выступала в роли «ретранслятора». Впрочем, в «Гибельном очаге» женская нагота напрямую связана с утверждением мужской власти.

И напротив, функция мужской наготы, по-видимому, тесно связана с ритуалами социальной жизни и с символами сплочения группы, сплочения, которое периодически подвергается испытаниям на прочность: эксгибиционистские склонности мужчин проявляются на фоне полного признания одежды. Обнаженной женщине, напротив, обычно приписывается чувство стыда (из-за того, что ее «увидят») и эксгибиционизм низшего толка, поскольку опосредованная социализация обнаженного женского тела осуществляется в условиях, когда женская нагота — наряду с одеждой, которая для мужчины служит признаком интеграции своего «я» в коллектив, — кажется лишь одним из многих символов. Процесс перехода от наготы к одежде как метафоры желаемого встраивания индивида в социум наделяется коллективным символизмом: ритуальное изгнание и реинтеграция — важные этапы на пути человека Средневековья к своему телу. Женщина, которой отводится второстепенная роль, удалена из этой проблематики: становясь объектом восхищения или наказания, она нужна, чтобы возбуждать желание, и остается для мужчины одним из средств самовосхваления.

### *Целомудрие и бесстыдство*

Впрочем, когда-то, до грехопадения, нагота обладала функцией воплощения невинности: «И Адам, совершив грех, потерял одежду святости и познал стыд. И тогда ангел изгнал

их из райского сада в обитель стыда; и они обнаружили себя лишенными Божеского благословения» («*Ci nous dit*»\*, гл. VII).

В эру стыда целомудрие, как мы видели, открыто выражено в случае возвращения оборотня в человеческое обличье и еще более недвусмысленно — в случае, когда женщинам приказывают раздеться. Исключение составляет лишь та надменная королева из «Лэ о Грелене», которая старается добиться от других подтверждения своей красоты. Но девушки, которым император велит раздеться у себя в башне (он проверяет их девственность), противятся нечестивому приказу, очень медленно и напряженно раздеваясь: они сдирают с себя пояса, рвут шелковые шнурки, с таким трепетом открывают застёжки на шее, что чуть их не ломают. И напротив, когда принятие ванны становится для мужчины признаком мужественности и подтверждением его мужской природы, ни о какой стыдливости и речи быть не может: так, в «Тристане из Нантейля» Бланкандина добивается четырехдневной отсрочки консумации ее брака. Супруга велит приготовить чан воды для публичного омовения, но «супруг» убегает. Внезапно появляется ангел, который предлагает ей выбор: остаться женщиной или стать мужчиной. Бланкандина выбирает второе. Транссексуал (бывшая Бланкандина) готовится принять ванну, которая должна стать свидетельством его нового статуса: «...когда он разделся догола, то направился к чану с водой; в присутствии нескольких девственниц он вошел в парильню, и все увидели его огромный детородный орган».

Украшение — объект соблазна, который подчеркивает половую принадлежность того, кто его носит, — может парадоксальным образом стать защитой целомудрия, наподобие некоего сексуального талисмана. Вызванное им желание вскоре исчезает: Ай из Авиньона и супругу Дьедоне Венгерского защитят драгоценности — кольцо обмана, перстень и брошь;

\* «Так сказано» (франц.) — сборник текстов, составленный между 1313 и 1330 годами. Содержит выдержки из Библии и комментарии к ним, состоит из 781 главы.

в поэме «Флоренс из Рима» брошь способна вызвать половое бессилие. Эти чудодейственные свойства броши упоминаются также в книге «Монашество Гильома»: один воинственный монах отправляется ловить рыбу, однако дорога к морю кишит бандитами, и монах спрашивает своих спутников, как ему себя вести — ведь монахам запрещено сражаться; спутники отвечают, что вступать в бой нельзя, если только грабители не посягнут на его штаны. Тогда монах, чтобы привлечь внимание бандитов, закрепляет штаны застёжкой с драгоценными камнями — ведь в таком случае у него появится шанс порвать разбойников на куски, о чем он так мечтал! Описываемая ситуация — тоже форма ритуала интеграции в общество, ибо после встречи с бандитами монахам приходится допустить в свое сообщество этого человека, недалеко ушедшего от дикаря.

## *Индивид*

### *Литература, посвященная внутренним преградам: новое размежевание*

Осознание человеком своей идентичности и своего личного пространства становится объектом пристального внимания. Об этом свидетельствует увеличение вариантов «ухода в себя», например рост роли чтения, захватывающего индивида так сильно, что он начинает ассоциировать себя с героями книги; или ощущение экстаза, вырывающего человека из реальности, поскольку ради невыразимого счастья он забывает о разуме. Изображение мира снов, придание рассказу формы сна — литературный прием, весьма широко распространенный в XIV и XV веках, — задействует ментальное пространство, где альтер эго человека переживает любовные приключения и становится свидетелем споров, которые якобы касаются сновидения, но на самом деле сосредоточены исключительно

на политике. Из понимания индивидуальности человеческого существования в литературных текстах рождается мучительное определение реальности и иллюзии: страх спящего, не понимающего смысла собственного сна, сомнения сознания, изображаемые в том состоянии *dorveille* (полусна), когда человек не знает, существует он или нет. Зеркало, бездонное озеро или символический объект возвращения человека к своему улучшенному образу создают эффект иллюзии и вызывают опасение принять воображаемое за реальное. Что касается появления в литературе первого лица, своего «я», то этот феномен касается литературного кода, хорошо исследованного в недавних работах, а именно обманчивой субъективности, которая к концу Средневековья приводит к умножению поэтических воззваний, устанавливающих новые границы индивидуальной территории. «Мемуары» и «Хроники» более явно вводят в саморепрезентацию элементы личного, и одновременно с попытками самоопределения индивида в поздней поэзии наблюдается навязчивое присутствие времени, ощущение потерянного времени.

### *Замкнуться в себе*

«Замкнувшийся в себе», лишь изредка контактирующий с внешним миром, отстранившийся от окружающей среды индивид часто назван в литературе «задумчивым», погруженным в свои мысли и только ими интересующимся. Так, в пасторелах «задумчивый», мечтательный рыцарь едет по равнине, среди вереска и папоротника, пока его взорам не открывается сад. Персиваль видит короля Артура — он сидит в конце стола, погруженный в свои мысли, «задумчивый и молчаливый», тогда как его рыцари весело разговаривают («Король задумался и не говорил ни слова. <...> Король задумчив и молчалив»). Позднее в литературе, например у Карла Орлеанского, «задумчивость» станет синонимом угрюмости, часто ассоциировавшейся с меланхолией; герой книги «Сердце, полное любви» (XV век) назван «задумчивым и меланхоличным»: только что

он повстречал — совпадение, на котором в этом аллегорическом произведении делается особый акцент, — даму по имени Меланхолия. Похожая на растрепанную старуху, «мрачная и задумчивая», она сидит у огня, сцепив руки. «Задумчивость» — предполагает ли она контакт с окружающими или, напротив, отказ от общения — может обозначать как колебания мысли, стремящейся найти себе объект, так и состояние замкнутости и антисоциальности, отмеченное достойным порицания «уходом в себя».

Другие варианты «ухода в себя» связаны с чтением — индивидуальным актом, который благоприятствует проецированию себя «в иное место» или в «будущее». Так, в одной из «песен пряжи» Прекрасная Дозт «читает книгу, но ее мысли далеко». С помощью чтения происходит опосредование пережитого; «уход в себя», который оно предполагает, может быть исходной точкой возникновения фантазмов и активизации работы воображения. В литературных произведениях XIII века весьма очевидна связь между причиной и следствием: герои читают книги и влюбляются. В повести «Кларис и Ларис» один из героев, прочитав о смерти Пирама и Фисбы, решает на любовное признание; для заточенной в башню Фламенки, которая благодаря книгам «слышит» разговоры о любви, чтение — это способ приостановить время. Через повышение в литературе роли рефлексии и обдумывания прочитанного, через абстрагирование, основанное на временной и хрупкой автаркии индивида, присутствующее в книге время как бы помещается в контекст другого времени, дереализуется или сюрреализуется.

*Текст: появление «я»*

Объектом некоторых произведений становится «я» автора. Оно находит выражение в средневековой лирике: трубадуры и труверы описывают, печально или восторженно, самые интимные моменты, связанные с любовью и телом. Таким образом, это «я», претендующее на уникальность

и актуализированное в контексте желания, представляет собой по сути коллективное «я»: анализ лирики, основанной на бесконечно повторяющихся мотивах, никогда бы не позволил выявить индивидуальный голос поэта, даже если бы это делалось на основе «биографий» трубадуров и комментариев к их поэзии (так называемые виды и разо), написанных задним числом (Поль Зюмтор). Лирическое «я» воплощает идею вечного возвращения и обмана, присутствующую во всем корпусе средневековой литературы. Даже то, что у Вийона воспринимается как самое откровенное признание о себе, окружено условностями. Однако в последнее десятилетие XII века начинает звучать оригинальный голос: обращая страстные мольбы к смерти, поэт Элинан де Фруадмон апеллирует к телесным образам, которые, даже если они относятся не к самому автору, во всяком случае показывают, что индивид полностью сосредоточился на мыслях о смерти:

Смерть, что меня манком сманила  
 И тело бросило в горнило,  
 Где зло изыдет жаркой влагой,  
 Ты тщетно палицей грозила:  
 Никто не повернул правила,  
 Не поднял ввысь иного стяга\*.

(«Стихи о смерти»)

Обозначая надлежащие, с его точки зрения, средства спасения души, автор уподобляет ее порывы обильному потению и очищению огнем, хорошо известным по древним медицинским практикам.

«Аррасские стихи», на которые нередко ссылаются как на свидетельство наиболее «личных» переживаний поэта, описывают индивидуализированную реальность: прежде чем

\* Перевод С.А. Бунтмана.

за Жаном Боделем и Бодом Фастулем закрылись двери лепрозория (Бодель помещен в лепрозорий в 1202 году, Фастуль — позднее), они успели, вместе с Адамом де ла Алем, которого ожидала менее трагическая судьба, создать жанр, воплощающий поэзию личности и одновременно — поэзию обстоятельств. Здесь появляются «реалистические» черты, вызывающие в памяти образ греховной плоти, подверженной разложению, а также рождающие чувства привязанности, обеспокоенности, депрессии и одиночества. В связи с любовной поэзией нередко вспоминают о переходе от стереотипных песен к более субъективированной лирике, но надо заметить, что образ, оставленный Вийоном (образ «плохого парня», «стереотип поэтического анархизма»), сопоставим с образом, созданным еще в XIII веке Рютбёфом. Эти стихи, которые можно определить как «поэзию ложного доверия», претендовали на реалистичное описание жизни их создателя. Культурная модель обуславливает особый тип референтных отношений. Возникает соблазн объявить, что в процессе так называемой эволюции лирики на смену стихам-песням, обобщающим абстракции, пришла поэзия иного рода, основанная на доверии и связанная с чтением. В первом из упомянутых жанров, представленном многими поколениями трубадуров и труверов, исполнитель отождествляется с выраженной в такой поэзии субъективностью, с тем «я», которое отлично от чужого «он», хотя и могло бы им быть; когда исчезают песни, предполагавшие союз сочинителя и публики и позволявшие войти в поэтическую вселенную, поэты стараются не допустить присвоения другими их творчества, способствуя утверждению так называемого «подчеркивания своего “я”»; впрочем, виды и разо увеличили разрыв между читателем и субъективностью поэмы, поскольку этот вид литературы стал превращаться в «роман о себе» (М. Винк).

Наряду с рождением персонализированной литературы — мемуаров и хроник — мы видим, как та же лирика

пытается дать определение индивида: прежние безличные перифразы уступают место оборотам вроде: «Я тот, кто...», призванным вывести индивида из тени: многочисленные примеры можно встретить у Карла Орлеанского («Я есмь человек, у кого черно на душе»). Что касается аллегорических персонажей, то это приводит к дроблению темы на фрагменты, не столько затеняющие «я» автора, сколько препятствующие посягательствам публики на поэтическую территорию в результате фрагментизации «я». У Рене Анжуйского данный процесс завершается тем, что поэт возлагает на одну из частей своего «я», на сердце, которое метонимически обозначает самого автора, миссию поиска любви. Впрочем, в конце Средневековья зона субъективности все больше и больше приобретает пространственный характер. Уже в XIII веке Тибо Шампанский уподобляет любовный плен темнице, созданной желанием, где воротами служат прекрасные взгляды, а цепями — надежда. Еще более зримо представлена «цитадель моей души» Карла Орлеанского: он называет ее «обителью мысли» и «гостеприимным кровом». Если Кристина Пизанская и Ален Шартъе настаивали на необходимости изоляции своего внутреннего мира, то апологией одиночества и «ухода в себя» стали стихи именно Карла Орлеанского:

#### Печаль

Меня так долго держит в своей власти,  
 Что я уж полностью забыл веселье.  
 Уж лучше мне оставить ближних: я,  
 Несчастный, только буду их смущать.  
 Уйду в себя. Зачем им докучать?

Знамение времени: в «Правдивом рассказе» Гийома де Машо стареющий поэт, обменивающийся письмами и стихами с юной дамой, читает полученные от нее послания в обстановке строгой тайны. Интимность выдвигается на передний план:

Беру письмо, конверт вскрываю,  
Но никому не открываю  
Секретов, что таятся там:  
Узнать их никому не дам.

*Личное время: воспоминания и хроники*

Рассматривать личное время как побудительный мотив к творчеству особенно важно в случае произведений такого жанра, как хроники и мемуары, поток которых не иссякает с момента появления книг Жана Жуанвиля. В основе этих трудов лежит совмещение описываемого времени и времени создания книги. Автор первой биографии на французском языке, Жуанвиль считается родоначальником, инициатором «бурного проникновения субъекта во французскую литературу». Пожелав написать «летопись мудрых речений и доблестных деяний нашего святого короля Людовика», он сам выступает залогом истинности своего рассказа, действующим лицом своей книги. Помимо индивидуализации пишущего, мы видим стремление аутентифицировать рассказ с помощью ряда доказательств и речительств, которые представляются нам очень странными, но, видимо, не казались таковыми современникам Жуанвиля. Хотя автор признается в личном участии в некоторых из описываемых им событий, он рассказывает и о тех, свидетелем которых быть не мог, при этом в полной мере осознавая «значение и серьезность свидетельской функции» (М. Перре). Известно, впрочем, что рассказ о взятии Дамьетты он писал на основании документов и хроник (Ж. Монфрен).

Явление индивида: хроники (жанр, очень популярный в XIV–XV веках) отражают отчетливую тенденцию — ошутимую прежде всего в прологе, где, как известно, рассказчик утверждается в роли автора, — выделять индивида с помощью особой, почти канонической формулы. Начиная с 1300 года

она открывает большинство произведений подобного жанра: «Я, Жан Фруассар, казначей и каноник из Шиме» или «Я, Кристина Пизанская, пребывая во мраке невежества по сравнению с теми просвещенными умами, которые...».

Ту же формулу мы видим у Ангеррана де Монстреле, Жоржа Шателена, Оливье де Ля Марша, Жана Молине: местоимение первого лица; имя и фамилия автора; звание и титул, определяющие его социальное положение; глагол, обозначающий процесс написания книги. Таким образом, индивид предстает сингулярным существом, вписанным в «четко определенный социальный контекст»; еще одним элементом модели является претензия на достоверность. Слова «писать» и «писать правду» становятся почти синонимами и приобретают квазиюридический характер: авторы ссылаются на возложенную на них миссию по созданию историографической работы (Ш. Маршелло-Нидзе).

Наряду с мемуарами и хрониками — прозаическими произведениями, затрагивающими тему личного времени, — для поздней поэзии характерно осознание общего времени, вернее, навязчивое присутствие личного времени, что значительно изменило литературное наследие XIII и XIV веков. Рютбёф под видом признания играл образами уничтожения и исчезновения друзей, перешедших в лучший мир; другого поэта, Эсташа Дешана, по-видимому, неотвязно преследовала мысль о бренности и недолговечности человека, его дряхлости и суетности, тревожило ощущение «цикличности жизни, чей ход напоминал... работу часов, изобретенных незадолго до того времени, когда он писал». У Карла Орлеанского личное время, к которому автор обращается часто, но не без горечи, подчинено законам природы и космическому ритму, подчас становясь объектом горестных размышлений. По словам поэта, он роется «в глубинах своей памяти», сознавая, сколь жалкое зрелище представляет для посторонних глаз старик, который вступает «на путь любви», больше подходящий молодым. Одержимость

временем можно отметить у Мишо Тайевана, считавшего, что «время уходит безвозвратно»; у Пьера Шателена, автора книги «Против бездумного времяпрепровождения», впоследствии озаглавленной «Мое потерянное время» (история его жизни, отмеченная переживаниями, которым он посвятит и следующую свою книгу — «Обретенное время»). Отныне поэты озабочены глубокой «погруженностью» своего «я» в прошлое и будущее: у Франсуа Вийона личное время выступает «пособником потерянного времени», у Пьера Шателена — «провозвестником обретенного времени»; здесь угадываются уже некоторые признаки Ренессанса (Д. Пуарьон).

### *Внутренний голос*

В основу романов положены любовные сюжеты, неотъемлемой частью которых является изображение одиночества, а следовательно, и тема внутреннего голоса. Уже в поэме о Роланде главный герой, оставшись в одиночестве, возносит к Богу три молитвы; однако в полной мере «повествовательная техника» внутреннего монолога, необходимого для нахождения своего «я», для самоанализа, для диалога с собой, проявляется в так называемом старинном романе, особенно у Кретьена де Труа. Длинные внутренние монологи Соредамор и Александра в романе «Клижес» нужны для того, чтобы с помощью скрытого анализа проследить эмоциональные тропизмы субъекта, иными словами, его чувства — радость, восторг, печаль — и оттенки настроения. Куртуазная лирика, со своей стороны, весьма активно использует подобные чувства и настроения, ставя их в зависимость от вариаций времени ожидания, надежды и отчаяния.

В литературе XIII века внутренний монолог приобретает наиболее отточенную форму; эксплуатация рассказчиком темы интимности может дублироваться другим голосом, выражающим «я» с помощью лирической цитаты. Внутренний монолог диверсифицируется: сокровенный голос Гильома,

влюбленного во Фламенку, — это, с одной стороны, горестные размышления о силе любви, а с другой — поиск способов реализации задуманного плана — встретиться с Фламенкой в парильне, куда он должен пробраться через подземный ход. Однако в момент гибели, по определению акта одиночного, индивид, постепенно утрачивая точки соприкосновения с миром — например, с любимым человеком, обвиненным (неизвестно, справедливо или нет) в измене и предательстве, или со своим сообществом, от которого, как он знает, его отделит скорая кончина, — лишь в этот момент индивид произносит слова о собственной смерти, причем произносит в буквальном смысле: это не внутренний монолог. Так, в «Кастелянше из Вержи» девушка, пробравшись в альков главной героини, становится свидетельницей описанной выше речи и передает ее возлюбленному умершей, а тот лишает себя жизни возле тела несчастной. Если в «Песне о Роланде» смерть была поводом к последней речи, где индивидуальное «я» дублировалось коллективным «мы», то слова кастелянши — пример трагического ощущения одиночества, сравнимого с тем, что чувствует хозяйка Файеля, которая, прочитав последнее послание своего возлюбленного, убитого отравленной стрелой, и узнав, что из-за коварства мужа она съела сердце несчастного юноши, теряет сознание; придя в себя, она зовет смерть. Впрочем, осознание смерти сопровождается типическими жестами: руки, сложенные на груди, отнимают у тела последнее дыхание жизни.

### *Идентичность*

Воображаемый мир одержим проблемами идентичности, утерянной и неизвестной, которую нужно обрести, восстановить или скрыть; идентичности, чье присутствие ощущается лишь подспудно, пока в один прекрасный день ее смысл не станет очевидным.

### Скрытность

Позволить своему телу говорить или обречь его на молчание? Тело, передающее информацию с помощью жестов, одежды, ритуалов, умеет в то же время молчать и имитировать свое отсутствие. В литературе это отсутствие не случайно. Тело лишается признаков идентификации: многочисленные примеры показывают, как меняется облик человека, как, например, лицо становится невидимым с помощью волшебного зелья; короче говоря, как люди пытаются помешать себя идентифицировать. Так, страшась, что ее выдадут замуж за короля-язычника, Николетта, героиня одной из так называемых песен-сказок (XIII век), натирает голову и лицо соком какого-то растения, отчего становится черной как сажа. Переодевшись в лютниста, она приходит ко двору своего возлюбленного Окассена и, натеревшись соком другого растения, которое в книге называется *éclairé* (чистотел?), возвращает себе утраченную красоту. Бывает, что тело прячут под шкурой животного: в романе «Гильом Палермский» влюбленные, вынужденные скрываться от погони, находят на кухне, где разделявают туши оленей и медведей, шкуры двух белых медведей и кожу змеи и, сшив из них своеобразное лоскутное одеяние (*patchwork*), вводят в заблуждение своих преследователей.

Монохромия — довольно необычное в природе явление; однако индивид может сконцентрировать всю свою сущность в цвете, сделать его своим единственным идентификатором, став, например, «красным рыцарем» или «белым рыцарем», при том что каждый из цветов несет явную смысловую нагрузку. Красный обозначает человека с дурными намерениями, зеленый передает горячий нрав, черный пока многозначен, но постепенно приобретает отрицательные коннотации, синий ассоциируется с героем, путешествующим инкогнито, — данное качество служит полноправной характеристикой персонажа, как показывает Фруассар в «Рассказе о синем рыцаре» (М. Пастуро).

При определенных обстоятельствах — довольно многочисленных, если рассматривать весь комплекс произведений того времени, — герои и героини могут временно отказаться от проявления своей идентичности (что особенно ярко свидетельствует об их отношениях с общиной). К таким героям зачастую принадлежат девушки, которые, став жертвами кровосмесительных помыслов отцов, не видят иного средства спастись, кроме бегства; впрочем, их молчание, возможно, отчасти продиктовано желанием скрыть от чужих глаз проблемы в частной сфере, грозящие бросить тень на честь семьи. Отсутствие имени у куртуазного героя, например у Ланселота из «Рыцаря телеги», обусловлено необходимостью соответствия имени поступкам, которых сообщество от него ожидает. Таким образом, для романного героя характерна скрытность, как это можно наблюдать в целой серии приключенческих произведений: даже в XV столетии в книге «История Оливье Кастильского» главный герой, одержав победу на рыцарском турнире, отказывается сообщить свое имя; глашатаям приходится объявить, что победил «рыцарь в красно-бело-черных одеждах». Иными словами, скрытность — это своего рода интимность, всегда остающаяся в распоряжении человека как тайный багаж, который можно открыть лишь в определенный момент; также это превосходный способ придать сюжету остроту. Что касается привидений, упоминаемых в «Ричарде Красивом» и «Оливье Кастильском», то эти существа из другого мира тоже умеют скрывать свою идентичность.

#### *Интерпретация знаков*

«Таков был Клижес, который обладал мудростью и красотой, щедростью и силой: это было прекрасное дерево, защищенное прочной корой». Ощутимый диссонанс между телом и духом человека воспринимается с тревогой. Особенно часто несоответствие правильных черт лица уродливому внутреннему миру констатируется у женщин, например в «Галеране

Бретонском» или в «Рассказе о гончей» (XIV век), где юные девушки с хорошенькими личиками надменны и «меланхоличны».

В литературе распознавание нередко напоминает игру в «следование по маршруту». Если герб того или иного персонажа невольно подталкивает к герменевтическому анализу, если монохромия способна «сказать» о герое столько же, сколько «интерпретация» гербов, то рыцарь, прячущийся под маской, — одна из главных тем романов XIII века, точка соприкосновения таких мотивов, как вынужденная анонимность, потеря социального статуса и восстановление «лица» посредством подвига, который возвращает идентичность, а затем и имя. Чтобы быть узнаваемым и признанным, индивид должен пройти этап, когда его лицо будет скрыто маской. Тот факт, что многие персонажи сохраняют инкогнито, свидетельствует о необходимости завоевывать себе идентичность, а завоевав, постоянно отстаивать. Пронизывая многие романы Кретьена де Труа, тема человека, путешествующего инкогнито и проходящего таким образом инициацию, затрагивает узкую сферу отношений между индивидом и его именем. Сам Персиваль вспоминает свое имя, лишь находясь при дворе таинственного Короля-Рыбака, где он из вежливости не задал вопросы, которые могли бы излечить короля и спасти от гибели его Опустошенную землю. «И рыцарь, не помнивший своего имени, вдруг, будто в порыве божественного вдохновения, его вспоминает и говорит, что его зовут Персиваль Галльский. Он не знает, истинны его слова или ложны, и хотя он сказал правду, ему это неизвестно...».

Еще одной формой свидетельства идентичности могут быть тайны, ждущие, чтобы их разгадали, загадочные надписи, ткани с вышивкой, лица на портретах, которые надо узнать: в «Прекрасной Элейн из Константинополя» необходимость в изображении лица героини возникает в связи с тем, что отец Элейн, виновный в ее исчезновении, и муж, не желавший ее потерять, разыскивают девушку. По тексту книги рассыпаны символы, которые ждут расшифровки, вкуче с признанием

вины одним из героев: отец девушки распоряжается запечатлеть ее портрет на колонне папского дворца в Риме, муж велит нанести изображение пропавшей супруги на монету. Если быточность мотива заставляет думать, что отец и муж — один и тот же человек, разделенный на две части, то образ самой героини воспроизводит индивида с разомкнутой идентичностью: *incognita*\* Элейн, лишенная идентичности, становится публичной фигурой благодаря действиям и отца, и мужа.

### Портрет

Странное дело: человека очень редко узнают по чертам лица (если только речь не идет о портрете). Так, встречи родителей и детей — популярный в литературе сюжет о воссоединении распавшейся семейной ячейки — никогда не происходят вследствие реального узнавания, причина скорее в эмоциональном тропизме. Например, в «Лэ о Дооне» и в «Лэ о Желанном» фея посылает прекрасного мальчика познакомиться со своим отцом, от которого скрывали рождение сына. Привязанность родителей к ребенку возникает внезапно и лишена каких-либо фантастических признаков: в повести «Безрукая» король привязывается к ребенку главной героини, воспитанному римским сенатором, хотя и не знает, что ребенок — его сын; влечение это нельзя объяснить иначе, кроме как «голосом крови». Однако портрет — хороший заменитель отсутствующего человека, ибо напоминает влюбленным милые черты. Тристан приходит в зал дворца, чтобы поклониться статуе Изольды: «Он изливает душу статуе и не хочет с ней расставаться. Его взгляд падает на руку Изольды, которая протягивает ему золотое кольцо; он снова видит бледное лицо подруги, когда принимает от нее прощальный дар».

Некоторые нюансы образа: Гийом беззастенчиво пользуется доверчивостью мужа Фламенки, чтобы передать ей

\* Безвестная (лат.).

послание («Фламенка»). Он сочиняет ей «приветственный» стих, обращенный якобы к некой таинственной даме, украшает послание двумя рисунками, выполненными «с таким мастерством, как будто изображенные на них люди живые. Слева мы видим коленапреклоненного юношу, чей молящий взор обращен к даме, которая стоит напротив него, на правом поле листа. Юноша держит в зубах цветок, который касается первого слова каждого стиха». Рисунок не воспроизводил действительных черт лица влюбленных; однако Фламенке достаточно было перегнуть листы послания, чтобы «покрыть тысячью поцелуев образ любимого Гийома, ведь когда она перегибала листы приветственного письма, фигуры, изображенные на полях, как будто обменивались поцелуями». Будучи дубликатом образа влюбленных, давая возможность фантазматических объятий и поцелуев, портрет обманывает и одновременно дает надежду. В свою очередь, Гийом де Машо счастлив иметь у себя «милый образ», «милый идеал» — портрет дамы своего сердца, который ему передала служанка. Получив его, говорит он, «я скорым шагом направился к себе в комнату и закрылся там один». Повесив у себя над кроватью «чистый и милый образ, запечатленный художником», он не только его рассматривает, но также иногда гладит портрет и следит за его сохранностью. Портрет как субститут живого человека имеет функцию возбуждения чувств и воспоминаний о том, кто на нем изображен.

### Сон

Интимная зона, эмоциональная вселенная, туман и ясность: индивида может поглотить динамика его личного мира. В XIII веке состояние погружения в самого себя описывается почти медицинскими терминами (см. «Фламенку»): чувства, подчиненные сердцу, настолько захлестывают человека, что он теряет сознание — одурманенный, лишенный зрения, слуха, дара речи. «Сердце, — пишет автор «Фламенки», — отец и господин чувств; поэтому, когда с ним случается хорошее

или дурное, все пять чувств являются к нему, дабы узнать его волю. Когда они сходятся воедино в душе человека, он уже ничего вокруг себя не видит, как будто ослепленный ими. И поскольку любая перемена к лучшему или худшему заставляет чувства представлять перед их господином, неудивительно, что и радость любви, заполняя сердце, — ибо она тесно связана и с горем, и с весельем, — велит чувствам спешить к нему со всей возможной быстротой, коль скоро они ему понадобятся. И если одно из чувств выполняет свое предназначение, все остальные делают все, чтобы ему помочь и услужить, как будто у них нет другой заботы. Вот почему случается, что человек, чем-то всецело поглощенный, меньше видит, меньше чувствует, меньше говорит и меньше слушает. И если его легонько ударить, он даже не почувствует. С этим каждый знаком по собственному опыту».

Сновидения создают искусственный мир, который наделяет спящего телесной оболочкой, определяет его пространство и поиск. Известно, что проблемы, сопряженные со сновидениями — взаимосвязь снов и видений, природа сна и ответственность спящего, отношения между жизнью тела и природой снов, — нашли живое отражение в покаянных обрядах и особенно в «Сонниках» (XII–XIII века). Впрочем, литературные произведения нередко ссылаются на Макробия, а сновидческая жизнь хорошо известна по романам и аллегорическим текстам. Эта жизнь ускользает от сознания, но не от ответственности; в самом деле, забыв сотворить крестное знамение, мать Мерлина дает дьяволу возможность произвести на свет сына; священник, увещевая ее до конца дней не поддаваться плотскому греху, делает исключение для времени «сна, ибо во сне человек не властен над собой».

Отказываясь от любого вмешательства со стороны, скрываясь в самых потаенных уголках души, сновидения нередко дают сюжеты средневековой литературе: постоянное использование на протяжении приблизительно трех столетий «сна

в качестве рамки для литературного произведения» являет собой весьма необычный феномен. Сны присутствуют в огромном количестве самых разных текстов в период между началом XIII и началом XVI века (Ш. Маршелло-Нидзе). Впрочем, уже в «Песне о Роланде» описаны сны, которые видит император Карл на пути во Францию: сначала ему снится, что к нему подступает Ганелон, затем — что на него нападает леопард (или кабан). В продолжение сна ангел объявляет императору о предстоящей битве, провозвестниками которой выступают бури, грозы и молнии, ветра и морозы, огонь и пламя. Армия Карла становится жертвой всевозможных монстров, драконов, демонов и грифонов — отражение тревожных предчувствий императора, но даже столь мрачное зрелище не заставляет спящего проснуться: автор «Песни» всячески подчеркивает непрерывность описываемого сна.

В «Поисках святого Грааля» сновидения придают сюжету динамику, стимулируя движение героев к «другим», к тем монахам и отшельникам, которые указывают им путь. Подробно описывая чувства спящих, их тревогу — результат личного восприятия смысла снов, автор романа выводит на сцену Персиваля, которого посетило «удивительное видение... сильно его смутившее»: ему приснились две дамы, олицетворяющие два закона. Он спит до полудня, а когда просыпается, встречает священника и, о многом с ним поговорив, наконец обращается к нему с вопросом: «Пожалуйста, объясните мне, отче, значение сна, который мне случилось видеть сегодня ночью: он показался мне столь необычным, что я уж, верно, не успокоюсь, пока не узнаю, в чем его смысл». Позднее на страницах романа появляется Ланселот: когда его, изнуренного долгим постом и ночными бдениями, наконец одолевает сон, он видит пред собой человека в окружении звезд, сопровождаемого семью королями и двумя рыцарями. Добравшись до хижины отшельника, Ланселот узнаёт у него, что его «видение проникнуто гораздо большим смыслом, чем может показаться иным».

Что касается Гавейна и Гектора, нашедших приют в старой часовне, то они оба видят «такие удивительные сны, что о них нельзя не вспомнить — столь глубокого смысла они полны». Гектор просыпается «весь в тревоге и ворочается в постели с боку на бок, не в силах вновь заснуть». Тогда Гавейн говорит ему: «Мне приснился очень странный сон, от которого я пробудился; не успокоюсь, пока не узнаю, что он означает». Таким образом, любое из выражений, в которых описывается сон, и любой из его героев требуют глубокого знания символов, лежащих в основе аллегории; скрытый смысл происходящего в тайниках души ждет, пока его найдут и объяснят. Речь идет не только о том, что сон, потенциальный объект интерпретации, воспринимается как особый мир; мы видим здесь попытку обнаружить ускользающий смысл сна, стремление проникнуть в сознание и расшифровать отдельные его элементы.

### *Сон-обман*

Аллегорическая традиция, и в особенности «Роман о розе», наделяет глубоким смыслом человеческое «я»; продолжая говорить от первого лица, герой порой заходит на ту опаснейшую территорию, где отражением реального пространства становится пространство мысленное и вымышленное, где на истинное время, в течение которого человек спит в своей постели, накладывается время фиктивное, когда он во сне ощущает себя бодрствующим. Вот как в «Романе о розе» обозначена эта граница сна и реальности: «Однажды с наступлением ночи я, как обычно, отправился в постель, а когда заснул, увидел очень красивый сон. <...> Как-то ночью мне приснилось, что я живу в прекрасном мире, где все живое движимо желанием любить. И вот, когда я спал, мне показалось, что наступило раннее утро; я будто бы встал с постели, надел штаны и вымыл руки».

В «Поисках святого Грааля» сон — то состояние, в котором герои получают ценные советы; в иных случаях, как мы увидим, сон может стать объектом дискурсивной оценки его

подлинности; в общем, сон представляет собой опасную зону, где людьми завладевают иллюзии, где спящему кажется, что он обнимает любимого человека, тогда как на самом деле это тень: сон во многом связан с мучительной проблемой различения реальности и иллюзии. Дядя Клижеса, женившийся на Фенисе, обладает супругой лишь во сне, в то время как она, оставаясь невинной, спит рядом с ним; такие же иллюзии завладевают человеком, одержимым любовной лихорадкой: ему мерещится, что он находится в объятиях любимой (см., например, роман о Кларисе и Ларисе, где сон мешается с реальностью и где истина отражается как в кривом зеркале). Границы сознания, виновности, патологии, сновидения неопределенны: в XV веке фиксируются сны интимного характера, отражающие потаенные чувства охваченных желанием людей; в этих снах запечатлены фантазии женщины, которая испытывает противоположную склонность к своему зятю, представляющему в образе дьявольского танцора и без конца ее преследующему...

Сон и душевное смятение соединяются с состоянием отсутствия своего «я», свойственным экстазу или забвению. Лучшими свидетельствами беспокойства, проявляемого в таком феномене, как сон — территория, избегающая сознательного состояния человека, — выступают эротические сны (они же, правда, доказывают близость грубой и неприкрашенной реальности): например, монаху снится вереница проходящих перед ним женских половых органов, он тянется к ним, но оказывается, что его рука сжала терновый куст — резкий диссонанс между желанием и реальностью. Впрочем, в куртуазной литературе сон иногда представлен как истинный дар Любви. Лишенный возможности обладать дамой своего сердца, Гильом Неверский, почувствовав приближение сна, обращается к Амуру с мольбой. «Амур, — говорит он, — пожалуйста, усыпь меня и ниспошли мне сон, ибо в этом деле ты мастер. Яви мне хотя бы во сне ту, которую в свете дня мне видеть запрещено. О вас, моя дама, я хочу говорить, а если

увидю вас во сне, то многое приобрету и выгадаю. И вот я буду повторять без конца: “Вы, вы! Вас, моя дама, я буду называть своей, пока мои глаза будут открыты. Если же смежу веки во время сна, я хочу, чтобы мое сердце было с вами; да, с вами, моя дама, с вами!” Не успел он договорить последних слов, как заснул и вволю налюбовался своей дамой, не встретив никаких к тому препятствий. И вообще, надо сказать, когда желаешь что-то увидеть во сне и засыпаешь с этой мыслью, предмет твоего желания обязательно тебе приснится» («Фламенка»).

Хотя не всем дано столь рационально распоряжаться снами, «бегство в сон» означает иногда полный разрыв с реальностью: Гильом Английский из одноименного романа становится жертвой неопределенности границ между сознанием и бессознательным. Он так глубоко погружается в мысли об охоте, что перестает реагировать на окружающих и впадает в состояние полной прострации; рассказчик даже вынужден заметить: «Не принимайте меня за лжеца и не удивляйтесь моему рассказу, ибо случается, что человек грезит наяву. Ведь подобно снам мысли могут быть истинными и ложными!»

И вот грезы Гильома предшествуют его встрече с двумя сыновьями, которые были потеряны в детстве, и даже становятся ее причиной: сон здесь — форма навязчивого откровения, благодаря которому субъект вновь обретает свой семейный статус, стоит лишь воспользоваться в реальности тем, что ему дал сон.

В «Романе о розе» сон представлен как послание свыше: «Сон — это способ сообщить людям о благоприятных или неблагоприятных событиях; многое из того, что люди видят ночью во сне, в тайниках своей души, становится ясным потом, при свете дня». В русле традиции любовных снов в произведении XV века «Сердце, полное любви» проводится граница между сердцем и человеком, в чьей груди оно бьется, делая Сердце одним из персонажей поэмы. Автор, Рене Анжуйский, считает реальность сна весьма относительной. Он описывает

свое состояние удрученности, беспокойства, полного погружения в собственные мысли, когда он, охваченный любовью, лежит в постели:

... и, смущен,  
Тяжелой думой удручен,  
Я видел будто бы во сне  
Или в мечтах — но мнилось мне,  
Что у постели Купидон  
Вдруг оказался. Вынул он  
Мне сердце...

Таким образом, вхождение в матрицу сна объективировано тем фактом, что автор (который в прозаических частях произведения, перемежающих стихи, берет на себя роль рассказчика: необычное структурирование элементов повествования по сравнению с моделью, представленной «Романом о розе») описывает и свой выход из нее, выход из полного тоски и тревоги ночного кошмара. Он открывает глаза, зовет камергера, спавшего неподалеку, и с ужасом рассказывает, как во сне у него из груди вынули сердце: «Боюсь, что Амур похитил мое сердце и унес его с собой. Я ощупываю рукой грудь, и мне кажется, что сердца там больше нет. Я не чувствую, как оно бьется!» Камергер, велев принести орудие истины, свечу, быстро ставит диагноз: грудь Рене нетронута. Поэтому он советует хозяину снова лечь спать и на этот раз хорошенько выспаться, но тому с трудом удается выполнить рекомендацию. На следующий день Рене берет бумагу и, по его словам, запечатлевает свой сон «настолько точно, насколько [он] его увидел»: полная юмора и вместе с тем тревоги фиксация воображаемого процесса, реальность которому придается тем фактом его описания. Автор изгоняет сон из головы при помощи легкой иронии, а также применяет прием, развенчивающий иллюзию истинности

сновидения. Он производит анализ сна и, рассматривая его с рациональной точки зрения, видит в нем жалкий мираж, ощущает его двойственность (неизвестно, спит человек или бодрствует). Все это позволяет сделать вывод о ничтожности сна, которому доступен лишь его собственный язык — язык метафор. Таким образом, граница между метафорой и реальностью иногда едва различима. Мы отмечаем здесь большую прозаичность, отброшенные иллюзии, чувство отстранения от кошмара после пробуждения: куртуазная история в «Сердце, полном любви» превратилась в дурной сон о состоянии беспомощности. Возможно, любовные метания на деле всегда такими и были.

Впрочем, способность воспринимать ту загадочную границу, что отделяет сон от яви, предрасположенность к неопределенности сознания, к сомнениям относительно того, «быть или не быть», проявились в описании так называемого *dorveille* (полусна). Например, Раймондин, будущий муж Мелюзины, после случайного убийства собственного дяди скитается по лесам, потрясенный случившимся. «В полночь он прибыл к источнику, называвшемуся иными “Родником жажды”, иными же — “Очарованным родником”, оттого что раньше здесь часто происходили разные необыкновенные вещи, время от времени случавшиеся и ныне. Родник был расположен в поистине удивительном месте: он вырывался из-под земли посреди крутого склона, над ним громоздились утесы, а внизу, за высоким лесом, простирался прекрасный луг, занимающий всю долину. В небе ярко светила луна, и конь Раймондина шел в одному ему известном направлении, ибо всадник, подавленный горем, безвольно сидел на его спине, будто погруженный в сон. Он подъехал к роднику, возле которого резвились три дамы. О самой знатной из них, приходившейся хозяйкой двум другим, мы и расскажем сейчас то, что нам известно. Итак, как мы сказали, конь нес на своей спине задумчивого и несчастного всадника, удрученного тем, что с ним произошло; не он правил конем, а конь вез его куда

хотел; он не тянул поводья ни вправо, ни влево: он лишился зрения, слуха и рассудка. И вот он проезжает мимо родника, возле которого находятся три дамы, и не замечает их...».

Позднее бургундский придворный поэт Пьер Мишо в книге «Пляски слепых» опишет свой «внутренний театр» как особое состояние, где в ясной и прозрачной ночи тихим сном спит «сладострастие» (чувственные ощущения) и где крайняя степень сосредоточенности («напряженная и усердная работа моего пронизательного ума») дает возможность персонифицировать Разум, хотя выделение этого органа в отдельную категорию, каким бы рациональным оно ни было, означает смерть чувствам!

Другая форма рационализации предполагает «политический» сон — чисто теоретическое явление, где тайны бессознательного — не более чем декор. Сон становится своего рода уловкой, позволяющей уклониться от ответственности, поскольку «политическое» сновидение — это завуалированный рассказ о власти. Меньше чем за полвека создается добрая дюжина произведений — «Сон о чуме», «Сон о старом пилигриме», «Инвектива в четырех частях» (все три принадлежат перу Алена Шартье), «Сон о саде» и другие, — в которых вселенная сна используется для размышлений о властных структурах: риторическая традиция служит средством пересмотра баланса социальных ролей, а «в этом случае лучше внушить мысль, что действие происходит во сне». Каноническая форма сна (формула «мне было явлено» — «il me fut advis», за которой следует глагол в имперфекте изъявительного наклонения, так как человек, видящий сон, сам вовлечен в этот процесс) отвергается и взамен нее возникает другая, где спящий является «средоточием, а затем описателем видения, которое всегда затрагивает королевскую власть». Таким образом, данная форма сна гарантирует некий иммунитет автору, поскольку тот делает вид, что не сам придумал свой сон (Ш. Маршелло-Нидзе).

*Зеркало*

Автор книги о христианском воспитании, основанной на примерах морального характера, рассказывает (ок. 1320) об одной даме, которая велела горничной купить зеркало, но оно ей не понравилось, и служанку отправили за другим. Тогда служанка принесла череп, сказав: «Вот, посмотрите в него, в целом свете вы не найдете другого зеркала, в котором так хорошо себя рассмотрите!» И хотя госпожа Праздность из «Романа о розе» использует вынесенный в заглавие предмет для более привычных нужд — с его помощью она наводит красоту, — зеркало продолжает оставаться объектом морального наставления. В «Книге поучений» шевалье де Ла Тура Ландри, которую он адресует своим дочерям, злоупотребление зеркалом рассматривается как источник вселенских бедствий. Дама, тратящая чуть ли не полдня на любование собою в зеркале и приведение в порядок своей внешности, раздражает собравшихся в церкви прихожан, которым приходится ее ждать: «Боже! Когда же эта женщина кончит причесываться и смотреться в зеркало?» Зловещий предмет! «И по велению Бога, пожелавшего явить свою силу, случилось вот что: когда дама гляделась в зеркало, она заметила в нем врага\*, показывающего ей свой зад, который был столь безобразным, столь страшным, что дама тронулась рассудком: в нее как будто вселился дьявол». Зеркало помогает обратить внимание на несовершенство туалета или прически, но в той же степени оно символизирует моральное несовершенство и избыток нарциссизма. В нескольких текстах зеркало превращается в орудие наставления, а раз оно должно служить добродетели, его делают двойным, чтобы нейтрализовать исходящие от него соблазны и фальшь. Так, герой «Рассказа о зеркале» Жана де Конде считает необходимым иметь при себе двойное зеркало, чтобы смотреться в него «снаружи и изнутри»; там действительно описано некое

\* Вероятно, имеется в виду сатана, дьявол.

зеркало с «темной и необычной» обратной стороной, оно предназначено для представителей «высшего света» и должно быть с ними днем и ночью. Неблаговидные действия других людей, увиденные в этом зеркале-обереге, можно использовать с выгодой для себя:

О зеркало, добро и зло  
Покажет нам твое стекло.

Однако зеркало служит и орудием обольщения, как показано в одном фавлю: некая дама, принимая посланца, сообщившего ей о предстоящем визите ее мужа, просит поддержать перед ней зеркало, чтобы она могла поправить крохотную пелеринку, и этот акт нарциссизма делает ее столь неотразимой в глазах юноши, что он удовлетворяет желания дамы, не дожидаясь ее супруга.

Помимо двусмысленного статуса зеркала и потенциальной угрозы, какую оно представляет для копируемой им действительности, следует сказать и об отражении зеркалом человека — о тени, которая, отбирая у реальности часть его существования, придает эфемерному статус реального. И поскольку сущность реальности — по крайней мере в романах о куртуазной любви — состоит в том, чтобы ускользать от героя, в поэме «Лэ о тени» отражение становится образом, изящно впитывающим действительность. Герой истории, рыцарь, ухаживающий за дамой, встречает с ее стороны отпор и получает назад посланное ей кольцо; вместо того чтобы вновь надеть его себе на палец, рыцарь с помощью отражения исполняет ритуал, который гарантирует ему благосклонность дамы. Опершись на край колодца и ясно видя в прозрачной воде тень той, кого он любит больше всего на свете, рыцарь обращается к ней со следующими словами: «Возьмите это кольцо, любезная подруга! Если уж моя дама отвергает сей дар, примите его хоть вы!» Вода слегка колыхнулась, когда

туда упало кольцо, и тень исчезла; тронутая столь изысканным проявлением галантности, дама приняла ухаживания рыцаря. Ускользнув, реальное возвращается вследствие своего раздвоения и наконец покоряется герою.

Если считать Амура истинным богом, то «Роман о розе» следовало бы переименовать в «Зерцало влюбленных»\*, так как назидательность сюжета строится на противопоставлении двух ручьев. На дне одного из них находится смертоносное зеркало, от которого примет смерть Нарцисс; другой, напротив, служит источником знания, поскольку все, кто склоняется над ним, с какой бы стороны они ни смотрели, во всех подробностях видят сад, по которому он протекает. Если первый источник представляет собой «особую реальность», то второй зеркально повторяет сам роман во всей его целостности. Различные оптические эффекты источника, впитывание им образа смотрящегося — не что иное, как знание, которое возвращается от зеркала человеку. Однако в «Книге взглядов», включенной в «Роман о розе» как составная часть и представляющей собой, по мнению некоторых, «зеркало в зеркале», Природа отвергает «кривые зеркала, а также все иллюзии, которые возникают вследствие недостатков зрения, обманчивости расстояния, призрачности сна и яви, не исключая и созерцание: <...> предупредительная мера против тех, кто претендует на подлинность своего видения мира» (Р. Драгонетти).

### Смерть Нарцисса

<...> Нарцисс возлег, и потянувшись,  
К ручью губами прикоснувшись,  
К воде прозрачной, изумлен  
Самим собою, замер он,

\* «Зерцало влюбленных» — вторая часть «Романа о розе», написанная Жаном де Меном во второй половине XIII века.

Увидев в зеркале воды  
Неповторимые черты.  
<...> Амур влюбленных не жалеет,  
Презреньем наказать умеет.  
Нарцисс не мог уж отойти  
Иль глаз хотя бы отвести  
От зеркала: он помешался  
И вскоре в том саду скончался\*.

Как и зеркало, источник копирует реальное, выступает симулякром созданного Богом. Когда человек видит в нем свое отражение, Другой отступает и Он Сам оказывается перед лицом смертельной опасности. Здесь таится угроза и для поэта: ведь именно в этом зеркале он узрел розовые кусты, усыпанные цветами, и среди них ту розу, чей аромат наполнил окрестности.

---

\* Перевод И.Б. Смирновой.

ГЛАВА 3  
ПРОБЛЕМЫ

*Доминик Бартелеми*  
*Филипп Контамин*  
*Жорж Дюби*  
*Филипп Браунштайн*

## УСТРОЙСТВО ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

### *XI–XIII века*

Война, свирепствовавшая в течение XI–XII веков, разрушает семьи, уничтожает родственные связи и весьма ощутимо дезорганизует среду обитания аристократии. Она заставляет семьи укрепляться в башнях, где те едва осмеливаются прорубать окна из страха обстрела или штурма крепостного вала и, чтобы затруднить подступы, заделывают двери, оставляя только узкие проходы, поднятые на 8–10 метров и соединенные с поверхностью земли приставными лестницами или опасными ступеньками. В эти суровые века тень донжона опускается как на частное, так и на общественное пространство, безусловно влияя на жизнь и подданных, и врагов сеньории, что особенно сказывается на дискомфортных и тесных жилищах рыцарей, их жен и детей. Эта пессимистическая картина вошла в историю Франции (и Англии) периода феодализма как штамп. Нужно ли ей верить? Должно ли ее опровергнуть? Чтобы пересмотреть сложившееся представление, необходимо перестать обращать внимание на очевидное, а также на принятую точку зрения.

Вероятно, донжоны являются наиболее сохранившимися памятниками светской архитектуры своего времени: они обязаны этим камню — материалу, из которого они сделаны, престижу, символом которого они были, а также случаю. Одни

были заброшены и разрушались, другие, приспособленные к новым условиям, оберегались, но утратили привычный вид. Изменения конца Средневековья или более позднего периода часто встают между феодальным временем и современной археологией. Последняя должна ответить на вопрос, имеет ли она дело с наиболее типичными памятниками, воспроизводят ли жилища из долговечного камня структуру и облик деревянных жилищ, сгнивших или сгоревших к настоящему времени. Археология стремится изучить жизнь одного региона и одной эпохи и не столько шлифовать плиты и реставрировать стены, сколько обнаружить в слоях почвы следы пребывания человека и останки его жилища.

Но как воскресить во всей совокупности повседневную жизнь и человеческие судьбы? Не нужно предаваться мечтаньям, глядя на донжоны, как это делали в XIX веке. Археология после достаточно глубокого анализа техники строительства той эпохи обратилась к чистым впечатлениям и заговорила о печали, тесноте, суровости, не зная, действительно ли жители испытывали неудобства, или — намеренно либо ненамеренно — разбирала идеологию, как мы это видим на страницах трудов Эмиля Маля (см. далее). Более активные и не менее страстные современные исследователи ведут себя осторожнее: чаще всего их расчеты и обобщения ограничиваются констатацией неуловимой близости семьи. Именно потому, что основным им кажется точное знание об образе жизни, они избегают выносить окончательные суждения о функциях такой-то комнаты или такого-то здания и отказываются от попытки эстетической реконструкции разрушенных жилищ и мертвых чувств.

Однако мы не рассматриваем здесь одну из таких чарующих и почти неизвестных цивилизаций, как минойская или тольтекская, применительно к которым отсутствие документов провоцирует смелые гипотезы и заставляет самых блестящих исследователей опираться на воображение. Для феодальных времен доказательством служат документы: совокупность

достаточно разнообразных источников и позволила написать в общих чертах первую «картину» этой книги. Есть хроники, биографии, которые воздают хвалу строителю, объясняют его наиболее известные замыслы; есть рассказы, по ходу действия которых мы совершенно неожиданно проникаем в феодальные жилища. Но чаще всего сами действующие лица, сложившиеся между ними отношения и установленная иерархия интересуют нас больше, чем окружающая обстановка. Чтение документов может дополнить анализ памятников; тем не менее между ними остается некоторое расхождение, область предположений для скрупулезного историка.

Труднее всего дать этому пространству его точное средневековое название; такие определения, как *turris* (башня или донжон) и *domus* (жилище), а также *camera* (спальня) и *sala* (зал), используются то в противопоставлении, то как синонимы. Выходит, люди Средневековья были непоследовательны или не могли перевести на латынь выражения своего языка? Это очень сомнительно: такое снисходительное объяснение неприемлемо и двусмысленно. Даже по зрелом размышлении всю историю дворянского жилища можно свести к следующим вопросам. Принуждена ли была аристократия жить в донжоне и считать его своим домом и могла ли она по крайней мере уменьшить неудобства? С другой стороны, находясь в стесненных условиях, была ли она способна организовать разделение, в наших глазах принципиальное, между прихожей, обеденной комнатой и спальней и существовали ли какие-либо тонкости в предписаниях выхода и встреч?

### **Башня и жилище**

Простая интрига для этой начальной гипотезы заключается в классической дилемме между поместьем и укреплением: были ли «замки» XI–XIII веков прежде всего цитаделями и возможно ли было в них вести комфортный образ жизни?

### Возникновение башен

Башни или донжоны воздвигались начиная с середины X века либо в центре предшествующего ансамбля, либо в новом месте, где они составляли главное, а иногда и единственное строение. Но и в том, и в другом случае в донжонах, разумеется, никто не жил постоянно.

Унаследованные от Раннего Средневековья либо основанные позднее, дворцовые «организмы» объединяются с городским поселением (сите или агломерацией\*): они соседствуют с ним и господствуют над ним, отделяясь «внутренней» стеной, в то время как весь этот массив окружает главная крепостная стена. Из того, что в текстах XI и XII веков называется *castrum*, главный замок — или скорее протогородское ядро, — к 1200 году развивается настоящий город: жилище сеньора, замок в строгом смысле находится в центре системы концентрического пояса укреплений.

Эти ансамбли выполняют несколько функций. На большой площади (от одного до пяти гектаров), овальной или многоугольной, ограниченной земляными укреплениями и рвами, на довольно значительном расстоянии друг от друга располагаются невысокие постройки. Собственно двор (*aula*) состоит из смежной с часовней прихожей, большого зала, который находится над подвалом, наполовину углубленным в землю; иногда по его сторонам выделяют то, что комментаторы верно или неверно называют «покоями». Именно такую структуру установил Карл Великий в Экс-ля-Шапель, будучи королем, и подобные находки во многих других местах фактически являются подражанием или просто выполняют идентичные функции. В довольно обширном графском замке в Брюгге, где разыгралась трагедия, о которой повествует Гальберт, имеются различные мастерские, продовольственные и оружейные склады, конюшни, по необходимости иные строения для нужд

---

\* То есть укрепленным городом с посадом или предместьем.

аристократов, зал для собраний — наличие и масштабность этих сооружений позволяют оценить важность и значительность данного места. Первый дворец Капетингов в Париже уже более тесный, но в нем есть тронный зал — угловое помещение, примыкающее к крепостной стене и смежное с часовней.

Башня в замке Брюгге и дворце Капетингов появляется с небольшим опозданием. В Брюгге, где светский и духовный элементы часто взаимно уравновешены (материально и символически), колокольня коллегиальной церкви Сен-Донатьен в 1127 году служит последним прибежищем для спасавшихся от мстителей убийц Карла Доброго. В Париже король ждет конца XII века, чтобы возвести донжон рядом со своими покоями — и, безусловно, он это делает скорее для престижа, чем для защиты. Но еще во второй четверти X века, во времена Людовика IV Заморского, в ланском дворце Каролингов была башня или очень хорошо укрепленная аула. Во всех этих местах было, разумеется, немного пространства, а роскошь и спокойствие и вообще отсутствовали, да и возможность торжественно пройти по залу для приемов и балкону доставляли меньше наслаждения, чем пребывание в уютных спальнях дворца: аула и донжон отныне становятся двумя символами репрезентации могущества.

Между одним и другим существует генетическая последовательность: так, раскопки Мишеля Боюара в Дюе-ла-Фонтен (Анжу) предлагают почти идеальный тип. Просторная аула, второстепенная резиденция повелителя этих мест Робера, в начале X века в плане представляет собой четырехугольник площадью 23 на 16 метров на уровне земли и умеренной высоты (5 или 6 метров). После пожара, около 940 года, добавляется второй уровень с внешним входом: донжон самого простейшего типа. Наконец, после 1000 года все засыпали землей, превратив оба уровня в подвалы, погреба и тюрьму, а сверху, на холме, построили башню (донжон), достойную антологии... и эта башня сгорела в середине XI века. Следовательно, установлено, что между «двором» и «башней», между эпохой Каролингов

и эпохой баналитетной сеньории (XI век) могла существовать архитектурная преемственность. И, возможно, башни дворцов Компьени, Руана и других мест в это время также имели аулы, последовательно превратившиеся в донжоны.

Однако донжоны не всегда соседствовали с замками, а если включались в их ландшафт, то в основном поэтапно. Были региональные варианты: так, крупные замки юга Франции обогались без них. Именно северо-запад, прежде всего Нормандию и долину Луары, богатую прекрасным камнем, с ее поместьями могущественных властителей и непрерывными сеньориями, можно представить как избранную территорию донжонов. Древнейший из ныне существующих, Ланже, датирован 994 годом и обязан своим появлением графу Анжуйскому, Фульку Нерра. После долгих размышлений Мишель Дейр пришел к выводу, что намерения графа вначале были иными — он строил бастион, предназначенный для войны, затем приспособил его под жилье, пока его наследники к концу XI века не обложили донжон камнем и не возвратили ему чисто военное назначение. Особенность этих мест состоит в соединении донжона с жилым комплексом. В случае опасности в донжоне можно укрыться, но он не играет ни центральной, ни действительно активной роли в обороне: скорее это убежище, благодаря своей изоляции защищенное от других оборонных сооружений. Только в норманнской Англии, «придатке» северо-западной Франции после 1066 года, где завоеватели долго жили настороже, необъятные и мощные донжоны совмещают функции обороны и постоянного жилья — но не всегда, и их конструкция не уникальна. Лондонская башня — модель, неоднократно воспроизводимая.

Бросим беглый взгляд на сеньориальные поместья второго плана. Рост населения и увеличение числа локальных войн приводят к их быстрому распространению в XI веке, особенно в границах *pagi* — старых графств и округов, подчиненных сеньору. В ходе археологических изысканий трех

последних десятилетий были обнаружены и описаны останки многих земляных укреплений и башен, водруженных на них или установленных рядом. Изолированные, беспорядочно вписанные в окружающий ландшафт, эти поместья чаще, чем сеньории, подвергаются опасности и нередко используются грабителями как свое логово.

Но ни на юге, ни на севере Франции эти второстепенные укрепления, никак не защищенные природными преградами и лишь иногда огороженные искусственными террасами или валами, не являются местом постоянного проживания сеньора. Однако здесь время от времени находит приют «семья» рыцаря, в результате чего постепенно частное жилище отделяется от башни. Так, в Гримбоске, в Сенгле, на вершине холма (мотта) Оливе не было жилых и хозяйственных построек. Дом располагался в небольшом нижнем дворе, между башней и наименее уязвимым поясом укреплений. В другом нижнем дворе, более широком и менее пригодном для оборонных функций, содержались домашние животные и, что особенно важно, находилась закрытая площадка для упражнений в верховой езде. Сама резиденция, аристократический характер которой обильно засвидетельствован драгоценностями и комнатами для игр, имела форму аулы: четырехугольник 17 на 7–10 метров. Здание установлено на каменном фундаменте. Кухня отделена, что являлось признаком благородного жилища. С другой стороны здания находилась часовня и вторая постройка. Этот комплекс представляет собой уменьшенную модель герцогского или сеньориального ансамбля: те же функциональные отличия, даже соседство дома с крепостью. Интересные сведения о Провансе той же эпохи (XI век) можно почерпнуть из «Книги о чудесах святой Фе». Здесь башня, как правило, служит прибежищем воинов, в то время как их супруги управляют домом и обителью, примыкающей к башне или удаленной от нее.

Итак, соединение башни и жилого строения, изолированных, но дополняющих друг друга, — явление вполне обычное

для всей гаммы аристократических резиденций. Башни, воздвигнутые на земляных холмах (моттах), становятся ядром дворцовых и замковых комплексов. Тогда почему документы часто путают *domus* и *turris*? Это можно объяснить несколькими причинами:

а) башня является метонимией семьи в условиях, когда престиж решает все;

б) башня — это будущее дома, если аула, последовательно надстраиваясь, превращается в донжон. Есть также сельские жилища, где живут на первом этаже, но по внешнему виду они напоминают донжон. По сути, это смешанные типы (Пьер Элио в качестве такого примера приводит жилище большой семьи начала XII века в Лонгёе, в Ко), которые оправдывают колебания пера;

в) наконец, башня является частью дома, где укрываются в случае опасности (как, например, в замке Лош), а также местом постоянного проживания мужской половины семьи. В таком случае башня превращается в аулу, в жилой части которой находятся «присоединенные покои». Но этот вариант мало распространен: во многих дворцах и замках она служит лишь защитой фланга, и особенно символично жилище, которое продолжает называться аулой.

Влияние военно-политических планов на повседневную жизнь знати очень ощутимо и в башне, и за ее стенами, потому что даже отделенная аула приобретает некоторые черты донжона. Во Франции и в Англии сохранилось множество построек, названия которых оспаривают, обсуждают и исправляют специалисты в области сеньориальной археологии.

### *Степень дискомфорта*

Аула и донжон иногда неразличимы. Добавьте контрфорсы к ауле, заделайте каменной кладкой вход на уровне земли, и вы получите донжон. Прорежьте в нем проемы этажей или устройте лестницы в толще стен: вы приблизите его

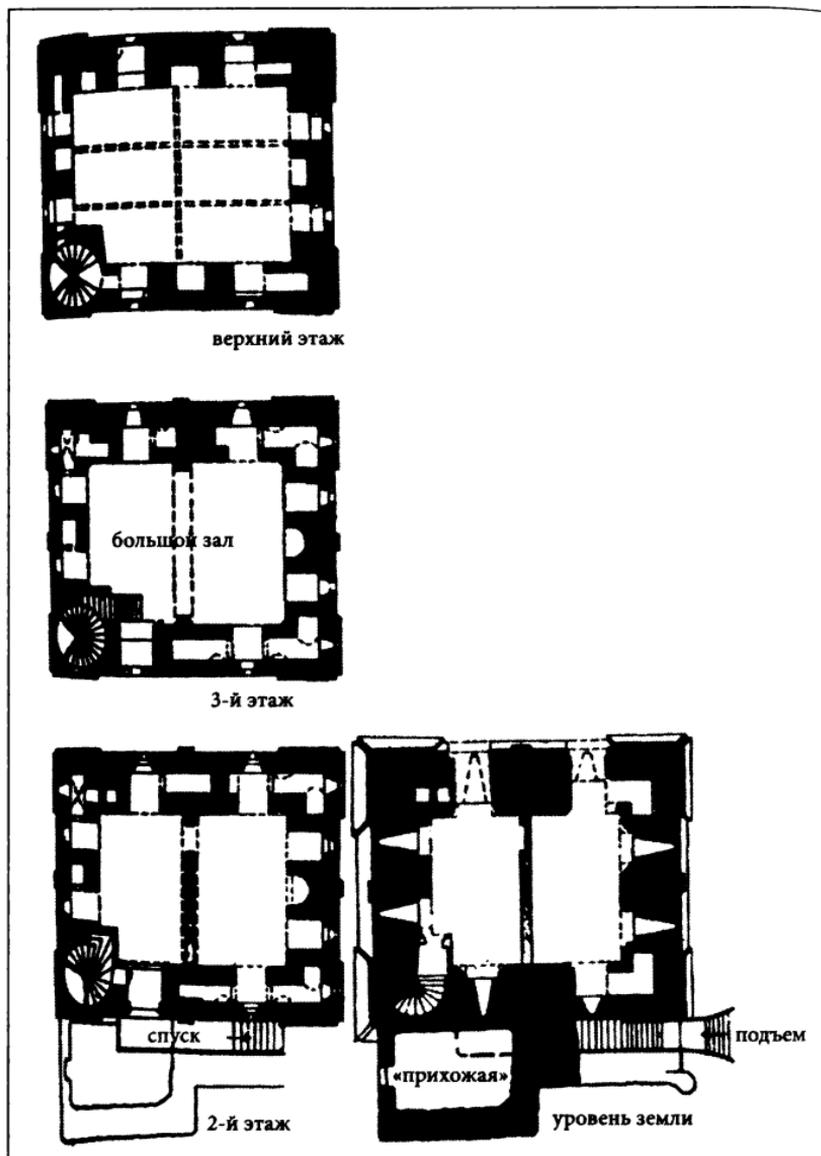


Рис. 3. Четырехэтажный донжон в Гедингеме (Эссекс), около 1140 года. 1. Второй этаж: возвышается над каменным первым этажом, вход находится на выступе фасада. 2. Третий этаж: большой зал, фактически занимающий два уровня, поскольку он соединяется с галерей. 3. Верхний этаж (четвертый): несколько спален

к ауле. Однако можно точно сформулировать отличительные критерии. Толстые стены, узкие и редкие окна, очень высоко расположенный вход — вот настоящий донжон. Отказ от произвольной прямоугольной формы в пользу квадратной или округлой и, естественно, рост вверх также удаляют его от аулы. Но ее черты снова проявляются в классическом продолговатом донжоне. Аулой без колебания называют большую комнату, как правило, верхнюю (и наименее заметную), в которой разрешено прорубить широкие и красивые двойные «романские» окна.

Англо-норманнские дворцы-донжоны, согласно наименованию Пьера Элио, заслуживают этого двойного названия, поскольку, во-первых, в плане имеют ту же площадь, что и герцогские аулы (всего 20 метров на 13 метров внутреннего пространства), и, во-вторых, часть построек, ранее расположенных на уровне земли (например, часовня), теперь, с ростом здания вверх, поднята на второй этаж. Военные задачи этих мощных строений конца XI–XII века оборонительные. Речь идет только об охране подступов, а именно внешней лестницы, настоящего бастиона, именуемого иногда «малым донжоном», и о взятии позиции на вершине, зубчатой террасе, к которой ведет иногда независимая лестница, выдолбленная в стене. Во всяком случае, здесь, как и в любом малом или большом жилище, конструкция которого приближается к конструкции донжона, жизнь трудна и сурова.

Пессимистические настроения, некогда доминировавшие среди археологов, заставляют сомневаться даже в оригинальном характере некоторых внутренних устройств: каминов, ниш в стенах, отхожих мест... Недавние раскопки понемногу опровергают этот скептицизм. Прекрасные каминные в Дюе-ла-Фонтен и в залах других городов XI века, наличие трех очагов и двух отхожих мест на втором этаже простейшего донжона (XI век) в замке в Генте свидетельствуют о ранних попытках повысить комфорт в поместьях главных или второстепенных правителей.

Около 1200 года появляются водопроводы на верхних этажах, облицовка стен становится более изысканной (имитация искусной работы каменщиков Гента). Можно одновременно согласиться и не согласиться с автором замечательной книги о военной архитектуре (1953) Раймондом Риттером, который довольно поздно и несколько наивно пропускает лучи яркого света зрелого Средневековья во внутреннее пространство башен: «Знатнейшие феодалы только к концу XII века начинают ощущать ужасающую тоску жилищ, так мало освещаемых и проветриваемых, где они жили в самой страшной тесноте вместе со своей семьей и своими слугами»\*.

Повторяем, зловещее впечатление это производит только на наших современников. И даже если здесь обнаруживается настоящая этнографичекая разница с нашим временем, не слишком ли принижаяще звучит слово «теснота»? Оно пришло из нашего мира, где семьи часто живут в странном уединении, а мужчины или женщины — в страшном одиночестве... Особенно недостаточно обосновано мнение о том, что вкусы сеньоров со временем улучшились. Прежде всего, потому что они делали то, на что имели средства. Затем, потому что в действительности в ту эпоху все чаще в качестве жилья выбирали донжоны или жилища по их образцу. К концу XII века в Англии живут в донжонах, устаревших в военном плане.

В жилище Жоффруа Мартела, графа Анжу (Вандом, 1032) достаточно окон, чтобы, проснувшись рано утром рядом с супругой, он мог охватить взглядом весь пейзаж вокруг и небо с падающими звездами. Окна есть и в ауле, и на всех этажах донжона, используемого как аула. Безусловно, интерьер комнат производит унылый вид. Небольшие стенные украшения, ряд капителей, поддерживаемых элегантными колоннами, и скромная отделка, чтобы оживить рельеф стен, — все это в самых

\* Ritter R. Châteaux, Donjons et Places fortes. L'architecture militaire française. Paris, 1953. P. 99. — *Прим. авт.*

красивых дворцах. Но нужно также представить себе многочисленные драпировки, которые покрывают стену или делят внутреннее пространство, разгоня «тоску», а также мебель, издавна заслужившую свое название\*, поскольку в силу частых странствий, обычных для того времени, ее неоднократно перевозили из жилища в жилище. Следовательно, безусловный аскетизм, но уныния и тесноты гораздо меньше. Они снова появятся позднее в связи с устройством спален.

Дискомфорт жилищ не всегда так велик и ощущается далеко не сразу. Например, он зависит от того, насколько жилище похоже на крепость, живут ли в нем дамы и девицы, а также от количества этажей. Потому что самые высокие этажи больших донжонов лучше проветриваются и, безусловно, там менее душно, чем в нижних залах. Наконец, можно полагать, что в течение XI и XII веков донжоны очень последовательно развивались. Улучшение условий проживания в некоторых из них к концу XII века главным образом связано с внезапным (но не необратимым) изменением их функции. Во всяком случае, нужно отметить эти годы как важный этап в истории материальной культуры. На минуту остановимся на нем.

### *Изменения конца XII века*

Жорж Дюби в своих «Зарисовках» указал, что именно тогда замки, укрепляясь на защитных рубежах, меняют облик. Но современные исследователи затрудняются комментировать эту эволюцию. С одной стороны, им кажется, что никогда военные интересы не проявлялись в такой мере, чтобы заставить знать отказаться от личной жизни. Планом этих крепостей-поместий отныне распоряжается холодный расчет углов стрельбы. С другой стороны, ученым, в том числе Раймонду Риттеру, приходится констатировать, что устройство замков меняется, хотя оно еще не достигло того комфорта и веселья, который

\* От лат. mobile — «подвижный».

мы увидим в следующем веке. Как примирить два этих вывода, сопровождаемых спорами о военном или представительском характере донжона?

В одном из дошедших до нас документов во всех подробностях рассказывается о строительных работах в древнем замке Нуаие (Бургундия), организованных между 1196 и 1206 годами и финансируемых епископом Гуго д'Оксером, наставником молодого короля, своего племянника. Увлеченный военным искусством, он создает настоящую крепость. Донжон, вместо того чтобы оставаться второстепенным и пассивным элементом, как то было в предыдущий период, превращается в активный и оперативный центр защиты. Наше внимание концентрируется на *praesidium principale* — основной части крепости, расположенной на высоком мысу, который господствует над долиной Серена. В целях обороны перед крепостью сооружены заградительные рвы и площадка для стрельбы из орудий. Таким образом, *castrum*, возвышающийся над бургом, разделен на две части внутренней стеной. «За поясом укреплений главной части, — продолжает биограф Гуго д'Оксера, — он построил дворец большой красоты, который дополнял оборону: приятную сеньориальную резиденцию, декорированную со вкусом различными украшениями. Он сделал подземные галереи, ведущие от винного погреба, устроенного под донжоном, к расположенному ниже [по рельефу] дворцу для того, чтобы обеспечивать себя вином и другими продуктами и при необходимости не покидать главную часть крепости <...>. Сверх того, он замечательным образом снабдил главную часть крепости оружием, стенобитными и метательными орудиями и другими устройствами, необходимыми для обороны. Он купил за большие деньги дома для рыцарей и другие строения, которые находились в поясе укреплений верхней крепости, и уступил право собственности своему племяннику. Таким образом, из соображений безопасности доступ к сеньору и проход как в верхнюю часть крепости, так и во дворец был ограничен

теми, кому в период опасности позволялось жить в этих помещениях, теми, кто не вызывал подозрений, в чьей преданности не сомневались. Владельцу замка больше не приходилось впускать человека в пределы верхнего пояса укреплений, если он не был полностью уверен в его верности...»\*.

Этот текст столь показателен, что, по-моему, в нем можно найти почти все аспекты изменений в замковом строительстве второй половины XII века.

1. В период между появлением на юге раннего Каркассона (ок. 1130, без донжона), а на севере грандиозных замков Шато-Гайара (1190-е) и Суси (1230-е) донжоны, башни и куртины\*\* все прочнее объединяются в общую оборонительную систему. Здесь также присутствует стратегический мотив. Но «дворец», обычное сеньориальное поместье, отчасти сохранявшее военное значение, немного защищен от этого влияния баллистики. Даже Шато-Гайар, «небольшой замок» Ричарда Львиное Сердце, расположен ниже и за пределами цитадели — внутреннего двора с донжоном. Жилище и бастион, как в предшествующую эпоху, дополняют друг друга, сообщаются и в то же время сильно различаются. И развитие техники строительства приносит пользу и одному, и другому.

2. Епископ Гуго действительно роскошно украсил дворец — следовательно, не все средства шли на оборонительно-фортификационные цели. Сила и роскошь должны демонстрироваться и прославляться в равной степени.

3. Рыцари замка Нуайе продают свои дома, расположенные в его «главной части» (отныне внутренней). К этой сделке они должны были прийти тем легче, что земли, подчиненные сеньору, в это время начинают распадаться. Сеньоры покидают замки (уходят из замков и гарнизоны, возможно, ценой возмещения платы за охрану или за *l'estage* — за проживание)

\* Перевод дается по изданию: Fournier G. Le Château dans la France médiévale. Paris, 1978. P. 335–336. — Прим. авт.

\*\* Куртина — внутренняя галерея в стене между бастионами.

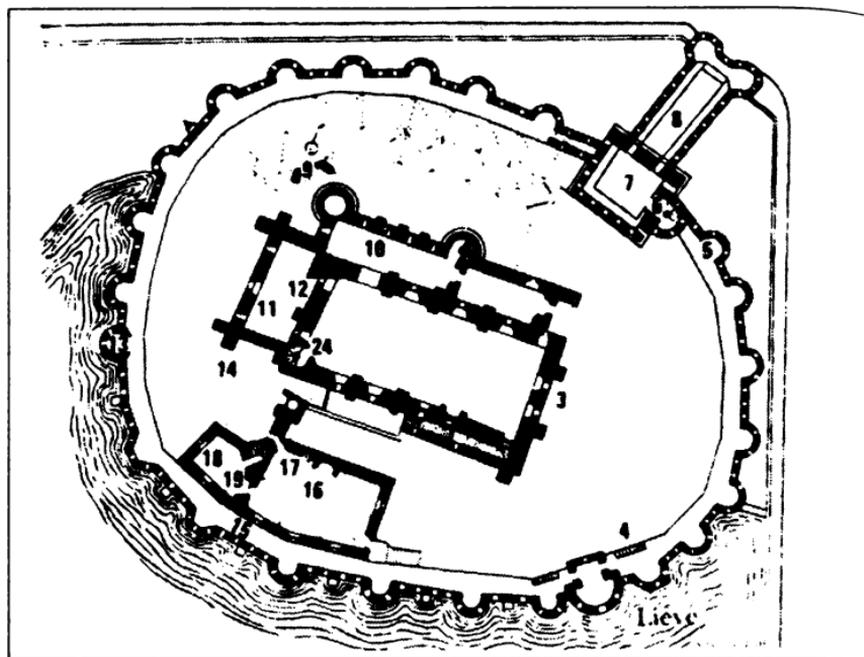


Рис. 4. Замок, модернизированный около 1178 года Филиппом I Эльзасским, графом Фландрии, возвышается над водами Лейе (Гент, Фландрия). План ансамбля, занимающего полгектара: входные ворота — 8; входные ворота, задняя часть — 1; стены укреплений — 4, 5, 13, 15; донжон 1180 года — 3, 24; пристройки XIII века к донжону — 11, 12; «романская галерея» — 10; «жилище графа» и дополнительные постройки — 16, 17, 18, 19; галерея, соединяющая «жилище графа» с донжоном, — 14; большой погреб у входа — 9

и переезжают в свои поместья, открывая второй период баналитетной сеньории. Сеньориальная доступность первого периода, немного фальшивая и конфликтная, к концу XII века вызывает ностальгию у некоторых труверов. Она оправдывается здесь, как и в других странах, стесненностью условий жизни домочадцев властителя.

4. В то же время возникают моральные и физические препоны, увеличивается недоверие по отношению к каждому

встречному. Безусловно, слишком многие донжоны пали из-за хитрости и предательства услужливых гостей. Ордерик Виталий описывает, как в 1141 году Ранульф де (Жернон, граф) Честер и Вильгельм де Румар завладели королевской башней Линкольна, важнейшей среди других. Они отправили своих жен нанести визит супруге сеньора, а сами явились неофициально в сердце этого сооружения под предлогом забрать их обратно! Кроме того, не прекращаются истории о святых чудесах, связанных с пленниками, что на самом деле объясняется условиями жизни семейств: теснотой, обилием проходов, которые невозможно постоянно держать под наблюдением. В противоположность этому, желание безопасности у сеньоров XIII века более явное.

Ни один замок, ни одна крепость не спасут от предательства и внезапного нападения. Почему же аристократия XIII века продолжает запирается в них? Этому способствуют фантазмы небезопасности и гордости в век возрастающего мира и укрепления монархии: вот две правдоподобные гипотезы.

Во всяком случае, это не противоречит тому, что в то же время, то есть около 1200 года, существовали гораздо более эффективные способы противостоять осадам и одновременно, пользуясь возможностями поместья, вести комфортабельный образ жизни в соседних и даже в тех же самых строениях. Два замечания могут уточнить и конкретизировать данную мысль.

1. В Генте около 1178 года Филипп Эльзасский, граф Фландрии перестраивает свой замок (рис. 4). Он ограничивает его площадь, чтобы окружить и укрепить рвами со стороны реки Лейе. В прямоугольном донжоне площадью 26 на 10 метров теперь друг над другом расположены два больших зала, соединенные со смежным помещением. Процесс интеграции элементов, до сих пор неплотно расположенных, идет параллельно с процессом инженерной рационализации в области обороны. Здесь он явно необходим из-за недостатка места, но не является ли он также в какой-то мере следствием более

упорядоченного размещения домочадцев? Не оказалось ли, что характерное для донжонов многоуровневое расположение помещений ужесточило субординацию жителей замка и облегчило наблюдение за ними?

2. То, что верно для общей картины, обнаруживается также и в деталях. В XII веке в качестве меры предосторожности при вооруженных столкновениях начинают строить извилистые или угловатые коридоры, состоящие из лабиринтов, чтобы не единожды подвергавшаяся опасности узкая дверь донжона не позволила врагу разом осадить или сжечь замок. Но разве эти новые схемы не те же самые, которые, по свидетельству Ламбера Ардрского, применялись в конструкции замка де Гин, не те же *diversoria* («devers»), где эти ветреные существа, рыцари и девственницы, любезничают в чудесных изгибах творения Дедала, где искусство изменения нюансов частной жизни, если верить литературным свидетельствам, быстро развивается?

Предложим здесь достаточно оптимистичный вывод: XIII век с самого начала лучше удовлетворяет потребностям поместья. Его донжоны более пригодны для жилья и менее пригодны для обороны. И если в них чувствуют себя в большей безопасности, разве не естественно потратиться на обустройство?

#### *Время укрепленных домов*

К концу XII века рыцари Нуайе и Суси, как и множества других французских сеньорий, оставляют главные замки. Там они уже проводят только часть времени, разрываясь между ними и своими сельскими домами. В это время развиваются небольшие второразрядные сеньории, или, если так можно сказать, сеньориальные выдумки... Распространенное слово *dominus* применяется теперь к владельцам деревень, десятку мелкопоместных дворян сеньории, и — ни к одному владельцу главного замка. Теперь тот, кто хочет стать *dominus*,

должен укрепить престиж своего *domus*, водрузить его на холм, окруженный рвом, демонстрируя тем самым свою принадлежность к знати, и построить башню, дабы закрепить титул сира, *sire*. Увеличение численности укрепленных домов начиная с XIII века затрудняет работу современных археологов, привыкших на основании раскопок их детально описывать, точно датировать, восстанавливать прежний вид, как это было сделано для Бургундии Жан-Мари Пезезом и Франсуазой Пипонье. Речь не идет, как в XI веке, о резкой активизации внутренних войн, а, напротив, о возрастании (компенсировании?) в мирном королевстве лиц, претендующих на аристократизм.

История сельских сеньориальных поместий XI–XII веков гораздо менее известна, чем история больших замков. Однако ее изучение развивается благодаря интенсивным раскопкам. Я буду использовать лишь некоторые данные.

Можно ли предположить эволюционное развитие, или в 1180–1200 годах произошла резкая трансформация, вызванная повсеместным появлением новых владельцев — сиров (*sires*)?

На этом уровне легче выделить оборонительные функции, нежели найти отличия между домами небогатого дворянина и крестьянина. В XI–XV веках движимое имущество, оружие и особенно комнаты для игр всегда в конечном счете доказывают аристократическую принадлежность жилища, в то время как обстановка и вид комнат очень непритязательны.

В Колетьере, в Дофине, перед 1030 годом рыцарей селили в пограничной зоне, чтобы охранять границу; они жили также охотой, рыбалкой и разведением скота. Участок в 1500 квадратных метров был обнесен частоколом, защищавшим частное владение в духе зрелого Средневековья надежнее, чем настоящая оборона. Там находилось несколько больших домов, следы которых были обнаружены Мишелем Коларделем и его группой под илом в озере Паладрию. Во всех домах в их

северной части держали домашних животных, южная часть, обращенная к свету, предназначалась для жилья, но здесь не только бодрствовали и спали, не только работали: комнаты для игр и музыкальные инструменты свидетельствуют о сознательной культурной жизни и активном участии в хозяйственном обмене. Следующий этап регионального обеспечения — устройство земляных насыпей вокруг замков. Их окрестности менее богаты свидетельствами жилья.

В Андонском замке (на территории нынешнего департамента Шаранта) археолог Андре Дебор обнаружил предметы из железа, которые не встречаются в окрестных крестьянских домах, а также шашки для игры в триктрак, шахматные фигуры и игральные кости. Здесь находилось античное поселение, на месте которого около 975 года появился маленький замок, *castrum*. Движимое имущество сеньориального дома Рюберси в Бессене середины XII — начала XIII века, состоящее из подков, ключей от сундука, стрел для луков и для арбалетов, детских погремушек, ножен, подвесок из позолоченной бронзы, игровых костей и шашек для триктрака, красноречиво свидетельствует, как отмечает Клод Лоррен, о «возможности досуга, свойственной только аристократической среде». Сам дом прямоугольной формы, с глинобитным полом и глиняным же очагом отнюдь не отличается в первое время (1150–1190) от простого жилища, и даже изменения второго периода проживания, связанные с разделением внутреннего пространства на общую комнату, спальню и кухню (не разъединяя строения), не сопровождались серьезными усовершенствованиями.

В Рюберси, как и в Бургундии, укрепленный дом размещают немного в стороне от деревни, на прямоугольной плоской и невысокой платформе — совершенно иной, нежели прежние насыпи, состоящей из грунта, вынутого при рытье рвов, или «перегоя». Башня — лишь престижное дополнение, используемое или не используемое в качестве резиденции,

очень простого главного жилища. Сдваивание, которое, в сущности, хорошо воспроизводит положение крупных замков, описано выше.

Следовательно, дом мелкой аристократии одновременно приближен и к обычному дому, от которого отличается только местоположением, большей шириной и разнообразием мебели, и к дому высшей знати, наделенной властью и регалиями, авторитет которой она пытается присвоить. В истории мелкой аристократии 1200-е годы играют особую роль, так как в это время она, с одной стороны, находится в авангарде материального прогресса всех деревенских домишек, с другой — переступает, более или менее определенно, порог респектабельности. Как, в самом деле, представить типичную судьбу рыцарей — потомков владельцев аллода? Их дома постепенно становятся центрами ведения сельского хозяйства, ядром небольшой «области», *curtis*; они хотят превратить их в маленькие замки, но герцогская или сеньориальная власть (владельцы главных замков) всегда этому противится. Трудности, продолжавшиеся в XI и XII веках, сменялись льготами согласно фазам «анархии» (благоприятной для мелких дворян) и «порядка» (устанавливаемого в ответ крупнейшими феодалами). Около 1200 года негласный компромисс — феодализация земель с отказом от приобретения титулов и башен — открывает время укрепленных домов. Впрочем, к домам мелких рыцарей графы и сиры прибавили — и почти противопоставили им — свою собственность, укрепив свои временные пристанища.

В южных и северных городах Франции наблюдаются те же трудности. *Le steen*\* патрициев Брюгге и Гента — уже во времена Гальберта производивший впечатление своим вторым этажом над подвалом (план аулы) и возможностями сопротивления вооруженному грабежу и сохранения сокровищ — имеет тенденцию к дальнейшему распространению. Замок

\* Здесь: замок-крепость (от голл. *steen* — камень, кирпич).

в Генте в том виде, какой он приобрел после надстроек графа Филиппа в 1178 году, — возможно, лишь вызов надменным башенкам разбогатевших буржуа. Южный *solier* (многоэтажное жилище) той же конструкции служит прообразом гентской башни либо приближен к ней. Здесь, как и в сельской местности, история жилища нотаблей, в сущности, лишь один из аспектов истории их полномочий.

Существовала ли настоящая дилемма: поместье или крепость? Если военные приспособления главного замка и особенно укрепленного дома были призваны произвести впечатление и если обустройство жилищ было направлено прежде всего на то, чтобы украсить их и придать более парадный вид, то тогда оборона, как и частная жизнь, превращается в нечто иное — в то, что называется престижем, выставлением напоказ и что в высшей степени способствует формированию фантастических представлений об обществе. Этот вывод также справедлив при рассмотрении интерьера жилищ и обстоятельств, в каких смешиваются, различаются и обустраиваются во всех этих жилищах «гостиная» («зал») и «спальня».

### *Гостиная и спальня*

Итак, оставим эту комплексную, внешнюю проблему и обратимся к анализу внутренней взаимосвязи жилища. Здесь археология не будет задействована напрямую: тексты, употребление противоположных по смыслу слов или различных слов, подразумевающих одно и то же, говорят нам об образе жизни, перемещениях, совместном пребывании больше, чем пустые гостиные, в которых нет ни утвари, ни мебели. Следовательно, речь идет только о том, чтобы убедиться в соответствии зафиксированной письменными источниками систематизации сохраненным или воссозданным рамкам реальности. Рассматривая только заключенное в этих рамках, прежние историки

искусства и археологи следуют предположениям исходя из собственной современной реакции. Небесполезно увидеть на одном или двух примерах, к чему ведет этот образ действий.

### *Предположения*

Строгие ученые, тщательно изучая научный объект (в том числе фортификационные архитектурные элементы замков или саму технику строительства), некогда делали частную жизнь дам и знатных баронов предметом стилистических эффектов и идеологических внушений. Так, великий Эмиль Маль, взволнованный, как многие его современники, «героем наших эпопей, солдатом крестовых походов» (1917), пытался описать органическое единство между суровыми и тесными рамками донжона и характером его обитателей в сдержанном и одновременно проникновенном стиле: «Это грубое жилище сформировало феодализм. Оно дало ему недостатки: пренебрежение, высокомерие человека, который не имеет равных подле себя; но оно ему дало также много добродетелей: любовь к древним традициям и нравам, глубокое семейное чувство. Здесь нет больше гинекея, как в галло-романской вилле, нет летнего и зимнего триклиния, терм, галерей, множества комнат, где можно уединиться: есть только одна общая комната. Отец, мать и дети проводят дни, теснясь в одной комнате, часто под угрозой опасности. Нужно, чтобы в этом мрачном зале была горячая атмосфера нежности. Женщина в особенности выигрывает от такой суровой жизни: она становится королевой в доме <...>»<sup>\*</sup>.

Легко критиковать этот отрывок, перегруженный произвольными предположениями: что муж живет постоянно со своей женой и они сами воспитывают своих детей, что сближение всегда вызывает нежность и никогда невыносимость, что замок

<sup>\*</sup> Mâle É. L'Art français et l'Art allemand du Moyen Âge. Paris, 1923. 4e éd. P. 295. — *Прим. авт.*

является убежищем, а не пунктом нападения, и т.д. Фактически католическая, буржуазная семья читателей Леона Готье\* здесь легко переселена в феодальное общество. Также очень неестественно устанавливать прямую связь между окружающей обстановкой (так, как Маль ее ощущает) и общительностью. Предпочтителен анализ диалектических и случайных отношений между людьми и средой их обитания. Слишком просто противопоставлять Античность Средневековью как утонченный и непринужденный мир миру исключительной и суровой простоты: от этого взгляда нужно полностью отказаться. Говорить о правлении женщин некомпетентно и неприемлемо.

Несмотря на то что Эмиль Маль также забыл поместить услужливую и надоедливую челядь рядом со своей идеальной семьей и упомянуть о разделении комнат легкими перегородками, он правильно отметил два важных пункта: сосредоточение домочадцев вокруг главной семейной пары, двух хозяев, и возможность для них бодрствовать днем и спать ночью в том же пространстве. Но разве каждый из хозяев не имел уединенной спальни? И прочие члены семьи, дети, гости и слуги — своих отдельных комнат?

Исследователи, описывающие донжон, состоящий из нескольких уровней, часто говорят о «зале» внизу и «спальне» наверху. Они рассматривают интерьер башни, начиная с нижних и кончая верхними этажами, обращаясь к более частному, более закрытому, более женственному. Переход от горизонтальной планировки прежних дворцов (аула и смежные апартаменты) к вертикальному устройству новых донжонов, в сущности, совершился без труда. Такое представление кажется естественным, и здесь речь идет не о том, чтобы его опровергнуть, а о том, чтобы показать нюансы. Разве не видят, например, что верхние комнаты донжона, светлые и просторные,

\* Вероятно, речь идет об Эмиле Теодоре Леоне Готье — французском ученом второй половины XIX века, специалисте по средневековой французской литературе.

были более приспособлены, чем все прочие помещения, к торжественному приему? В «феодалном жилище» зал и спальня не являются строго противоположными пространствами, как в современном доме. Они только то, что хотят из них сделать их владельцы, которые искусно изменяют обычаи, и об этом свидетельствуют некоторые двусмысленности языка.

*Зал (гостиная), смешанный со спальней*

Просматривая тексты XI и XII веков, историки часто удивляются, когда обычная аула (главная комната, расположенная над кладовкой) называется словом *camera*. В Брюгге так же названы гостиная графа и дом Бертульфа (1127). В башне Кастельпер, как рассказывается в «Книге о чудесах святой Фе», один заключенный сумел подняться из своей темницы на второй этаж (уровень), в господскую спальню (*l'herilis camera*); он незаметно пересек ее, и, поскольку окна выходили на внешнюю сторону, ему нетрудно было совершить побег. Та же ситуация и в доме, «деревянной башне», сеньора Обри в Ла Кур-Мариньи (городок близ Орлеана, середина XI века): он и его домочадцы в спальне «разговаривали, ели и спали ночью». Наконец, уже упомянутое описание жилища в Ардре, сооруженного из бревен около 1120 года, представляет нам комплекс помещений, расположенных вокруг господской спальни, «большой комнаты, где спали сеньор и его жена». Археологи не нашли поблизости никаких следов отдельной аулы: гостей принимали в той же комнате. С другой стороны, привлекает внимание двойственность титулатуры лиц, служивших у самых знатных сеньоров. Так, казначей герцога Нормандии именовался «первым [слугой] моего двора и моей спальни (*de mon aula et de ma camera*)» (XII век).

Почему помещение зала (гостиной) и спальни так смешивали?

1. Изучение больших залов во дворцах показывает, что их часто делили деревянными перегородками на две части — большую, предназначенную для приемов, и меньшую,

отведенную под спальню. Это расположение засвидетельствовано, например, в 1177 году в Труайе, во дворце графов Шампани. С одной стороны к перегородке примыкает помост, откуда правитель руководит пиршеством, тогда как гости сидят за двумя большими столами, расставленными вдоль комнаты. По другую сторону перегородки находится *le thalamus comitis* («кровать» или «супружеская спальня»).

2. Также отмечается, что и в донжоне большое помещение на каждом этаже часто делили по крайней мере на две части и использовали одновременно и как общее помещение, и как спальню. В «Смерти короля Артура», написанной в XIII веке, в Камелоте в одно и то же время происходят два пиршества: король пирует в большом зале, а королева Гвинебра, с Гавейном и его людьми, — в своей спальне, причем все общество здесь служит и подчиняется даме. Текст не уточняет, занимает ли эта спальня второй этаж или примыкает к гостиной, находится ли она на одном уровне или на нескольких. Мы замечаем прогресс в интимности отношений: Гвинебра может запретить входить в свои покои попавшему в немилость любовнику, при том что функции «спальни» и «гостиной» ее царственного супруга — места собраний придворных в полном составе — мало чем различаются.

3. Достоверные свидетельства, собранные Гийомом де Сен-Патю, духовником королевы Маргариты, о личных привычках Людовика Святого в течение двадцати последних лет его жизни, с очевидностью демонстрируют, что сфера частной жизни короля была устроена по принципу концентрических окружностей, определяемых значимостью его приближенных: король имеет подле себя менее или более близких соратников — от *mout privé* камергеров до *assez prive*, таких как Жуанвиль, шевалье высокого ранга, по статусу не имеющий права прислуживать королю в его личных покоях. Самым тайным местом является гардеробная, отделенная от помещения спальни. Людовик IX там спит, охраняемый только одним слугой, размышляет, моет ноги трем беднякам, скрывая

от посторонних взглядов этот очень личный акт набожности. Он также прячет там свое тело — если правда, что ни один камергер за двадцать лет службы не видел его ногу выше колена. «Спальня» — место гораздо более просторное, позволяющее даже совершать квазипубличные действия: принять шестнадцать нищих, наложить руки на язвы больных. За своим столом перед большим очагом Людовик IX может пировать с рыцарями, в то время как его более скромное и более близкое окружение уединенно ест в гардеробной. В конечном счете, эта «спальня» отличается от «зала» только меньшей площадью. Разница между одной и другим состоит в степени «интимности», а не в использовании. Малоуловимо и различие между слугами для спальни и для зала или гостиной. Все вместе составляют двор короля, который перемещается из замка в замок и играет существенную роль в политике. Последовательно обосновываясь в Париже, Венсене, Компьени, Нуайоне, Нормандии и других провинциях, королевский двор не меняет своей структуры. Жилища короля как «отца народа» разнообразны, но двор един и постоянен.

С конца XII века в жилом пространстве все чаще выделяют общую комнату (гостиную) и два помещения так называемых покоев. В замке Гента первая находится в центральном донжоне, возвышенном и укрепленном. Два других соединяются с ней, будучи расположенными по обеим сторонам фасада здания, примыкающего к башне. Безусловно, придворным дамам и кавалерам предназначались отдельные покои. Даже в куртуазной литературе, которую здесь любили, иногда приводится описание зала, откуда можно попасть в один или два «покоя»: это центр любого большого жилища XIII века.

Покои — действительно нововведение? Невиданное прежде разделение гинекея? Внимательно изучив «Книгу о чудесах святой Фе», Пьер Бонасси пришел к выводу, что *l'herilis camera* Капельпера, где сеньор находится вместе со своими «домочадцами», — не что иное, как спальня воинов и их наложниц,

распутниц, которых монахи-хронисты так упрекают за частое посещение тиранов XII века. Супруги и маленькие дети живут отдельно: следовательно, существует разделение домашнего общества. Внимательно вчитайтесь в выражения *cum familia* и *cum familiaribus*<sup>\*\*</sup>, вкладывая в слово «семья» его средневековый смысл... Растущие бенефициальные владения XII века отличает, без сомнения, только предоставление женщинам более красивой комнаты в виде гостиной.

Следовательно, заметное различие в языке того времени между залом (гостиной) и спальней меньше, чем между главной комнатой в жилище или на этаже — залом, гостиной, спальней — и комнатками, расположенными вокруг нее или рядом с ней, между единственным и множественным. Такое жилище со своим ядром и связанными с ним ячейками несомненно создает тот первичный центр, вокруг которого вращается частная жизнь феодального общества.

#### *Главная комната, противопоставленная спальням*

В Анжерском замке около 1140 года различают «аулу графа и все спальни». В Ивре, во дворце епископа Мана есть «аула из камня, со спальнями и кладовкой» (до 1125). Но самую достоверную модель организации домашнего пространства представляет описание Ламбера Ардрского, в котором парадная спальня противопоставляется *diversoria*, где возле огня греются женщины, дети и больные. Пьер Элио, например, ссылается на частое использование «формулировки Ламбера Ардрского» по отношению к английским донжонам XII века (в частности, к Ризингу и Бамбургу). Здесь каждый уровень может разделяться легкими перегородками на две, три, четыре и до шести комнат<sup>\*\*\*</sup>.

\* С семьей (лат.).

\*\* С домочадцами (лат.).

\*\*\* Слово «спальня» имеет в конечном счете общий и достаточно неопределенный смысл, аналогичный слову «комната».

Еще раз повторю: именно роман лучше всего раскрывает под видом (в форме) сна повседневную жизнь мужчин и женщин. Персиваль приближается к замку Борепер; из окна зала его замечает дева. Он взбирается по ступеням величественной лестницы и находит тот самый зал с резным потолком. Он садится на кровать с шелковым стеганым одеялом; здесь он беседует с Бланшефлор, молодой хозяйкой здешних мест, которая выходит на люди только в сопровождении двух рыцарей, убеленных сединами; и вот принесена еда. Отметим: зал можно принять за спальню, но находящееся здесь главное ложе служит скорее для торжественного приема и бесед, чем для ночного отдыха, потому что позднее, кажется, каждый получил отдельную спальню. Воспользовавшись, без сомнения, одним из тех потайных коридоров, которые архитекторы умеют отныне так хорошо проектировать, Бланшефлор тайком присоединяется к тому, кто — за несколько слез, сладкую ночь, нежную и целомудренную, обещание военного подвига — будет отныне ее «другом».

В замке Короля-Рыбака, несколькими страницами далее, Персиваль восхищается залом, примыкающим к квадратной башне. В центре зала он видит знатного человека, лежащего перед очагом под защитой четырех массивных колонн из бронзы. Именно в этом зале странствующий рыцарь ел и спал. Пока он ел, мимо него прошествовала процессия Грааля: юноши и девицы несли, выставляя на всеобщее обозрение и всеобщее обсуждение, копье, подсвечники, драгоценные блюда. Премонстрировав бряцающее оружие и сверкающие изделия из золота и серебра в зале, их пронесли по всем спальням — достоверное изображение сокровищ, которые хранились в сундуках в глубине дома и которые выставляли напоказ, когда приходили важные гости.

Романтическая литература, начало которой положил Кретьен де Труа, совершенно преобразуется в XIII веке, количество прозаических произведений значительно возрастает. В текстах

появляются диалоги и монологи персонажей. В «Смерти короля Артура» уединенные беседы и признания ведутся либо под окнами зала Камелота, но тогда они могут быть подслушаны, либо в закрытых спальнях. Король приглашает племянников в свою спальню, чтобы услышать от них сообщение о супружеской измене королевы с Ланселотом — здесь все двери заботливо закрыты. Даниэль Ренье-Болер хорошо показала роль этих «тайных ниш» (см. выше). Действительно, их без труда помещают в рамки суровой действительности и «бездушных» сводчатых залов больших замков.

Даже будучи вовлеченным в водоворот жизни большого дома, каждый находил в нем свое «личное место»: оригинальная форма частной жизни существовала во дворцах, замках и простых дворянских домах зрелого Средневековья. Бесплезно непрестанно искать в ней отличие от нашего времени или рассматривать ее как далекую прелюдию. Эмиль Маль материализовал идеалы или реалии своего времени, а это позволяет мне подчеркнуть, что «общительность», описанная на страницах данной книги Жоржем Дюби и ставшая предметом особого интереса фундаментальной этнологии, гораздо лучше отвечает задачам археологии. Мы хорошо видим, в частности, что во всех жилищах — от Кастельпера до Генга — мужские и женские половины смотрят друг на друга, взаимно зачарованные и напуганные, и, случайно соединяясь, украдкой проникают друг к другу. Но важен, в конце концов, точный план помещений, поскольку структура «домов» достаточно независима в вариациях внутренней топографии.

Что касается «ужасной тоски», мы перестаем в это верить. Многие тексты, напротив, демонстрируют нам «варварский вкус» светской аристократии — сам социальный состав которой продолжает социологию конца Раннего Средневековья — к нателным украшениям, предпочитаемым украшениям настенным, и к предметам из звонкого металла, более транспортабельным, чем скульптурные шедевры в камне.

Я бы сказал, что знать того времени всего-навсего соединяет две эти сферы, предметную и монументальную, не отказываясь от одной ради другой. Находясь в замке своей сестры Морганы, король Артур входит в красивый зал, где его встречают богато одетые люди. На стенах висят гербы и шелковые ткани. Все это освещает пламя свечей. Затем он направляется в спальню, заставленную роскошной посудой из золота и серебра, потом в другую, соседнюю, наполненную всемогущими аккордами великолепной музыки, наконец в последнюю... Мне скажут: разве это не сцены сна? Вовсе нет. Единственно преувеличение того, что «позитивные» фрагменты позволяют распознать. Они дают нам возможность представить странный и непринужденный праздник. Это о нем можно мечтать.

#### XIV–XV века

##### Очаг, семья, дом

Во Франции конца Средних веков, когда власти главным образом в фискальных целях проводили переписи населения, подсчет велся не по количеству людей, домов или глав семьи, но по числу домовых хозяйств (очагов, *feux*). Это традиционное представление (понятие) о проживающих было бы очень неосторожно рассматривать как изобретение непосредственно христианского Средневековья. Уже Гораций в одном из своих «Посланий» говорит о «маленькой области», «деревушке из пяти хозяйств» (*agellus habitatus quinque focis*). В полиптике Эрменонвиля, составленной в IX веке, упоминаются многочисленные восстановленные *villae*, имеющие столько-то домовых хозяйств (*foci*), свободных и зависимых. Однако кажется, что словосочетание «домовое хозяйство» особенно распространяется с XII века (например, с появлением в Нормандии нового налога, обещавшего прекрасное будущее, — подымной подати

(*focagium*), взимаемой с каждого домового хозяйства) и остается в обиходе по крайней мере до конца XVIII века. Этьен Буало в «Книге ремесел» (середина XIII века) напоминает, что «никто не может взять ученика, если он не хозяин жилища, то есть не держит дом и хозяйство». «Держать дом и хозяйство», «поддерживать огонь», «заботиться о наследственном поместье»: эти и другие выражения широко применяются в конце Средневековья.

Появлялись и другие, конкурирующие выражения, особенно на юге, — *la beluge* или *belugue* (этимологически: искра). Например, поднимая все три сословия жителей земли Ажене на осаду крепости, граф д'Арманьяк должен был обещать «для каждой *belugue* одного золотого барана». В тот же период (середина XV века) некая важная особа предприняла «посещение домовых хозяйств и *beluges* <...> нижних и верхних земель Оверни».

Менее распространенный термин «домашнее хозяйство» (*ménage*) имеет то же значение, как показывает отрывок бургиньонского документа 1375 года: «Найти и описать домовые и домашние хозяйства всех жителей».

Также встречается, прежде всего в словарях Восточной Франции, слово «труба» (*conduit*), вероятно, в значении «труба камина». В документах XIV века, касавшихся городов Барле-Дюка и Баруа, говорится: «Десять каминов или домашних хозяйств, каждый камин или домашнее хозяйство состояло из трех человек». «Тридцать шесть каминов, хранящих огонь в упомянутом городе».

В течение долгого времени историки населения, а также историки семьи спрашивали себя о размере домового хозяйства. Конечно, все признают, что хозяйства были богатые, бедные и нищие, небольшие и крупные. Но сколько в среднем человек насчитывало одно домовое хозяйство, «управление» или *beluge*?

Уже Вольтер в статье «Население» «Философского словаря» критикует автора, который сокращает каждое домовое

хозяйство до трех человек: «Согласно подсчету, который я сделал во всех землях, где побывал, и в той, в которой живу, я полагаю, что на хозяйство приходится четыре с половиной человека».

Цифры, приведенные Вольтером, хотя и правдоподобны, но не применимы ни к XIV, ни в XV веку. Возможно все-таки, что домовое хозяйство этого периода и даже гораздо более раннего соответствовало нуклеарной семье, состоявшей только из отца, матери и детей до их женитьбы или самостоятельного обустройства.

Особый пример — флорентийский *catasto* 1427 года. В этом исключительном документе перечислено 59 770 хозяйств, объединявших 246 210 человек. Среднее значение 4,42 человека на домовое хозяйство, с ощутимой разницей между городом (где средняя величина только 3,91 человека) и деревней (где она доходит до 4,74).

В домовом хозяйстве той эпохи нельзя полностью исключить присутствия родственников по восходящей или боковой линии: племянника, племянницы, брата или сестры, тети, бабушки, бабушки. Это относится, например, к 23% хозяйств церковного прихода Сен-Пьер в Реймсе (1422). В 1409 году актом, надлежаще зарегистрированным в нотариальной конторе Руана, Жан ле Монье и Жанна, его жена, уступили Тассену ле Монье, их сыну, и Перетте ла Моньер, их невестке, все свое имущество, ничего себе не оставив, при условии, что они будут обеспечены «хорошо и в достаточном количестве всем необходимым для питья, еды, сна, дабы просыпаться и ложиться спать, мыться; одеждой, очагом, кроватью и кровом». Условия контракта касались, в частности, их повседневного содержания: двадцать турецких денье в неделю, «дабы иметь хлеб или что они пожелают», галлон пива ежедневно, достаточно мяса в добрые и худые дни «либо сельди, яиц, или другой пищи». Воскресенье отмечается более обильным обедом, включающим, между прочим, пирог за пять турецких денье. Вместе

**Состав тосканских семей в 1427 году**  
(по Д. Херлихи и К. Клапишу), %

*Одинокие*

1. Вдовы 6,66
2. Вдовцы 0,10
3. Холостяки 0,84
4. Неизвестные 6,01

*Родственники из разных семей*

5. Кузены 1,60
6. Люди без прямых родственных связей 0,69

*Простая семья*

7. Бездетные пары 10,26
8. Пары с ребенком (детьми) 36,35
9. Вдовцы с ребенком (детьми) 1,83
10. Вдовы с ребенком (детьми) 6,36

*Расширенная семья*

11. Родство по восходящей линии (родители, дедушка и бабушка, дядя, тетя) 10,64
12. Родство по нисходящей линии (внуки, племянник, племянница) 9,44
13. Родство по боковой линии (брат, сестра, кузен...) или комбинация случаев 11, 12 и 13 1,20

*Многочисленные семьи*

14. Родство по восходящей или нисходящей линии, два домовых хозяйства 11,28  
три домовых хозяйства или больше 2,11
15. Родство по боковой линии (девери, шурины) два домовых хозяйства 3,55  
три домовых хозяйства или больше 1,69

со своим юным сыном Жанненом они будут жить «в верхней спальне или задней комнате первого этажа» с камином и в соседней комнате. Они получают, таким образом, какое-то небольшое помещение, обогреваемое или отапливаемое, более или менее независимое, но принимать пищу все будут вместе. Тассен будет сам звать своего отца, говоря ему каждый раз: «Сударь, извольте садиться». Отец обладает правом первым садиться за стол, а подниматься последним, «если пожелает».

Тексты сообщают также, что в сеньории Шуазеля в конце XV века дети, становящиеся взрослыми, «не держат домовых хозяйств, но находятся у отца или родственников».

Домовое хозяйство может соответствовать расширенной семье патриархального типа либо сообществу двух братьев или двух женатых братьев, которые объединяют свои рабочие руки, свое богатство, свои запасы, чтобы есть одну еду, вести одно хозяйство, жить в одном сельском доме или «жилище». «*Vibendo unum vinum, comedendo unum panem*»\*, как записано в заверенных нотариусом контрактах, устанавливающих «братство», *l'affrèrementum*. Или просто два друга, никак не связанные кровными узами, объединяются, «дабы иметь общий хлеб, вино, пищу, для совместной жизни и питания». Такие истории, характерные по крайней мере для XII–XIX веков, неожиданно стали особенно популярными в конце Средневековья в одном из регионов Франции, может быть, по причине ежедневных трудностей. Расширение домашнего хозяйства — таков был один из ответов южной гористой Франции на резкое снижение демографии, спровоцированное смертностью, на смутное ощущение опасности, порожденное Столетней войной, и на трудности восстановления сельского хозяйства, ставшего основой возвращения мира.

Но и Северная Франция полностью не игнорировала эту тенденцию. Жан Меррей, земледelec, умер в Шуазеле (Верхняя

\* Пить одно вино, вкушать один хлеб (лат.).

Марна) вскоре после Пасхи в 1494 году. Он оставил вдову (которая еще в 1500 году держала хозяйство) и по крайней мере двоих сыновей. Один, по имени Жан, с 1494 года живет в соседней деревне Сен-Реми; в 1502 году он все еще там. Другой, Николя, на момент Пасхи 1496 года — глава дома в Шуазеле. «Здесь три домовых хозяйства заменяют, по меньшей мере на два года, то, которое держал при жизни отец» (Элен Оллан). Аналогичные ситуации описаны даже в Западной Франции. В Карнаке в 1475 году насчитывалось 173 хозяйства. Из них 131 можно квалифицировать как нуклеарный дом (пара с детьми) и 42 — как большой дом (с хозяйством из 19 человек) (Ж. Галле).

Мы далеки от того, чтобы преувеличивать масштаб этого явления. Различные документы, в частности завещания, в действительности наводят на мысль о преобладании довольно-таки маленьких домовых хозяйств в течение 1350–1450 годов, то есть в период, когда средняя продолжительность жизни была самая короткая, а рождаемость — самая низкая. Напротив, в начале XIV века и вновь в конце XV века высокий процент выживших детей в семье мог повлечь за собой появление еще одного или даже двух хозяйств. Естественно, речь идет о средних величинах, потому что, когда источники позволяют, мы замечаем, что достаточно крупную группу составляют хозяйства, насчитывающие от 1 до 12 человек и даже гораздо больше. Рекордом для Тосканы 1427 года было хозяйство Лоренцо ди Джакопо в предместье Флоренции, включающее десять простых семей: 47 человек, объединивших четыре поколения.

Вернемся к французскому пространству. В 1306 году в городке Акса (территория нынешнего департамента Од) хозяйство соответствует в среднем 4,9 человека, в деревне Караманли (Восточные Пиренеи) — 5,6. В Реймсе в 1422 году размер хозяйства составляет: в приходе Сен-Пьер — 3,6 человека, в приходе Сен-Гилер — 3,8. Два жилища Ипра в 1412 году имеют хозяйства размером 3,4 и 3,2 человека, в 1437-м — 3,7

и 3,6. В период наивысшего демографического подъема размер хозяйства в Карпантресе достигает 5,1 человека (1473), в Ипре — 4,3 (1491).

Недостаточно установить абсолютное преобладание в конце Средневековья маленьких или небольших хозяйств. Нужно также знать, каждому ли из этих хозяйств соответствовало жилище отдельное, индивидуальное, скажем, дом. Есть множество примеров, свидетельствующих о том, что разнообразные маноры, поместья, замки, даже городские особняки, принадлежавшие среднему и высшему дворянству, не были заселены и, следовательно, по крайней мере часть года пустовали. Правда, нельзя сказать, что они были полностью безлюдны. Арендатор, привратник, консьерж, или скорее кастелян, капитан наблюдали за этим местом и в случае необходимости обеспечивали защиту. В результате демографического кризиса также были брошены многие дома как в укрепленных городах, так и в сельских поселениях. Этот уход спровоцировал заметное и иногда непоправимое разрушение недвижимого имущества: предоставленные непогоде и грабежам, жилища быстро превращались в настоящие руины.

Напротив, в крупных городах, особенно наиболее активных, наблюдаются признаки перенаселения. Естественно, мы имеем в виду Париж до начала XV века, с его жилищами, ограниченными одной или двумя комнатами, жильцами на этажах, дворами, переполненными конурами, лачугами и пристройками. В таких городах, как Лион и даже Камбре, испытавших проблемы перенаселенности, недвижимость пришлось делить между несколькими жильцами, удовлетворив каждого, в силу обстоятельств и минимума пространства. В бретонских городах «по мере того, как мы приближаемся к концу XV века, скопление усиливается. Во всяком случае, выплата ренты и обещания верности сеньору чаще всего ведут к присутствию двух и даже трех семей под одной крышей. Эта ситуация делает неизбежным обустройство двух или трех

чердаков, дополнительных комнат или верхних этажей дома» (Жан-Пьер Легей). В Шамбери в конце XIV века каждый дом делили два или три хозяйства, а в 306 учтенных домах, возможно, проживало 3000 жителей.

Трудно установить баланс между домами, занятыми несколькими хозяйствами, в собственном и переносном смысле и строениями, либо просто очищенными от случайных и паразитических элементов, либо брошенными и превратившимися в пустыри, заросшие дикими травами, где лишь груда камней и черепицы да несколько бревен напоминали о недавнем здании. Почему наличие пустынных мест несовместимо с избытком населения в соседних, еще стоящих домах? При этом во многих деревнях, а также во многих городах равнозначность между хозяйством и домом (каковы бы ни были размеры того и другого) можно принять за правило. В Ренне, например, в середине XV века в 453 домах одного из приходо-в проживали 460 налогоплательщиков, из них 189 собственников и 271 наниматель.

В Порентрюи в 1518–1520 годах 251 семейство владело 280 домами и амбарами. Город Монбельяр в середине XVI века насчитывал 375 зданий (из которых 82 вспомогательные: амбары и конюшни); на городских военных смотрах присутствовали 267 буржуа и других жителей. «Это значит, что в доме Монбельяра размещалась в среднем только одна семья» (Пьер Пежо).

С этой точки зрения будем считать достаточно типичным реймский дом конца Средневековья — одноэтажный, с чердаком, небольшой жилой площади. Конечно, в городе, где находится резиденция архиепископа, дома могут состоять более чем из одного хозяйства, но это тогда, «когда рядом с главным жилищем они предлагают одну или две спальни внаем» (Пьер Депорт). В них могут временно проживать родители или друзья, пришедшие укрыться за стенами в связи с угрозой войны. В виде исключения некоторые жилища были разделены

поровну между двумя наследниками. Но чаще в Реймсе в одном доме жили четверо или пятеро человек, то есть это было одно домовое хозяйство. Только позднее, в конце Старого порядка и в XIX веке, положение меняется по причине перенаселения, обнищания, а также в связи с глубокими переменами в структуре внутреннего пространства (количество этажей и т.д.). Тогда численность жителей одного дома легко достигает 7 и даже 10 человек. Даже в Туре в 1836–1840 годах, внутри пояса укреплений XIV века, 1750 домов вмещали 4511 семей, или 13 939 человек: 3 человека в хозяйстве, 2,5 хозяйства или семьи в доме.

Наконец, известны примеры сельских домов, имевших больше одного хозяйства. Так, один из домов в Драси, в Бургундии, был, по-видимому, разделен надвое в начале XIV века. В лотарингских деревнях конца XV века арендаторов части дома называли *chambriers*<sup>\*</sup>; их появление повлекло сложные проблемы сервитута, потому что им также было необходимо пользоваться колодцем, сараем, амбаром, хлевом.

### **Парки, изгороди, ограды**

Около 1460 года в знаменитом «Споре герольдов французской и английской армий» герольд Англии принимается расхваливать прекрасную охоту в своем королевстве: «Это восхитительное занятие, поскольку там много парков, полных крупной дичи, чудесных оленей, коз и ланей».

На это утверждение герольд Франции возражает: «Вот вопрос, господин герольд. Вы так замечательно восхваляете английские парки; прошу Вас, скажите мне, есть ли у Вас такие великолепные парки, как во Франции: как лесной парк в Венсене, как парк в Лезиньяне, парк в Эдене и некоторые другие [на полях манускрипта в этом месте добавлено: называются

\* От франц. *chambre* — комната.

все парки Франции, огороженные стеной], огороженные, как укрепленные города, высокими стенами. И это парки для королей и для принцев. Правда, что у вас в Англии не меньше парков, но они все, кроме Виндзорского, огорожены только неглубоким рвом, изгородью или частоколом, так, как виноградники и пастбища во Франции; и в действительности это только деревенские парки. Не стоит их так сильно восхвалять».

Отрывок, конечно, полемический, но он по крайней мере дает некоторые ориентиры, позволяющие характеризовать ландшафт французских деревень в конце Средневековья. Преобладали, безусловно, области, где распаханная земля имела ненадежные границы в виде естественных преград, легко устранимых или перемещаемых: ручьев, дорог, отдельных деревьев, камней, каких-либо неровностей рельефа. В судебном округе Санлиса в начале XVI века границу территории юрисдикции высшей судебной инстанции Кюньи обозначают последовательно идущие друг за другом местечко Боске де Фурш, большая липа, улочка, ров, источник, межевой столб у дороги и еще один межевой знак. Кроме того, везде, где был распространен режим права на земельные наделы, в определенное время сельскохозяйственного цикла, в основном после жатвы, приобретение частными лицами земли на некоторое время приостанавливалось. Вместе с тем многие крестьянские сообщества владели «общим имуществом», имели право коллективного пользования лугом, лесом, пашней. В деревне и за ее пределами существовали территории, считавшиеся общественными. Мы имеем в виду дороги (*carreria publica, caminus publicus*), источники, крупные реки или озера, пастбища, а также места, где шла торговля. Добавим, что трагическое сокращение населения в XIV и XV веках имело следствием увеличение площади необрабатываемых земель, *des terres a riés, hermes et vague*. Это привело к появлению недворянского землевладения, даже если восстановление сельского хозяйства решительно предпринятое с начала 1450-х годов, должно было

показать, что границы округов, сеньорий, приходов и фьефов не забыты и что «земельные воспоминания» с грехом пополам уцелели.

Право на земельные наделы сохраняется не только как режим господствующей частной собственности (или хозяйства), здесь прослеживается тенденция к отделению от других земельных участков, в том числе сданных в аренду. Таковы свидетельства, предоставляемые нам миниатюрами, чертежами планировок и изображениями в перспективе (по крайней мере начиная с XVI века), рассказами путешественников и, главное, бесчисленными практическими действиями. Здесь были вполне ощутимые ограды, живые изгороди, направлявшие работу замерщиков и землемеров и придававшие наглядную форму обследованиям специалистов, которым было поручено составить перепись земель и населения. Желая законодательно оформить свои владения, хозяин земли, независимо от титула или юридического статуса, стремился огородить пространство, особенно продуктивное и ценное, где частная жизнь его семьи могла бы проходить вдали от чужих глаз и где его склады, амбары, движимое имущество, орудия труда и скот были бы в полной безопасности. Нужно было защитить себя от чужаков и соседей, от диких животных, которых развелось в изобилии именно в конце Средневековья, а также от домашних животных, бродивших без присмотра. Перед сбором урожая сами поля обносили временными оградками. Между тем иногда круглые сутки их владельцы вели преследование нарушителей. Во Фландрии *le bock de vylls*\* относит к правонарушениям создание бреши в деревенской ограде в период пахоты или сбора урожая. Земли Средневековья, таким образом, были одновременно юридически защищены и совершенно изолированы. Около 1460 года знатный чешский вельможа Лео фон Розмиталь,

\* Вероятно, местный свод правил и установлений.

проезжая по Бретани, был поражен множеством невысоких каменных стен, *les murs*, окружающих поля: «Значит, крестьянам не надо следить за стадом, когда оно проходит <...> и стада не могут повредить земли соседей».

В таких областях, как Анжу, хозяйства были более компактными, более укрепленными и их легче было изолировать. «Все описания свидетельствуют об этом. Ограда не была результатом исключительно желания защиты; она означала вступление во владение; она была в некотором роде юридическим определением. Не случайно анжуйский обычай трактует ее как предмет собственности: "...очерченные дорогами, домены и фьефы образовывали картину, состоящую из пазлов, сливающихся в единое владение землями, лугами, равнинами и лесами» (Мишель ле Мене). Приведем один пример среди многих других. Постоялый двор и сдаваемое в аренду поместье Гран Торинье включали «два стоящих напротив дома под черепичными крышами, с каминами... фруктовый сад, соседствующий с большими старыми деревьями, земли, луга, пастбища, леса, подлески, кроличьи садки...», все это окружали рвы, изгороди и другие преграды.

В Бретани слово «парк» могло обозначать обширные домениальные территории с сохранившимися охотничьими угодьями, лесами, участками для отдыха, сельского хозяйства и разведения скота. Таковы «герцогский парк» около Морлекса, парки Ванна, Лесневена, Рюиса. Что касается парка в Шатолене, где выделяют малую и большую область, возможно, он соответствовал бывшим заповедным участкам фьефов (Жан-Пьер Легей).

Напротив, в рамках системы открытых полей наделы, принадлежавшие одному и тому же крестьянину, обычно были разбросаны по территории, чередуясь с участками, занятыми жилыми постройками, неводеланными землями, или разделялись межей. Но в любом случае по мере приближения сельских поселений мы видим увеличение живых или искусственных

изгородей из камня или дерева, окружающих виноградники или луга, конопляники или ивняки, небольшие сады или приусадебные участки, *roupris* или *boille, casal* или *maine*, обычные или фруктовые сады. Французы, говорит Брюнетто Латино, «лучше других народов умеют устраивать луга, фруктовые и яблоневые сады вокруг своего жилища».

На своем уровне светские и духовные феодалы равным образом стремились ради престижа, выгоды или для развлечения выкроить в своих доменах более скромные участки, чтобы подчеркнуть свое господство и утвердить право собственности. Лесничим (*gruiers, verdiers*) было поручено не пускать посторонних в их леса и следить за пользованием этим главным ресурсом, считавшимся особенно драгоценным. Временно или постоянно заповеданные участки леса благоприятствовали их сохранности и воспроизводству дичи. Замки состояли из двух дворов: верхнего, большого, и нижнего, последний имел более утилитарное, даже чисто сельскохозяйственное назначение. Не может быть дворянского жилища «без сада развлечений» (выражение относится к концу XV века). Это означает, что овощные культуры и плодовые деревья там были не главными. Закрытый фруктовый сад, *hortus conclusus*, был окружен стеной, иногда с бойницами, и украшен фонтаном. В саду находились беседки из виноградных лоз, павильоны, деревянные ограждения, он был ухожен и разделен на небольшие квадраты со скамейками и галереями. По литературным и художественным свидетельствам, это — идеальное место для отдыха, веселья, песен, явной или тайной любви, споров и развлечений, но также символ девственности и невинности, образ утраченного рая, укрытый от волнений и опасностей, которые непрестанно нарушают покой внешнего мира (Элизабет Задура-Рио).

Датированный 1481 годом, «общий вид» женского монастыря Сен-Антуан-де-Шам, находившегося недалеко от Парижа, выполнен довольно примитивно, но в точном соответствии

с реальным планом: мы видим расположенные сразу за оградой рощицу, несколько прудов, садки с живой рыбой, дворы, фруктовые деревья, сад и за ним нижний двор, окруженный сельскохозяйственными постройками.

Кристина Пизанская оставила нам рассказ о своем визите в 1400 году в знаменитый доминиканский монастырь Сен-Луиде-Пуасси, где жила ее дочь-монахиня. Помещения этого монастыря, тем более знаменитые, что в них скрывалась в то время дочь Карла VI, были последовательно перечислены. Отметим пока, что осмотрены были даже дворы. Она восхищается их размерами, камнем, которым они вымощены: «Мы всюду побывали, / шли большими широкими дворами, / длиннее, чем русло канала, / куда ведут большие деревянные постройки. / Везде много красивых мостовых». Дальше находился сад, другой тихий рай, со всех сторон обнесенный высокими стенами, где росло более ста сорока фруктовых деревьев, и еще один красивый огороженный земельный участок, где резвились лани, зайцы, кролики, дикие козы и, наконец, стояли два садка, изобилующие рыбой.

Двор, сад, садок, пруд, парк: в конце Средневековья благородный замок должен был обладать всей этой цепочкой. Так это подчеркивается — не без зависти, не без насмешки — в памфлете «Вещий сон» («*Le Songe veritable*»\*) при описании прекрасного замка Маркусси, перестроенного с большими издержками выскочкой первой величины Жаном Монтагю, дворецким (майордомом) Карла VI: «Это приятное и просторное место. / Здесь не осталось ничего прежнего. / Оно окружено стенами и водой».

Возведенный век спустя замок Гайон, гордое сооружение руанского архиепископа кардинала Жоржа д'Амбуаза, в то время главного советника Людовика XII, не сохранился. В этот раз описание, оставленное доном Антонио де Беатисом,

\* Анонимное поэтическое произведение (1406); политический памфлет, обличающий нравы двора Карла VI.

капелланом и секретарем кардинала Луиса Арагонского, начинается с парка, два лье в окружности, обнесенного мощной и высокой стеной, за которой располагается сад замка. Парк тем более занимателен, что в нем чередуются лесистые и открытые участки, богатые разнообразной дичью; раскиданные по территории маленькие павильоны, безусловно, предназначены для привала во время охоты. Что касается сада, то он имеет квадратную форму и сам, в свою очередь, разделен на квадраты, по периметру которых идут деревянные решетки, покрашенные в зеленый цвет. Есть даже вольер и большая лужайка. Только восхитившись этими чудесами, посетитель проходит двумя галереями к входу в замок.

Королевские парки не имели нужды завидовать этим достижениям. Лесной парк Венсена, упомянутый, как мы отмечали, в «Споре герольдов армий», равным образом запечатлен и в хронике флорентийского посольства к Людовику XI (1461–1462), где его размер представлен не меньше чем четыре лье в окружности, и в почти современной поэме Антуана Астезана: «Великолепный лес, от которого, я думаю, замок получил свое название, чередующийся с лугами и широкими лесосеками, окружен сплошной стеной. Его обычно называют парком, он напоминает мне луг у замка Пави. Этот парк разделен на несколько частей, чтобы было где защититься от угрожающих клыков кабанов. Здесь есть пугливые лани, олени с большими рогами, быстрые зайцы и дикие козы. А кроликов иногда собирается до нескольких тысяч. К тому же этот лес способен предоставить все удовольствия охоты».

### ***Городские пространства***

Так же как и жители деревни, жители города стремились окружить его, свое настоящее жилище, свой *véritable habitus*, стенами. Возможно, это было порождено глубоко засевающим чувством грозящей опасности (что с избытком оправдывалось

внешними факторами и усилилось во Франции в период Столетней войны). Одна из характерных черт города — наличие вокруг него крепостной стены с воротами. Отметим все-таки, что даже во Франции стены вокруг городов были возведены не сразу и что на подступах к городу формировались не имевшие защиты, уязвимые предместья, как бы продолжавшие городскую среду. К тому же как только казалось, что опасность уходит и мир возвращается, многие города по простым экономическим причинам переставали обращать внимание на свои укрепления, в силу чего те быстро приходили в негодность...

Но, может быть, главная черта средневекового города и его пространственных отношений заключается в относительной немногочисленности мест и строений публичного характера. Конечно, улицы и площади находились в ведении муниципальных, сеньориальных, королевских властей. Вероятно, были известны процедуры конфискации с возмещением ущерба, проводимые ради общей пользы. Тем не менее создается впечатление, что общественная сфера была ограничена, даже вторична и что угроза наступления на нее частной жизни постоянно росла. Наступления сдержанного, потому что такие действия были незаконны, хотя иногда и оформлены официальным актом. В 1437 году житель Парижа мэтр Жак Жювенель пожаловался Карлу VII на развратные действия, которые совершают в «нескольких маленьких домиках», совсем рядом с его жилищем, расположенным на острове Сите, «веселые девицы». К этим домикам ведут «маленькая улочка и общественная дорога под названием Глатиньи». Впрочем, очень узкая, потому что на всем ее протяжении «нет места, где могут проходить лошади или повозки», и абсолютно ничего собой не представляющая с точки зрения «общественных интересов». Между тем тут есть другие параллельные дороги, более удобные для уличного движения. Карл VII внял этим пристрастным объяснениям и, идя навстречу члену большой семьи, которая оставалась преданной ему во время «раздоров»,

разрешил присоединить улицу Глатиньи к собственности Жака Жювенеля. Как гласит королевская грамота, «какую-то улочку, которая была общественной дорогой, передаем в частную собственность в пользу упомянутого мэтра Жака Жювенеля и его семьи».

В 1439–1447 годах в Сен-Флуре проходил судебный процесс, с одной стороны участвовали консулы и жители сите, с другой — каноники коллегиального собора Нотр-Дам. Предметом тяжбы была маленькая улица, шириной от четырех до пяти футов (1,2–1,5 метра), по которой, пройдя через кладбище капитула, в любое время можно было добраться до общественной пекарни. Капитул намеревался закрыть кладбище, чтобы ликвидировать проход, стеснявший каноников. Муниципалитет Сен-Флура, напротив, утверждал, что не только дорога является общественной, но и кладбища в Оверни также относятся к «публичным местам» и поэтому их никогда не закрывали.

Общественная сфера урезана, фрагментарна: это естественное проявление в топографии города постоянной скудности государственных средств, ресурсов и амбиций. Достаточно вспомнить городские улицы, до такой степени узкие, что дорога в шесть или семь метров шириной поражала своими размерами, петляющие проходы, множество дворов и тупиков, тесные перекрестки, постоянную толкотню на мостовых, редкость проспектов и почти полное отсутствие свободного пространства. В бретонских городах XV века «многие дороги напоминали настоящие коридоры, затемненные выступами домов» (Жан-Пьер Легей).

Однако живописные нагромождения в средневековых городах с их лабиринтами и переплетениями, обилием «горбатых» проулков, неуместной крутизной лестниц воспринимались как необходимые естественные условия, как среда, пригодная для жизни. С этим мирились в силу обстоятельств, возможно, рассматривая их как защиту от ненастья или от чужаков любых мастей. Но есть неоспоримые признаки того,

что некоторые, особенно среди руководителей города, желали улучшений и сожалели о многочисленных неудобствах, порожденных спонтанным ростом или частными инициативами. В новых городах XIII века, спланированных ответственными властями, гораздо более широкие улицы, до одиннадцати метров, например в Либурне, продуваемые площади, сеть прямых дорог. Те редкие урбанистические проекты конца Средневековья, что дошли до наших дней, свидетельствуют об абсолютном чувстве пространства и гармонии. Так же и миниатюры стремятся изобразить идеальный город. Если городу посчастливилось обладать красивой и к тому же удобно расположенной площадью, он старается ее сохранить, сопротивляясь аппетитам «инвесторов» и разработчиков проектов, и в случае необходимости стремится обустроить ее сам. Взгляд путешественников фиксировал достопримечательности города. Например, Антонио де Беатис писал относительно Малина (Мехелена): «Великолепный город, очень большой и укрепленный. Нигде мы не видели улиц более просторных и элегантных. Они вымощены небольшими камнями и по краям имеют легкий уклон, так что вода и грязь никогда там не скапливаются. Перед церковью, которая очень красива, находится площадь, более длинная и намного более широкая, чем Кампо деи Фиори в Риме, вымощенная таким же образом, что и улицы. Город пересекает большое число каналов, соединенных с океаном».

В 1484 году сите Труа, желая добиться от короля права преемственности только что отмененных лионских ярмарок, представлял себя без ложной скромности как «прекрасный и большой город с множеством домов, большими красивыми улицами, широкими и просторными, с прекрасными площадями и общественными складами для проведения ярмарок и рыночной торговли».

По сравнению с предшествующим столетием в XV веке в различных местах было обнародовано больше ордонансов и муниципальных распоряжений для содействия публичным

нуждам в сферах общественной гигиены, передвижения и товарооборота, безопасности людей и недвижимости. В этом отношении Франция скорее тащится в хвосте, медленно и без энтузиазма следуя примеру других стран. Но по крайней мере отмечается некоторая эволюция мышления. Она объясняется осложнением обстановки, которая заставляет принимать меры, или угрозой новых бедствий, таких как чума, или проявлением настоящего муниципального сознания. Его носителем была «городская корпорация», желавшая лучше обустроить общественное пространство и даже наложить на частное пространство пусть минимальные, но ограничения. Повсеместно происходили собрания членов городского управления (эдилов). Для проведения в жизнь своих решений они, конечно, располагали и бóльшими, чем в прошлом, финансами, и более многочисленным персоналом. Вероятно, власть, которой они обладали, осуществлялась в их собственных интересах и в интересах их среды. Не исключено, что они чувствовали себя равным образом ответственными перед множеством своих подопечных и еще больше — перед городом, управление которым они не без гордости взяли на себя.

Но было бы очень узко рассматривать развитие средневековых городов только в публичном аспекте. Мы знаем, что на самом деле церкви и религиозные сообщества не только были очень многочисленны в большинстве городов, но и владели многими лучшими зданиями, а также значительными незастроенными территориями. «Право мертвой руки»<sup>\*</sup> действовало как в городе, так и в деревне. Кафедральные и коллегиальные капитулы, давние обители и монастыри, появившиеся в XIII веке или позднее, сохраняли за собой право, часто исключительное, иметь в собственности дворы, ограды и сады. Не считая кладбищ, иногда изолированных, таких как

\* «Право мертвой руки» — право сеньора изъять часть имущества крестьянина после его смерти, а также запрет на отчуждение имущества церкви.

Кладбище невинных в Париже, но чаще открытых, расположенных рядом с приходской церковью: обиталища мертвых и живых, согласно классической формуле. Более того, во многих городах в большинстве домов за стеной, противоположной фасаду, обустраивали не только двор, где говорили о делах, занимались профессиональной деятельностью или домашним хозяйством, но и сад либо палисадник. Даже более сдержанное южное градостроительство не игнорировало это явление. Древнейший кадастр Арля сообщает о саде в Аренах. Архиепископ Арля в своей резиденции также разбил сад, подобно папе в Авиньоне (сад Бенедикта XII, фруктовый сад Урбана V). Сады были распространены и по всей северной и западной Франции. Их, конечно, не выносили за пределы стены, как пригород с огородами, но предпочитали привязывать к ее внутренней стороне. По-видимому, в местах очень плотной застройки также были сады, но их скрывали высокие стены или непрерывный «фронт» домов. Напротив, в Безансоне, в большой излучине Дуба, огороженные земельные участки, часто виноградники, принадлежавшие религиозным учреждениям, составляли островки зелени среди жилых построек. В Реймсе в переписи населения 1328 года, где, впрочем, никак не учитывается имущество церкви, в сите указаны 18 домов с прилегающими садами и 28 самостоятельных садов, а в предместьях соответственно 39 и 70.

Очень узкая, шумная и даже зловонная улица тем не менее сохраняла притягательность, поскольку подразумевала связь во всех значениях этого слова, развлечение, жизнь. Дома всегда поворачивались к улице самым опрятным фасадом, самым «приветливым видом», самыми широкими дверными проемами и, естественно, своими вывесками и своими мастерскими, открытыми для каждого. Самые ценные комнаты в доме выходили на улицу, а не во двор, в частности комната «хозяина дома» и его жены, поскольку в них производился учет товара. В конце Средневековья «в противоположность

городам Востока, устройство которых, подобное пчелиному улью, побуждает клан, этническую или конфессиональную группу жить замкнутыми в себе», все в добрых городах Запада «толкает на улицу членов городского сообщества, обращенно-го к внешнему миру» (Бернар Шевалье).

### *Крестьянский дом*

Вернемся к крестьянскому дому и попытаемся теперь рассмотреть его с точки зрения социального пространства, достаточно трудной для постижения. Здесь возможны различные подходы. Можно сначала спросить себя, исходя из недавнего прошлого, восходят ли к Средневековью региональные особенности, представленные «традиционным» домом, имея в виду способ постройки, используемые материалы, профессиональные традиции и социальные обычаи, климат и т.д. Существовали ли в других условиях и в другие эпохи прообразы дома-фермы в Ко, альпийского шале, дома из тесаного камня, распространенного в некоторых южных провинциях? Исследователи без колебания принимают решение. Послушаем, например, Жана Дольфюса: «За исключением материала, городские постройки, бесконечно различные по своему предназначению и исходному проекту, гораздо больше несут печать времени, нежели отпечаток места. Напротив, сельские дома, прямо подчиненные окружающей обстановке и географическим условиям, противопоставляют свое постоянство и местные характеристики историческим изменениям и иностранным влияниям, и именно они формируют самую оригинальную картину французского жилища в различных областях». Потому что, продолжает он, «все позволяет предполагать, что нынешнее сельское жилище, привязанное к той же земле и построенное из тех же материалов, во многих случаях должно быть аналогичным деревенскому жилищу первых веков». Таким образом, сельский дом, более дитя своей земли,

чем своего времени, проходит сквозь века, будучи неизбежным отражением вечного сельского порядка. Более осторожный Жан-Мари Пезез считает, что «вечное противопоставление, кажется, не разделяет социальные категории, но определяет экономическое и культурное пространство, к примеру, Северной и Южной Франции».

Можно действительно допустить, что крестьянское жилище в большей или меньшей степени соответствует принятой в стране системе землепользования, а также экономическим и техническим условиям ведения сельского хозяйства. Подъем или спад животноводства, виноградарства, разведения каштанов или шелковичных червей, проведение ирригационных работ — все это не могло не влиять на устройство и расположение построек «фермы». «Здесь ничего не делалось для благосостояния и избытка, все было предназначено для сельскохозяйственного труда». Замечание Альбера Деманжона касается сельского дома XIX века в Пикардии, рассматриваемого как орудие, как рабочий инструмент, но вполне применимо и к средневековому периоду. Обязанность пользоваться за плату феодалу его печью, мельницей, прессом для винограда означала, что община, соблюдая определенные условия, получала эти постройки в свое распоряжение, и напротив, мешала тому, чтобы каждое хозяйство имело собственные пресс, пекарню или мельницу. С течением времени мельница так и оставалась собственностью «хозяина», зато число частных пекарен и частных прессов по мере разложения, а затем уничтожения феодального строя (в том смысле, какой век Просвещения придавал этому понятию) росло. Более того, как «эксплуатация» дома, так и его планировка зависели от того, кто в нем жил — владелец аллода, постоянный ленник, арендатор владения, человек, пользовавшийся «правом мертвой руки», и др.✱

Следует также принять во внимание окружение крестьянского дома. Уединенные дома-фермы или дома, разбросанные

между общими постройками, мелкие хозяйства, рассеянные по долине, или, напротив, компактные хозяйства, сгруппированные на возвышенности, наподобие замка-крепости: варианты не просто разнообразные, но частично объясняющие и обуславливающие план и структуру каждого жилища.

С другой стороны, дом может предназначаться только для одной хозяйки, для одной нуклеарной семьи, одного «патриарха» и его многочисленного потомства. Можно предположить в таком случае точное соответствие (по крайней мере определенное соотношение) между его размерами и числом проживающих, не только людей, но и животных.

Наконец, есть дома, где живут *cottiers*, почти нищие простые батраки, имеющие совсем немного орудий труда и еще меньше скота, или, напротив, богатые земледельцы, владеющие несколькими видами орудий для обработки почвы, складывающие в амбар много сена и соломы и держащие нескольких слуг. Внешний облик крестьянского дома явно зависит от экономического положения его владельца.

Среди большого разнообразия типов сельских домов Средневековья один характеризует себя особенно четко. Это тип «длинного дома» (*longa domus*), называемого иногда смешанным домом, «укрывающего под одной крышей в одном конце строения — людей, в другом — несколько голов скота (рис. 5, 6). Эти две категории жильцов имеют один или два общих входа. В последнем случае входы часто расположены друг напротив друга в торцах или в середине длинных сторон» (Робер Фосье).

В документе 1314 года, касающемся Фореза, упоминается, например, частный дом (*hospitium*): в центре расположена главная комната с очагом и печью, в одном конце — спальня или хранилище вина, в другом — стойло, наверху — амбар с сеном.

Сейчас допускают, что «длинный дом» был очень широко распространен в Западной Европе. Впоследствии он постепенно исчез, в основном по причине все более явного

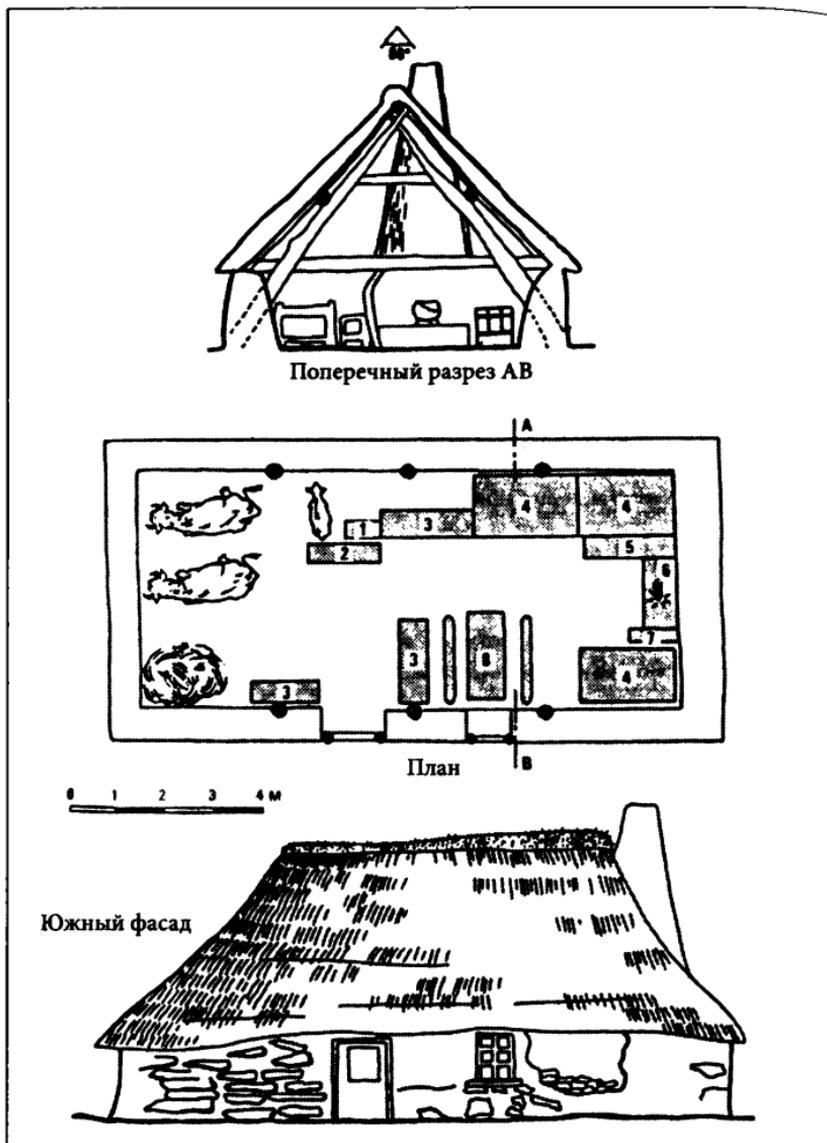


Рис. 5 и 6. «Длинный дом» в Плюмелене (Морбиан). Обычное для Средневековья и сохранившееся вплоть до наших дней смешанное жилище — люди и животные под одной крышей (по Р. Фосье и Ж. Шапело). 1: часы; 2: скамья-сундук; 3: шкаф; 4: кровать с пологом; 5: сундук; 6: очаг; 7: скамья; 8: стол-сундук

нежелания жить рядом с животными (из-за шума, мух, запаха и т.д.). Однако даже в XX веке в некоторых «отсталых» регионах (Альпы, Центральный массив, Бретань, Уэльс) этот тип жилища еще встречался.

Добавим, что «цивилизованные» умы довольно поздно обнаруживают жалостливое изумление перед такими архаическими, примитивными обычаями. Так, в XVII веке Дюбюиссон-Обене, посетивший Бретань, писал: «В большинстве домов нужно пройти через гостиную или кухню, чтобы попасть в конюшню или в стойло. Здесь, как и в остальной Бретани, вход для людей и для животных общий, и они едва ли не живут вместе. И поскольку жилища частично из глинистого сланца и главным образом из дерева, крыс и мышей здесь столько, сколько я никогда и нигде не видел. Мебель в них соответствующая: кровати очень короткие и подняты очень высоко над землей, столы высокие, а стулья вокруг очень низкие. Блох и клопов предостаточно».

В 1618 году путешественник, остановившийся в Эрбре (Иль-де Вилен), жаловался, что не мог спать ночью «из-за того, что в этих же четырех стенах вместе с ним находились коровы».

Следует тем не менее отметить, что разделение пространства даже под одной крышей может быть более или менее продумано. По крайней мере, «длинный дом» позволяет иметь различные входы для людей и животных, перегородки, отделяющие одних от других, и даже несколько комнат внутри помещения, предназначенного для людей. Существование людей и животных в одном помещении предписывается определенным образом жизни, его нужно рассматривать глобально, поскольку он является результатом не только особенно жестких экономических условий.

«Длинный дом» отнюдь не исключает наличия во дворе (поскольку он имеет свой двор, о чем часто забывают) свинарника, гумна, овчарни, *scure* (риги) или печи для сушки зерна. В любом случае он рассчитан лишь на несколько голов скота.

Если крестьянин имеет дюжину коров и полсотни баранов, ему нужны другие варианты строений.

В археологии особую известность получил комплекс «длинных домов» в английской деревне Варрам Перси (Йоркшир), обнаруженный при раскопках тридцать лет назад. Если не обращать внимания на заброшенные первые поселения, эта деревня с приходской церковью кажется вполне современной, хотя она возникла в конце XII века вокруг небольшого сеньориального замка и была покинута около 1510 года вследствие развития скотоводства и огораживания общинных земель. Независимо от строительной техники и использованных материалов, большинство одноэтажных домов имеют форму прямоугольника 4,5–6 метров в ширину и 12–27 метров в длину. Окна располагаются в середине длинных сторон; часть, предназначенная для людей, может включать отдельную спальню, ведущую в комнату с главным очагом. Дым уходит в отверстие, проделанное в коньке кровли. Крыша покрыта соломой, уложенной на высокие и красивые стропила; что касается стен, то они либо целиком выполнены из камня (известняка), либо деревянные на каменном основании.

Эти дома были расположены внутри ограда, что, как мы видели, не удивительно для Средневековья. Изучение текстов не оставляет сомнений в том, что местоположение оград, так же как их форма и направление, весьма условны. Более того, продолжительность жизни самих домов была ограничена. На том же месте около замка в продолжение трех веков сменяли друг друга по крайней мере девять домов. Каждый, в свою очередь, немного отличался от предыдущего. Очень похоже на то, что дом строился в расчете лишь на одно поколение.

В Варрам Перси лишь незначительное меньшинство жилищ не принадлежит к типу «длинного дома». Одно из них, датированное концом XIII или началом XIV века, разделено на две части. Та, что имела очаг, вероятно, не предназначалась для животных.

Другой пример: в Воне (Wawne), также в Йоркшире, обнаружены следы дюжины домов XII–XIV веков, как правило, 15 на 4,5 метра, для стен использовались каркасы — плетенные из ветвей и обмазанные глиной либо деревянные, наполненные смесью глины с резаной соломой. Со временем эти дома были оставлены и разрушились. На их месте появились поля зерновых. Позднее (вторая половина XIV–XV век), возможно, по инициативе сеньора, были построены шестнадцать одинаково направленных домов (рис. 7). Ширина этих новых сооружений 5,2 метра, длина от 10 до 13 метров. Дома состоят из двух комнат, между которыми располагался очаг, стоящий на кирпичной площадке. Деревянные стены укреплены на галечниковом основании, крышу теперь покрывает не солома, а черепица.

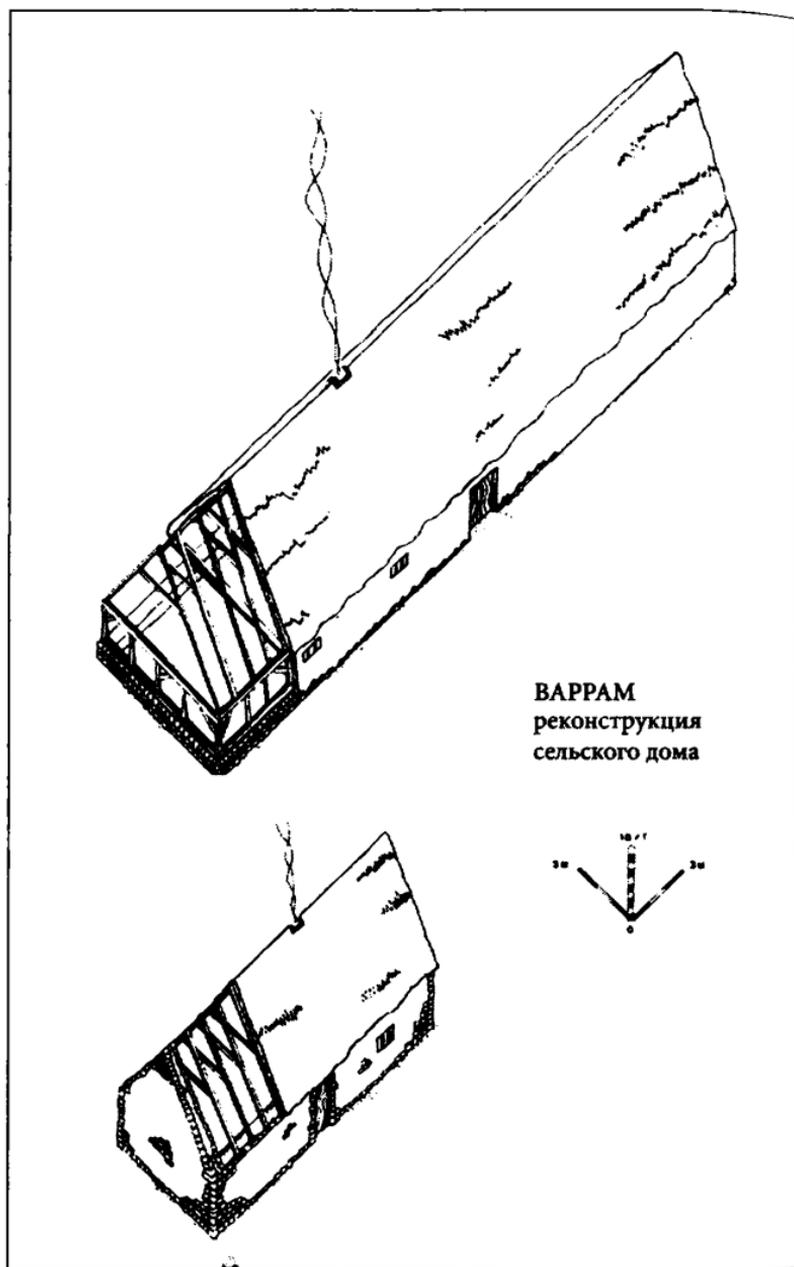
Правда, позднейшие исследования свидетельствуют, что рядом с «длинным домом» могли находиться самостоятельные пристройки, а также другой «длинный дом» или жилище, состоящие из одного помещения.

Наконец, можно задаться вопросом, существовал ли в Средневековье «длинный дом» со вторым этажом, поскольку известны его более поздние модели.

В любом случае, чтобы упростить эту гипотезу, ограничимся территорией Северной Франции и Англии и будем считать, что средняя площадь «длинного дома» составляла 15 на 5 метров. Предположим, что половина дома предназначалась для людей, и вычтем величину общего прохода. Получается, что домовое хозяйство из 5–6 человек едва располагало жилым пространством в 35 квадратных метров.

К тому же это подтверждают планы «длинных домов» в Девоне и Корнуолле, где пространство для людей и животных тщательно разделено (рис. 8).

Существует второй тип построек, более достоверный: тип, при котором хозяйственные и жилищные постройки расположены под одной крышей, но каждая сохраняет свою



**ВАРРАМ**  
 реконструкция  
 сельского дома

*Рис. 7.* Реконструкция двух «длинных домов». Раскопки в Варрам Перси, Йоркшир (по М. Бересфорду)

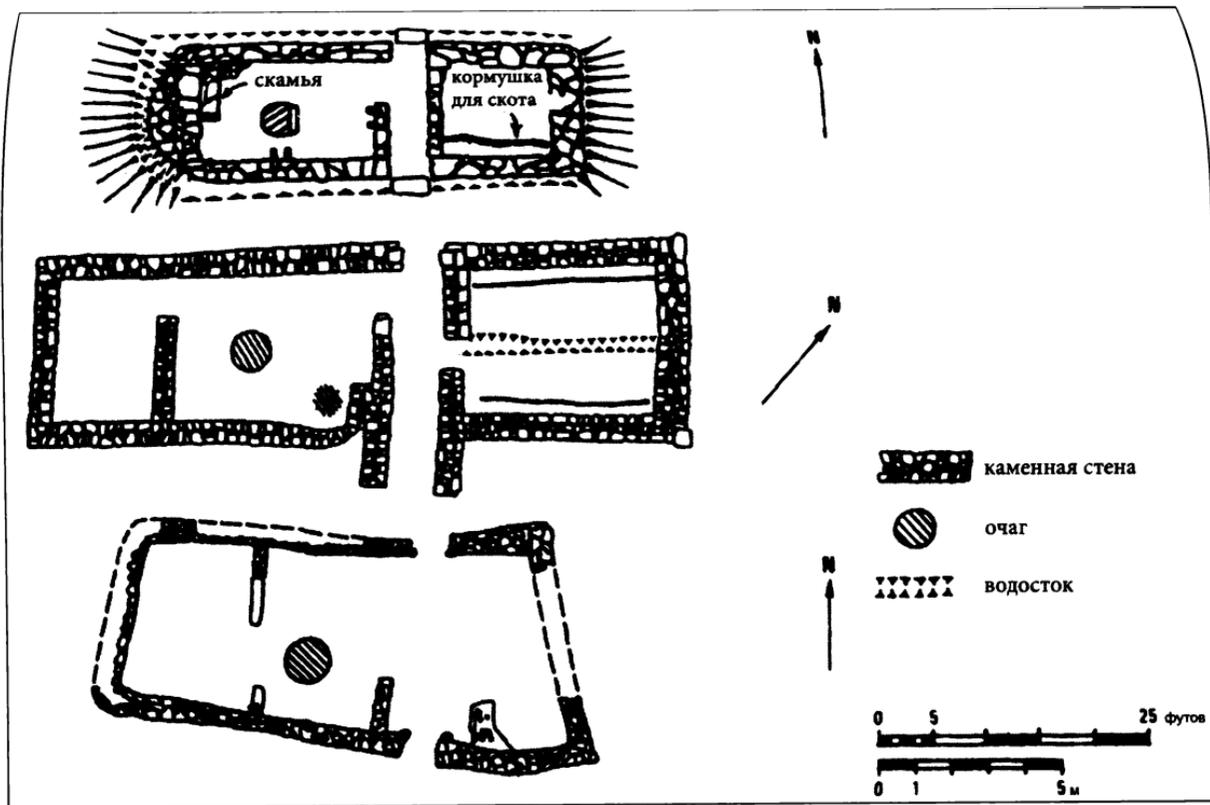


Рис. 8. Планы «длинных домов» в средневековой Англии, в Девоне и Корнуолле. Две или три комнаты. Настоящего камина еще нет, но есть главный очаг (по М. Бересфорду и Дж. Херсту)

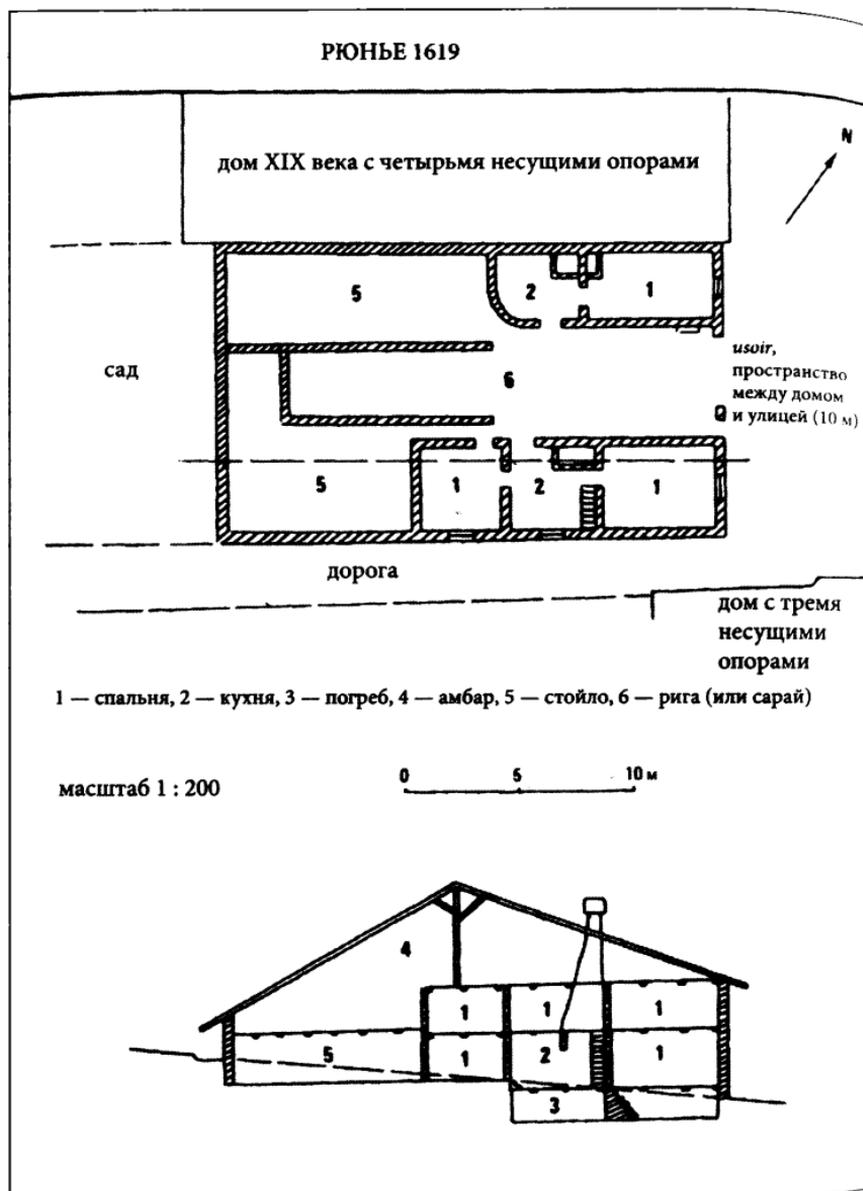


Рис. 9. Дом 1619 года в Рюнье (Вогезы). Вероятно, аналогичное внутреннее устройство уже существовало в домах Лотарингии XV века (по А. Вейсроку и Г. Кабурдену)

независимость, или они вовсе не связаны друг с другом и сосредоточены по территории либо в пределах двора. С одной стороны, бревенчатый дом с одним или двумя этажами, с другой — дом с открытым или закрытым двором.

Ничто не доказывает, что такие строения были неизвестны Высокому Средневековью. Но письменных свидетельств по этому поводу становится больше только начиная с XIII века.

Часто речь идет о чисто крестьянских хозяйствах, управляемых богатым или зажиточным арендатором, исполщиком. Миниатюры представляют это в немного идеализированном виде. Хозяйства, арендуемые на основе исполщины, которые Филипп де Коммин в конце XV века разместил в своей сеньории Аржантон, состоят из «жилых строений, риги для хранения и обработки зерна, овчарни, хлева и других построек». В это же время в Лотарингии вместо домов «в глубину» уже строят примыкающие друг к другу дома, идущие вдоль улицы. Постройки для людей и для скота, для хранения урожая и сельскохозяйственных инструментов сходны между собой. После *usoir*, *usuaire* или *parge* — пространства между дорогой и фасадом дома, находящегося в коллективном пользовании, — начинается, собственно говоря, дом, который состоит из следующих друг за другом передней спальни с дверью и окном, кухни без окон и задней спальни, иногда отапливаемой печуркой. Коридора обычно нет, все три комнаты смежные. За домом и вдоль него расположена постройка, где находятся *larault*, или гумно, и стойло, над ним помещение для хранения сена и соломы или амбар для зерна. Иногда добавляется третья постройка, третий *rain*, параллельный двум предыдущим, с погребом для вина или зерновым амбаром. Позади всех строений расположены сад и конопляник.

Иногда хлев располагался за домом, как, например, в жилище в Рюнье (Вогезы, 1619), в котором в результате переделок, не поддающихся датированию, оказались два домовых хозяйства (рис. 9).

Дома с внутренним двором также образуют центр «сеньориальных» хозяйств, те в свою очередь могут служить моделью для ранее упомянутых «крестьянских» хозяйств.

Согласно описанию 1377 года, типичной сеньориальной постройкой было поместье Тристана де Менъеле в Фонтене около Нанжи, в Бри: «Дом (особняк) называется “Cloz”\*, он состоит из большого зала, трех спален наверху и двух внизу, с четырьмя каминами вверху и внизу. Кроме того, внизу имеются большой амбар и стойла. Домовая церковь, кухня и кладовая наверху, примыкающие к упомянутым спальням и залам, находятся под крышей, хорошо и в достаточном количестве покрытой черепицей. Рига на десять отсеков также покрыта черепицей. Имеется голубятня с винтовой лестницей, заселенная множеством голубей. Кроме того, здесь есть другой дом под черепичной крышей [может быть, для сельскохозяйственных рабочих] с двумя спальнями, внизу — погреб, куда ведет лестница в десять ступенек. Курятник и свиарник покрыты черепицей. Постройки — все они возведены из необожженного кирпича, — а также три сада окружены стеной».

Это значит, что «ферма» в качестве жилого дома могла иметь и настоящий замок, и обычный однокомнатный или двухкомнатный дом с простым очагом, без дымохода, под соломенной крышей.

В 1450 году великий приор Франции решил поправить положение командорств госпитальеров, очень сильно пострадавших в результате военных действий. Несколько лет спустя, в 1457 году, во время инспекционного визита в командорство Ланьи-ле-Сек был отмечен размах уже проделанных и ведущихся работ, а также перечислены строения большого земельного владения конца Средневековья в провинции Бри. За шесть лет командор места, брат Жан де Руа, в первую очередь, как должно, восстановил часовню; затем главный

\* Cloz, clos (франц.) — 1) огороженный участок; 2) виноградник.

корпус, иначе говоря, «большой дом», покрытый черепицей, где жили госпитальеры, «с залом внизу и dormitorioем, кухней, гардеробной и амбаром наверху»; два больших зала, также под черепичной крышей, служащие пока складами для зерна; конюшню на пять лошадей, под соломенной крышей, два хлева, крытые соломой, для скота арендаторов; овчарню на одиннадцать голов, крытую черепицей; квадратную башню, также крытую черепицей, где на втором этаже была голубятня, а на первом — свинарник. Построил другую, новую овчарню на семь голов, под соломенной крышей; жилой «домик» для арендаторов; колодец под черепицей; спальню, расположенную над входом во двор; квадратную башню с черепичной крышей, служащую тюрьмой и имеющую на втором этаже спальню с камином. «Все эти сооружения, как восстановленные, так и заброшенные, расположены на участке площадью приблизительно от трех до четырех арпанов [скажем, добрый гектар], окруженном добротными стенами в хорошем состоянии».

Спустя полвека наследники Филиппа де Коммина, предъявляя иск, старались перечислить, судя по сохранившейся записке, нововведения, или лучше сказать, инвестиции, вложенные начиная с 1473 года в замок д'Аржантон и его угождая знаменитым советником Людовика XI и его женой, Элен де Шамб. Эти изменения, стоившие очень дорого, затронули не только жилое пространство. Помимо перестройки часовни, пояса укреплений замка и строительства дома для при vratника, упоминались помещение для пресса, «красивый новый сарай, полностью крытый сланцем, с четырьмя дверями и входной дверью, для хранения сена, дров и посуды для сеньории» и «прекрасные, совершенно новые, под сланцевой крышей двойные стойла с местом для овса и соломы».

Каков бы ни был возраст этого типа жилища, базировавшегося на процветающей сельской экономике, одновременно разнообразной и сбалансированной и предполагавшей, что по крайней мере глава хозяйства вполне благополучен, в части

Франции и в Англии в XIV–XV веках наблюдается тенденция к его медленному, но неуклонному распространению. Историки сходятся во мнении, что, например, в Англии конструкция «длинного дома» была усовершенствована. Добавлен второй этаж, более четко разгорожено пространство как на первом, так на втором этаже. Началось разделение помещений, предназначенных для работы, питания (приготовления еды и ее потребления), отдыха и сна. Животные переведены в отдельные постройки по периметру двора. Главный очаг заменен стенным камином с кирпичным дымоходом, отсюда уменьшение риска пожара и улучшение циркуляции дыма, более сильная тяга. Уильям Харрисон писал в 1577 году: «Дома в наших городах и деревнях обычно построены таким образом, что ни молочное хозяйство, ни хлев, ни пивоварение не привязаны к одному помещению (как это происходит во многих местах за морем и иногда также на севере нашей страны), а разделены и независимы друг от друга».

Наконец, дома (лачуги, хижины, сараи, домушки, *maisoncelles*, *masurettes*, *masureaux*, на языке той эпохи), эти простые пристанища из одной или двух комнат, где могли жить и вдова, и пивовар с семьей, отвечали условиям минимальной сельскохозяйственной деятельности. «И называет своей халупой старый дом, где живет», — гласит, например, документ 1391 года.

В 1417 году Жан Петипа, земледелец из Жо (Уаза), с женой и тремя маленькими детьми жил в доме, где были очаг и спальня. В 1416 году движимое имущество Мари ла Бушерон, дамы из свиты герцога Орлеанского, разместилось в трех комнатах особняка в Рокур-Сен-Мартен (Эна): кухне, спальне и верхнем этаже (*solier*). По документам того же года, другая дама из свиты герцога Орлеанского располагала лишь кухней и спальней, а пастуший домик в Розуа (Уаза) и вовсе ограничивался единственной комнатой с примитивной кухонной утварью и убогой кроватью.

Как и Варрам Перси в Англии, местечко Драси, небольшая часть прихода Бобины (Кот д'Ор), пользуется во Франции заслуженной известностью. Раскопанная в 1965 году французско-польской группой археологов, эта деревушка, чисто земледельческая и виноградарская, время основания которой точно не установлено, расположена у подножия большой известняковой скалы. Состоявшая в 1285 году из пятнадцати домовых хозяйств, она была обескровлена во второй половине XIV века и, будучи жертвой военных потерь, совершенно исчезла вскоре после 1400 года. Безусловно, те, кто выжил, переселились в соседнюю деревню, предлагающую лучшие экономические перспективы и более комфортные условия жизни.

Из многих изученных строений в Драси обратимся к дому, сгоревшему около 1360 года, о котором мы имеем наиболее определенные данные (рис. 10). Это массивное сооружение, расположенное на западном склоне отвесной скалы, нуждалось только в трех стенах, их сложили из крупных валунов и щебня, скрепленных желтоватой глиной. Стены ограничивали пространство почти квадратной формы: 8,7–9 метров по северной и южной стороне и 10,75–11 метров — по восточной и западной. То есть площадь приблизительно 90 квадратных метров, но в действительности она лишь немногим превышала 60, учитывая толщину внешних стен и внутренних перегородок.

В первый период дом был разделен только на две вытянутые комнаты, одна занимала северную часть, другая — южную. Предназначенный для единственной семьи, для единственного домового хозяйства, он имел лишь один очаг (расположенный в южной комнате), но очаг крайне примечательный для эпохи и региона: у него был настоящий дымоход, точнее, вертикальная деревянная труба, обмазанная глиной, идущая по южной стене. Заботливо устроенный каменный порог позволял надежно укрепить дверной каркас, вдобавок он задерживал мусор со двора, мешая ему проникнуть внутрь. Что касается

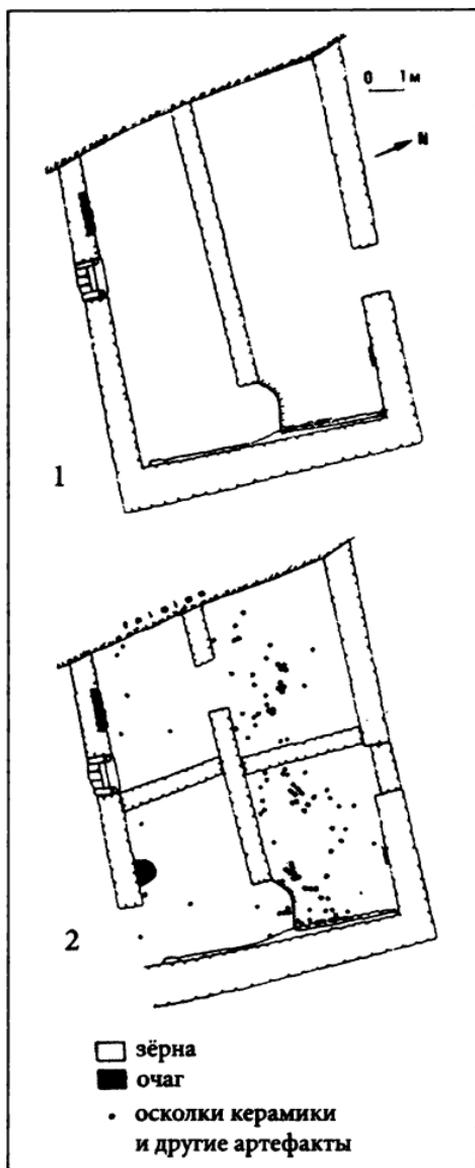


Рис. 10. План дома в Драси (Кот д'Ор). 1 — Первый период, конец XIII века. В то время дом состоял только из двух комнат, ориентированных на север и юг. 2 — Тот же дом во второй период своего существования (XIV век): теперь он разделен на два жилища, с окнами, выходящими на юг. В последний период, завершившийся в 1360 году, в доме жила только одна семья, занимавшая обе части (по Ж.-М. Пезезу)

северной комнаты, она также имела дверь, но выходящую на другую сторону фасада. Возможно, в то время она использовалась как хлев или стойло. Тогда мы имеем дело с разновидностью «смешанного» дома. Во всяком случае, в этой комнате нет следов очага. Более того, над ней имелся ярус, или скорее чердак, где, в частности, хранили зерно; попасть туда можно было по лестнице. Дом покрывала односкатная крыша из тяжелых известняковых плит. Пять-шесть метров высотой у стены северного фасада, она резко опускалась, и у южной стены ее высота не превышала 2,4 метра.

Во второй период из-за проблем наследства или по причине демографического переизбытка дом был разделен стеной на западную и восточную части. В первой появились дымоход и входная дверь, кроме того, из нее можно было попасть в часть прежней северной комнаты, то есть был доступ к половине этажа. Но она осталась без окон, скорее превратившись в сырую кладовую или хранилище вина, нежели оставаясь спальней. Что касается восточной части, она имела очаг и дверь, выходящую на юг, что обеспечивало ее самостоятельность. Между тем с уничтожением северной двери северо-восточная комната теряла выход наружу.

Наконец, обнаруженные во время раскопок остатки движимого имущества и домашней утвари заставляют полагать, что западное и восточное помещения использовались только для проживания людей. Думается, что в последний период своей истории обе половины дома вновь объединились в одно хозяйство.

Таким образом, «тяжелая, массивная постройка, полностью из камня, с малым количеством окон и довольно низкая, несмотря на второй этаж, представляет собой прочное жилище, использующееся многие десятилетия и, вероятно, несколькими поколениями, поскольку оно перестраивается, чтобы принять больше обитателей» (Жан-Мари Пезез). Добавим, что большая часть жизни должна была проходить снаружи, перед южной

дверью, на земляной насыпи шириной в несколько метров, которая тянулась до следующего дома. Предположив, что огонь очага поддерживался дном, можно допустить, что даже такой мрачный и примитивный интерьер давал достаточно уютное и теплое убежище своим очередным владельцам.

Очень немногие документы конца Средневековья позволяют более конкретно рассмотреть крестьянский дом, чем очаровательный реестр инквизиции, составленный по приказу и под контролем будущего папы Бенедикта XII, тогда еще Жака Фурнье, епископа памьенского (1318–1325). Этот исключительный источник подчеркивает, в частности, существенную роль частных домов — *l'hospicium, de la domus, de l'ostal*. В бассейне верхнего Арьежа, где Жак Фурнье проявил массу изобретательности в охоте на еретиков, дом представлялся стабильной и живой структурой, к которой каждый привязан и прикреплен. Еще несколько не замкнутый в себе, он служит нишей, где в ожидании переезда прячутся в поисках убежища ереси и еретики. Здесь обмениваются секретами, проводят тайные сборища, ведут свободные речи. Различным упомянутым домам почти всегда соответствует семейная ячейка: отец, мать и дети. В сорока домах деревни Монтайю проживает около двухсот человек: по пять в домовом хозяйстве. Единственное исключение или почти исключение составляет «католический» дом, объединяющий пять братьев, или дом «катаров», где вдова держит при себе четырех холостых сыновей.

Центральная часть дома — относительно нее даже говорилось: «дом в доме» — *foganha*, которую в другом месте называют очаг, кухня, *chas, foconea*. «Колен Базен вошел в упомянутое жилище и открыл два ларя, которые там были, один в кухне упомянутого жилища, а другой — в спальне», — сообщает документ 1377 года. Другой текст, написанный век спустя (1478), еще более двусмысленный: «Проситель, который скверно себя чувствовал из-за холода, приказал развести в своем *chas*, или кухне, хороший огонь <...>, и затем лег в кровать

в маленькой спальне, неотделимой от упомянутого *chas*, или кухни». Или: «Жан Мариа владеет наследством, к которому относятся <...> дом, где он живет, один винный склад и две спальни по бокам, двор, фруктовый сад, гумно и пристройки».

Противопоставлению «кухня — спальня», *chas — chambre*, бытовавшему в Северной Франции, в Монтайю соответствует противопоставление *foganha — chambre*.

Одна из задач хозяйки, *focaria*, — поддерживать днем огонь в очаге, расположенном в *foganha*, и тщательно его закрывать каждый вечер во избежание пожара.

Обычно в *foganha* не спят, там готовят и едят. Из этого пространства исключительно женской деятельности главная дверь дома, чаще всего открытая с утра до вечера, выводит прямо на улицу. Однако случается, что зимой в *foganha* ставят кровать больного, как можно ближе к очагу. Это немного напоминает дом виллана, описанный Ноэлем дю Файлем в XVI веке, где «кровать доброго человека была придвинута к очагу, огороженному и даже закрытому и довольно высоко устроенному».

В Монтайю вокруг *foganha* обычно расположено несколько спален. Одно из лучших описаний на этот счет относится к дому Пьера Мишеля в соседней деревне Прад д'Айон. По свидетельству его дочери Раймонды, нижняя комната «примыкала к помещению, называемому *foganha*. С этой стороны у нее была дверь, и когда ее закрывали, никто в нижней комнате не мог видеть *foganha*. Вторая дверь, расположенная по другую сторону комнаты, вела на улицу (на скотобойню). Через эту дверь мог войти кто угодно, однако те, кто находился в *foganha*, их не видели, если первая дверь была закрыта. И никто не спал ни над этой нижней комнатой [что предполагает наличие комнаты на втором этаже, не занятой ночью], ни в *foganha*, за исключением моих отца и матери и еретика, когда он был в доме. Я и мои братья спали в другой спальне, рядом с *foganha*, находившейся посередине между нижней комнатой и спальней, где спали я и мои братья».

Таким образом, существовала возможность некоторого уединения (в этом случае оно было даже найдено), что подтверждается частым упоминанием дверей, снабженных замками и даже запертых на ключ. Впрочем, в средневековых раскопах, даже когда они касаются деревенских жилищ, постоянно находят *in situ* какое-то количество ключей (и замков).

Правда, что перегородки между комнатами не были непроницаемыми: слышать, подсматривать в щели было, возможно, в порядке вещей.

В некоторых домах, принадлежавших более зажиточным сельским жителям, над *foganha* и спальнями, расположенными на одном уровне, находился второй этаж (*solier*), сделанный из самана и дерева. Наверх вели примитивные ступени или приставная лестница, иногда там разжигали огонь для приготовления пищи или для тепла. Между прочим, изначально *solier* предназначался для спальни.

*Solier* (также говорят *sinault* или *sinal*) — помещение, распространенное во Франции от Меца до Тулузы, от Турне до Нарбонна, а также в Англии. Возможно, оно чаще встречается на юге.

В домах Монтайю также отмечают погреб, хранилище для вина, иногда комнату для хранения припасов, балконы или галерею (что в другом месте называется «*un valet*»). Одним словом, настоящее жилище с довольно сложным устройством. Добавим еще довольно плоскую крышу из дранки (*les escannes*) — настолько плоскую, что на нее можно складывать снопы для сушки, окна с толстыми деревянными ставнями и даже скамейку под открытым небом, со стороны улицы, чтобы болтать с соседями или искать вшей в голове при свете дня. Но следы пребывания животных в этих домах встречаются очень редко. Двор (*cortile*), обычно вытянутый за счет гумна и сада, включает традиционные постройки: печь для хлеба, стойло для волов (*boal*), овчарню (*cortal*), голубятню, свинарник, сарай для соломы, крытое гумно или сарай, иногда

служащий жилищем — но без огня и света — для пастухов, сельскохозяйственных рабочих и прислуги.

Совместные усилия историков и археологов позволили выявить архитектурную эволюцию сельского дома на протяжении Средних веков. В целом он прошел путь от «примитивной постройки», «дома из ничего», временного убежища, возведенного при помощи подручных средств (сырой земли, дерева, ветвей и ливы), до «основательного строения», неизбежно использовавшего усовершенствованную технику; эти строения представляли определенную инвестицию и предназначались для дальнейшего развития. Начиная с XII века постепенно утверждается второй тип построек. Здесь семья психологически и физически ощущает себя «дома»; здесь она лучше защищена от холода, воды, ветра, здесь можно хранить орудия труда, хозяйственные инструменты, продовольствие, все, что Средневековые понимают под выражением «хозяйственное обеспечение дома» (*d'estorements d'hôtel*). В известной мере семья даже присоединяется к дому, идентифицируется с ним, как знатный род присоединяется к замку и ассоциируется с ним. Это обычное начало явления, которое со временем усилится и будет существовать вплоть до XX века, как в долине Ангадин.

«Есть три вещи, говорит мудрец, / Которые толкают мужчину из дома / Насильно и от душевного страдания: / Это копоть и капающая вода. / Но еще больше сводит с ума / Плохая, сварливая жена». Так в XIV веке на своем англо-норманнском наречии Джон Говер переводит обычную поговорку в стихотворную форму, используя различные вариации: «Есть три вещи, которые выгоняют добропорядочного человека из дома: это незащищенный дом, коптящий очаг и насмешливая жена» или: «Есть три вещи, которые выгоняют мужчину из дома: это копоть, дождь и плохая жена».

Историк лишен средств оценить эволюцию последнего из этих трех неудобств, зато он может полагать, что

на протяжении Средневековья наметилась тенденция к уменьшению двух первых.

Подобное ограниченное нововведение имело огромные последствия для истории отношений. Оно стало возможным только благодаря изменению мышления, а также экономических и общественных реалий. Может быть, имело место медленное распространение городской модели (наряду с уже упомянутой сеньориальной моделью) как в технике, так и в социальном «употреблении» жилища. Именно в городе начали возводить долговечные здания, вкладывать деньги в качественную по тем временам недвижимость, заменять открытые очаги каминами, крыши из соломы и гонта черепицей или природным шифером.

«Буржуазные» дома могли также строиться в деревнях, что влияло на деревенскую жизнь. Мы имеем в виду, например, сельские жилища священников. В 1344 году епископ Бата и Уэллса распорядился выделить викарию прихода Вест Гартри дом с большим залом, двумя комнатами наверху, двумя погребями, кухней, ригой, стойлом для трех лошадей, а также пять акров пахотной земли, два акра луга, сад и виноградник. Дом очень близок к замку сквайра, но все-таки немного проще. В Элфрестоне (Суссекс) сохранился дом священника XIV века: фахверковая постройка под соломенной крышей; по обеим сторонам большого зала с камином идут двухэтажные помещения, одно из них тоже имеет камин.

В конце XIV века Гийом Блезо из Тувиля в округе декана Пон-Одемер (Нормандия) получает от приходского кюре мэтра Жана де Пеньи заказ на строительство за 70 франков золотом фахверкового дома «с основанием из хорошего камня», 54 фута в длину (18 метров) на 16 в ширину (5 метров). Предусматривалось несколько этажей, соединяющихся лестницей «из камня или штукатуренной», не менее четырех спален и трех каминов. Оконные рамы должны были быть из дуба. В одном из концов дома предполагалась пристройка, «чтобы сделать

спальню с уборной». Строение, безусловно, основательное, явно городского типа, но не слишком обременительное для строителя, поскольку контракт предусматривал не более шести месяцев для его завершения.

### *Городской дом*

Городской дом, как и сельский, представляет все виды контрастов. Здесь доминирует камень, там дерево, сухая глина, кирпич. Здесь кровельный сланец, там черепица. Это не означает, что крыши с растительным покрытием исчезли. Особенности развития городов зависят от их размера, плотности населения и его активности, от исторической обстановки и природных условий, в том числе климатических. Одни города были разрушены или обескровлены во время войн, эпидемий, экономических преобразований и не смогли сохранить свою застройку. Между тем другим городам удалось в разгар Столетней войны обеспечить стабильную численность населения и даже ее рост, создавать материальные ценности, равномерно развивать новое строительство. Для многих из них вторая половина XV века была счастливым периодом: сильные потрясения времен королевства Буржа\* остались в прошлом, а нездоровой скученности следующего столетия еще не было. Знаменательно, что этим временем датируются многие дома, существующие во Франции и поныне.

Значительную долю жителей средневековых городов составляли монахи, монахини и священнослужители, живущие в монастырях или за их пределами. Особняки были постоянной или временной резиденцией дворян, знатных сеньоров, герцогов или королей. В них могли также жить нотабли: деловые люди и юристы, финансовые откупщики, известные врачи, все те, кого тексты часто объединяют словом «буржуа».

---

\* В 1422–1437 годах в Бурже находилась резиденция Карла VII.

Несравненно более многочисленными были те, кто составлял беднейшие социальные слои: воры и нищие, «попрошайничавшие, жившие и умиравшие где придется» (Франсуа Вийон), спавшие «в канавах» (для них в 1439 году в городе Турне были построены крытые бараки); студенты, не принятые в коллежи; старики и старухи; лакеи, прислуга и подмастерья, потерявшие работу, а значит, и жилье. Самой представительной, но лишь косвенно участвовавшей в городском управлении была группа «людей профессии» — ремесленников и лавочников, организованных или не организованных в корпорации и братства. К ним нужно добавить всех тех, кто находился рядом с ними и разделял их жизнь. Возможно, речь идет по крайней мере о половине городского населения. И, безусловно, в недрах этой среды (той, что мы называем простонародьем) были бедные и зажиточные, крупные и мелкие ремесленники. Наиболее талантливые и умелые пользовались большим авторитетом, имели лучших клиентов. Работе других препятствовали слишком тяжелые семейные заботы, возраст, болезни, несчастный случай на производстве. Несмотря на эти различия, мастера и их родственники обычно жили в отдельных домах, занимая дом полностью или большую его часть. Дома служили им одновременно жилищем, мастерской и местом продажи своих изделий. Мы полагаем, что большинство из 3700 домов Реймса, 2400 домов Арраса (исключая сите), 6000 домов Лилля соответствовало этому назначению.

Стоимость дома ремесленника зависела от местоположения, размера, типа постройки, общего состояния. Один оценивался в 20 ливров, другой — в 80. Рассуждая о «среднем» жилище, мы неизбежно упрощаем ситуацию, в итоге представляя ее несколько искаженно.

В большинстве французских городов XIV–XV веков дома «простого люда» главным фасадом выходили непосредственно на улицу, а не в передний двор. Речь идет о доме со щипцом крыши, или о постройке, конек кровли которой был параллелен

фасаду. Фасад был, как правило, узкий: от 5 до 7 метров, иногда немного больше или меньше. В квартале Бурже в Нанси в XIV веке фасады одних домов ограничивались лишь 11 футами, тогда как другие достигали 33 футов, то есть в три раза превышали «показатель» (Жан-Люк Фрей).

Дом часто состоял из двух уровней, которые с этого времени начинают называться, по крайней мере в Париже, первым и вторым этажами. Чаще всего он возводился над погребом или хранилищем вина, свод (или потолок) которого слегка выступал над уровнем земли. То есть чтобы добраться до первого этажа, нужно было подняться на две-три ступеньки. Глубина домов колебалась от 7 до 10 метров. Высота первого этажа составляла 3–3,5 метра. Второй (с более или менее значительным выступом, что позволяло увеличить пространство, но в ущерб воздуху, свету и, возможно, прочности здания) — немного меньше, скажем, 2,7 или 3 метра. Вверху под широкой крышей находился чердак (амбар), попасть туда можно было по лестнице через люк. Дома в основном деревянные, хотя в некоторых областях предпочитали камень, особенно для стен первого этажа. В противопожарных целях и для защиты от дождя или снега муниципальные власти одобряли и даже предписывали замену соломы кровельным сланцем или черепицей. Представим двухэтажный дом площадью 6 на 8 метров. Это означает, что в распоряжении «одного домового хозяйства» (или пяти человек) была почти сотня квадратных метров. Более того, винный погреб, амбар и различные другие постройки, в том числе кухня либо чулан, *quarree*, могли располагаться на заднем дворе. Теоретически нет никаких следов скученности. Известно, что в Париже входная дверь в дом могла оставаться открытой весь день, придерживаемая специальной подпоркой. В перечне середины XV века упоминается «придвинутая скамеечка», служащая «для поддержания двери». Еще говорится о «скамеечках под голову», также используемых «для поддержания двери» или

«для сидения у входной двери». В 1535 году венецианский посол Марино Джустиниано констатирует, что в Париже «по обычаю все мужчины и женщины, старые и молодые, хозяева и слуги, сидят на пороге своих лавок или возле них на улице».

Сразу за входной дверью начинался довольно узкий коридор, 1–1,5 метра шириной, который вел в две комнаты: переднюю, иначе говоря, мастерскую, лавочку, цех, согласно терминологии того времени, и заднюю, выходящую во двор и именуемую залом или нижней спальней. Внутренняя винтовая лестница позволяла подняться на второй этаж, разделенный, по-видимому, на две или три комнаты. В Монбельяре в начале XVI века получила распространение внешняя винтовая лестница, *viørbe*.

Комфортабельность и привлекательность домов этого типа повышались благодаря дополнительным усовершенствованиям. Во-первых, большое значение имело наличие собственного колодца, что избавляло женщин, живущих в доме, от необходимости отправляться к роднику, реке или источнику (развлечение, конечно, но также неприятная обязанность) или, как это было принято в Париже, пользоваться услугами водоносов. Затем более или менее эффективная защита от холода, дождя, ветра: ставни и заслонки (засвидетельствованные многими миниатюрами), масляная бумага, пергамент, холст, закупоривающие оконные рамы, и даже — в наиболее благоприятных случаях, особенно начиная с XV века, — неподвижные или открывающиеся окна с широкими прямоугольными рамами. Случалось, что большинство помещений в доме ремесленника было оборудовано каминами. Это, однако, совсем не означало, что они функционировали одновременно или постоянно. Глинобитные или деревянные полы как на первом, так и на втором этаже иногда уступали место полам, покрытым красивыми керамическими плитками. Наконец, вопреки нашим ожиданиям, даже обычные дома часто имели отхожие места. Во второй половине XV — начале XVI века их наличие

многими муниципальными властями признается нормальным и необходимым. В 1519 году парламент Нормандии (в Руане) предписывает всем собственникам «соорудить в своих домах углубления [ямы?] в земле, а наверху в оных домах установить сиденья». По этому поводу между соседями могли заключаться соглашения. В 1433 году Мартен Гюбер и Пьер Фосект занимали два смежных дома на улице Фосе-о-Гантье в Руане. Первый, построив «новую уборную», согласился, чтобы второй и его супруга за сумму в 12 ливров могли пожизненно пользоваться «туалетным сиденьем для тела». «Какое сиденье будет в галерее упомянутого Гюбера, на уровне третьего этажа дома оных супругов, где сейчас находится их спальня. В какой спальне будет сделана новая дверь, дабы входить и пользоваться туалетным сиденьем, установленным в подходящем месте оной галереи, имеющей стеклянное окно, расположенное на подобающей высоте». Если супруги Фосект уезжали, проход «законопачивали». Наконец, при опорожнении содержимого ямы треть издержек должны были нести супруги Фосект и две трети — Мартен Гюбер. Но количество таких уборных, или частных клоак, было еще явно недостаточно. Влиятельные магистраты (в Лоше, Турне, Руане) приказали построить общественные отхожие места, например, у крепостных стен или рядом со сточными канавами (XV век). Причем туалеты разделялись на мужские и женские, и это касалось даже детей.

Опустимся ниже в иерархии жилищ. Есть много свидетельств о домах значительно более скромных, с двумя или тремя комнатами. Может быть, они соответствовали этим пристройкам, этим домам с навесами, которые по фискальным соображениям противопоставлялись в некоторых городах (в Руане, Роморантене, Туре) домам со щипцом, или коньком двускатной крыши, которые облагались более высоким налогом.

В датированной 1427 годом описи имущества скончавшегося Бертона де Санталена, цирюльника средней руки из местечка Крес (Дром), перечислены следующие комнаты

в его доме, где он жил вместе с отцом: задняя спальня (*camera posterior*) с двумя кроватями, большой и маленькой; передняя спальня (*camera anterior*) с кроватью и кухонной утварью; рабочее помещение (*operatorium*) с тремя стульями, пятью тазиками для бритья, десятью бритвами, четырьмя точильными камнями, двумя зеркалами и тремя маленькими ланцетами, отделанными серебром, для кровопускания; амбар позади мастерской, в основном для зерна; наконец, хранилище вина. Этот дом имеет лишь три комнаты, гостиная и кухня занимают одно помещение\*. «*Aula sive focanea*», как выражаются прованские источники.

Опись имущества, произведенная после кончины Гийома Бюрелена, кузнеца из Кальвисона в Гаре (1442), говорит о еще более скромном жилище, состоящем из мастерской (*la botiga de la forja*) и комнаты на втором этаже (*lo solié de l'ostal*), которая служила одновременно кухней, спальней и гостиной. Жилье более бедных людей — вдов, лакеев, студентов — состояло только из одной комнаты, из спальни. Безусловно, «бедная девушка» из «Парижского хозяина», которая «пряла шерсть за прялкой» и жилище которой «не имело никакой обстановки, ни кухни, ни кладовой, ни масла, ни угля, ничего, кроме кровати и одеяла, прялки и немногих других принадлежностей», жила в одной-единственной комнате. Так же жил и Перрен ле Боссю, бедный чесальщик шерсти из Парижа, в 1426 году освобожденный от наказания, вменяемого за взлом двери спальни некоего Томасена Гебера, золотых и серебряных дел мастера, «которая находится над дверью жилища вышеупомянутого Перрена». В Париже начала XIV века семья жила большую часть времени в одной комнате, *mansion, domuncula, estage* (Раймон Казель).

Перейдем теперь, наоборот, к более высокому уровню. Здесь классический тип жилища представлен домом каноника,

\* Возможно, ошибка автора: выше говорится, что кухня была совмещена со спальней.

устройство которого хорошо освещено в особых описях. Обычно этот тип резиденции, находящийся в непосредственной близости от собора и монастыря, располагает двором и садом и имеет десяток комнат: несколько спален, включая спальню каноника, лучше всего обставленную и, безусловно, самую приятную, если не всегда самую большую, одну или две гостиные и один или два маленьких зальчика (*sala, aula* в документах на латыни), кухню и кладовую, канцелярию (называемую иногда «чернильной комнатой»), домовую церковь, наконец, многочисленные пристройки (хлев, хранилище вина, погреб, галерею, кладовку, сарай для хранения древесного угля, называемый «угольной комнатой», и т.д.).

Еще более высокую степень занимают епископские особняки, близкие к модели жилища иногда каноника, иногда сеньора или даже герцога. Описание дома в Лане (*domus episcopalis laudunensis*), составленное после смерти епископа Жоффруа ле Менгра, последовавшей в 1370 году, странным образом не упоминает ни домовую церковь, ни канцелярию, но перечислены кухня и кладовая, нижний зал, а также семь спален: спальня покойного с гардеробной, спальни официала, капелланов, хранителя печати, сборщика податей, повара, привратника. Особняк епископа в Санлисе (1496) обустроен еще лучше. Нет канцелярии, но есть домовая церковь, небольшой зал, кухня и кладовая, шесть спален, сверх того, домик привратника, наконец, неплохие подсобные помещения (давальня для винограда, пекарня, большой и малый амбары, стойло для лошадей, погреб и хранилище для вина).

Епископский дом в Але, подробно описанный в 1354 году в связи с кончиной Гийома д'Альзона, или Марсийяка, епископа Але и аббата Граса, удивляет широтой размаха. В описи отмечены не только домовая церковь и большая аула (*aula major*), называемая также столовой (*tinel*), но и две канцелярии и не менее двадцати спален, среди которых так называемая парадная спальня — помещение, отличное от собственно спальни

епископа, обозначенной как «задняя спальня» (*retrocamera*). То же противопоставление парадной спальни и задней комнаты мы видим в документах 1389 года, относящихся к замку Порт-Мар, городской резиденции реймских архиепископов. Здесь спальни отведены хозяину особняка, капелланам, конюшему, кухонной прислуге, управляющему винным погребом, секретарю. В других местах комнаты в епископских жилищах могли предназначаться и таким духовным или светским лицам, как сборщик податей, казначей, викарий, конюший, камерарий, торговец зерном, прокурор.

Распределение и наименование помещений сами по себе рассказывают об образе жизни, о «жизненных стандартах» обитателей дома, даже независимо от его размеров, конструкции, местоположения, внутреннего или внешнего убранства, мебелировки. Более «буржуазно», например, иметь дома контору, чем мастерскую, а еще лучше канцелярию — вместо конторы или помимо конторы. Наличие стойла с лошадьми или мулами свидетельствует о том, что жильцы дома не перемещаются по улице пешком.

Богатая буржуазия, наиболее преуспевшие нотабли явно старались усвоить аристократические обычаи, но в то же время их особняки в общих чертах сохраняли приметы их профессиональной деятельности. Так было с руанским домом Пьера Сюре, главного сборщика налогов Нормандии времен ланкастерской монархии. В доме находились две конторы, одна на первом этаже, около входной двери, где работали финансовые клерки, другая на втором этаже. О последней в посмертной описи имущества сообщается как о «личной конторе вышеупомянутого покойного» (1435). Пьер Лежандр, казначей военного ведомства, затем казначей Франции, видный финансовый чиновник на службе Людовика XI, Карла VIII и Людовика XII, был связан с самыми благоденствующими семьями королевства (такими, как Брисоне), возведен в дворянство и даже посвящен в рыцари королем.

Он владел несколькими сеньориями в Вексене и, естественно, стремился войти в круги самой высшей знати. Опись его движимого имущества в 1525 году оправдывает эту амбицию лишь чрезвычайным изобилием гобеленов. Впрочем, особняк Лежандра на улице Бурдоне в Париже выглядел так, что вплоть до совсем недавнего времени, до исследований Андре Шателя, его принимали за особняк де ла Тремуя, подлинно и чисто аристократический. В этом особняке были не только домовая церковь и зал, но и три конторы, иными словами, три комнаты для профессиональной деятельности.

Хроника прокурора Дове, составленная во время процесса Жака Кёра, включает описания многих домов, принадлежавших казначею Карла VII или его компаньонам. Конторы и лавочки в Лионе и в Руане напоминают нам о природе занятий обвиняемого. Что касается большого дома в Бурже, предмета гордости своего владельца, «хотя незаконченный к моменту процесса, [он] показывает, что хороший вкус не был несовместим с любовью выскочки к комфорту» (Мишель Моля). Башни, домовая церковь, гербы, высеченные в камне, галереи и балконы: все было сделано для того, чтобы подчеркнуть царственную пышность этого дворянского жилища. Добавим еще четыре зала (рекорд для жилища такого рода) и амбициозные названия, присвоенные некоторым комнатам: комната Кораблей, Галерея, палата Епископов, комната Ангелов, зал Времен года. И, однако, в этом аристократическом особняке велась работа, приносящая доход его владельцу; в некотором смысле он занимался «недостойной деятельностью», на это указывают многочисленные конторские помещения с деревянными бюро; обтянутые, как было принято, зеленым сукном, они позволяли с удобством, внимательно изучать финансовые и торговые бумаги.

Это только в записках чисто литературного характера буржуазные особняки преодолевают последние преграды, которые мешают им ассимилироваться с чисто патрицианскими резиденциями. Не без задней мысли Жильбер де Мез в своем

описании Парижа начала XV века той же силой воображения объединяет «особняки епископов и прелатов» с особняками «господ из парламента, господ из счетной палаты, шевалье, буржуа и различных чиновников». Он помещает в особняк на улице Веррери, принадлежащий «сиру Милю Байе», представителю старой парижской буржуазии (который был менялой, затем должностным лицом при Карле V и Карле VI в палате податей, на монетном дворе, в счетной палате), часовню, «где каждый день происходило богослужение», и особо подчеркивает два уровня в жилище — зимний и летний: «У него там внизу были залы, спальни и канцелярии [автор остерегается говорить о конторах, *tablier*, и даже о делопроизводстве в мастерской], чтобы летом жить на первом этаже, и точно так же наверху, где он жил зимой».

Еще более убедителен пример особняка Жака Дюшье (или де Дюсси), главы счетной палаты, который умер в 1412 году. Здесь также речь идет о жилище, расположенном на правом берегу Сены, в деловом квартале, точнее, на улице Прувер. В своем описании Жильбер де Мез умышленно акцентирует внимание на военной атрибутике особняка (имевшего настоящий оружейный зал), на его удобстве и комфортабельности, на отказе от того, что могло показаться строго утилитарным (по двору гуляли райские птицы и павлины, а не курицы или утки). Подчеркивается утонченный вкус владельца, его истинное чувство культуры, аристократическая любовь к светским играм и музыке, где он проявлял себя не только как меломан, но и как музыкант: «На дворе были павлины и другие райские птицы. Первый зал украшали развешанные по стенам картины с прикрепленными разъяснительными надписями. Другой зал заполняли всевозможные арфы, органы, виолы, гитары, псалтерионы и прочие инструменты, на всех них умел играть упомянутый майстр Жак. В третьем зале были столы, шахматные доски и другие виды игр в большом количестве [две эти комнаты были предвестниками игровых и музыкальных

салонов XVIII века]. Кроме того, здесь была прекрасная часовня с аналоями чудесной работы, чтобы положить книги. От них можно было пройти к местам для сидения, ближним и дальним, расположенным справа и слева. Кроме того, здесь также был кабинет, стены которого покрывали драгоценные камни и ароматные травы. Кроме того, спальня, где хранились разнообразные меха. Некоторые прочие спальни были заставлены резными кроватями и столами, покрытыми богатым сукном и золочеными скатертями. В другой верхней спальне было множество арбалетов, часть которых украшали красивые эмблемы, а также штандарты, знамена, стяги, луки, пики, мечи с изогнутым лезвием, секиры, гизармы\*, павезы, тарчи, экю\*\*, сплетенные из железа и свинца, пушки и другие орудия с полным вооружением. Короче говоря, там имелось все, что предназначалось для войны. Также в этой спальне было окно, сделанное с необыкновенным искусством, сквозь его раму проходила полая железная труба, через которую при необходимости можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи, и разговаривать с теми, кто там находится, без излишнего обнаружения себя. На самом верху располагалась квадратная комната с окнами по всему периметру, чтобы смотреть на город сверху. И когда там ели, вино и пищу поднимали с помощью блока, потому что было очень высоко их нести. Пинакли особняка украшали прекрасные позолоченные изображения».

### ***Дворец папы в Авиньоне***

Изучение городского жилища неизбежно ведет к дворцам, о которых можно сказать, что в ту эпоху они почти всегда располагались в городе. Кроме того, выражение «дворец» в действительности не обозначает некий тип жилища

\* Гизарма — вид алебарды с длинным узким наконечником.

\*\* Павезы, тарчи, экю — виды средневековых щитов.

в архитектурном смысле, но скорее адресуется к статусу или рангу его обладателя. Так, некоторые тексты предлагают квалифицировать Венсенский замок как дворец, когда речь идет о королевской резиденции. В любом случае в пространственном отношении невозможно строго противопоставить дворец (как дворец короля в парижском сите) резиденциям (как резиденция Сен-Поль, также в Париже, особое жилище Карла V и Карла VI) и собственно замкам (как Лувр). На самом деле не так важны внешний вид, наличие или отсутствие укреплений, а вот внутреннее расположение, планировка комнат подчиняется и в том, и в другом случае общим правилам. Мы отмечаем тот же тип комнат в особняке Сен-Поль и в деревянном донжоне Венсена. И пример папского дворца в Авиньоне, к которому мы теперь обратимся как к одному из наиболее примечательных, подходит не только для других дворцов духовного или светского характера, но также для замков, при условии что они имеют те же размеры и назначение.

Известно, что Бертран де Гот, архиепископ Бордо, ставший папой Климентом V в 1305 году, принял негласное решение жить по эту сторону Альп и не отправляться ни в Рим, ни даже в Италию. После долгих переездов он в 1309 году обосновался в Авиньоне, а затем там жили его преемники на протяжении более полувека.

Иоанн XXII, епископ Авиньона, после избрания папой продолжал жить в своем епископском дворце, расположенном внутри городской стены XII–XIII веков на северной окраине города, в непосредственной близости от собора Нотр-Дам-де-Дом.

Изменения, произошедшие во дворце во время его понтификата (1316–1334), были незначительны. Бенедикт XII (1334–1342) приказал разрушить ансамбль и возвести на его месте резиденцию, соответствующую масштабу и значительности власти и престижа папы римского. За десять лет, с 1335 по 1345 год, во время его правления и в течение первых двух-трех лет правления Климента VI (1342–1352), появился «величе-

ственный дворец», по выражению хрониста того времени, «со стенами и башнями необыкновенной красоты и чрезвычайной мощи», возведенный под руководством Пьера Пуассона, а затем Жана де Лувра. Именно это сооружение, называемое Старым дворцом с тех пор, когда Климент VI начал возводить Новый дворец (*novum opus, palatium novum*), будет рассмотрено здесь по состоянию на 1345 год, запечатленное в достаточно точных и очень внимательно изученных эрудитами источниках.

Дворец Бенедикта XII был главным образом расположен по периметру монастырского двора четырехугольной формы. В восточной части находился сад, за ним — мощная стена.

«Хорошо охраняется его тюрьма, / Он заперт в своем дворце». Это один из упреков, которые Жан Дюпен обращает к папе в своей «Меланхолии».

Наличие наряду с продолговатыми постройками высоких и мощных башен, иногда стоящих рядом и образующих настоящий рукотворный каменный массив, показывает, что архитекторов беспокоила обороноспособность дворца, по крайней мере его безопасность. Предосторожность не была излишней: в 1398 году началась длительная осада папского дворца с подкопами, орудийной пальбой и попыткой поджога, из которой неукротимый Бенедикт XIII временно вышел победителем.

Жизнь дворца не была сосредоточена исключительно внутри: в действительности в большинстве помещений, включая спальню папы, многочисленные и широкие окна, особенно на верхних этажах, выходили на внешнюю сторону, в город и сад.

Монастырь с севера, юга, запада и востока окружали четыре трех-четырёхэтажных крыла. Башни, в свою очередь, имели чаще всего пять или шесть уровней, которые соединяли лестницы, выдолбленные в толще стен. Каждая башня была, таким образом, автономна, по крайней мере в верхней части, тогда как средние и нижние этажи соединялись переходами

в единый ансамбль — конструкция, в сущности, обычная для средневекового замка, позволявшая его жителям легко перемещаться во всех направлениях.

Начнем наш маршрут с южной части, собственно с владения верховного понтифика. В построенной около 1335–1337 годов пятидесятиметровой Главной башне, называемой еще Папской башней, Свинцовой башней или Сокровищницей (в настоящее время — башня Ангелов), обычно жил папа. Его спальня (*camera turris, camera papae*), комната 10 на 10 метров, с полом из керамической плитки, деревянным потолком и широким камином, хорошо освещалась через два больших окна, выходящих на юг и восток. Спускаясь, мы последовательно проходим спальню папского камерария — «министра финансов» папства, нижнюю сокровищницу, наконец, в самом низу находится погреб. Сюда, говорят, были опущены драгоценные винные бочки из Бона и Сен-Пурсена. Поднимаясь, попадаем в большую комнату, которая во времена Иннокентия VI была разделена на две части — верхнюю сокровищницу и библиотеку, а затем, на последнем этаже, — в «небольшой замок», где размещалось несколько солдат гарнизона.

Эта башня не была самостоятельной. Ее скрепляли, поддерживали, дополняли вспомогательные сооружения. На севере — невысокая четырехъярусная башня Канцелярии. Нижний ярус частично занимала тайная комната для контроля финансовых операций, поступлений и расходов папства; затем — комната для одежды; наконец, почти на одном уровне со спальней папы — его кабинет, 5 на 7 метров, облицованный плиткой. На западе в четырехугольной постройке находилась тайная кухня папы, соседствовавшая с его спальней и выходявшая с другой стороны в его персональную столовую. Пти тинель. На юге высилась сорокаметровая Гардеробная башня, построенная Жаном де Лувром в начале понтификата Климента VI, около 1342–1343 годов. Здесь от нижнего этажа к верхнему последовательно располагались парильня с котлом

и свинцовой ванной для папы, две гардеробных, одна над другой, на том же уровне, что и спальня папы, — так называемая Оленья комната (кабинет Климента VI), наконец, его личная часовня, посвященная архангелу Михаилу.

От Главной башни на север отходило крыло, расположенное между монастырем и садом. На первом этаже крыла находилась главная сокровищница и так называемая комната Иисуса (из-за монограммы Христа, украшавшей ее стены), на втором — уже упомянутый Пти тинель, возможно, также личная часовня, наконец, парадная спальня, за которой следовала, согласно классической модели, спальня папы.

Теперь перенесемся в северо-восточную часть. Здесь на возможно большем отдалении были сосредоточены служебные и хозяйственные постройки, в том числе для хранения бутылок, хлеба, посуды, дров и угля, кухня Бенедикта XII и, что еще более примечательно, Климента VI, винные подвалы и кладовые, а также тюрьма, оружейная, жилые помещения для части гарнизона (в башне Труйя). Не будем забывать про Туалетную башню, где находилось отхожее место; оно занимало три этажа, то есть было рассчитано на многие сотни лиц, постоянно проживающих во дворце.

Связывая личное пространство папы со служебной частью, восточное крыло продолжали Пти тинель и парадная спальня, а также зал Консистории на первом этаже и Гран тинель — на втором. Возможно, Гран тинель (пиршественная зала), предназначенный в первую очередь для официальных приемов, в обычные дни служил общей гостиной. В этом же крыле на первом этаже находилась башня Святого Иоанна, а на втором — две маленькие часовни.

Но самая важная часовня Старого дворца занимала все северное крыло. Она размещалась на двух уровнях: нижнем, из-за которого она с 1340 года стала называться «большой темной часовней» и скоро превратилась в склад, и верхнем — единственном сохранившем с тех пор литургическую функцию.

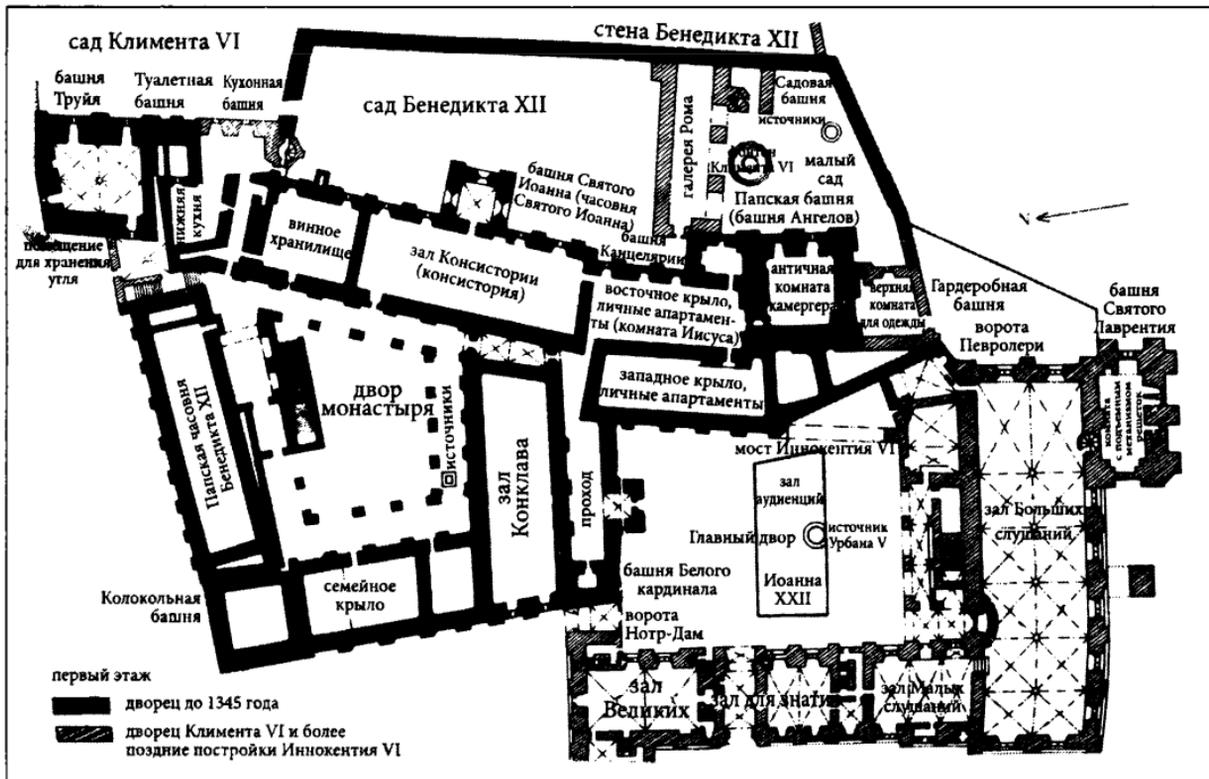


Рис. 11. Дворец папы в Авиньоне. План времен конца понтификата Урбана V, 1370 год. Первый этаж (по С. Ганьер)

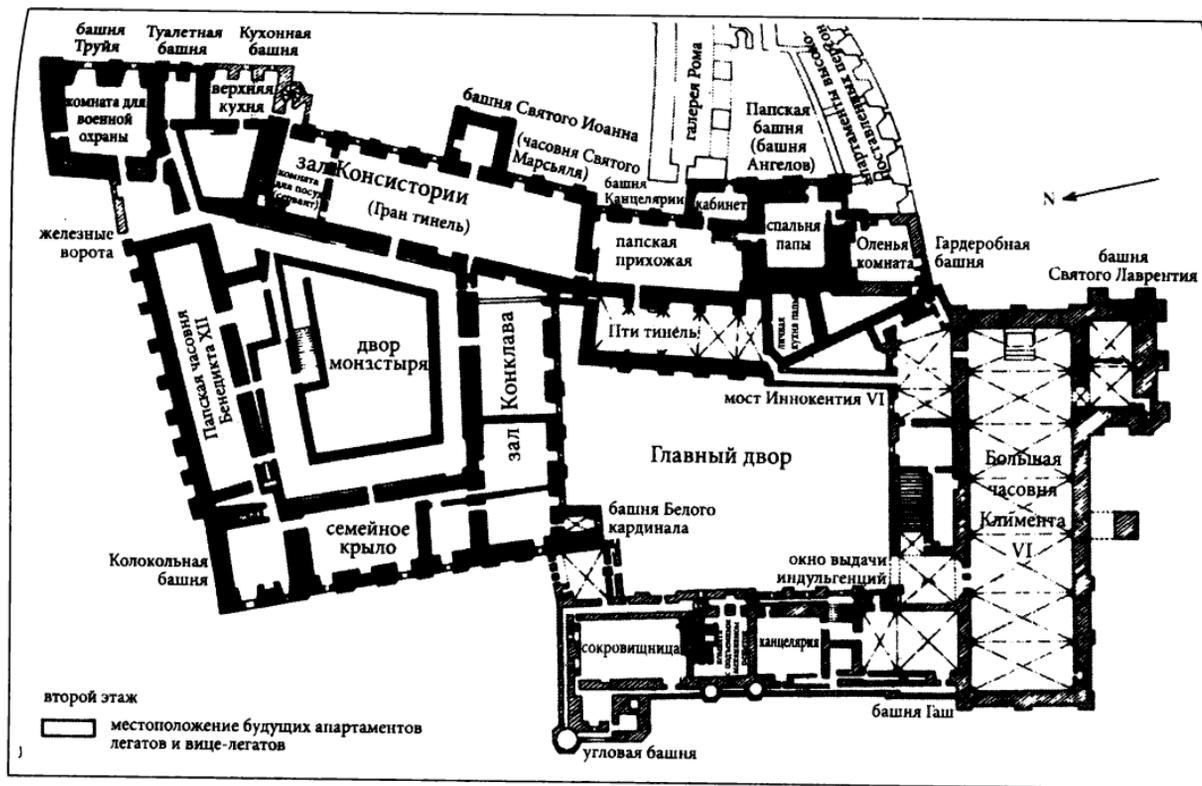


Рис. 12. Дворец папы в Авиньоне. План времен конца понтификата Урбана V, 1370 год. Второй этаж (по С. Ганьер)

Колокольная башня защищала северо-западное крыло. Высотой 45 метров, разделенная на пять этажей, она служила пристанищем родственникам папы, членам курии, охране, а также главному хозяину дворца. То есть функционально башня играла почти ту же роль, что и так называемое семейное крыло, закрывающее западную сторону монастыря. Здесь жили и работали постоянные помощники папы, его ближайшее окружение (*familia*). Между прочим, Бенедикт XII даже имел там кабинет.

Наконец на юге, сразу после укрепленной входной двери, простиралось крыло Конклава, где принимали знатных гостей, приехавших с визитом к папе. Там останавливался король Франции Иоанн Добрый, а несколькими годами позже — император Карл IV Люксембургский.

Дополняла четырехугольник башня Белого кардинала, по крайней мере частично отведенная под жилье заведующих раздачей хлеба и управляющих винным погребом.

Благодаря этому обзору создается впечатление, что дворец папы не без успеха совмещал различные функции. Военную функцию: здесь была крепость, располагавшая в зависимости от обстоятельств более или менее многочисленным гарнизоном. Функцию резиденции: даже дворец Бенедикта XII представлял собой пристойное обрамление для неизбежных анналов монархии и папского двора. Бюрократическую функцию: дворец имел центральные органы администрации и управления, известные своей активностью и осведомленностью.

Все это находит отражение в довольно строгой планировке внутреннего пространства. Вдобавок здесь нельзя провести четкую грань между общественной и частной жизнью, между занятиями членов курии и их собственным существованием.

Безусловно, пространства, отведенного администрации, было совершенно недостаточно, поскольку мы видим, что Новый дворец, дворец Климента VI, предназначался главным образом для размещения отсутствовавших ранее служб, в частности судебных (большие и малые судебные заседания).

Однако мы не думаем, что Бенедикт XII и его архитектор действовали по-новому, приняв относительно рациональный или по крайней мере «четкий» план. Документация дворца Иоанна XXII уже показывает разделение в том же духе: с одной стороны — частное жилище и залы приема понтифика, с другой — домашние службы (кухня и т.д.), в третьей части — рабочие кабинеты.

Стоит ли полагать, что разделение этого типа наметилось и утвердилось лишь в начале XIV века? Отнюдь не исключено, что построенные в XII и XIII веках замки и дворцы, как светские, так и духовные, уже использовали аналогичное разделение. Оно было внушено монастырской моделью, которая, в свою очередь, повторялась, принимая вид дворцов или особняков Византийской империи. Можно только констатировать, что из-за отсутствия или большой неточности исторической и археологической документации до начала XIV века нам позволительна лишь реконструкция, причем с большой долей воображения.

### *Дворы и сады*

В XIV веке в сите Авиньона дворец папы был далеко не единственным зданием, сосредоточенным вокруг внутреннего пространства — двора или монастыря. В свою очередь жилища кардиналов — знаменитые дворцы, предназначенные для приема князей церкви и их свиты, — были задуманы почти по тем же принципам. Документ 1374 года, составленный в фискальных целях, позволяет приблизительно воссоздать не сохранившийся до нашего времени дворец кардинала Гийома де ла Жюжи, племянника папы Климента VI (третья четверть XIV века). Двор окружает так называемый малый дворец, довольно беспорядочный ансамбль верхних и нижних спален, комнаток, залов и галерей, по-видимому, предназначенных для челяди, лошадей и мулов кардинала.

Большой кардинальский дворец состоит из трех корпусов, возведенных по периметру фруктового сада. Здесь находились: 1) в подвале — главным образом винохранилище и тайные комнаты; 2) на первом этаже — крытые галереи, гран тинель (столовая) с камином, крашенный портик, «большая парадная спальня», винтовая лестница; 3) на втором этаже — снова крытые галереи, соединяющие пять различных комнат (часовню, спальню, прихожую, старую и новую парадные спальни); 4) на самом верху — комната для хранения одежды, своего рода крытая веранда (чтобы освежиться или для сушки белья?) и вокруг крыши часовни — крытая галерея, окруженная зубчатой стеной, над ней возвышались колокольня и четыре угловые башенки. Добавим, что первый этаж малого дворца и одну из спален на втором этаже большого дворца соединял мост-галерея. Внешний вид зданий был суровым, неприветливым, но комнаты выходили во фруктовый сад, украшенный в центре минеральным источником. Это напоминает флорентийские дворцы XV века, особняк Жака Кёра в Бурже или Фондако деи Тедески в Венеции, но меньшего масштаба. В плане традиционные монастырские постройки и замки четырехугольной формы, так часто встречавшиеся во Франции со времен Филиппа Августа, были очень похожи. Возможно, самая оригинальная черта большого дворца кардинала де ла Жюжи — расположенные друг над другом галереи, обслуживающие ансамбль комнат того же этажа.

Интересное решение предлагает особняк Пьера Лежандра в Париже (ок. 1500). Передний двор, выходивший на улицу Бурдоне, был окружен галереями и службами, в то время как корпус главного жилища одной стороной выходил в этот двор, а другой — в сад или по крайней мере на задний двор, к улице Тирешап. Парижский особняк аббатов Ключи, построенный Жаком д'Амбуазом между 1485 и 1498 годами на левом берегу Сены, также состоял из переднего двора, крыла здания и главного здания с примыкающим к нему садом. В обоих случаях

речь идет о появлении дворцов, одной стороной обращенных во двор, а другой — в сад, что становится правилом в эпоху классицизма. Приобретая особняк в городе, церковная или придворная, чиновничья или торговая аристократия к концу Средневековья старается дистанцироваться от обычного городского окружения, устроить, насколько возможно, приватное пространство.

### Замки

Загородные сеньориальные жилища конца Средневековья базировались на разделении пространства между большим двором, нижним двором и садом, что отвечало желанию разграничить (выделить) зону вспомогательных хозяйственных служб, зону служебной деятельности «дворян» и, наконец, зону частной жизни и развлечений. Замки, возведенные или перестроенные государями из дома Валуа-Анжу (Людовик II, король Рене) в Анжере, Тарасконе, Сомюре, более или менее подчинялись этим интересам. Но, может быть, самым замечательным является пример замка Гайон: здесь речь не идет о постройке, по существу реализованной в начале XVI века кардиналом д'Амбуазом и представленной нам в виде величественных развалин, и тем более о плане и чертеже в изометрической проекции, выполненных Андруэ Дюсерсо, но о первом проекте, более италянизированном, план которого, к счастью, сохранился до наших дней.

Неизвестный рисовальщик этого плана, настолько яркого, что он оброс легендой, предполагал возвести замок по периметру большого четырехугольника площадью более 2400 квадратных метров, или почти в четверть гектара (34 на 18 туазов, 68 на 36 метров).

Это обширное внутреннее пространство было, в свою очередь, разделено натрое: в глубине — сад с фонтаном, окруженный галереей, посередине — «большой двор» площадью

более 1000 квадратных метров и прямо у ворот, которые должны были находиться в центре того, что предусматривалось сохранить от старого средневекового замка, — нижний двор с «местом для огорода, обслуживающего кухню» и «садком с водой для отмывания грязи» (прачечной).

Отметим, что известна планировка только первого этажа, состоявшего из трех крыльев. В одном из них были большая часовня и молельня, место регулярного и обязательного собрания всех обитателей замка, каковы бы ни были их статус, служебные функции и место на иерархической лестнице. Вокруг нижнего двора и огорода, широко выходя за границы как слева, так и справа, вплоть до уровня большого двора, находились хозяйственные службы — хлебопекарни, кухни, шорные мастерские — и жилые помещения для экономки, поваров и другой обслуги. Наконец, в самом дальнем, лучше всего расположенном крыле, около фонтана, сада и галереи, были апартаменты хозяина дома. Они состояли из очень большого зала 16 на 8 метров (128 квадратных метров), менее обширной парадной спальни (80 квадратных метров), собственно спальни (50 квадратных метров) и заканчивались, как обычно в сеньориальных жилищах того времени, «местом уединения», гардеробной комнатой, а также — отмечая принадлежность владельца к высшим духовным иерархам — канцелярией и молельней.

Наряду с этим тройственным разделением можно отметить разделение двойственного характера: вертикальное, между первым и вторым этажом, существование которого можно только предполагать, и разделение справа налево, продиктованное центральным положением двора, одну сторону которого занимали обслуживающие «всех» кухня, хранилище для бутылок, кладовая и т.д., а другую — те же помещения, но только для хозяина. Здесь, как и в папском дворце, были оборудованы две кухни.

Сметы строительства, часто сопровождавшие начальную разработку плана или макета (*patron*), выполненного

на бумаге либо пергаменте, особенно начиная с XV века, свидетельствуют о распространении в сеньориальной Франции стиля безопасных и крепких жилищ. Они были надлежащим образом снабжены винтовыми лестницами, чердаками и галереями, отапливались, легко приспособлялись для жилья, комнаты разделялись перегородками, покрытыми гипсовой штукатуркой (*chambrillees*), застекленные окна плотно закрывались ставнями (*ostevens*), а пол выкладывали плиткой и старательно устилали коврами. Попечение о доме иногда проявлялось даже в заделывании трещин и щелей (*gallefeustrer*) в стенах. Более того, не только парильни и ванны в этих особняках не были редким явлением, но еще иногда упоминаются приемные, библиотеки, залы для игры в мяч, в шары, бильярд или теннис, а также уборные, в особенности дамские. Безусловно, редчайшей достопримечательностью является охотничья галерея в замке Блуа, которой приблизительно в 1518 году будет восхищаться Беатис: «Перед дворцом ступенями, один над другим возвышались три сада, полные фруктов и листвы. Туда вела крытая галерея, украшенная с той и с другой стороны настоящими рогами оленей на головах из крашеного дерева, очень похожих на настоящие. Они были укреплены на стене на высоте примерно в десять ладоней рядом друг с другом, видны были только их шея, грудь и две передние ноги. На камнях, которые выступали вдоль стен, были расставлены многочисленные собаки, также из дерева; бегущие зайцы и собаки выглядели абсолютно натурально в отношении как размеров, так и внешнего вида. Кроме того, стену украшало несколько соколов, сидевших на подставках в виде руки».

Что касается пространства домашних служб, случалось, что оно довольно точно отражало традиционную структуру особняка: в Анжерском замке в 1471 году, помимо кухни и кладовой, были помещения для приготовления соуса, напитков, хранилища хлеба и фруктов.

Исключительное качество некоторых сеньориальных жилищ объяснялось очень высокой стоимостью строительства. Во время английской оккупации Нормандии Эдмунд Бофорт, граф Дорсе, Мортена и Гаркура, пожелал построить в Эльбефе на берегах Сены, около порта, дом и трехэтажное укрепленное здание. Высота первых двух уровней составила 3,6 метра, третьего, усеченного полом чердака и пригодного для жилья благодаря многочисленным окнам в скате крыши, — 2,4. Площадь этой прямоугольной постройки, насчитывавшей определенное число комнат, каждая из которых имела камин, планировалась 24 на 10 метров. Правда, башенки и уборные по четырем углам значительно превысили это пространство. Предусматривалась большая винтовая лестница, кроме того, одна или две поменьше. Каменные стены толщиной в метр, кровля, покрытая природным шифером, двор и сад, позолоченные и раскрашенные медные знамена с гербами графа Дорсе, поднимающиеся над крышей, кухня, облицованная плиткой, старательно устроенные уборные, — все это сказывалось на цене. Для жилища, полезная площадь которого, если исключить верхнюю часть дома, не превышала 800 квадратных метров, стоимость каменно-строительных, плотницких, штукатурных, кровельных работ, работ по водоснабжению и канализации, земляных работ должна была достигать 6700 франков. Нужно еще добавить стоимость земли, а также «сундуков, замков, стекла и другого оснащения». В сумме может быть 8000 франков: в сто с лишним раз больше, чем за дом приходского юре в Тувиле (см. выше, с. 560) с его 200 квадратными метрами полезной площади.

### *Коммунальное жилище*

Небольшим и крупным замки были прежде всего резиденциями владельца и его семьи. Тем не менее они всегда давали пристанище достаточно большому количеству слуг и служанок

с более или менее солидными обязанностями, связанных и не связанных узами брака. Слуги жили там постоянно или временно, на главных или второстепенных ролях, имея стол и кров. Судя по различным примерам, для представителя высшей знати обычной считалась челядь («дом») в несколько десятков лиц, для среднего дворянина — дюжина человек, для мелкого — десять. Многие комнаты использовались как общие спальни с четырьмя или пятью кроватями и таким же количеством сундуков, закрытых на ключ, где каждый хранил свои личные вещи. Другие предназначались только для служащих замка (управляющих, казначеев, сборщиков податей, капелланов и т.д.), которые могли, в свою очередь, иметь на службе лакея, спящего в той же или смежной комнате. Во время приема пищи все собирались в общем зале или зале «для большинства», поскольку некоторые привилегированные лица иногда получали право есть, пить и пользоваться свечами в своей комнате.

Это значит, что замки, так же как дворцы и большие городские особняки, предлагали первую модель коммунального жилища. Существовали многие другие. Мы подразумеваем здесь, за неимением казарм, появившихся гораздо позднее, университетские коллежи, больницы, лепрозории и особенно весь диапазон монастырских учреждений. Большинство красивейших и обширнейших зданий, лучше всего обустроенных, со сложнейшей внутренней планировкой, на протяжении веков принадлежали монастырям, и эта черта отнюдь не исчезла в конце Средневековья.

Здесь неуместно рассматривать происхождение и начальное развитие монастырской модели. Достаточно бросить взгляд на ситуацию XIV–XV веков, которая была унаследована от предшествующих времен; о современных творениях речь идет гораздо реже.

Первый тип был представлен учреждениями, которые объединяли коммунальную и частную жизнь. К ним относились картезианские монастыри, которые пользовались

успехом, поскольку в XIV веке это «религиозное семейство» пополнилось 110 новыми «членами» и еще 45 — в XV веке. В каталоге картезианских монастырей Европы 1510 года зафиксирована 191 действующая обитель, семь из них — для монахинь. Согласно воле основателя ордена святого Бруно, картезианская жизнь традиционно строится на отшельничестве; за исключением ежедневной литургии совместное времяпрепровождение сводилось к минимуму. Рефекторий использовался только по воскресеньям, в дни, когда собирался капитул, в течение восьмидневных праздников Рождества, Пасхи и Троицы, в дни похорон или вступления в должность нового приора. Остальное время монах картезианского ордена употреблял скудную пищу в своей келье, которая подавалась ему через окошко в двери. Отсюда важность постоянной жизни в келье, расположенной в отдельном доме. Картезианский монах, говорят статуты ордена, «должен заботливо и усердно стараться не создавать себе потребностей вне соблюдения разрешенных и общих уставов, не покидать келью, но скорее рассматривать ее как данность, так же необходимую для его жизни и спасения, как вода необходима рыбам, а овчарня — овцам. Чем больше он будет жить в келье, тем крепче будет любить ее, ибо он там занимается, упорядоченно и с пользой, чтением, писанием, пением псалмов, молитвой, размышлениями, созерцанием, работой. Между тем, если он часто и с легкостью будет покидать ее, она вскоре станет для него невыносимой». В 1398 году Филипп де Гарди, герцог Бургундский, преподнес в дар картезианскому монастырю Шаммоль десять маленьких библий — для распределения между «кельями, дабы монахи, которые будут иметь какое-то недомогание, из-за которого им нужно будет оставить церковь, могли бы участвовать в службе, не мешая брату, ухаживающему за ними, следовать в церковь, и дабы они изучали библию, если у них не будет возможности выйти из своих келей, чтобы читать ее в церкви или говорить о ней друг с другом».

Достаточно взглянуть на план ансамбля картезианского монастыря, чтобы убедиться в преобладании уединенного образа жизни. По сравнению с обширным монастырем, вокруг которого расположены дома монахов, остальные постройки мирского или сакрального характера выглядят очень жалко. Сами дома, одно- или двухэтажные, позволяют всем вести одинаково пристойную, даже комфортную жизнь. Аскетизм основывается не на качестве жилища, очень высоком по меркам Средневековья, а на строгости добровольного заточения.

Бегинажи (монастыри бегинок) во Фландрии и прирейнском районе Северной Франции, появившиеся здесь в XIII веке и все более популярные на протяжении двух последующих веков, представляют другой тип учреждений. В них коммунальная жизнь, конечно, присутствует до некоторой степени, но отшельничество полностью уступает место индивидуальной жизни в обычном смысле слова. Возьмем в качестве примера Дом бегинок в Париже, основанный Людовиком IX в 1266 году. Речь идет о довольно обширном пространстве, плотно закрытом от дневного света «поясом домов», на правом берегу Сены, рядом с Барбельскими воротами, но за стеной, возведенной во времена Филиппа Августа. По, возможно, оптимистичному свидетельству Жоффруа де Болье, исповедника короля, здесь проживали четыреста *honestae mulieres*, или бедных бегинок, иногда благородного происхождения. Они существовали за счет многочисленных общественных и частных пожертвований, а также сами зарабатывали на жизнь, усердно трудясь как в пределах бегинажа, так и за его пределами. Настоятельница общины бегинок назначалась духовником короля. В ее задачу входило следить за поведением бегинок, их одеждой, временем прихода в бегинаж или ухода, а также не допускать посторонних на территорию монастыря, в чем ей помогали «младшая настоятельница», привратник и совет старших сестер-бегинок. Контролировал Дом бегинок приор ордена доминиканцев в Париже. Не принося монашеского обета, но обязываясь

вести целомудренную жизнь, бегинки могли в любой момент разорвать это обязательство и вернуться к мирской жизни. Жить им разрешалось в любом месте, но пищу они принимали обычно в монастыре, а также обязаны были присутствовать на некоторых службах в капелле, открытой и для жителей квартала. Некоторые «монастырские» бегинки спали в общем dormitorio, ели в трапезной, между тем как другие имели отдельные спальни и даже отдельные дома, находившиеся под надзором «хозяйки спален». Дисциплина внутри этого фактически «женского пространства» была, в общем, довольно мягкой. Его обительницам, молодым или старым, по-настоящему набожным или, как подозревали, простым лицемеркам, предоставлялось достаточно много свободы в успокаивающих стенах опекунского учреждения.

Белые и черные монахи должны были оставаться верными образу жизни, детально разработанному их предшественниками, часто уже в XI и XII веках. В принципе не было никакой причины менять организацию пространства в аббатствах и приорствах цистерцианцев и бенедиктинцев. В этом легче всего убедиться на примере изучения развалин английских монастырей (Риво, Фаунтейн, Тинтерн и т.д.), деятельность которых внезапно прервалась. Однако необходимость обороны, а также катастрофическое падение доходов и наличности заставляли проводить глубокие изменения. В большинстве монастырей, «однажды назначивших приора, монаха, принимавшего путников, монаха, оказывавшего медицинскую помощь, келейника, больше не осталось простых монахов. Этому штабу без войск было невозможно соблюдать обеты уединения, молчания и отрешенности, неизбежно сопутствующие монашескому состоянию. Поскольку денежных средств монастыря не хватало на самые элементарные нужды его обитателей, аббаты вынужденно закрывали глаза на отступления от личного аскетизма. В мужском монастыре за плату разрешалось жить вне его стен, хлопотать о должностях священников,

даже о бенефициях», пишет Франсис Рапп. Эти наблюдения, базировавшиеся на примере Эльзаса, также справедливы для многих других областей. Произошло очень важное изменение: общий дормиторий — просторная комната с лежащими в ряд простыми соломенными тюфяками, ежевечерне старательно закрываемая на ключ по приказу или под наблюдением настоятеля, — был либо разделен на кельи, боксы посредством перегородок или занавесей, либо уступил место спальням (*camerae*) и спаленкам (*camerulae*), рассчитанным на одного, двух, трех или четырех человек.

Отчеты об инспекциях ордена Ключи полны жалоб и указаний по этому поводу. Принятый в монастыре Сен-Виктор в Марселе Беатис мог только констатировать: «В этом аббатстве находится около пятидесяти монахов ордена святого Бенедикта, они живут и спят отдельно» (начало XVI века).

Дормиторий монастыря бенедиктинцев в Литтлморе (Оксфордшир) носит следы разделения на отдельные спальни, находившиеся, правда, под высшим надзором приора, спальня которого располагалась отдельно, но на том же этаже.

В Англии всегда обращают на себя внимание монастыри с витражными окнами, скрывающие маленькие комнатки, красиво отделанные панелями. Монастырские богадельни отныне имеют отдельные помещения для пожилых или больных монахов. В монастырях есть жилища, или лучше сказать, «покои», выделенные не только для аббата или приора, но и для других высоких должностных лиц монастыря; особые спальни предназначались монахам, обладавшим университетскими степенями или стремившимся их получить.

Следовательно, предписание, сделанное после осмотра английского монастыря, отнюдь не излишне: «Есть и пить в одном помещении, спать в одном помещении, молиться и служить господу в одной молельне <...>, полностью отказаться от всех частных уединений, спален и индивидуальных жилищ» (XV век).

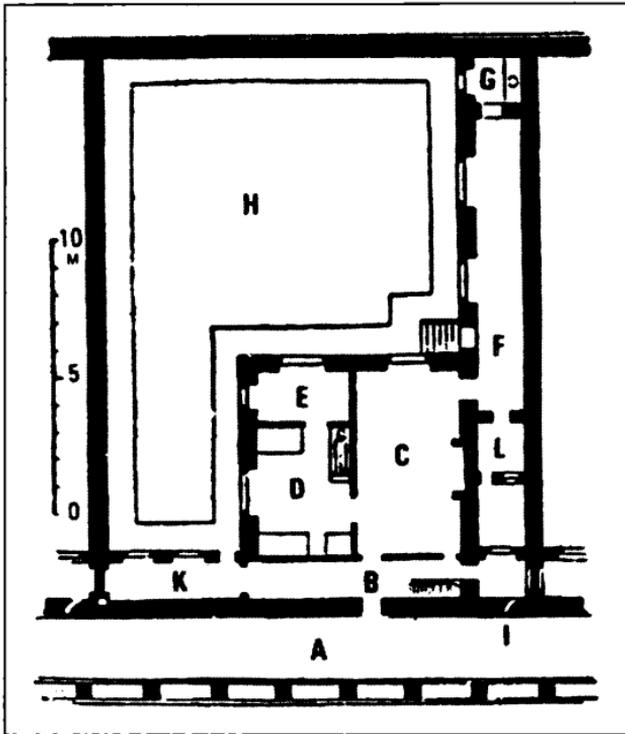


Рис. 13. Типовой план жилища картезианского монаха (по Виолле-Дюку). А: галерея монастыря; В: коридор; С: первая (проходная) отапливаемая гостиная; D: келья с кроватью и тремя предметами мебели; E: молельня; F: крытая галерея с уборными в конце (G); Н: небольшой сад; I: башня для хранения припасов; К: маленький портик, позволяющий приору видеть, что происходит в саду, и обеспечивать картезианцев дровами и другим необходимым; L: место для хранения (сарай, склад)

Конечно, в связи с распространением едва ли не всюду обычая, явно противоречивших лучшим установлениям монастырской жизни, пытаются говорить о моральном и духовном упадке, возраставшей недисциплинированности части монахов, не имевших призвания свыше, слишком привязанных к жизненным благам и склонных легко нарушать правила под

самыми различными предложениями. По этому поводу можно высказать три замечания:

а) тенденция нарушать ограничения коммунальной жизни проявилась задолго до «кризиса» конца Средневековья. В истории монашеских орденов «упадок» почти всегда начинался преждевременно, даже неожиданно, и был связан со спадом первоначального рвения и иногда с уходом из жизни первых новаторов;

б) всякое обобщение было бы неправомерным; монастыри, конечно, сохраняли верность официальным обычаям. Таково, например, аббатство доминиканцев в Пуасси, по свидетельству Кристины Пизанской: встречи с внешним миром происходили здесь только в помещении парлатория (приемной); общая спальня — дормиторий, продемонстрированный знаменитой писательнице и ее свите (мужчины по определению здесь не могли находиться), казалось, не имел никаких отступлений от доброго правила: «Но нам еще хотели / показать монашек, которых очень много, / Ибо им предписан дормиторий / и прекрасные подвесные кровати / И показали, / Но в это место не вошли наши кавалеры / Никто, кто бы он ни был, ибо мужчинам запрещено входить / когда-либо, по праву запрета их выпроводили / В этот раз»;

с) но, возможно, особенно способствовала и в известной мере оправдывала предоставление многим монахам индивидуальной спальни для размышлений, уединенной молитвы и, наконец, сна общая эволюция духовной жизни. Можно также рассмотреть влияние практики, принятой в некоторых нищенствующих орденах, например в ордене братьев-проповедников. Действительно, святой Доминик, как только обосновался в Тулузе, приказал построить на верхнем этаже монастыря келью для своих спутников, *ad studendum et dormiendum desuper satis*. Безусловно, речь идет об очень скупом отмеренном пространстве: длина кельи едва превышала длину кровати, ширина была ровно полтора метра. Но, по крайней

мере, каждый брат имел отдельную площадь. Затем площадь келей немного увеличилась, чтобы дать возможность поставить пюпитр и кресло для работы. В миланском монастыре Святого Евсторгия в конце XIII века стены из легкого камня заменили деревянными перегородками, но внутренняя планировка должна была позволить смотрителю (*circator*), проходя по *la via centrale* дормитория, без труда окинуть быстрым взглядом братьев, прилежно сидящих за своими столиками или задумчиво лежащих на кровати. Только действующие профессора (*lectores actu agentes*) имели право на собственно спальню, полностью закрытую и чаще всего расположенную в другой части монастыря.

Достаточно обычным явлением в конце Средневековья был отказ от общей спальни, по крайней мере в благочестивых и благотворительных учреждениях. Уильям де Ла Поль, первый герцог Саффолка, желает, чтобы обитатели основанной им богадельни Эвелма располагали «некоторым местом для себя... а именно маленьким домом, кельей или спальней с камином и с другими необходимыми вещами того же рода, где каждый мог бы сам по себе есть, пить и отдыхать».

В 1380 году в Денвильском коллеже в Париже предусматривалась одна спальня для двух школяров, но это не означало, что они могли ускользнуть от контроля учителя: «Как днем, так и ночью, до тех пор, пока они не лягут в постель, спальня не будет закрыта ими или одним из них, чтобы учитель мог легко попасть к ним в любое время, когда пожелает, и чтобы школяры взамен увеличили свое рвение к учебе и опасались предаваться праздности и плохим привычкам. Учитель может иметь ключ от каждой комнаты, если сочтет это необходимым».

В 1443 году статуты Королевского колледжа (Кембридж) определили одну спальню для двух или трех юношей, «собратьев» (*fellows, socii*), с таким же числом кроватей, а также одним рабочим местом (*loca studiorum*). Конечно, здесь нет отдельной комнаты для каждого, что, возможно, считалось

слишком дорого или чересчур либерально, но это далеко от общей спальни и от переполненной комнаты для занятий. Впрочем, польза такого размещения становится очевиднее, если замечают, что самый выдающийся «по уму, скромности и учебе» *fellow* оказывает некоторое влияние на своего или своих товарищей.

Примечательно, что бедный студент Николас, главный герой «Рассказа мельника» Чосера, живший в Оксфорде в доме плотника, имел собственную комнату «один, без всяких товарищей».

В середине XVI века юрист Герман фон Вайнсберг из Кельна умилялся, вспоминая спальню, которую двадцатью годами ранее отец предоставил лично ему на самом верху большого фамильного дома: «маленькую комнату, мой кабинет, *studiolo*».

«Когда в 1529 году мой отец приказал начать строительство, около большой комнаты соорудили две маленькие, одну над другой. Я стал владеть верхней, отец приказал там сделать окно и дверь, которая могла закрываться на ключ. В эту маленькую комнату я принес столик, стул, настенную доску и устроил там себе кабинет, *studiolo*. Книги, ящики, бумагу, чернильницу и т.д., все, что я смог скопить, я притащил наверх, а также изготовил алтарь и поместил туда все, что со благоволили мне дать. Я всегда запираю дверь на ключ, чтобы никто не мог ко мне войти, кроме моего кузена и школьного товарища Христиана Герсбаха, который все время был у меня. Именно там, возвратясь из школы, я проводил большую часть времени, там читал, писал и начал заниматься живописью, поскольку мой кузен, который хорошо умел рисовать, мне очень помог. И мой отец был очень доволен, видя, как я устроился, и помог обустроить комнату, что не давало мне задерживаться на улице. Он всегда сохранял для меня эту маленькую комнату, даже когда я был в Эммерихе; и когда я возвращался, то приходил все в том же состоянии».

### Кровать

Люди Средневековья, реально осознавая, что живут в бедном мире, где каждая вещь имеет свою цену, кажется, были зачарованы предметами домашней обстановки. Многие писатели воспевают обустройство дома (*les oustillemens d'ostel*) в стихах еще чаще, чем в прозе, на народном языке еще чаще, чем на латыни. Недостаточно, чтобы особняк был хорошо построен, нужно еще, чтобы он был хорошо «обустроен». Среди всех перечисленных предметов чаще всего вспоминается и занимает первое место именно кровать.

Кровать изображена в центре очень непритязательной обстановки, доступной, согласно Гийому Кокийару, даже человеку «бедному и ничтожному»: / Стоит только одна кровать, один стол, / Одна скамья, один горшок, одна солонка, / Пять или шесть стаканов, / Один котелок или горшок для гороха».

То же и для бедной пряжи из «Хорошего хозяина». Тем же размышлением руководствуется и редакция разговорников, предназначенных для изучения английского французами и французского англичанами:

Сейчас вы должны иметь кровати:	Now muste ye have bedde:
Кровати из перьев;	beddes of fetheris;
Для бедняков кровати —	for the poure to lye on,
На гусином пуху;	beddes of flockes;
Саржи, сукна,	sarges, tapytes,
Несколько цветных,	quilted painted
Стеганных покрывал;	for the beddes to covere;
Также одеяла;	coverlettes also;
Скамейки, которые красивы;	bankers that ben fayr;
Под кроватью матрас	under the bedde a chalon,
С соломой внутри.	strawe therin

С кровати и ее аксессуаров начинается баллада, которую Эсташ Дешан сочинил «для новобрачных»: «Вам, новым

хозяевам, / Нужны для хозяйства / Матрасы, подушки, кровать и солома».

В одной из речей, произнесенных в 1453 году, Жан Жювеналь дез Юрсен\*, чтобы показать почти невыносимое бремя королевских налогов, привел такой пример: «И даже если у бедняка нет ничего, кроме кровати, которую он делит с женой и детьми, то заберут и кровать, как будто руководствуясь словами: *sic volo sic jubeo, sic pro ratione voluntas*»\*\*.

В 1539 году Жиль Корозе в своих «Домашних гербах» после чествования спальни и перед чествованием кресла, скамейки, стола, шкафа для посуды, сундука и табуретки горячо прославляет кровать. И это в выражениях, которые отражают ее почти мифическую ценность: кровать не только «нежная, уютная», не только «украшение спален», но, свободная от всяких эротических аспектов, «кровать чести», целомудренный и публичный свидетель святого супружеского союза.

Кровать — практически единственная мебель, которую передают по завещанию верному слуге, нуждающемуся родственнику, больнице.

В конце XV века в Керси свадебная кровать регулярно входит в состав приданого девиц, оцениваясь от 8 до 10 золотых экю.

Иностранные путешественники, в их числе Беатис, ноюя на постоянных дворах, остались невысокого мнения о достоинствах французской кровати, ставя ее значительно ниже немецкой кровати (это чудо лишено паразитов) и даже фламандского ложа. Правда, с XIII века в литературных произведениях кровать-софа, украшенная перьями по французской моде, оставалась предметом гордости.

\* Историк, юрист и религиозный деятель (1388–1473).

\*\* «Так я хочу, так велю, вместо довода будь моя воля» — цитата из «Сатир» (VI, 223) римского поэта Децима Юния Ювенала (перевод Д.С. Недовича)

Существовал рынок кроватей, так же как и одежды. Впрочем, часто ремесло перекупщиков и перекупщиц кроватей соединялось с ремеслом старьевщиков и старьевщиц.

Как подсказывают некоторые из только что процитированных текстов, «полная кровать», представленная в многочисленных произведениях искусства, состоит из трех элементов: деревянной основы; собственно постели; наконец, ткани, висящей вокруг кровати, что позволяет спящему, если он желает, уединиться, защитившись от взглядов, света и сквозняков.

Основное выражение для обозначения каркаса кровати, употребляемое и в наши дни, — «кровать без матраса», а также «ложе» или «спальное место». Обычно каркас был деревянным, чаще всего из дуба, иногда из сосны или пихты (*lectum de tabulis*, в некоторых текстах на латыни). Кажется, таким был «окаймленный» каркас, который отличался от «веревочного» каркаса (*lectum cordegi*, *lectum cordelhium*), встречавшегося в парижском Отель-Дье, у доминиканцев Пуасси и в Анжерском замке во времена короля Рене. Эти веревки, иногда перекрещивавшиеся, были похожи на наши современные кроватные сетки из ремней. Их приходилось периодически подтягивать, чем занимались плетельщики или веревочники. Встречались также каркасы одновременно «окаймленные» и «веревочные».

Кровать была высоко поднята над полом, забраться на нее и спуститься помогала так называемая кушетка (напоминает наши выдвижные кровати). В описании руанского дома Гуго Обера, компаньона Жака Кёра (1453), упоминается, например, «небольшая кушетка под кроватью». Кушетки были снабжены колесиками, на которых они легко передвигались: «тележка, кушетка с колесиками, колесный каркас, низкая кушетка с колесиками, которые помещаются под кровати».

Другие каркасы могли разбираться на части, даже складываться (благодаря шарнирам?), как, например, походная кровать, используемая в военных условиях.

Некоторые, но не все каркасы устанавливались на ножках, подпорках, одним словом, на деревянном помосте, дополненном железной конструкцией для поддержки балдахина. Это большое новшество зрелого Средневековья (XIII век) породило парадную кровать, а также «место правосудия», под которым следует понимать трон — возвышающееся «кресло» — под балдахином.

Каркасы часто поднимали так высоко, что взобраться на кровать можно было только с помощью деревянной ступеньки, иногда обтянутой тканью. В описании Менитры, загородного замка короля Рене, в монаршей спальне упоминаются «два длинных деревянных сундука, каждый с двумя замками, служивших ступенями, и одна ступень на полу, в переулке кровати». Действительно, выражения «переулок» и особенно «улочка» («альков») употреблялись по крайней мере с XIV века для обозначения промежутка между кроватью и стеной, который, как известно, был воспет в литературе XVII века.

В каркас или на каркас клали солому (*estrain, fuerre*), что составляло в точном смысле соломенный тюфяк, или, как иногда говорили, *chutrin*. К тюфяку добавлялся (но не всегда) собственно матрас, чаще всего называемый *coute*, периной или *coetis*. Изготовленный из канского, люнельского или бретонского тика, бумазеи, шерстяной ткани, даже из шелка, иногда снабженный чехлом, матрас набивался остатками соломы (трухой, *balosse*), овсяной мякиной, шерстью или, что особенно ценилось, перьями, а еще лучше — пухом. Наряду с матрасами из шерсти были распространены матрасы из хлопка, особенно на юге Франции.

Кровать дополнялась одной или несколькими подушками или валиком (*traversier, traverslit*), одним или несколькими «изголовьями», часто из пуха, парой простыней (*linceuls*) различного качества (из льна, хлопка или конопли, даже пакли), суконным одеялом, которое могло быть подбито драгоценным или обычным мехом, и покрывалом из гагачьего пуха,

которому, видимо, соответствуют понятия «стеганое одеяло» и *lodier*.

Ткань вокруг кровати и над кроватью — сетка, балдахин или полубалдахин — имела форму шатра, палатки. В XV веке, в отличие от века предыдущего, балдахин и изголовье получили уже многие кровати, сверх того, их окружали три занавеси или полог, укрепленные на раме, державшейся на четырех железных стойках, продолжениях ножек кровати. Для занавесей использовались полотно, саржа, шерсть или шелк, гобелены, даже сукно, подбитое мехом.

В действительности существовала целая иерархия кроватей, прежде всего в отношении размера: отмечают кровати в полторы, две или три ширины полотнища, одеяла и простыни для таких кроватей обычно на полширины больше. Затем в отношении свойств матраса и качества простынь и одеял, наличия или отсутствия изголовья выше (сверх) подушки или валика. В третью очередь в отношении каркаса: кровати без каркаса, то есть простейшей конструкции, и кровати с каркасом — их изготовление, напротив, требовало большого мастерства. Наконец, одни кровати имели балдахины и занавеси, другие, по свидетельству отчетов, описаний и миниатюр, были их полностью лишены. Отсюда стоимость кроватей чрезвычайно различна, от нескольких су до нескольких десятков ливров. В конце XV века в Париже самой обычной считалась кровать стоимостью 60 парижских су (3 ливра).

Аскетичные монастырские постели, остававшиеся верными духу бедности и покаяния, следует рассматривать отдельно. У них были простейшие каркасы, отсутствовали полог и простыни, мягкую и теплую перину заменяли жесткий соломенный тюфяк или неудобные матрасы, набитые шерстью, *de bourre lanissee*. Находясь в 1517 году в большом картезианском монастыре, Беарис сожалел, что он и его патрон, кардинал Арагонский, должны были спать «на маленьких соломенных кроватях без простыней, имея в качестве одеял грубые бараныи

шкур». Вернувшись из крестового похода, Людовик IX сосредоточился на умерщвлении плоти и отказался спать на матрасе из перьев, довольствуясь доской, покрытой тонкой хлопковой подстилкой.

Монашеские кровати могли иметь красивый внешний вид, оставаясь аскетичными. Так, в dormitorio приорства Пуасси монахини, как писала Кристина Пизанская, спят одетые, без простыней, на матрасе из шерсти, а не на перине, однако их кровати покрыты изысканными гобеленами: «Они не надевают рубашек и дамского белья, / Проводят ночь, не имея вышитой перины, / Но матрасы, / покрытые прекрасными коврами из Арраса, / Хорошо сделаны, но они лишь украшение [матрасов], / Которые жестки и наполнены оческами конопли, / И, одетые, / Проводят ночь эти усталые девы, / Которые просыпаются разбитыми / По утрам...»

В середине XIV века в лепрозориях и приютах парижской епархии кровать больного, по-видимому, не имела ни каркаса, ни полога, но только перину, подушку, пару простыней и одеяло. Другие больничные учреждения вели себя более великодушно или более рассудительно, предусматривая два одеяла летом и три зимой.

В сделанной в 1453 году судебной описи помещений, где жили рудокопы рудника Коны в Лионне, принадлежавшего Жаку Кёру, упоминаются два типа кроватей: в первом случае она состоит из перины, перьевой подушки, двух простыней и двух одеял; во втором — ограничивается соломенным матрасом и единственным одеялом. В одном случае кровать оценивается в 20, 30 или 40 су; в другом — в 10 и даже дешевле. У них нет ни деревянной основы, ни полога.

В известной миниатюре Жана Бурдишона, символически изображающей бедность, мы видим нищего в своей постели: пара драных простыней, соломенный тюфяк на решетке кровати, ветхое дырявое одеяло, из-под которого торчат две ноги, одна перевязанная, другая, согнутая, в разорванной штанине...

Повар епископа Санлиса (конец XV века) был, безусловно, лучше обеспечен, имея постель из тикового полотна, с валиком из перьев, парой простыней, покрывалом и одеялом из грубого полушерстяного сукна (все оценивалось в 40 парижских су).

В 1403 году Колен Дуль из Конша в Нормандии, казненный по обвинению в «недостойных поступках», оставил после себя «кровать, а именно перину и валик, наполненные шерстью, старое изношенное одеяло из рыжеватого сукна и две пары грубых бельевых простынь». Все, проданное с наценкой, принесло 40 турских су.

Кровать добропорядочной парижской мещанки, вдовы королевского цирюльника Перетта ла Гаве, была значительно помпезнее, едва ли не в сеньориальном духе: простыни из льна, изголовье из перьев, перина и подушка из фландрского тика; широкую постель размером 1,8 на 2,1 метра окутывали балдахин и два полотняных полога (ок. 1460). Общая сумма на этот раз достигает 8 ливров 6 су 8 денье парижской чеканки.

Еще большее великолепие ожидает в «длинной спальне» замка Туйар, где только что умер Людовик д'Амбуаз, виконт Туйар (1470). Согласно посмертной описи, здесь находится большая деревянная кровать со ступенькой. На ней лежат перина, валик, белая шерстяная ткань, покрывало, одеяло и «гарнитур»; имеется также балдахин из гобелена, сверх того, с кружевной прошивкой (иначе говоря, с изголовьем), и три полога из голубого полотна. Те же ткани и убранство и тоже балдахин у находящейся рядом кушетки. Есть еще маленькая кровать, «прячущаяся» под большой. Наконец, на стене висят пять гобеленов, образуя вместе с гобеленами кровати абсолютно однородный ансамбль.

В действительности во второй половине Средневековья (первые убедительные примеры на этот счет восходят к XIII веку) балдахин, пологи, изголовье, покрывало и настенные гобелены могли составлять изысканное убранство.

«Спальня» без особых проблем монтировалась и демонтировалась, укладывалась в сундук, скапливалась в шкафах и сундуках и, поблекшая или вышедшая из моды, отправлялась на чердак. Передвижной, переносной декор полностью соответствовал обычаям того времени, когда вельможи вынужденно или добровольно непрерывно перемещались с места на место.

В XIV и XV веках были выкроены, сотканы и изготовлены невероятно роскошные спальни. Среди множества примеров, предоставляемых прежде всего финансовыми документами, мы ограничимся упоминанием не самой экстравагантной спальни, которая сопровождала Екатерину Бургундскую в 1393 году, когда она благодаря замужеству вошла в семью Габсбургов: «Спальня, обитая голубым сатином, отделанным вышивкой, имеет пять вензелей с гербами австрийской принцессы, снабжена полным балдахином, спинкой... пологам, окрашенными сандалом, такими же десятью квадратными подушками, украшенными вышитым гербом упомянутой девицы. Также она спальня снабжена постельным покрывалом искусной работы, четырьмя гобеленами для натягивания на перегородки, постельным одеялом, скамейкой и шестью квадратными подушками из шерсти, украшенными гербом, как предыдущие, тремя ступеньками [здесь имеется в виду, чтобы спуститься с кровати] вокруг кровати и покрывалом из голубого сукна, отороченным беличьим мехом».

Разумеется, такая роскошная, совершенная комната была исключением. Статистически редчайший случай, но он служит моделью, эталоном. Вследствие классического явления диффузии всего-навсего обычные буржуазные интерьеры украшаются гобеленами, «ворсистыми коврами» (на стенах, мебели и даже на полу), тканями из полотна и из саржи, занавесями вокруг кровати и даже на окнах, квадратными подушками и чехлами, надеваемыми на скамьи (*banquiers*). Вот спальня, где в 1438 году умер господин Пьер Кардонель, каноник собора Нотр-Дам: две кровати покрыты белым стеганым одеялом,

кровать покойного имеет, кроме того, балдахин, изголовье и три полога из белого полотна. На стене три алых саржевых полотнища, на одном из которых в центре изображен белый олень на фоне белых роз. Белое и красное сочетание не должно было произвести плохого впечатления.

Но все-таки большинство кроватей не имели даже скромных пологов и каркаса: ничтожные кушетки, жалкие соломенные тюфяки, лежащие прямо на полу или на наскоро сбитых досках, лоскутные одеяла, изношенные до дыр, слишком тонкие или слишком малочисленные, чтобы по-настоящему держать тепло.

Количество кроватей в жилище, естественно, соответствовало его размеру, доходам его владельца или владельцев, числу домочадцев и варьировалось от единицы до нескольких десятков. В многочисленных постройках предприятия по добыче руды Жака Кёра в Коне было добрых полсотни кроватей, личный состав служащих и рабочих, которым они предназначались, к сожалению, неизвестен. В замке Мадик насчитывалась 31 кровать, сверх того, 35 кушеток. На вопрос прокурора Дове казначей (*despensier*) Жака Кёра заявил, что «большой дом [Буржа насчитывал] около 15 или 16 кроватей, как и постелей, из них большие кровати красивые и добротные» (конец XV века). В датированной 1525 годом описи расположенного на улице Бурдоне парижского особняка Пьера Лежандра, казначея Франции, составленной после его кончины, перечисляются около двадцати кроватей, из них половина постелей и половина кушеток, обычно распределенных парами (постель и, сверх того, кушетка) в спальнях и гардеробных. В его загородном замке в Аленкуре было тридцать кроватей, в замке Гарена — около двадцати. Таким образом, в трех главных резиденциях Пьера Лежандра (у него были и другие, но они пустовали) число спальных мест достигало 70, не считая деревянных каркасов кроватей, которые из-за дефектов матрасов не могли использоваться. В 1542 году в замке Туяр,

имевшем около сорока комнат, насчитывалось почти столько же кроватей, включая две колыбели в спальнях кормилиц и несколько походных коек.

Спали, как правило, не во всех комнатах. Мы не говорим о погребах, винохранилищах, амбарах, галереях, чердаках. Но, за редким исключением, кроватей не было ни в кухне, ни в кладовой, ни в конторе, ни в канцелярии, ни — особенно — в гостиной. Кровати находились в спальнях (даже говорили при случае о «комнатах для спанья») и относящихся к ним помещениях (гардеробных, даже в задних комнатах), а также в некоторых служебных помещениях, особенно в конюшнях, возможно, во избежание кражи лошадей.

Обычно считается, что в Средние века в одной кровати спали не только супруги, но также их дети, маленькие и постарше, или несколько братьев и сестер, несколько друзей, или слуг одного хозяина, или иностранцев, вынужденных делить комнату вследствие жизненных обстоятельств. Эта точка зрения верна: солдаты, школьники, больные, бедняки спали по несколько человек в одной кровати, о чем пространно свидетельствует как письменная, так и иконографическая документация. И большая кровать, не только супружеская, но и семейная, не является мифом (миниатюра из книги времен Жанны Французской). Все-таки заметим, что близости такого типа старались избегать по соображениям комфорта, гигиены и особенно морали. В своем трактате против роскоши Жан Жерсон пишет: «Слава Богу, что по французскому обычаю дети спят одни в маленьких кроватях, ибо по фландрскому обычаю братья или сестры либо еще какие-то родственники спят вместе». Правило отдельной кровати соблюдалось в большинстве монастырей и даже в некоторых коллежах. Об этом заботились и в больницах. Так, в Отель-Дьё в Париже сестры сожалели, что из-за отсутствия отдельных кроватей для детей вынуждены укладывать «как девочек, так и мальчиков вместе на опасные кровати, на которых другие больные умерли

от заразной болезни, и они спят по семь, восемь, девять, десять и двенадцать в одной кровати, как в изголовье, так и в ногах».

В том же заведении было предписано принять все возможные меры, чтобы выделить «жалующимся больным, каждому, отдельную кровать».

То есть обычай «спать по несколько человек» часто был следствием простого дефицита кроватей. Все эти люди могли желать отдельной кровати или по крайней мере спать с теми, кого выбрали.

Зато хозяева ночью не всегда хотели разлучаться со своим лакеем или камергером, горничной или служанкой. Эти слуги спали на кушетке в комнате хозяина, устраивались в прилегающей гардеробной или иногда в соседней комнате. В замке Мадик, например, рядом со спальней госпожи находилась спальня «служанок госпожи». В руанском замке: «в каковой маленькой спальне находились служанки супруги одного капитана» (1436). Антонио де Беатис отмечает, что в спальнях гостиниц Пикардии, в отличие от Германии, где нагромождают максимум кроватей, установлены только одна кровать для хозяина и одна — для слуги. Коммин вспоминает в своих «Мемуарах», что ему случалось в качестве камергера Карла Смелого, герцога Бургундского спать в комнате последнего. Фаворит короля или вельможи регулярно делил с ними комнату. И в «Парижском хозяине» добропорядочный человек советует своей молодой супруге: «Если у Вас есть служанки и горничные от 15 до 20 лет, поскольку в этом возрасте они глупы и не знают мира, прикажите им спать подле Вас в гардеробной или в спальне *cilicest*, где нет ни слуховых окон, ни низкого окна, выходящего на улицу».

Конечно, бесконечная зависимость никак не радовала слуг. Хозяева же, держа их постоянно при себе, стремились как осуществлять над ними моральный контроль, так и располагать их слугами в любое время.

Добавим, что такие художественные произведения, как «Сто новых новелл», хорошо показывают это постоянное

сосуществование хозяев и их домочадцев, их «личной прислуги». Конечно, в соответствующий момент хозяин мог их удалить на какое-то время и предаться интимной жизни под защитой опущенного полога своей кровати.

### *Место для приемов и место уединения*

Документы того времени любят представлять дом как очень закрытый мир, в пределах которого можно со всей откровенностью, безраздельно утверждать почти сеньориальную власть *chef d'hôtel*. «Парижский хозяин» советует в конце дня, после того как очаг погашен, старательно закрывать входные двери и передавать ключи от них доверенной персоне — госпоже Аньес, бегинке, или эконому Жану, «дабы никто без спросу туда не вошел». Ален Шартье\*, чтобы разубедить своих современников становиться придворными, утверждает, что ничто не заменит независимую жизнь в собственном домике: «Как только дверь в твой дом закроется, туда не войдет никто другой, если ты не захочешь». «Дом в безопасности, но лишь когда он закрыт», — пишет Франсуа Вийон.

Однако внутреннее пространство дома, особенно начиная с определенного уровня, не было совершенно однородным, недифференцированным. В нем различались полюсы социальной или частной жизни, хозяйственной или профессиональной деятельности. Прежде всего, можно выделить обогреваемые и необогреваемые зоны (или, что не одно и то же, имевшие систему отопления и не имевшие таковой). Среди первых, естественно, кухня, а также спальня хозяина, затем другие спальни и общая комната, обогреваемые менее систематически и менее регулярно. Вспомним также «теплые комнаты» (*chauffoirs*) в монастырях. В Германии комнаты зимой постоянно обогревались (*stube*,

---

\* Ален Шартье — французский поэт, писатель конца XIV — начала XV века.

печи, печки); как отмечает в «Книге описания стран» Жиль ле Бувье по прозвищу «Герольд Берри» (середина XV века), «из-за холода, который властвует в Германии зимой, они имеют печи, которые обогревают таким образом, что им тепло в своих спальнях, и зимой люди ремесленных специальностей делают там свою работу и держат там жен и детей, и нужно совсем мало дров, чтобы их топить. И благородные, и вояки, и всякие праздные люди точно так же находятся в комнатах, играют, поют, едят и пьют и проводят время, ибо они не имеют никаких каминов».

Комментарий Жилия ле Бувье наводит на мысль, что во Франции практика сильно отличалась: там было немало каминов, и хотя горели они не постоянно, все же успевали согреть спальни, когда люди приходили с улицы, продрогшие от холода и промокшие под дождем, тем более что концентрация дымочадцев была ниже, чем в Германии. Однако печь была известна во всяком случае в Восточной и Юго-Восточной Франции (Прованс, Савойя, графство Бургундия); кроме того, в XV веке ее сознательно внедряли в других местах: на рудниках Жака Кёра и в некоторых замках короля Рене, который пригласил для этого специалистов из Германии.

Напротив, в помещениях, которые, за редким исключением, не отапливались, находились кладовки, мастерские, конторы, канцелярии, часовни. Еще Жорж де Ла Тремуай в 1475 году, начав строить часовню в своем замке Рошфор-сюр-Луар, предусматривал «небольшую *chaufepié*», чтобы придать этому помещению, отделанному гипсовой штукатуркой, еще больше уюта.

Добавим, что использовались также жаровни, в случае надобности легко переносимые из комнаты в комнату: *spreyrogadoria* в Провансе, железные либо бронзовые *fouiers* или *fouieres* в Северной Франции.

Другое отличие от обычаев предшествующих времен: противопоставление гостиной и спальни. Все-таки вырисовываются черты эволюции. Гостиная, невзирая на свои размеры и бо-

гатое убранство (вспомним залы героев и героинь в замке Куси, воспетые Антуаном Астезаном), имеет некоторую тенденцию превратиться в своего рода прихожую, «холл» в теперешнем смысле. И в этом случае мы можем руководствоваться свидетельством Алена Шартье: «Зал государя обыкновенно смрадный и душный от человеческого дыхания, привратник постукивает палкой по головам присутствующих, одни входят туда благодаря напору, а другие этому сопротивляются» в ожидании, что, наконец, откроется дверь, за которой скрывается властитель.

Первоначальные действия состояли в разделении общей комнаты. Выделяли гостиную общую и большую, а также нижнюю, игравшую роль прихожей, места ожидания, и верхнюю, служившую, как уже говорилось, для приема гостей или посетителей. Но именно спальня породила собственно спальню (комнату «для спанья», занимавшую заднюю комнату) и официальную спальню, называемую парадной. Ее венчала величественная парадная кровать, на которой никто не спал. Молодая супруга в одной из «Ста новых новелл» входит в «большую гостиную жилища» своего мужа, затем в «парадную спальню, обтянутую чудесными гобеленами», согретую «большим прекрасным очагом», с «красивым накрытым столом», где ее ждет «прекрасный обед» и где она видит «красивый буфет, набитый посудой».

Парадная спальня имеет смешанный характер: она публична, но также принадлежит к интимному центру дома; вне зависимости от статуса посетителя здесь можно спокойно демонстрировать свои богатства, роскошное столовое серебро, изобилие гобеленов.

Конец Средневековья — наиболее подходящее время для выставления напоказ не только своего могущества, но и своего великолепия: отсюда упоминания о боевых парадных конях, парадных шпагах, парадных простынях, парадных шкафах с посудой.

Наконец, третий центр притяжения в доме: спальня хозяина, которую будут представлять себе, как и Жиль Корозе,

«очень светлой и прекрасно облицованной», а также «тщательно затянутой гобеленами и чистой, облицованной, устланной коврами». «Прекрасные спальни, устланные коврами, облицованные, наполненные кроватями, гобеленами и другими вещами», — пишет, например, Жан де Руа. И у Эсташа Дешана мы также находим это воспоминание о совершенном комфорте: «Теплые спальни, старательно и умело застланные коврами и затянутые гобеленами, / Закрытые входные двери, окна, которые не скрипят».

Именно в спальне, если верить описям, в ларях, шкафах, «футлярах», маленьких и больших сундуках из дуба и кипариса, иногда окованных железом и всегда старательно закрытых на ключ, хранились драгоценности и столовое серебро, наиболее важные бумаги (счета, долговые обязательства и расписки, личные письма). В непосредственном соседстве находились канцелярия (иногда называемая тайной канцелярией), «отдельная контора», молельня и, конечно, гардеробная; замыкала эти помещения задняя комната (с обязательным стульчаком), возможно, парильня. Описанный ансамбль прекрасно определял понятие частного пространства, места, где расслаблялись, развлекались «комнатными играми», заботились о теле и душе, писали. «Возлюбленному хочется говорить и петь песни, / Писать тайные письма, выполнять секретные поручения, / И он удаляется / И закрывается в спальне и задней комнате, / Дабы писать более вольготно», — рифмует Ален Шартье.

Обычно это личное пространство является общим для семейной пары, мужа и жены. Не будем, однако, забывать, что согласно модели, полностью реализованной на герцогском или королевском уровне (например, во дворце Сен-Поль в Париже), высшая аристократия в своих резиденциях часто различала помещения, которые можно назвать, рискуя показаться немного старомодным, «покоями» госпожи и «покоями» господина, или, во всяком случае, отводила каждому собственные спальню и гардеробную.

### Смысл эволюции

Во многих церквях, за собственной каменной или деревянной оградой либо железной решеткой, находились частные часовни, владевшие собственным движимым имуществом, собственной казной и предназначенные для одного человека, одной семьи, одного братства. Существовали передвижные часовни — мы часто видим их на миниатюрах, изображающих первых лиц государства во время молитвы, с группой придворных и слуг в отдалении, и часовни постоянные, каменные, где сверху можно было смотреть на алтарь, наблюдать за присутствующими и незаметно удалиться (молельни Людовика XI в Нотр-Дам-де-Клери и Нотр-Дам-де-Нантйи, в Сомюре; Жана Буре в Плеси-Буре). Во Фландрии и других странах в одной стороне часовни располагались скамьи, балюстрады и скамеечки для мужчин, в другой — для женщин.

Во многих городах возведены здания, специально предназначенные для заседаний органов городского управления (ратуша). Появились залы для игры в мяч, даже для состязаний на копьях. Огороженные места для стрельбы из лука, арбалета, впоследствии аркебузы. Артиллерийский арсенал, башенные часы. Помещения исключительно университетского назначения (актовый зал и библиотека в Орлеане). Настоящие классные комнаты для школьников (школа Святого Павла в Лондоне, описанная Эразмом Роттердамским в начале XVI века). Иногда публичные библиотеки (в Уорчестере и Бристоле в XV веке). Помещения для архивов, например Сокровищница хартий в северной части Сент-Шапель, расположенной во внутреннем дворе бывшего Королевского замка на острове Сите в Париже. На рынках строятся палатки и прилавки. Власти стремятся удержать, оттеснить проституток в один квартал, на одну улицу, поместить их в один публичный дом. Ведется надзор за общественными банями.

Несмотря на неоднородный характер, эти данные, очевидно, имеют один и тот же смысл, особенно если сравнить

организацию красивейших городских особняков, важнейших замков и наиболее чарующих дворцов. Кажется, прослеживается тенденция, с одной стороны, перенести в помещение то, что прежде происходило снаружи, на свежем воздухе, с другой стороны, заменить поливалентные, многофункциональные пространства пространствами более определенного предназначения.

Одно место — для игры, другое — для работы или для правосудия, для индивидуальной или коллективной молитвы, для преподавания или для культурного досуга (площадки для театра появятся позже). Таким образом, в самом конце Средневековья формируется идеальное городское пространство. Это шло параллельно с желаниями властей в отношении общественной системы: добиться большей иерархии, более четкой дифференциации, более строгих ограничений, более бдительного наблюдения за поведением.

В период XIII–XVI веков качество обычной жизни как в городе, так и в деревне немного улучшилось. Парадоксально, но возможно, что большие потрясения конца Средневековья послужили необходимым условием для начала этого улучшения. Вследствие диалектических изменений частная жизнь, менее предоставленная самой себе из-за все большего вмешательства властей, восстановила свое существование и свою роль внутри своего дома, который стал более уютным и более защищенным.

Прогресс индивидуализма? Возможно. Не будем, однако, забывать, что еще в эпоху Ренессанса именно коллективное жилище остается самым ценным эталоном, что это жилище предназначено сообществам монахов, школьников, больных, солдат или лицам, могущество, авторитет и богатство которых обуславливаются прежде всего значимостью лиц, постоянно их окружающих.

## РОЖДЕНИЕ ИНДИВИДА

### *Одиночество как оно есть в XI–XIII веках*

#### ***Желание остаться наедине с собой: вынужденная теснота***

Скученность, теснота, иногда сутолока — в больших домах феодальной эпохи никогда не предусматривалось места, где человек мог бы остаться наедине с собой (не считая мгновения кончины, перехода в иной мир). Когда человек осмеливался покинуть стены своего жилища, он делал это в составе группы. Выходить на улицу надо было по крайней мере вдвоем, и если спутники человека не состояли с ним в родстве, то они были связаны узами названного братства, образуя на время пребывания вне дома искусственную семью. Как только мальчики из аристократических семейств, достигшие семилетнего возраста, — примерно с этого времени в них видели мужчину — покидали гинекей, они начинали собственный путь, но оставались на всю жизнь в полном смысле слова «включенными» в коллектив. Если им прочили духовную карьеру, они собирались в школе и занимались под руководством учителя; если нет, они образовывали группу с аналогичной структурой,

подражая действиям наставника, который становился для них вторым отцом. Они сопровождали его всякий раз, когда тот выходил на улицу, защищали силой оружия и слова, совместно охотились на дичь в лесу. Когда заканчивалось ученичество, новоиспеченные воины все вместе, будто одна семья, принимали оружие: обычно сына сеньора посвящали в рыцари в компании детей вассалов. Рыцари больше не расставались ни в дни славы, ни в минуты позора, выступали поручителями друг друга, отдавали себя в заложники за товарища. Орава воинов, сопровождаемая челядью и священниками, следовала от турнира к турниру, от собрания к собранию, от стычки к стычке: это была неразрывно связанная группа, демонстрирующая всем признаки своей сплоченности (такими признаками могли быть одежды одинакового цвета или общий сигнал к сбору), где преданность товарищей, будто броней, облекала тело командира чувством семейного единства. Фактически это и была странствующая семья. Таким образом, в феодальном обществе частное пространство кажется раздвоенным, состоящим из двух отдельных зон: первая статична и закрыта, тяготеет к семейному очагу как центру притяжения; вторая, не менее сплоченная, перемещена в публичное пространство, но в ней повторяются те же иерархии, те же принципы управления. Мир и порядок внутри этой мобильной ячейки поддерживаются тем же способом, что и в первой, и той же властью, чьей задачей является организовать защиту против агрессии государства; по этой причине она воздвигла на границе с внешним миром невидимую стену, такую же прочную, как ограда дома. Эта власть закрывала, удерживала индивида в своих владениях, подчиняла его общинной дисциплине. Она была насильственной. И если частная жизнь воплощает тайну, то в данном случае тайна была общей для всех членов семьи, хрупкой и быстро обнаруживаемой; если частная жизнь воплощает независимость, то эта независимость была коллективной. Поэтому мы должны закончить представленную читателю тему

таким вопросом: можно ли в XI и XII веках увидеть в коллективном частном личное частное?

Феодальное общество имело настолько многослойную структуру, образованную из столь компактно прилегающих друг к другу пластов, что любой индивид, пытающийся освободиться от слишком тесного и многочисленного окружения, составляющего в то время *privacy*, уединиться, построить собственное закрытое пространство, удалиться от мира в свой сад, быстро становился объектом или подозрений, или восхищения, приобретая репутацию диссидента или героя; в любом случае он оказывался в числе «странных», а «странность» была антитезой понятию «частное». Тот, кто отходил от общества, — даже если он не имел при этом дурных намерений, — был вынужден вопреки своей воле вступать в конфликт с окружающими, поскольку изоляция делала его уязвимым перед коварством Врага\*. Таким образом, одиночки казались ненормальными, одержимыми, сумасбродными: например, выходить из дома без сопровождения считалось одним из симптомов помешательства. Об этом свидетельствует отношение к тем, кто ходит по улице в одиночку: считается, что такие мужчины и женщины сами подставляют себя под удар — у всякого есть право этот удар нанести; богоугодным делом считается вернуть их в общество, как бы они этому ни сопротивлялись, принудительно восстановить их в упорядоченном, четком мире, живущем по Божьим законам, где между закрытым, частным пространством и публичными, промежуточными зонами проходит осязаемая граница, где вне дома полагается ходить в сопровождении спутников. Это объясняет роль, которую в реальной и воображаемой жизни играет другая часть видимого мира: дикие просторы, где не найдешь ни дома, ни очага — равнины и леса, опасные и притягательные (здесь не действуют законы); места неожиданных встреч, где человек, если

\* Вероятно, речь идет о дьяволе.

отправится туда в одиночку, рискует повстречаться с дикарем или феей. Считалось, что в таких местах, олицетворяющих беспорядок, тревогу и желание, находят пристанище преступники и еретики или же те, кого лишила рассудка страсть. Так, Тристан, уведя с собой провинившуюся перед мужем Изольду, живет с ней жизнью отшельника: вместо изысканного жилища и одежды — убогая хижина и жалкие лохмотья. Но когда действие приворотного зелья — «яда», вызвавшего любовное помешательство, — заканчивается, когда к ним возвращается рассудок, они покидают «странное» (иными словами, уединенное) место и возобновляют привычную жизнь. Возврат к цивилизации будет означать для них возвращение к частной сфере, ко двору, то есть к коллективной жизни.

Впрочем, они вернутся к ней закаленными теми испытаниями, которые выпали на их долю. В сущности, пережить опасную ситуацию (вне зависимости от того, добровольно это делалось или нет), перенести муки одиночества означало для наиболее стойких людей — для избранных — возможность достигнуть новой ступени в развитии. Так, Годелива была брошена мужем, лишена «общества», но, Божьей милостью устояв перед соблазнами, шаг за шагом прошла путь к святости. И тому, кто добровольно соглашался в одиночку бороться со злом, кто выходил победителем из этой схватки, доставалась награда, которой пользовалась вся семья, некогда покинутая героем ради благородного дела. Именно так обстояло дело с человеком, бравшим верх над своим противником в поединке (в котором участвовали лишь двое) или в удивительном сражении на поле боя; так же обстояло дело с грешниками, очистившимися от своих грехов через послушание затворничества, и с отшельниками вроде тех двоих из Кельна, про которых в одном тексте говорится, что «их речи о жизни распространяли во всем городе сладчайший аромат святости». То же можно сказать и о героях романов, о тех странствующих рыцарях, которые удалялись от мира не вследствие временного

помещательства, а в результате обдуманного выбора. Но если литература, посвященная бегству от мира, старалась выделить идеальных героев из общей среды, не объясняется ли это тем, что уже в XII веке некоторые начали ощущать ее тяжеловесность? Разве мы не видим, что в высшем обществе, рамками которого нам в силу необходимости пришлось ограничить данное исследование, все охотнее предаются мечтам об уходе от мира, да и общее направление развития цивилизации способствует неизбежному освобождению личности от «коллективизма»?

### *Жажда автономии*

Явных признаков завоевания человеком личной самостоятельности становится больше в XII веке, в течение которого ускоряется децентрализация экономики; происходит существенный рост сельского хозяйства, способствующий оживлению дорог, рынков, деревень и заставляющий их понемногу обеспечивать город всеми системами контроля и необходимыми для жизни условиями; деньги начинают играть одну из ведущих ролей в повседневной жизни, и все чаще звучит слово «зарабатывать». Именно с того времени в архивных документах все многочисленнее упоминания о сундуках и кошельках, на месте раскопок все чаще находят остатки ключей: все это свидетельства ясно выраженного желания держать собственное движимое имущество под замком, копить деньги и тем самым уменьшать зависимость от семьи. Признак большей свободы: коллектив уступает место индивидуальным начинаниям. Инициатива проявляется в сельской местности (там успешнее начинают осваивать целину) и в предместьях городов, населенных торговцами и ремесленниками, часть которых быстро сколачивает себе состояние. Но давайте не забывать, что это касается и господствующего класса: его отдельные представители предлагали свои услуги и свой опыт

сильным мира сего и, работая у них секретарями, не менее быстро богатели. Некоторые рыцари, продавая полученные ими на турнире призы, загребали деньги пригоршнями. Подобные тенденции — усиление инициативности и рост личных доходов — привели к постепенному утверждению роли личности.

Она находит выражение во многих формах, например в образах совершенного человеческого тела, созданных этим обществом. Когда находишься в соборе Сен-Лазар в Отёне, создается впечатление, что к 1125–1135 годам (время строительства собора) была разработана некая иконографическая концепция, в соответствии с которой скульпторам предписывалось отказаться от абстракции, придавая каждому из персонажей индивидуальные черты. Спустя десять лет в Королевском портале Шартрского собора мы видим скульптуры с выразительными губами и живым взглядом, потом и тело освобождается от иератизма. Наконец, много позже, в последней трети XIII века, начинается новый, решающий этап, когда скульпторы начинают искать портретное сходство с изображаемым персонажем. Эта эволюция приемов изображения человека полностью совпадает по времени со всеми изменениями, которые можно заметить в других областях культуры. Так, на пороге XII века в школе происходит переход от наставлений к «диспуту»: урок превращается в состязание, дуэль, поединок, где два ученика, стоя друг перед другом, соперничают между собой, как на турнире. В то время, когда лица статуй освещаются жизнью, в среде ученых, размышляющих над текстом Писания, зреет мысль о том, что спасение достигается не только участием в каких-то обрядах, не только слепым подражанием и пассивностью, но и самосовершенствованием. Это — приглашение к самоанализу, к исследованию собственного сознания, поскольку отныне считается, что грех таится не в действии, а в намерении, ибо возникает в глубине души. Процессы морального регулирования переносятся во внутренний мир человека, в частное пространство, которое

отныне не связано с общиной. Грехи смываются раскаянием, желанием очиститься, попытками улучшить себя с помощью рассудка, как полагал Абельяр, или любви, к чему призывал святой Бернар; оба сходятся в необходимости личного совершенствования. В том же русле лежат дискуссии о браке, ведущиеся среди молодых людей в городских школах; в ходе этих дискуссий постепенно формируется убеждение, что брачный союз основан на взаимном согласии, а следовательно, личное обязательство каждого из супругов перевешивает решение, коллективно принятое в «общинной» частной жизни советом семьи. Расцвет автобиографии в начале XII века — еще один симптом того же явления; конечно, Абельяр и Гвиберт Ножанский подражают античным образцам, но их литературные труды блестяще утверждают независимость личности, распоряжающейся собственными воспоминаниями так же, как и сбережениями. Личность требует идентичности в рамках группы, права иметь тайны, отличные от тайн коллективных. Небезынтересно, что герои духовных битв, святые, очень часто прославлялись за способность скрывать свои намерения, уклоняясь таким образом от враждебного давления их окружения: ложь как защита самых сокровенных областей частного, ложь святого Симона, прятавшего под кирасой свою власяницу, ложь святой Хильдегунды, скрывавшей женский облик под одеждой цистерцианского монаха.

Эта эволюция точно совпадает с постепенным распадом больших «семей», о котором свидетельствуют письменные источники и археологические исследования, с появлением своего угла у «домашних» рыцарей, с роспуском объединений каноников, каждый из которых поселяется в отдельной постройке во внутренней части монастыря, с увеличением числа браков младших детей из аристократических семейств. Она совпадает с колонизацией земель на окраинах старых деревенских поселений. Господствующей тенденцией феодальной эпохи на всех уровнях социальной структуры было дробление,

смещение, сокращение ячеек частной жизни. Подобное движение способствовало скорее индивидуализации семей, а не личности, которая далеко не сразу обрела свободу. Чтобы проследить процесс фрагментизации до его логического конца, до освобождения индивида, нужно сосредоточить внимание на двух общественных стратах. До XIV века прогресс наблюдался лишь на двух уровнях: он затронул, во-первых, институт монашества, а во-вторых, рыцарское сословие со всеми его авантюрами и надеждами.

### *Анахореты*

Святой Бенедикт представлял свой устав как свод «элементарных правил для начинающих». В нем монастырская жизнь предлагалась людям, которые еще не были достаточно сильны для испытаний отшельнической жизни. Но подразумевалось, что существует более высокий уровень совершенства, достичь который можно уединением, крайней формой монашеского ухода от плотского мира: устав определял условия, необходимые для продвижения к этому идеалу. По существу, речь шла об ограничении не столько пространства, сколько времени, материально и духовно изолирующего человека, с тем чтобы он мог сосредоточиться на себе. Добиться этого можно было через обет молчания, через уход от мира и замыкание в себе, поскольку индивид разрывал связи со своей группой; считалось, что такой опыт травмирует, но вместе с тем способствует духовному росту. Конечно, при испытании молчанием для таких новичков, как монахи-бенедиктинцы, допускались какие-то послабления. Они жили общиной, и им необходимо было обмениваться информацией, поэтому в аббатстве Кьюни был изобретен язык жестов. С другой стороны, запрет на разговоры не распространялся на ежедневные собрания в капитуле, а в некоторые дни — и после шестого часа, летом он не действовал после девятого часа

и во время трапезы. Впрочем, согласно законам аббатства, «частные» разговоры прекращались в период ужесточения аскетических практик, во время постов; прославлялась великая тишина ночи, которая казалась святому Бенедикту залогом высочайшего духовного подъема. Кроме того, часть времени, отводившегося на молчание, была занята индивидуальным чтением, явным образом понимаемым как «частное», как еще один пример «ухода в себя», как мистический диалог с Писанием, иными словами — с Богом. И наконец, устав святого Бенедикта призывает к «частным» молитвам — страстным, коротким и частым.

Честно говоря, то толкование устава святого Бенедикта, которое было принято в аббатстве Ключи, привело к урезыванию личной независимости монахов в пользу пения псалмов, коллективного акта, в течение которого в унисон с григорианским пением укреплялась сплоченность общины. Однако с начала XI века, вследствие «открытия мира» и благодаря влиянию восточных христиан, наряду с чисто латинской концепцией монастырской жизни, предложенной Бенедиктом Нурсийским, развивается иной взгляд на монашество, пропагандирующий одиночество и возврат человека в частную сферу. Призыв бороться с дьяволом не под защитой общины, бок о бок с соратниками, а в одиночку, беря всю ответственность на себя, — призыв, который звучит сначала на Апеннинском полуострове, затем постепенно распространяется на другие европейские территории и в конце концов, в последние десятилетия XI века, завоевывает весь Запад. Желание достичь большего совершенства в одиночестве, в уединении подталкивает Роберта Модемского к отказу от обычаев аббатства Ключи. Он основывает монастырь Сито. Цистерцианцы намеревались вернуться к духу и букве предписаний святого Бенедикта, поэтому они остались верными принципу общинной жизни, но решили еще больше удалиться от суетного мира, укрывшись от него непроницаемой завесой: ореол лесного

уединения, неприменность которого они ревниво отстаивали для каждого монастыря. Кроме того, они требовали от настоятелей еще большей отрешенности: подавая другим пример, аббат цистерцианского монастыря уединялся ночью — в самое опасное время суток — в своей келье; в минуту испытаний он поднимался на новый уровень самоизоляции, поскольку его обязанностью было в одиночку дежурить на подступах к монастырю. Цистерцианцы остановились на этом. Картезианцы пошли еще дальше: они не только удалялись в самые труднодоступные и пустынные места, чтобы жить среди диких зверей, не только поднимались в горы, чтобы достичь духовного возвышения; их устав ограничивал пребывание в общине весьма коротким временем, отведенным на литургическую службу и праздничную трапезу; в остальные дни каждый член братства должен был в тишине своей хижины молиться и работать как истинный монах, то есть в полном одиночестве.

В картезианстве воплощается стремление к одиночеству, которое позднее, после обращения святого Бруно, проявилось в менее дисциплинированных формах: повсюду, особенно, должно быть, в Западной Франции, монахи-отшельники удаляются от мира в безлюдные леса и долины. Преодолевая все препятствия, невзирая на настороженность епископов, отшельничество приобрело такую популярность, что проникло даже в среду монахов-кенобитов. Весьма показательна в этом смысле ситуация с аббатством Ключи, где особенно подозрительно относились к индивидуализму (Гильом де Вольпиано раскритиковал такое отношение, назвав одним из видов гордыни: «Гордыня рождается, когда кто-то говорит, что он будет жить один и не желает встречаться со своими братьями»): во второй четверти XII века в стенах аббатства официально допускались некоторые ограниченные формы анахоретских практик. Наиболее уважаемым из монахов разрешалось на время поселяться в шалаше посреди леса, вдали от аббатства; сам аббат, Петр Достопочтенный, любил иногда

там уединиться. Следовательно, одиночество не возбранялось, но тщательно дозировалось в зависимости от «веса» каждого из адептов подобных практик, ибо они продолжали внушать беспокойство. Святой Бернар выразил эту тревогу, обращаясь, правда, к существу хрупкому — к женщине, монахине: «Пустыня, сень лесов и тишина дают так много возможностей совершиться злу <...>. Искуситель может приблизиться, не таясь». По мнению Елизаветы из Шенау, «некоторые любят одиночество не столько из надежды совершать добрые дела, сколько ради свободы делать что пожелают». Как провести границу между отшельниками, прельщенными, как некогда Адам, независимостью и охваченными той же гордыней, и решительными противниками существующих порядков, которых называли еретиками и которые тоже бежали в пустыню с надеждой на более тесный личный контакт с Духом?

### *Странствующие рыцари*

В последней трети XII века в литературе о рыцарях, центром создания и распространения которой был северо-запад Франции, первостепенную роль играют отшельники, что объясняется двумя основными причинами. Во-первых, в романах лес — одно из двух главных мест развития сюжета (место, где героя ожидают различные приключения) и естественная среда обитания отшельника в эту эпоху и в этом регионе; во-вторых, песни и романы писались для того, чтобы как-то сгладить недовольство, зреющее внутри частной феодальной среды: мы знаем, до какой степени эта среда подавляла стремление личности к свободе. Эти произведения наполняют воображаемый мир тем, чего в реальном мире молодые люди, составляющие наиболее восприимчивую часть читательской аудитории, были лишены. Романы прославляют личность, призывают к освобождению от всяческих ограничений, например от пут религиозной морали. Отшельник предстает индивидом, который

действует в одиночку и никому не подчиняется, который исповедует христианство, полное снисхождения к окружающим, и который избавился от навязываемых ему ритуалов. Когда человек оставляет позади домашнюю сутолоку и суету, он превращается в рыцаря, который странствует в одиночку и которого ведут лишь его собственные желания. Иными словами, эта литература прежде всего обращает внимание на то, что отрицает и от чего предлагает уклониться; она протестует против подавления личности домашним коллективом. Но историк не может сомневаться, что она обостряла потребность в интимности, что она помогала ее удовлетворять, находя лазейки, через которые индивид мог убежать от общины, призывая каждого следовать примеру изображенных героев. Историк также должен учесть, что интрига романа не могла быть полностью оторвана от реальности (иначе она не привлекла бы читателей), а следовательно, воспеваемый ею идеал не был недостижим. Бесспорно, куртуазное общество, так же как и монашеское, все более и более ценило индивидуальный опыт и предоставляло ему средства для развития.

Выполняя педагогическую функцию, рыцарская литература призывала индивида к преодолению себя, предлагала путь постепенного воспитания через прохождение ряда испытаний, чтобы таким образом он стал полноценной личностью. Помимо мистики цистерцианцев и картезианцев литература призывала индивида подвергать себя испытанию — идти к цели шаг за шагом, в одиночку, молча. Итак, в качестве идеального образа она представляет одинокого рыцаря, удалившегося от мира и скитающегося где-нибудь в безлюдном лесу или другом опасном месте, где он встречается лицом к лицу с подозрительными персонажами вроде фей. Впрочем, кто же вдали от людских взглядов станет его судить, определять его значимость, назначать ему цену? Поэтому действие романов развивается в виде последовательно сменяющих друг друга сцен в двух противопоставленных средах: в пустынной (лесу) и оживленной

(при дворе). Литература, о которой я здесь говорю, по праву называется куртуазной<sup>\*</sup>; она предпочитает изображение леса всем другим пейзажам, но показывает его как оборотную сторону реального мира, как его эквивалент. В реальности королевский двор был вдохновителем тех воспитательных задач, выполнению которых как раз таки служили романы; следовательно, двор был «центром по повышению общественного престижа» рыцарей: там под надзором «мэтров» можно было устраивать состязания с другими рыцарями и добиваться признания. Рыцари жили частными общинами, столь же замкнутыми, как у монахов в аббатстве Клюни, однако отличались от последних тем, что младшие дети благородных семейств, не имевшие оснований надеяться на наследство, могли здесь добиться общественного роста благодаря своим личным качествам. Через образ леса «эскапистская» литература транслирует процедуры отбора, посредством которых отдельным рыцарям удавалось выделиться в рамках своей группы. Отделяясь от войска, где они терялись, где они были неразличимы, демонстрируя личную отвагу, совершая индивидуальные подвиги, — совсем как святые, которых именно в тот период иконография стала наделять индивидуализированными чертами, — рыцари, одержав какую-нибудь публичную, яркую победу, доказывали свою смелость и получали за это персональное вознаграждение.

Речь шла не только о военной доблести, но и о любовных подвигах. На проблему рыцарства стоит взглянуть с точки зрения любви, чтобы понять, что соответствует в рыцарском мире тем лесным хижинам, где в середине XII века поселялись некоторые клюнийские монахи, удаляясь от общины, а также чтобы проникнуть в самую интимную сферу — на территорию частного личного, отвоеванную у частного коллективного. В биографии Роберта Благочестивого, написанной в начале XII века монахом Эльгодом, автор передает рассказ о том,

---

\* Или придворной (от «cour» — двор).

как Гуго Капет, проходя по дворцу, набрасывает свою мантию на парочку, занимающуюся любовью в простенке между дверями. Половой акт, самый интимный акт из всех, какие возможны, должен был происходить непременно ночью, под покровом темноты, за стенами комнаты, скрывающими его от посторонних взглядов; в противном же случае он приобретал ореол скандальности. Материалы по этой теме очень скудны; сошлюсь на показания дамы из Монтайю, Беатрисы Планиссоль, которые она дала инквизиции. Женщина признается в том, что еще при жизни первого мужа подверглась изнасилованию, причем это произошло днем в ее спальне, за перегородкой; что однажды, уже после того как она овдовела и стала хозяйкой замка, в ее комнату ночью пробрался майордом и спрятался под кроватью, ожидая ее прихода; что, когда потушили свет, он украдкой залез в ее постель, пока она наводила порядок в доме; что она закричала, подзывая служанок, которые «спали на соседних постелях в ее спальне» (как видим, в темноте скопление народа не мешало подобного рода эпизодам). Вновь выйдя замуж, она как-то раз среди белого дня в подвале, оставив служанку караулить дверь, отдалась священнику; овдовев повторно, она завлекла другого священника в свой дом и ночью отдалась ему в прихожей, возле двери, а на следующий день ждала, пока уйдут ее дочери и служанки, чтобы возобновить начатое ночью. Такова была реальность: в этих открытых, переполненных людьми домах блуд не был редкостью; запретная любовь вполне сочеталась с семейным коллективизмом; любовь должна была быть безрассудной — как у Тристана и Изольды, — чтобы заставить убежать в область странного и безумного.

Любовь, которую мы называем куртуазной, любовь изящная имела ту же конечную цель и реализовывалась в тех же местах. Впрочем, это был род общественной игры, в которой естественным образом участвовали члены определенной группы; правила столь точно соответствовали структурам

домашнего «частного», что любовные отношения можно считать одной из процедур отбора и продвижения индивида в вечном состязании, разворачивающемся в большом аристократическом доме. Создавалось впечатление, что хозяин дома делегировал своей супруге, хозяйке, полномочия избрать лучшего из мужчин, выделить его из общей группы поклонников, стремящихся отличиться перед ней. Вероятно, куртуазная любовь в еще большей степени, чем рыцарские турниры, активизирует среди беспорядка общинной жизни желание личной автономии, тем более что одним из главных правил любовной игры подразумевалось обязательство хранить молчание, соблюдать тайну. Влюбленные должны были скрывать, уединяться — причем не ради тех кратких сексуальных контактов, о которых шла речь чуть выше, а во имя прочных связей — в невидимом закрытом пространстве; нужно было построить в сутолоке семьи нечто вроде своей частной ячейки, своего убежища для любви, которой вечно угрожают ревнивцы. Когда игра в куртуазную любовь шла по правилам, она неизбежно создавала интимность, принуждала к молчанию, к общению с помощью знаков, как это практиковалось у клюнийских монахов: влюбленные объяснялись посредством жестов, взглядов, одежды особого цвета, символов. Как монашествующим рыцарям приходилось прятать под латами свою власяницу, так и влюбленные должны были скрывать эмоции. Когда, обретя рассудок, Тристан и Изольда спрашивают у отшельника Огрин, как им вернуться к жизни в обществе, тот советует прежде всего очиститься путем покаяния, через сожаление о содеянном и личное решение противостоять соблазну, а потом, когда они прибудут ко двору, — просто кое-что скрывать: «Чтоб стыд забыть и зло избыть, немного лживым надо быть». Итак, в окружении других людей отныне придется прибегать ко лжи. Тем, кто не скрылся под сенью леса, кто играет в любовную игру на открытой сцене, которая ей подобаает — среди суеты спальни и гостиной, — закон любви диктует молчание.

Андре ле Шаплен в своем «Трактате о любви» утверждает: «Тот, кто желает надолго сохранить свою любовь нетронутой, должен *прежде всего* позаботиться, чтобы о ней никто не узнал, и скрывать ее от чужих взглядов. Ибо стоит кому-нибудь про нее прознать, как она тотчас же прекратит естественное развитие и быстро пойдет на спад». Также «любовники не должны общаться друг с другом посредством знаков, если только они не уверены, что им не угрожает никакая опасность». Любовные игры установили внутри общества наиболее стабильные структуры «ухода в себя», обязывая любовную пару переживать свои чувства втайне, вдвоем, притворяясь, будто между ними ничего нет; они окружены семьей, обстановкой секретности, защитной оболочкой, которую злые люди все время пытаются прорвать. И быть может, как раз благодаря столь сложным взаимоотношениям между мужчинами и женщинами, благодаря столь трудному привыканию к сдержанности и молчанию в светское общество в конце XII века проникают первые ростки того, что позднее назовут интимностью.

## *Тело*

### *Образ тела*

Стрела Амура, прежде чем проникнуть в сердце и воспламенить его, пронзает глаз. Страсть всегда начинается с обмена взглядами; позднее, на одном из последних этапов любовных отношений, девушка может обнажить тело. Тело, застигнутое врасплох, тело, выставленное напоказ: мое исследование самого интимного внутри феодального частного сектора заставляет рассматривать индивида в связи с собственным и чужим телом.

Вначале следует отметить, что отношение к телу было продиктовано дуалистической концепцией, на которой

строилось любое представление о мире. Никто не ставил под сомнение тот факт, что человек наделен телом и душой, обладает и плотью, и духом. С одной стороны, человек — существо тленное, бренное, эфемерное, восстающее из праха и обращающееся в прах (впрочем, в последний день ему суждено воскреснуть); с другой — бессмертное. С одной стороны, его гнетет греховность плоти; с другой — он тянется к небесному совершенству. Иными словами, тело считалось опасным: оно — источник соблазнов и неуправляемых желаний, идущих от его «низменных» частей. В нем — через гниение, болезни, разложение, которых никому не избежать, — проявляется зло. На него распространяются очищающие наказания, избавляющие от грехов и ошибок. Тело — свидетель, раскрывающий особенности души через ее специфические черты (цвет волос и лица), а также, в исключительных случаях, посредством ордалий, испытаний водой или раскаленным железом. Ибо душа проступает сквозь тело, в котором она пребывает. Тело воспринимается как оболочка, капсула. Как дом. Или скорее как двор, закрытая со всех сторон площадка. Как поверхностный слой некой защищенной территории — наподобие того домашнего пространства, в котором обитает тело. Наконец, под множеством различных напластований мы обнаруживаем *privacy* в чистом виде.

Воссоздать представление людей той эпохи о собственном и чужом теле мне помогут результаты проведенного Мари-Кристин Пушель исследования известного трактата «Хирургия» Анри де Мондевиля, написанного на французском языке в Париже в начале XIV века. Слова и сравнения, используемые в этом тексте, дают ключ к той символической системе, в контексте которой рассматривалось тело, причем не только в сочинениях ученых, но и в общественном мнении. Мондевиль был практикующим врачом: в своей книге он обращался к простым людям и говорил на их языке. В его трактате ярко проявилась тенденция рассматривать тело как

обитель, жилище: внутренности сравниваются с «покоюми», а внешняя сторона — с «улицей». Противопоставление этих эпитетов явно отсылает к двум полюсам интриги романа: двору и лесу.

Почему двору? Потому что если сравнивать тело с домом, этот «дом» следует признать весьма сложной и многокомпонентной конструкцией, подобной монастырю или дворцу, внутреннее пространство которых подчинено определенной иерархии: «парадная» часть отделена от «служебной» перегородкой, напоминающей барьер, который в обществе того времени отделял пролетариев от других слоев населения. Эта перегородка — диафрагма — обособляет низший отдел «дома». Последний по самой своей природе должен находиться в подчиненном, поработанном положении (что нередко дает повод для опасных мятежей); это грязное, грубое место, очищающее организм от всего лишнего, вредного. Низший раздел «дома», подобно служебным комнатам в господских жилищах, выполняет «питательную» функцию; он обеспечивает питанием высшие органы, которые располагаются в «парадном» помещении и управляют силой и умом человека (двумя важнейшими функциями). По мнению Мондевиля, в каждом из двух отделов организма имеется свой «очаг»: в нижней части он предназначен для того, чтобы готовить питательный сок, подобно тому как крестьяне варят себе в печи на медленном огне суп — типичную крестьянскую пищу. В то же время на верхних этажах огонь освещает помещение, радует душу и сердце. Здесь, как в храме, находящемся в центре монастырского комплекса, происходит превращение материального в духовное; здесь, в вышине, с помощью воздуха и огня душа освобождается от меланхолии.

Этот дом, конечно, обнесен оградой, столь же прочной, как та, которой окружает себя домашняя частная жизнь. Таким образом, в мире людей тело — самое замкнутое из всех закрытых пространств, самая скрытая и интимная область,

защищенная стеной из самых суровых запретов. И хотя, как мы увидели, тело — это довольно прочный «дом» (вернее даже, крепость или скит), его без конца осаждают, пытаются захватить: так силы сатаны покушаются на убежище монахов-пустынников. Значит, за телом нужно внимательно следить, особенно за теми «отверстиями», которыми испещрена защитная стена и через которые может просочиться Враг. Моралисты призывают охранять эти лазейки, эти окна — глаза, рот, уши и ноздри, поскольку через них в тело проникают соблазны мира, грех и гниль: необходимо усердно сторожить подобные места по примеру того, как защищают ворота монастыря или замка.

Женское тело — зеркальное отражение мужского, особенно в том, что касается половых органов, которые имеют то же строение, что и мужские, но только вывернуты наизнанку, глубже скрыты, сосредоточены на самих себе, следовательно, более приватны; вместе с тем, как и все, что скрыто внутри, они вызывают большие подозрения. Женское тело, скорее подверженное порче вследствие неполной своей герметичности, требует более бдительного надзора, осуществление которого ложится на плечи мужчины. Женщина не может жить без мужчины, она должна находиться в его власти. Вследствие особенностей своей анатомии она вынуждена мириться с дополнительными мерами защиты — вечно сидеть дома, выходить на улицу лишь с сопровождением, облачаться в одежду, почти полностью скрывающую ее от чужих глаз. Необходимо воздвигнуть перед ее телом стену — стену частной жизни. По самой своей природе, по природе своего тела женщина склонна к стыду, к замкнутости; она должна быть осторожной; она должна с рождения и до смерти быть под опекой мужчин, ведь ее тело опасно. Оно и подвергается опасности, и само является его источником: из-за него мужчины теряют честь, из-за него рискуют сойти с верного пути, и эта ловушка тем более опасна, что женское тело как нельзя лучше подходит для обольщения.

*Отношение к телу*

Тело — тот предмет морали и опыта, распознать который до конца XIII века историк вряд ли в состоянии, поскольку сохранившиеся памятники культуры выполнены в далекой от реализма манере, а письменные источники хранят молчание на этот счет. Главным принципом было уважение к собственному телу, поскольку оно считалось храмом души и предполагало возможность воскресения; по мнению тогдашних авторов, телу необходим должный уход, однако не следует увлекаться. Тело надо любить так, как мужьям следует любить своих жен (апостол Павел): соблюдая дистанцию, не проявляя излишнего доверия, потому что тело, как и женщина, является искусителем, вызывающим желание у других и рождающим желание у самого его обладателя. В наиболее ценных для нас источниках — в выступлениях моралистов, строгих ревнителей благочестия и носителей церковной идеологии, — явно прослеживается тенденция опасаться собственного тела, абстрагироваться от него, предаваться аскетизму в его крайних формах: так, постулируется отказ от борьбы с насекомыми, паразитирующими на человеческом теле.

Однако стремление к чистоте, по крайней мере у господствующего класса, также ясно обозначено в источниках. Обычай отводить часть территории дворца под баню, утвердившийся в эпоху Высокого Средневековья, продолжился в XI–XII веках в клюнийских монастырях, равно как и в высшем свете. Ни одна публичная трапеза не обходится без кувшинов с водой для умывания, которые ставятся перед гостями. Развлекательная литература нередко использовала сюжет о том, как странствующий рыцарь останавливается на ночлег в гостеприимном доме и как хозяйские дочери отмывают его с помощью подручных средств — соломенного жгута (мочалки) и скребницы, а затем перевязывают ему раны. Умывание присутствует и в рассказах о феях, которые любят, разоблачившись, купаться в источниках; фавлии представляют

купание в теплой ванне как обязательную прелюдию к любовным играм. Омовение тела (собственного и чужого) кажется исключительной прерогативой женщин, которые и дома, и на природе по-хозяйски распоряжаются водой.

Но поскольку подобные процедуры обнажали тело и все его прелести, моралисты относились к ним с большим подозрением: принятие ванны, с их точки зрения, — источник всяческих непотребств. В ритуале покаяния Бурхарда Вормского приведена подробная тарификация грехов, угрожающих мужчинам в случае совместного купания с женщинами. Столь подозрительное отношение к принятию ванн, по-видимому, сильно выходило за пределы церковного интегризма. Ламбер Ардрский, историк рода графов де Гин, упоминает о том, что юная супруга прародителя его героя купалась в пруду возле замка на виду у домашних; при этом автор не забывает отметить, что она была целомудренно одета в белую сорочку. Сохранились свидетельства того, что во всех двадцати шести общественных банях, открытых в Париже в конце XIII века, были установлены строжайшие правила поведения. Однако эти заведения все равно считались подозрительными в силу своей публичности: предпочтительней было мыться дома, причем в наиболее потаенной его части. Процедура омовения сопровождалась всяческими предосторожностями, которые были, по-видимому, наиболее строгими в самой регламентированной частной среде: у монахов. В Клуни обычай разрешал монахам совершать полное омовение только два раза в году — на Пасху и в Рождество, но и тогда от них требовали не обнажать *rudenda* (срамные уды). Стыдливость царила во всем. Монахи, похоже, были не единственными, кому не разрешалось раздеваться донага в постели. Застигнутые спящими на своем ложе из листьев, Тристан и Изольда были оправданы, потому что их наряд, хотя и выглядел странным, позволял парочке сохранять приличие во сне: она была в сорочке, он — в штанах. Так было ли принято обнажаться для занятия любовью?

Тот факт, что мужьям Мелюзины пришлось потратить столько времени на выяснение неземного происхождения их супруги, заставляет в этом усомниться. Сомнения усилятся, если мы примем во внимание крайнюю целомудренность эротической литературы той эпохи. Тело обнажали разве что маньяки.

Но зато много сил было потрачено на приведение тела в должный вид. Смысл подобных манипуляций заключался в подчеркивании различий между полами. Этому придавалось огромное значение, и моралисты без устали повторяли, что необходимо отличать «дамское сословие» от «мужского», не переступать природной границы между мужским и женским, то есть не скрывать на своем теле специфических признаков принадлежности к определенному полу. Суровое осуждение ожидало юных франтов, носящих слишком «изысканную» одежду; те немногочисленные женщины, которые осмеливались наряжаться в мужской костюм, вызывали отвращение. Вместе с тем от людей требовалось, чтобы они не слишком выпячивали сексуальные «атрибуты» своего тела. Необходимость соблюдать меру, осмотрительность наиболее ярко проявляется по отношению к волосам. Они считались необходимым атрибутом женщины как дарованная природой «вуаль», как символ их врожденной неполноценности и подчиненного положения. Поэтому им вменялся в обязанность уход за волосами, тогда как мужчины, проявляющие излишнюю заботу о своей шевелюре, напротив, подвергались порицанию. Женщина не должна была с распущенными волосами выходить из дома и являть себя обществу, ибо в эпоху, о которой я здесь говорю, женские волосы рассматривались как эффективное средство обольщения и источник неимоверного эротического притяжения. Светские условности обязывали женщину приглаживать волосы и заплетать их в косу. Кроме того, все взрослые женщины, за исключением проституток, выходя в свет, должны были прикрывать косу белым покрывалом; замужние дамы обязаны были это делать

даже в домашнем кругу, если только они не находились у себя в спальне.

Тем не менее у нас есть основания думать, что далеко не все мужчины и женщины той эпохи были готовы отказаться от использования своего тела для укрепления личной власти. Об этом свидетельствует одно место в трактате Анри де Мондевиля, посвященное способам украшения своего тела, причем автор оправдывает подобные действия двумя соображениями. Первое из них практическое: оно состоит в том, что врач, который знает, как усилить привлекательность того или иного человека, способен заработать кучу денег, ибо спрос на такие услуги очень велик. Второй аргумент касается роли тела в социальных отношениях, о чем Мондевиль рассуждает довольно долго; ему кажется очевидной необходимость полноценного использования человеком своей физической привлекательности, которая может помочь преуспеть в жизни и победить в светском соревновании, где заметно укрепляется дух индивидуализма.

Мондевиль жил на пороге XIV века, в последние годы эпохи, отмеченной почти непрерывным прогрессивным развитием, в ходе которого человеческое тело — в условиях, когда уже начали отказываться от идеологии презрения ко всему плотскому, но на горизонте еще не замаячил образ греховности сексуальных отношений, позднее утвердившийся в западном христианстве, — медленно, но неотвратимо реабилитировалось. Свидетельство этого я вижу в изменении манеры изображения наготы. Единственные или очень немногочисленные формы, дошедшие до наших дней, относятся к сакрализованному искусству. Однако мы видим, что если раньше художники и скульпторы делали акцент на порочности обнаженного тела, изображая его как воплощение или как источник зла, то теперь, после 1230 года, стали показывать его юным, излучающим свет, полным сил. Сошлюсь прежде всего на фигуры «Воскресших» с тимпана кафедрального

собора в Бурже, на скульптурное изображение Адама на амвоне собора Парижской Богоматери, на образ Эрота в Оксере. Какую роль в данной метаморфозе сыграли гуманизм, дух обновления, тяга к Античности, натурализм, проникшие в выскокую культуру? Не способствовала ли сама по себе эта новая тенденция в искусстве повышению роли личности? Во всяком случае, не приходится сомневаться, что в течение всей этой эпохи физическая красота все больше поднималась в цене, став одним из орудий утверждения личной идентичности в лоне коллектива.

### *Набожность в частной жизни*

Эта общая тенденция неизбежно заставляла каждого принимать во внимание, что тело-крепость защищает от поползновений врага общества, Сатаны, прежде всего ту плохо поддающуюся определению субстанцию, которая называется душой. Вполне очевидно, что забота о душе стала во многом делом индивидуальным, что община мало-помалу утратила над ней контроль и что в то же время религия все больше превращалась в частную сферу. Здесь открывается поистине необозримый простор для исследований: мы обозначим лишь основные направления.

В начале феодальной эпохи «народ» — сообщество вассалов — поручал заботу о своей душе разного рода доверенным лицам. В первую очередь это была обязанность монастыря, который тоже представлял собой сообщество, но более совершенное, поскольку состоял из людей, живущих уединенной жизнью в закрытом со всех сторон месте. Задачей монастыря было, говоря фигурально, делиться с мирянами тем духовным капиталом, который они зарабатывали, совершая очистительные обряды, то есть без усталости читая публичные молитвы во имя мертвых и живых. Таким образом, в молитвах и песнопениях монастырской братии воплотился глас всего

народа. Посредническую функцию, схожую с ролью монахов, выполнял государь. Своим благочестием он обеспечивал спасение подданных; если бы он согрешил, то вскоре навлек бы на них гнев небес; как публичная фигура, он должен был постоянно возносить публичную молитву Господу. Например, в 1120-е годы Карл Добрый, граф Фландрии, по свидетельству Гальберта из Брюгге, каждое утро, едва встав с постели, отправлялся в церковь Святого Донатъена, где в унисон с канониками пел церковные песнопения или читал с ними на пару псалтырь. В правой руке он держал пригоршню серебряных монет, предназначенных для бедняков, по очереди подходивших к нему за своей долей: допуск к особе графа имели лишь «официальные» попрошайки, занесенные в особый список, матрикул. Большинство присутствующих могли лишь издали наблюдать за публичными спектаклями такого рода — смотреть, как их представители совершают ритуалы коллективного спасения души, вынужденные полностью полагаться на их действия.

Однако не всех удовлетворяло подобное положение. Уже в начале XI века существовала группа верующих, которые отказывались от помощи профессиональных посредников, желая напрямую обращаться к своей душе и заслуживать спасение собственными делами; их объявляли еретиками, с ними боролись, потому что они нарушали общественный порядок, и в конце концов их удалось уничтожить в силу малочисленности. В начале XII века у этих еретиков появились преемники, причем столь высокопоставленные, что церкви, чей авторитет оказался под угрозой, пришлось мобилизовать свои силы. Церковь продолжала опираться на мелких суверенов, распространившихся вследствие феодального разделения властных полномочий; она обязывала их обеспечивать контроль в религиозной сфере над всей их семьей, собиравшейся для молитвы в часовню. Но так же значительно усилила роль клира — посредников, чье назначение, в отличие от монахов, не сводилось

к исполнению церковных песнопений: они должны были приобщать людей к таинствам и нести им Божье слово. Впрочем, не просто «людей», а прихожан, особым образом собранных, объединенных и организованных. Детальная регламентация, контроль, «закрепощение» (по справедливому замечанию Робера Фосье) еще больше ограничивали свободу личности. С другой стороны, официальная церковь не смогла бы искоренить ереси, если бы не откликнулась на ожидания людей и не вводила более «персональные» религиозные практики.

Она призывала простых верующих вступать с сакральным в те отношения, на которые когда-то имели право только их представители во время литургий. Она побуждала их к постепенному движению к совершенству — шаг за шагом и в полном осознании своей личной ответственности. Путь к интериоризации христианских практик был крайне медленным. Начался он, несомненно, с каких-то перемен в поведении властей предрежущих, чьим долгом было подавать окружающим пример (и они действительно его подавали); неудивительно, что, зародившись в высшем обществе, эти идеи были переняты и другими, нижестоящими социальными группами. В то время как в школах, переживающих интеллектуальный подъем, учителя открывали ученикам новые пути самопознания, высокая церковь воспитывала в первую очередь правителей, а нередко и их жен, которые, сталкиваясь с трудностями семейной жизни, тянулись к своему духовному наставнику. Сначала самим читать молитвы по богослужебным книгам разрешили обеспеченным дворянам; в течение XII века круг читающих священные тексты постоянно расширялся, причем от группового чтения вслух (когда люди повторяли слова молитвы за служителем культа) перешли к «индивидуальной» молитве, произносимой тихим голосом, а после службы вообще напоминающей бормотание. В крупных аристократических домах среди личных вещей хозяев всегда был псалтырь, чтение которого заменило пение псалмов. Мужчины

и женщины научились пользоваться им без посторонней помощи. Он стал средством погружения в медитацию, чему способствовал не только его текст, но также создаваемые им образы. В одно время с ним (XIII век) в высших слоях общества распространились и другие объекты персонализированного богопочитания, носившие отпечаток личности их владельца. Эти частные «реликварии» напоминали небольшие часовни, кроме того, утвердилась привычка носить их непосредственно на теле, благодаря чему постепенно устанавливался мистический диалог с Богом, посредниками которого выступали фигуры, изображенные на этих объектах: святые, Дева Мария, Христос. Диалог продолжается в церкви или в часовне перед другими, публичными образами: святой Франциск, например, ведет беседу с Распятием. Необходимо всесторонне исследовать эти артефакты, точно их датировать, ибо они свидетельствуют о развитии «индивидуального» богопочитания, которое в начале XIV века распространилось уже на низшие слои населения: вспомним, что материалы инквизиторского процесса в небольшой деревушке Монтайю обнаруживают у ее жителей (причем не только среди «маргиналов», подозреваемых в ереси) давнюю привычку к индивидуальным молитвам.

Эта интериоризация стала следствием проповедей духовенства, от которого в XIII веке эстафету приняли нищенствующие монахи. Их речи, нравоучения, выступления часто проходили перед огромной аудиторией. Но им удавалось заронить в душу каждого зерно, которое потом давало всходы: людей побуждали подражать в своей частной жизни Христу и святым, руководствоваться в своих действиях собственной волей, велениями своего сердца, не зависеть от ритуалов и официальных церемоний. Это моральное поучение основывалось прежде всего на *exempla*\* — небольших историях назидательного характера с простым сюжетом, историях

\* Образцы, примеры (лат.).

достаточно убедительных, чтобы послужить примером каждому человеку. Один из самых обширных сборников *exempla*, составленный в первой четверти XIII века цистерцианским монахом Цезаурисом Хейстербахом для нужд проповедников, имеет форму диалога: предполагается прямой контакт учителя с учеником, наедине, с глазу на глаз; в сущности, любой хороший проповедник стремится общаться с каждым из слушателей конфиденциально. Все герои этих рассказов сначала в одиночку переживают опасности и проходят испытания, затем вступают в диалог — иногда во время совместного путешествия, но чаще в спальне ночью, в тишине, в состоянии отрешенности: собеседником может быть confident, друг, чаще — ангел, привидение, Пречистая дева, демон-искуситель. Разговоры всегда носят личный характер и являются результатом личного выбора. Нередко в этих историях люди, окружающие героя и делящие с ним домашнее пространство, то есть члены некоего всеохватывающего семейства, олицетворяют назойливых чужаков, непрошенных гостей, от которых нужно как можно быстрее избавиться.

В 1190–1210 годах, когда общий прогресс стал очевиден, возникло новое пастырское учение, совершившее настоящий переворот в поведении верующих. Начал утверждаться совершенно иной подход к церковным таинствам. Например, к таинству евхаристии: отныне верующие должны были вкушать хлеба, чтобы причаститься тела Христова и установить самую тесную связь с Создателем; такая практика могла внушать образы, возвеличивающие человеческую личность, — теперь она ощущалась как некое подобие святого сосуда, куда не проникает мирская суета. Еще более радикально изменился ритуал покаяния, представлявший собой вначале публичный акт, имеющий место в исключительных случаях, и ставший в конце концов ✻ по решению IV Латеранского собора (1215) и в соответствии с рассуждениями юристов о природе греха и «интимной» подоплеке порока — обязательной, регулярной

и вместе с тем частной процедурой; такая перемена явилась результатом долгой эволюции, начавшейся еще в эпоху Каролингов. Желание убедить основную массу верующих в необходимости исповедоваться хотя бы раз в год было, по всей видимости, одним из способов контроля за людьми, выяснением их мнений. Цель заключалась в том, чтобы, преодолев границы частного, вскрыть признаки неповиновения или ереси, которые могли таиться в глубинах сознания. Но можно ли представить себе более радикальный переворот в мировоззрении людей, оказавший на них столь глубокое и долговременное воздействие, чем этот переход от демонстративного и публичного акта покаяния (следуя за публичным признанием совершенного греха, данный акт вносил в социальный статус человека, идентифицировавшего себя через определенные модели поведения, элементы особой публичной церемонии: особую одежду и жесты) к тому простому диалогу, какой мы видим в *exempla*, к диалогу между грешником и исповедником, то есть между душой и Богом: ведь слова признания, которые говорят священнику на ухо и которые тот не может никому выдать, имеют смысл лишь в том случае, если сопровождаются усилиями по очищению и исправлению души.

В Ключни, цитадели общинного духа, уставы аббата Гуго II, принятые между 1199 и 1207 годами\*, вменяли в обязанность монахам исповедоваться по крайней мере раз в неделю; покаянные акты стали скрытыми, уподобившись индивидуальным молитвам, которые принято произносить шепотом. Через несколько лет IV Латеранский собор распространил данное обязательство на всех христиан. Все должны были в преддверии Пасхи, готовясь к причащению, проверять себя, копаться в сознании, заглядывать к себе в душу, принуждать себя следовать тем же практикам, какие в начале XII века были

\* Гуго II, шестой настоятель Ключийского аббатства, осуществлял верховное руководство ключийским орденом значительно раньше — с 1049 по 1109 год.

в ходу у отдельных церковников, искавших в глубинах своего существа порочные желания и стремившихся их искоренить. Я говорю здесь не только об Абеляре и Гвиберте Ножанском, создателях первых автобиографий, но и о других, более многочисленных аскетах, которые, находясь в разных монастырях, обменивались посланиями — не интимными, но позволяющими сопоставить две личности, два беспокойных сознания. Авторы занимаются самоанализом, а потом бичуют пороки с помощью исповеди и умерщвления плоти; воздвигнув стены своего сада, благочестие поселяется в нем. Этот поворот был, конечно, медленным, постепенным. Не надо думать, что постановление Латеранского собора 1215 года было сразу же претворено в жизнь. Но век спустя последствия этих постановлений в сочетании с результатами воспитания проповедью и любовью, вкупе с плодами экономического развития, которое освободило индивида, ускорив денежный оборот, привели к изменению смысла слова «частный». В условиях семейного коллективизма незаметно сформировалась новая концепция частной жизни: оставаться самим собой среди других, где бы ты ни был — в спальне, у окна — и какими бы ни были твоё состояние и размер кошелька; оставаться собой со всеми своими недостатками (которые надо признать, чтобы их простили), со всеми своими мечтами, озарениями, тайнами.

### *Отношение к интимности в XIV–XV веках*

История пространств, которые уже стали частными или находятся на пути к этому; история этапов ухода в себя и обособления, когда между человеком и взглядом постороннего устанавливается защитный барьер; история чувств, мыслей, ментальных образов, сформированных втайне от других, но зафиксированных в частных сочинениях, — сколько объектов и подходов, не дающих тем не менее внятной

и определенной картины! Конечно, источники по Позднему Средневековью отличаются относительной полнотой по сравнению с предыдущими столетиями: благодаря значительному увеличению документационной массы начиная с XIII века, благодаря сохранению существенной доли документов частного происхождения мы чувствуем бóльшую уверенность в том, что встретимся на страницах данных документов с частной жизнью людей, узнаем их имена, увидим их лица и услышим их голоса. Это обусловлено личной ролью человека, его стремлением стать автором (если речь о письменных источниках) или заказчиком (если речь о предметах изобразительного искусства), а также фактом попадания документа в архив.

Нужно, однако, избегать некоторых подводных камней, то есть точнее очерчивать границы наших авантюрных поисков. Пишут ли авторы непосредственно о себе или переносят свой опыт в рамки художественного произведения, их взгляд на личную сферу столь же субъективен, как и тот, каким они смотрят на внешний мир; но чем измерить личное свидетельство, не сводимое ни к какому обобщению? Как историк должен относиться к иррациональным поступкам или, напротив, к банальному поведению и как отделить индивидуальный рассказ, который нас интересует, от общего опыта, обусловившего его появление?

Частный рассказ или рассказ о частном, несомненно, должен был внести, по мере увеличения потока таких свидетельств, глубокие изменения во взаимоотношения индивидов с семейными и социальными группами, к которым они принадлежали; это было желание передать или по крайней мере описать пережитый опыт — то, о чем предыдущие поколения предпочитали молчать. Не надо думать, что если изменилась природа источников, то изменилось и все остальное; историк обращает внимание прежде всего на перемены, вызванные утверждением практики письма и, может быть, также расширением зеркал. Если нет письменных источников,

удостоверяющих наличие таких явлений, как самосознание, удовольствие и защита частной сферы, то из этого не следует, что их не существовало.

С другой стороны, нужно помнить, что хотя обычай писать — как занятие частное и светское — распространяется в конце Средневековья (преимущественно в крупных городах, реже — в поселках), он остается в значительной степени привилегией небольшой части населения Европы: образ индивидуальной жизни, который рисуют письменные источники, вводит нас в весьма ограниченный круг людей, а о более широких слоях сообщаются лишь самые общие сведения. Правда, реализм живописи и скульптуры, а также информация, которую позволяет добыть археология в местах раскопок, корректируют и дополняют наше несовершенное представление о той эпохе.

Последнее препятствие, подстерегающее нас, — соблазн модернизировать историю последних столетий Средневековья, представить их как некое преддверие современности по той единственной причине, что тогда столь же охотно делились секретами, как в Новое время. Частная жизнь относится, вероятно, к наименее определенной сфере истории, той, где исследование экономических, социальных и культурных структур рискует оказаться слишком грубым орудием, непригодным для работы с индивидуальными субъектами, чье разнообразие не сводимо к схемам и моделям; историки восприимчивы скорее к общим идеям, на которых они воспитаны, нежели к голосу прошлого. Быть восприимчивым к такому голосу означает удивляться смелости признаний, свободе выражения, мечтательности, которая исходит от текста, любви, которая чувствуется в плаче над телом умершего ребенка. Все то, что сближает нас с интимной обстановкой эпохи, отделенной от нашего времени несколькими веками, таит соблазн забыть о расстоянии, пролегающем между нашим миром и миром Средневековья, связь с которым мы безвозвратно потеряли. Страсть к модернизации истории стара как мир: когда люди

ищут выражения своих мыслей в частной сфере, не говорят ли они во все века на одном языке?

Таким образом, обилие источников XIV–XV веков ставит нас в трудное положение: мы должны избегать, с одной стороны, разрыва с прошлым, а с другой — его уподобления Новому времени. Каждый задействованный документ (в этой книге я буду оперировать в основном документами итальянского и германского происхождения), каждое использованное выражение должны оцениваться и сами по себе, и в сравнении с другими документами того времени. Попытка услышать голос прошлого должна сопровождаться стремлением определить личность говорящего и рассматривать его в контексте той среды, к которой он принадлежит. К сожалению, об исторической достоверности некоторых документов судить нельзя, потому что их не всегда возможно сопоставить с другими документами. Так что каким бы тоном — жизнерадостным или унылым — эти источники ни были написаны, они все равно останутся неясным ориентиром для будущей истории чувств и их выражения.

### *Изобретение индивидуального субъекта*

Индивид, окруженный, словно коконом, частным миром со всеми его защитными барьерами, наслоившимися один на другой, представляет собой контраст всему этому миру, выделяется из всех ячеек социальной жизни: из семейной группы, из традиционной общины, из всей массы субъектов, подчиненных каким-то законам. Самосознание, родившееся из чувства сопротивления коллективизму, может привести индивида к полному отрицанию существующего порядка: рискнувшие покинуть родные места, проводящие жизнь в пути и в одиночестве лишаются статуса: неприкаянные, смятенные, безумные герои приключенческих романов, столь популярных в Позднем Средневековье, встречаются в беспокойных лесах

угольщиков, представителей пограничного мира, и отшельников, жаждущих уединения.

Но самосознание, нашедшее выражение на бумаге, часто не нарушает границы между стадным и неорганизованным; окруженный ментальными привычками и социальными обязательствами, гражданин эпохи Позднего Средневековья остается весьма восприимчивым к идеям общего блага, предполагающим всеобщую *utilitas*\* как средство достижения *commoditas*\*\* для отдельных лиц. Нужно ли видеть лишь «топос» в том, что Франческо Гвиччардини противопоставляет почетную карьеру, возможную лишь на публичной службе, «праздной жизни, лишенной достоинства и остающейся частным делом»? Его современник, гуманист Виллибальд Пиркгеймер из Нюрнберга, утверждает в своей автобиографии нечто подобное, описывая, как после смерти отца на три года удалился от дел, стал *privatus*\*\*\* и жил лишь для себя и своих друзей, а потом вновь взял на себя заботу об общественных делах; размышляя о себе, автор клеймит тех, кто готов предпочесть «частные чувства» «общественной пользе». Быть активным участником публичной жизни — большая честь: учение гуманистов распространяется по ту сторону Альп, и прославление индивида, самосознания находит выражение на службе Флорентийской республике. Другие авторы, например Веллутти из Флоренции, пишут с меньшим пафосом, но и они, рассказывая о современных им событиях, отмечают в своей личной жизни лишь те факты, которые непосредственно связаны с эпизодами официальной истории; или, объявляя о намерении написать мемуары, не могут отделить публичное от частного: так, хотя Ганс Порнер из Брауншвейга сообщает, что его книга посвящена лично ему,

---

\* Польза (лат.).

\*\* Удобство (лат.).

\*\*\* Частный человек (лат.).

а не городскому совету, на самом деле он затрагивает в ней лишь дела коммуны, затмевающие любые личные вопросы. Таким образом, самосознание выдает себя лишь жалким бормотанием; в большинстве случаев оно проявляется весьма слабо, особенно по сравнению с утвердившейся моделью поведения, то есть поведением хорошего гражданина.

Есть еще один критерий, который влияет на выражение притязаний личности, — это критерий семьи. В желании выровнять фасад дворца по линии улицы во Флоренции XV века многие видят разрыв с традицией расселения «большой» семьи внутри одного квартала, с обычаем компактного расположения домов, принадлежащих одной семейной группе; эта индивидуальная необходимость обозначать свою изолированность по отношению к остальному линияжу проявляется в славе, которая венчает успешную карьеру или успешное управление торговым домом, руководимым неким «воротилой» в полном соответствии с идеей о *res privata*\*. Но не будем заблуждаться: притязания личности не могут ограничиваться утверждением семьи в узком смысле слова; забота об интимности, о внутренней атмосфере, скрывающаяся за семейным фасадом, прослеживается в распределении комнат между членами семьи, от которого больше всего выигрывает хозяин дома, потому что ему достается свой *studiolo*\*\*; это, наверное, единственное место, где деловой человек, отец семейства (*pater familias*), гуманист позволяет себе освободиться от управления домом и побыть наедине с собой.

Таким образом, работать ради благосостояния коллектива, ради благосостояния «дома» — вот те задачи, которые честь обязывает выполнять любого индивида, сознающего свою ответственность: плодотворные размышления и деятельность в интересах группы, на глазах всего окружения оставляют,

\* Частное дело (лат.).

\*\* Кабинет (итал.).

судя по мемуарам представителей высших эшелонов общества, мало места для частной жизни; и если авторы пытаются уделять время частной жизни и видеть в ней ценность, их все-таки удерживает страх прослыть в общественном мнении эгоистичными и пустыми людьми. Частная сфера считалась чем-то «низким»; репутацию можно было заслужить лишь в публичной жизни — *fama non est nisi publica*\*.

Очевидно, что в тех узких рамках, которые литература — отражение теоретических конструкций — отводит частному, необходимая общительность оставляет мало возможностей для развития человеческого «я»: ряд авторов выступают носителями всевозможных добродетелей; сочинения Цицерона и Тита Ливия лишь усиливает их пыл. Нам хотелось бы отыскать менее изысканные выражения, менее прямолинейные подходы, менее героические личности, чем те, которые встречаются в их книгах; но можно быть уверенным, что, с одной стороны, стремление авторов запечатлеть свой образ для потомства полностью соответствует тогдашним стереотипам публичного, активного поведения, а с другой — что модель, приведенная в трудах нескольких представителей своей эпохи, отвечает жизненному идеалу городского населения всей позднесредневековой Европы.

Так где нам искать более интимные формы самосознания? Служила ли добродетель своеобразным щитом, защищающим от наплыва чувств, от разного рода признаний и откровенностей? Найдем ли мы за городскими стенами, в глуши, где всякая рисовка и позерство теряют смысл, простоту впечатлений, которые отражают частную жизнь индивида?

В одном замечательном тексте Ульриха фон Гуттена, не лишенном, правда, некоторой риторики, показано, сколь сильно люди ошибаются, противопоставляя городу деревню и полагая, что последняя помогает раскрыться внутреннему

---

\* Слава не слава, если она не публична (лат.).

миру человека. Гуманист, осознающий свою роль в аристократическом и буржуазном обществе, не должен искать в сельской глуши реализации своих возможностей: одиночество обедняет индивида, бегство в «скит», пусть даже им будет семейный замок, сопряжено с разного рода тревогами; нет, дух воспитывается среди многолюдной толпы, в движении.

«Деревня — это суета и шум. Ты говоришь о прелестях сельской жизни, ты говоришь об отдохновении, ты говоришь о покое... Будь даже замок возведен на вершине горы или посреди равнины, надо помнить, что его там построили из соображений безопасности, а не ради поиска удовольствий. Он окружен насыпями и рвами, тесен внутри, загроможден стойлами для крупного и мелкого скота, сумрачными подвалами с пищалями, складами с серой и со смолой, переполненными к тому же запасами оружия и военными машинами. Всюду чувствуется пренеприятный запах пороха вкупе с запахом собачьих экскрементов, который тоже приятным не назовешь, не правда ли? Я уже не говорю о постоянном потоке рыцарей, которые приезжают в замок и среди которых попадаются разбойники, воры и бандиты; двери замка почти всегда широко открыты всем желающим, ибо мы не знаем, кто есть кто, и не очень жаждем это узнать. Отовсюду доносится бляение баранов, мычание быков, лай собак, крики крестьян, работающих в поле, скрип и скрежет телег и повозок; а совсем рядом с домом, близ которого начинается лес, можно услышать даже завывание волков.

Все время приходится думать о завтрашнем дне: вечное беспокойство, постоянная суета, сезонные работы — необходимо трудиться, перепахивать землю, обрабатывать виноградники, сажать деревья, орошать луга, боронить, сеять, окуривать, жать, молотить. То надо жать хлеб, то собирать виноград; а если выдался неурожайный год, в какой поразительной бедности, в какой страшной нищете приходится жить! Так что у нас всегда есть причина волноваться, беспокоиться,

томиться, тосковать, быть на грани, быть вне себя, выходить из себя» (из письма Ульриха фон Гуттена, *vitae suae rationem exoptans*\*, Виллибальду Пиркгеймеру, 1518).

Не имея иных политических амбиций, кроме как призывать власти предрержащие покровительствовать образованию и наукам, Ульрих фон Гуттен, даже находясь при дворе архиепископа Майнцского, среди всеобщей суеты, умудрялся оставаться наедине с собой: «Saepe in turba solus sum»\*\*. Подлинная свобода, утверждение своей идентичности — плод личных усилий человека: чтение и письмо позволяют выйти за пределы самого себя, освободиться от любых обязательств по отношению к публичной власти и к семье, почувствовать контраст между интимной обстановкой и обществом. Подобное состояние — привилегия, доступная далеко не всем; к нему может приблизить мистика, но с помощью совершенно иных приемов. «Спишь ты или бодрствуешь, — пишет Ж. Момбэр, член братства общей жизни, — ты остаешься наедине с собой даже в окружении людей». Этой привилегии фон Гуттен противопоставляет печальное положение крестьян, у которых нет ни средств, ни времени обрести счастье живого общения с собственной душой.

### *Первое лицо единственного числа*

Если автор заговаривает о себе, он должен оправдываться за это у читателей; право вести рассказ от первого лица доверено лишь избранным — Аристотелю, Фоме Аквинскому, автору Книги Притчей Соломоновых. Для многих писателей создавать автобиографические произведения, в которых ничто не ограничивало свободу самовыражения, стало возможным только с наступлением Нового времени, когда появилась новая модель

---

\* Повествующего о его жизни (лат.).

\*\* Я часто бываю один среди толпы (лат.).

рассказа о себе, не связанная с историей или апологетикой. Человек, обнаружив, что он находится в центре вселенной, между двумя безднами, естественно, радуется полученной от Бога способности быть свободным в выборе своих действий и склонностей: автобиография провозглашает приоритет индивидуальности человеческой судьбы.

Но рассказ от первого лица не перешел к нам в готовом виде от прежних моделей; он постепенно выкристаллизовался из нарративных форм, выводящих на передний план социализированного индивида, описывающих житейские радости и невзгоды, которые вызывали у автора непреодолимое желание высказать по их поводу свое мнение — обозначает ли он свое присутствие в начале истории, вставляет ли в книгу соображения частного характера или сообщает миру о чьей-то чудовищной аванюре, послужившей причиной его злоключений. В общем, использование «я» пошло либо от исповедей наподобие книги святого Августина, либо от ежедневной фиксации фактов, которые могут пригодиться хорошему хозяину для его собственных нужд или для нужд его близких, либо от обычая фиксировать на бумаге памятные события, случившиеся в мире или в месте непосредственного проживания автора.

Исповедь, дневник, хроника являются в эпоху Позднего Средневековья теми источниками информации, где индивид порой высказывается о своей частной жизни, то есть о своем теле, о своих ощущениях, о своих эмоциях и о своем понимании тех или иных предметов. Это искренние суждения, насколько таковыми могут быть воспоминания о прошлых событиях, авторы которых претендуют на то, чтобы «рисовать жизнь анфас, а не в профиль».

И мало ли было — еще до того, как отказ от символизма в живописи привел к изображению лица на нейтральном фоне и наделению его индивидуальными чертами, что оправдывалось стремлением к большей точности, — мало ли было заалтарных украшений и фресок, запечатлевших фигуры

обычных «статистов», которые в своей отталкивающей или притягательной простоте выглядели гораздо реалистичнее, чем святые или короли-чудотворцы, хотя автор картины нередко рисовал себя в образе одного из этих последних? Здесь представлен весь диапазон «я»: «я», которое страшится собственного звучания в анналах мировой истории; «я», которое смолкает, как только соблазн побольше рассказать о нем наталкивается на божественное величие; «я», которое прячется за местоимением третьего лица и за метафорами, позволяя им говорить вместо себя. Таким образом, выражению частного можно препятствовать с помощью языковых средств, добавляя к словам самоутверждения всевозможные недомолвки и умолчания; чтобы избежать некоторых тупиковых направлений исследования и не повторять общих мест, свойственных всем разновидностям литературы об интимности, следует определить ее контекст и «частоту». В произведении, находящемся на пересечении автобиографического и художественного жанров, император Максимилиан вспоминает о печали, которую он испытал из-за смерти своей юной жены: «ведь они сильно любили друг друга, и он мог бы много написать на этот счет», но он этого не сделал.

### *Язык исповеди*

Больше, чем любая другая нарративная форма, исповедь побуждает к тому, чтобы сделать индивида главным героем в рассказе о духовных поисках. Помимо францисканских биографий примером такой исповеди был рассказ Абеяра о своих бедствиях (между созданием этих произведений пролегло несколько веков) и, конечно же, признания блаженного Августина. Если трагическая исповедь Абеяра состояла из вереницы разновременных событий, если безмятежная исповедь Огнибене ди Адамо Салимбене была попыткой рассмотреть грешника в свете учения святого Франциска, то «Исповедь» святого Августина вдохновила нескольких итальянских писателей первого

ряда на создание биографий особого типа, где внезапное прозрение освещало всю предыдущую жизнь: перенос на бумагу воспоминаний, выражающих индивидуальность субъекта, означал контроль над временем и его упразднение. В основе наиболее трогательных пассажей Данте, Петрарки и Боккаччо лежит следующее замечание блаженного Августина: «Память вызывает к жизни не прошедшую реальность, ибо та безвозвратно утрачена, а слова, рожденные изображением реальности, которая, исчезая, оставила в душе след в виде эмоций». Под взглядом Бога внутреннее время возрождает мгновения прошлого, оживленные настоящим; новый человек своими мыслями и текстами придает форму и смысл жалкой жизни грешника; в основе произведения лежит обращение грешника на истинный путь, так же как в основе создания мира лежит необходимость спасения человечества.

Мощное влияние августиновского представления о мире в разнообразных личных ситуациях очаровывало чувством духовного братства и самим его принципом. Духовное братство тронуло сердце Петрарки: при чтении «Исповеди» у него текли слезы (*inter legendum fluunt lacrimae*), а в минуты печали он идентифицировал себя с ее автором (*transformatus sum in alterum Augustinum\**); известно, что диалог с собственной душой, в котором он полагался на руководство исповедников, привел его на вершину Мон-Ванту и внушил ему мысль о цитадели, в которой он закрылся с книгой учителя.

Данте открывает «Новую жизнь», представляющую собой поэтическую автобиографию, методологическим пояснением, которое полностью основано на интеллектуальной атмосфере частного чтения: «В этом разделе книги моей памяти находится рубрика, под которой я ищу слова, кои имею намерение использовать в данной книге; а если не получится использовать их все, то по крайней мере значительная их часть будет здесь

\* Я превратился в нового Августина (лат.).

воспроизведена». Сухость анализа лишает свободы выражения отложившийся в памяти опыт, но, пропущенный через призму ума и преображенный им, он внезапно создает образ Беатриче, «сияющей во славе госпожи моей души» (*la gloriosa donna della mia mente*). И Данте не стесняется изобразить себя в спальне, куда он удалился, чтобы никто не слышал стенаний и жалоб, которым он собирается предаться (*nella mia camera, la ov'io potea lamentarmi senza essere udito*). Благодаря фиксации переживаний автора на бумаге сила чувства превращается здесь в магию; организующая роль личного опыта гарантирует постоянство живых источников, литургия питает любовь, культ памяти составляет и обновляет печальное сознание субъекта.

В автобиографии Петрарки материал обрывочен, располагается «разрозненными фрагментами его души»: литература позволяет поэту собрать воедино рассыпавшееся «я», состоящее из пережитых мгновений. Этим объясняется привычка оставлять пометы на полях рукописи, подробные комментарии, столь характерные для «Книги песен», примечания, коими изобилуют его рукописи. На полях «Энеиды» Вергилия, украшенной миниатюрами Симоне Мартини, Петрарка в период с 1348 по 1372 год записывал имена дорогих его сердцу людей, отнятых у него смертью. Первым там появляется имя Лауры — «в том месте, которое прежде других оказывается у меня перед глазами», на оборотной стороне титульного листа; Петрарка посвящает этой вечно живой девушке нежную и торжественную эпитафию, в которой соединяются все фрагменты дискурса влюбленного: «Лаура, прославленная своими добродетелями и моими стихами, в коих я долго ее воспевал, в первый раз предстала перед моими глазами в пору моей юности в 1328 год от рождения Господа нашего Иисуса, утром шестого апреля, в церкви Святой Клары в Авиньоне. А в 1348 году в том же городе, шестого числа того же месяца, в тот же утренний час смерть похитила ее у Божьего мира, в то время как я был в Вероне, не зная — увы! — о велении рока.

Горестная весть настигла меня в Парме, где я 19 мая 1348 года получил письмо от моего дорогого Лодовико. Ее тело, столь чистое и прекрасное, было погребено у братьев-францисканцев в самый день ее смерти, вечернею порой. Что же касается до ее души, то я глубоко убежден: она, подобно душе Сципиона Африканского (как говорит Сенека), вернулась на небо, откуда в свое время спустилась на землю».

Настойчивое возвращение к Вергилию позволяет увидеть за словами периодически возникающее чувство потери самого дорогого; «я каждый день вновь умираю» (*quotidie morior*), — пишет Петрарка Филиппу де Кабассоллю; остаются лишь следы прошлой жизни. Петрарка заполнил поля своей «Книги песен» (а эти поля — единственное место, где сознание поэта выражено во всей полноте благодаря каждодневной фиксации своих мыслей) записями, посвященными его работе: то это воспоминание о событии, случившемся двадцать пять лет назад и внезапно пришедшем на ум во время бессонной ночи; то рассказ о благоприятном для творчества моменте, наступление которого задерживает приглашение к столу. Из этих записей, из этих мгновений, запечатленных пером Петрарки, один Бог мог бы воссоздать канву жизни автора, но его труд — перед нами, со всеми его громкими заявлениями и умолчаниями; он неразрывно связывает память о прошлом и его переложение на бумагу, литературу и жизнь. Петрарка не оставил о себе иных свидетельств, кроме «Письма потомкам», написанного в форме постскриптума: голос автора, дошедший к читателям через века, доносит до них и все его эмоции; хотя Петрарка и любит подчеркивать дистанцию между тем, кем он был раньше, и тем, кем стал, он не может побороть соблазн изобразить себя молодым: «Быть может, один из вас слышал что-нибудь обо мне <...>. Я был таким же, как вы, — простой смертный <...>. В юности я не мог похвастаться выдающейся внешностью, но имел те качества, какие свойственны этому нежному возрасту: цвет

лица здоровый, ни бледный, ни румяный, взгляд острый; зрение оставалось удивительно хорошим, даже когда мне было за шестьдесят; потом оно начало слабеть, так что в конце концов я вынужден был, несмотря на все свое отвращение, прибегнуть к помощи очков <...>».

Этот автопортрет внезапно возвращает нас к невзгодам частной жизни, которые Боккаччо, например, стремился всячески затушевывать, когда описывал одного из сильных мира сего; точно так же он заменяет воспоминания о себе общими местами на манер античных авторов.

После Петрарки гуманизм все больше обращается к древнеримской литературе и подражает ей; то, что в XV столетии анализ чувств приобретает куда более взвешенный характер, чем раньше, объясняется заимствованием у классических авторов иных моделей самовыражения и иных моральных установок. Хотя озабоченность христианства духовным равновесием продолжает вдохновлять писателей на создание рассказов от первого лица, увлечение филологией, обилие условностей, стремление к умеренности и жажда славы снижают до минимума пространство самонаблюдения.

Джованни Конверсини да Равенна, одно время служивший канцлером у Франческо де Каррары, был обязан названием своего произведения «*Rationarium vitae*»\*, в котором исследовалось человеческое сознание, возрожденной августиновской традиции, но его дискурс не имеет тревожной интонации, свойственной диалогу с душой. Поджо Браччолини, обращаясь к писателям прошлого («каждый день я разговариваю с мертвыми»), ищет у них образцы добродетели, но ни слова не говорит о собственном сознании; Пьетро Паоло Верджеро, описывая свое пребывание в деревне, легко перенимает манеру Плиния Младшего. Даже Энеа Сильвио Пикколomini, будущий папа Пий II, об остроте ума которого свидетельствуют

\* Счет жизни (лат.).

столь многие страницы его «Комментариев», дает в них лишь беглую и невыразительную зарисовку собственной жизни, во всяком случае — до того момента, когда она перестала быть частной. Но после того как на голову Энеа Сильвио возлагают папскую тиару, он начинает писать о себе в третьем лице, подражая Юлию Цезарю, непревзойденному для него литературному авторитету, и в своей биографии как бы отделяет себя от читателей стеной папской курии. Несмотря на официальный стиль повествования, некоторые интонации позволяют расслышать его собственный голос. В нем может слышаться сарказм, например когда Энеа описывает «маневры» конклава, на котором он был избран папой («Большая часть кардиналов собралась около уборных: именно в этих местах уединения и сокровенности они обсуждали между собой способ выбрать папой Вильгельма»), или меланхолия, когда он вспоминает места, где прошла его юность («Папа повсюду видел явные признаки своей старости»), или смирение, когда по пути в Анкону он готовится к последнему в его жизни делу: организации неудавшегося крестового похода («Если этот поход не заставит христиан вступить в войну, другой такой возможности не будет <...>. Что до нас, мы знаем о скорой смерти и не стараемся ее отвлечь»). Конформизм, также ощущающийся в «Комментариях», составлял часть жизни папы и им самим воспринимался как подражание святым и мученикам.

### *Комментарии о действии*

Заговорив о комментариях, мы незаметно приблизились к другому направлению литературы, в котором только субъект поддерживает связь с частным. Теперь это не избранные мгновения прошлого, не интимные описания, проливающие свет на движения сознания. Расположенные в хронологическом порядке события, где личный выбор и личные порывы закамouflированы кажущейся объективностью рассказа, заслуживают реконструкции, спасающей их от забвения.

Сообразно с целями, которые и в Позднем Средневековье продолжают ставить перед собой историки типа Фруассара и Виллани, комментарии и мемуары прямо предназначаются для того, чтобы дать отчет о прошедших днях в свете нынешнего опыта: подробности и умолчания, перечисления и отступления, поверхностно или детально представленные факты оттеняют фигуру рассказчика, особенно когда им движет желание изобразить себя в выгодном свете.

Автор «Дневника парижского горожанина»\*, своеобразной хроники смутного времени, стал свидетелем событий, которые произвели на него большое впечатление и которые он запечатлел в беспомощной и злой книге. Филипп де Коммин был вхож в ближний круг герцога Карла Смелого и короля Людовика XI, поручавших ему как публичные, так и тайные миссии; его воспоминания, суждения, описания различных мест, портреты разных людей окрашены его эмоциями и окутаны легкой дымкой времени, отделяющего его прежнюю жизнь, заполненную политическими деяниями, от досуга, которым он вынужден был довольствоваться на закате дней. Чтобы хоть мимолетно увидеть автора подобных произведений в частной жизни, надо умело препарировать его текст и правильно понять его намерения; что касается персонажей, которых он выводит на сцену, то они изображаются в частной обстановке лишь тогда, когда это соответствует его замыслу. Герцог Бургундский представлен читателю в состоянии ярости из-за того, что его обманули, и в приступе жестокой меланхолии; король Франции — страдающим от предсмертных мук, которые Коммин якобы помогал ему переносить до самого конца.

Некоторые авторы, стремясь вписать свой личный опыт в историческую перспективу (модель, достойная античных произведений), не смогли провести водораздел между частным



\* Анонимное сочинение, написанное жителем Парижа в период с 1405 по 1449 год; важный источник по истории первой половины XV века.

и публичным. Гвиччардини написал три отдельные книги, различая, в зависимости от материала, публичную жизнь, семейную историю и свою собственную жизнь; таким образом появились на свет «История Флоренции», «Записки о семье» и «Воспоминания» (Ricordanze). Но, выступая в качестве историографа, он мимоходом набрасывает портрет своего отца, о родстве с которым не говорит. Когда же он ставит перед собой задачу «сохранить память о некоторых своих заслугах, достойных упоминания», то ограничивается перечислением этапов собственной *cursus honorum*\* и присвоением себе эпитета «хорошего сына и мужа». Подобная *satisfecit*\*\* сводит частную жизнь автора к репутации хорошего актера на общественной сцене.

Бывает, что авторами руководит противоположный мотив: стремление оправдать некие публичные действия заставляет человека браться за перо, обосновывать и объяснять собственное поведение. Йорг Кацмейер, будучи бургомистром Мюнхена в самом конце XIV века, когда город стал ареной беспорядков и волнений, рассказывает о бурных событиях того времени с единственной целью оправдать свое бегство; Арнеке, бургомистр Гильдесгейма в середине XV века, обеспечивает себе защиту от некомпетентности и должностных злоупотреблений; Гёц фон Берлихинген, описывая уже восьмидесятилетним стариком свои злоключения во время четвертьвековой службы швейцарским солдатом-наемником в Гессене, старается заставить замолчать клеветников, говорящих о его неблагоприятной роли в Крестьянской войне (хотя ему пришлось несколько раз погрешить против истины). Рассказ начинается с детства, ибо уже тогда в характере фон Берлихингена начали утверждаться лидерские качества: «Я не раз слышал от отца, матери, братьев и сестер, а также от наших

\* Карьера (лат.).

\*\* Здесь: характеристика (букв. «одобрение», «похвала») (лат.).

слуг, что я необыкновенный ребенок (*wunderbarlich*) <...>». Обвиняемый, которому нечего терять, идет в контратаку.

Бенвенуто Челлини, в равной степени познавший и славу, и опалу, тоже должен был противопоставлять обвинениям хулителей рассказы о чудесах, сопровождавших ключевые моменты его частной и общественной жизни; описание различных героических и трагических эпизодов придает повествованию — начиная со службы Бенвенуто у папы Климента VII и кончая пребыванием в тюрьме, куда художника бросили в 1556 году, — особый ритм и колорит. Для такого рассказа не будут лишними никакие знаки, предвещавшие блестящее будущее: ни наличие среди предков основателей Флоренции, ни сходство бабушки и дедушки с библейскими героями, ни саламандра\* у постели младенца. Мифическая родословная позволяет индивиду вырваться из узких рамок своего времени; баснословная автобиография выходит за пределы общественной сферы с помощью устоявшейся репутации автора; ловко вплетая в рассказ различные символы, он искажает или маскирует реальность частной жизни.

В середине XVI века мы наблюдаем, на примере книги Челлини, завершение эволюции самосознания автора, представляющего свою жизнь на суд читателей. Литература, придание художественной формы достоверным и непроверяемым фактам, — таков конечный результат трех составляющих: самоанализа, возврата к пережитым событиям и к семейной истории. Рассмотрим ее в следующей главе.

### *Семейная история*

Внимание к фактам, которые в той или иной степени составляют основу семейных воспоминаний, влечет за собой сохранение частных бумаг и документов в частной среде, где

---

\* В христианской символике саламандра олицетворяла праведника, который «в огне не горит и в воде не тонет».

люди привыкли писать. Вначале в эту группу входили нотариусы и писари, связанные с общественными делами, купцы всех рангов — от розничных торговцев до глав крупных международных компаний — и некоторые ремесленники; в течение XIII–XVI веков она разрослась настолько, что охватила городскую знать всей Европы. Исключением не были ни высшие аристократы, ни женщины, которые иногда после смерти отца или мужа брали в руки перо и заканчивали семейные мемуары. Манья писательства была связана с заботой о лучшем управлении личным имуществом и о передаче наследникам капитала в виде недвижимости, духовных обязательств и мемуаров.

Однако таким капиталом, как мемуары, нельзя распоряжаться, их нельзя передать по наследству, если они не будут должным образом организованы; и вот приблизительно с 1350 года в торговых лавках, конторах, дворцовых *studiolo* все больше внимания уделяется упорядочиванию семейных бумаг — договорных и финансовых документов, свидетельств о рождении и смерти, рецептов приготовления различных снадобий и оберегов, писем и родословных книг. Ядром, вокруг которого объединялась и множилась документация главы семейства, чаще всего, по-видимому, были его заметки (на портретах купцов и ремесленников можно увидеть записные книжки, висящие на крюке в глубине комнаты); затем шли тетради и реестры, хранящие информацию об обязательствах и сроках платежей (впоследствии они превратились в приходо-расходные книги). Граница между деловой и домашней, между домашней и личной сферами определится далеко не сразу.

Центрами развития и распространения наиболее совершенного письменного оформления коммерческой и банковской деятельности в конце XIV века стали города Центральной и Северной Италии (несколько позднее — города Верхней Германии); эта счетная документация, отсылая от одной специализированной книги к другой, не содержала никакой иной

информации, кроме как относящейся к торговому балансу. Так рождаются «тайные книги», «личные дневники», «памятные книжки», «домашние записки» — в общем, те свидетельства ума и памяти, которые ревностно хранят информацию частного характера, чтобы передать ее потомкам. До середины XVI века и даже позднее (в зависимости от интеллектуального уровня авторов) содержание этих семейных записей остается крайне разнородным. Постепенный процесс создания «памятных книжек» сопровождается практикой произвольных, весьма беспорядочных вставок в текст: статьи брачного контракта, например, сменяются списком имен детей; вслед за рецептом снадобья для лечения лошади идет запись о продаже товара на ярмарке (лучше всего это отразилось, конечно, в «записках на каждый день»).

Практика ведения торговых операций прослеживается в той особой роли, которая придается в записках различным подсчетам, заимствованным из счетных книг, и описям имущества, идет ли речь о тканях и драгоценностях, которые муж дарит жене (возьмем, например, дневник Лукаса Рема из Аугсбурга), или о коллекционируемых реликвиях (вспомним о Николасе Муффеле из Нюрнберга). Достойна упоминания также привычка вычеркивать из списка детей, умерших в младенчестве, как будто те являются списанным активом или погашенным счетом. Хотя отдельные неотесанные купцы уже в середине XV века по-прежнему вносят в счетные книги беспорядочную информацию, наиболее передовые из них, вроде Джованни Барбариго из Венеции или Антона Тукера из Нюрнберга, проводят четкую границу между деловыми книгами и книгами для частных целей. Но и в частных книгах они продолжают записывать хозяйственные расходы, суммы доходов от имущества, а также сведения личного характера и жизненные, бытовые истории. «Тайная книга» («*Libro segreto*») Горо Дати из Флоренции кроме названия не имеет ничего общего со счетными книгами фирмы

Альберти и не обходит стороной, вопреки меланхоличному вступлению, повествующему о быстротечности времени, имущественные вопросы личного и семейного плана. В венецианской рукописи под названием «Zibaldone» (всякая всячина) собраны сведения, касающиеся исключительно торговых обычаев Средиземноморья, вроде тех правил, какие имелись в конторах всех коммерческих компаний. С другой стороны, Джованни Ручеллаи из Флоренции в книге с тем же названием («Zibaldone») подытоживает весь свой опыт в экономической и политической сферах, присовокупляя к этому соображения о ведении домашнего хозяйства и отмечая незапланированные расходы на строительство фасада церкви Санта-Мария-Новелла и на капеллу Бранкаччи при церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Лукас Рем из Аугсбурга в первой четверти XVI столетия делает попытку выделить в своей книге несколько разделов, посвященных соответственно личной карьере, непредвиденным расходам, детям; однако он дает своему труду заглавие, которое сбивает читателя с толку: «Дневник» («Tagebuch»).

Разнообразие сведений о профессиональной деятельности и повседневной жизни, фиксируемых на бумаге, предоставляет возможность с разных сторон взглянуть на личные интересы людей и на отдельные аспекты управления личным имуществом, хотя их следовало тщательно скрывать от посторонних. На обложке книги флорентийского семейства Валори написано: «Сей труд не должно показывать никому» (*Questo libro non si mostri a nessuno*).

Купцы, берущиеся за написание мемуаров с целью передать потомкам те опыт и знания, хранителями которых они себя считали, руководствовались, в сущности, двумя критериями: общественным благом и личным достоинством (при смене поколений эти ценности оставались неизменными). Перед лицом современников, потомков и вечности они утверждали незыблемые истины и приводили образцы, достойные

подражания. В тиши *camera privata*\* они, с одной стороны, писали о тех решениях, которые на их памяти пошли на пользу или во вред обществу и родовому имуществу (использование примеров способствовало прославлению того или иного предка или признанию собственных ошибок), с другой — давали комплекс знаний, необходимых для существования семейной группы. Советы могли касаться чего угодно — от способов очистки выгребных ям до путей сохранения из поколения в поколение сети союзов и деловых связей.

Таково содержание книги Этьена Бенуа из Лиможа, который за двадцать лет создал, по выражению Ж. Трикара, «семейную память», посчитав необходимым передать ее детям (первая половина XV века). Книга Этьена фиксирует рождения, смерти и браки, включает контракты (занимающие более четверти ее объема) и духовные завещания, если, конечно, к числу таковых можно отнести молитвы и цитаты из священных текстов, особенно популярные в данной семье. Кроме духовного, потомству передается и «политическое» завещание, недатированное, но написанное, судя по фамилии автора, одним из представителей рода: это своеобразный кодекс поведения, унаследованный от предков и запечатленный на бумаге уже в предыдущем поколении. Материал книги, по существу, частный: политическая ситуация в Лиможе затрагивается лишь постольку, поскольку она отражается на жизни семейства Бенуа, а цель книги определяется интересами этой фамилии.

Среди массы европейских семейных хроник, уже изданных и еще ожидающих публикации, самыми многочисленными и содержательными представляются источники флорентийского происхождения. Тяга к Античности эпохи «гражданского гуманизма»; кровавые конфликты семейных кланов, пронизывающие политическую историю Флоренции; привязанность

\* Личная спальня (итал.).

местной знати к родному городу и нелюбовь к путешествиям в заморские страны (сулящим перемену карьеры и пробелы в повествовании) — вот несколько причин, которые могут объяснить появление такого большого количества жизнеописаний. В этой лаборатории, где утверждается самосознание городского населения, наиболее ярко проявляются два направления семейной истории, представленные двумя текстами из числа наиболее известных: одно основано на личном опыте, другое — на «долгой памяти».

В воспоминаниях Джованни Морелли ощущается осознание древности своей семьи, видна тяга к генеалогическим изысканиям; однако его «Ricordi»<sup>\*</sup> относятся скорее к образцам нравоучительной прозы («ammaestrare i nostri figliuoli»<sup>\*\*</sup>). Автор пишет о себе в третьем лице, считая это признаком чувства меры и условием политического конформизма; он создает образ идеального купца, чей успех был предопределен его знаниями: «Он [т.е. сам Морелли] был среднего роста и телосложения <...> и никогда не помышлял о дурном, в особенности же о чем-то, что могло повредить коммуне <...>. Он всегда старался жить мирно, не противопоставляя себя властям предрержающим ни в словах, ни в делах». Мораль книги: необходимо во всем придерживаться золотой середины и не забывать о бережливости (вплоть до уклонения от налогов). Такого рода рассказ о частной жизни лишается какой бы то ни было выразительности. Внимание задерживается лишь на смерти сына автора — трагедии для отца, трагедии для всего линьяжа; на этом событии утилитаристские мемуары Морелли резко обрываются.

Донатто Веллутти принадлежит к предыдущему поколению и, быть может, благодаря своей юридической практике владеет историческим методом и умением сделать повествование

\* Воспоминания (итал.).

\*\* Наставлять наших сыновей (итал.).

связным. Возвращаясь к своей жизни и карьере, к месту, занимаемому им в таком живом организме, как семья, он, когда автору приходит время появиться на сцене, говорит о себе от первого лица: «По-видимому, события, о которых я здесь пишу, представляют меня в очень выгодном свете. Но я сделал это не ради самопрославления, но ради памяти о прошлом, считая, что моим будущим читателям будет интересно узнать, как все происходило и почему».

Выбирая факты и детали для своей книги, Веллутти сознательно связывает их с окружающей его действительностью и с тем длительным периодом, который он описывает. О податре, мучившей его с 1347 года, он вспоминает в связи с тем, что она мешала ему занимать публичные должности; о женитьбе рассказывает в интересах сохранения семейной преемственности; свою карьеру соотносит с эпизодами из политической жизни Флоренции. «Семейная хроника» Веллутти, имеющая тенденцию все больше и больше смешиваться с рассказом о публичных событиях, обрывается так же резко, как воспоминания Морелли, и на столь же трагической ноте: Ламберто, сын автора хроники, в двадцать два года заболевает недугом, который поражает его гениталии. Рано умерший юноша плохо соответствует образу основателя рода — Бонаккорсо, отличавшегося редким здоровьем.

#### *Рассказывая о себе*

Построенные на основе архивных документов и других материалов, превращавших семью в естественную оболочку, внутри которой разворачивается действие, частные хроники уделяли большое внимание рассказчику. Независимо от того, испытывал ли он соблазн выдвинуть себя на главную роль, именно его голос слышали читатели, именно его изыскания восстанавливали связь времен. С начала XV века человек не стесняется хранить память о бесполезном и недостойном. Некоторые авторы теряют серьезность и повествуют

о различных авантюрах и пустяках. Мы присутствуем при рождении «романа о жизни». Познакомимся с флорентийцем Бонаккорсо Питти. В первой трети XV века он пишет хронику, в которой, сведя до минимума сведения о предках и обойдя молчанием свое детство, сразу же приступает к рассказу о скитаниях: «Сейчас я поведаю вам о своих скитаниях по миру, предпринятых мною после смерти отца». Смелость и новизна замысла выражаются в отходе от традиций личного рассказа, следующего за неизбежным прологом. Молодой автор весь отдается откровенному повествованию о галантных приключениях, об убийстве каменщика, о случаях кровной мести на фоне восстания в Чомпи; ни нравственные добродетели, ни семейная честь, ни желание похвастаться своими успехами не являются для Питти главными мотивами — бойкое перо автора прославляет его «я». С годами, когда путешествия остались позади, его воспоминания мало-помалу становятся все более тяжеловесными; хроника времени успешной коммерческой деятельности и публичных обязанностей возвращается в привычное русло, и автобиография отходит на второй план под давлением полезного и приличного.

По этим прорывам реальной жизни можно определить, насколько далеко удалось уйти от первых скудных личных записей. Чтобы окончательно утвердился «роман жизни», чтобы были преодолены последние препятствия, мешающие интимности получить право на существование, нужно было прийти к осознанию того, что человек своими успехами обязан скорее собственным усилиям, нежели происхождению или божественной защите. Становлению истории частной жизни, запечатленной в ее органическом развитии, весьма способствуют гордость за свои успехи и диалог прошлого и настоящего в повествовании. Однако в отличие от рассказа о покаянных настроениях, который ставит нового человека перед лицом беспорядочности и абсурдности прошедшего времени, история первых лет жизни (детство, серьезная и зачастую трудная

пора, годы приобретения профессиональных навыков) придает воспоминаниям искренность. Написанная на основе дневников, документов, как говорится, «из первых рук», биография не утратила связи с семьей, политикой, духовной сферой: она объединяет все те направления, которые с середины XIV века придают голосу индивида, личной жизни, опыту особую интимную ценность, престиж, социальную функцию. Подобно автопортрету, навечно зафиксировавшему на холсте, как в зеркале, изображение человека, книга, в которой запечатлена индивидуальная судьба, свидетельствует о творческой энергии самосознания, даже если она была написана на закате жизни.

Именно этот авторский взгляд, иногда суровый, но чаще примиряющий, придает значение книгам о личных приключениях, написанным в конце XV — начале XVI века преимущественно в Германии: известно, какое развитие получили к северу от Альп тема обучения, занимающего долгие годы, и роман о воспитании. Так, Иоганн Буцбах, закончивший свою карьеру приором монастыря Лаах в горах Айсфель в 1505 году, в «Книге о паломничествах» подчеркивает, как долго длилось его несчастливое детство; живя под Богом со своими воспоминаниями, он противопоставляет испытания, которые он, сирота и страдалец, перенес в детстве, безмятежности его последнего пристанища, где он ожидает смерти: пути господни неисповедимы.

Другой пример — Маттеус Шварц из Аугсбурга, еще ребенком, в том возрасте, в каком юный Дюрер создал свой первый известный автопортрет, задумавший написать автобиографию: этот замысел он реализует через пятнадцать лет. Став в 25 лет управляющим финансами центрального представительства дома Фугтеров, он начинает вести дневник (озаглавленный им «Пути мира»), в котором последовательно фиксирует события своей частной жизни, и параллельно составляет книжку акварельных рисунков, где он запечатлен в той или иной одежде. Невозможно представить себе

большого нарциссизма: человек блестящего ума, доверенное лицо самых влиятельных людей того времени, Шварц, вопреки своей насыщенной жизни, намеренно делал акцент на своем внешнем виде, его мельчайших деталях, на самолюбовании. Наступила другая эпоха, время эпатажа и снобизма, и все же взгляд, который этот человек, сделавший успешную карьеру, бросает на свое раннее детство, умиленные или колкие замечания, коими он сопровождает свои наброски, свидетельствуют о необыкновенной силе чувств по отношению к своему прошлому. Столь же трепетные чувства к пережитому станут по прошествии нескольких поколений характерной чертой человека Ренессанса.

### *Индивид в зеркале*

#### *Идентичность*

Один веронский историк выступил с предложением собрать сотни полторы портретов, созданных во время правления Кангранде делла Скалла (Верона, XIV век), и идентифицировать их. Установить идентичность каменных изображений, превратить скульптуры средневековых аристократов в живых людей — это сумасшедшее, честолюбивое, вполне в традиции Мишле, желание воскресить индивидов, чьи поступки и страсти, как и поступки и страсти тысяч их современников, внесли вклад в судьбу общества. Портрет или скульптура свидетельствовали о власти или престиже этих общественных фигур; они выставляли на общее обозрение то, что принадлежало по праву только им, — свое лицо и тело.

Изображать человека свойственно не всем цивилизациям и эпохам. На Западе возвращение к этой традиции с середины XIV века отражает все большее освобождение индивида, которому становится тесно в тех социальных и религиозных рамках, в какие его загнали поклонение и личная щедрость.

Традиция изображения человека также, вероятно, связана с одним обычаем светского и публичного характера: в Центральной и Северной Италии (хотя, возможно, не только там) на стенах домах было принято вывешивать изображение человека, осужденного общиной на бесчестие. И наконец, следует упомянуть, что здесь сказалась преданность памяти предков, которые на протяжении веков пряли нить семейной истории. Об этом свидетельствуют флорентийские восковые маски (дань этрусской традиции?) — точные копии лиц умерших родственников, выставляемые *ex voto*\* в церкви Санта-Мария-Аннунциата или хранящиеся в домах известных семейств, чтобы во время праздников и публичных процессий служить символом древности клана и его могущества.

### *Королевские портреты*

Трудно не усомниться в реалистичности первых индивидуальных портретов, слишком уж добродетельными они выглядят. Не случайно в величественном «Бамбергском всаднике» видели идеальный образ короля Людовика Святого. Портретные изображения вызывают к жизни ментальные категории, так же как описания рождают образы и ощущения; эффективность тех и других умело ставилась себе на службу политической властью и духовными пастырями и использовалась на протяжении столетий, в течение которых господствовала символика управляемого мира: иератизм поз, демонстративность жестов, язык гербов. Даже в Вестминстерском аббатстве поражает тотемная магия форм и цветов. Карл IV — первый монарх средневекового Запада, сознательно отказавшийся от символизма идеального изображения короля в пользу реалистического портрета (именно в такой манере предстают сам император и его семья в пражском соборе Святого Вита).<sup>\*</sup> Также Карл IV первым из монархов написал

---

\* По обету (лат.).

собственную биографию, включив в рассказ о своих деяниях частные события, лишённые какой бы то ни было демонстративности.

Если физический и психологический портрет человека создан не художником или скульптором, а писателем, значит, мы имеем дело с античным литературным жанром. Сохранился он благодаря «Деяниям» («*Res gestae*»), прославлявшим монарха, и вошел в моду в городах Позднего Средневековья в результате распространения хроник и семейных историй, связавших невидимыми нитями бранный мир людей с вечным миром героев литературы.

Среди литературных портретов Позднего Средневековья исключительный интерес представляют изображения королей, поскольку они позволяют проследить, как и когда зарождается традиция передачи портретного сходства. Нельзя сказать, что в XV веке полностью отказались от символизма в искусстве или что в предшествующие столетия художники были невосприимчивы к идее реалистического портрета. Но изображение фигуры монарха является сочетанием этих двух тенденций (с одной стороны, король представлен как носитель верховной власти, с другой — воспроизводятся его реальные черты) и свидетельством частных добродетелей, которые проявляются в его физическом облике. С XII по XVI век непреодолимая тяга к точности в деталях постепенно проникает в дискурс о короле по мере того, как этот дискурс теряет функцию прославления и обретает свободу тона хрониста или дипломата, какую этот последний позволяет себе в тайных депешах.

Император Людвиг Баварский, скончавшийся в 1347 году, при жизни четырежды становился объектом восторженных панегириков; один из них отмечает «элегантность» монарха, три других нарушают это первоначальное впечатление, поскольку в них содержится несколько прилагательных, добавляющих новые оттенки к его облику: король, оказывается, худ и поджар, крепок телом, хорошо сложен, высок, подтянут. Эти

подробности мирно сосуществуют с определением «элегантный», которое относится к типологии государя и которое, без сомнения, бросалось в глаза читателям. Альбертино Муссато, один из четырех авторов панегириков, начертал портрет не только Людвига Баварского, но и его предшественника, Генриха VII: портрет производит примерно то же впечатление, задерживая внимание читателя на росте и, главное, пропорциональности тела монарха. В облике обоих правителей обнаруживается похожая соразмерность (*commensurata conformitas*) частей тела, как будто речь идет о статуе: так, у Генриха VII идеально пропорциональны ступни и ноги, у Людвига — плечи и шея.

Помимо общего облика, трое из четырех авторов обращают внимание на волосы короля. Альбертино Муссато упоминает о редких рыжеватых кудрях Людвига: эта деталь выглядела бы в его описании совершенно правдоподобной, если бы ей не противоречили свидетельства двух других авторов и если бы то же самое не повторялось почти дословно в портрете Генриха VII, о котором мы говорили выше. Цвет лица короля, определенный одним из авторов как «яркий», а другим — как «ясный» и «румяный», похоже, есть не что иное, как фигура стилия. Некоторые особенности лица (выступающие брови, крупный нос) дополняют образ; Альбертино Муссато в конце своего описания приводит кое-какие черты характера короля: тот был предприимчивым, настойчивым, учтивым, любезным, галантным. И единство авторов в изображении общего облика монарха, и расхождения в деталях, и обилие противоречивых эпитетов заставляют сомневаться в правдоподобности портрета. Ясно только, что король был «элегантен»: во всяком случае, об этом свидетельствуют и воспоминания очевидцев, и художественные изображения; как говорит Генрих из Ребдорфа, разве не может король походить на тот образ, который ему создают?

Схоластика учит, что каждая видимая форма открывает невидимую: тайное расшифровывается явным. Гармония

определяет ритмы архитектуры, пропорции человеческого тела, структуру общества; высшим ее выражением является фигура короля. Наделенная божественной миссией, королевская персона должна соответствовать своим обликом, своими жестами, своим голосом образу, который она себе создает и который христианский мир принимает. Достаточно его увидеть, чтобы понять — перед тобой король: Жанна д'Арк узнала Карла VII в людской толпе, заполнившей замок Шинон. Соответствие его манер выполняемым обязанностям считается в порядке вещей. «На его лице светилось величие» (*in vultu majestas*), — говорит Поджо Браччолини о престарелом императоре Сигизмунде, вступающем в Рим для коронации. Фридрих III, чьи широкие плечи не могли скрыть его невысокого роста (*statura plus quam mediocri*), с детских лет уделял большое внимание своему внешнему виду: если верить Иоганну Грюнбеку, будущий император как бы нес перед собой символы своей власти, запечатлев их на своем лице; все наблюдатели были поражены степенностью, любезностью и сдержанностью монарха, так же как современников Людвиг Баварского впечатляла его эlegantность. Обратив природные недостатки (длинное лицо, маленький рост, робость) в символы величия, Фридрих III продемонстрировал, что осознание собственной миссии может заставить владыку своим поведением возместить то, что не было дано от рождения. Литературный дискурс умело связывает психологическую истину с общими местами и через панегирики выражает существенную составляющую частной жизни: король, будучи публичной фигурой, больше обыкновенных людей занят созданием своего образа.

Применительно к императору Максимилиану у некоторых авторов, например у венского гуманиста Куспиниана, встречается схоластическая метафора «квадратного короля» (*statura quadrata, figura quadrata*) — его фигура напоминает храм, где сияет божественное величие. Уже Витрувий

проводил аналогию между совершенством человеческого тела и совершенством прекрасного здания. Связь тела, воспринимаемого как особого рода конструкция, с чувством прекрасного (*forma-formosus*) была одной из наиболее актуальных тем для схоластиков, размышляющих о тайне творения (впоследствии также излюбленный объект рефлексии геометров и художников Ренессанса). В случае личности государя эта символика благодаря своей суггестивной силе выявляет физические и душевные качества: как витражное окно пропускает через себя и зажигает в церкви божественный свет, так и взгляд Максимилиана излучает ослепительное сияние. Иоганн Грюнбек, покоренный его сверкающим взглядом, чей блеск едва ли уступал сиянию звезд, говорит о невероятной притягательности императора, перед которой не могли устоять ни мужчины, ни женщины.

В одной любопытной истории об обольщении показано, насколько император был восприимчив к физическим качествам, которыми природа наделила других людей: юный граф фон Циммерн\* при дружеском содействии герцога Фридриха Саксонского в 1497 году добился от короля возвращения некогда принадлежавших его семье земель с помощью умелого использования своих внешних данных. «Господин Вернер, знавший, сколь доброжелательным и основательным человеком был курфюрст, причесался на самый изысканный манер и, будучи от природы красив лицом, телом и осанкой (*nachdem er sonst ain schene und wolgestalte person von angesicht, leib und gestalt*), стал ждать вместе с другими графами и сеньорами приезда короля. После вечерней трапезы, когда танцы закончились, господин Вернер встал на видном месте; иного и не нужно было, чтобы король несколько раз обратил на него внимание и испытал особое удовольствие, глядя на его лицо

\* Ошибка автора. Древний дворянский род фон Циммерн был возведен в графское достоинство значительно позже — в 1538 году.

(*ab seiner person ain besonders gefallen empfieng*). Он спросил у герцога Фридриха, который старался оставаться вблизи от короля, что это за юноша <...>». Красоте ни в чем нельзя отказать.

Однако же некоторые монархи эпохи Позднего Средневековья вызывали такое отвращение своей заурядной наружностью и нескладной фигурой, что их описания не только не превращают изъяны в достоинства, но, напротив, всячески их подчеркивают. Замешательство, которое испытывают хронисты и наблюдатели при виде уродливых лиц и тел, свидетельствует *a contrario*\* о достоверности «панегирических» портретов. Во-первых, людей поражает невысокий рост некоторых монархов. «Хотя он и был маленьким (*Etsi parvus statura*)», — пишет Томас Эбendorфер о Карле IV. Маттео Виллани после встречи с Карлом IV вообще рисует уничижительный портрет: маленького роста (особенно для немца), сутулый, почти горбатый, с выдающимися вперед лицом и шеей; черные волосы, очень широкие скулы, выпученные глаза, лысый череп. Бюст короля, хранящийся в Праге, подтверждает это реалистическое описание. Поскольку магия королевского статуса не действовала на этого иностранца, мы узнаем от него детали, которые не укладываются в стереотипы монаршего величия: во время публичных аудиенций Карл IV режет ножом хлеб, даже не взглянув на просителей. Чувствуется неприятие королевского поведения, явно противоречащего традициям. Биограф монарха Томас Эбendorфер с большим сожалением отмечает: «На короле короткая одежда, он похож на нищего (*format pauperum exprimebat*)».

В общем, словесный портрет тем реалистичней, чем меньше автор стремится одним словом выразить образ, который соответствовал бы монаршему величию. Если первое впечатление передается суггестивно, через атрибуты бытия,

\* В качестве доказательства «от противного» (лат.).

то подробное описание включает ряд достоверных деталей. Всякий раз, когда в основе осязаемой реальности лежит чувство полной гармонии (*congruentia*), всякий раз, когда частный человек без видимых усилий входит в мир публичной фигуры, общая тональность королевского портрета кажется более подлинной, чем множество разрозненных замечаний: она удовлетворяет ум (хотя и не удовлетворяет любопытства). И в литературе, и в живописи реализм представляется бездушной реальностью, бездумным нагромождением деталей.

Если в Позднем Средневековье и произошла какая-то эволюция индивида, то ее основу составляли методы анализа реального, инструменты и словарь: практика вскрытия тел, привычка регулярно исповедоваться, введение в обиход частной переписки, распространение зеркал, техники масляной живописи. Но множества различных ракурсов, виртуозной имитации, умелого разбора механизмов работы тела недостаточно, чтобы понять частную жизнь индивида, точно так же как отдельных частей мозаики недостаточно, чтобы сложить общую картину.

Помимо реалистического изображения лица и интерьера, великая фламандская живопись XV века очаровывает тем, что она одухотворена мыслью, символическим видением. Взгляд наблюдателя должен найти на ровной поверхности картины ключ к ее пониманию, воссоздать индивида, определить, в чем его загадка.

*Дарители и герои.* Как мы видели на примере нескольких королей, живописный или скульптурный портрет эпохи Позднего Средневековья позволяет умножить сопоставление источников и проверить точность описаний: благодаря природному инстинкту мы склонны больше доверять художнику, нежели хронисту.

Однако живопись несет в себе определенную двусмысленность, объясняемую социальными условностями и вкусами заказчика: если живописный портрет используется как источник

информации о частной жизни, необходимо четко понимать «ограниченность» этого источника — он представляет частного человека публике, запечатлевая не столько естественное положение, сколько позу, не столько повседневную одежду, сколько парадное облачение. Европа того времени переполнена портретами, хранящимися в большинстве случаев в церквях или в домашних часовнях, где дарители и их семьи занимают место неподалеку от Девы с младенцем и святых, которые представляют и защищают их, мало-помалу внушая дарителям такую уверенность в своем физическом соседстве, что когда один из них, канцлер Ролен, видит Деву позирующей в мастерской святой Луки, его это не удивляет, он просто опускается на колени, как того требует обычай.

Тяга ко всему античному воскресила моду на портрет в профиль со всеми его эстетическими оттенками и разновидностями, изображениями в головном уборе и без него. Все отдали дань этому жанру, от Пьетро делла Франческа до Уччелло. Аристократический портрет нередко подчеркивал и идеализировал бесстрастное выражение лица героя или его дамы. Стиль, в котором выполнялись подобные заказы, общее решение картины, призванной увековечить лицо и имя, служат источником сведений по истории образа, истории моды и даже, если речь идет о знати, по социальной истории репрезентации. Что же касается исследования индивида, обширный материал может дать двойная эволюция, наметившаяся в XV веке в Нидерландах, Италии и в городах Европы.

Во-первых, изменения коснулись роли заказчиков, изображения которых отныне ставятся в зависимость от их профессиональной деятельности: золотых дел мастера, менялы, предприниматели или геометры жаждут иметь свой портрет в мастерской или конторе, где они работают. И хотя портреты продолжают оставаться далекими от реализма, гордость заказчика своими личными достижениями и творческий порыв художника, находящегося в поисках нового жанра, направлены

на придание изображению иллюзии естественности. Портретное сходство оттеняется искусственно созданным фоном — обстановкой, которая несет ценную информацию о рабочем пространстве, убранстве жилища, орудиях труда. Тема интимного пространства, где в тиши и спокойствии гуманист предаётся размышлениям в окружении книг и с чернильницей под рукой, наконец-то получает развитие, независимо от других сюжетов, в картинах Карпаччо, Дюрера и многих других художников (протагонист изображается в образе святого Иеронима).

«Экскурс» во внутреннюю жизнь человека (и это второе направление эволюции) продолжает семейная жизнь; на картинах она часто заменяет собой профессиональную сферу, которая заканчивается после того, как человек закрывает за собой дверь конторы или лавки. Изучая выбор буржуазии и знати, заказывавших свои портреты в той или иной обстановке, убеждаешься, что «семейная» гордость для них важнее «профессиональной», поскольку картины семейного досуга в интимной атмосфере достаточно, чтобы служить доказательством социального успеха. Как будто сойдя с алтарных полотен, где они изображались коленопреклоненными и строго по ранжиру (в зависимости от возраста), члены семьи образуют под кистью художника домашний круг, где возраст, характер, личные склонности имеют значение, внося нюансы в то, что считается хорошим тоном и семейной гармонией. Эта тенденция получила логическое завершение в картине Бернхарда Стригеля (Штригеля), которому Конрад Релингер из Аугсбурга заказал портрет восьмерых своих здравствующих и четырех умерших детей (последние должны были быть запечатлены пребывающими в раю): картина получилась совершенно абстрактной, нечто вроде схематического изображения семейного древа.

*Взгляды и тайны.* Случается, однако, что доминантой картины является привязанность, объединяющая членов

одной семьи, а любые признаки окружающей обстановки начисто отсутствуют. Франческо Сассетти, главный управляющий семейства Медичи, изображен художником Гирландайо так, что ни в его позе, ни в одежде нет ни малейшей неестественности; рядом с ним только его юный сын, Теодоро-второй. Ребенок поднял голову и доверчиво смотрит на отца, который только его и видит. Запечатлев героев в такой же выразительной позе, какую в наши дни люди принимают, стоя перед фотографом, картина передает чувства, связывающие двух персонажей. Едва их увидев, мы как будто вступаем с ними в молчаливый стовор: герои не смотрят на нас, и мы своим взглядом не можем вмешаться в их диалог. Ощущение гармонии (*congruentia*) не портит реалистичное изображение жилистой и угреватой шеи, поскольку эмоции сильнее реализма. С францисканскими мотивами аскетизма и любви можно сравнить и безмятежное спокойствие завещания, которое Сассетти составляет в 1488 году, за два года до смерти. Этот двойной портрет, описывающий интимные чувства, кстати говоря, написанный по заказу, имеет характер манифеста, появившегося в годы, когда его герою приходилось разбираться с катастрофическим финансовым положением семейства Медичи.

Вторая тенденция, характеризующая европейскую живопись XV века, состояла, напротив, в изображении человека анфас или в три четверти оборота; она сглаживала выразительность фона, основываясь на живых контрастах и бархатисто-черных тонах, и оставляла лишь сочетание нескольких знаков (щит, девиз) и молчаливый язык избранных объектов (книга, цветок, молитва «Отче наш»). К наблюдателю с картины был обращен взгляд: пронзительный взгляд мужчины с портрета Мемлинга, хранящегося в Академии живописи в Венеции; влажный и добрый взгляд человека с гвоздикой с картины Ван Эйка; беспощадный взгляд кондотьера, написанного Антонелло да Мессина; почти растерянный взгляд Освальда Креля

кисти Дюрера. В эпоху, когда *ars moriendi*\* и «пляска смерти»\*\* выводят на первый план представление о полном распаде тела и окончательном отделении от него души, в индивидуальном портрете виртуозно используются технические возможности живописи, которая со времен Ван Эйка научилась придавать взгляду человека несравненную глубину и ясность. Благодаря масляным краскам и лессировке зрачок (*франц. pupille* — производное от *petite pourée*, куколка) блеснул как в зеркале, колеблющийся свет напоминал о присутствии в теле души. Когда Альберти сравнивает живопись с «прозрачным окном», это можно интерпретировать как символ подчинения внешнего интимному. Европейский портрет XV века позволяет проникнуть в воображаемое пространство, в пространство внутреннее и бездонное — ведь портрет рождается от соприкосновения художника и его героя и предназначен для того, чтобы вызвать столько личных встреч, сколько раз взгляд остановится на образе исчезнувшего героя.

Эта игра взглядов объясняет то очарование, которое до сих пор исходит от портрета супругов Арнольфини, столь часто становящегося объектом различных интерпретаций. Подлинный смысл сюжета, быть может, заключается во встрече реальности, которая была, и изображения, которое осталось. «Jan Van Eyck fuit hic»\*\*\* — художник начертал эти слова — свою подпись — над зеркалом, в котором отражаются спины его героев; перед ними, то есть в глубине, создаваемой зеркальной симметрией, на месте, видимом зрителю, стоит сам Ван Эйк.

Не все формы и варианты интимности открываются современному наблюдателю, потому ли, что мы утратили ключи к пониманию символического мышления тогдашнего

---

\* Искусство умирать (лат.).

\*\* Пляска смерти — аллегорический сюжет живописи и литературы Средневековья, один из вариантов образа бренности человеческого бытия.

\*\*\* Ян Ван Эйк был здесь (лат.).

общества, мертвого для нас, или же потому, что художник, его модели и заказчики сознательно навели туман и запутали следы. Последнее свойственно стилю Джорджоне: такие картины, как «Гроза» или «Три философа», давали венецианцам богатую пищу для ума, и они не раз пытались разгадать их смысл. Умножение символов, понятных только во взаимосвязи, затуманивание смысла излишним подчеркиванием деталей, сокрытие истины под покровами красоты — таковы были элитистские интересы в среде рафинированных снобов.

В обстановке, располагающей к загадкам, портрет не был безобиден: он говорил больше, говоря меньше, взяв за основу стиль признания без слов. В наиболее простых случаях достаточно было нескольких простых предметов, чтобы ввести наблюдателя в курс дела. Речь могла идти о требнике, о вышитых инициалах или о письме. Но если бы кто-нибудь захотел копнуть глубже, что бы он увидел за «этой грудой безделушек»? Тогдашний человек не сводился к разнообразным мелочам; изобразительное искусство допускало не меньше недосказанного, чем литературное описание.

На самом высоком уровне ухищрений забота о личных добродетелях и отличиях вызывает к жизни более тонкие и более захватывающие композиции: таков знаменитый портрет Франческо Мария делла Ровере, герцога Урбинского кисти Карпаччо, датируемый 1510 годом; герой картины стоит на фоне целого леса различных символов. Пространство, состоящее из нагромождения геральдических элементов, как будто целиком соткано из мыслей и химер юного рыцаря с мягким взглядом, порождено его воображением.

*Зеркала.* Еще одна составляющая тайны человека была внесена в живопись благодаря изобретению такого жанра, как автопортрет. Мы не принимаем в расчет тех художников, которые подобно мастерам, изготавливающим краугольный камень для свода и запечатлевающим на нем свое имя, испытывали соблазн увековечить собственный лик; обычно эти последние

«просачивались» в толпу благочестивых граждан на своих же картинах. Ганс Мемлинг изобразил себя на заалтарной картине, так называемом «триптихе сэра Джона Донна», в виде стоящего за столбом зеваки; Боттичелли предстал на одном из своих полотен надменным вельможей, наподобие тех могущественных флорентийцев, с коими он водил знакомство. Позже, подчиняясь мощному импульсу, который требовал хоть раз отказаться от воли заказчика, художники стали рисовать собственный портрет, без всяких посторонних лиц. Воздействие, оказываемое автопортретом на наблюдателя, объясняется тем, что здесь не делается тайны из применения художником зеркала; автопортрет — это набросок романа о себе, достаточно одного взгляда и нескольких символов.

Положив начало длинной серии двойников (*Doppelgänger*) в немецкой интеллектуальной истории, Альбрехт Дюрер рисует себя по меньшей мере восемь раз; в четырнадцать лет он уже всматривался в себя в зеркале.

Три его автопортрета, написанные маслом, являются вехами в истории самоанализа на рубеже Средневековья и Ренессанса: три взгляда на интимность, три мгновения духовного пути.

«Автопортрет с чертополохом», хранящийся в Лувре, датируется 1493 годом; он был написан в Базеле, где художник занимался гравировкой фронтисписа «Писем» святого Иеронима. Молодой человек, упирающийся локтями в основание картины («прозрачное окно», по выражению Альберти), держит в руке тот самый чертополох, который дал название картине. Серьезный взгляд и нейтральный фон сосредотачивают внимание на этом символическом растении и на мыслях, которые оно вызывает, так что сюжет картины можно интерпретировать двояко. Возможно, Дюрер хочет сказать, что приехал в Базель с намерением жениться (свадьба состоится в 1494 году), и чертополох служит здесь символом супружеской верности (*Männestreue*), клятвой, которую жених дает

заранее, еще до свадьбы. С другой стороны, учитывая, что по-гречески чертополох называется «*dypsakos*» (жаждущий), портрет может означать, что изображенный на нем молодой человек, которому всего двадцать два года, жаждет истины. Наивная подпись под рисунком, гласящая: «Судьбу мою / я Небу даю» (*My sach di gat / als es oben schat*), не очень помогает решить эту дилемму (что это — буриме, признание?).

Второй этап начинается в 1498 году, когда написан второй автопортрет маслом, хранящийся в Прадо. В Венеции Дюрер открыл для себя свет и цвет, огромное влияние на него оказали работы Мантеньи и античные рисунки; он придумал самостоятельный пейзаж и передачу акварелью атмосферных явлений. После «Апокалипсиса», который пользовался огромной популярностью в Европе, Дюрер стал знаменит. Лишенный высокомерия, но зная себе цену, художник бросал вызов ремесленникам и купцам, то есть представителям той среды, из которой вышел сам; с чувством собственного достоинства он отстаивал право на положение в обществе, отвечающее взятой им на себя высокой миссии. В 1506 году он писал из Венеции своему другу Виллибальду Пиркгеймеру: «Здесь я что-то собой представляю; на родине меня считают нахлебником» (*Hier bin ich ein her, daheim ein schmarotzer*). Отсюда его гордая осанка, вызывающая манера одеваться и дерзкий вид (*veduta*) — все это напоминало стиль Леонардо да Винчи и отражало согласие между тайной личности и загадкой природы.

Последний из автопортретов Дюрера, где художник изобразил себя строго анфас, с поднятой правой рукой, поражает атмосферой мистического экстаза. Когда бы ни был написан этот мюнхенский портрет (его датируют 1500 или 1518 годом), он внушает мысль о намеренном желании автора придать себе сходство с Иисусом Христом. Как его ни интерпретируй — в нем можно видеть и символ внутренней перемены, жаждущей подражания Господу, и заявление о том, что сила художника-творца проистекает от мощи Бога-творца, — ясно

одно: отныне путь Дюрера освещает божественный свет; об этом свидетельствует стиль его картин, в которых чувствуется религиозный экстаз, об этом свидетельствуют также личные записки художника и завещание, согласно которому город Нюрнберг получил в дар «Четырех апостолов», его последнюю монументальную работу.

*Освобождение.* Создают ли в конце Позднего Средневековья портрет человека или он сам предается откровениям в своих воспоминаниях, нам легче представить его себе, чем человека еще более давних веков. Быть может, в Европе тех лет даже возникла новая идея, если подразумевать под этим появление группы лиц, занимающих привилегированное положение в культурной или социальной среде, которые отличаются большей восприимчивостью, нежели их предки, к хрупкости и ценности личной жизни.

Нарушив древние традиции, с точки зрения которых их действия означали отказ от сдержанности, они осмелились прославить индивидуальные качества человека; они нашли для этой цели новые средства выражения, благодаря которым мы можем приблизиться к ним. Наше знание общества Позднего Средневековья, в особенности городского, основано прежде всего на публичных, но также и на частных источниках, количество которых постепенно растет. Запечатленные в них индивиды, будто в кадрах кинохроники, представлены такими, какими они сами себя увидели или позволили увидеть своим современникам.

Но из нескольких кадров не сделаешь фильма, а ведь только цельная картина могла бы восстановить частную жизнь во всей ее полноте и динамике. Если мы останемся невосприимчивы к голосу запечатленных на кадрах людей, если не настроим изображение на резкость, то сильно рискуем разглядеть лишь бессловесные фигуры и привычные во все времена эмоции: симулируя реальность, мы получим каталог вещей, из которых ушла жизнь.

Нас должна удивлять не супружеская любовь сама по себе, но появление двойного портрета супругов, на котором с лицевой стороны они представлены в цвете жизни, а с оборотной — во власти смерти и разложения. Что касается реализма описания тела, нам следует удивиться двум аспектам: во-первых, его изображению по-медицински сухо, без всяких моральных коннотаций; во-вторых, хорошему знанию автором анатомических особенностей тела или интимному отношению человека к собственному телу. С этой точки зрения один из последних портретов Дюрера, который он писал перед зеркалом, оставляет нам тревожный и нецеломудренный образ одряхлевшего человеческого тела. Художник поднялся еще на одну ступень личного доверия, которое оправдывается болезнью. Но прежде чем перейти к знакомству с этой новой степенью свободы, посмотрим, что нам смогут сказать о физическом облике общественные предрассудки и вкусы.

### *Человек в одежде*

В одной из новелл Джованни Серкамби главное действующее лицо, скорняк из Лукки, отправившись в общественную баню и полностью там разоблачившись, внезапно испытывает панический страх потерять свою идентичность в толпе одинаковых голых тел; он кладет на правое плечо соломенный крестик, служащий ему своего рода маяком, но крестик сползает и падает на соседа, тот им завладевает со словами: «Теперь я стал тобой; исчезни, ты мертв!» Совершенно запутавшись, скорняк решает, что действительно умер.

### *Общество и костюм*

Черный юмор характерен для любой эпохи и похож на человека без свойств, которого легко убить одной лишь логикой слова. Но тосканский анекдот примечателен тем, что показывает уязвимость профессиональных границ и социального

престижа на той почве и в той среде, где индивидуальный успех ценился очень высоко. Идентичность утрачивается вместе с костюмом, ибо социальный человек всегда одет.

Кроме того, в самом изображении скорняка голым таится парадокс, главным образом потому, что ношение мехов является одним из отличительных признаков социальной принадлежности, а также потому, что в порядочном обществе голый человек, с точки зрения одетых, — это заблудший или изгой, и, наконец, потому, что обнаженность свойственна природе дикарей, находящихся во власти своих снов и многочисленных желаний. За этим рассказом можно разглядеть шаткость общества, которое держится на плаву только благодаря консенсусу, выраженному внешним видом индивидов; так, появление брата Женьева, одного из первых учеников святого Франциска Ассизского, сына торговца тканями, в голом виде на центральной площади города Витербо вызвало настоящий скандал.

Общество эпохи Позднего Средневековья оставалось верным трехфункциональной схеме, но усложнило ее и сделало менее прозрачной. Экономический подъем городов увеличил расстояние между трудящимися и власть имущими. Наиболее богатые из производителей могли нанять охрану, которая бы их защищала. Они чувствовали себя ближе к власти, нежели к порабощенным трудом. Претензии на успех, социальное возвышение затушевывали резкие различия, а цеховые уставы разных городов не устанавливали повсюду один и тот же тип иерархии: если во Флоренции XIV века решающую роль в политических и социальных структурах играли цехи, то в Венеции они в этом плане никакого значения не имели. Следовательно, образы, которые создавали сами себе городские общества, отражают специфику их истории. Группы, стоявшие у власти, тут и там направляли движение в сторону «общего блага», но в конце XIV века кодификация имела тенденцию четко очерчивать границы правящих классов в большинстве самоуправляющихся городов Европы.

Костюм — один из существенных символов соответствия своему статусу, поскольку традиция собраний и процессов предназначает каждой части общества свою роль и свое место, узнаваемые по форме и цвету. Таким образом, костюм служит залогом скрытого конфликта между политическим строем и экономическим развитием. Он является объектом регламентации, которая во имя общего блага стремится ограничить любые проявления надменности со стороны частных лиц. Невозможно подсчитать число городов, в XIV–XV веках издававших законы против роскоши и чрезмерных расходов и вводивших все более строгие правила по мере того, как благосостояние ремесленников и великолепие богачей становятся все заметнее. На том месте и в том ранге, которые даны человеку провидением, каждый независимо от того, насколько могущественным или ничтожным он был, участвовал в поддержании гармонии общественного целого — такова концепция незыблемого порядка под оком Божиим, выраженного через костюм. Такой вывод можно сделать из опубликованной в середине XVI века «Книги костюмов» с гравюрами Йоста Аммана из Аугсбурга, на которых изображены одежды, соответствующие разным профессиям. Это яркий социологический очерк, основанный на наблюдениях за внешним видом людей.

На протяжении жизни нескольких поколений купца узнавали по его осанке, венецианского сенатора — по черному облачению, которое он на себя напяливал, еврея — по звезде, проститутку — по желтому платью. В одном венецианском процессе конца XIV века фигурировала некая несчастная женщина, арестованная в притоне и спасающаяся благодаря воплю, который она издала, когда на нее надели платье соответствующего цвета и она поняла, какая судьба и какое положение ей уготованы.

Стереотип социальной функции публичных ли женщин или же королей накладывал на их образ своего рода фильтр, который с большими или меньшими вариациями сводил

внешний облик к символу. Таким образом, вопрос, который ставит историку ношение одежды, состоит в том, чтобы понять, когда частная жизнь прячет свое лицо под наружной маской. О публичном человеке известно, что он в тот или иной момент снимает с себя маску, но его частная жизнь — тайна за семью печатями. Если ее детали и становятся иногда нам известны, то это происходит случайно и не зависит от усилий историков. Что касается «маленького человека», то ограничивается ли его существование только частным бытием? Насколько его праздничная одежда может помочь нам представить себе его жизнь? Ведь за исключением праздничных дней, когда он, приняв гордый вид, сидит или танцует, его привыкли видеть в будничной практичной одежде. Работа на свежем воздухе мало подходит для интимной обстановки; когда же крестьянин оказывается в постели, он, как и буржуа, остается совершенно голым.

#### *Вещественные доказательства*

К счастью, есть другой подход к истории костюма, когда, абстрагируясь от того представления, которое общество создает о самом себе, ученые обращаются к вещественным доказательствам: гардеробу со всеми его деталями, зафиксированными в нотариальных описях и финансовых счетах. Это не столько гардеробы государей, где трудно отличить парадную одежду от будничной: обычные вещи из этих описаний, конечно, исчезли, и внимание больше уделяется не качеству тканей, а наличию или отсутствию вышитых рукавов, манишек, украшенных жемчугами, париков, церемониальных мантий. Уравновешивают эту документацию и расширяют круг наблюдений описания буржуазного и крестьянского гардероба, сделанные на основании живописи и нарративных источников, однако здесь могут быть пробелы. Одежда умершего, предъявленная нотариусу и охарактеризованная несколькими словами, была более или менее поношенной («пара старых

штанов, два шаперона\*, один из которых старый»). Оценивающий взгляд быстро различал вещи, которые еще могут пригодиться, и те, что производят обманчивое впечатление. Частные бухгалтеры добавляют к описям указания цены, которые позволяют подсчитать отдельно стоимость ткани, украшений, фасона вещи, а также определить цикл обновления гардероба или долю расходов на одежду в семейном бюджете.

Этнологический анализ быта различных племен, отмечающий усиленное подчеркивание некоторыми из них различий между полами с помощью атрибутов одежды или использование одежды для украшения тела, а не для защиты от непогоды, учит историка тому, что функциональное удобство костюма не всегда было его главным свойством. Однако показателем гардероб бедняков, весьма красноречиво рассказывающий о жизни его владельцев: благодаря распространенной в XIV–XV веках практике регистрации вещей нотариусом нам известно, что если костюм бедняка состоял из двух или более вещей, то они всегда служили защитой от дождя и холода — таковы, например, головной убор или пелиссон\*\*.

*Крестьянский костюм.* Посмертные описи имущества, если рассматривать их не в хронологическом плане, а типологически, свидетельствуют о единообразии крестьянской одежды в разных регионах Европы. Судя по описям имущества в сельской части Бургундии второй половины XIV века, изученным Ф. Пипонье, крестьянский костюм состоял из трех основных деталей: котты\*\*\*, пелиссона и головного убора. Если одна из этих вещей отсутствует, что случается довольно часто,

\* Шаперон — модный головной убор, вначале имел вид капюшона, затем превратился в пышное сооружение, напоминающее тюрбан, позднее приобрел более утилитарный вид.

\*\* Пелиссон — мужская и женская теплая верхняя одежда, часто на вате или меху.

\*\*\* Котта, котт — средневековая верхняя одежда разной длины, с узкими рукавами (мужская и женская); понятие, по смыслу близкое русскому «платью».

значит, ее продали, чтобы оплатить похороны родственников. Разница между мужской и женской одеждой стерта: платье равноценно и котте, и сюрко\*, и всему комплекту одежды в целом; так же и в Тоскане той эпохи женская *vestire*\*\* состоит из двух туник, надевавшихся одна на другую, и плаща либо аналогичной верхней одежды. Пелиссон представлял собой или своего рода куртку из вывернутой кожей наружу шкуры животного, или же широкий корсет с подкладкой из заячьей, а в наиболее богатых семьях — из кошачьей шкурки. Плотняный шаперон, а у мужчин — шоссы\*\*\* дополняли облик крестьянина. Отметим также нательное белье, полотняные сорочки, короткие суконные штаны для мужчин и добавим разнообразие цветов одежды, подчеркивавших разницу между полами. Вообще же мужчины и женщины одевались однообразно, материал был недорогой, но достаточно плотный; мужские костюмы обычно не красили, женские чаще шили из материй голубого цвета. Капюшоны мужчины предпочитали синие, женщины — красные, хотя носили и синие или белые. В сельском обществе состоятельность определялась по числу предметов одежды, даже если последние были плохого качества (наличие пяти головных уборов в гардеробе расценивалось как «ненормально» высокий достаток), а также по различным украшениям, доставляемым в деревни бродячими торговцами. В наши дни эти украшения стали известны благодаря археологическим раскопкам в Ружье, Драси, Бранд-ан-Уазане: серебряные пряжки и поясные застёжки, металлические вставки для кошельков и пуговицы для шаперонов. Драгоценности редки, если не считать колец. Перчатки вызывают ажиотаж: щеголяя ими, один молодой крестьянин пытается обольстить девушку.

\* Сюрко — по покрою похоже на котту, но большего объема; надевалось поверх котты.

\*\* Одежда (итал.).

\*\*\* Шоссы — узкие облегающие штаны-чулки.

*«Жирный» народ.* В конце Средневековья одежда бедных слоев населения европейских городов была одинаково скудной. Однако до настоящего времени объектом систематических и наиболее глубоких исследований оставалась одежда так называемого «жирного» народа, изучалась ли география распространения сукна, производимого в Европе, или выяснялось, насколько эффективно действовали законы против роскоши. Так, в 1401 году буржуа Болоньи обязали в течение двух дней представить на суд специальной комиссии свою одежду, подпавшую под действие закона о роскоши. В итоге 210 предметов одежды были опечатаны, их описи сохранились и служат важным источником истории партикулярного костюма, поскольку показывают, что в нарядах считалось чрезмерным в рамках бюджета буржуазной семьи. Не допускались прежде всего излишне шикарные детали украшений: серебряные звезды, бахромы и шнуры из плетеного золота, вышивка (с изображением лучей, листьев и животных), воротники и рукава, отороченные мехом, яркие тона в одежде, предполагающие использование кошениля или кермеса (пурпурная краска), не говоря уже о жемчуге и драгоценных камнях, составлявших часть костюма. Действительно, если посчитать, какая доля в общей стоимости одежды приходилась на ткань, шитье и декорирование, то выяснится, что расходы на ткань и шитье не превышали 30%, тогда как стоимость серебряных пуговиц, беличьей оторочки и золотых галунов одного предмета одежды равнялась плате, получаемой каменщиком за 140 рабочих дней; во всяком случае, именно такое соотношение имеет место в случае с роскошной коттой, которую флорентиец Симоне Перуцци подарил своей супруге (1363). Скандал вызвал и другой случай: на украшение для невесты одного из представителей семейства Строцци была потрачена сумма, эквивалентная той, какую опытный ювелир получал за 500 рабочих дней (1447). Ожерелье, состоявшее из восьми сотен «глаз» павлиньего хвоста, гибко закрепленных «танцующих» золотых зерен, жемчуга, цветов из эмали

и золоченых листьев по-венциански, стоило около 212 ливров, то есть приблизительно треть общей суммы наряда. Впрочем, семействам Перуцци и Строцци, находящимся на пике могущества, удавалось избегать любых ограничений. И таким ли уж дорогим следует считать гардероб некой Спинелли (урожденной Герардини), оценивавшийся в 500 флоринов, если ее супруг оставил после смерти 50 000 флоринов (зарплата каменщика за восемь лет работы)?

*Экономия и расходы на внешний вид.* Приведенные выше цифры привносят экономический аспект в социальную жизнь; они точно определяют дистанцию между миром богатых, о котором мы почти ничего не знаем, и миром бедных, скрытым от нас еще более густым мраком неизвестности; повседневная жизнь для первых — не то же самое, что для вторых. Для одних одежда — произведение искусства, для других — просто предмет гардероба. Кроме того, историю костюма нельзя рассматривать в отрыве от динамично развивающейся истории общества; на примере Флоренции видно, что буржуа той эпохи, когда жил Данте, не были готовы тратить столько средств на одежду, сколько могли потратить их внуки. Достаточно упомянуть, не говоря уже о культурных и ментальных изменениях, что на флорентийском рынке до 1300 года не было такого количества тканей и других предметов роскоши, какое мы наблюдаем в начале XV века.

Выдержки из одного флорентийского отчета по опеке, относящегося к последней трети XIII века, свидетельствуют о выборе дешевой ткани на платье для матери семейства; о покупке тканей лучшего качества для ее сыновей — теплого и плотного стэнфордского сукна для зимней одежды, красной саржи из Кана для летней; и, главное, об умеренном обновлении гардероба: за четыре года у дамы появилось всего три обновки, то есть меньше двух полных комплектов «vestire».

Столь экономное расходование средств находит отклик в советах «Хорошего хозяина» и в частных счетах буржуа

из Венеции, Франконии, Ганзейского союза (XIV–XV века). Из всех необходимых расходов траты на семью самые незначительные, но на них накладываются издержки на поддержание престижа семьи. Больших средств требуют свадьбы: на церемонии, подарки, приданое — подходящий случай, чтобы вложить деньги в ткани, украшения и драгоценности. Лукас Рем из Аугсбурга аккуратно зафиксировал в специальном разделе своей книги «Дневник» («Tagebuch») стоимость черного сукна из Линдау, коричневого бархата и серого атласа, пошедших на его свадебный костюм; отдельно указал сумму, потраченную на рубины, бриллианты и сапфиры, подаренные им жене, а также на приемы.

Однако такие расходы редки по сравнению с тратами на повседневные нужды или, например, на «снаряжение» сына, отправляемого в коллеж либо в ученики к мастеру в какой-нибудь отдаленный город вроде Праги или Венеции: тут необходим костюм из добротного сукна, удобные башмаки. Ничто так быстро не изнашивается, как подметки: из семейного бюджета Антона Тукера из Нюрнберга (начало XVI века) каждые три месяца часть денег уходит на починку обуви: в семье есть дети, они растут и требуют все новых расходов. Заказ нового костюма для десятилетнего школяра — безусловно, событие частной жизни; воспоминания об этом накладываются на нетерпение десятилетнего мальчика, одежда которого — слишком длинная или слишком короткая — уже вышла из моды. Возвращаясь к прошлому, Ганс фон Вайнсберг из Кельна вспоминает, как он молодым человеком в 1531 году покидал родительский дом, чтобы отправиться на обучение к монахам в Эммерих: «Отец распорядился, чтобы мне сшили костюм из сукна цвета серого осла, с множеством складок, белые кюлоты, высокие ботинки; на голову мне надели черную шляпу. В этом наряде я и ходил все время, пока был в Эммерихе. Более хороший костюм был бы мне ни к чему, поскольку ученики в моей школе сидели не на скамьях, а на холодных плитах пола. Кроме

того, у меня было несколько старых летних костюмов, но я из них постепенно вырос». Невозможно яснее объяснить выбор практичной и прочной одежды и выразить одобрение, данное автором уже в зрелом возрасте, отцовскому решению, несмотря на то что тогда, в детстве, оно помешало блистать среди сверстников: он, должно быть, вздохнул, увидев костюм серого цвета — какое разочарование! Главная функция непарадной одежды — защищать от холода. Частная история костюма состоит из подобных банальностей, из сумм, которые считается приемлемым на них тратить, из восторженных восклицаний или вздохов сожаления. За пределами этой сферы начинается история публичного костюма: история роскоши, моды, вкуса, излишеств.

### *Костюм и поведение*

Одежда, независимо от степени ее роскошности или удобства, тесно связана с частной жизнью: в этом убеждаешься, когда видишь, какое место она занимает в книгах расходов и какие образы она вызывает в конце Средневековья. И если сейчас нам понадобится вернуться к общественным условиям и символам, так это потому, что их значение отнюдь не исчерпывалось социальными уровнями внешнего вида. Костюм всегда — нечто большее, чем ткань и орнамент, он влияет на поведение, определяет его, подчеркивает; он отмечает этапы жизни, вносит вклад в формирование личности, оттеняет различие между полами.

*Кичливость и нужда.* Как мы видели, в конце Средневековья одежда мужчин и женщин рабочего сословия мало различалась; с другой стороны, публичные формы роскоши тоже способствуют единообразию, заставляя власть имущих носить одинаковые плащи с тяжелыми складками, подбитые дорогим мехом. Между этими двумя полюсами динамизм моды обновляет ткани и покрой, утверждая разделение полов. Экономическая мобильность, замкнутость каст и избранных

кругов ускоряют смену циклов моды при дворе и в городе, делая их более краткими, а моду более деспотичной. Она предлагает совершенно иные формы, открывает или подчеркивает с помощью подкладок строение тела, соединяет изогнутое и облегающее с собранным в складки, объемным, развевающимся, разрезанным. Мода — энергичная, всеохватывающая, утонченная — прославляет красоту и все ее уловки, подчеркивая прелести или намекая на них. Молодые люди, забыв о христианском смирении, демонстрируют мускулы, чтобы стать похожими на святого Георгия или на спутников короля Артура. Вполне возможно, что эволюция доспехов, повторяющих формы тела и облегающих его металлическими пластинами и креплениями, подчеркивала «мужественность» тела рыцарей; что латы служили образцом для подражания, дав начало самым причудливым изыскам моды. Все, что было в рыцаре высокомерного, воинственного и экстравагантного, воплотила одежда того времени. Начиная с середины XV века гравюры распространяют в Европе модель влюбленного юноши, который превращает завоевание прекрасной дамы в авантюрное предприятие, вроде военной вылазки.

По сравнению с этими заносчивыми и уверенными в своей неотразимости златокудрыми юношами, чей образ сохранили для нас портреты многих художников (от Пизанелло до Дюрера), молодая девушка из хорошего общества была куда более скромной. Ее фигурка, долгое время остававшаяся субтильной, в конце Средневековья, вероятно, округляется; однако женская мода, которая в общих чертах повторяет мужскую, ограничивается тем, что подчеркивает талию, в большей или меньшей степени обнажает плечи, скрывает или приоткрывает волосы и грудь. Шемизетка, геннин\*, платки, кружева устанавливают тонкую и ненадежную защитную стену между обществом

\* Высокий конусообразный дамский головной убор, распространенный с конца XIV по конец XV века.

и интимной сферой. Хотя девушка потворствует ухаживаниям и поддается обольщению, но ей не следует слишком быстро отказываться от осмотрительности, рекомендованной шевалье де Ла Туром Ландри в трактате о воспитании дочерей (вторая половина XIV века).

Путешествие нередко позволяет увидеть в других странах то, чего не видишь у себя. В 1333 году Петрарка писал о простоте, о волнующей свежести жительниц Кельна, увиденных им на берегу Рейна, где они участвовали в непонятном ему ритуале. «Какой вид, — восклицает он в письме своему другу, кардиналу Джованни Колонна, — какая осанка! [Que forma! Quis habitus!] С венками из пахучих трав на головах, с голыми до локтя руками, они на бегу окунали в воду бело-снежные руки, напевая на своем языке приятную песенку <...>» (письмо написано из Лиона). Чувство удивительной гармонии, «столь далекой от цивилизации», то есть далекой от рафинированных и порочных образов, распространяемых средиземноморским обществом, более живым и свободным. Юные флорентийки воспитывались согласно тому же пониманию стыдливости и собственного достоинства, что и их современницы во Франции или Священной Римской империи — по крайней мере, судя по тону частной переписки или по темам проповедей святого Антонина, флорентийского архиепископа середины XV столетия. Представление о приличиях, определяющее тип одежды и поведение юных девушек и замужних женщин, находит выражение в одинаковых терминах по всей Европе.

*Пол и возраст.* Если законы о борьбе с роскошью направлены прежде всего против женщин, кичившихся своими нарядами, причину этому следует искать в известном женоненавистничестве средневековых законодателей; следовательно, все объясняется «мужским» характером власти и патриархальными представлениями об отношениях между полами. «Созревшие для замужества» — так Поджо Браччолини определяет

встреченных им в Цюрихе в 1416 году юных красавиц: «*Puellae jam maturae viro <...> in dearum habitum ac formam*»\*. Молодая женщина, выходя замуж за человека с устоявшимся положением в обществе, иногда уже весьма почтенного возраста, становится капиталом. Ограничение роскоши специальными законами, определение максимального размера приданого имеют целью среди прочего остановить «брачную конкуренцию», постоянно повышающую ставки.

С другой стороны, невозможно себе представить, чтобы женатый буржуа, ведущий «Семейный дневник»\*\*, увековечил бы там поступки, которые позволял себе до того, как остепенился: порывая с прошлым, с мальчишеской жизнью, он ставит крест на шалостях, коим предавался в юности, и не потерпит, чтобы молодая супруга щеголяла в дорогих нарядах и выставляла себя напоказ. Драгоценности из приданого, формы, скрытые одеждой, гармония неярких красок — таким предстает у Франческо Сассетти «идеальный купец» и его семья: лица приветливые, но серьезные; одежда, подобранная со вкусом; неторопливые движения и жесты. Даже если муж молод, это «совершенный придворный», образ которого предвосхищает «человека чести» XVII столетия, ему надлежит следить за своим поведением, где немалую роль играет одежда. Образ придворного, выведенный в книге Бальдассаре Кастильоне (где воссоздаются диалоги людей из окружения Лоренцо Великолепного), — это человек со вкусом, сочетающий уважение к традициям с подчеркнутой эlegantностью. Одежда, выступая в качестве социального маркера, помогает привести свой внешний вид в соответствие с возрастом: следить за модой пристало молодым, в ту цветущую пору жизни,

\* Девушки, уже созревшие для брака <...>, с грацией и ликом богинь (лат.).

\*\* «*Livre de raison*» — своеобразный «дневник», в котором глава семейства фиксировал текущие расходы, а также рождения, смерти и браки членов семьи; туда же он мог вписывать собственные наблюдения, мысли и т.д.

которая пролегает между серыми тонами детства и блеклыми цветами зрелости и старости.

Именно в годы юности, в пору созревания одежда позволяет выражать личные чувства. Эпоха Позднего Средневековья не может претендовать на исключительное право сообщать о вкусах, намерениях и желаниях через кодированные элементы внешности: следовать моде во все времена означает подчиняться доминирующей тенденции, но дистанцируясь от других. В конце Средневековья жажду индивида к обособлению усиливают несколько факторов: это, во-первых, организаторская мощь государства, превращающая свободных людей в подданных; во-вторых, растущая закрытость институций, заставляющая человека замыкаться в своем кругу; и наконец, стойкая мода на рыцарские романы, благодаря которой король Артур и его рыцари становятся образцами для подражания для коронованных особ — от Карла VI до Карла VIII. Дворянская молодежь обретает свое «я» через обучение церемониалу и символике. В правление Карла VI личная мода, родившаяся при французском дворе, входит в трудноразрешимое противоречие с утверждающимся придворным этикетом.

*Знаки и коды.* Отличительные, опознавательные знаки, имеющие военное происхождение и служащие интересам семьи и политики, — гербы, девизы, ливреи — вписывают их владельцев в обширную группу компаньонов и друзей. Иногда эти знаки помогали знати (например, тосканской) вести генеалогические изыскания; в воспоминаниях Георга фон Эйнгена, знатного рыцаря из Франконии, жившего в середине XV века, описывается кропотливое собирание семейного имущества — крестов, гербов и монет, рассеянных на территории между Майном и Дунаем. В конце Средневековья знаки множатся, вовлекая людей в различные сообщества: появляются «клубы» (Stuben), куда входят представители рейнской, ганзейской, саксонской знати; юные патриции объединяются в компании

вроде венецианской «Calza» (изображенной на картине Карпаччо); наблюдается удивительный расцвет религиозных братств, чьи процессии являют собой столь живописное зрелище (у каждого братства свой цвет капюшона и свой цвет свечи, которую они держат в руках). Даже публичные игры, вроде нюрнбергского «бега бородатых» (*Schembartlaufen*) или сиенского палио (*palio*), сопровождаются объединением людей в группы со своей геральдикой и традиционными цветами, проецирующие в пространство кодифицированные образы и заставляющие их развиваться. Светские рыцарские ордена, создаваемые по всей Европе начиная со второй четверти XIV века, — это также способ публичного представления людей, — выбрав себе символ (крест, тесемку, плащ), объединяются и подчиняют себя общему своду правил. Все это делается добровольно, на основании взятого на себя обета.

И наконец, распространяется обычай ежегодных раздач государями «форменной» одежды, которая символизировала щедрость сильных мира сего и собирала под одними знаменами тех, кто причислял себя к их власти. Сохранились книги костюмов баварских и саксонских правящих домов (конец XV — начало XVI века): герцогам доставляло удовольствие увеличивать число зависимых от них людей, отмеченных знаками их рода; чтобы не отстать от моды, они периодически добавляли к таким костюмам новые детали. Буржуазным воплощением этой имперской традиции стала в эпоху Ренессанса раздача домом Фуггера всему персоналу церемониальных костюмов единого образца, которые следовало надевать по случаю бракосочетания и по случаю смерти кого-либо из глав фирмы (в первом случае они были красными, во втором — черными).

*Внешний вид: правила, которым необходимо следовать.* Наряду с этими кодифицированными системами допускается свобода выбора одежды, но он требует предварительного обучения, помогающего избегать ошибок и понимать намеки.

Два французских литературных источника середины XV века, где обучение умению одеваться предстает существенным элементом воспитания, принадлежат перу двух деловых людей, привыкших к стратегии знаков: это «Жувансель»\* Жана де Бёя и «Маленький Жан де Сентре» Антуана де Ла Саяя. Во второй книге рассказывается о тринадцатилетнем мальчике, которому некая знатная дама помогает придумать собственную систему распознавания символов; в атмосфере куртуазности и любовного наставления, лежащих в основе романа, молодой человек усердно работает над публичным выражением своих интимных чувств. Когда дама его спрашивает, как он украсит обшлага, Сентре описывает ей свои фантазии: «Кусок черного дамаста весь прошит серебряной нитью, а на нем кисточки из зеленых, фиолетовых и серых перьев (ведь это ваши цвета!); поле окаймлено кисточками из белых страусовых перьев, усеянных маленькими черными кисточками и горностаями <...>».

Но изобретение не может быть столь произвольным нагромождением символов. Оно предполагает освоение набора слов и грамматики. Монограммы, девизы — Карла Орлеанского и Маргариты Бургундской, разных второстепенных деятелей, — которые стоило бы собрать воедино, чтобы интерпретировать их смысл; геральдические эмблемы, использующие как реальные, так и фантастические виды флоры и фауны; язык цветовых оттенков, давший начало традиции символизма мистиков и ученых и общую канву морализаторских текстов. Когда Карл VII участвует в турнирах в образе Зеленого рыцаря, двор понимает намек. Во Флоренции с начала XIII века выражение «одетый в красное» обозначает богатого человека. Маттеус Шварц, возлагая на свою седую голову венки из роз, быть может, вспоминает о подобном головном уборе Ланселота. Анна Бронская совершает политический акт, когда,

---

\* В названии «Jouvencel» автор прибегает к игре слов: «jouvencelle» означает «юная», а мужской род был бы «jouvenceau».

соблюдая траур по Карлу VIII, одевается в черное, как это принято в Бретани, а не в белое, как того требует традиция во Французском королевстве. В общем, любое демонстративное действие индивида могло дать повод различным толкованиям; некоторые из этих действий принадлежали к публичной сфере и подразумевали совершенно ясные послания, другие вносили известную свободу в сферу обязательств, третьи — всевозможные тайны, ребусы, загадки, признания влюбленных, пари между друзьями — отражали частную жизнь и были понятны лишь одному или нескольким избранным. Маттеус Шварц в своей «Книге одежды» («Trachtenbuch») представлен в том же костюме, что и друзья его юности: они пришли на бал с песочными часами, прикрепленными к ноге: из символики вечеринок нам пока известна только эта деталь.

*Мода, возраст и память.* Наделенная всеми культурными, экономическими и социальными смыслами, о которых мы только что говорили, одежда также служит биологическим ориентиром индивиду, который вспоминает прошлое. Некоторые авторы конца Средневековья и начала Нового времени связывают память о своей внешности с событиями частной или публичной жизни; откровения часто полны психологической достоверности: зрелый человек с волнением или иронией вспоминает свою нескладную фигуру в отрочестве, облаченную в слишком длинную одежду. Например, юный фон Циммерн описывает свое неудовольствие при виде того, сколь мало его родители следили за модой, рассказывает о своей попытке убедить портного сшить ему короткий костюм, который был предметом его страстных и тайных желаний. Чувство проходящего времени, сочетающееся с не очень лестными замечаниями о безвкусных нарядах тогдашней молодежи, отличает Лимбургскую хронику (1360–1370) и домашнюю хронику Конрада Пелликана из Руффаша, где автор вспоминает о том плохом впечатлении, которое на него произвели крайности моды, привнесенной ландскнехтами около 1480 года.

Новейшим документом о манере одеваться в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса является, без сомнения, «Trachtenbuch». На протяжении десятилетий Маттеус Шварц фиксировал не только события своей жизни (что легло в основу уже упоминавшейся автобиографии), но и «хронику» своей одежды, представленную в виде множества акварельных рисунков и авторских комментариев к ним. Речь не о публичных костюмах, которые Шварц называл «карнавальными», а об одежде, предназначенной для различных событий частной жизни (юбилеев, бракосочетаний, пиров) и изготовленной портным Шварца под его руководством. Этот проект важен по двум причинам: во-первых, автор стремится сравнивать моду своего времени с костюмами прошлых поколений, так что его можно, по-видимому, назвать первым историком костюма, внимательным к изменениям и цикличности моды; во-вторых, в книге делается попытка внедрить в хронику частной жизни то, что прежде было лишь каталогом роскошной одежды; в-третьих, автор ведет рассказ в глубь времени, до первых едва различимых, «туманных» воспоминаний, когда ему было четыре года. Но чтобы начать действительно с самого начала, он идет дальше, описывая время, когда лежал в пеленках, «первом одеянии» человека на этом свете, и еще дальше, когда был в материнской утробе, где, как говорит Шварц, «я прятался». «Индикатор» частного времени, костюм начальной поры жизни соответствует «внутреннему костюму» старика, ослабленного инфарктом («рукой Божьей») и бродящего по дому нетвердым шагом в своем коричневом упеянде\*, колпаке и с палкой.

Когда имеешь дело с таким душевным откликом, не хватает лишь обнаженного тела, которое сближает, смешав все социальные классы, больного, прикованного к кровати, купца, занятого своими делами, бедняка, дрожащего от холода,

\* Верхняя мужская одежда конца XIV–XV веков.

принца в шелках. Используя неожиданный остроумный прием, Маттеус Шварц в середине книги приводит изображение своего тела с двух сторон — анфас и со спины: «Как же я располнел!» — не без юмора говорит он.

### *Обнаженное тело*

#### *Состояние наготы*

Защита или украшение, одежда — последняя оболочка социальной жизни, за которой скрываются «гладкие» тайны тела. Вспомним на минуту скорняка из Лукки, выведенного на сцену Серкамби и боявшегося потерять свою идентичность, когда он в бане сбрасывает одежду: века христианской бдительности и моральные запреты мешают ему узнать себя в своем непроницаемом теле.

Нагота — признак упадка коллективной организации, разрыва с кругом средневековых взаимоотношений. Даже на тимпанах соборов избранные и проклятые еще одеты. Женская нагота, как ее видит Пизанелло, — это сладострастие, опасное и необузданное; в художественных произведениях — это принудительное раздевание пленниц, среди которых римский император выбирает себе жену, или сцены насилия при свете факелов. Что касается мужской наготы, то в литературе она ассоциируется с сумасшествием или дикарством: ребенок-волк, рыцарь, лишившийся рассудка, не только потеряли память, но и не контролируют своих поступков, и их тела покрывает звериная шкура. В трагическом исходе «Бала объятых пламенем», который перешел границы приличий, когда Карл VI и несколько придворных появились на маскараде в костюмах дикарей, общественное мнение видит наказание за нарушение запрета. Наконец, при публичных экзекуциях осужденные предстают перед толпой без одежды. Повешенные Пизанелло и Вийона, бежавшие из осажденной Флоренции

и объявленные предателями военачальники, выглядящие на эскизах Андреа дель Сарто (1530) как марионетки в одних рубашках, страшные и гротескные.

*Слава и казнь.* Безусловно, эти изображения и сценические постановки отдают тело во власть навязчивых припадков, в которых оно насильственно, скандально и позорно лишается одежды — той, что ободряет человека и отличает от других. Появляются другие изображения, которые делают наготу достоянием христианской культуры: Адам во славе и распятый Иисус представляют верующим начало и конец в истории Сотворения и Искупления, сияние невинного и боль измученного тела. В конце Средневековья это символическое зрелище сыграно: для обозначения человеческой плоти и мяса животного немецкий язык располагает только одним словом — *fleisch*. Эта двусмысленность прекрасно отражает бремя человеческой природы в живописи Северной Европы, которая начиная с XV века обращается к изображению торжествующей наготы Адама и Евы и наготы умирающего в муках Христа. Мы часто признаем реализм «невежественных наставлений»: виртуозные художники, вдохновленные болезненной набожностью, создали немало изображений мертвого тела. Впечатляющий маршрут на пути к спасению от «Пьеты» Ангеррана Картона до немецких «Картин» и «Мертвого Христа» Мантеньи и в завершение — пределла Гольбейна в музее Базеля, имеющая размер гроба для этого единственного трупа.

Но новый Адам выполнил обещания, данные блаженному телу первого человека. Адам и Ева на картинах «Поклонение мистическому агнцу» Ван Эйка впервые в истории западной живописи имеют цвет кожи, волосистой покров, округлости, складки, напоминающие о циркуляции крови и дыхании жизни. Они трепещут в своей показательной наготе под резцом венецианца Риццо. Нарисованные или выгравированные Дюрером, они отличаются изящными и соразмерными телодвижениями, отсылающими к Античности. Безмятежные

и благородные изображения, которые приучают молодое тело, говорят о красоте мира, где человек становится мерилom вещей.

Возможно, первый этюд обнаженной натуры, позировавшей перед художником, — рисунок Дюрера, датированный 1493 годом. На нем изображена стоящая молодая женщина, она сбросила платье, но оставила ночные туфли, которые защищают ее от холодной каменной плитки во время позирования. Эта обыденная деталь придает телу большую убедительность, телу, без предлога и без задней мысли открытому взгляду, который обводит его, будто это цветок или фрукт. Соизмерим путь, пройденный от метафизической Евы из Отёна, которая не имела никаких признаков беременности. Портрет молодой немки 1493 года мог бы стать одним из бесчисленных портретов Евы в XV веке, но даже не берется за ее образец.

Диалог между человеком и его изображением на полотнах художников стал возможен благодаря осознанию людьми конца Средневековья своего тела. Они не создавали себе иллюзий о чудесном и грешном теле, откуда при последнем вздохе вылетает душа, чтобы жить в тусклости тела, страдающего в чистилище.

Нагота, с которой примирились в конце Средневековья, не предполагает постижение интимного. Личное ускользнет от нас, если мы будем думать, что оно готово обнаружиться под покровом знаков и условностей. Найти интимное — это не почистить луковицу. Интимная жизнь — последняя сфера частной жизни, но обязательно ли она «управляется» беззащитным, голым, преследуемым телом? Приподнимая одеяла «парадных» кроватей, с фонарем в руках, медиевист найдет только голые и спящие тела. Нагота предполагает обоюдный взгляд, затем призыв, который раздавался в раю с первых дней. Попробуем, по крайней мере, уловить на этом этапе взгляд, который мужчины и женщины Средневековья бросали на свое собственное тело.

*Естественные функции.* Хотя здоровье тела является определяющим элементом частной жизни индивидов, понять эту истину можно только путем анализа статистических фактов.

Иконографическая документация о людях начиная с последней трети XIV века становится более обширной и достоверной по сравнению с предшествующим временем. Чтобы получить обобщенные данные о физическом здоровье статистического населения, стоило бы потрудиться рассмотреть совокупность сохранившихся портретов, вначале разделив их по возрастам и регионам. Через фильтр живописи мы, безусловно, вынесем из этого осмотра представление о том, что городские нотабли хорошо питались, но на некоторые детали нам могли бы указать цвет лица или признаки заболевания, проясняющие физиологическую историю данной социальной среды, хотя бы классификацию по темпераментам от сангвника до меланхолика, тайны характера, отображаемые на лице, согласно «Календарю пастуха». Цвет лица, для улучшения которого использовались травяные отвары, — важнейший элемент в восприятии личной идентичности: так, героини романа просто красят свое лицо, чтобы пройти незамеченными. Под кожей и цветом находится скелет. Костяк также оставляет след, подлежащий статистическому измерению: величина могильных плит и надгробных памятников (в виде лежащей фигуры), размеры доспехов, коллекции которых разбросаны по всей Европе, не оставляют впечатления, что соперники и военачальники были маленького роста. Предпринятые недавно систематические исследования деревенских кладбищ особенно обогатили историческое знание о самой многочисленной части европейского населения конца Средневековья. Несомненно, что у крестьян, не имевших свободного времени, чтобы размышлять над своим характером, было загорелое или обветренное лицо. Так их описывают литературные тексты, благодаря которым они выходят на сцену. Редкие портреты,

которые представляют их как личности, а не как стереотипы, подчеркивают силу и здоровье модели: улыбающаяся словенская женщина, позировавшая Дюреру; бородач в колпаке из бараньей шкуры, готовящийся к игре, кисти Лукаса Кранаха Старшего.

Захватывающие исследования костных останков, вроде тех, что были проведены в Сен-Жан-ле-Фруа Ф. Пипонье и Р. Бюкайем, позволили сделать новые выводы о телосложении, питании и даже группах крови сельского населения. В отличие от рудокопов из горного села Бранд-ан-Уазан, подверженных таким профессиональным заболеваниям, как сатурнизм и деформация костей, бургундские крестьяне оставили неопровержимые свидетельства отличного состояния своего здоровья. Они были хорошо сложены, имели прекрасные зубы, их останки не несут следов длительных заболеваний. Мы не распространяем на всю Европу результат новаторских исследований, но констатируем вместе с М.-Т. Лорсен, что в данном случае археология подтверждает художественный образ крестьянина и в таких текстах, как «Фаблю» или «Новеллы» Серкамби, и в таких миниатюрах, как «Роскошный часослов герцога Беррийского». Представленные персонажи находятся в расцвете лет, отличаются простодушием и грубой силой, что также отмечал Эммануэль Ле Руа Ладюри в жителях Монтайю. Они с большим воодушевлением следуют естественным функциям организма: едят и пьют, опорожняют желудок, занимаются любовью.

*Питание.* В конце Средневековья тело находится в хорошем состоянии, люди, безусловно, питаются лучше, чем в предыдущие столетия. Пережившие Черную чуму и их потомки извели, по крайней мере в некоторых областях, лучшие материальные условия жизни, если учитывать такие показатели, как рост производства зерна, высокое потребление мяса в крупных городах, значительное увеличение потребления вина и масла на территории от Гаскони до Балтики

и Центральной Европы в период с XIII по XVI век. Реальная плата рабочих на строительных площадках, повседневный стол госпитализированных больных, сбалансированное калорийное питание в Арле в середине XV века (изученные Л. Стоуфом) позволяют предположить, что, во-первых, бюджет стал менее ограниченным и, во-вторых, больше внимания уделялось качеству пищи. Это общее впечатление, которое не должно заставить забыть ни «дворы чудес», ни несчастное бродяжничество между необработанными землями и перенаселенными городами, ни жертв вооруженных набегов и герильи, ни слабое сопротивление эпидемическим инфекциям даже самых взыскательных к пище людей. Хорошая еда для многих, как для шаловливого Тиля, — лишь периодическая реальность, которую чаще заменяют запахи и ароматы кухни богачей. Земля обетованная — фантастическая территория неутоленных наслаждений, где съедается все. Но пирушки в духе Рабле включаются в традицию, которая прославляет обычаи взаимоотношений, свойственных всем социальным группам, даже если они случайны. Естественные потребности тела — есть и пить вместе со всей семьей или на постоялом дворе — предполагают компанию: пить из одного кувшина достаточно, чтобы заложить фундамент вежливости, потому что нужно установить очередность. Ле Руа Ладюри говорил о «культуре тесного соседства».

Другие потребности тела во всех слоях общества более скромные. Относительно богатая документация периода XIV–XV веков не оставила изображений, но есть тексты и то, что они подразумевают под такими процессами, как опорожнение и совокупление, органы которых расположены поблизости друг от друга. Тексты по медицине и хирургии, авторы которых, как показала М.-К. Пушель, в воображении современников занимали место среди мусорщиков и мясников.

*Опорожнение.* Хирург Мондевил, автор первого сочинения на французском языке, посвященного приоткрытому

и объясненному телу, бальзамируя Филиппа Красивого и Людовика X Сварливого, обращал внимание на менее благородные части тела, расположенные под диафрагмой, где приготавливается питательная влага, скапливаются и выводятся остатки.

Мы знаем о проблемах муниципалитетов, с которыми к концу Средневековья находились в конфронтации городские службы всех уровней, когда речь шла об удалении отходов. Комиссии, составленные из нотаблей и главных городских архитекторов, обсуждали ежедневные проблемы, которые были не более чем увеличенными семейными или индивидуальными проблемами. Взгляд на частную жизнь с этой точки зрения — это взгляд на отхожие места. Ускользнуть от тесноты означает иметь «задние комнаты и уборные», где можно на мгновение уединиться. Замки, города, обнесенные стеной, имеют общественные уборные, выходящие к канавам и рвам с водой. Отхожее место есть и в караульном помещении графского замка в Генте. В Нюрнберге в XV веке для этих целей использовались открытые клоаки, расположенные вдоль домов с их тыльной стороны, перпендикулярно к реке. Отходы, которые скапливались из-за низкого уровня воды в реке, приходилось периодически вывозить за пределы стены. Судя по финансовым счетам и юридическим документам, изученным С. Ру, ремонтные работы в замках герцогов Бургундских, а также судебные процессы между соседями на горе Святой Женеьевы имели единственную цель — личный комфорт. Дюрер, будучи в 1506 году в Венеции, на каждом этаже нарисованного им плана отеля, где он остановился, указал уборные.

Есть случаи, когда неизбежная теснота оскорбляет стыдливость: это длинное морское путешествие на галерах, которое принуждает паломников в Иерусалим, обоего пола и различного ранга, к взаимному и невольному обозрению интимных поз друг друга. Доминиканец брат Феликс Фабер из Ульма, который дважды отправлялся в Святую землю (1480 и 1483),

в назидание своим преемникам оставил текст, полный грубых реалистических подробностей. Искатель приключений, вернувшись в тесную келью швабского монастыря, рассказывает о своих приключениях и публично дает несколько советов личного характера.

«Как говорит поэт, “созревшее дерьмо — невыносимое бремя (*ut dicitur metrice: maturum stercus est importabile pondus*)”. Несколько слов о способе мочиться и испражняться на корабле.

Каждый паломник имеет возле своей койки писсуар — терракотовый сосуд, склянку, — в который он мочится или срыгивает. Но поскольку тесные помещения битком набиты людьми и, сверх того, темны, и многие приходят и уходят, редко когда эти сосуды до рассвета остаются непрокинутыми. Действительно, постоянно кто-нибудь неловкий, побуждаемый срочной необходимостью, которая заставляет его подняться, опрокидывает на своем пути пять или шесть сосудов, распространяющих невыносимый запах.

Утром, когда паломники вставали и их желудок требовал облегчения, они поднимались на мостик и направлялись к носу [корабля], где с одной и другой стороны выступа были устроены уборные. Иногда перед этими уборными образовывалась очередь в тринадцать или более человек, которые ожидали занять место на стульчаке, и когда кто-то слишком долго задерживался, выражалось не стеснение, а раздражение (*nec est ibi verecundia sed potius iracundia*). Я охотно сравнивал это ожидание с ожиданием желающих исповедаться во время поста, когда, подолгу стоя на ногах, они раздражали себя, перебирая в памяти нескончаемые признания, и ожидали своей очереди с плохим настроением.

Ночью приблизиться к уборным было тяжелой затеей по причине спящей голпы, лежащей от края до края галеры. Тот, кто хотел туда отправиться, должен был преодолеть более сорока человек, и при каждом шаге он должен был переступить через кого-либо. От ступеньки к ступеньке он рисковал ударить

кого-то ногой или, поскользнувшись, упасть на спящего. Если во время перехода он задевал кого-нибудь, тут же слышалась ругань. Те, у кого не было ни страха, ни головокружения, могли ползком, цепляясь за борт, подняться на нос и двигаться от снасти к снасти. Я часто проделывал это, несмотря на риск и опасность. Можно было также пролезть через весельный люк и передвигаться, пересаживаясь с одного весла на другое. Это не для боязливых, поскольку сидеть верхом на веслах опасно и сами моряки это не любят.

Но особенно трудно становилось в непогоду, когда уборные постоянно затапливались морской водой, а весла лежали поперек скамеек. Пойти к стульчаку во время бури значило полностью промокнуть, поэтому многие путешественники снимали свою одежду и отправлялись в уборную совершенно голыми. В этом демарше стыдливость (*verecundia*) сильно страдала, особенно в отношении срамных частей (*verecunda*). Те, кто не хотел привлекать к себе внимание подобным образом, садились на корточки в других местах, что влекло за собой ярость, столкновения и подрывало уважение к почтенным людям. Были, наконец, и такие, кто опорожнялся в сосуды рядом со своими койками, что было отвратительно и отравляло воздух соседям. Терпеть это можно было только от больных, на которых никто не сердился. Нескольких слов, конечно, не хватит, чтобы описать, что мне пришлось вытерпеть, имея по соседству кровать больного.

Паломник должен стараться не терпеть по нужде из-за ложной стыдливости и не расслаблять желудок: два этих действия вредны для путешествующего на судне. На море легко заработать запор. Я дам паломнику хороший совет по гигиене: отправляться в уборную три или четыре раза на день, даже если этого не требует естественная нужда, чтобы способствовать скромным усилиям для совершения опорожнения, и не отчаиваться, если оно не происходит на третий или четвертый раз. Пусть он ходит туда очень часто, пусть он развяжет пояс

и освободит свою одежду от всех узлов на груди и на животе, и он достигнет опорожнения, даже если его кишечник содержит камни. Этот совет мне дал однажды старый моряк, когда я в течение нескольких дней испытывал ужасный запор. И ненадежное средство брать в море пилюли или свечи (*pilulas aut suppositoria accipere*), поскольку, слишком очищая себе желудок, рискуешь более серьезными последствиями, нежели запор».

Значение этого текста, основанного на личном опыте, прежде всего состоит в первооткрывательстве в описании интимных потребностей тела. С большим юмором, чем Сэмюэл Пипс, меньшим извращенным самолюбованием, чем Джеймс Джойс, доминиканец из Ульма входит в публичную сферу наименее блистательных естественных потребностей. Путешествие на корабле к этому обязывает: приличия и стыдливость оскорблены, но каждый находится на глазах у других. С помощью игры слов, дерзких сравнений и рассудительного анализа ситуаций, достойных *Kriegsspiel*<sup>\*</sup>, отличающийся крепким здоровьем брат Феликс предлагает вариации моралиста на деликатную тему, которые ставит себе в заслугу. Сведения о целесообразности употребления свечей, как и устная передача практических советов по гигиене, в данном случае от мужчины к мужчине, заслуживают особого внимания и позволяют не тратить время на медицинские предписания. Остроумие автора извиняет даже неуправляемое волнение, возникающее при виде половых органов других людей. В противоположность тому, что писал тремя веками ранее Гвиберт Ножанский в своей автобиографии, это волнение не обнаруживает плохие мысли, а говорит лишь о сложных механизмах, которым дает импульс взгляд: все движения тела контролируются сознанием.

*Заниматься любовью.* «*Felix conjunctio...*», — ликует «*Carmina Burana*»<sup>\*\*</sup>. Между записью физического вождения,

\* Военного маневра (нем.).

\*\* Крупнейший сборник поэзии вагантов XIII века; обнаружен в начале XIX века в монастыре Бойерн (Бавария).

начертанной на пергаменте монахами из Бойерна, и любовными песнями Ренессанса проходит здоровая традиция плотского наслаждения, расцветающая к концу Средневековья. Галантные прогулки, любовные речи, разная ерунда, которая отсрочивает ласки и увеличивает ожидание, — в эту эпоху, безусловно, меньше сдержанности, чем в предшествующие, но каково расстояние между песнями и действиями?

Общество Средневековья, рассматривавшее абсолютно интимный по природе телесный союз как акт основания семьи, окружило его публичными ритуалами — от того момента, когда супруги поднимались к брачному ложу под взглядами своих родственников, до радостного выставления простыней на другой день после свадьбы. Но новобрачная полностью не обнажалась, она не была ни собственностью, ни развлечением. Половой акт, как первый, так и последующие, как легитимный, так и тайный, нуждался в тени и уединенном месте. В текстах, касавшихся власть имущих, чувство приличия старательно исключало все, что могло походить на прелюдию физической близости. Уцелели некоторые картины, например изображение короля Германии Людвига Баварского, одного, за исключением необходимых слуг, в своих покоях, погруженного в приготовления к приему в спальне своей второй жены Маргариты Голландской, в которую он был очень влюблен.

Но единственно разрешенные картины спаривания отвратительны или неправдоподобны. На одних демоны овладевают своей жертвой, которая кажется заблудившейся в бестиарии. На других Леда, самая совершенная женщина в мире, измученная своим лебедем, или Ганимед, странно встревоженный орлом Микеланджело. И в первом, и во втором случае происходит половой акт, но он не демонстрируется.

Мы располагаем несколькими типами текстов конца Средневековья, которые позволяют нам представить, каким должно было быть сексуальное поведение согласно любовным признаниям, поступкам, нормативным правилам и процессам,

которые его обозначают, судят и приговаривают. Можно ли реконструировать обычное поведение исходя из единичных нарушений и общих правил? Святой Антонин Флорентийский призывал матерей прийти к проповеди со своими дочерьми, чтобы эти последние были осведомлены, какие опасности противоестественного поведения им угрожают после того, как они станут замужними женщинами. Мы видим в этом, с одной стороны, удивительную свободу публичного обсуждения содомии в семье, с другой стороны, очевидное отражение практики. Но решил ли святой архиепископ публично вмешаться после нескольких волнующих исповедей или вследствие того, что соответствующие открытия встревожили большинство его паствы?

В показаниях под присягой, из которых мы столько узнали о прихожанах Монтайю и их кюре, половой акт представляется как удовлетворение естественной потребности мужчин, которые всегда находят партнершу — добром или силой. Насилие часто составляет часть игры. Владелица замка Монтайю прошла через него из-за того, что ее возжелал кузен кюре. Иногда ситуация складывалась противоположным образом. Викарий Бартелеми Амилак сообщает о следующем разговоре: «Она мне сказала: “Приходи сегодня вечером ко мне”, — на что я ответил: “Что ты хочешь от меня?” И она мне сказала: “Я тебя люблю. Я хочу переспать с тобой”. И я ответил: “Хорошо”». *Sancta simplicitas*\*... В Монтайю наслаждение гарантировало невинность связи, особенно когда разница в возрасте между супругами давала шанс честолюбцу, который страстно желал «неудачно замужнюю» (*mal mariée*). Эта излюбленная тема провансальской литературы, наглядным примером которой служит написанный в XIII веке роман «Фламенка».

Даже поспешность, даже прерывистое дыхание передается нам при чтении юридических актов о совершении насилия и о наслаждении, сорванном с покоренного тела. Но партнеры

\* Святая простота (лат.).

очень часто неравнозначны. Это и обманутые добропорядочные женщины, и мальчики, и совсем молоденькие девушки, ставшие жертвами сумасшедших. В 1412 году в Венеции двоих сыновей богатого торговца шелковыми изделиями Амадо ди Амади, пока их учитель, опаздывая на занятия, играл в шахматы на постоялом дворе, совсем рядом с ними, заманили в комнату за лавкой [их отца] и изнасиловали. Вряд ли гомосексуализм, сурово наказываемый у взрослых, был только городским явлением, как, кажется, полагал Жак Фурнье во время своего расследования деятельности южных катаров. Скорее это связано с определенным возрастом и встречается в любой среде. Совместное использование кровати и легкие прикосновения имели неизбежный результат. Арно де Верниоль, один из жителей Монтайю, был «приобщен» в возрасте двенадцати лет в [монастыре?] Памье одним из своих «товарищей по кровати». Традиция жить между десятью и пятнадцатью годами среди юношей, прежде чем «свить свое гнездо», вероятно, достаточно объясняет игры, которым юноша предавался до женитьбы и в процессе которых он более или менее соприкасался с телами своих компаньонов. Мы обладаем еще меньшей информацией о девушках, жизнь гинекея подозрительна женоненавистникам. «Женщины говорят скверно, когда они находятся одни», — пишет в 1430 году Жан Дюпен. В «Романе о розе» девицы купаются вместе. Именно в аристократической живописи первой трети XVI века распространяется сюжет, представляющий обнаженных до пояса подруг за туалетом, обменивающихся ласками и весьма чувствительным щипанием со спокойным бесстыдством богинь.

### *Забота о теле*

В конце Средневековья тело, более свободное в своих движениях если не в повседневной жизни, то по крайней мере на картинах, является предметом самой внимательной заботы. Различные направления знания и чувств сливаются в практической морали, которая стремится всячески поддерживать

телесное устройство. Безусловно, с начала XIV века новые формы благочестия, продолжая аскетическую традицию, стараются вернуть тело на прежнее место. Но если чрезмерная святость всегда предполагает игнорирование нашего тела, если ритуалы покаяния делают флагеллантов специалистами по ушибам и унижению тела, то масса верующих призвана подражать Христу, который был не отшельником, а человеком из народа. В проповедях святого Антонина и Гейлера фон Кайзерсберга звучит возмущение не телом, а излишним к нему вниманием, отвлекающим от вечного, от духовной пищи. В этом они не противоречат натуралистическому любопытству, подкрепленному Новым Аристотелем\*, который старается лучше понять функции тела, чтобы помочь человеку гармонизировать свое поведение. Медицина и мораль неразрывны, поскольку они вместе добиваются торжества понятия меры. Это основная идея большого трактата Конрада фон Мегенберга «Книга природы» (1349), в котором рекомендуется стиль телесной жизни, полностью совместимый с духовной сущностью. Диета, движение, свежий воздух, частые ванны, *mens sana in corpore sano*\*\* . Всецело одобряются телесные подвиги рыцарей на турнирах, ничто не препятствует духовным возможностям воинов Христа, коими должны быть все христиане. Мы знаем, каким благоговением были окружены во всей Европе святой Георгий и святой Михаил в конце Средневековья.

*Рецепты жизни.* Сохранилось множество рецептов, записанных в семейных дневниках между счетами и молитвами или собранных в отдельные тетрадки, что свидетельствует о том значении, какое придавалось правилам здоровой жизни, поддерживающим и защищающим тело. Разумеется, в записях про- скальзывают помпезные или невежественные глупости, но тем не менее это — настольные книги знаний и опыта, европейский

\* Скорее всего, речь идет о Фоме Аквинском.

\*\* В здоровом теле здоровый дух (лат.).

свод разумной гигиены. Они основаны на семейных традициях, где знание лекарственных трав передавалось женщинами, а ученая практика медицины распространялась профессорами, состоявшими на службе государей и муниципалитетов. В XV веке появляются трактаты о детях с подробным планом их воспитания в первые годы жизни. Трактат доктора Бартоломеуса Метлингера из Аугсбурга (1475) включает длинные рассуждения о лактации и отнятии от груди, о прорезывании зубов, о колыбельных и прогулках, о диете и первых шагах.

Развитию тела, уходу за ним способствуют профилактические лекарственные меры, например ингаляции, бусины и шарики из амбры, венецианское противоядие от всего на свете. На протяжении XIV и XV веков бдительность растет, доказательством чему служит такое явление, как превентивность мер. Путешественники должны заранее защитить себя (как мы это видели на примере морского путешествия на галере) от опасностей, которым они могут подвергнуться вдали от своей среды: изменений попутного ветра, инфекций, неожиданной эпидемии чумы. В венецианских трактатах для послов содержится информация о дорогах Центральной Европы, о лошадях, постоянных дворах и о необходимых в пути мерах предосторожности.

Государи и просто любители, такие как нюрнбергский врач Гартман Шедель, коллекционируют медицинские трактаты, объединяющие античную науку и другие знания — анатомию, фармакопею, а также представления о влиянии драгоценных камней, знаков зодиака, искупительных формул, настолько широка область — от звезд до реторт, — которая занимается человеческим телом. Правильно применяемые рецепты способны защитить от любого неожиданного недуга. Книга рецептов против заразных болезней, составленных для императора Максимилиана, стремится предупредить болезнь. «Неизвестны примеры смерти от отравления или заражения чумой тех, кто пил эту *aquavita* каждый день по утрам

и вечерам. Кто усвоил эту привычку, обезвредит любой яд, который будет ему угрожать». Поиски защиты иммунитета, представление о диете вошли в сознание общества, которое вооружается, чтобы защитить себя.

*Болезнь, скрывающаяся повсюду.* Враг силен, и пока мы анализируем симптомы, инфекция делает свое дело. Когда больной прикован к постели, ему необходимо собрать силы, чтобы урегулировать свои дела и помешать победе демона. В этом открытом сражении, где действуют сверхъестественные силы, частная жизнь заканчивается. В спешке делаются лихорадочные приписки к завещанию, пишется последнее письмо близким, если человек умирает вдали от них. Даже самые здоровые организмы быстро умирают, уступая болезни. Последние мгновения, когда тело поддерживает духовную жизнь, в источниках Позднего Средневековья описаны особенно трогательно. Вот примеры, которые помогают нам представить смерть частных лиц.

1478 год. На Венецию обрушивается чума. Богатый торговец из Северной Европы Генрих фон ден Хальденгерберген понимает, что умирает. Прикованный к постели в своей спальне в квартале Фондако, где живут немцы, он приглашает деловых партнеров для помощи в урегулировании сложной ситуации, очень изменившейся с тех пор, когда он двумя годами ранее составил завещание в Риме.

«Я, Генрих Куфусс из Антверпена, свидетельствую моей душой и верой, что Генрих фон ден Хальденгерберген, посредник господина Андольфа фон Бурга, попросил меня прийти в свою спальню. Я пришел туда и увидел, что он был очень плох. И вышеупомянутый Генрих попросил меня пойти в банк Соранцо и перевести деньги на счет господина Пьеро Гримани, что я и сделал от его имени. Кроме того, я сказал ему, что он должен исповедаться и составить завещание, и продолжать жить как христианин, и что от этого он не умрет быстрее. Он мне ответил, что действительно было бы хорошо, если бы он это сделал, и что он желал это сделать. И я ему ответил

и сказал: “Когда ты был в Риме, насколько я знаю, около двух лет назад, ты составил завещание и сделал распоряжения”. И я ему сказал: “Ты хочешь оставить завещание, которое ты составил в Риме?” И я ему сказал: “Кто твои уполномоченные?” И он мне ответил, что там в самом деле было завещание, но насчет остального он больше ничего не знает <...>».

Тот же 1478 год. Благородной даме Анне фон Циммерн становится плохо, она лишается сил, пишет завещание и умирает.

«В то время как она держала гроздь винограда в руке, не обращая на нее особенного внимания, желтый червячок, похожий на маленького земляного червя, вылез из виноградины, пополз по левой руке вдоль мизинца, который называют золотым пальцем, и прилепился к нему. Заметив это, она позвала Сикста фон Хаузена, чтобы тот снял червяка с пальца. Но едва это было сделано, она плохо себя почувствовала, встала из-за стола и была отнесена в постель девушками и другими лицами, которые ее сопровождали. По ее приказу спешно отправились в Цюрих, расположенный на расстоянии не более одной немецкой мили, за доктором.

И тотчас в спешке она успела написать своему сыну, господину Иоганну Вернеру, и его супруге письмо следующего содержания:

“Обращаюсь к вам с чувствами материнской нежности и лучшими пожеланиями, дражайший сын и дражайшая дочь. Маленький червяк, вылезший из грозди винограда, заразил мне палец, и это усугубилось, теперь я прикована к кровати, совершенно больна и очень слаба, и я едва могу вам написать и обратиться к вам с просьбой. Дражайшие дети, не примените незамедлительно отправить ко мне гонца и сообщить мне через него, как поживают мои дражайшие дети и малыши, поскольку вы и они проявляете ко мне ужасную невнимательность. Но не очень тревожьтесь и прежде всего сообщите мне новости о внуках. Дано в Бадене, в ночь накануне Рождества Богоматери, 1478 года”.

Я не могу не привести здесь второе письмо следующего содержания:

“Дражайший сын, мое положение ухудшается, так что у меня нет иной надежды, кроме как препоручить себя Всемогущему Богу. Я теперь пленница Его воли, и он поступит со мной по своей Божественной воле. И я поспешно приказала совершить все христианские таинства перед полночью, ибо я не знаю, как мои дела устроятся здесь завтра. Поэтому не отрывайся от своих занятий, но перешли мне незамедлительно мою индульгенцию с отпущением грехов, которую я буду иметь подле себя. Окажи эту услугу и покажи мне, пока я жива и после моей смерти, всю привязанность, на какую ты способен. Дражайший сын, индульгенция находится наверху в шкафу, ключи от которого в выдвижном ящике. Дано в день Рождества Богоматери, 1478 года”.

Но она умерла, прежде чем это письмо достигло Мескриха».

В одном из двух фрагментов своего семейного дневника, относящихся к 1503 году, Дюрер рассказывает о суровой смерти, которая поразила его отца, а затем и мать. Пробудившись слишком поздно, чтобы помочь отцу, который покрывался страшной испариной, прежде чем испустить дух, художник сохранил в памяти смерть своей матери как картину совершенно неравного боя. «Она извела жестокую смерть, — говорил он, — и я отдаю себе отчет в том, что она видела что-то ужасное <...> она отдала Богу душу во время мук». Этот бой предвосхитил тот, который вел сам художник, многие годы мучаясь от страшных приступов, сотрясавших тело. Он прекрасно знал, что болезнь неизлечима; в письме к врачу художник изобразил себя голым, с пальцем, уткнувшимся в бок, и подписью: «Здесь моя боль» («Do ist mir weh»).

Но если агония — всегда одинокий бой, то публичный человек обязан дать самому себе и тем, кто его окружает, пример бесстрастного достоинства. Маргарита Австрийская пишет

письмо своему дорогому племяннику Карлу V, которое «скрепляет печатью» ее жизнь как официальный акт.

Карлу V

Мехелен, последний  
день ноября 1530 года

Монсеньор,

Пришло время, когда я не могу больше писать вам сама, поскольку я так плохо себя чувствую, что думаю, что моя жизнь продлится недолго. Со спокойными мыслями и решимостью принять все, что пошлет мне Бог, я скорблю только о том, что буду лишена вашего присутствия, не увижу вас перед своей смертью и не смогу с вами поговорить. Это письмо, боюсь, последнее, какое вы получите от меня, отчасти заменит мои речи.

Я сделала вас моим единственным наследником и оставляю вам государства, которые во время вашего отсутствия я не только сохранила такими, какими вы мне их доверили перед отъездом, но и значительно увеличила. И я передаю их вам во владение, веря, что заслужила не только ваше удовлетворение, монсеньор, но и благодарность ваших подданных и вознаграждение неба. Прежде всего, я советую вам хранить мир и прошу вас, монсеньор, во имя любви, которую вы свидетельствовали к этому бедному телу, сохранить также воспоминание о моей душе. Я препоручаю вашей милости моих бедных слуг и служанок и посылаю вам последний поклон, прося Бога, чтобы он дал вам, монсеньор, счастье и долгую жизнь.

Ваша преданнейшая тетьа Маргарита.

*Очищение*

Тело, превозносимое в силу своей недолговечности, — это тело, очаровывающее молодостью. Джулиано Медичи, появляясь на празднике, прославляющем возвращение весны

во Флоренцию, «вносил» свои золотистые волосы и величественную осанку, как знамя. Старость, которая является гибелью в физическом смысле — Петрарка был в этом убежден и объясняет это в письме к Гвидо Сетте, — не заслуживает смешных забот. Гейлер фон Кайзерсберг издевается с кафедры над морщинистой старухой из Страсбурга, которая хотела приодеться (*ausputzen*), что сделало бы ее еще отвратительнее. Есть подходящий возраст для ухода за телом; молодости, которой не нужно ничего возрождать, простительно желать, чтобы оценили ее естественные достоинства, при условии соблюдения меры. Туалет имеет терапевтическое действие, и вопросы поддержания красоты становятся украшением самых строгих медицинских трактатов. Туалет провожает нас к ванной, где мы вновь встречаем обнаженное тело, но необязательно интимное, мы отдаем себе в этом отчет. Однако прежде чем мыться, нужно очистить тело от насекомых.

*Паразиты.* Обычные насекомые сближают людей, поскольку нам ищут вшей те, кто нас любит. В Монтайю — под солнцем на крыше, на пороге дома — эта роль уготована женам и возлюбленным. Пьеру Клергу за разговором ищет вшей Беатрис де Планисоль. Вернемся на галеру паломников, в эту замкнутую социальную среду. Брат Феликс Фабер рассказывает нам о своем опыте и в этом вопросе. Паразиты развиваются, если от них не защищаешься. «Многие на корабле не имели запасной смены платья, от них дурно пахло, в их одежде, бороде и волосах кишели паразиты. Именно поэтому паломник должен не опускаться, а, напротив, чиститься каждый день. Тот, у кого сейчас нет вшей, может за час получить тысячу, что непременно произойдет, если у него будет малейший контакт с шивым паломником или моряком. Итак, пусть он ухаживает каждый день за своей бородой и волосами, поскольку, если вши там размножатся, ему придется сбрить бороду, отказавшись от своего достоинства, потому что неприлично не носить бороды в море. Бесплезно сохранять и длинные волосы, как

некоторые дворяне, которые отказались принести их в жертву и которых я видел настолько покрытыми вшами, что они наделили ими всех своих друзей и лишили покоя всех своих соседей. Паломник не должен стыдиться просить поискать вшей в своей бороде».

Нужно устранить грязь, через которую передаются эпидемические болезни. В этом личный здравый смысл согласуется с общим интересом. Уход за телом — занятие не только полезное для здоровья, но и приятное. Герои и героини с прекрасными волосами, белым или румяным цветом лица ценят время, которое они посвящают своему туалету. В конце Средневековья мужчины и женщины обычно чаще моются и принимают массаж, чем их потомки. По крайней мере, такое впечатление складывается на основании множества источников, касающихся ухода за телом и заботы о нем.

*Уход за телом.* Мужчины ограничивают эти заботы большими спортивными нагрузками, мытьем и последующим массажем, расчесыванием и подстриганием волос и бороды согласно канонам моды, изменчивым, как и одежда, в чем нас убеждают портреты. Такой уход в сочетании с некоторыми лосьонами исчерпывает то, что допускает мужественность. Овидий, живший в XV веке и будучи законодателем элегантности, напоминает, что мужское тело не требует ничего лишнего, и завитые щеголи из Венеции и Флоренции, Брюгге и Парижа заходят слишком далеко. Женщины в поисках развлечения готовы терпеть сильную боль ради того, чтобы соблазнить. Поскольку хороший врач, согласно Гиппократу, должен уметь ответить на любой вопрос о теле, трактаты по хирургии включают некоторые рецепты ухода за телом, в которых речь идет о румянах, депиляции, мазях для сосков или красках для волос, даже о мазях на основе измельченного стекла, вяжущих и красящих компонентов, позволяющих изобразить непорочность.

Таким образом, вдали от мира крепких крестьянок из «Роскошного часослова», мотальщиц и прядельщиц текстильных

фабрик, мойщиц и сортировщиц вогезских рудников Генриха Гросса или богемских рудников Матьяша Корвина создавался нечувствительный к критике церкви образ искусственной женщины, Аньес Сорель, с бледным лицом и выщипанными бровями, которая осмеливалась позировать с обнаженной грудью в роли Богоматери с ребенком. Позднее, в эпоху крестьянской войны, этот образ воплотился в портрете женщины кукольной внешности, нарисованной Хансом Бальдунгом, белой от свинцовых белил с большой черной шляпой на голове.

Длинные волосы указывают на траур, а Карл Смелый, пребывая в черной меланхолии, отращивает ногти как у животного. Однако обычно забота о теле предписывает ограничивать избыточную натуру. Культурное творение, женщина не должна иметь волосяного покрова, чтобы быть приятной. Медицинские трактаты объясняют, что волос является сгустком грубого испарения и что избыток женской влажности, который не вытекает естественным образом, превращается в мох, который нужно отрезать. Удаляют с помощью полосок ткани, обмазанных смолой, волосяные луковицы разрушают горячими иглами, также используют опасные депилятории. В «Тайне страсти», бичующей парижские излишества, к Магдалене обращается ее верная служанка Пасифая: «Вот ваши роскошные мази, чтобы сохранять кожу белой и свежей». — «Я достаточно блестяще выгляжу?» — спрашивает красавица через несколько мгновений. «Лучше, чем можно себе представить!»

*Мытье.* Чистая, гладкая, сияющая кожа и соответственно все тело — это результат повторяющихся ванн и долгой работы, которую заканчивают мази.

В конце Средневековья мытье тела не вызывает больше беспокойства монашеского морализма. По крайней мере, ванны и парильни настолько распространены во всех слоях общества, что оговорки относительно полного и частого мытья тела выглядят теперь неуместными. Доминиканец Феликс Фабер,

как мы видели, решительно рекомендует телесную чистоту и сверх того регулярную смену нательного белья. Нам даже представится случай задаться вопросом, не приобрело ли частое мытье в коллективных представлениях ту же духовную ценность, что и частая исповедь. Но вернемся к мытью и кадке.

Моются двумя способами: в ванне или в парильне, по одному или по несколько человек. Когда принимают ванну в жилище, ее приготавливают в спальне, рядом с очагом для нагревания воды. Предложить гостю принять ванну — один из первых законов гостеприимства. В рассказе Пьетро Азаро сеньор Барнаба Висконти, выполняя обещания, данные им инкогнито крестьянину, который помог найти дорогу, приказывает вымыть того в теплой воде и затем предложить самую роскошную кровать, какую когда-либо видел бедняга. В богатом буржуазном жилище конца Средневековья раздевались и купались в своих покоях. Антон Тухер в своем доме проходит из спальни в маленькую комнату, где он раздевается: там на каменном полу, покрытом деревянной решеткой, стоят чан и латунный таз (Нюрнберг, ок. 1500). По рецепту Галена воду настаивают на благовонных растениях, купальщика засыпают лепестками роз: «Их бросили на меня в таком количестве, — вспоминает галантный герой австрийской эпической поэмы, написанной в конце XIII века Ульрихом фон Лихтенштейном, — что не видно было воды в ванне». В сельской местности, если судить по «Фаблио», ванны были распространены не меньше, чем в городе. В доме или снаружи стояла кадка (лохань), в нее наливали горячую воду, а сверху натягивали сукно, которое сохраняло пар, отчасти превращая ванну в парильню. Мылись по двое, даже по несколько человек. Гостеприимство и общительность благоприветствовали обрядам, в том числе обряду купания — сборщиков винограда, жениха со своими друзьями юности и невесты со своими подругами накануне свадьбы.

Помимо домашнего мытья в городе или деревне часто посещают общественные бани, иногда находящиеся в ведении местных общин. Некоторые из них добавляют к омовению термальное лечение. Античная традиция терм не прерывается в местах, располагающих соответствующими естественными ресурсами. В XV веке лечение на водах становится светским явлением: например, на целебные источники (*wildbad* — «дикие ванны») в Бад-Тайнах, в Шварцвальде, в 1476 году приезжает герцог Вильгельм Саксонский в сопровождении своего врача; тирольский Халль в 1471 году по пути в Ратисбон посещает посол Агостино Патрици, оставивший нам описания его сложных сооружений.

Водные процедуры широко распространяются в конце Средневековья. На севере Альп практика парилен продолжает очень древнюю традицию. В итальянском трактате «Об украшении» («*De ornatu*»), посвященном женскому туалету и косметике, уточняется, что ванна с паром, *stuphis*, — это немецкое изобретение («*sic faciunt mulieres ultramontaneae*»<sup>\*</sup>). Действительно, сауна, одно из самых древних описаний которой оставлено путешественником и дипломатом Ибрагимом бен (ибн) Якубом, посетившим в 973 году Саксонию и Богемию, очень распространена в славянском и германском мире. Обычно помещение парильни отмечали знаком с изображением связки веток с листьями, в большинстве деревень парильня функционировала несколько раз в неделю.

В эпической поэме конца XIII века, приписываемой австрийцу Зигфриду Гельблингу, подробнейшим образом описаны все этапы паровой ванны, которую принимают вместе, среди прочих, рыцарь и его слуга. Как только банщик трубит в рожок, в парильню стекаются люди — босиком, без набедренных повязок, банных сорочек или рубах. Во мраке пара они ложатся на деревянные скамьи вокруг горячих камней,

\* Так принято у женщин из заморских стран (лат.).

которые регулярно поливают, и массажистки начинают разминать им спины, руки и ноги. Потоотделение усиливают удары веток, тело трут золой и мылом. Потом приходит брадобрей, который подравнивает бороды и волосы. Наконец, попарившиеся надевают сорочки и направляются в соседнюю комнату, чтобы отдохнуть на кровати. Это описание соответствует иллюстрациям к «Библии Венцеслава» (1389–1400) и «Календарю пастухов» 1491 года. Баня и парильня — место, где можно расслабиться, где чистят свое тело, где любят провести время, поговорить, подкрепиться, развлечься. А какое место лучше подходит для амурных свиданий всех уровней? Плохая репутация некоторых бань отражается на профессии банщика и подрывает уважение к ремеслу массажистки. Эротизм воды окрашивает тайные встречи, о которых рассказано во «Фламенке», провансальской поэме о преступной любви на водах Бурбон-л'Аршамбо. Развращенные и невинные встречаются в бане и устраивают себе развлечение. Люди внимательно присматриваются, оценивают друг друга, желают и соблазняют. Нетрудно представить обмен взглядами, который должен произойти. Можно пойти дальше в наших поисках благодаря тексту, который воссоздает поведение и дает ему оценку современника. Взгляд иностранца — речь идет о Поджо Браччолини, посетившем Швейцарию, — заставляет отказаться от стереотипов.

*Радости тела, очищение души.* Поджо Браччолини, модный автор, друг флорентинских гуманистов, большой коллекционер античных рукописей, которые он собирал по всей Европе, сопровождал в 1414 году папу Иоанна XXIII на Констанцкий собор в качестве апостольского секретаря. После низложения папы (мирское имя — Бальтазар Косса) Браччолини внезапно оказался без должности и работы. В 1416 году он отправился на воды в Баден, рядом с Цюрихом, и многое из увиденного там его, праздного наблюдателя, по настоящему удивило.

«Баден — его название на немецком означает “ванны” — вполне процветающий город, расположенный в долине большой быстрой реки, над которой возвышаются очень высокие горы; в шести тысячах шагов от города река впадает в Рейн. Недалеко от города на берегу реки амфитеатром, на четырех уровнях, расположено великолепное сооружение для бани. Его центр занимает огромное пространство, окруженное чудесными постройками, способными принять толпы людей. В каждой постройке свои бани, мыться в них дозволено только тем, кто туда допущен. Одни из этих бань общественные, другие частные, в общей сложности их около тридцати.

Общественные бани, их всего две, со свободным доступом с двух сторон площади, бассейны для всех без разбора, где сходятся женщины, мужчины, дети, девушки в большом количестве.

В этих бассейнах было построено что-то вроде перегородки: они разделяют мужчин и женщин. По-настоящему смешно видеть дряхлых старух вместе с молоденькими девушками, входящими в воду полностью обнаженными, открывая взглядам мужчин все части своего тела. Я часто смеялся над живописным зрелищем такого рода, воскрешая в памяти по контрасту “цветочные игры”\*, и восхищался невинностью людей, которые на это не обращали внимания, не воображали и не говорили ничего плохого.

Что касается бань в частных домах, они очень шикарные и также общие для мужчин и женщин. Их разделяют простые решетки, где вырезаны многочисленные окошечки, благодаря которым можно вместе пить, разговаривать, видеть друг друга и даже касаться, поскольку так принято. Над бассейнами проходят галереи, где устраиваются мужчины, чтобы наблюдать и разговаривать. Всем разрешено приходиться в частные бани



\* «Цветочные игры» — игры в честь римской богини весны и цветов Флоры — флоралии, отличавшиеся разнузданным характером.

других, дабы созерцать, беседовать, играть, занимать ум и оставаться там, когда женщины, будучи почти полностью обнаженными, на глазах у всех выходят из воды или входят в нее.

Никакая охрана не следит за входами, ни один вход не запрещен, никого не подозревают в непристойности. В большинстве случаев один и тот же вход используется мужчинами и женщинами, и мужчины видят женщин наполовину, а женщины мужчин — полностью голыми. Мужчины могут быть в нижних штанах до колен, женщины — в полотняных туниках, открытых сверху или сбоку, которые не закрывают ни шеи, ни груди, ни рук, ни плеч. В воде очень часто принимают пищу, расплачиваясь своей входной маркой, здесь же, в воде установлены столы, и у зрителей вошло в привычку присутствовать при этих угощениях <...>.

Со своей стороны, а именно с галереи, я пристально наблюдал за нравами, обычаями, приятностью общения, свободой, даже вольностью образа жизни. Действительно, удивительно видеть, как невинно, как простодушно они живут. Мужья видят, что их жен касаются другие мужчины, и не волнуются, не обращают на это внимания, они видят во всем только хорошее. Даже самые деликатные вещи становятся легкими благодаря их жизненным принципам. Они легко бы приспособились к “Политику” Платона, делая любую вещь общей для всех, поскольку, не зная о его теориях, они с самого начала встали в ряды его последователей. В некоторых банях мужчины тотчас смешиваются с родственницами или другими близкими им женщинами. Они ходят в баню ежедневно, по три или четыре раза, проводя там большую часть времени, и не только моются, но и поют, пьют или танцуют. Они действительно поют в воде под звуки кифары, немного приседая. Очаровательное зрелище являют собой молодые девушки, уже созревшие для брака, в полноте своих форм, с лицом, излучающим достоинство, держащиеся идвигающиеся как богини. В то время как они поют, их одежды в виде

шлейфа держатся на поверхности воды, так что они походят на крылатых Венер».

Описывая далее игры, которые происходят после полудня на большой лужайке, обсаженной деревьями вдоль реки, в частности соревнование по метанию дротиков и танцевальные представления, Поджо Браччолини продолжает: «Я верю, что эти места видели рождение первого человека, это воистину те места, которые евреи называют Эдемом. Именно здесь сад наслаждения. Потому что если наслаждение может сделать жизнь счастливой, то здесь я не вижу отсутствия чего-либо, чтобы достичь совершенного наслаждения во всех отношениях».

Разве тело может быть одновременно незащищенным и чистым? Культурный человек, светский человек теряет, как в сбывшемся сне, все свои литературные, национальные, моральные ориентиры. Его чувство приличия приведено в глубокое замешательство живым зрелищем, в котором смешиваются возраст и пол. Дряхлая старуха не скрывает свои увядшие формы и не вызывает никакого веселья. Молодые люди, практически голые, смотрят друг на друга, но в их глазах нет огня желания. Границы добра и зла незаметно исчезли, и хотя тела соприкасаются, хотя женщины не скрывают ни шеи, ни горла, ни плеч, ни рук (*neque... neque... neque...*), именно Поджо Браччолини их раздевает взглядом, именно с его губ сходят слова о непристойности и похотливости. Простота и здравомыслие исходят от зрелища, неприличие существует лишь в лексиконе гуманиста. Ему остается только раздеться в свою очередь, чтобы искупаться в источнике юности, который очистит его ум. Он боится, что его будут раздевать взглядом другие? Вспоминается, что красноречие — его ремесло. Может ли интеллектуал подсесть к дамам в бане, не стараясь произвести на них впечатление? Он не знает немецкий? Важно, что он превращается в нездорового зрителя этого сообщества примиранных тел, веселого и не имеющего преступных желаний, поскольку у него есть все. Браччолини мучительно чувствует

эту удовлетворенность, которую сам не разделяет. Последняя деталь его беспокойства: сад наслаждения, этот Эдем, находится на севере Альп. Новый социальный договор, основанный на нравах, который призвал к жизни город Платона, кажется реализованным гармонично, без насилия и ревности. У дверей нет охраны, нет ревнивых мужей, какими являются итальянцы. Однако Цюрих находится к северу от цивилизации, к которой принадлежит Поджо. Он телом и душой дитя своей родины, Средиземноморья. С севера он вернул на родину античные рукописи, которые его питали: из Клюни, Кельна, Сен-Галлена. Тринадцать новых речей Цицерона, «Наставления оратору» Квинтилиана и всего Лукреция. В сравнении с родной культурой может ли беспокоить мучительное видение северного рая? Пораженный на минуту грацией, что, возможно, объясняется временным прекращением его карьеры, Поджо вновь берет себя в руки. Он загадочным образом заканчивает эпизод со счастливыми купальщиками, которые предвещают Ренессанс, мускулистую Богоматерь Микеланджело, сопровождаемую атлетическими юношами, и «праздники раздевания» на полотнах от Приматиччо до Кранаха.

В конце Средневековья тело в ванной пробуждает другие отголоски. Ренессанс — не только пространственное видение блаженства, но также глубокое видение внутреннего движения. Наряду с фонтаном юности вечного лета — фонтан вечной жизни. Тело, озаренное удовольствием чувств, вдохновляет и церковную реформу. Именно спасительная вода подсказывает страсбургскому поэту Томасу Мурнеру его «Очистительное путешествие» («Badenfahrt», 1514), аллегорию призыва Христа, озвученного через рожок банщика:

Тогда господь, смилостивившись над нами,  
Начал нас учить,  
Как мы должны ходить в баню,  
Мыться, очищаться, терять всякий стыд

Силой и могуществом его святого имени.  
 Он это сделал так публично,  
 Что весь народ это видел.  
 Никто не мог бы сказать по правде,  
 Ни сказать, ни пожаловаться,  
 Что не знал,  
 Как должно мыться, очищаться,  
 Очищаться снова в Боге,  
 Подниматься как новый Адам,  
 Которого оживляет крещение.  
 Потому что Бог нам дает в своей милости,  
 Что ни один первородный грех больше не обременит нас.  
 Это было совершено Богом так открыто,  
 Что весь народ это видел.  
 Это сам Бог позвал нас в баню звуком своей трубы.

На основе этих первых произведений, подкрепленных восхитительными ксилографиями, которые, мы полагаем, распространялись в форме отдельных изображений, развивается лексикон, создавший самые обыденные картины мытья в парильнях. Как если бы воспроизведение простых жестов заставляло прорасти божественное слово. Жизнь тела — совершенное подобие, проявление духовной жизни. Обращение не подразумевает далекие поиски, паломничество на край света. Это обычное действие, озаренное чувством. Каждый раз, когда ты совершаешь этот акт, Христос приближается к тебе. Позволь пригласить тебя в баню, оставь свои пороки, освободись от своих грехов, пробуди свое рвение к добру, поблагодари банщика...

*Очищение души*

*die badecur*

*in das bad laden*

*sich selbst unrein*

термальное лечение

приглашение в баню

признание себя грязным

очищение

откровение

исповедь

<i>sich abziehen</i>	раздевание	снятие грехов
<i>vor Gott nackt stehen</i>	появление голым	стыд перед Господом
<i>die füs waschen</i>	мытьё ног	смирение
<i>den leib reiben</i>	тереть свое тело	слушать исповедь
<i>die haut kratzen</i>	скоблить свою кожу	покаяние
<i>in bad lecken</i>	хлестать себя ветками	пробуждать рвение
<i>der badmant</i>	сорочка (рубашка) для купания	саван
<i>das ölbad</i>	ванна с маслом	крещение и миропомазание
<i>das täglich bad</i>	ежедневная ванна	месса
<i>das wildbad</i>	термальные ванны	причащение перед смертью
<i>dem bader dancken</i>	поблагодарить банщика	благодарение

Сакральная любовь, мирская любовь: тело и вода — символы и вместилище ума. Что такое гуманизм, если не желание примирить видимое и сокровенное?

Между ними двумя — взгляд и все восприятие мира. Прежде чем проявить сдержанность, попытаемся найти в том, что они нам сказали, инструменты восприимчивого сознания.

### **Чувства и восприятия**

Рассматривая сокровенное, мы зависим от способов выражения, и хотя ничто не кажется более постоянным, чем перцептивные функции, наше мироощущение меняется со временем, как и образ жизни, манера чувствовать и мыслить.

Признавая невозможность оценки прошлого с современных позиций, необходимо понять, что же было сокровенным в прошедшие времена, или, скорее, оценить трудности подхода.

### *Зрение*

Больше, чем обоняние или вкус, зрение молчаливо признано самым необходимым чувством в качестве свидетеля, расспрашиваемого историей. Чтобы измерить необходимое пространство в пределах досягаемости, человек использует собственное тело. Ладонь, руки, ноги, даже стрела арбалета или лье имеют прямое отношение к телу человека — сеятеля, торговца, воина. За привычной глазу местностью — полем пшеницы, высоко срезанной жнецами, кромкой леса, изгородью, рвом и стеной — расстилаются пространства, непригодные для ведения хозяйства, пустынные, гористые, болотистые. Дефекты зрения, не исправленные ношением очков, приводят к тому, что в описательной литературе панорама появляется с опозданием и сперва символически. Эта близорукость очень хорошо соотносится с приоритетом символического изображения и вызывает жесткое несоответствие между живописным иллюзионизмом и реальным описанием на письме.

Возьмем снова пример пространства. Мы знаем, сколь широко педагогика, иллюстрированная христианством, распространила знаки, богатство смысла которых было понятно всем без всяких представлений о логической организации пространства. Воображение и память позволяли максимальному числу верующих разложить на части, выделить и объединить элементы живописной или скульптурной сцены. Начиная с XIV века получает распространение другой тип фигурного изображения, основанный на свободе движения в пространстве. Жесты, фиктивные перегородки, глубина предполагаемых планов, одним словом — обман зрения, делали из перспективы новую категорию символических образов. То, что мы пытаемся оценить в изображении как эволюцию к реализму в конце

Средневековья, является изящной имитацией реальности, удовлетворяющей клиентуру, для которой богатство зиждется на предметах, а мысль сосредотачивается на объединяющем их пространстве. По-настоящему благочестивые, будь они бедными или невеждами, о которых тревожится Жан Жерсон\*, остаются привязаны к осязательным изображениям, символическая власть которых (мы к ним вернемся) усиливается благодаря созерцанию. Это главный вопрос ренессансного спора о мирском и сакральном изображениях, который базировался на материальных и культурных характеристиках восприятия.

Фиксация цвета не меньше, чем восприятие пространства, зависит от приближения сокровенного. С этой точки зрения геральдика, мода на одежду, роспись интерьеров сразу же убедили бы нас, что люди XV века так же имели пристрастие к резким различиям и так же чувствовали нюансы, как и мы. К тому же мы часто забываем, что цвета, добавлявшие шарма произведениям, имели еще и символическое значение, очевидное тогда и скрытое сейчас. Еще более странен контраст между явным реализмом живописи и скульптуры XIV и XV веков и бедностью описательного аппарата в современных текстах.

Жан Фруассар, описывая деревни Арьежа, где он находится при дворе Гастона III де Фуа, говорит о «приятных» холмах и «светлых» реках. Далекий от красочности и натурализма, хронист не имеет иной цели, кроме как показать могущество своего хозяина, основанное на богатых владениях. Зато описывая въезд в Париж Изабеллы Баварской, он задерживается вместе с королевским кортежем на каждой «почетной» остановке, и его перо сверкает от красного, голубого и золотого. Но цвет присутствует здесь только для того, чтобы, пользуясь его символикой, засвидетельствовать почести, воздаваемые монархии парижскими буржуа.

---

\* Жан Жерсон — виднейший теолог XIV века, канцлер Парижского университета.

Мы долго бы искали в исторической литературе конца Средневековья описательные характеристики, достойные альпийских акварелей Альбрехта Дюрера, первых пейзажей в истории западного искусства, лишенных всякого подтекста и «полезности». Символическая условность, окрашенная как пурпурная роза, уступает место живой реальности только в редких эмоциональных текстах, где пейзаж необходим как обрамление восстановленного в памяти происшествия. Это — Фонтан Воклюза, который вдохновляет среди ночи Петрарку тревожным очарованием своих черных вод; дикие и безлюдные кадорские леса, где Карл IV едва не сгинул вместе со своей армией; синайская пустыня, в которой было суждено погибнуть монаху Феликсу Фаберу, прельщенному ее бескрайностью.

Как видно, нескольких ночных и тревожных сцен достаточно для краткого очерка. Ничего похожего на дневники путешествий XIX века. Даже паломники с Востока, более открытые экзотическим впечатлениям, пришедшие увидеть, иногда со слезами на глазах, библейские места, так часто воскрешаемые воображением, ограничиваются подтверждением читателям достоверности информации, которую они получили перед отъездом. Из этого не следует, что они оставались равнодушными к местному колориту, просто у них еще не было необходимого описательного аппарата, а из пяти чувств зрение — не самый восприимчивый орган.

### *Другие чувства*

В действительности в тех же описаниях путешественники охотно задерживаются на садах Святой земли, где, как им кажется, созданы все условия для наслаждения, некие врата рая. Пение птиц, шум источников, ароматы растений околдовывают рассудок рыцарей, горожан и священнослужителей, прибывших вкушать прелести Востока. В самой Европе огороженный сад позволяет вельможам, влюбленным, эстетам в интимной обстановке ощутить праздник чувств, сравнимый

с удовольствием от полифонической музыки или от смешанного вкуса еды, кислого и сладкого. В менее богатой среде, судя по описаниям приносимых кушаний, разнообразию приправ, страстию к срезанным цветам, наличию птиц в клетке, столько же признаков наслаждения жизнью. В мире, менее лишенном эмоций и менее однообразном, чем сегодняшней, обоняние, слух и вкус, безусловно, играли важнейшую роль в определении осязательного счастья, как реального, так и воображаемого. Чтобы выразить в текстах и картинах состояние благодати, блаженства, их авторы охотнее прибегают к гармоничным звукам и неуловимым ароматам, чем к ангельским видениям. Монахиня-мистик Маргарита Эбнер с невыразимым упоением описывает Божественное присутствие в клиросе церкви, которое проявлялось сладким дуновением воздуха и чудесным запахом.

Напротив, невыносимые запахи определяли социальные границы и контуры ксенофобии. Зловоние жестко привязывалось к некоторым занятиям, разграничивая части города, замыкая группы населения в их своеобразии. Монах Феликс Фабер, который, как мы видели, страдает от тесноты, возвращаясь на галере из паломничества в Святую землю, в банях Газы озабочен тем, чтобы отличить мусульман и евреев по запаху, тогда как христиане, говорит он, не пахнут плохо. Среди общих фраз, которые обычно пишут про немцев итальянцы, упоминается о плохом запахе, царствовавшем в землях Империи, который ее жители независимо от статуса переносили с собой. Кампано, гуманист, отправленный с миссией на имперский сейм в Ратисбон в 1471 году, вспоминает о постоянном зловонном запахе: иностранцу, чтобы от него избавиться, по возвращении домой приходится мыться пять и даже семь раз. Помимо полемического или надуманного преувеличения очень возможно, что вкусовые пристрастия жестко определялись повседневными запахами культурных границ. География запахов Андреаса Зигфрида — не только забавное изобретение серьезного экономиста.

Ничего удивительного, что разнообразие шумов, порожденное теснотой, ощущалось монахом, привыкшим к тишине своего монастыря, как невыносимое бедствие. Феликс Фабер действительно анализировал по отдельности все неприятности коллективного путешествия, на которое были обречены паломники, и шум был одной из них. Обычно естественные сильные шумы рассматривались как предзнаменование каких-либо плохих событий, например смерти владыки или прихода дьявола. В ночь, когда умер Джан Галеаццо Висконти, ураган и страшный ливень, согласно флорентийскому историку Горо Дати, возвестили, что его душа летит в ад. И в легендах о колодце святого Патрика, ирландском входе в круги ада, храбрый рыцарь, чтобы попасть туда, должен вынести неудержимые ветра, омерзительные крики и вопли чертей такой силы, «что все реки мира вместе взятые не смогли бы сделать больше»...

Таким образом, идет ли речь о блаженстве или о самых невыносимых ситуациях, совокупность чувств затронута захватывающими впечатлениями внешнего мира, мира, где души шелестят среди живых, где красные и синие ангелы Фуке обнимают Богородицу с Младенцем и где даже пустыни заполнены демонами, ищущими добычу.

### *Выражение чувств*

Перед лицом реальности человек старается обуздать свои чувства. Правила воспитания, примеры для подражания, «королевские зеркала» отделяют то, что сводится к публичному, от того, что выражается только частным образом.

Стыдливость запрещает слишком много говорить о своем счастье или распространяться о своей печали. Людвиг фон Дисбах, рассказывая о смерти своей жены, отмечает, что он отпустил слуг, чтобы остаться наедине с умирающей, дабы ухаживать и присматривать за ней. Анна Бретонская, узнав в одиннадцать часов вечера о смерти в Амбуазе Карла VIII,

удалилась в свои покои и никого к себе не пускала. Назавтра она получила соблезнования от кардинала Брисонне, ничего ему не ответила и заперлась почти на сутки. Конечно, невозможно отделить в этом уединении степень горя от ухода в себя и политических размышлений. По крайней мере, оно свидетельствует о желании держать ответ только перед собой и, возможно, перед Богом.

Однако некоторые отцы доверили бумаге взволнованное выражение своих чувств после смерти детей. Лукас Рем из Аугсбурга записывает в своем дневнике молитвы об умерших родных, отмечает такие близкие ему черты внешности рано ушедших детей: вот этот мальчик с черными глазами, умерший от слабости после двадцати недель болезни, «самое прискорбное зрелище, которое я видел в жизни». Джованни Конверсини из Равенны сокрушается, что стыдливость «мешает ему выразить горе, сжимающее его сердце». Более многословный и очень взволнованный Джованни ди Паголо Морелли из Флоренции после рассказа о смерти своего сына Альберто добавляет: «Прошли месяцы со времени его кончины, но ни я, ни его мать не можем его забыть. Мы беспрестанно видим его образ перед глазами, мы вспоминаем все обстоятельства и ситуации, его слова и поступки, видим его днем, ночью, за завтраком, за обедом, в доме и снаружи, спящим или бодрствующим, на нашей вилле или во Флоренции. Что бы мы ни делали, это нож, который вонзается нам в сердце». И дальше: «Более года я не могу войти в эту спальню по причине крайнего горя».

### **Сдержанность**

#### *Место уединения*

«Комната раздумий». Помимо картезианских монастырей и мест добровольного заточения существует мирской обычай уединения, который предполагает желание и возможность

остаться наедине с собой. «Комната за прилавком» Монтеня продолжает традицию «отдельных спален», где в конце Средневековья охотно запираются поэты, гуманисты и богомольцы.

По существу, речь идет прежде всего о месте для работы и размышлений, *studiolo* на итальянском. Карпаччо и Дюрер как такую же интимную и уединенную комнату представили Келью, где творил святой Иеремия. Мы видели, что эта комната стала привычным помещением в частных жилищах на севере Альп. *Studiolo* также обозначает комнату для игр, запирающуюся на ключ, куда маленький Конрад фон Вайнсберг из Кельна перенес свои сокровища и где он изображал священника перед жертвенником судьбы.

Как пишет Данте в «Новой жизни», он заперся в спальне, чтобы никто не слышал его стенаний. Петрарка, читая в своей комнате «Исповедь» святого Августина, лил слезы, хватался за голову, заламывал руки, настолько он сочувствовал страданиям своего кумира; ему не хотелось в этой ситуации обременять себя свидетелями. Тем более духовному уединению благоприятствует тишина отдаленного места. Устав братьев общей жизни, каноников Виндесхайма, рекомендует «отделиться от мира, чтобы сильнее обратить свое сердце к Богу».

«Уединение» может обозначать одновременно и место, где человек остается один, и желание отказаться от мира. В отличие от Датини, торговца из Прато, который не решается следовать увещаниям жены и друзей подумать наконец о своей душе, «совершенный купец», каким его видит Бенедетто Котрульи в своем трактате — практическом наставлении торговцу, закрывает расходные книги и, уединившись в своем сельском доме, проводит время, которое ему осталось жить, готовясь к спасению души.

Наконец, в духовном смысле уединение определяется как восхождение к вершине, месту символическому и сокровенному. Поднявшись на Мон-Ванту, Петрарка проникся убедительной значимостью своего поступка, который позволил ему

одновременно размышлять над событиями прожитой жизни и приблизиться к вечному. Как пишет Людольф фон Зюд-хейм, «только поднимаясь в воздух, человек по-настоящему меняется». Тогда уединение становится «молчаливой крепостью», где человек, полностью очистив ее, может принимать Иисуса Христа. Среди всех определений души, предлагаемых Майстером Экхартом в своих «Проповедях», одним из самых удивительных является сравнение с укрепленным замком: «Этот маленький укрепленный замок так возвышается над всякой формой и всяким могуществом, что только Бог может когда-нибудь проникнуть в него своим взглядом. И поскольку он един и естественен, он входит в это единство, которое я называю маленьким укрепленным замком души».

На этом последнем этапе уединения в себе не нужно искать отдельную комнату, «верхнюю комнату Писания», в идеальном месте, она в каждом из нас, если мы сумеем ее воздвигнуть и найти там приют. Подняться в себя и закрыть двери в мир — это создать «сокровенную тишину души», как говорила мистическая писательница Мехтильда Магдебургская. Тогда даже если «мы бодрствуем или спим, сидим, едим и пьем, даже среди тысячи других можно оставаться наедине с Христом» (Ж. Момбэр).

Безусловно, эта высшая форма уединения не была в XV веке более достижима всеми сердцами, чем во всякую другую эпоху. Карл Орлеанский, обладавший обширной философской и теологической библиотекой, не преодолел этап самопознания в «комнате раздумий», где он предавался грустным размышлениям. Но многие авторы XIV и XV веков дали пример самоанализа, даже когда он ограничивался завещательными формулами. Они смотрели на будущее с искренней и горячей тревогой. Об этом свидетельствуют возрождение в XV веке аскетических орденов, успех благочестивых братств, самые красочные аспекты проповедей нищенствующих и особенно изобилие личных проявлений набожности.

*Тренировка памяти.* Очевидно, что эти умонастроения были усилены воспитанием самообладания. Обучение дисциплине начинается с молчания, вмененного школьникам и рассматриваемого как элемент, формирующий в той же степени, что и азбука. В начале XVI века золотых и серебряных дел мастер из Франконии в детских воспоминаниях помещает рядом выражения «*stille sitzen*» (сидеть в тишине) и «*buchstabieren*» (изучать буквы). Тишина генерирует структуру мыслей, если она контролирует память. Память развивается благодаря визуальной технике и привычке делать краткие выводы.

О мощи и точности памяти людей средневекового тысячелетия, когда из-за того, что книги были редки, создавались и передавались умозрительные образы, в особенности религиозные, свидетельствует множество документальных примеров не только в просвещенных слоях, где память является одним из элементов кумулятивной культуры, но и в народной среде, как показывает юридическая практика свидетельских показаний. Самые индивидуальные аспекты частной жизни, которые составляют личность, основаны на круговороте памяти, где приобретенные элементы, продукты знания или опыта, добавляются к устным традициям социальной группы. Кажется, что семейная память не превышает трех поколений. С течением времени о прошлом великих людей судят по архивам, традициям и легендам. Однако индивидуальная память способна с потрясающей убедительностью оживить события, даже слова, сказанные четверть века назад. Петрарка, включив в «*Rerum vulgarium fragmenta*» (букв. «Фрагменты [стихов] на итальянские темы») ежедневную хронику своих деяний, может написать: «В эту пятницу, 19 мая 1368 года, имея бессоницу, я поднялся, потому что мне вспомнилось очень давнее событие, более чем двадцатипятилетней давности <...>». Еще более поразительны показания перед судьей-инквизитором Беатрис де Планисоль, владелицы Монтайю, которая воскрешает в памяти факт, произошедший двадцать шесть лет

назад, в августе. Или показание бедной работницы из Дуэ, процитировавшей после смерти могущественного и грозного торговца суконными товарами Йехана Боинброка глумливые слова, адресованные деловым человеком ее молодой матери тридцатью годами ранее.

### *Мир сознания*

В обществах, где умение писать оставалось прерогативой властной и ученой элиты, тренировать память было необходимо. С начала XIV века техника печатания, способствуя распространению изображений, часто сопровождавших тексты, заставляла циркулировать по всей Европе эти стимуляторы памяти. Изображение действительно укрепляет воспоминания, которые религиозная педагогика умела использовать самым разумным образом.

*Приемы благочестия.* Мы видели, что собственные заметки, оставленные Петраркой на полях горячо любимых книг, воздействовали на него как сигналы, включавшие механизмы памяти, оживляя раны и слезы. Эти простые записи свидетельствуют о распространенной в Средние века привычке мыслить достаточно широко. Так, на оттиске XIV века (Италия) изображена Богоматерь после Вознесения Христа — погруженная в себя, размышляющая о тайне только что совершившегося спасения. Рядом со скорбным ликом Богоматери художник повторил эпизоды этой истории в хронологическом порядке, используя знаки, очень близкие к идеограммам и ребусам, сопровождавшим краткие легенды. Осел и вол напоминают о яслях, меч и копьё, поставленные между деревьями, — о Гэфсиманском саде, следы двух ног на холме — о Вознесении. Размышлять над жизнью Христа, как Мария, которая «снова переживает все эти события в своем сердце», — это вспоминать в порядке, указанном графической канвой, некоторые хорошо известные эпизоды Нового Завета и посредством сознания воскрешать набожность.

Выражение сокровенных чувств, обостренных памятью, с другой стороны, стимулировалось монотонным звуком и «опьяняющим» чтением тихим голосом, этим шепотом молитв или исповеди, «голосом души», рекомендованным Латеранским собором 1215 года. Оно также стимулировалось техникой считаемых повторений, которые принадлежат к самым древним формам религиозной практики, поскольку жемчужная нить, предшественница четок, засвидетельствована в IV веке. Включение «Отче наш» после десяти молитв «Аве Мария», изобретение монаха картезианского монастыря (Кельн, начало XV века), стало этапом сложного процесса, тесно связавшего «Аве Мария» с пятнадцатью евангельскими событиями, так называемыми тайнами. Сжатые формулы, *clausulae*, которые стремились скорее упрятать медитацию в круг четок, нежели позволить ей скитаться и, быть может, потеряться, способствовали развитию в конце Средневековья своего рода «благочестивой бухгалтерии». Она отчасти вырабатывала автоматизм произнесения молитв (иногда подвергавшийся критике), не умаляя при этом подвижнических намерений молящихся. Это связывали с активизацией ритуальных действий. Так, количество заказанных по завещательным распоряжениям месс доходило до тысячи. В действительности из-за формальных повторов подсчет 5500 ран Христа или 1000 кровавых шагов по Крестному пути позволяет выделить время неизмеримых страданий и приковать до головокружения взгляд верующего к таинству Страстей Христовых.

Личные чувства хронистов конца Средневековья часто связывали с местами, воскрешавшими приятные или трагические воспоминания. Так и религиозные доктрины нищенствующих орденов, заботящиеся о спасении как можно большего числа лиц, акцентировали внимание на связующих предметах: четках (широко распространенных благодаря популярности в Европе братства, созданного в Кельне в 1474 году), мощах, частных коллекциях (собрание которых иногда доходило

до сумасшествия), благочестивых изображениях (созерцающие которые предавались размышлениям в интимной обстановке) и рукописных молитвах (которые носили с собой). В этом отношении археологические находки, обнаруженные под деревянной обшивкой стен Венхаузена, цистерцианской церкви в Люнебурге, самым ощутимым образом проливают свет на проявления личного благочестия в конце XIII века. Наряду с булавками, ножами, очками в деревянных или кожаных оправках, найденными под креслами каноников, были извлечены на свет изображения, выпавшие из молитвенников или одежды, раскрашенные гравюры на дереве, рельефная бумага в свинцовых формах, маленькие свертки с костями и остатками шелка, свидетельствующие об обычае хранить мощи. К предметам такого рода принадлежит чернильный эскиз схематического распятия, который Дюрер носил при себе и который никак не претендует на художественное произведение.

Какие знаки и изображения воспроизводили наиболее часто? Нет никакого сомнения, что в конце Средневековья приоритет отдавался изображениям или аллюзиям, говорящим о человечности Христа и его страданиях больше, чем о его божественной природе. При очень немногословном характере знака созерцание страданий Иисуса и сочувствие верующих пробуждались аллюзией к орудиям (кнут) или предметам (факелы с Масличной горы), помещенным, согласно библейскому рассказу, на пути, который ведет к «страсти» креста.

К этой предметной области принадлежит воспроизведение пяти ран Христа, которые в обществе, привычном к геральдическим знакам, предстают в виде мистического герба Сына человеческого, где в центре изображения одновременно тривиальные и священные предметы: розги, гвозди, губка, лестница, зияющая рана в боку Всевышнего — величие образа, как на мандорле, подчеркивается фоном.

«Безмерное желание божественного», о котором говорил Люсьен Февр и которое Эммануэль Ле Руа Ладюри резюмирует

жесткой формулировкой: «Они любят Христа кровоточащим», снова препровождает нас к телесному реализму тела Имитируемого Иисуса Христа. Имитировать, копировать — это не значит принимать общую линию поведения, которая несовершенно воспроизводит образ действий совершенной модели. Самые ревностные христиане — те, что объединены в благочестивые братства, и те, что одиноки в своих духовных упражнениях, — оживляют каждый эпизод «страстей» наиболее убедительным для тела и сознания способом. «Беспрестанно помнить» (*frequenter in mente*), говорит Г. Гроот; готовить себя «набожными излияниями» (*per pias affectiones*), гласит глава о мессе из устава братьев христианской жизни; «медленно и со слезами взирать», наставляет святой Бонавентура в трактате об обучении послушников. Вот те нормы, в которые должно укладываться благочестие.

«Мы созерцаем, — пишет Бонавентура, — кровавый пот, удары по лицу, неистовство кнута, терновый венец, насмешки и плевки, вбивание гвоздей в ладони и ступни, сооружение креста, искаженное лицо, бескровные губы, горечь губки, поникшую голову, жестокую смерть <...>». Набожность призвана детализировать все этапы мук, выявлять в замедленном темпе знаки и последствия смерти, переживать мыслями и телом обратительную агонию, ниспосланную спасителю мира.

Сформированный посредством памяти и волнения, взгляд, которым современники смотрели на холсты, представляющиеся нам прежде всего прекрасными произведениями живописи, напоминает о двузначности оригинального религиозного искусства XV века. Так, «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена, написанное по заказу арбалетчиков Лёвена, поместивших холст в алтарь часовни своей гильдии, приурочено к конкретному моменту истории «страстей», воссозданному иллюзией положения. Это потрясающее художественное повествование, распространяемое в ту пору на скромных листках, содержит двойной образ сдержанного сострадания:

бледное и измученное тело мертвого Христа, Дева Мария, лишившаяся сознания. Другой, еще более тонкий пример — «Мадонна» Джованни Беллини, хранящаяся в венецианской академии: на картине изображена обожающая Богоматерь, которая не может не знать судьбы Божественного Младенца, лежащего на ее вытянутых и негнущихся руках. Эти примеры свидетельствуют, что изображение в алтаре и изображение индивидуальной набожности необязательно разъединены, что литургия и личная молитва не всегда противоречат друг другу. Восприятие священного и воздействие знаков постепенны: величайшая замкнутость совместима с публичной демонстрацией набожности.

*Молитва.* Согласно мистической теологии канцлера Парижского университета Жана Жерсона, всё есть молитва, когда самый покорный верующий с самым простодушным рассудком (*etiamsi sit muliercula vel ydiota*) соблюдает религиозные обряды, не размышляя о духовном подъеме. Христианин может сделать предметом своей молитвы любое увиденное зрелище. Личная набожность, укоренившаяся в постоянной покорности, означает готовность к приходу Святого духа. Молитва, пишет Жерсон, — это «цепь, которая позволяет кораблю приблизиться к берегу, не приближая к нему берег». Размышление, основанное на приучении памяти, и тренировка чувствительности, более широко распространившиеся в конце Средневековья, чем мы это подозреваем, ведут к созерцанию. Если судить об этом по сохранившимся в европейских архивах тысячам разнообразных рукописных молитв, сотни из которых буквально пропитаны волнующей непосредственностью, можно считать, что традиция молитвы, то есть ведения сокровенного разговора с высшей силой, наложила глубокий отпечаток на самые тайные аспекты частной жизни в XIV и XV веках.

Как и в случае изображений, речь не идет о радикальном противопоставлении официальной молитвы, литургии, и личной, сокровенной молитвы. Наряду с большими текстами

из псалтыри, знаменитыми молитвами, приписываемыми Отцам Церкви и мистикам, распространенными в неисчислимых рукописных и печатных копиях, существовало чрезвычайное разнообразие молитв, составленных, собранных, произносимых по каждому случаю повседневной жизни. Конечно, отмечается чрезмерное количество молитв, обращенных к Деве Марии. Это феномен моды, который меняется от поколения к поколению и от области к области, призывая различных заступников, но не изменяя текста молитв. Тем не менее сохранившиеся молитвы, написанные для праздников, дней недели, помощи в решениях, благодарения после испытания, часто оставляли полную свободу выражения личных чувств. Наряду с ежедневно перелистываемыми часословами, собраниями рукописных копий, где молитвы соседствуют с рецептами и записками, сохранились молитвы, написанные на свитках пергамента, зашитые в одежду, закрытые в маленьких ящичках, что подтверждает предохранительную роль этих материальных свидетельств связи между человеком и незримым.

*Экстаз.* Дистанция между размышлением и молитвой не слишком ярко выражена. И то и другое — средство доступа к более обширной, более высокой и более светлой реальности: мир духа приоткрывается миру сознания благодаря видению. Даже если речь идет только о крайнем проявлении духовной жизни, то и здесь мистицизм конца Средневековья имел по всей Европе такой резонанс, что перестал быть маргинальным направлением. Если мистицизм определяется как подавление самого себя ради того, чтобы уступить место Богу здесь, на земле, то автобиографические рассказы или «откровения» — от испытанного и описанного опыта до невыразимого, несказанного — свидетельствуют о личных встречах с потусторонним миром, пережитых мужчинами и особенно женщинами. В своих диалогах с Христом монашенка Маргарита Эбнер получала ответы, которые «невозможно переписать согласно правде этого мира, поскольку чем больше снисходит

благодать, тем менее возможно выразить ее в мыслях». Эти экстатические проявления определялись с XIII века в немецком мире выражением «*kunst*», то есть умение (скорее мастерство и подготовленность, чем состояние). Они были предметом психологического, психоаналитического и клинического анализов, в которых внимание справедливо акцентировалось на телесных аспектах пережитого опыта. Но никакая упрощенная интерпретация глубоко личных ощущений, описанных мистиками, не может отнять чистую и мучительную правду любви, божественной в их понимании.

Видения Маргариты Эбнер, монашенки из Медингена, умершей после долгих лет страданий в 1351 году, сопровождались возбуждением или параличом. В возбужденном состоянии она слышала музыку, видела светящиеся очертания и бессознательно бормотала на непонятном языке: «Когда я начинала “Отче наш”, мое сердце охватывала благодать, и я не знала, куда она меня увлекает; иногда не способная молиться, я оставалась в божественной радости первого часа заутрени; иногда мне открывалась дорога, откуда приходило слово (*Rede*); иногда меня поднимало, и я больше не касалась земли <...>».

Сострадание Крестным мукам, позднее лишь произнесение имени Иисуса вызывали все более часто повторяющиеся паралич конечностей и потерю речи — каталепсию, которую сама Маргарита называет «*swige*», то есть молчание. Мы находимся здесь у самой границы благочестивой жизни с восхитительно постоянным сюжетом, описывающим этапы пожирающего огня. Упорство в свидетельствовании приключения, которое воспламеняет жизнь женщин Средних веков, дало нам самые непринужденные и поразительные страницы написанной ими сентиментальной или любовной литературы.

Христос — это божественный ребенок, который блуждает в конце XIV века в галереях женских монастырей. «Кто твой отец?» — «*Отче наш!*» — отвечает ребенок, исчезая.

Монашенка из Адельсхаузена не прекращала в течение многих лет стонать днем и ночью, безутешная от того, что больше не видит маленького ребенка, которого она однажды встретила. Более счастливая Умилиана деи Черки долго хранит ослепительное воспоминание встречи с *bambino*. Неистовая Агнесса Монтепульчианская отказывается вернуть Богоматери малыша, который был доверен ей на один час. От этого приключения у нее сохранился маленький крестик, который ребенок носил на шее. Повышенное внимание к симулякрам реальности — к деревянным или гипсовым изображениям или к воображаемым детям, — содействующее отождествлению себя с Богоматерью, берет начало в религиозном обучении, основанном на сопричастности к библейской истории. Визуальный контакт со священными изображениями, усиленный воображением, перерастает в состояние фрустрации. У Маргариты Эбнер в спальне стояла колыбель, в которой она качала младенца Иисуса, отказывавшегося спать, если она брала его на руки.

Чаще Христос предстает божественным женихом. Адель из Бризаха говорит о «союзе с Богом, который приходит ее целовать». Кристина Эбнер прижимается к Христу «как воск, в который вдавливается печать». Адель Лангманн видит Христа входящим в свою келью и дающим ей съесть кусок плоти («Это тело мое...»). Маргарита Эбнер видит Иисуса Христа, склонившегося над ней и готового сжать ее в объятиях. Она покоится на его груди, как апостол Иоанн, и питается им. Эти страстные сцены очень далеки от изящных и целомудренных картин мистической свадьбы святой Екатерины, выполненных Рафаэлем или Перуджино для публики, которая не приняла бы столь волнующие изображения.

Стремления и видения мистиков не оставались без вопросов об их происхождении. Маргарита Эбнер прекрасно знает, что дьявол имеет привычку представлять как ангел света: «Внезапно, — пишет она, — все во мне становится мрачным, и я против воли прихожу к сомнению в вере». Только усиление

физических страданий возвращает ей уверенность в спасении. Для Роберта из Узеса сомнение невозможно; с наступлением сумерек он действительно подвержен приступам уныния: «Сатана хотел ввести меня в заблуждение, — писал он, — являясь мне под видом господина нашего Иисуса Христа».

Разреженный воздух, в котором двигаются мистики, придает форму реальному присутствию божественного и позволяет им обнаруживать сокровенные знаки истинности их видений.

### *Видеть незримое*

Другие люди, значительные или неизвестные, рассказали, письменно или устно, о своей способности иногда видеть незримое во всех формах, которые продлевают или расщепляют реальность: это мрачные или светлые видения сна, кошмары, загадочные встречи, краткие контакты с привидениями и мертвыми.

*Видение и страх.* Некоторые из видений вписываются в античную традицию пророческих сновидений, но в силу литературного и политического характера они не имеют ценности свидетельства о сокровенном. Однако их форма богата сведениями о мысленных образах и умозрительных представлениях. У будущего императора Карла IV, разбуженного глубокой ночью в своей палатке около Пармы божественным ангелом, идентификация посланца, которого он называет «повелитель» (*Herr*), не вызывает никаких сомнений, так же как и полет над обширным пространством, который он совершает, будучи удерживаемым за волосы, и крайняя усталость после пробуждении из-за преодоленных по воздуху огромных расстояний.

Граф фон Циммерн, согласно семейной хронике, стал свидетелем и действующим лицом невероятного происшествия, которое исходит от легендарного благочестия. Потерявшись в лесу, он внезапно увидел перед собой молчаливую человеческую фигуру, посланную открыть ему тайну. «Поскольку он

говорил о Боге, граф согласился поехать верхом позади него». Он увидел волшебный замок, обитатели которого ведут в тишине нескончаемый пир, — удачный пассаж из литературы о волшебствах. Потом пейзаж и фигура исчезли, и внезапно, распространяя запах серы и наполняя воздух криками, разверзлась преисподня. Фон Циммерн, пришедший в ужас от присутствия при вечном наказании, наложенном на его покойного дядю, тотчас решает построить часовню в знак покаяния, но друзья с трудом узнают его, «настолько побелели его волосы и борода». Литература? Не исключено. Возможно, ужас графа и конкретные детали повествования являются отправной точкой рассказа.

В другом рассказе, извлеченном из автобиографии Буркарда Цинка, жителя Аугсбурга, описан похожий страх, но еще более необычный, поскольку повествование лишено морализаторской функции и литературной цели. Проезжая через незнакомые леса Венгрии, автор пристроился в след двум всадникам; внезапно эти всадники исчезли и путь преградили грозные кабаны, за которыми высился мрачный замок. Едва он призвал в помощь Бога, как замок исчез и в сумерках вновь проявилась дорога, которая позволила ему избежать опасности: «Я понял тогда, что был обманут и что я следовал за призраками, ехавшими верхом позади двух человек в лесу <...>. Когда я воззвал к Богу и перекрестился, все, что было видением, исчезло».

Присутствие дьявола обнаруживается даже в закрытом и охраняемом помещении. Так, Карл IV включил в политический и военный рассказ о годах своей юности необычный случай: ночью нечистая сила расхаживает по дому (слышен шум шагов), швыряет кубки с вином на пол. Вещественное доказательство, найденное на заре на полу, относит рассказ к категории необъяснимых страхов. Дьявол, никогда не называемый, — это прилив крови к лицу, паническое биение сердца, которые в местах уединенных, враждебных или закрытых

резко усиливаются и вызывают внезапные иллюзии и непостижимые образы.

Эта смутная тревога, которая иногда превращается в страх, помогает понять двойственный облик средневекового дьявола: нереалистичные черты его внешнего вида у тех, кто с ним не встретился, и гнетущую неопределенность его реального облика у тех, кто одолевает им. Изучив тексты, которые описывают его вмешательство в повседневную жизнь мужчин и женщин конца Средневековья, мы констатируем, что демон каждый раз, когда он узнан, то есть когда он исчезает, принимает самый обычный облик. Физические изменения (преждевременное старение, оцепенение, истерика), вызванные его присутствием, реальны. Безусловно, существует субъективный опыт присутствия зла, но, как часто можно заметить, самые страшные демоны — это демоны внутренние.

*Реальное и истинное.* Люди конца Средневековья видят незримое, окруженные силами света и тьмы, которые с божьего разрешения иногда являются им, вводя их в заблуждение, и побуждают до последнего вздоха выбирать между добром и злом, толпясь в спальнях умирающих.

Просвещенные и невежды, которых разделяет все, кроме страха, дворяне и вилланы, которых ухмыляющаяся смерть сжимает в объятиях с одинаковой силой, вместе пересекают мир, еще наполненный и шумящий, где даже в самых совершенных очах нельзя провести четкую границу между реальным и истинным.

Арманда Рив из Монтайю была уверена, что «души имеют плоть, кости и все члены», поскольку часто их встречала. Спустя несколько поколений рыцарь Жорж Венгерез спрашивал у ангела, который перенес его в чистилище, имеют ли тела святые. Само незримое укоренено в телесном, сообщество мертвых и духов удлинит свою земную жизнь, иногда соприкасаясь с живыми. Все избранные однажды соберутся в блаженном покое обители господ — духовном *domus* рая,

где предполагается иерархическая структура человеческого общества.

Но с XIV века приближается наступление новых времен, когда люди, самоутверждаясь, будут озабочены увековечиванием своего облика и памяти о себе в этом мире. Значительные перемещения людей, источником которых были городские сообщества Запада, заставляют беспрестанно раздвигать границы знакомого мира и небесные колонны, создавая вокруг человеческой фигуры геометрическое неуловимое пространство, оставляя смиренным слезы, легкое верие и изумление.

Бросим последний взгляд на эти слишком материальные предметы, документы и картины, письма и хроники, скромные или величественные изображения, перелистываемые часословы, нотариальные реестры, прерванные смертью, остатки одежды, недолговечные и неясные следы, оставленные без комментариев. Никакое чтение, никакое заключение не кажется бесспорным и окончательным, поскольку поиск следов сокровенного далеко не окончен.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## 1. XI–XIII века

### *Источники*

La Chanson de Roland / éd. et trad. P. Jonin. Paris: Gallimard, 1979 (Coll. «Folio»).

Chrétien de Troyes. Perceval ou le Roman du Graal. Paris: Gallimard, 1974 (Coll. «Folio»).

Galbert de Bruges. Le meurtre de Charles le Bon / trad. J. Gengoux. Anvers: Fonds Mercator, 1978.

Guibert de Nogent. Autobiographie / éd. et trad. E.-R. Labande. Paris: Les Belles Lettres, 1981 (Coll. «Les Classiques de l'histoire de France»).

Joinville. Histoire de Saint Louis / éd. N. de Wailly. Paris: Firmin Didot, 1874.

La mort du roi Arthur / trad. G. Jeanneau. Paris, 1983 (Coll. «10/18»).

Le roman de Renart. Paris: Garnier-Flammarion, 1985. Vol. 1–2.

Romans de la table ronde. Paris: Gallimard, 1975 (Coll. «Folio»).

Suger. Vie de Louis VI le Gros / éd. et trad. H. Waquet. Paris: Les Belles Lettres, 1964 (Coll. «Les classiques de l'histoire de France»).

### *История, право, этнология (см. также главу 1)*

Barthélemy D. Les deux ages de la seigneurie banale. Coucy (milieu XI<sup>e</sup> — XIII<sup>e</sup> siècle). Paris: Publications de la Sorbonne, 1984.

Bloch M. La société féodale. 2<sup>e</sup> éd. Paris: Albin Michel, 1968.

Bonassie P. La Catalogne du milieu du X<sup>e</sup> à la fin du XI<sup>e</sup> siècle. Croissance et mutation d'une société: 2 Vol. Toulouse: Université de Toulouse-Le Mirail, 1975.

Bouchard C.B. Consanguinity and Noble Marriages in the Tenth and Eleventh Centuries // Speculum. 1981. Vol. 56-2. P. 268–287.

Dauvillier F. Le mariage dans le droit classique de l'Église, depuis le décret de Gratien (1140) jusqu'à la mort de Clément V (1314). Paris, 1933.

Les domaines de la parenté / dir. M. Augé. Paris: Maspéro, 1975.

Duby G. Le chevalier, la femme et le prêtre. Paris: Hachette, 1981.

Duby G. Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde. Paris: Fayard, 1984.

Duby G. Hommes et structures du Moyen Âge. Paris: Mouton-De Gruyter, 1973 (сборник статей, большинство которых посвящены структуре родства в аристократических семьях и вопросам генеалогии).

Duby G. Saint Bernard. L'art cistercien. Paris: AMG, 1976; Paris: Flammarion, 1979 (Coll. «Champs 77»).

Duby G. La société aux XI<sup>e</sup> et XII<sup>e</sup> siècles dans la région mâconnaise. 2e éd. Paris: Mouton, 1971.

Famille et parenté dans l'Occident médiéval / dir. G. Duby et J. Le Goff. Paris; Rome: EFR, 1978.

La femme dans les civilisations des X<sup>e</sup> — XIII<sup>e</sup> siècles (Actes du colloque de Poitiers, 23–25 septembre 1976) // Cahiers de civilisation médiévale. 1977. Vol. XX. P. 93–263.

Fossier R. Enfance de l'Europe: 2 Vol. Paris: PUF, 1982.

Fossier R. La terre et les hommes en Picardie jusqu'à la fin du XIII<sup>e</sup> siècle: 2 Vol. Paris; Louvain: Nauwelaerts, 1968.

Gaudemet J. Église et société en Occident au Moyen Âge. Londres: Variorum reprints, 1984 (сборник статей, одна из них посвящена определению брака в каноническом праве, другая — теме celibата).

Génicot L. Les genealogies (Typologie des sources du Moyen Âge occidental. 15). Turnhout: Brepols, 1975.

Génicot L. La noblesse dans l'Occident médiéval. Londres: Variorum reprints, 1982 (сборник статей, в основном посвященных структуре родства в аристократических семьях).

Goody J. L'évolution de la famille et du mariage en Europe / trad. fr. Paris: Armand Colin, 1985.

- Grisward J.H. Archéologie de l'épopée médiévale. Paris: Payot, 1981.
- Guerreau-Jalabert A. Sur les structures de parenté dans l'Europe médiévale // Annales ESC. 1981. Vol. 36. P. 1028–1049.
- Héritier F. L'exercice de la parenté. Paris: Éd. du Seuil, 1981.
- Le Goff J. La civilisation de l'Occident médiéval. 2e éd. Paris: Arthaud, 1972.
- Lévi-Strauss C. Les structures élémentaires de la parenté. 2e éd. Paris: Mouton-De Gruyter, 1967.
- Molin J.-B., Mutembé P. Le rituel du mariage en France du XII<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle. Paris: Beauchesne, 1974.
- Musset L. L'aristocratie normande au XI<sup>e</sup> siècle // La Noblesse au Moyen Âge / dir. Ph. Contamine. Paris: PUF, 1976. P. 71–86.
- Poly J.-P., Bournazel E. La mutation féodale. Paris: PUF, 1980.
- Toubert P. Les structures du Latium medieval: 2 Vol. Paris; Rome: EFR, 1974.
- Toubert P. La théorie du mariage chez les moralistes carolingiens // Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. 1976. Il matrimonio nella società altomedievale. Spolète, 1977. Vol. XXIV. P. 233–285.
- Valous G. de. Le monachisme clunisien des origines au XV<sup>e</sup> siècle: 2 Vol. Paris: Picard, 1935.
- Vauchez A. La Spiritualité du Moyen Âge occidental. Paris: PUF, 1975.
- Vercauteren F. Une parentèle dans la France du Nord aux XI<sup>e</sup> et XII<sup>e</sup> siècles // Le Moyen Âge. 1963. Vol. XIX. 4e s. P. 223–245 (см. родословную Ламбера де Ватрело).
- Warlop E. The Flemish Nobility before 1300 / trad. angl. Courtrai, 1975.

*Археология (см. также главу 3)*

- Bouïard M. de. De l'aula au donjon. Les fouilles de la motte de la Chapelle à Doué-la-Fontaine (Xe — XIe) // Archéologie médiévale. Caen, 1973. Vol. III. P. 5–110.

Bouïard M. de. Manuel d'archéologie médiévale. Paris: SEDES, 1976.

Bouïard M. de. La salle dite de l'Échiquier, au château de Caen // *Medieval Archeology*. Londres, 1965. Vol. IX. P. 64–81.

Callebaut D. Le château des comtes à Gand // *Château-Gaillard*. Caen, 1983. Vol. XI. P. 45–54.

Colardelle M. L'habitat médiéval immergé de Colletière à Charavines. Premier bilan des fouilles // *Archéologie médiévale*. 1980. Vol. X. P. 167–203.

Debord A. Fouille du castrum d'Andone à Ville-Joubert (Charente) // *Château-Gaillard*. Caen, 1975. Vol. VII. P. 35–48.

Debord A. Motte castrale et habitat chevaleresque // *Mélanges d'archéologie et d'histoire médiévales en l'honneur du doyen M. de Bouïard (Mémoires et documents publiés par la Société de l'École des chartes, Vol. XXVII)*. Genève; Paris, 1982. P. 83–90.

Decaëns J. La motte d'Olivet à Grimbosq (Calvados), résidence seigneuriale du XI<sup>e</sup> siècle // *Archéologie médiévale*. Vol. IX. P. 167 sq.

Fournier G. Le Château dans la France médiévale. Paris: Aubier Montaigne, 1978.

Héliot P. Les Fortifications de terre en Europe occidentale du X<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècle (colloque de Caen, 2–5 octobre 1980) // *Archéologie médiévale*. 1981. Vol. XI. P. 5–123.

Héliot P. Les origines du donjon résidentiel et les donjons-palais romans de France et d'Angleterre // *Cahiers de civilisation médiévale*. Poitiers, 1974. Vol. XVII. P. 217–234.

Héliot P. Nouvelles remarques sur les palais épiscopaux et princiers de l'époque romane en France // *Francia*. 1976. Vol. IV. P. 139 sq.

Héliot P. Sur les résidences princières bâties en France du X<sup>e</sup> au XII<sup>e</sup> siècle // *Le Moyen Âge*. 4e s. 1955. Vol. X. P. 27–61, 291 sq.

Lorren C. La demeure seigneuriale de Rubercy (milieu XIIe — début XIIIe) // *Château-Gaillard*. Caen, 1977. Vol. VIII. P. 185–192.

Mortet V. Recueil de textes relatifs à l'histoire de l'architecture et à la condition des architectes en France au Moyen Âge (сборник

статей в помощь тем, кто изучает или преподает историю). Paris: Picard, 1911.

Pesez J.-M., Piponnier F. Les maisons fortes bourguignonnes // Château-Gaillard. Caen, 1972. Vol. V. P. 143–164.

Van de Walle A. Le château des comtes de Flandre à Gand: quelques problèmes archéologiques // Château-Gaillard. Caen, 1962. Vol. I. P. 163–169.

## 2. Литературные памятники

### *Источники*

Во второй главе («Воображаемый мир») были использованы многочисленные литературные произведения: это главным образом «Тристан и Изольда» и романы Кретьена де Труа («Клижес», «Эрек и Энида», «Рыцарь телеги», «Ивейн, или Рыцарь со львом»), лэ Марии Французской, прозаические произведения из артуровского цикла вроде «Поисков святого Грааля», «Смерти короля Артура», «Романа о розе» и «Фламенки», фэблио и, наконец, так называемые «песни пряхи». Ценными источниками оказались и другие произведения, пусть и менее известные: например, романы «Гильом из Доля», «Коршун», «Безрукая», а также повести типа «Кастелянши из Вержи», «Дочери графа Понтье», «Лэ о белом рыцаре» и «Рассказа о сливовом дереве». В числе источников назовем и сочинения моралистов: помимо «Пятнадцати радостей брака» и «Евангелия от прях», это, например, «Хороший тон для дам» Робера из Блуа и «Книга поучений моим дочерям» шевалье де Ла Тура Ландри. Более подробную информацию об упомянутых книгах читатель найдет в справочнике Робера Боссюа по французской литературе (см.: Bossuat R. Manuel bibliographique de la littérature française du

Мойен Аге; приводится библиография до 1960 года), а также в словаре по средневековой французской литературе (см.: *Le Dictionnaire des Lettres françaises. Le Moyen Âge*. Paris: Fayard, 1992. Новое издание, переработанное и дополненное, под редакцией Женевьев Асенор и Мишеля Цинка).

*Книги и статьи*

Baumgartner E. *L'Arbre et le Pain, essai sur la Queste del Saint Graal*. Paris: Sedes, 1981.

Bezzola R. *Les neveux // Mélanges Frappier*. Genève: Droz, 1970.

Bohler D. *L'honneur des femmes et le regard public: l'accusé et son juge. Une étude de cas: Le Livre du Chevalier de La Tour Landry, 1371 // Das Oeffentliche und Private in der Vormoderne / éd. G. Melville et P. von Moos*. Cologne; Weimar; Vienne, 1998. P. 41–433.

Bohler D. *Le Moi et le temps chez les femmes mystiques du Moyen Âge // Colloque d'Orléans Le temps, sa mesure et sa perception au Moyen Âge*, 1991. Caen: Paradigme, 1992. P. 215–228.

Bohler D. *Le savoir des mères, le secret des soeurs et le devenir des héros // Arthurian Literature and Gender / dir. Fr. Wolfzettel*. Amsterdam; Rodopi, 1995. P. 4–25.

Cerquiglini-Toulet J. *La couleur de la mélancolie. La fréquentation des livres au XIV<sup>e</sup> siècle 1300–1415*. Paris: Hatier, 1993.

Dragonetti R. *Pygmalion ou les pièges de la fiction dans le Roman de la Rose // Mélanges Bezzola*. Berne: Francke, 1978.

Hasenohr G. *La vie quotidienne de la femme vue par l'Église: l'enseignement des «journées chrétiennes» de la fin du Moyen Âge // Frau und spätmittelalterlicher Alltag (Colloque international Krems 1984)*. Vienne, 1986. P. 19–101.

James-Rouol D. *La parole empêchée dans la littérature arthurienne*. Paris: Champion, 1997.

Laurieux B. *De l'usage des épices dans l'alimentation Médiévale // Médiévales*. 1983. № 5 (novembre).

Lorcin M.-Th. Le corps a ses raisons dans les fabliaux: corps féminin, corps masculin, corps de vilain // *Le Moyen Âge*. Vol. 3-4. 1984.

Marchello-Nizia Ch. Amour courtois, société masculine et figures du pouvoir // *Annales ESC*. Vol. 36. 1981. P. 969-982.

Marchello-Nizia Ch. Codes vestimentaires et langage amoureux au XV<sup>e</sup> siècle // *Europe*. 1983. № 654. *Le Moyen Âge* maintenant. P. 36-42.

Marchello-Nizia Ch. Entre l'histoire et la poétique, le «songe politique» // *Revue des sciences humaines*. *Moyen Âge flamboyant*. 1981. № 3.

Marchello-Nizia Ch. L'historien et son prologue: forme littéraire et stratégies discursives // *La Chronique et l'Histoire au Moyen Âge / textes réunis par D. Poirion*. Paris: Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 1984.

Marchello-Nizia Ch. La rhétorique des songes et le songe comme rhétorique dans la littérature française médiévale // *Les songes au Moyen Âge: Actes du colloque*. Rome, 1983 (octobre).

Marchello-Nizia Ch. Le roman du Châtelain de Coucy et de la Dame de Fayel // *Perspectives médiévales*. Vol. 3. 1977.

Ménard Ph. Les Fabliaux. Contes à rire du Moyen Âge. Paris: PUF, 1983.

Monfrin J. Joinville et la prise de Damiette // *Académie des inscriptions et belles-lettres, compte rendu des séances de l'année* 1976. Paris: Klincksieck, 1976.

Pastoureau M. Et puis vint le bleu... // *Europe, Le Moyen Âge* maintenant. 1983 (octobre).

Perret M. À la fin de sa vie ne fuz-je mie (о Жуанвиле) // *Revue des sciences humaines*. *Moyen Âge flamboyant*. 1981-3.

Poirion D. Le Poète et le Prince. L'Évolution du lyrisme courtois de Guillaume de Machaut à Charles d'Orléans. Paris: PUF, 1965.

Poirion D. Le temps perdu et retrouvé... au XV<sup>e</sup> siècle // *Revue des sciences humaines*. *Moyen Âge flamboyant*. 1981-3.

Pouchelle M.-Ch. Corps et Chirurgie à l'apogée du Moyen Âge. Paris: Flammarion, 1983.

Zink M. Musique et subjectivité. Le passage de la chanson d'amour à la poésie personnelle au XIII<sup>e</sup> siècle // Cahiers de civilisation médiévale. 1982 (juillet—décembre).

Zink M. La Subjectivité littéraire autour du siècle de Saint Louis. Paris: PUF, 1985.

### 3. XIV–XV века

#### А. Тоскана

Помимо неизданных документов, хранящихся в архивах Флоренции, были использованы следующие опубликованные источники.

Acta Sanctorum. Février III. P. 298–357 (о Маргарите Кортонской); Avril II. P. 792–812 (об Агнессе из Монтепульчано); Avril III. P. 851 sq. (о Екатерине Сиенской).

Alberti L.B. De re aedificatoria / trad. it. C. Bartoli. Florence, 1550.

Alberti L.B. I libri della famiglia / ed. R. Romano et A. Tenenti. Turin, 1969.

Antonin de Florence (saint). Opera a ben vivere // Biblioteca dei santi. Milan, 1926. T. XI.

Barbaro F. De re uxoria // Prosatori latini del Quattrocento. La Letteratura italiana, storia et testi / ed. E. Garin. Milan; Naples, 1952. T. XIII. P. 101–137.

Bernardin de Sienne (saint). Le Prediche volgari / ed. P. Bargellini. Milan; Rome, 1936.

Boccace G. Decameron // La Letteratura italiana, storia et testi / ed. E. Garin. Milan; Naples, 1952. T. VIII. P. 3–764.

Boccace G. L'Elegia di madonna Fiammetta // La Letteratura italiana, storia et testi / ed. E. Garin. Milan; Naples, 1952. T. VIII. P. 1060–1217.

Brucker G. Firenze nel Rinascimento. Florence: «Documenti», 1980. P. 233–399.

Dallari U. Lo statuto suntuario bolognese del 1401 e il registro delle vesti bollate // Atti e Memorie della R. deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Série III. T. IV (1889). P. 1–44.

Dominici G. Regola del governo di cura familiar / ed. D. Salvi. Florence, 1860.

Francesco da Barberino. Reggimento e Costumi di donna. Édition critique / ed. G.E. Sansone. Turin, 1957.

Giordano da Pisa. Prediche del beato fra G. da Rivalto dell'ordine de' predicatori, recitate in Firenze dal MCCCII al MCCCVI / ed. D. Moreni: 2 Vol. Florence, 1831. Giovanni (ser). Il Pecorone // Classici italiani minori. Ravenne, 1974.

Lenzi M.L. Donne e Madonne, l'educazione femminile nel primo Rinascimento italiano. Turin, 1982.

Le lettere di Margherita Datini a Francesco di Marco (1384–1410) / ed. V. Rosati. Prato, 1977.

Masuccio Salernitano. Il Novellino / ed. A. Mauro. Bari, 1940.

Mazzei L. Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV, con altre lettere e documenti / ed. C. Guasti: 2 Vol. Florence, 1880.

Morelli G. di P. Ricordi / ed. V. Branca. Florence, 1956.

Motti e facezie del Piovano Arlotto / ed. G. Folena. Milan; Naples, 1953.

Palmieri M. Della vita civile // Scrittori politici italiani. Bologne, 1944. Vol. 14.

Paolino Minorita (fra). Del reggimento della casa. Pérouse, 1860.

Paolo da Certaldo. Libro di buoni costumi / ed. A. Schiaffini. Florence, 1945.

Paradiso degli Alberti, ritrovi e ragionamenti del 1389, romanzo di Giovanni da Prato / ed. A. Wesselofsky. Bologne, 1867.

Perosa A. Giovanni Rucellai e il suo zibaldone. Vol. I. Il Zibaldone quaresimale. London: The Warburg Institute, 1960.

Platina B. L'Ottimo Cittadino / ed. F. Battaglia. Bologne, 1940.

Sacchetti F. *Il Trecentonovelle* / ed. V. Pernicone. Florence, 1946.  
Sercambi G. *Novelle* // «Scrittori d'Italia» / ed. G. Sinicropi.  
Bari, 1972. P. 250–251.

*Statuta communis Parmae, ab anno 1266 ad annum circiter 1304.* Parme, 1867.

*Statuti della Repubblica fiorentina* / ed. R. Caggese. Florence, 1910–1921. Vol. 1–2: *Capitano del popolo, 1322–1325; Podestà, 1325.*

Strozzi A. *Macinghi* // *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli* / ed. C. Guasti. Florence, 1877.

Verde A. *Michael ser Ugolini Vieri* // A. Verde. *Lo Studio fiorentino (1473–1503), ricerche e documenti.* Pistoia, 1977. Vol. III. *Studenti «fanciulli a scuola», 1480.* P. 659 sq.

Verde A. *Orsinus Johannis Lanfredini* // A. Verde. *Lo Studio fiorentino (1473–1503), ricerche e documenti.* Pistoia, 1977. Vol. III. *Studenti «fanciulli a scuola», 1480.* P. 759 sq.

Zoli A. *Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna.* Ravenne, 1904.

*Научные труды*

Belgrano L.T. *Vita privata dei Genovesi.* Gênes, 1875 (réimpr.: Rome, 1970).

Bellomo M. *Profili della famiglia italiana nell'età dei comuni.* 2e éd. Catane, 1975.

Cherubini G. *I libri di ricordanze come fonte storica* // *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento.* Genova, 1989. P. 567–591.

Cherubini G. *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del Basso Medioevo.* Florence, 1974.

Ciappelli G. *Una famiglia e le sue ricordanze: I castellani di Firenze nel Tre-Quattrocento.* Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Firenze, 1995.

Cognasso F. *L'Italia nel Rinascimento, società e costume.* Turin: UTET, 1965. Vol 1. *Vita privata.*

Davidsohn R. *Storia di Firenze* / trad. it. Florence, 1956–1968. Vol. 1–8:

Delort R. Le Moyen Âge. Histoire illustrée de la vie quotidienne. Paris: Éd. du Seuil, 1983.

Fрати L. La vita privata di Bologna. Bologne, 1900.

Goldthwaite R. The Florentine Palace as Domestic Architecture // The American Historical Review. Vol. 77 (1972). P. 977–1012.

Heers J. Le clan familial au Moyen Âge. Paris: PUF, 1974.

Heers J. Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen. Paris: Fayard, 1981.

Herlihy D., Klapisch-Zuber C. Les Toscans et leurs familles. Une étude sur le «catasto» florentin de 1427. Paris: Fondation nationale des sciences politiques, 1978.

Kent F.W. Household and Lineage in Renaissance Florence, the Family Life of the Capponi, Ginori and Rucellai. Princeton, 1978.

Klapisch-Zuber Ch. La Maison et le nom, strategies et rituels dans l'Italie de la Renaissance (сборник статей) // Bibliothèque de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Paris, 1990.

La Roncière Ch.M. de. Une patricienne florentine entre vie privée et vie publique, Alessandra Macinghi, veuve Strozzi, face à l'exil de ses fils // Das Öffentliche und Private in der Vormoderne / hg. von G. Melville und P. von Moos. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1998. P. 671–686.

Marriage in Italy, 1300–1650 / ed. by T. Dean and K.J.P. Lowe. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 304 P.

Mazzi M.S., Ravaggi S. Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento. Florence, 1983.

Molho A. Marriage Alliance in Late Medieval Florence. Cambridge (Mass.); London (Eng.): Harvard University Press, 1994.

Molmenti P. La storia di Venezia nella vita privata. Vol. I. La Grandezza. Bergamo, 1905.

Per una storia delle dimore rurali. Actes du colloque de Cuneo, 8–9 décembre 1979 // Archeologia medievale. Vol. VII (1980).

Rosenthal E. The Position of Women in Renaissance Florence: neither Autonomy nor Subjection // Florence and Italy. Renaissance

Studies in Honor of Nicolai Rubinstein / ed. by P. Denley and C. Elam. London, 1988. P. 369–381.

Schiaparelli A. La casa fiorentina e i suoi arredi nei secoli XIV e XV. Florence: Sansoni, 1908.

Strocchia S. La Famiglia patrizia fiorentina nel secolo XV: la problematica della donna // Palazzo Strozzi. Metà Millenio, 1489–1989. Roma: Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1991. P. 126–137.

Tamassia N. La famiglia italiana nei secoli Decimoquinto e Decimosesto. Milan; Palermo; Naples, 1910 (réimpr.: Rome, 1971).

Zdekauer L. La Vita privata dei Senesi nel Dugento. Sienne, 1896.

### ***В. Личное пространство***

Bardet J.-P., Channu P., Désert G., Gouhier P., Neveux H. Le bâtiment. Enquête d'histoire économique XIV<sup>e</sup> — XIX<sup>e</sup> siècle. Paris; La Haye: Mouton, 1971. Vol. I. Maisons rurales et urbaines dans la France traditionnelle.

Bauernhaus // Lexikon des Mittelalters. Munich, 1980. Vol. I.

Bouärd M. de. Manuel d'archéologie médiévale. Paris: SEDES, 1976.

Chapelot J., Fossier R. Le village et la maison au Moyen Âge. Paris: Hachette, 1979 (Coll. «Bibliothèque d'archéologie»).

Chevalier B. Les bonnes villes de France du XIV<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle. Paris: Aubier-Montaigne, 1982.

Contamine Ph. La vie quotidienne pendant la guerre de Cent Ans. France et Angleterre, XIV<sup>e</sup> siècle. 2e éd. Paris: Hachette, 1978 (Coll. «Vies quotidiennes»).

Demians d'Archimbaud G. Les Fouilles de rougiers (Var). Paris: CNRS, 1982.

Eames P. Furniture in England, France and the Netherlands from the Twelfth to the Fifteenth Century. London, 1977.

Gonon M. La vie familiale en Forez au XIV<sup>e</sup> siècle et son vocabulaire d'après les testaments. Lyon: Université de Lyon, 1961.

Herlihy D., Klapisch-Zuber Ch. Les Toscans et leurs familles. Une étude sur le «catasto» florentin de 1427. Paris: Fondation nationale des sciences politiques, 1978.

Hervier D. Une famille parisienne à l'aube de la Renaissance. Pierre le Gendre et son inventaire après décès. Étude historique et méthodologique. Paris: Champion, 1977.

Leguay J.-P. La rue au Moyen Âge. Rennes: Ouest-France, 1984 (Coll. «De mémoire d'homme»).

Lehoux F. Le cadre de vie des médecins parisiens aux XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles. Paris: Picard, 1976.

La maison de ville / Collectif, sous la direction de J. Guillaume. Paris, 1984.

Le Roy Ladurie E. Montailou, village occitan, de 1294 à 1324. Paris: Gallimard, 1982 (Coll. «Bibliothèque des Histoires»).

Pesez J.-M. Une maison villageoise au XIV<sup>e</sup> siècle: les structures // Rotterdam Papers. Rotterdam, 1975. Vol. 2. P. 139–150.

Piponnier F. Une maison villageoise au XIV<sup>e</sup> siècle: le mobilier // Rotterdam Papers. Rotterdam, 1975. Vol. 2. P. 151–170.

Quenedey R. L'habitation rouennaise. Études d'histoire, de géographie et d'archéologie urbaines. Rouen, 1926.

Roux S. La maison dans l'histoire. Paris: Albin Michel, 1976.

Wood M. The English Mediaeval House. London, 1965.

### *С. Рождение индивида*

(преимущественно по материалам немецкого происхождения)

500 Jahre Rosenkranz: Kunst und Frömmigkeit im Spätmittelalter. Cologne, 1976.

Appuhn H. Das private Andachtsbild im Mittelalter am Hande der Funde des Klosters Wienhausen // Leben in der Stadt des Spätmittelalters. Vienne, 1977. S. 159–169.

Baudrillart H. Histoire du luxe public et privé de l'antiquité à nos jours. Paris, 1880.

Beyer-Fröhlich M. Die Entwicklung der deutschen Selbstzeugnisse. Munich, 1930.

Buchner E. Das deutsche Bildnis der Spätgotik und der frühen Dürerzeit. Berlin, 1953.

Cohen K. Metamorphosis of the Death Symbol. London, 1973.

Le diable au Moyen Âge // CUERMA. Aix-en-Provence, 1979. Série «Sénéfiance». № 6.

Dinfelbacher P. Vision und Visionsliteratur im Mittelalter. Stuttgart, 1981.

Eisenbart L.C. Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350 und 1700. Göttingen, 1962.

Erickson C. The Medieval Vision. Essays in History and Perception. Oxford, 1976.

Études sur la sensibilité au Moyen Âge // Actes du 102<sup>e</sup> Congrès national des sociétés savantes (Limoges, 1977). Paris, 1980.

Faire croire // École française de Rome. 1981. Vol. 51.

Fink A.M. und K.V. Schwarzsche Trachtenbücher. Berlin, 1963.

Frey D. Kunstwissenschaftliche Grundfragen. Wien, 1946 (rééd.: Darmstadt, 1972).

Gmelin H. Personendarstellungen bei den florentinischen Geschichtsschreibern der Renaissance // Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, 31. 1927 (rééd.: 1973).

Guglielminetti M. Memoria e scrittura. L'autobiografia da Dante a Cellini. Milan, 1977 (Coll. «Piccola Biblioteca Einaudi»). 199.

Heyne M. Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer. III. Körperpflege und Kleidung. Leipzig, 1903.

Hinz B. Das Ehepaarbildnis. Seine Geschichte vom 15. bis zum 17. Jahrhundert: Diss. Münster, 1969.

Imhof A.-E. Der Mensch und sein Körper von der Antike bis Heute. Munich, 1983.

Kriegk G.-L. Deutsches Bürgertum im Mittelalter. Francfort-sur-le-Main, 1868–1871.

Le Roy Ladurie E. Montailou, village occitan, de 1294 à 1324. Paris: Gallimard, 1982 (Coll. «Bibliothèque des Histoires»).

Misch G. Geschichte der Autobiographie. Francfort-sur-le-Main, 1949–1955.

Murner Th. Die Badefahrt, mit Erläuterungen über das alt-deutsche Badewesen / hg. von E. Mart. Strasbourg, 1887.

Payen J.-Ch. Littérature française, le Moyen Âge. Paris: Arthaud, 1970. Vol. I.

Poirion R. Littérature française, le Moyen Âge. Paris: Arthaud, 1970. Vol. II.

Post P. Die französich-niederländische Männertracht 1350–1475: Diss. Halle, 1910.

La prière au Moyen Âge // CUERMA. Série «Sénéfiance». Aix-en-Provence, 1981. № 10.

Scheffler W. Die Porträts der deutschen Kaiser und Könige im späteren Mittelalter (1292–1519) // Repertorium für Kunstwissenschaft. 1910. Vol. 33.

Schultz A. Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert. Vienne, 1892.

Suckale R. Arma Christi. Überlegungen zur Zeichenhaftigkeit mittelalterlicher Andachtsbilder // Städelsches Jahrbuch. 1977. Vol. 6. S. 177–200.

Vogt K. Italienische Berichte aus dem spätmittelalterlichen Deutschland, von Francesco Petrarca zu Andrea de' Franceschi (1333–1492) // Kieler Historische Studien. 1973. T. XVII.

Vogt M. Beiträge zur Geschichte der Visionenliteratur im Mittelalter // Palaestra. 1924. Vol. 146.

Waas A. Der Mensch im deutschen Mittelalter. Cologne, 1964.

Zoepf L. Die Mystikerin Margaretha Ebner (1291–1351) // Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. 1914. Vol. 16.

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абеляр, Пьер 617, 640, 650  
Августин (Блаженный) 649, 650, 651, 738  
Авиньон 311, 461, 538, 571–579, 652  
Авиньонский дворец *см.*  
Папский дворец  
Агнесса (дочь Бодуэна IV) 171–172  
Агнесса Монтепульчанская 208, 275, 748, 760  
Адела Фландрская 104  
Аделаида 126, 128, 166–167  
Адель из Бризаха 748  
Адель де Руси 152  
Азарио, Пьетро 723  
Азо 251  
Акса 524  
Але 567  
Александр Македонский 453  
Александр (персонаж романа Кретъена де Труа «Клижес») 470  
Алиенора Аквитанская 103, 192–193  
Альберти, Леон Баттиста 198, 201, 202, 203, 204, 213, 228, 239, 240, 247, 249, 252, 254, 259  
Амадас 456, 457, 459  
Амади, Амадо ди 713  
Амбуаз, Жак д' 580  
Амбуаз, Жорж д' 532, 581  
Амбуаз де Корба 104  
Амбуаз Людовик д' 600  
Амбуаз д' (аристократический род) 98  
Амвросий Медиоланский 36  
Амман, Йост 685  
Ангерран де Бов 168  
Ангерран де Куси 168  
Ангерран IV де Куси 119  
Англия 84, 165, 192, 415, 490, 495, 497, 500, 527, 528, 545, 547, 552, 553, 558, 589  
Андон 508  
Андреа дель Сарто 702  
Анжер (*совр.* Анже) 581  
Анжерский замок 516, 583  
Анжу 114, 165, 494, 500, 530  
Анна (мать Мордредра) 411  
св. Анна 229, 334  
Анна Бретонская 698, 736  
Ансо де Моль 171, 173, 187  
Антинори 220  
Антонелло да Мессина 677  
св. Антонин 350, 358, 368, 369, 371, 439, 694, 712, 714  
Антонио 225–226  
Апеннины 214, 244  
Ардр д' 176  
Ардр 81, 82, 88, 91, 98, 130, 513  
Аржантон 549, 551  
Арль 538, 706  
Арнау Мир 80  
Арнеке 657  
Арно де Верниоль 713  
Арнольфини 678  
св. Арнуль 154  
Арнуль де Монсо 177  
Арнульф де Гин 176  
Аррас 562, 569  
Артур 133, 136, 137, 139, 377, 378, 381, 392, 393, 394, 396, 401, 402, 405, 406, 411, 412, 418, 452, 458, 463, 514, 518, 519, 693, 696, 757  
Арьеж 556, 733

- Асенор, Женевьев 437, 439, 758  
 Аугсбург 660, 661, 666, 676, 685,  
 691, 715, 737, 750  
 Аччайоли 303  
 Аэлиса 395, 436, 447
- Бавария 710  
 Баден 717, 725–726  
 Бад-Тайнах 724  
 Базель 64, 680, 702  
 Базен, Колен 556  
 Бальдунг, Ханс (Грин) 722  
 «Бамбергский всадник» 668  
 Бамбург 516  
 Барбариго, Джованни 660  
 Барбаро, Франческо 203, 342, 345  
 Барбаро, Эрмолао 252, 256  
 Барберино, Франческо да 272, 276,  
 285, 299, 342, 349, 368  
 Бар-ле-Дюк 520  
 Бар-сюр-Об, Бертран де 133, 139  
 Барна Чуриани, Валорино ди 332  
 Бартеlemi, Доминик 13, 58  
 Бартоло де Кастельфиорентино 262  
 Баруа 520  
 Беатис, Антонио де 532, 536, 583,  
 589, 595, 598, 604  
 Беатриса 413, 422  
 Беатриче 652  
 Безансон 538  
 Беллем де, Мабель 127, 179–180  
 Беллем 123  
 Беллем (род) 127, 128  
 Беллини, Джованни 745  
 Бельфорти 325  
 св. Бенедикт Нурсийский 17, 47,  
 62, 66, 173, 589, 618, 619  
 Бенедикт XII 538, 556, 572, 575,  
 578–579
- Бенедикт XIII 573  
 Бенинказа Бонавентура 300  
 Бенинкаса Екатерина см.  
 Екатерина Сиенская  
 Бенуа, Этьен 662  
 Бенчивенни, Бене 202  
 Берген (Монс) 93, 95  
 Буре, Жан 609  
 Берзе 66  
 Беркли, Томас 84  
 Берлихинген, Гёц (Готфрид) фон  
 657  
 св. Бернард 617, 621  
 св. Бернард Клервоский 60  
 св. Бернардин Сиенский 203, 256,  
 264, 348, 358, 368, 370, 372  
 Бертрада де Монфор 169, 192  
 Бертран 134, 136  
 Бертран де Гот, см. Климент V  
 Бертульф (дворянин из Брюгге,  
 супруг святой Годеливы) 152, 156  
 Бертульф (канцлер Фландрии,  
 клирик) 117, 118, 120, 121, 513  
 Беруль 384, 404  
 Беццола, Рето 410  
 Бёй, Жан де 698  
 Бланка Кастильская  
 (Французская) 172  
 Бланка Наваррская  
 (Шампанская) 172, 184  
 Бланкандина 461  
 Бланшефлор 174, 517  
 Бларинем 190  
 Блезо, Гийом 560  
 Блок, Марк 108, 109, 111, 115,  
 140, 142, 144, 147, 149, 179, 186  
 Блуа 191, 583  
 Блуа-Шампань 112  
 Богемия 724

- Бодель, Жан 466  
 Бодуэн II де Гин 89, 90, 176  
 Бодуэн IV де Эно 171  
 Бодуэн V де Гиннегау 171  
 Бодуэн V де Эно 93, 106  
 Бодуэн де Конде 458  
 Боккаччо, Джованни 205, 259,  
 261, 262, 264, 265, 267, 269, 281,  
 300, 303, 335, 336, 339, 340, 341,  
 346, 350, 351, 359, 651, 654  
 Болонья 198, 200, 201, 211, 212,  
 213, 215, 233, 235, 245, 276, 291,  
 308, 311, 355, 358, 359, 363, 365,  
 689  
 Болье, Жоффрау де 587  
 Бомануар, Филипп де Реми  
 140–143, 178  
 Бомбени 219  
 Бон 77, 574  
 св. Бонавентура 438, 744  
 Бонасси, Пьер 515  
 св. Бонифаций 59  
 Бордо 572  
 Борепер 517  
 Борсиард 118, 119, 120  
 Боттичелли, Сандро 680  
 Бофорт, Эдмунд 584  
 Боюар, Мишель де 79, 494  
 Бранд-ан-Уазан 688, 705  
 Бранжьена 397  
 Бранкаччи, Серотино 218  
 Брауншвейг 644  
 Браунштайн, Филипп 13  
 Браччолини, Поджо 654, 671, 694,  
 725, 728  
 Бретань 132, 530, 643, 699  
 Брисонне (род) 568  
 Брисонне, Гийом 737  
 Бристоль 84, 609  
 Бруни, Леонардо 345, 373  
 св. Бруно 586, 620  
 Брюгге 105, 311, 493–494  
 Буало, Этьен 520  
 Бурбон, Этьен де 101  
 Бурбон-л'Аршамбо 450, 725  
 Бург, Андольф фон 716  
 Бургундия 77, 79–80, 502, 507–508,  
 586, 601, 606, 687  
 Бурдишон, Жан 599  
 Бурен, Моник 194  
 Бурж 561, 563, 569, 580, 634  
 Буре, Жан 609  
 Бурхард Вормсский 631  
 Буцбах, Иоганн 666  
 Бюрелен, Гийом 566  
 Вазари, Джорджо 292  
 Вайнсберг, Ганс фон (Ганс  
 Швайнер) 691  
 Вайнсберг, Герман фон 593  
 Вайнсберг, Конрад фон 738  
 Валансьен 25, 51, 52  
 Валенкур 51  
 Валентин 409, 416, 419, 456  
 Валла, Лоренцо 373  
 Валь-де-Луар 129  
 Валь д'Эльса 207, 261, 325  
 Вандом 80, 187, 189, 500  
 Ван Эйк, Ян 677, 678, 702  
 Ванн 530  
 Варрам Перси 544, 546, 553  
 Вас 19  
 Веджо, Маффео 343, 345, 349, 368  
 Вейден, Рогир ван дер 8, 744  
 Вексен 569  
 Веллутти, Бернардо 306  
 Веллутти, Донато 307, 329,  
 663–664

- Веллутти (флорентийский род)  
318, 325, 644
- Венера 450, 728
- Венеция 197, 215, 230, 247, 245,  
268, 287, 288, 301, 343, 352, 357,  
358, 359, 364, 365
- Венсен 515, 525, 533
- Венсенский замок 572
- Венхаузен 743
- Вергилий 652, 653
- Верджерио, Пьетро Паоло 654
- св. Вердиана 207, 208, 209
- Верини, Микеле 240, 249, 254,  
304, 330, 331, 332, 337, 343
- Верини, Уголино 254, 336–337, 370
- Вернер, Иоганн 717
- Вернер, Карл Фердинанд 123, 672
- Верона 364, 652, 667
- Веттори, Пьетро 336
- Вийон, Франсуа 465, 466, 470,  
562, 605, 701
- Виллани, Маттео 268, 656, 673
- Виллардуэн, Жоффруа де 9
- Вилли-ле-Мутье 80
- Вильгельм Жируа 124–125, 128
- Вильгельм Завоеватель 127, 152,  
154, 166, 170, 192
- Вильгельм Ипрский 119
- Вильгельм Саксонский 724
- Виндесхайм 738
- Висконти, Барнаба 723
- Висконти, Виридис 355
- Висконти, Джан Галеаццо 736
- Гаве, Перетт ла 600
- Гавейн (Говейн) 110, 137, 138, 139,  
386, 393, 396, 411, 458, 479, 514
- архангел Гавриил 8
- Гайон 532, 581
- Галаад 396
- Гален 723
- Галле, Жан 524
- Гальберт из Брюгге 27, 116, 117,  
119, 120, 121, 140, 493, 509, 635
- Ганелон 131, 478
- Ганимед 711
- Гарен де Лоэрен 179
- Гарет 138
- Гарольд II 154
- Гастингс 154
- Гастон III де Фуа 733
- Гвиберт Ножанский 70, 101, 116,  
145, 168, 172, 175, 180–182, 184,  
617, 640, 710
- Гвидо дель Паладжо 336
- Гвиневра 117, 137, 175, 393, 395,  
396, 397, 514
- Гвиччардини, Пьеро 336
- Гвиччардини, Франческо 644, 657
- Гектор 386, 479
- Гельблинг, Зигфрид 724
- Гене, Бернар 165
- Генрих I Боклерк  
(король Англии) 165, 167
- Генрих II Плантагенет  
(король Англии) 193
- Генрих VII (император Священной  
Римской империи) 670
- Генрих из Ребдорфа 670
- Гент 499, 500, 505, 518, 707
- Гентский замок 499, 504, 505,  
509–510, 515, 707
- Генуя 52, 215, 222, 234, 235, 241,  
286, 287, 288, 291, 295, 297, 301,  
304, 357, 358, 359, 365
- Герро, Ален 187
- Герро-Жалабер, Анита 187
- Герсбах, Кристиан 593

- Гессен 657  
 Гибур 161, 183  
 Гигемар 403  
 Гийом де Сен-Патю 144, 514  
 Гийом де ла Жюжи 579  
 Гийом де Машо 403, 476  
 Гилберт 124  
 Гильдестейм 657  
 Гильдуин де Руси 152  
 Гильом Аквитанский 18  
 Гильом Английский 481  
 Гильом де Вольпиано 620  
 Гильом из Доля 401  
 Гильом Неверский 480  
 Гильом Оранжский 410  
 Гильом (герой анонимной поэмы  
 «Взятие Оранжа» 388,  
*см. также* Гильом Оранжский)  
 Гильом (герой анонимной поэмы  
 «Нимская телега») 392,  
*см. также* Гильом Оранжский)  
 Гильом (герой книги  
 «Гильом из Палермо») 406  
 Гильом (герой романа  
 Жана Ренара «Коршун») 436  
 Гильядун 394  
 Гирландайо, Доменико 362, 677  
 Глабер Рауль 190  
 Говер, Джон 559  
 св. Годелива (Годелина) 101, 152,  
 152, 156, 166, 170, 614  
 Голдсуэйт, Ричард 221  
 Гольбейн, Ганс Младший 702  
 Гонди 220  
 Готье, Леон 512  
 Готье Теруанский 121  
 Готфрид Страсбургский 411  
 Гранмесниль, Гийом де 144  
 Гранмесниль, Роберт де 127  
 Гранмесниль (нормандский род)  
 126, 127  
 Грелант 383  
 Примани, Пьетро 716  
 Гримбоск 496  
 Грисвар, Жоэль 136  
 Гроот, Г. 744  
 Гросс, Генрих 722  
 Грюнбек, Иоганн 671, 672  
 св. Гуго Ключинийский 66, 69  
 Гуго II 639  
 Гуго д'Оксер (Гуго IV из Нуайе)  
 502–503  
 Гуго Капет 624  
 Гуттен, Ульрих фон 646, 648  
 Гюбер, Мартен 565  
 Гюго, Виктор 10  
 Да Уццано 220  
 Даванцати 219, 220, 221, 224, 242  
 Давид 432, 433  
 Дагрон, Жильбер 187  
 Даларюн, Жак 168  
 Данте Алигьери 241, 279, 358,  
 651, 652, 690, 738  
 Дати, Горо 660, 736  
 Дати, Грегорио 332, 355  
 Датини, Маргарита 286, 357  
 Датини, Франческо ди Марко  
 202, 257, 282  
 Де Гин (графство) 81, 631  
 Де Гин (замок во французском  
 городе Гин) 506  
 Де Куси, Ангерран I  
 (первый сеньор Куси) 168  
 Де Куси, Ангерран IV  
 (сеньор Куси) 110, 119  
 Де Куси, Рауль 171, 1722  
 Де Куси (де Марль), Томас 183–184

- Де Ла Поль, Уильям 592  
 Дебор, Андре 508  
 Деи, Бартоломео 315  
 Дейр, Мишель 495  
 Деманжон, Альбер 540  
 Денвильский коллеж 592  
 Дешан, Эташ 469, 594, 608  
 Джакопо ди Россо 218  
 Джелло 252  
 Джинори, Джино 253, 254  
 Джинори (флорентийский род)  
     221, 324  
 Джованни да Милано 229  
 Джованни дель Бене 306  
 Джованни ди Марко 308  
 Джордано Пизанский 358  
 Джорджоне 679  
 Джотто 229, 329, 334  
 Джустиниан, Леонардо 352  
 Джустиниано, Марино 564  
 Дисбах, Людовик фон 736  
 Дольфюс, Жан 539  
 св. Доминик 591  
 Доминичи, Джованни 247, 252,  
     253, 255, 259, 260, 273, 274, 324,  
     354, 368, 369, 371, 372  
 Драгонетти, Р. 487  
 Драси 527, 553  
 Древний Рим 11, 17, 21, 31, 32,  
     52, 59, 206, 418  
 Дудо Сен-Кантенский 19, 61  
 Дуль, Колен 600  
 Дуэ 741  
 Дю Файль, Ноэль 557  
 Дюби, Жорж 107, 111, 114, 124,  
     130, 140, 145, 150, 165, 172, 185,  
     187, 190, 194, 414, 501, 518  
 Дюбюиссон-Обене 543  
 Дюмезиль, Жорж 136  
 Дюпен, Жан 573, 713  
 Дюрер, Альбрехт 666, 676, 678,  
     680–682, 683, 693, 702, 703, 705,  
     707, 718, 734, 738, 743  
 Дюсерсо, Андруэ 581  
 Дюшье (де Дюсси), Жан 570  
 Екатерина Бургундская 601  
 св. Екатерина Сиенская  
     (Катерина ди Бенинкаса) 248,  
     275, 276, 277, 278, 299, 300, 301,  
     349, 353, 368, 369, 748, 760  
 св. Елизавета из Шёнау 362, 621  
 Жан (сын Жана Меррея) 524  
 Жан де Лувр 573, 574  
 Жан де Мармутье 92, 130  
 Жан де Мен (Жан Клопинель)  
     447, 487  
 Жан де Руа 550, 608  
 Жан Парижанин 378  
 Жанна д'Арк 10, 205, 671  
 Жанна Французская 603  
 Жерар де Керси 168  
 Жерсон, Жан Жиль де Бувье 603,  
     733, 745  
 Жильбер де Мез 569, 570  
 Жирар Вьеннский 134, 139, 153  
 Жируа (род) 112, 117, 121–129,  
     130, 135, 150  
 Жорж Венгерез 751  
 Жоффруа II Анжуйский  
     (Мартел) 189, 500  
 Жоффруа V Плантагенет 103  
 Жоффруа де Майенн 128  
 Жоффруа ле Менгр 567  
 Жуанвиль, Жан 108, 468, 514, 759  
 Жювеналь дез Юрсен, Жан 595  
 Жювенель, Жак 535, 539

- Зигфрид, Андреас 735  
 Зюдгейм, Людольф фон 739  
 Зюмптор, Поль 465
- Ибрагим бен (ибн) Якуб 724  
 Ивейн 385, 386, 448, 454, 456,  
 457, 757  
 Иво Шартрский 158, 163, 176  
 св. Иеремия 738  
 св. Иероним Стридонский 676,  
 680  
 Иерусалим 77, 707  
 Изабелла Баварская 733  
 Изабелла де Конш 168  
 Изольда 175, 387, 397, 404, 475,  
 614, 624, 625, 631, 757  
 Иньорес 389, 412, 452  
 Иоаким 334  
 св. Иоанн (апостол) 748  
 Иоанн II Добрый (король  
 Франции) 578  
 Иоанн XXII (папа римский) 572,  
 579  
 Иоанн XXIII (антипапа) 725  
 Иоанн Теруанский 78  
 Иона Орлеанский 31  
 Ипр 524–525
- Йоркшир 544–545, 546
- Кайзерсберг, Гейлер фон 714, 720  
 Кальвисон 566  
 Камбре 145, 525  
 Камелот 518  
 Кампано, Джанантонио 735  
 Кан 81, 690  
 Кангранде делла Скала 667  
 Канский замок 79  
 Капаннали 225
- Капетинги (династия) 35, 151,  
 152, 158, 178, 185, 191, 192, 494  
 Каппелли (флорентийский род)  
 219  
 Каппони (флорентийский род)  
 200, 213, 221, 324  
 Каппони, Андреа 213  
 Каппони, Джино 212  
 Каппони, Каппоне 336  
 Караманли 524  
 Кардонель, Пьер 601  
 Каркассон 503  
 Карл I Добрый (граф Фландрии)  
 27, 81, 117, 119, 494, 635  
 Карл II Лысый (король Франции,  
 император Запада) 33  
 Карл IV Люксембургский  
 (император Священной  
 Римской империи) 578, 668,  
 673, 749, 750  
 Карл V (император Священной  
 Римской империи) 570, 719  
 Карл VI Безумный (король  
 Франции) 532, 570, 572, 671,  
 696, 701, 734  
 Карл VII (король Франции) 534,  
 561, 569, 572, 698  
 Карл VIII (король Франции) 568,  
 696, 699, 736  
 Карл Великий 28, 32, 131, 133,  
 134, 161, 188, 189, 190, 392, 410,  
 478, 493  
 Карл Орлеанский 463, 467, 469,  
 698, 739  
 Карл Смелый 10, 604, 656, 722  
 Каролинги (династия) 33, 159,  
 162, 163, 185, 186, 187, 189, 191,  
 494, 639  
 Карпантрас 525

- Карпаччо, Витторе 230, 238, 676,  
 679, 697, 736  
 Картон, Ангерран 702  
 Кастельпер 513, 515, 518  
 Кастельфьорентино 208, 262  
 Кастильоне, Бальдассаре 695  
 Катерина 262, 306  
 Кацмейер, Йорг 657  
 Кей 396  
 Кельн 413, 452, 593, 614, 691, 694,  
 729, 738, 742  
 Керси 168, 595  
 Кёр, Жак 569, 580, 596, 599, 602,  
 606  
 Клапиш, Кристиан 199, 522  
 Климент V (Бертран де Го;  
 папа римский) 572  
 Климент VI (папа римский)  
 572–575, 578, 579  
 Климент VII (папа римский) 658  
 Клитон, Вильгельм 119, 165  
 Клюни (аббатство) 21, 43, 63, 66,  
 68, 70, 72, 89, 580, 618, 619, 620,  
 623, 631, 639, 729  
 Клюни (город) 50, 73, 187  
 Кокийар, Гийом 594  
 Колардель, Мишель 507  
 Колетьер 507  
 Колонна, Джованни 694  
 Коммин, Филипп де 549, 551,  
 604, 656  
 Компьень 495, 515  
 Кона 602  
 Конверсини да Равенна,  
 Джованни 654, 737  
 Конк 59  
 Конш 600  
 Корби 66  
 Корозе, Жиль 607  
 Королевский колледж  
 (Кембридж) 592  
 Котрульи, Бенедетто 738  
 Кранах Старший, Лукас 705, 729  
 Крель, Освальд 677  
 Крепи-ан-Валуа, Симон де 151,  
 153, 154  
 Крес 565  
 Кретъен де Труа 132, 136, 174,  
 382, 399, 401, 405, 408, 441, 470,  
 474, 517, 757  
 Кристина Пизанская 437, 467,  
 469, 532, 591, 599  
 Куси 183, 405, 412, 607  
 Куспиниан, Иоганн 671  
 Куфусс, Генрих 716  
 Ла Бретонн, Ретиф де 162  
 Ла Кур-Мариньи 513  
 Ламбер (капеллан) 176  
 Ламбер Ардрский 130, 162, 506,  
 516, 631  
 Ламберт из Сент-Омера (Ламберт  
 де Ватрело) 18, 145–146, 186, 755  
 Лан 50, 177, 178, 182, 567  
 Лангманн, Адель 748  
 Ландино, Кристофоро 343, 373  
 Ландольф Старый 35, 36  
 Ланже 189, 495  
 Ланселот 117, 132, 137, 138, 139,  
 383, 384, 387, 393–397, 405, 446,  
 451, 473, 478, 518, 698  
 Ланфредини (род) 323, 331, 332  
 Ла Саль, Антуан де 698  
 Ла Поль, Уильям де 592  
 Ла Тур Ландри, шевалье де 426, 429,  
 431, 434, 437, 443, 485, 694, 757  
 Легей, Жан-Пьер 526, 530, 535  
 Лежандр, Пьер 568, 569, 580, 602

- Лёвен 744  
 Ле Шаплен, Андре 626  
 Лион 525, 569, 694  
 Лионна 599  
 Литтлмор 589  
 Литтре, Эмиль 14  
 Лихтенштейн, Ульрих фон 723  
 Лоди 213, 214, 223, 232, 236  
 Лондон 609  
 Лоренцетти, Амброджо 234, 237, 240, 300  
 Лоренцини, Лоренцо 343  
 Лоренцо ди Джакопо 524  
 Лоррен, Клод 508  
 Лорсен, Мари-Терез 435, 705  
 Лот Орканский 411  
 Лотарингия 548, 549  
 Луары долина (Валь-де-Луар) 129, 495  
 Лувр 572, 680  
 Луиджи, Валорино 333  
 Луис Арагонский 533  
 св. Лука 675  
 Лукка 198, 200, 217, 683, 701  
 Лукреций 729  
 Людвиг IV Баварский (император Священной Римской империи) 669–670, 671, 711  
 Людовик I Благочестивый (император из династии Каролингов) 33, 64  
 Людовик II Анжуйский (герцог Анжу) 581  
 Людовик IV Заморский (король Франции) 494  
 Людовик VI (король Франции) 119, 158, 169, 183, 191, 192, 193  
 Людовик VII (король Франции) 193  
 Людовик VIII (король Франции) 184  
 Людовик IX Святой (король Франции) 10, 134, 144, 184, 468, 514–515, 587, 599, 668  
 Людовик X Сварливый (король Франции) 707  
 Людовик XI (король Франции) 10, 533, 551, 568, 609, 656  
 Людовик XII (король Франции) 532, 568  
 Люнебург 743  
 Люнета 446  
 Магдалена 722  
 Мадзеи, Лапо 249, 249  
 Мадик 602, 604  
 Мазаччо 234, 240  
 Мазо 223  
 Майанс, Доон де 133  
 Майорка 36, 41  
 Мастер Экхарт 739  
 Максимилиан I 650, 671 672, 715  
 Малин (Мехелен) 536  
 Маль, Эмиль 491, 511, 512, 518  
 Мантенья, Андреа 681, 702  
 Мап, Готье 136  
 Маргарита (жена Бодуэна V) 93, 94  
 Маргарита Австрийская 718, 719  
 Маргарита Бургундская 698  
 Маргарита Голландская 711  
 св. Маргарита Кортонская 269, 323, 760  
 Маргарита Прованская 514  
 Мария Французская 381, 394, 403, 407, 412, 452, 757  
 Марк 377, 384, 397, 404, 405, 411  
 Марко Датини, Маргарита 286, 357  
 Марко Датини, Франческо 202, 257  
 Маркусси 532

- Мартини, Симоне 229, 234, 272, 652  
 Маршал, Уильям 90, 106  
 Матьяш I Корвин 722  
 Мацци, Мария Серена 235  
 Мегенберг, Конрад фон 714  
 Мединген 747  
 Медичи, Джулиано 719  
 Медичи, Козимо 204, 206, 309, 360  
 Медичи Лоренцо 268, 343  
 Медичи, Лукреция *см.*  
     Торнабуони, Лукреция  
 Медичи, Наннина (Лукреция) 360  
 Медичи (династия, правившая  
     Флоренцией) 220, 224, 312, 366  
 Мелеагант 446  
 Мелюзина 386, 404, 447, 483  
 Мемлинг, Ганс 677, 680  
 Мене, Мишель де 530  
 Менитра 597  
 Мерлин 477  
 Меровинги (династия) 17  
 Меррей, Жан 523  
 Меррей, Никола 524  
 Метлинггер, Бартоломеус 715  
 Мехтильда Магдебургская 739  
 Мец 558  
 Мея 328, 332  
 Микеланджело Буонарроти 711,  
     729  
 Милан 35, 36, 313, 343, 351, 355  
 Мишо, Пьер 484  
 Мишо Тайеван 470  
 Мовуазен де Ги 108  
 Модена 308  
 Молен, Жан-Батист 155, 159  
 Молине, Жан 469  
 Момбэр, Жан 648  
 Монбельяр 526, 564  
 Мон-Ванту 651, 738  
 Мондевиль, Анри де 444, 445,  
     627, 628, 633, 706  
 Монс *см.* Берген  
 Монсеррат 386  
 Монстреле, Ангерран де 469  
 Монтагю, Жан 532  
 Монтайо 5, 8, 9, 16, 61, 556, 557, 624,  
     637, 705, 712, 713, 720, 740, 751  
 Монтальбино 223  
 Монте Оливето 260  
 Монтень, Мишель 738  
 Монтепульчано 208  
 Монтефалько 234  
 Монтрэй 123, 124, 128  
 Монфрен, Жак 468  
 Монфор (род) 168  
 Моргана 405, 519  
 Мордред (Мордер) 137, 411  
 Морелли, Альберто 737  
 Морелли, Джованни 204, 276,  
     291, 318, 319, 328, 332, 336, 343,  
     663, 664, 737  
 Морелли, Морелло 319  
 Морелли (род) 317, 322  
 Мостарди, Пьетро 296  
 Моцци (флорентийский род) 217  
 Мурнер, Томас 729  
 Муссато, Альбертино 670  
 Муссо, Г. 237  
 Муффель, Николас 660  
 Мюнхен 657  
 Мюссе, Люсьен 122  
 Мюссо 657  
 Мютембе, Проте 155, 159  
 Нанси 563  
 Неаполь 222, 268, 306, 311, 315,  
     340, 343, 357, 358  
 Никколини, Лапо 204

- Никколини (семья) 205  
 Николас (герой Чосера) 593  
 Николетта 472  
 Нормандия 123, 124, 126, 150,  
 165, 180, 192, 495, 513, 515, 519,  
 560, 565, 568, 584, 600  
 Нотр-Дам де Дом 572  
 Нотр-Дам де Клеры 609  
 Нотр-Дам де Нантии 609  
 Нуайе 502, 503, 506  
 Нуайон 515  
 Нью 77  
 Нюрнберг 644, 660, 682, 691, 707,  
 723  
 Обер, Гуто 596  
 Огрин 385, 387, 405, 625  
 Ода (героиня «Песни о Роланде»,  
 невеста Роланда) 161, 392  
 св. Ода из Эно 154  
 Окассен 441, 472  
 Оксфорд 593, 634  
 Оллан, Элен 524  
 Ордерик Виталий 17, 116, 121,  
 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130,  
 140, 154, 166, 170, 171, 175, 505  
 Ориальта 421, 448, 454  
 Орлеан 513, 609  
 Орсон 409, 416, 419, 454, 456, 457  
 Отель-Дьё 596, 603, 616  
 Падуя 301, 334  
 Палермо 352  
 Пальмиери, Маттео 203, 239, 249,  
 253, 279, 342, 344, 368  
 Паоло да Чергальдо 233, 243, 276,  
 279, 283, 348  
 Паренти, Марко 341, 362  
 Париж 158, 159, 175, 494, 515, 525,  
 531, 534, 538, 563, 564, 566, 569,  
 570, 572, 580, 587, 592, 598, 603,  
 608, 609, 627, 631, 656, 721, 733  
 Парма 365, 653, 749  
 Пасифая 722  
 св. Патрик 736  
 Патрици, Агостино 724  
 Пезез, Жан-Мари 80, 507, 540, 555  
 Пекороне (сборник новелл сера  
 Джованни Флорентийца) 269, 351  
 Пелликан Конрад из Руффаша 699  
 Перре, Мишель 61, 446, 468  
 Персиваль 132, 174, 385, 463, 474,  
 478, 517  
 Перуджа 364  
 Перуджино, Пьетро 748  
 Перуци, Симоне 689  
 Перуци (флорентийский род)  
 217, 298, 322, 690  
 Петр Достопочтенный 211, 620  
 Петрарка, Франческо 651, 652, 653–  
 654, 694, 720, 734, 738, 740, 741  
 Пиза 217, 234, 255, 283, 311, 330, 357  
 Пизанелло, Антонио 693, 701  
 Пий II 654  
 Пикардия 51, 540, 604, 654  
 Пинабель 131–132  
 Пипонье, Франсуаза 80, 507, 687, 705  
 Пипс, Сэмюэл 710  
 Пиркгеймер, Виллибальд 644,  
 648, 681  
 Питти, Бонаккорсо 665  
 Питти (флорентийский род) 220  
 Платель, Анри 190  
 Платина, Бартоломео 204, 309  
 Плеси-Бурре 609  
 Полезина 200  
 Полициано, Анжело 343  
 Понтано, Джованни 347  
 Понтассеве 209

- Поппи 242, 355  
 Порнер, Ганс 644  
 Порентрюи 526  
 Прато 202, 211, 243, 244, 249, 257,  
 280, 353, 738  
 Приматиччо, Франческо 729  
 Пуасси 591, 596, 599  
 Пуассон, Пьер 573  
 Пушель Мари-Кристин 444, 627,  
 706  
 Пьетро делла Франческа 675  
 Пьетро ди Джованни 313  
 Пьяченца 237, 245  
 Равенна 247, 308, 346, 737  
 Раймондин 386, 404, 483  
 Ратисбон (Регенсбург) 724, 735  
 Рауль де Удан 380  
 Рауль Маль-Курон 125  
 Рафаэль Санти 748  
 Реймс 521, 524, 527, 538, 562  
 Рем, Лукас 660, 661, 691, 737  
 Ренар (Рейнеке-Лис) 103  
 Рене Анжуйский (Рене Добрый)  
 467, 481–482, 581, 596, 597, 606  
 Релингер, Конрад 676  
 Ризинг 516  
 Рим 104, 237, 343, 357, 417, 475,  
 536, 572, 671, 716, 717  
 Римини 350  
 Риттер, Раймонд 500, 501  
 Риццо, Антонио 702  
 Ричард I Бесстрашный  
 (герцог Нормандии) 32  
 Ричард I Львиное сердце  
 (король Англии) 503  
 Робер де О 380  
 Робер из Блуа 380, 400, 428, 429,  
 445, 448, 757  
 Роберт I де Сен-Сенери 127  
 Роберт I Фризский  
 (Роберт Фландрский) 18, 20  
 Роберт II Благочестивый  
 (король Франции) 623  
 Роберт II Жируа 128  
 Роберт III Куртгёз (Короткие  
 штаны) 128, 192  
 Роберт Дитя 121  
 Роберт Жируа 122, 124, 126, 166  
 Роберт из Узеса 749  
 св. Роберт Молемский 619  
 Роберт Рудланский 127  
 Роланд 130, 131, 161, 410, 470  
 Ролен 675  
 Ру, Симона 707  
 Руан 495, 521, 565, 569  
 Ружье 688  
 Ручеллаи, Джованни 282, 283,  
 293, 317, 336, 360, 361, 661  
 Ручеллаи (флорентийский род)  
 200, 221, 324  
 Рюберси 508  
 Рюис 530  
 Рюнье 548, 549  
 Рютбёф 379, 466, 469  
 Саккетти, Форезе 312–313, 314  
 Саккетти, Франко 209, 240, 255,  
 263, 264, 268, 281, 303, 304, 305,  
 308, 312, 365  
 Саксония 724  
 Салимбене, Огнибене ди Адамо  
 650  
 Салютати, Колюччо 373  
 Сан-Джиминьяно 198, 234, 287  
 Сан-Джованни 243  
 Сан-Коломбано 214  
 Санлис 528, 567, 600  
 Сан-Марко 230  
 Сантален, Бертран де 565

- Санта-Марья-Аннунциата 668  
 Санта-Мария-Новелла 362, 661  
 Санта-Кроче 229, 319  
 Санта-Мария-дель-Кармине 241, 661  
 Сантьяго-де-Компостела 208  
 Сассетти, Франческо 677, 695  
 Святого Вита собор 668  
 Святого Евсторгия монастырь, строение в Милане 592  
 Святого Павла школа 609  
 Сега, Липпо дель 281, 357  
 Сен-Антуан-де Шам 531  
 Сен-Бертен 15  
 Сен-Виктор 589  
 Сен-Галлен 18, 28, 64, 729  
 Сен-Донатъен 117, 494  
 Сен-Жан-ле-Фруа 705  
 Сен-Жерме-де-Фли 70  
 Сен-Луи-де-Пуасси 532  
 Сен-Мартен-де-ла-Браск 76  
 Сен-Обер 145  
 Сен-Поль 572, 608  
 Сен-Пурсен 574  
 Сен-Реми 524  
 Сен-Рикье 66  
 Сен-Сенери 124, 127, 128  
 Сен-Флур 535  
 Сент-Эвру-д'Уш 124, 125, 126–127, 128  
 Серкамби, Джованни 683, 701, 705  
 Сетте, Гвидо 720  
 Сиена 198, 215, 217, 233, 234, 246, 254, 260, 295, 296, 300, 303, 308, 312, 320, 325, 349, 353, 358, 364, 369  
 св. Симон 617  
 Сите 534, 609  
 Сито 619  
 Скровеньи 229, 334  
 Сомюр 581, 609  
 Сон де Нанси 449  
 Соредамор 446, 470  
 Сорель, Аньес 722  
 Спинелли (Герардини) 690  
 Спины, Джери 205  
 Спины (род) 217  
 Спинола (семейство) 295  
 Стригель (Штригель), Бернхард 676  
 Строцци (Мадзинги-Строцци), Алессандра 235, 288, 303, 304, 305, 311, 312, 315, 327, 331, 336, 338, 339, 340, 354, 369  
 Строцци, Лоренцо 328, 311, 340  
 Строцци, Маттео 332  
 Строцци, Филиппо 328, 288  
 Строцци (род) 219, 220, 689, 690  
 Стэффорд, Полин 193  
 Сугерий 158, 166, 167, 175  
 Тараскон 581  
 Тенд 45  
 Теодоро-второй 677  
 Тибо V Шампанский (Молодой) 467  
 Тидорель 397, 410  
 Тит Ливий 268, 646  
 Титмар Мерзебургский 38  
 Торнабуони, Лукреция 268, 362  
 Тоскана 13, 198, 199, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 242, 260, 280, 295, 301, 311, 322, 326, 353, 355, 360, 524, 688, 760  
 Тревизо 301  
 Тристан де Менъеле 550  
 Тристан из Нантейля 454, 459  
 Тристан 85, 397, 403, 410, 411, 475, 614, 624, 625, 631  
 Труа 158, 536

- Труайе 514  
 Туар 192  
 Тубер, Пьер 186  
 Тулуза 558, 591  
 Тур 104, 527, 565  
 Турне 152, 558, 562, 565  
 Тухер, Антон 723
- Уайт, Стивен 189, 194  
 Умилиана деи Черки 748  
 Уорчестер 609  
 Урбан V 538, 576, 577  
 св. Урсмар 190  
 св. Урсула 230  
 Уччелло, Паоло 675
- Фабер, Феликс 707, 720, 722, 734, 735, 736  
 Файль, Ноэль дю 557  
 Фастуль, Бод 466  
 св. Фе Аженская 47  
 Февр, Люсьен 103, 743  
 Фекан 32  
 Феррара 200, 212  
 Филипп I Эльзасский (граф Фландрии) 504, 505, 510  
 Филипп I (король Франции) 152, 169  
 Филипп II Август (король Франции) 10, 113, 133, 184, 580, 597  
 Филипп IV Красивый (король Франции) 707  
 Фламенка 442, 450, 451, 464, 471, 475, 476  
 Фландрия 27, 81, 93, 105, 114, 117, 119, 120, 504, 505, 529, 587, 609, 635  
 Флоренция 196, 198, 202, 204, 208, 215, 216, 217, 219, 222, 234, 235, 237, 241, 245, 246, 253, 255, 268, 272, 275, 276, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 289, 291, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 318, 322, 323, 325, 328, 332, 336, 338, 340, 343, 346, 353, 357, 358, 361, 364, 366, 369, 524, 644, 645, 657, 658, 660, 661, 662, 664, 684, 690, 698, 701, 720, 721, 737, 760
- Фонтевро 168  
 Фонтен 550  
 Фосект, Пьер 565  
 Фосье, Робер 541, 542, 636  
 Фра Беато Анджелико 230  
 Франкония 691, 696, 740  
 Фра Паолино 197, 252, 263, 349, 371, 372  
 св. Франциск Ассизский 249, 637, 650, 684  
 Франческо да Каррара 654  
 Франческо Мария делла Ровере 679  
 Фрескобальди 217  
 Фридрих III Мудрый (курфюрст Саксонии) 672  
 Фридрих III (император Священной Римской империи) 671  
 Фруассар, Жан 9, 469, 472, 656, 733  
 Фуггеры 666, 697  
 Фуке, Жан 736  
 Фукуа Жируа 124  
 Фульк III Анжуйский 495  
 Фульк ле Решен 165, 169  
 Фульк де Жюр 152–153  
 Фурнье, Жак *см.* Бенедикт XII  
 Фьезоле 247, 354  
 Фьямма, Габриеле 351

- Хакет, Дидье 120  
 Хальденгерберген фон ден,  
 Генрих 716  
 Хариульф 29  
 Харрисон, Уильям 552  
 Хаузен, Сикст фон 717  
 Хельгон 123  
 Херлихи, Дэвид 199, 522  
 Хильдегарда 122  
 св. Хильдегунда 617
- Циммерн, Анна фон 717  
 Циммерн, Иоганн Вернер фон  
 672, 699, 749, 750  
 Цинк, Буркхард 750  
 Цинк, Мишель 758  
 Цюрих 695, 717, 725, 729
- Челлини, Бенвенуто 658  
 Чертальядо, Паоло да 233, 243,  
 276, 279, 283 348  
 Чосер, Джеффри 443, 445, 447,  
 593
- Шамб, Элен де 551  
 Шамбери 526  
 Шаммоль 586  
 Шартрё, Жан 438, 440  
 Шартрский собор 616  
 Шартье, Ален 467, 484, 605, 607,  
 608  
 Шателен, Жорж 469  
 Шателен, Пьер 470  
 Шатель, Андре 569  
 Шато-Гайар 503
- Шатолен 530  
 Шварц, Маттеус 666, 667, 698,  
 699, 700, 701  
 Шварцвальд 724  
 Шедель, Хартман 715  
 Шуазель 523, 524
- Эбendorfer, Томас 673  
 Эбнер, Кристина 748  
 Эбнер, Маргарита 735, 746, 747,  
 748  
 Эвелм 592  
 Эйнген, Георг фон 696  
 Элейн из Константинополя 424,  
 436, 474, 475  
 Элинан де Фруадмон (Гелинанд  
 из Фруамона)  
 Эльбёф 584  
 Эльгод из Флери 623  
 Элио, Пьер 497, 499, 516  
 Эмери Нарбоннский 135, 157,  
 183, 446  
 Эмма 126  
 Энида 174, 384, 393, 396, 434  
 Эно 92, 93, 95  
 Эразм Роттердамский 609  
 Эрембурк 126  
 Эрек 174, 384, 389, 393, 394, 396, 434  
 Эрембальды 112, 117, 118, 119  
 Эритье, Франсуаза 149  
 Эрманн из Турне 152  
 Эрменгарда 157, 183  
 Эрно д'Эшофур 125, 127, 150, 179
- Юстас де Бретеи 167

## СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия ( <i>Жорж Дюби</i> ).....	5
Пролог. Власть частная, власть публичная ( <i>Жорж Дюби</i> ) .....	14
Глава 1. Зарисовки ( <i>Жорж Дюби, Доминик Бартелеми, Шарль де Ла Ронсьер</i> )....	57
Частная жизнь аристократических домов феодалной Франции.....	58
Частная жизнь тосканской знати накануне Ренессанса ....	196
Глава 2. Воображаемый мир ( <i>Даниэль Ренье-Болер</i> ).....	375
Исследование литературы .....	376
Глава 3. Проблемы ( <i>Доминик Бартелеми, Филипп Контамин, Жорж Дюби, Филипп Браунштайн</i> ).....	489
Устройство личного пространства .....	490
Рождение индивида .....	611
Библиография .....	753
1. XI–XIII века .....	753
2. Литературные памятники .....	757
3. XIV–XV века.....	760
Алфавитный указатель.....	768

# ИСТОРИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

под общей редакцией Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби

## ТОМ 2

### Европа от феодализма до Ренессанса

Доминик Бартелеми, Филипп Браунштайн,  
Филипп Контамин, Жорж Дюби, Шарль де Ла Ронсьер,  
Даниэль Ренье-Болер  
Под редакцией Жоржа Дюби

Редактор *Н. Марголина*

Дизайнер *С. Тихонов*

Корректор *О. Семченко*

Компьютерная верстка *Д. Макаровский*

Налоговая льгота — общероссийский  
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;  
953000 — книги, брошюры

ООО Редакция журнала «Новое литературное обозрение»

Адрес редакции:

123104, Москва, Тверской бульвар 13, стр. 1

тел./факс: (495) 229-91-03

Тверской бульвар 13, стр. 1

e-mail: [real@nlo.magazine.ru](mailto:real@nlo.magazine.ru)

сайт: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная № 1.

\*Офсетная печать. Печ. л. 24,5. Тираж 2000. Зак. №318

Отпечатано в типографии «Миттель Пресс»  
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр. 6.

Пяти томная «История частной жизни» —  
всеобъемлющее исследование, созданное в 1980-е годы  
группой французских, британских и американских  
ученых под руководством прославленных  
историков из Школы «Анналов» —  
**Филиппа Арьеса и Жоржа Дюби.**  
Пяти томник охватывает всю историю Запада  
с Античности до конца XX века.

ВО ВТОРОМ ТОМЕ — ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРОПЫ  
ВРЕМЕН ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. АВТОРЫ  
КНИГИ РАССКАЗЫВАЮТ, КАК ИЗМЕНИЛИСЬ  
СЕМЕЙНЫЙ БЫТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ УКЛАД  
ПО СРАВНЕНИЮ С АНТИЧНОСТЬЮ И  
НАЧАЛОМ СРЕДНИХ ВЕКОВ, КАК СЛОЖНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СООТНОСИЛИСЬ  
С ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ, КАК РОДИЛСЯ НА СВЕТ  
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДИВИД И КАК ЖИЗНЬ ЧАСТНОГО  
ЧЕЛОВЕКА ОТОБРАЖАЛАСЬ В ЛИТЕРАТУРЕ.

ISBN 978-5-444-80293-9



9 785444 802939